АЛЕКСЕЙ ГОГУА

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

БОЛЬШОЙ СНЕГ
Роман-рапсодия

Сухум
2010

В романе «Большой снег» («Асду») (1985) автор обращается к одному из сложнейших, близкому к экстремальному, периодов жизни нашего народа и тяжким испытаниям, выпавшим на его долю.

И эта драма народа, которую усугубило новое бедствие – невиданный снегопад (1911 г.) становится драмой каждого, а борьба за очередное выживание – символом всего векового стремления к свободе.

Главным и решающим стимулом, позволившим выдержать и это испытание, как и предыдущие, всем участникам драмы, персонажам романа – разным, противоречивым, страдающим, любящим, ненавидящим, мужественным – сохранить и закалить весь спектр лучших черт национального характера, была та же неистребимая воля к свободе, значит – к добру и согласию.

Недаром обозначена и музыкальность жанра романа (роман-рапсодия). Он насыщен дыханием народного духа, ритмами, мотивами его песенной и словесной духовности, как аккомпанемент, дополняющий «игру», действие.

Бог города Хаттусаса, господин мой, и вы, боги, господа мои, так все совершается: люди грешат. И отец мой согрешил: он нарушил слово бога Грозы города Хаттусаса, господина моего. А я ни в чем не согрешил. Но так все совершается: грех отца переходит на сына. И на меня грех отца моего перешел. Но этот грех я признал воистину перед богами, моими господами: это именно так, мы его совершили. Но после того, как я признал грех моего отца, как свой грех, да смягчится душа бога Грозы, моего господина, и богов, моих господ! Будьте теперь благосклонны и отошлите чуму прочь из страны Хеттов. И те немногие жрецы, приносящие в жертву хлеб, и жрецы, совершающие жертвенные возлияния, что еще остались в живых, пусть у меня больше не умирают! Видите, из-за чумы я совершаю молитву богу Грозы, господину моему: услышь меня, бог Грозы города Хаттусаса, господин мой, и меня оставь в живых!.. Птица возвращается в клетку, и клетка спасает ей жизнь...

Из молитвы Мурсилиса II во время чумы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЫЗВОЛЕНИЕ ДУШ УТОПШИХ

Следуй за мной,
мой единственный...

ЗИМНЯЯ ЗАСУХА

...У сына господина – ни вина, ни воды.
Всматривается в высохшие русла ручьев.
Моление о дожде

Народ уже собрался – будто в растревоженном улье, в воздухе стоял неумолкающий гул. Мсоуст резко натянул поводья, как только конь ступил на поляну, в центре которой находился храм. Неутоленная жажда бега так и тянула коня пронестись вихрем по открывшемуся вдруг пространству, но всадник намертво зажал поводья в руке, словно их привязали к каменной коновязи. Не слезая с коня, посмотрел в сторону храма, там, вокруг, колыхались головы собравшихся. И на мгновение его обдало жаром – пронзил гнев, зажигая и возмущая кровь, он услышал биение своего сердца.

Спешившись, он привязал коня к стволу молодого карагача, поодаль от множества оседланных коней, в перелеске у самой кромки поляны.

Потом пошел напрямик к храму.

Пересекая пыльную, чьей-то неумелой рукой неровно выкошенную поляну, он то резко убыстрял шаг, когда кровь внезапно закипала в жилах, то, опомнившись, шел спокойнее.

Его появление сразу заметили, слышно было, как собравшиеся шепотом передают друг другу его имя, словно жаждущие – ковш с водой. Это не прошло мимо его внимания, но будто ничего не слыша, ничего не видя, он несся дальше. Остановился недалеко от церкви, в стороне от всех.

Окажись он и в самой гуще собравшихся, все равно выделялся бы среди них. Не только потому, что рослый, хорошо и крепко сложен был – вся его фигура, словно высеченная из камня, рождала ощущение значительности и сдержанной силы. На первый взгляд он мог показаться слишком тяжелым – и не только телом, но, пожалуй, и нравом – как камень, из которого казался высеченным, – если бы не его ястребиные глаза: не слишком приветливые, а порой даже суровые, но пронзительно живые глаза. Людям, собравшимся здесь, не раз приходилось убеждаться – при необходимости он умел быть и стремительным, как ястреб. Суровость его взгляда несколько смягчал неглубокий узенький шрам под правым глазом, но больше – удивительное ощущение света, исходившее от его лица.

Не было человека в Наришара, который не слышал бы странную историю этого шрама.

В дом, где он маленьким лежал в люльке, залетел прирученный сокол и, не дав никому опомниться, махнул клювом – на лице ребенка в том месте, где теперь осталась узкая полоска шрама, показалась кровь. Выдохшийся на охоте за один перепелиный сезон и с тех пор не отлучавшийся из дому, усталый постаревший сокол улетел – и никто больше после нападения на мальчика его не видел. А ведь мог, мог сокол клюнуть и в глаз – но, видимо, не было у него таких намерений. И вот поговаривают с тех пор, что сокол не напрасно подлетел именно к этому мальчику, взял себе его глаза, оставив ему свои.

Все на поляне ждали. То и дело посматривали в сторону храма – простого прямоугольного строения из камня с ржавеющим крестом на макушке, – но пока что его распахнутая дверь и оконца безмолвно зияли пустыми глазницами. Кое-кому явно надоело бездельничать, люди стали собираться в кружки, заводить разговоры о житейских заботах. Старшие дворяне в свободных позах устроились на заранее приготовленных сиденьях, иногда небрежно вставляли слово в разговор мелкопоместных дворян и состоятельных крестьян, стайками державшихся подле; потом опять молчали, насупившись, словно охваченные глубоким раздумьем.

Самый родовитый и главный тут, в Наришара, Алма Анчаа, сидел рядом с таким же как он пожилым дворянином, гостившим у него. Гость тонким, почти просвечивающим орлиным носом водил вправо-влево, будто решил исчеркать воздух, затем, повернувшись к Алме, что-то вполголоса говорил

ему. Тот сперва багровел, на лбу и шее вздувались жилы, затем что-то булькало в горле, порядочно изношенном от неумеренного употребления спиртного, и наконец, из-под густых рыжих усов вырывался хрипловатый смешок.

Вдруг сосед Алмы снова повел своим орлиным носом и на мгновение застыл, даже голову чуть уронил, будто локоть, подпиравший ее, соскочил с колена. В таком положении он некоторое время смотрел на молодого человека, стоявшего в одиночестве, отсюда тот хорошо был виден сквозь просвет в толпе. Потом гость как обычно повернулся к Алме и шепнул ему что-то. Алма вскинул кустистые брови, быстро глянул в ту сторону, куда ему показали, – и на этот раз не побагровел в смехе, а побледнел от гнева, нервно задергались усы.

– Сколько ни говори, он свое продолжает. И сюда явился!.. – зло выбросили рыжие усы. – Чантамыр! Чантамыр!

– Звали, ухацкы*? – к Алме повернулся узколицый, не по годам подтянутый мужчина с открытой поседевшей головой, башлык был откинут на плечи.

– Явился этот... сын немого Гуатаса. Вон стоит, полюбуйся! – сердито сказали усы. – Кто его звал?!

– Наверное, сам пришел, ухацкы, Алма, – ответил Чантамыр сухо. – Не запретишь же ему бывать там, где бывают все.

– Надо бы и запретить! – все больше злились усы. – Не лишнее! Куда ни придет, обязательно напакостит... Разве забыли, как при всем народе он честил благочинного в Мыкуском храме? А ты сам не помнишь?

– Как же не помнить... – нехотя согласился Чантамыр.

– А знаешь, как поступает в таких случаях хороший староста села?! – гневно спросили усы. – Устроит ему третейский суд и накажет: «Ты, такой сякой, раз не можешь себя достойно вести на людях, сиди дома, не показывайся без дела – не то изгоним из общины». Понял?! – усы нервно задергались. – Не доводите до того, чтоб я лично вмешивался, не то... не то этот сумасброд может оказаться слишком далеко отсюда!..

Чантамыр на этот раз промолчал.

– А если тебе наскучила твоя служба, не скрывай, у меня на примете такие орлы, что с охотой займут это место, и не совру, если скажу, что они превосходно тут справятся!.. – Высказав накипевшее, Алма вздохнул спокойнее и любовно погладил усы, словно одобряя – мол, хорошо и достойно себя вели.

– Если и впрямь найдутся такие, – почти резко ответил Чантамыр, – то знай, Алма, ухацкы, я не смею стоять поперек пути этим горемыкам.

Толпа вокруг церкви не была однородна – люди стояли группами, беседовали. Там, где собрались в кружок пожилые люди, старцы, убеленные сединами, умудренные опытом, говорили спокойно, внимательно, не перебивая, выслушивали друг друга. Рядом те, кто помоложе, рассуждали об удали, застольях, любви, вражде; иногда в их разговор вкрадывалась сплетня;

охотники, не уходившие далеко от собственного дома, сочиняли небылицы о своих успехах высоко в горах, – и все в таких кружках плохо слушали, перебивали, мешали друг другу.

– За всю осень не выпало ни капли дождя, и пхын-чкун, декабрь, сухим прошел, – заговорил один из самых старых в группе, где было больше пожилых, седоголовых. – Засуха в такое время тоже нехорошо, она может сказаться в будущем, к весне.

– Засуха всегда плохо, но такого не помню, – поддержал его разговор другой старик, – чтобы так пылилась земля, горы почернели, ни щепотки ни прошлогоднего, ни нынешнего снега. Боюсь, может обернуться голодом.

– Этого нам еще не хватало... – махнул с досады рукой третий.

– Как не помнишь, просто забыл, – вступил в разговор еще один седоголовый, улыбнулся. – И такое не раз бывало. Вообще нет ничего на свете, что бы уже не случалось прежде, все в мире – в чем-то повторение того, что уже было до нас.

– Все же неспроста такая осень! – это уже вмешались в разговор соседние, стоящие чуть поодаль. – Похоже, ждет нас очень суровая зима... На днях я понес кое-какие продукты пастухам, так по всей дороге столько лесного ореха рассыпано – можно загребать горстью, и каштаны тоже, и буковые семечки... А дикая лавровишня? Столько ягод, что листьев не видать. Наверняка – быть суровой зиме!

– Да пусть... – заключил старейший, тот, что начал разговор. – Суровую зиму переживем, лишь бы весна не подвела.

Какое-то время все задумчиво молчали, на лицах застыли морщины, нанесенные за долгие годы всем прожитым – горем и радостью, надеждой и безнадежностью, желанием и усталостью – письмена времени на живом теле...

Конечно, на старости лет каждый не прочь порассуждать о пространстве, времени, природе, земле, погоде, открыть свои тайны, в которые его посвятила жизнь, свой опыт и все то, что он способен прибавить к мудрости, уже известной его брату земледельцу, охотнику, строителю. Но эти люди, кружком стоявшие сейчас на храмовой поляне, как и все их соотечественники, уже более двух десятилетий, встретившись где-нибудь или собравшись как сегодня, старались вести разговор если не о погоде, о ее будто бы невиданных капризах, то о далеком прошлом или столь же далеком неясном будущем, лишь бы отвлечься от страшных воспоминаний недавних лет – махаджирства*, изгнания и гибели ни в чем не повинной, большей, лучшей части их народа. Так поступали вовсе не для того, чтобы изгнать вчерашнее из памяти, нет – чтобы не забыть. Слишком заметен, многозначащ был пропуск, умолчание. Все знали – то, о чем говорят слишком часто, с поводом и без повода, вместе со сплетнями, – всегда всем надоедает, о нем стараются побыстрее забыть.

В это время распавшаяся группа весельчаков, удальцов и охотников влилась в соседние, где в беседе принимали участие старейшие. Веселье еще не прошло, и молодые сразу решили расшевелить соседей..

– Гляньте, до чего ж у него глаза близко посажены, – смеялся зеленоглазый парень, указывая на упитанного, пышущего здоровьем своего приятеля. – Когда он зыркает туда-сюда, они трутся друг о друга. Посмотрите, посмотрите сами!

– Чтоб перевелся твой род, сверноглазая твоя порода, – беззлобно отругивался тот. – Не успел вас до конца, зеленоглазых, истребить Абрскил*, вот оттуда все наши несчастья!

– Нет вы гляньте, что за несчастный, посмотрите, как он отощал... – не отставал зеленоглазый.

– Ничего в этом нет удивительного... в том, что он такой... упитанный... он же пастух... – смеясь, поддержали в кружке.

– А кто не пастух, ну, скажите мне? Все мы пастухи, или, по-старому, пастыри: один самого себя стережет, другой – свое имущество, третий – жену, четвертый – свои межи, и так далее и так далее...

– И я тоже пастырь! – выкрикнул звонким голосом мальчишка с неровно подрезанной густой челкой, в сыромятных чустах и домотканой шерстяной рубашонке.

– А ты кого пасешь! – наклонился к нему зеленоглазый.

– Козлят! – без запинки, звонко ответил тот.

– Иди, иди к своим сверстникам, здесь тебе нечего делать, – зеленоглазый потрепал ему челку и тихонько подтолкнул его.

Мальчишка, пригладив волосы, нырнул в толпу.

– ...Иной – пастырь своей чести... – задумчиво продолжил белоголовый старик. – Если бы все так – нигде больше не понадобились бы никакие другие пастыри.

Все прислушались – и опять на какие-то мгновения замерли, ощущение причастности к высшей, духовной силе объединило всех, дало возможность как бы заглянуть в бесконечное, кружащее голову далеко...

Народ – от седого старца и до незаметного подростка, – народ, не раз стоявший на грани жизни и смерти, у самой пропасти, когда ее гибельное дыхание захватывало, грозило, выворачивало душу, такой народ становится болезненно чутким к любому шороху вечности, ко всем ее сигналам.

Была сегодня здесь еще одна душа, которую заприметили все.

Каждый хотел взглянуть на нее, где бы она ни появлялась. Многие видели эту юную девушку давно, еще ребенком. Не веря себе, переспрашивали: «Неужели – та маленькая Майяна?!»

«Не будь она дочерью вдовы...» – повторяли, глядя ей вслед, завистливые (нет хороших завистников, но мужчины-завистники – хуже всех).

Ее медового цвета глаза сейчас что-то искали, в большой толпе на поляне она, похоже, никого не видела, не слышала. Только изредка, чтобы ее поиск не очень бросался в глаза, опомнившись, она мимоходом улыбалась знакомым. Когда одна из золотистых ее кос сползала по спине немного в сторону к плечу, она чуть откидывала голову, чтобы вернуть косу на место, и ее светящееся лицо, кажется, зажигалось еще ярче.

«...Ты там говори что хочешь... на вдовьих харчах выращенная... а посмотри, какова сама...» – показывали на нее друг дружке завистливые женщины.

Она все продолжала взглядом искать кого-то.

«Божье создание, пусть Он благословит тебя», – говорили добрые, желавшие счастья не только себе, но и другим.

«Красота – нелегкая доля, что вечный подъем по круче... – заключали мудрые. – Такую прелестную, да хранит ее Всевышний!»

Скользя взглядом вдоль гущи людей, она заметила парня с непомерно широкими плечами, с румяным детским лицом, – обрадовалась, зарделась, но к нему не подошла, а, проходя мимо, тихонько позвала:

– Ба-дра...

И Бадра и все остальные, стоявшие с ним, оглянулись. Лицо Бадры засияло, счастливый, он тут же оставил приятелей. Девушка убавила шаг, чтобы позволить ему догнать себя.

«Если бы да не простых кровей...» – по-кошачьи облизывались ей вслед и некоторые из дворян.

«Если бы в ее жилах текла благородная кровь... Если бы...»

Но и среди дворян находились думавшие иначе. Для иных ее красота и юность были сильнее их сословных предубеждений.

Даже вечно хмурый, из-под мохнатых бровей взгляд Умара, сына самого Алмы, прояснялся и смягчался, когда останавливался на Майяне. Игривым движением надвинув папаху на лоб, Умар степенно зашагал к высокому, стройному, в ладно сшитой серой черкеске человеку, стоящему между группой дворян и зажиточными крестьянами, как бы соединяя тех и других. Завидев Умара, человек живо заспешил ему навстречу, юношески ловко переступая ногами, плотно посаженными в замшевые ноговицы и сафьяновые чувяки.

– Эй, Такияла, не скажешь ли, как поживаешь? – Умар сжал своими жилистыми руками-клешнями тонкую, не похожую на натруженную крестьянскую, руку Такиялы. – Давненько я тебя не видел...

– Мое, мое упущение, дорогой Умар! Ты знаешь, какие заботы у несчастного крестьянина, – осень, уборка... Весь с головой ушел – и упустил время, чтобы тебя навестить, – заулыбался Такияла. – Но скоро, совсем скоро, в ближайшие два-три дня навещу... Разве пойдет мне впрок новый урожай, если я отведаю раньше, чем ты...

– Ничего ты не упускаешь, Такияла. Так, как ты, – и наши кормилицы не заботятся... – Он взял Такиялу под руку и пристально глянул ему в глаза.

Как бы ни хотелось, Такияла не выдержал этого взгляда, глаза его забегали.

– Что, дорогой Умар? Я весь обратился в слух!

Не убирая руки, Умар отвел Такиялу в сторону.

– Догадываешься?.. – двигая мохнатыми бровями, спросил он.

– Клянусь тобой... – Такияла пытался сообразить.

– Допустим, так, но, надеюсь, ты не забыл древний обычай наших предков – делать зарубку на колыбели*, – он хохотнул. – А-а? Это что, только на словах?!

– Но, клянусь тобой... – изумился Такияла и осекся. Умар заметил, как он изменился в лице. – А-а, начинаю припоминать... – он деланно засмеялся. – Мы тогда сильно поддали. У меня и сейчас имеется такое же...

– Это ладно, но ты уклоняешься, хитрец... – Каждое прикосновение его рук причиняло Такияле боль: такими жесткими были они.

– Клянусь тобой... ты ведь шутил тогда...

– Но сейчас – не шучу, – оборвал его Умар. – Тогда, может, и пошутил, но сейчас – когда эта девчонка сбросила свою лягушачью шкуру, оказалась прелестной... – Умар засмеялся, словно рычал. – А такая девушка – она и княжна, и царица.

– О чем ты, твое сиятельство, как ты можешь снисходить до этой девчонки, сироты, дочери вдовы... – Такияла помрачнел.

– Это не твоя забота – моя, – Умар посмотрел туда, где толпились люди, надеясь увидеть ее, но нигде не заметил ее сияния.

– Разве стоит пока вообще говорить, она же совсем ребенок... – метался Такияла.

– Как я вижу, тебе не нравится то, что я говорю, – Умар надменно перевел на него взгляд. – Если так, скажи прямо.

– Нет, нет, клянусь тобой... Если до нее снизошел такой как ты... это неслыханное счастье и для нее, и для моей сестры. У нее и жизни-то не было, пусть хоть счастьем дочери утешится.

– А коли так, – Умар почти воровато глянул в одну, в другую сторону, – то не позднее, чем завтра извести и мать, и дочь... Смотри, не откладывай. У девушки в голове ветер, кто знает, что взбредет...

– Нет, клянусь тобой... – Такияла заметно ссутулился, будто невидимая тяжесть свалилась на его плечи.

Несколько раз перед глазами Мсоуста мелькала Майяна. Каждый раз он вздрагивал, не совладав с собой, будто вдруг его опустили в ледяную воду, и из груди вырывался звук, не похожий ни на стон, ни на возглас удивления.

Мсоуст возмужал как-то неожиданно быстро и, оставив свое отрочество на половине пути, перевалил через хребет на ту сторону, где была уже взрослая юность. Оставил на этой стороне всех, с кем играл в детстве. В первое время иногда тревожила память отрочества. Особенно дороги были ему друзья детства, оставленные там. Здесь, «за хребтом», найти их стало труднее. Почти безобидные в пору детства – ненависть, зависть, лицемерие – здесь обретают силу, несут злобу, вред, и навсегда исчезает то безмятежное спокойствие, которое бывает только в детстве – исчезает, уступив место напряженной настороженности.

Теперь, возвращаясь, он заставал их, как и прежде, увлеченными игрой. И то, что им приходилось уже выполнять и настоящую работу, помогать родителям, уставать – все было пока как игра. И Майяна представала перед

ним, когда изредка встречались, с ребячески удивленными глазами, с взъерошенной детской челкой, – тоже осколком минувшего отрочества.

А вот сегодня, вдруг, – как и все остальные, которых она удивляла, – Мсоуст увидел, как она вытянулась за эти годы, как в ее глазах вместе со светом юности появились оттенки грусти и задумчивости. Вспомнив, как они в детстве играли в «мужа и жену», он усмехнулся, но, не выдавая своего удивления, прошел мимо нее, словно желая подчеркнуть, что пора игр давно прошла. И все равно, его так до конца и не успокоившееся сердце не выдержало, он обернулся. Девушка будто ждала этого, подняла было руку – помахать ему, но он быстро отвернулся.

Ибо сегодня даже его непослушное сердце было занято иным – то и дело его охватывало гневное волнение. Ему казалось, что все собравшиеся сегодня здесь – притворяются, принимают вид невнемлющих, невидящих... будто бы их не тревожат никакие заботы, ничего у них не болит. Это ощущение всеобщей унижающей лжи заставляло его гневно вспыхивать, заливаться краской, напрягаться всеми жилами...

...Осколки народа, перенесшего столько горя и страданий, большую часть которого изгнали из родной страны и пустили по миру, – вот что мы такое сейчас. А оставшиеся – те объявлены царской властью «виновными», вздохнуть свободно не могут, на родной земле чувствуют себя чужими, как во временном пристанище. Хотя теперь формально с них вроде и сняли эту «виновность», по сути все осталось по-прежнему.

Собирают людей повсюду, заговаривают им зубы, а они и рты поразевали.

Года два назад он услышал, что в Мыку* Общество возрождения православия в Абхазии организует богослужение на абхазском языке. Хоть какая-то затеплилась надежда – может, наконец-то прекратилось недоверие и к их народу, и к их языку.

Решил, что раз дело затевают святое, нельзя явиться туда на коне, и отправился к храму пешком. Он действительно ощущал себя паломником, добирающимся к знаменитым святым местам. Шел одухотворенный, не чувствуя усталости, а возвращался – уставшим, разозленным. Разочаровало все – и то, что большинство собравшихся безразлично к богослужению, и голос священника был слаб, плохо слышен, и в нем самом ничто не переменилось, наоборот, он себя чувствовал обмелевшей после бурного половодья рекой.

Он сам еще не очень ясно представлял, чего же ему надо, но встреться он с этим необходимым лицом к лицу, уверен, узнал бы. Так или иначе, сердце его было неспокойно – думал день и ночь, переживал, сомневался, злился, ему казалось, что всем все безразлично. Надавят на них – застонут, растрогают – заплачут, рассердят – разругаются, но чтоб разобраться, почему это так, что нужно сделать, чтобы стало иначе, – никто этим себя не утруждал.

Убеждали их в том, что вся их история, все существование гроша ломаного не стоят, – смолчали. Более того, теперь священники как хотят, так

и меняют не только имена, но даже и фамилии, которые абхазские роды носят испокон веку, которые никто не осмелился бы тронуть, когда народ еще был в силе, не разорван на части.

Скажут им, прикрываясь именем Бога, что никакие имена и фамилии, кроме предложенных приезжими священниками, до ушей Господа не доходят, – молча сносят!

Мсоуст прошелся взад-вперед.

За все то время, что он здесь, на поляне, никто к нему не подошел, не заговорил с ним. Никто не спросит, что он думает, чем озабочен, никто не предложит помочь, сообща решить что-нибудь. А может, если его подтолкнуть, вдруг его осенит какая-нибудь важная для всех мысль, какое-нибудь решение, необходимое для всех. А вдруг! Наверное, не зря же он так мечется, что-то ведь гложет, не дает ему успокоиться...

Но – увы...

После таких мучительных состояний часто не мог совладать с собой, лез на рожон, где бы ни находился в это время – на свадьбе ли, на празднестве, на сходке – все расстроит. Если свадьба – у людей кусок застревает в горле, похороны – забывали о покойнике, а если сходка – не знали, что предпринять, как к нему подойти, как успокоить.

Многие их тех, кому это все надоело, теперь обходили его стороной.

«Зачем мне это все – на свою же голову, – думал он нередко. – Учить еще кого-то уму-разуму, когда тебя самого надо учить... сидел бы дома, мало ли там забот. И отцу бы дал отдохнуть».

Но все равно – не получалось, его тянуло к людям, без них он не мог.

Только теперь он заметил, что стоит у самой колокольни. Правда, колокола здесь были маленькие, да и сама колокольня невидная – низенькая, с обшарпанным навесом наверху. Звонили, стоя прямо на земле. И только в праздники. Видимо, считалось, что до беспорядочно разбросанных по холмам и склонам крестьянских дворов здешний слабый звон все равно не достанет.

Однажды в детстве мать привела его на Пасху в церковь. Потому ли, что они появились слишком рано, или именно их приход и напомнил, что пора, время уже, – но едва они с матерью ступили в церковную ограду, ударили колокола.

Мсоуст тогда остановился, пораженный. И отпустил руку матери. Чудесным, невообразимо чудесным слышался ему церковный благовест. Заныло в руках и ногах, его так и тянуло к колоколам, хотелось попробовать самому... Мать снова взяла за руку, повела было дальше, но ноги его не шли...

С тех пор он бредил колоколами. Ему не раз снилось, будто он, затаив дыхание, подбирается к молчащим колоколам и дергает за веревку. И далеко вокруг разносится их чудесный звон; на его призыв сбегаются друзья, приходят их отцы и матери, ограда заполняется детьми и взрослыми, знакомыми и незнакомыми...

Однажды осенью – он помнит еще свежий покос на этой поляне – он тихонько забрался во двор церквушки и подкрался к колокольне. Никогда не забудет он то свое состояние: наверное, такое испытывает человек, когда сбывается мечта. Все в нем сладко замирало. Так замирало, что не мог сжать в руках веревку, спускающуюся от колоколов. Как только он стал дергать за нее – звонко отдалось в чистом осеннем воздухе, отозвалось по холмам, утесам, склонам. Казалось, все пространство вокруг заговорило, во все вдохнули колокола свой чистый голос. Лишь небо было слишком огромное для них, в бездонной чаше, опрокинутой над осенней землей, голос колоколов терялся, бессильный заполнить ее.

...Совсем близко он увидел попа и дьякона. Глаза у них выскакивали из орбит, они рвались к нему, путаясь в стареньких рясах, но он, к своему удивлению, не испугался. Не побегу, пока не окажутся совсем близко, подумал он, потом рвану, все равно не поймают.

Звонил он – как на какой-то вневременной, бесконечный праздник, и душа его, сладко замирая, устремлялась за колокольным звоном, потом и звон и его самого легко, как пушинку, подхватывало само пространство, казалось, он летит...

Лишь услышав сопение и учащенное дыхание попа и дьякона, он сорвался с места. Убедившись, что им не поймать мальца, оба закричали:

– Лаврентий, Лаврентий!

Видно, это был церковный староста. Худой, высокий и быстроногий, этот, по правде говоря, разок коснулся его, но поймать – разве поймаешь мальчишку!

А сейчас он с грустью смотрит на колокольню, на колокола. И снова его так и подмывает подойти и ударить в них.

Ему кажется, что если Бог есть, не эта церквушка с тусклыми оконцами в ржавых железных решетках, а сами бескрайние небеса должны быть сводами его храма. Раз так, то не эти вот убогие церквушки надо строить, а огромные колокольни, да с такими колоколами, чтобы звон их заполнял все небо, чтобы тьмы людей, услышав и приняв душой этот зов, разом подняли головы к Богу.

– Смотрите-ка, Арадзныш Мсоуст подошел, стоит рядом... – уловил он чутким слухом.

Это была одна из сестер – Шахусна либо Чахусна.

Никто не решался связываться с сестричками, кроме наиболее самонадеянных, острых на язык, – либо уже сто раз поверженных, осмеянных, примирившихся с их издевками.

– Лучшая птица прилетает последней... – добавила Чахусна.

Чахусна была младшей – упитанная, пухленькая и смешливая.

– Если бы он не задавался, стоял бы сейчас не отдельно, а среди нас, – сказала Шахусна громко, чтобы он услышал.

– А как это – задаваться? Это что такое – еда или одежда?.. – подхватила Чахусна.

Примирившиеся с насмешками парни в их кружке перекинулись несколькими словами и замолкли.

– Послушай, Шакуатыл... – старшая обернулась к одному из них. – Говорят, летом змея укусила твою женушку... как она, уцелела?

– С ней-то как раз ничего не случилось, а вот змея тут же сдохла, – опередив парня, откликнулась Чахусна.

– Бедняжка! – покачала головой Шахусна. Раздались ехидные смешки.

Мсоуст не выносил пустого зубоскальства, и отошел подальше. Он знал, о чем там сейчас шушукаются: не трогайте лучше Мсоуста, не то разойдется – не остановишь. Вроде совсем недавно вместе играли ребятишками, и не то что самому обижать их – попробовал бы кто-нибудь посторонний задеть его друзей, он бы мигом заставил его пожалеть... Что же тогда случилось, почему они, друзья детских игр, сделались чужими для него?

Перевалив за хребет, оставив за спиной детство, здесь, в мире взрослых, он распрощался с былой веселостью, неизменной улыбкой, смехом... осталась одна злость, вспыльчивость. А те? Они же не глухи, не слепы, неужели их ничто не тревожит, не болит в душе, не беспокоит?.. Похоже, так и есть – потому он с ними и встречается словно с незнакомыми. Да что о них говорить, о друзьях недавнего отрочества, когда его родной брат Гудзба, умный, грамотный, хорошо разбирающийся во всех обстоятельствах, во всем, что заставляет его, Мсоуста, так мучиться, родной его брат может спокойно созерцать эту жизнь, повторяя одно и то же: всему свое время.

Невозможно было удержать на одном месте легковесную стайку вокруг Шахусны и Чахусны, постепенно они удалялись, и наконец толпа поглотила их, бывших его друзей...

– Мсоуст! – услышал он вдруг негромкий радостный оклик, словно из самого детства. – Мы так искали тебя, а тебя нигде не было!

– Значит, плохо искали, не очень хотели найти, – наконец улыбнулся Мсоуст. Бадра был неуклюж, но дюжий, широкоплечий, на вид казался даже крепче Мсоуста, правда, стоило только посмотреть ему в лицо, как сразу становилось понятно, что вся его недюжинная сила так и пропадает в бездействии, без применения.

– Чтоб не умереть моей матери, – простодушно заверил Бадра, – еще как искали, правда, Майяна?

Майяна, остановившаяся чуть поодаль, промолчала.

Майяна и Бадра с детства были близки как родные, жили они по соседству, росли вместе. Как и в детстве, Бадра готов был и сейчас ради Майяны броситься в огонь и в воду. Оба они объясняли свою дружбу старой, еще ребяческой привязанностью. Но Мсоуст видел, что это уже не совсем так.

Мсоуст сейчас остро позавидовал Бадре, тому, что он может, забыв о себе, обо всем на свете, безоглядно быть верным кому-то.

Но в том-то и дело, что в жизни все частенько происходит шиворот-навыворот... почему бы и ей не относиться к Бадре, как он к ней, не оценить человека, который будет всю жизнь боготворить ее.

Но нет – она этого не замечает, она ослеплена, она вся в мечте о счастье с другим. И надеется построить все свое счастье на единой любви, только на ней. А если не выйдет так, как она хочет, – тогда может случиться, это испепелит всю ее жизнь, заодно и жизнь того, кто днем и ночью сгорает рядом с ней. Такой у нее характер – все или ничего.

Мсоуст видел – ее лицо заливает краска, потом она вдруг бледнеет, медовые глаза полны влаги, уголки губ вздрагивают. Ей кажется, он безразличен, – а ведь она с Бадрой искала его...

Мимо людей такое не проходит: многие взгляды скрестились тут. Присмирели, не отрывая глаз от Майяны, юноши, им достаточно было того, что увидели этих двоих рядом, Майяну и Мсоуста: тут же и поняли, что им самим здесь надеяться не на что. Все, казалось, были убеждены несмотря ни на что: Майяна и Мсоуст созданы друг для друга.

Но Мсоуст был холоден. Его сейчас распирали другие желания, занимали другие, неотвязные мысли. Он злился, чувствуя, что его влечет к Майяне, еще вчера игравшей с ним в жмурки, вечно старавшейся, чтоб именно он ее обнаружил, ловившей каждое его слово... а теперь вот стоявшей перед ним неожиданно повзрослевшей и неотразимой...

Он считал, что не имеет права делать шаг ей навстречу, напрасно обнадеживать, ломать ее жизнь.

– Чего ты стоишь здесь? – спросил Бадра, сияя улыбкой. – Давайте подойдем ближе, лучше будет видно приезжего священника. Я говорю – у него борода по пояс, а Майяна не верит. Вот поспорили мы. Я проиграю – поймаю ей ястреба, она проиграет – сошьет мне точно такую черкеску, как сшила тебе.

– Его отсюда тоже будет видно, если он тебе так нужен, – отказался раздраженно Мсоуст.

– Послушай, – с лица Бадры вдруг сошла улыбка. – Майяна все переживает, что ты эту черкеску не носишь... Она так старалась...

– Бадра! – краска залила лицо девушки. – Бадра!

– Ладно, ладно, не буду, – он погрустнел. – Мне бы такую черкеску... еще и сшитую руками Майяны, я бы только в ней и ходил!

Ничего не умеет скрыть, подумал Мсоуст.

– Что ж без повода ее надевать... может статься, даже до твоей свадьбы сберегу, Бадра, – Мсоуст хорошо улыбнулся. Он улыбался, смеялся редко, но засмеется раз – и человек надолго запоминает. Эту улыбку Майяна не могла видеть спокойно. Да и сейчас не могла скрыть волнения.

– Пойдем, пойдем, Бадра, зря мы сюда пришли, незваные, – она изо всех сил пыталась сдержать подступавшие слезы.

– Действительно, не задерживайтесь тут со мной, пройдитесь, посмотрите на людей, себя покажите, – отозвался Мсоуст. – Вы ведь еще дети, не лишайте себя развлечения.

На этот раз он засмеялся, обнажив ровные крепкие зубы.

Майяна, собираясь отойти, чуть откинула голову, привычным движением возвращая на место свою золотистую косу, и Мсоусту показалось, что ее лицо посветлело, как если бы на нее упал луч солнца.

В это время к ним приблизился человек в рваной рясе, грязный, взлохмаченный, обросший седой щетиной, – распространял вокруг себя зловонный запах давно не мытого тела, сопревшей от пота одежды. Правда, сквозь лохмотья видно было, что он могучего сложения и пока, похоже, достаточно крепок.

Мсоуст помрачнел, стиснул зубы, на скулах заходили желваки, но ничего не сказал.

Странник этот года два как стал появляться в здешних местах.

Как-то в день Пасхи его увидели возле храма – стоял у входа. На солнце от его лохмотьев шла нестерпимая вонь. Со своего места он осенял крестом входящих и выходящих из церкви. Женщины вначале пугались его, держались подальше, но понемногу привыкли, особенно после того как местный священник объявил, что это безобидный юродивый, прорицатель, бескорыстно служащий Богу и людям и приносящий удачу. Он говорил на всех языках, которые тут слышали. Когда спросили, как же его зовут и какой он национальности, тот ответил, что звать его нужно просто Ацахва, то есть – Прорицатель, а что касается национальности, то для него, как и для Бога, не существует такого рода различий, для него все равны...

Что за человек, который ни к какому народу не относится, недоумевали в округе, но потом рассудили, что раз это человек Божий, то лучше над этим не задумываться, не гневить Всевышнего, – и больше об этом не вспоминали.

А вот Мсоуст, с того самого дня, как впервые увидел «прорицателя», невзлюбил его. Не верил в святость такого здоровенного детины, прикрывающегося лохмотьями, но особенно не нравились его глаза. Как ни старался тот смотреть приветливо, взгляд у него был нехороший. Еще Мсоуст заметил, когда «юродивый» благословлял прихожан, что руки у него заметно моложе лица, очень сильные, и больше годятся для войны или разбоя, для удара по голове или переламывания горла, чем для благочестивых дел.

И почему-то так получалось, что «Прорицатель»-Ацахва, как нарочно, вечно там оказывался, где и Мсоуст, либо, завидев его издалека, направлялся в его сторону. Прогонит Мсоуст юродивого – опять подойдет, прогонит еще – подойдет снова. «Пусть Всевышний простит тебя...» – бормотал, издали осеняя парня крестом.

Многим не нравилось такое отношение Мсоуста к «Божьему человеку», особенно женщинам. «Надменный! – возмущались они. – Отталкивает несчастного, спесивец, грубиян...» И при Мсоусте старались быть подчеркнуто внимательными к юродивому, окружали его, выслушивали бормотания.

– Да обратит Господь наш Иисус Христос свой взор на вас, дети мои, да простит и помилует... – низко поклонившись, приветствовал он Бадру и Майяну...

– Благодарим тебя, почтенный, святой Ацахва-Прорицатель, – подчеркнуто вежливо отвечала Майяна. Это она назло мне, видел безошибочно Мсоуст. – Да пошлет тебе Господь еще больше благословения, чем ты расточаешь нам...

Мсоуст стиснул зубы. «Вот-вот она погладит вонючие лохмотья, которыми прикрывается этот дьявол!»

– Дети мои, да не оставит вас благословение Господне! – «Прорицатель» поднял к небу волосатые крепкие молодые руки, больше подходящие для убийства, а не для благословения. Нехотя сложил сильные пальцы, осенил крестом Майяну, потом Бадру. (Бадра глядел не то смущенно, не то брезгливо. Мсоуст видел, что Бадре, хотя тот боялся признаться, тоже был неприятен этот юродствующий. Детское, что сидит в Бадре, не дает ему обманывать себя, считал Мсоуст.)

Наконец, помедлив, поколебавшись, «прорицатель» поднял руки над Мсоустом. Глаза Мсоуста сверкнули, он невольно сжал рукоять кинжала.

– Опусти руки, лжец! – вырвалось у него. – Раз умеешь водить за нос безответных детей, так и меня вздумал одурачить?!

В глазах юродивого отчетливо выразилась злоба, то черное, что он прятал, как понимал Мсоуст, под обычным благостным взглядом, обозначающим смирение и любовь к ближним.

– Да простит тебя Господь – он видит все... а я прощаю, – протянул юродивый, отступив на шаг. – Пусть Создатель помилует тебя в твоем заблуждении...

Повисшую в воздухе руку он тихонько опустил на плечо Майяны, тронул ее волосы (вот-вот вонзит в нее свои когти, хищные, коварные пальцы...).

Мсоуст задохнулся от злости.

– Убери руки, нечестивец! – вырвалось у него. – Свои грязные лапы!..

– А-а, ревнуешь... – сладко протянул «прорицатель». Убрал руку за спину, словно готовя нож, спрятанный в рукаве. – Это именно то, что не угодно нашему Господу, да успокоит он твою мятущуюся душу. – Потом обратил лицо к Майяне, улыбочки как не бывало. – Господь да благословит этого ангела, избавит ее от грехов, да не сойдет с его пути красота ее... – Он снова поклонился чуть не до земли и быстро зашагал в сторону храма.

– Это, наверное, слишком... Как можно спорить с этим странником, таким кротким, смиренным... – не очень уверенно пробормотала Майяна, покрасневшая и смущенная после слов юродивого насчет ревности.

– Кроткий... смиренный... Не твоего ума это дело, – пока можешь играться в свои куклы! – Мсоуст еще не остыл, сам чувствовал, что говорит обидно и резко, но сдержаться уже не мог.

– Бадра, ты слышал, – подхватила Майяна, и ее медовые глаза вспыхнули смехом. – Мне, оказывается, еще в куклы надо играть! Пусть будет так... И одежду я шью, значит, для кукол! Тут вот некоторые, кому я сшила черкеску, выходит – тоже куклы... Пошли, Бадра, пошли отсюда...

– Так ты, значит, здесь и останешься стоять? – замялся Бадра.

– Останусь, – ответил Мсоуст, глядя в сторону, – а теперь иди...

Все последние слова Майяны, ее насмешка – все это ничего не значило: как только юродивый сказал о ревности, ее настроение тут же улучшилось, восстановилось, и уже не так легко было его испортить; теперь ей было все равно, куда идти, слова юродивого грели ее истосковавшуюся душу, делали ее такой легкой, воздушной...

В это время ударили в деревянное било, которое здесь иногда использовали вместо колокола, считая, что его гудение исходит как бы от самого древа жизни. Все притихли, потом сделали несколько шагов вперед, чтобы оказаться поближе к церкви. Двигались молча, слышен был лишь шорох шагов да дыхание тех, кто поближе, – оно туманцем разносилось и таяло в прохладе осеннего воздуха. Не смешиваясь с толпой, Мсоуст тоже сделал несколько шагов вперед.

Ацахва-прорицатель, выйдя из толпы, двинулся навстречу появившимся из церкви местному и приезжему священникам.

Нынешнее собрание народа было необычным. Не сходка, как всегда раз или два в году, не привычное праздничное богослужение. Уж и не помнили такого, чтобы собрались, как сегодня, сошлись на поляне у храма все – от мала до велика.

...Не могло долго продолжаться одиночество народа, над которым ураганом пронеслось изгнание-махаджирство, бедствие из бедствий, сдувшее столько жизней и судеб с лица этой земли, истерзавшее, опустошившее сердца уцелевших. Домашние божества, те, что прежде поддерживали дух народа, теперь притаились в страхе; поэтому люди здесь собирались на сходки, встречались друг с другом, чтобы лишний раз почувствовать близость, общность, и тогда немного отступал страх от них самих и от их божков.

В давние времена, когда на Кавказ пришло христианство, здесь начали постигать нового бога и уже молились в церкви, но другой, разрушенной теперь временем и похороненной под плющом и зарослями колючки.

Потом, позже, высадившиеся на этом берегу аскеры Османской империи принесли вместе с огнем и кривой саблей своего собственного бога и объявили, что нет бога кроме Аллаха, что их бог – един в мире. Но не так-то просто было выбить из покоренных огнем и ятаганом людей веру в Бога, которому они молились более тысячи лет, который к тому же давно породнился с их местными божествами. И люди тайком перенесли все: и веру, и святыни, и молитвы, и празднества из церкви – в свои дома. Правда, не так-то просто было найти в этих домах свободное, незанятое место. Там еще обитали очень древние, но дружелюбные, неревнивые божества: на обычном своем месте восседал Ажахара – божество домашнего очага; разлаписто, неуклюже ступала Джаджа – дородная богиня полеводства и огородничества; в закопченных кузнях из-за жарких углей выглядывал Шашвы – бог наковальни; здесь жил и великий Айтар – бог изобилия – со своими семью долями: Джабраном – божеством козьих стад, Жвабраном – божеством коров, Ачышашана – божеством табунов, Алышкентыр – божеством собак, Анапанага – божеством урожая, Амрой – солнцем и Амзой

– луной; из-за каждого перелеска мелькал покровитель охоты, старый ворчун Ажвейпш; со своих волшебных полян глядела Анана Гунда – покровительница пчел, любви и деторождения.

Их было много, и они не были слишком требовательны; иные довольствовались лепешками, медовыми сотами и сладкими пирогами-ацхаршы, кашей; некоторые не обходились без вина, но все же по сравнению с людьми довольствовались малым: в году всего лишь один кувшин вина, правда, самого лучшего; были и такие, что предпочитали к вину пенисто-белых агнцев, без единого черного волоска, а то и холощеного козла.

Если тысячу лет назад все эти божества вызывали святой гнев у Богородицы, то теперь, при общей беде, она глядела с икон примирительно, даже с сочувствием.

Когда же случилось страшное, когда народ, приросший к своей земле как мясо к кости, стали отрывать от нее с кровью, он, как утопленник за соломинку, готов был ухватиться за любое первое попавшееся – лишь бы уцелеть, выжить. Одомашненные неприхотливые божества, не обладавшие никаким влиянием вне родной земли, были тут бессильны, а лик святой Богоматери, которой поклонялись, презрев все свои прежние привязанности, опять стал непроницаем, взгляд ее был обращен на мир вообще, на мир, отнявший когда-то ее великого младенца, и язык, на котором этот народ молился ей тысячу лет, она успела позабыть за те триста, пока голос человека заглушали тут крики муэдзинов, безуспешно призывавших сынов этой земли обратиться к Аллаху. А помощь, поддержка нужна была сию минуту... Острый меч был занесен над существованием народа, его затягивало в чудовищный водоворот истории, – и тогда страждущие воздели руки, взывая к тому, самому далекому, верховному божеству, которому поклонялись их предки. Воззвали к Анцве – Матери всего сущего, чей лик неведом и одновременно знаком каждому: неведом потому, что никем не воссоздан, ни на фреске, ни на иконе, а знаком оттого, что все небо было ее лицом. Только такое бесконечно глубокое пространство могло вместить горе целого народа, его молитвы и упования. К тому же ответа на слово, что посылаешь так далеко, и ждешь дольше, а это само по себе продлевает надежду. Подобно тому сказочному герою, который, послав стрелу в небо, ждал ее обратно всю жизнь, людям приходилось терпеливо ждать милости Анцвы.

Но в том-то и беда, что пока молитвы долетели и были услышаны там, наверху, да пока они вернулись милостью и возымели действие, – те, которые обладали силой здесь, на земле, обошлись с народом как хотели. Большую его часть оторвали, как мясо от кости, от родной земли – и изгнали за море. На тот берег люди пришли уже без своего бога. Он, древний, как их земля, исчез в необъятной дали неба, он умер для них. Вот почему уцелевшие после эпидемий, голода и холода изгнанники жадно ухватились за чужого заморского бога – сделались подданными Аллаха.

А оставшиеся здесь, на истерзанной родине, уже не могли обойтись в этом слишком жестоком для них мире привычными, домашними, довольствовавшимися лепешками да небольшим кувшином вина старыми

божествами. Они опять обратили взоры к Богоматери, которой молились тысячу лет и которая в течение последних трехсот начисто забыла их язык.

И вот сегодня все они пришли сюда, на поляну к храму, услышав, что она все же вспомнила их речь и хочет поговорить с ними на их родном языке.

Вышедшие из церкви остановились посреди поляны. Священник, приехавший из уезда, выступил вперед, сделал несколько шагов к собравшимся. Потом, вскинув к желтоватому пыльному небу свое казавшееся от клинышка бороды (Бадра проспорил) продолговатым лицо, воздев руки, громко, чтобы слышно было всем, начал на абхазском:

– Отче наш, иже еси на небеси!

– О-о-х-х! – не то вздохнула, не то простонала толпа и разом подалась вперед, словно сдуло ее с места пронесшимся шквалом.

– Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

– Аминь! – простонала толпа и сделала еще шаг вперед.

– Аминь! – повторила уже громче.

Эхом отдалось от глухой стены церкви, от ближних склонов и холмов. Кое-где всхлипнули женщины. Потом опять стало тихо. До того тихо, что слышно сделалось дыхание собравшихся. Люди пытались сдерживать кашель, со слезами на глазах, с потемневшими от напряжения лицами.

– Дети мои... – опустив руки долу, просто заговорил приезжий священник. – Хочу сообщить вам, что в скором времени везде начнется служба на родном языке... Я хочу, чтобы вы знали: еще в давние времена – четыреста лет от Рождества Христова – наш народ выбрал христианство. Наш народ не только исповедал, но и распространял христианство среди других народов, тому свидетельство – святые храмы, возведенные нашими верующими предками на той и этой стороне Кавказского хребта...

Сначала все это чуть убаюкало Мсоуста – размеренная спокойная речь священника, звучание языка в непривычных выражениях молитвы, но одновременно он думал, не мог не думать и о той лжи, что несут народу служители Бога под его прикрытием. Постепенно он перестал слушать священника, собственные мысли захватили его – и кровь застучала в висках, мгновенно собрала в комок всю его силу, сколько хватило бы на целый день жизни... от напряжения его даже пот прошиб.

Пусть так – предки знали, какую религию выбрать, строили знаменитые храмы, распространяли христианство... Но что мы, с нами-то что стряслось?! – кипело в нем. Спросишь – скажут: да, стряслось, страшная беда постигла... Легко им сваливать на беду... но однажды свившему из своего несчастья гнездо – не дано вылетать из него. А вокруг – они же заодно, желают оставить все как есть – и служители Бога, и начальство, и местные дворяне, и торгаши – все дурачат, оболванивают народ.

– Так не за то ли добро, что творили наши предки, мы до сих пор расплачиваемся?!.. – невольно вырвалось у него. Слова обжигали гортань. Он глянул на колокольню, – так и подмывало рвануться туда, – но сдержался. В ушах его звучали такие колокола – не чета тутошним, они заставили бы заговорить, им бы откликнулась вся окрестность, вся израненная земля.

– За то ли прежнее добро теперь с нами так поступают?! – еще громче, перекрывая гул толпы, выкрикнул он. – Морочат нам голову, отбивают память, меняют имена и фамилии, которые звучали здесь всегда! Совершают черные дела, неугодные Богу! Если бы всю тысячу лет, пока мы исповедали эту веру, с нами поступали как теперь, никто бы сейчас и догадаться не мог, кто мы да откуда!

Люди на поляне застыли, замерли, боясь перевести дух. Лица обратились к Мсоусту.

– Кто это посмел нарушить наше собрание, презреть дела государственной важности?! – не по возрасту резко, не сдерживая себя, выкрикнул Алма – он стоял в окружении местных дворян, как старший среди них. – Кто этот, потерявший рассудок?!

– Давненько он не портил нам настроения... – добавил не очень громко кто-то из сопровождавших дворян, словно пугаясь собственного голоса. – Неужели не достаточно!..

– Все мы тут виноваты – до сих пор не привели его в чувство! Смеет нести всякий вздор, не считаясь ни с кем!.. – Алма выступил вперед. – Смотрите-ка, стоит, взявшись за кинжал, ему хоть бы что...

– Да пока он за кинжал держался, клинок-то заржаветь успел! – рискнул добавить другой дворянин, громко, чтобы рассмешить своих и тем сплотить и успокоить.

Это не они говорят, а их возраст. Надеются, что я вынужден буду считаться с их сединами, подумал Мсоуст. Если они герои, так где же молодые их отпрыски – будто воды в рот набрали! Что же до Алмы, здесь и годы его не остановят меня, таких в любом возрасте не грех уничтожить. Он еще смеет возвышать голос перед этим стадом, которому сам же изменял, когда ему надо было, не моргнув глазом! Нет, нельзя спускать им!

– Заржавел мой клинок или нет – это мы сейчас увидим... Выпотрошу поганые утробы и брошу вам под ноги! – Гнев влил в него еще больше силы, и теперь, если б даже и очень захотел, он не смог бы сдержать себя. Выхватил кинжал и в три шага-прыжка оказался возле потерявших дар речи священников. Те в ужасе отпрянули назад. Люди перед Мсоустом попятились, толпа сомкнулась и заслонила Алму и его свиту.

– Знайте, если вздумает кто стать мне поперек дороги – не пощажу! – выкрикнул он, словно выстрелил, и рванулся сквозь толпу вперед. И Алма, и вся его свита, и народ, который оказался между ними и Мсоустом, – торопливо отступали назад. Никто не знал, что же предпринять, чем все это кончится. Алма со своими дворянами, священники и сгрудившиеся толпой люди – все скопом быстро приближались к обрыву, которым заканчивалась поляна.

Столкнуть бы всех разом вниз! Но сквозь оглушавший Мсоуста гнев пробивался вдруг возмущенный голос разума: да и не все ли им равно, его соплеменникам, равнодушным к жизни, коли посвящают жизнь этим барчукам – своим воспитанникам и своим мучителям... те издеваются над простыми людьми – и им, однако же, все покорно прощают!

Толпа почти достигла обрыва.

И тут Мсоуста обдало чьим-то горячим дыханием – он сразу узнал, кто это...

Но как... откуда он мог тут взяться – ведь обычно на таких сходах не появляется... Видно, узнал от кого-то, что сын направился сюда... И опять Мсоуст услышал внутренний свой голос: до каких же пор так будет продолжаться, до каких! Вскипали в душе невидимые слезы... Ведь все видит, все понимает отец, и некому сказать, никто ему не внемлет... А здесь даже за себя заступиться нет возможности, по рукам и ногам связывают... Хоть с этим, Алмой и его окружением, разделался бы сегодня...

Отец так близко стал перед ним, что он едва успел отвести острие кинжала. Тяжело дышал, поднял вверх сжатый кулак, на лице отразилось мучительное усилие, но немы были разверстые уста. Потом, словно из-под тяжелого камня, придавившего грудь, издал какие-то звуки на языке немоты. Еще и еще силился сказать, но только похожие на шрам посиневшие губы дрожали. Глаза наполнились слезами.

Несмотря на то, что отец не мог произнести ни слова, Мсоуст понимал все: с этими ты сражаешься, с ними ты – герой, но не с теми бьешься, если такой герой, я могу указать...

Мсоуст не мог видеть его лицо, похожие сейчас на шрам посиневшие губы, его бессилие вымолвить слово, и больше всего – слезы, необыкновенно редкие в его глазах. Он повернулся и пошел прочь. Спустя несколько шагов, вложил кинжал в ножны. Миновал людей, с испугом и недоумением расступившихся перед ним, и, не прибавляя шагу, направился туда, где был привязан его конь.

ДОРОГА К ДОМУ

В красные глаза красная заноза вонзится,
В белые глаза – белая заноза...
Заклинание от дурного глаза

Из родного дома уводит в мир лишь одна дорога. И ноша того, который ступает на нее, легка, особенно если он еще очень молод. Какая там ноша – одни мечты да надежды на судьбу, покрытую пока еще тайной.

Решив окончательно и бесповоротно, что возвращается на родину, Мзалей вдруг понял такую простую вещь, что и домой ведет лишь одна дорога, только очень уж различаются они, эти дороги, – убегающая из дому и зовущая домой. И груз нажитого, пережитого с тех самых пор, как он

впервые оторвался от дома, был чувствителен, хотя, впрочем, ничего примечательного в нем не было – похоже на заводь, где стынет не своя, а отброшенная в сторону быстрым течением пена, след мимолетящей жизни. Но по мере того, как сойдя с поезда, оставившего его на полпути, пересаживаясь с экипажа на экипаж, он приближался к родным местам, все больше и чаще вспыхивала в нем радужными искрами надежда – на этот раз вела его к дому, и чувство тяжести рассеивалось, и он начинал дышать свободнее.

Наконец однажды утром, когда солнце стояло уже высоко, дилижанс, запряженный шестеркой лошадей, в котором он ехал, остановился. Он в нерешительности сидел на месте, пока не сошли все. Потом поднялся, выбрался из дилижанса и, отойдя чуть в сторону, замер. Он ожидал, что родная земля сразу же даст почувствовать себя – через подошвы довольно поношенных штиблет, приобретенных в тот период его жизни, когда он еще следил за собой и обращал внимание на свой наряд, через подошвы, истоптавшие на своем веку немало земли – крошащейся от лютых морозов, и глинистой, клейкой, скользкой, и прибитой камнями мостовых. Но оттого ли, что тяжесть собственного тела полностью предоставлена была сиденьям, пока он ехал в экипажах, оттого ли, что ручки саквояжа были неудобны, или оттого, что предстояло ему пешком преодолеть еще порядочное расстояние – он первым делом почувствовал лишь, что дорога его очень утомила. Не кликнешь же здесь носильщика («Эй, человек, отнеси это туда-то, оставь там-то. – Слушаюсь, господин...»)

Некоторое время он продолжал так стоять, не видя никого, отрешенный от всего, что происходило вокруг. Но понемногу он приходил в себя, в лицо плеснуло холодным ветерком, и показалось, что земля действительно дала о себе знать, дала себя почувствовать, надавив снизу на его подошвы; прояснилось и в ушах, оглохших от шума экипажей и топота сменявшихся лошадей, – звуки, голоса, разговоры стали доноситься до него. Он не удивился, что родной говор, по которому томился он так долго, сразу нашел, настиг его; удивился именно тому, что в каждом звуке, слове, вылетавшем из уст благообразного старика в серой черкеске, помимо смысла, что они несли, передавали, содержались еще и другие какие-то таинственные сигналы. Это, видимо, не было заметно тому, кто слишком привык к языку, но странно и непонятно было ему, слушавшему с жадностью, будто впервые. Он посмотрел на людей, толпившихся у экипажа, но каждый из них занят был собой, каждый существовал как бы в отдельности и думал лишь о том, как пройти поскорее и занять место поудобнее.

У благообразного старика усы и бородка были пенно-седые; по тому, как раздувались ноздри его соколиного, чуть загнутого книзу носа, по тому, как он протяжно дышал, сдерживаясь, видно было, что нервничает, раздражен. За его плечом стояли стройные девушки, одетые во все черное. (Старик хоть и строго глядел – по глазам заметно было: отходчив.)

Небольшая толпа у дилижанса тоже нервничала. Сыр-бор разгорелся из-за того, что двое, по виду мастеровые, все никак не могли протиснуться внутрь

– не давали, мешали пройти в экипаж один другому. Кряжистый, плотный, чернявый, с тяжелой сумкой – торчали разные плотницкие принадлежности: топор, рубанок, ножовка, молотки, долота – опустил поклажу на ступеньки, чтоб сперва самому подняться в дилижанс, а потом втащить и снаряжение. Не дожидаясь, мимо решил протолкнуться другой, весь рыжий, как рыжий муравей, с маленькими бегающим, хитрыми глазками; через плечо держал две связанные конусообразные корзины, в какие собирают виноград. Хотел протолкнуться – а плотник не пропускал его.

Мзалей отсюда не разбирал, что они там говорят на ступеньке, брызгая слюной, багровея, показывая свои прокуренные зубы, но видно было, что готовы вцепиться друг в друга.

Кому легко ударить другого, тому легко и перенести ответное оскорбление. Видно было, что эти оба из таких, готовых к унижению.

Девушки за плечом старика как одна подались вперед, желая предостеречь его, чтоб не вмешивался, не портил попусту нервы, а если что – так успеть успокоить.

Мзалей с вниманием наблюдал за толпой, за каждым ее движением, чтобы уловить изменения в поведении, повадках, которые произошли за время его отсутствия.

Многое, видно, изменилось с тех пор, как он уехал из дому. Время всесильно, оно способно на месте жарко пылающего огня оставить одну холодную золу да головешки.

Ни плотник, ни рыжий – никто не уступил; наконец оба протиснулись одновременно, придавливая друг друга к стенкам, багровые от напряжения, от гнева и ненависти друг к другу. Внутри экипажа они тоже продолжали браниться, но, наконец, не выдержав, снаружи на них прикрикнул благообразный старик – и те, как ни странно, сразу притихли.

Девушки за спиной старика еще больше подались вперед, боясь вовремя не успеть успокоить его, но он шагнул в сторону и еле заметным жестом дал им знать, чтобы прошли в экипаж.

Увидел это – и немного отлегло на душе у Мзалея; после разыгравшейся на его глазах мерзкой сцены он уж решил было, что от старого прекрасного этикета, уважения, внимательности друг к другу в этой стране ничего не осталось, быльем поросло.

Девушки послушно стали подниматься по лесенке. В платьях не слишком тесных и не слишком просторных, но доходивших до пят, они двигались не суетясь, не напрягаясь, не горбясь; только внимательный глаз ценителя мог заметить, как изящно слегка выгибаются спины, как тонки их станы, как чуть заметная загадочная улыбка играет на губах.

Вполне понятно и ничего предосудительного, если пожилому человеку трудно подниматься по ступенькам в экипаж, но благообразный старик очень старался, чтобы это не слишком бросалось в глаза, словно хотел дать понять: если он чуть тяжеловато двигается – виновата в том лишь неудобная крутая лестничка, которую давно надо привести в порядок. Когда, оглянувшись, он заметил постороннего, наблюдавшего за ним, лицо его вновь сделалось

раздраженным, и он быстро отвернулся. Поднявшись наверх, он прошел к девушкам и сел рядом. Мзалею было хорошо видно. Как только все устроились и успокоились, улыбки на лицах барышень, явившиеся, чтобы как-то скрыть усилие подъема, тут же исчезли, лица их застыли словно белые промытые речной струей камни, отнесенные подальше от берега весенним паводком.

Цвет лица у благообразного старика напоминал раскрашенный осенью кленовый лист. Спустя несколько минут, он как бы невзначай опять обернулся, обвел Мзалея с ног до головы неласковым долгим взглядом. Сейчас почему-то не раздувались раздраженно ноздри, как при ссоре простолюдинов, – выразил неприязнь иначе. Посмотрел – словно уличил, застал в тот самый момент, когда приезжий, то есть Мзалей, старался проникнуть в тайну, про которую никто не должен знать, кроме посвященных, – уличил, поставил на место и с этим отвел глаза.

Да, старик проникает взглядом до самых глубин, подумал Мзалей, – верно, в нем он усмотрел чужака. За время отсутствия Мзалей и вправду мог стать таким. Со стороны-то виднее.

Он машинально сделал шаг к дилижансу, желая заставить старика еще раз обернуться. А может, мудрый этот человек все же поймет, что не стал Мзалей таким чужим, как ему кажется... может, вдруг да скажет что-нибудь на прощание, даст окончательно убедиться, удостовериться – уловил он или нет сигналы, засекреченные в словах и звуках родной речи.

В это время та из девушек, что сидела посередке и была чуть повыше других, пользуясь этим преимуществом, перевела взгляд на Мзалея – так, чтобы остальные не заметили. Только сейчас он увидел, что она младшая из трех – и в самой поре цветенья. И тон ее платья был не такой темный, траурный, как у остальных, что-то бежевое. Чуть-чуть ожило ее холодное мраморное лицо, мелькнула едва заметная улыбка. Тонкие черты, прямой нос, высокая шея – по всему видно было, что хорошего рода, хорошей крови. И то видно было, что умела держаться в рамках поведения, обязательного для девушки ее круга. Только лишь губы, два розовых лепестка, трепетали, не могли скрыть жажды самостоятельной жизни, жажды освобождения от всех этих жестких рамок, где сочетались значимость имени и характер, и с виду холодное, мраморное лицо, и состояние траура.

В ее взгляде не было недовольства, упрека, аскетической замкнутости – лишь сдержанное любопытство присутствовало: незнакомый мир, незнакомые, неизвестно откуда явившиеся лица. (А вдруг это и есть тот долгожданный неизвестный край, и оттуда вдруг – незнакомец... вдруг – это именно царство сладостного, безграничного, свободного счастья, где ее освободят, выпростают из тесного корсета – обязательных строгих рамок поведения... царство, где ей позволят сжечь сказочную лягушачью оболочку, в которую ее заточил злой волшебник?.. А вдруг, а вдруг... Может, его просто случайно занесло сюда, незнакомца? И оттого стоит в нерешительности на этой истоптанной, изгаженной земле? Но может – не случайно, а прислали

его с наказом, чтобы умыкнуть ее для иного, прекрасного мира, откуда он сам?.. А вдруг, а вдруг...)

Кого только не увлекал, не обволакивал этот сон, не соблазнял, кому не морочил голову!.. Об этом говорят нам и простые сказки, и великие предания, и древнейшие, истлевшие письмена – жалобные завывания сквозь толщу веков, голос всевозможных молитв, песнопений, заклинаний. Но не кончается, все продолжается этот сон... (А вдруг, а вдруг, а все же вдруг!.. – попадаются, загораются опять и опять все новые и новые души.) И каждому, кто особенно подвержен, поддается мечтам, — им кажется, что сон этот все же придает кое-какую энергию надеждам, связанным именно с его временем, с тем, в котором пребывает... А вдруг, думает он, а вдруг... А вдруг – за тем поворотом, за тем холмом, за теми хребтами?.. Может, там есть какое-то спасение? А вдруг, вдруг?..

Наконец кучер пошевелил вожжами, пробормотал что-то невнятное – лошади переступили на месте. Но когда хлестнул их – и громким криком, и кнутом – они двинулись. И через некоторое время, оставив взамен запаха лошадиного пота и громыхания колес густую рыжую пыль, экипаж скрылся за поворотом.

Некоторое замешательство и даже волнение, вызванное в душе Мзалея таинственным взглядом барышни из дилижанса, еще немного времени слегка томило его, потом исчезло. Может, оттого ушло легко и бесследно, что вроде и начало ворошить какие-то его воспоминания, но так и не смогло сдвинуть их с места. Озадачило его лишь пренебрежение, недоверие в глазах благообразного старика.

Когда иной раз там, где он действительно был тонок и чуток, его принимали за своего, он, желая хотя бы на время утвердиться в этом качестве, вспоминал о своем имени, как оно было записано в церковной книге и в документах. Насколько он помнит, по-русски он был наречен в честь брата царя, Великого князя Михаила, которого, кажется, особо почитал отец. Но сейчас, – может быть, и звук имени имеет значение, и лучше вернуть из забвения настоящее.

– Мзалей, – произнес он шепотом, еще глядя в ту сторону, где скрылся экипаж, словно познакомился и проводил старика и барышень. – Мзалей...

Он переложил саквояж в другую руку и зашагал по тропе, где под ногой человека там и сям еще сохраняли жизнь островки упорной, стойкой травы-ползучки.

Поодаль он увидел приземистое продолговатое каменное строение, рядом торговая лавчонка. На каменном строении не было вывески, но по тому, как были распахнуты двери, как врассыпную стояли у входа какие-то люди, можно было предположить, что это подобие кабака. Хотя на первый взгляд и не похоже на питейное заведение, которые он знал и к которым привык, и не было заметно выпивших, шатающихся, пьяно закатывающих глаза, сквернословящих, тем не менее, не раздумывая можно было сказать, что это за местечко. У подобного рода заведений во всем мире есть роднящие их опознавательные черты, как у покойников цвет лица, будь они, питейные эти

пристанища, хоть стиля ранней готики или мавританского или вообще без всякого стиля.

Он обратил внимание на людей – расслабленно смотрели, как спускались с экипажа приезжие, как садились в него другие: какое ни какое, а зрелище. Потом с таким же усердием глядели на густую рыжую пыль, оставленную дилижансом, не то досадуя, что вот дорога плохая, вся изъеденная давними дождями, не то удивляясь тому, до чего же пыль напоминает розовую пудру – редкую пока что новинку женского туалета.

Да, дорогу бы приличную сделать... С этой обыденной мыслью молча посмотрят друг на друга. Но, к сожалению, наши руки никогда не дойдут... никто и никогда нас туда не пустит, где это можно решить, а то бы... – думают они неопределенно. (А вдруг, наверняка думает каждый, а вдруг... Вот если бы мы достигли, если бы наши руки доходили...)

Но как все такого рода люди, они тешат себя пустыми желаниями и мечтами – словно бы нехотя, почти брезгливо и, конечно, не имеют настоящего желания пробиваться, достигать высоты, где решают. Видимо, потому, что тот срок, который они уже прожили на белом свете, достаточен был для них, чтобы определить границы доступного, возможного. И конечно, убеждают себя в том, что очень, очень переживают наличие недоступного...

На необъезженного жеребца похожа власть для того, который решается просто подойти и взобраться на нее. Если даже из сотни кто-нибудь и удержится, все же обеими руками должен вцепиться в гриву, чтоб не слететь, не оказаться на земле – и оттого у него все время будут заняты руки. Свободно пользоваться властью может лишь тот, которого действительно взяли и посадили на уже объезженного жеребца.

Мзалей поравнялся с низким каменным строением, и один из стоявших там, очень тучный – жирный подбородок лежал на волосатой груди, лениво и безразлично глянул на него выкаченными как бы в вечном удивлении глазами – и громко рыгнул. На это двое молоденьких, с юношеским пушком на щеках, одинаковых как близнецы, оба в серых черкесках, как в ружейных чехлах, и одинаково стоявшие – положив ладонь на рукоять маленького, словно игрушечного кинжала, будто готовые пуститься в пляс, – оба в ответ дружно захихикали.

Вдруг толстяк испуганно еще больше выпучил и без того выпученные глаза, в его обращенном к Мзалею взгляде возник страх, – он отпрянул в сторону, словно Мзалей замахнулся на него. И в лицах одинаковых парней, затянутых в черкески-чехлы, померкла гримаса смеха – испуганно прижались друг к другу. Что-то кукольное было в них, и хихиканье их, казалось, донеслось из неведомого игрушечного мира – и тут же растаяло, не оставив следа в душе Мзалея.

Мзалей не придал значения внезапно изменившемуся поведению толстяка, однако, все же видел, как тот вдруг забегал – словно растревоженный майский жук, все мелькал перед глазами. И когда Мзалей, миновав питейный дом, стал удаляться, еще долго чувствовал взгляды тех кукольных фигурок у входа – но не обернулся.

Дорога повернула в сторону гор. И он вдруг стал смутно припоминать: ведь он и там не очень-то был уверен, что как только ступит на родную землю, – тут же будто рукой снимет у него с души все сомнения и колебания. А пока он был как во сне: ему то и дело казалось, что он просто выдумал для себя эту землю, и решение вернуться сюда во что бы то ни стало – выдумал, и уверил себя в том, что в мире у всех есть своя родина, одна единственная, – и у человека, и у диких животных, у птиц, и даже у рыб – и в конце концов, каждый должен быть на своей родине.

Таких сомнений было много, и они долго терзали его, но сейчас, предполагал он, все это в его душе уже утихомирилось.

Он поймал себя на том, что не очень-то спешит домой – и тянуло и не тянуло туда. Поэтому мысль о том, что день еще только начинается, что у него достаточно времени не торопясь насладиться окрестностями, дорогой, ведущей его домой, – мысль эта успокаивала его.

Мир в какой-то мере везде одинаков, един, – то же солнце, желтое расплывшееся пятно, те же пыльные дороги, пыльная, увядшая трава... – против воли лезло в его голову. Главное свойство земли – обращаться в пыль. Да кто же, наконец, и сам человек, если не пыль... рассыпавшаяся глина и есть пыль.

Но природа позаботилась, чтобы земля не превратилась снова в пыль: разрезала ее грудь голубыми руслами рек, набросила на нее живительные крапинки – озера, покрыла лесами, зеленым ковром трав, а океан, вмещающий отражение неба, дышит в него влагой...

Такого рода праздные соображения отвлекали, как бы защищали от мыслей об ожидающих его встречах, от возрастающей душевной тревоги. Он, правда, уже не чувствовал вкуса этих необязательных мыслей – как не чувствуют вкуса наспех проглоченного утром омлета. Но все же, если жизнь человека не составлена из ряда завязок, развязок, встрясок – обновляющих, преображающих ее, как буруны сонную реку, – не изжить вечного недовольства собой. Сколько б ты ни обманывал себя, столько бы ни отвлекался – в тебе всегда будет тяжесть недовольства, то вспыхивая, то угасая.

Дорога шла узкой долиной, вдоль обмелевшей, онемевшей реки. Сквозь заросли уже облетающего ивняка и ольшаников виден был обрыв берега и белая пена течения. Горы, степенно, задевая макушками небосвод, уплывавшие назад, пока он ехал в дилижансе, сейчас неподвижно взирали на него. Кроме самых высоких дальних гребней, в глубоких морщинах сохранивших кое-где посеревшие, обмелевшие остатки ледников, все остальные выглядели будто обугленные. Хоть время стояло полуденное, солнце уже казалось утомленным, красноватым, как при закате. Края неба окрашены были выцветшими постаревшими остатками зари.

Все, что он видел по сторонам долины – и холмы, иногда редкие, четко очерченные в воздухе, иногда толпившиеся, налезая друг на друга; и солнечные склоны с потемневшим полегшим папоротником; убранные кукурузные поля и открывшиеся замшелые, без возраста, валуны, и

застывшие горы, задевающие вершинами лоскуты неба, призрачные и голубые, как чистые озера; и солнце, уставшее после раскаленного лета, уже в полдень принявшее вид закатного; и кое-где еще чудом сохранившиеся остатки зелени, и вся эта сплошная осенняя пожухлость, поседелость – все было как в первый день творения; отовсюду сквозило непознанными, непознаваемыми тайнами, болью расставания, утрат и исчезновения, пылью, пеплом пока не зачатых, не оперившихся, несбыточных, утомивших ожиданием надежд... И небо, как огромная скорлупа, из которой все это вылупилось, застыло над ними.

С тех пор, как миновал питейный дом, он пока ни души не встретил. По дороге сюда, на родину, много было у него спутников, но с ними он беседовал о постороннем – о сокровенном же, об этой и предстоящих встречах не заговаривал ни с кем, ревниво сохраняя ожидание в самой глубине души. Но и тогда и сейчас его томило чувство, будто он забыл что-то важное – и не может вспомнить. В пути он думал, что как только ступит на эту землю, сразу все и прояснится. Но когда этого не произошло, он теперь уже даже не надеялся вспомнить кого-нибудь из прежней своей жизни, если вдруг повстречает. Чтобы как-то сохранить настроение, он принимался мечтать; он сравнивал себя не с путником, путешественником, а представлял воином, который шел, покоряя земли, повергая армии, цари и князья сдавали без боя свои царства и княжества; он начал свой поход, когда т а м клены и белоногие березы развесили свои золотистые флаги, – и пока он был в пути, они уронили их все ему под ноги, а затем и вся природа выбросила белый флаг. Те, золотистые, уроненные деревьями и уже почерневшие, как и пустые, словно обожженные степи – все покрыла эта белизна.

Но труднее всего – завоевать родину. Завоевать, пленить ее, чтобы признала тебя, найти силу, которая обратила бы ее лицо к тебе, если сначала отвернулась, не признав. Здесь, на его родине, флаги, если даже они уже выцвели, – не сложили, и не собираются так легко сложить.

Воздух пьянил его как вино. Долгое время не смываемые, не разжиженные дождями, застоявшиеся запахи заполняли легкие. Запахи стерни, нежной желтоватой травы, выросшей в то время, когда ничто другое не растет, сухой опавшей листвы, и пыли – напоминающей розовую пудру.

Т а м, откуда он прибыл сюда, там все покрыто снегом. Здесь – все смешано, неопределенно, трудно расслоить, разложить на части. И не только в природе, но, насколько он помнит, и в жизни. Пока он может твердо сказать лишь одно – будет ли хорошо, плохо ли будет, ждут ли его не дождутся или объявится он незваным гостем, станут ли с ним носиться или не удостоят даже сочувственного взгляда – все равно с этих пор жизнь у него пойдет совсем по-другому, иначе, не так, как было т а м, пока он не поехал, не рванулся вслед исчезающим в памяти людям и местам, целой исчезающей жизни.

Конечно, нигде этого не найти – желанного спокойствия и умиротворенности души и сердца, – но имеет значение, где и как они отсутствуют. Т а м, вдали от родных мест, никто не обязывает тебя жить

радостями и горестями чужой жизни, – скорее все безразличны к тому, как ты оцениваешь, относишься. Живи, существуй, мни траву, иди куда глаза глядят, возвращайся, если есть куда – всем все едино.

Но все равно, как бы ты далеко ни убежал, как бы ни старался запутать свои следы, от самого себя не убежишь.

И он опять хотел уверить себя, что и хорошо, что сохраняется то сокровенное «я», от которого не убежишь; вообще – что это за человек, который ни за кого, ни за что не болеет, не несет никакой ответственности!.. Всем этим в полной мере человек обладает только в одном месте – на родине. Для него, например, и восток, и запад, и север, и юг – все начинается здесь, и центр вселенной для него тоже здесь. И жизнь – если получится – должна получиться именно здесь, если не получится – тоже здесь.

– Вот так, таким образом... – начал он вслух, но, дойдя до своего имени, сделал паузу, словно споткнулся на нем: – Мзалей, Мзалей...

Т а м, когда он в теплом деревянном доме, отгороженный от мира заледеневшими на морозе стеклами, метался по своей комнате не находя себе места, от таких мыслей начинали гореть глаза, подступали слезы. И имя его, которое он иногда в разговоре с самим собой произносил вслух, звучало т а м словно голос южной птицы, случайно залетевшей в снега. Все последние годы ни днем, ни ночью не оставляла его эта тоска, не уходила. Таким он и сел в поезд.

Но и здесь он еще не знает пока, не ощутил: то ли он не существует для своей земли, или уже земля для него не существует.

– Мзалей... – произнес он опять вслух, словно вспоминая забытое. Это имя, давно никем не произносившееся, ставшее и для него самого словно бы чужим, показалось ему сейчас чем-то вроде круглого сироты, потерявшего близких в самом раннем детстве. Кто-то, может и случайно, предложил назвать его, малыша, этим именем, а после – кроме няньки – никто уже не звал, обходились иным. Отец обращался к нему – «сынок», мать – «малыш», братья говорили – «меньшой», а люди со стороны – «сын такого-то». Т а м его имя было чужое, а здесь, верно, уже позабыли о нем.

Сколько лет прошло с тех пор, как он уехал отсюда, но помимо дворянского звания, которое ценилось там, где он был, да небольшой суммы денег, которую он получал регулярно, ничего и не было, никто ни разу не позвал его домой или не приехал сам – навестить.

Но в любом случае он надеялся найти успокоение во встрече с родиной. Почему же тогда она сразу не признала его, сделала вид, что он все запамятовал? Ведь она же упорно звала его, и он просто не устоял перед этим зовом, не мог устоять.

В это время ему послышалось, будто кто-то окликает его. Однако, не убежденный, что зовут именно его, он не остановился и не оглянулся.

– Эй! – послышалось уже явственнее. – Уаагыл*! Стой!

Странно, что это за грубый окрик, удивился он без раздражения, и, остановившись, оглянулся. Его догоняли стражники. Один с винтовкой наперевес, у другого за спиной поблескивал штык.

Неужели все еще существуют кордоны, с болью и возмущением подумал он, неужели до сих пор преследуют возвращающихся на родину? Неужели это обман, что с народа с н я т а в и н о в н о с т ь?

Оба стражника приблизились – держались опасливо, не спуская с него глаз. У того, что с винтовкой наперевес, видно, дрожали руки, потому что заметно ходило дуло. По его побледневшему лицу катились крупные капли пота. Другой, с пышными рыжими, закрученными на концах усами, стал чуть поодаль, набычившись, насупив брови, – штык наизготовку.

– Чем могу служить? – спросил Мзалей холодно, не скрывая брезгливости.

– Документы... – выдавил тот, который стоял ближе.

Как только Мзалей заговорил, заметно было, что стражника отпустил испуг, даже стал возвращаться цвет лица.

Мзалей молча вынул из внутреннего кармана паспорт и протянул. Стражник не взял, кивнул второму. Рыжеусый подошел, взял паспорт, посмотрел туда, потом на Мзалея – и поднес паспорт к глазам своего напарника. Тот вгляделся – и сразу опустил винтовку.

– Виноваты, ваше благородие! Ошиблись! – Он поднес ладонь к виску и засмеялся, окончательно приходя в себя.

– Отбой! – крикнул другой, рыжеусый, помахав рукой в сторону зарослей ольшаника. Оттуда вышло еще трое вооруженных стражников.

– Видать, кто-то вас напугал не на шутку?.. – ухмыльнулся Мзалей.

Эти двое объяснили ему: вчера, оказывается, была стычка – на сходе возле храма один крестьянский сын пошел на целую группу дворян. Сейчас он укрылся в лесу. Все оповещены, здесь, в округе, многие его знают. И когда он, Мзалей, объявился тут, кому-то показалось, что это переодетый беглец. (Хорошо же он начинает свою встречу с родиной!) Напуганного, оказывается, хотели уверить, что он обознался (никто же не хочет средь бела дня проглотить горячий свинец!), но тот боров стал грозить, что пожалуется начальству (да он и пожалуется!), тогда вот и пошли за приезжим следом.

Еще они с видимым опасением за свою жизнь рассказали, что тот, который подался в лес, в абреки, – тип опасный, и просто так с ним не справиться.

Мало ли что кому показалось... ну – почудилось толстяку у пивной, что он похож на того абрека, – Мзалей не придал особого значения; но вот что все тут были не на шутку предполагаемым сходством напуганы, ему польстило.

Недаром сказано: кого хотят сокрушить здесь, на земле, – само небо жалует. Если поверженный, униженный народ еще в силах родить таких отчаянных и сильных, как этот абрек, – значит, не смогли убить его дух.

Мзалей не держал зла на стражников – видел, что перепуганы, да и честно открылись ему. Но главное – они не были из к о р д о н а, из тех, что

задерживали несчастных изгнанников, возвращавшихся после махаджирства на родину, и отправляли обратно, в неизвестность...

Оставив за спиной свободно вздохнувшую стражу, Мзалей зашагал своей дорогой и сразу позабыл весь этот фарс.

Теперь ему стали встречаться убранные кукурузные поля. По срезанным стеблям можно было бы определить, что в этом году кукуруза хорошо уродилась, но Мзалей не разбирался в таких делах, так что и не обратил внимания.

Прошел еще немного – и за убранными полями на зеленой лужайке сгрудились лошади. Мзалей остановился. Вдруг лошади отчего-то заволновались. Раздалось злое пронзительное ржание, из табуна выскочили вороной жеребец и резвый стригунок. Вороной отогнал стригунка подальше. «Ги-и-и... – заржал он на этот раз спокойнее. – Еще раз поймаю, дух вышибу!»

Мзалей улыбаясь двинулся дальше. И вот – дымок за перелеском.

– Э-эй, Мзалей!.. – вырвалось у него невольно, и сердце тревожно замерло.

Когда он уезжал, здесь кругом были одни лишь брошенные опустевшие дома, погасшие очаги. Может, кому-то удалось уже вернуться из-за моря и снова зажечь свой очаг!

(А вдруг, а вдруг...)

Он зашагал быстрее, вот поворот – и показались несколько небольших, непривычно приземистых, плоскокрыших табачных сараев. Дальше тянулись внушительные участки бывших табачных плантаций. Из еще не осевших гряд торчали стебли, на верхушках желтели редкие остатки листьев, с собачий язык, да пожухлые, почерневшие соцветия.

За табакосушильнями, по обе стороны дороги, жались друг к другу несколько домиков. И убогий вид жилья, и слишком тесное соседство – такого раньше здесь не водилось.

Ему сделалось душно. Расстегнул ворот рубахи и поспешил дальше. Самое страшное, вдруг подумал Мзалей, самое страшное – когда человек на своей же родине – как чужой или как в тюрьме.

У этих домишек и дворов-то не было, лишь перед каждым, словно изъеденная молью козлиная шкура перед скрипучей древней кроватью, лежал кусочек истоптанной плешивой землицы. Видно было, что в дождь он превращается в грязное месиво. Сейчас же выпирали, как кости худого тела, засохшие комья...

Из домишка вышла женщина – приземистая, кособокая, с лицом, будто вымазанным сажей. Сначала прислушалась к чему-то, потом закосолапила по плешине перед дверью, завернула за угол, глянула на ту сторону. Быстро вернулась и уже перед входом в дом раскрыла рот: визгливый голос, непонятные слова дошли-таки до тех, которым были предназначены, – и оттуда, с другой стороны дома, выскочили двое мальчишек, в лохмотьях, тоже вроде как перемазанные сажей. Женщина сделала два решительных

шага к ним, как два броска, и издала еще несколько визгов, один за другим, сдобрив внушительным количеством слов (забавно смотреть со стороны, не понимая языка, как возникают слова и как они достигают цели). Губы человека и гортань делаются привычными к словам родного языка, как губы ребенка к соскам матери. И слова вспыхивают одновременно с мыслью, и каждое из них расцвечено, имеет вкус тех мыслей, с которыми они вылетают на свет. Слова поступают с устами как хотят; могут сомкнуть их (словам тоже необходимо дыхание, воздух, без него они немы), или вырываются обжигая, или держат уста раскрытыми, томят ожиданием. Слова прикидывают, сами выбирают, какие звуки им лучше вызвать, чтобы нарисовать оттенок, найти лучшее сочетание...

Решительные броски женщины не произвели впечатления на быстроногих мальчишек, те понимали, что их пугают, но бежать за ними – разве догонишь! Они лишь чуть попятились и захихикали, обнажая бледные десны. Потом вдруг сорвались с места и разбежались – один налево, другой направо. Женщина еще взвизгнула, более раздраженно, опять начинив крик несчетным количеством бог весть каких слов. Потом, успокаиваясь, примирительно заворчала. Только тут она вдруг вскинула голову и посмотрела на Мзалея. Видимо, все это время ощущала присутствие чужого.

Они встретились взглядами.

Но как и голос, начиненный непонятными словами непонятного языка, ее взгляд словно пронесся мимо. Она видела иначе, время и обстоятельства сотворили ее зрение по своему образу и подобию.

Такими были не только он и эта женщина! У людей даже одного племени, одного рода глаза, которыми они видят мир, и то, что они видят и хотят видеть, и как видят, – все это отличается, а уж тем более отличается от того, как видят люди иного племени. Бывает, что эта особенность невелика, с какую-нибудь точечку, но попробуй эти точечки совместить!

Как же среди тысячи взглядов найти, заметить себе подобный?

Ты для моего зрения ничего не значишь, – откровенно говорили глаза женщины, – здесь есть только мой взгляд, мое видение, мой мир и я сама.

И Мзалей, не скрываясь, ответно смотрел на нее – как человек, узревший на своем дворе чужака (не я, а ты – кто такая?).

Он не знал – какая сила питает ее взгляд, какого греха этот взгляд боится... но его собственный говорил ему, что здесь в свое время плугом прошлись по еще вчера теплым очагам изгнанников-махаджиров, где не успела остыть зола. И никому нет дела до того погибшего огня, который засыпали, – его могильщики спокойно развели новый.

Пока Мзалея носило по чужбине, вдали от родных мест, время успело распорядиться его памятью по-своему: как у засыхающего дерева слабеет связь корней и кроны, так у него ослабло чувство родной земли... но сейчас он будто впервые увидел и почувствовал – и боль пронзила его. Он словно прирос к земле, не хотелось уходить... Но и женщина стояла как вкопанная, упершись кривыми ногами в вытоптанный лоскуток перед входом.

Конечно, ее личной вины здесь нет...

Но все же опыт и чувство подсказывали, что женщина эта знает звериным чутьем своим, что не прочно стоит на этой земле, когда перед ней человек, предки которого вложили в эту землю всю свою душу... Защищаясь, пролили тут своей крови намного больше, чем пота... чует, что в жидких ее патлах вряд ли наберется столько волос, сколько лет это все тут продолжалось...

Тот, который решил из чужого несчастья извлечь выгоду и втянул в эту авантюру свой народ, – он предал его, люди невольно вовлеклись в великий грех. Правда, если случится так, что сбудется народное предупреждение и львиная доля сотворенного зла возвратится к своим истокам, тогда-то совершившие зло поймут всю опасность своей затеи, ощутят, как почва стремительно уходит из-под ног и неотвратимо близится возмездие.

И тоже правда: у того, который пришел и занял чужие пепелища, за спиной остались свои собственные, осиротевшие. Мзалею казалось, что женщина, которая сейчас стояла перед ним, все теряет уверенность, ее одолевают сомнения, не времянки ли эти домишки. Вдруг она отвела от него взгляд – сильнее прежнего взвизгнула несколько раз, выбросив опять изрядное количество слов, не представляющих для него цены, будто горсть камушков. Может, хотела как-то приободрить себя?

Наконец Мзалей стряхнул оцепенение – и зашагал прочь.

Но тут же увидел, как из соседних домиков высыпали на крик женщины еще люди – и тоже издали ответные взвизгивания, начиненные горстями слов-камешков. Пока он шел улочкой этого нового селения, жавшиеся друг к другу домишки о чем-то беспокойно перекликались.

По тому, как они заволновались, будто растревоженный муравейник, Мзалей понял: люди эти, видно, тоже признали в нем того абрека. Конечно, и они были оповещены о беглеце (хорошо, очень хорошо начинает он встречу со своей родиной!..).

Вдруг его осенила догадка, он обернулся и посмотрел на ближайший домишко: да, так и есть – все они были построены из старого материала, из разобранных осиротевших жилищ изгнанников.

Может, он заблудился? Может, он вышел из дилижанса не там, не доехал, или проехал? Но если даже и так, это ничего не меняло: несколькими километрами ближе, несколькими километрами дальше, – ясно, он увидел бы одно и то же.

Хоть и многое позабылось за эти годы, дорогу домой он помнил хорошо.

Как именно он уезжал – по этой же самой дороге – он помнил смутно, и переживаний тогда у него особых вроде не было. Но сейчас, оживая, эти будто бы уже умершие воспоминания вдруг отозвались болью...

Тогда, уезжая, он видел здесь покосившиеся изгороди, дворы, поросшие бурьяном, давно остывшие трубы, из которых торчали кое-где бледные ростки колючек, как вялые хвосты разомлевших на солнце ящериц... Он видел зарастающие сорняками поля... запах попадавших гниющих в садах фруктов преследовал его... а несобранный, брошенный виноград потом всю зиму будет чернеть из-под снега...

Но вот что он хорошо тогда запомнил – лица. Лица тех, которые уцелели от изгнания и которые видели все это, – они напоминали маски греческих трагедий.

Остались – или растворились во времени, исчезли эти маски?

После того, как он увидел это странное поселение, он подробнее вспомнил и местность. Прежде она называлась Арха, то есть равнина, плоскость. Жители здешние известны были как отменные игроки в аимцакиача*... Да, еще они держали превосходных скаковых лошадей и сами славились как наездники...

На деревьях здесь уже мало оставалось листьев, заросли кустарника светились ярко-красным – так они умирали.

Все же, как выручает, врачует душу природа, думал он, святая природа! Впереди показался продолговатый холм, волнами спускавшийся от предгорий вниз, в долину, очертаниями напоминавший дальние хребты. Мзалей его хорошо помнил, почему-то именно его. В тот день, когда он уезжал отсюда, чтобы до этой вот минуты не появляться здесь, – или, как он тогда загадал в душе – никогда больше не возвращаться сюда, – в день отъезда холм этот особенно привлек его внимание; глупому его сердцу, ожидавшему восторгов свободы, почудилось, будто горный отрог поспешил опуститься сюда, как рука, протянутая для прощания.

Он не выдержал, разрушил, переменил все свои тогдашние решения, тайные замыслы... но может быть и те, которые отправляли его – на время – учиться в Россию, тоже думали, загадывали, как и он тогда?

Он помнил – прежде этот холм был голый, даже редкое деревце, кусты не попадались на его склоне. А сейчас по всей его волнистой гряде протянулась рощица. Когда холм круто спускался вниз, к долине, казалось, деревья упираются, подаются кронами назад. Даже отсюда, снизу видно было, что стволы у них – мощные, не прутики какие-нибудь.

Но одно точно: рощица эта не помнит никого из тех, что уехали отсюда раньше, прежде, чем она поднялась. Это даже чуть огорчило Мзалея, будто оголившиеся стволы и вправду были людьми, а не деревьями.

Если за время его отсутствия на этой земле успели осесть люди, которым она и во сне не снилась, захватили ее без единого выстрела, – что стоит дереву родиться и вырасти!

Он уже поднимался по косогору и дышал все учащеннее. Саквояж делался тяжелее, он чаще перекладывал его из одной руки в другую. Все старался вылезти из этих прилипших раздумий-воспоминаний, перейти к приятным, которые сделали бы его ношу легче, путь короче, настроение лучше, – но не получалось.

...Разве в могилах предков этих людей, переселившихся на еще не остывшие очаги, – не кости отцов – игрушечные сухие веточки? – опять и опять все к тому же возвращался он мыслью.

Разве может стать родиной для чужих земля истерзанного народа, пережившего самую тяжелую из трагедий – отлучение от родной земли, которой люди доверяли свою жизнь и смерть тысячелетиями? И положена ли

родина тому, кто, презрев свою собственную, позарился на чужую? Видно нет, не положена, – он ее и не удостоится!

...Неужели все еще продолжается то, что было обозначено как «великое переселение народов», – нашествия, наступления, передвижения целых племен, которым за каждой новой далью мерещится новое Эльдорадо... идущих, определяя путь по звездам, оставляющих за собой сыпучие пески пустынь, выжженное пространство?..

В древности это переселение было почти естественным, ибо еще оставалось много не освоенных, не ставших ничьей родиной земель. Но сейчас? И сейчас, похоже, все это продолжается, только не так прямо, откровенно. Неизвестно, где оно настигнет тебя... вроде как насекомые, пользующиеся мимикрией, ползут по траве, прячутся за листвой... так и зуд завоевания чужой земли растекается под кожей пространства...

Кто ведает, как все будет здесь завтра, чем обернется? Откуда ему об этом знать... Что готовит день грядущий людям, которых судьба сегодня треплет будто тряпичных кукол!

Поднявшись по склону холма, он очутился на просторной лужайке. Отдышался и хотел было двинуться по дорожке дальше, но заметил вдали фигуру человека, возникшего из-за поворота, и остался стоять на месте.

Может, встречный – из тех, кого он помнит, или кто помнит его...

Кроме скупых сведений из писем, которые он изредка получал т а м, или общих слов при случайных встречах с земляками, еще более редких, чем письма, он ничего толком не знал, ничто не доходило до него об оставленных здесь близких.

И если он до сих пор был увлечен широкими понятиями – мир, бытие, родина, народ, – то сейчас вдруг понял, почувствовал, что все это начинается все же с конкретного – свой дом, свой отец, мать, братья...

Как только это свое, сокровенное, вдруг напомнило о себе, сердце у него замерло, ноги подкосились и стало тяжело дышать – словно проснулась неимоверная усталость, накопившаяся за годы разлуки...

К тому же – как себя вести при встрече, это тоже не праздный вопрос, за этим здесь очень следят. И как бы ты сильно ни скучал, как бы твое сердце ни исходило любовью, ни истосковалось, если ты дашь волю чувствам, станешь метаться как неприкаянный, смахивать слезу, – тебе, конечно, не дадут знать, но в душе никто тебя не одобрит.

Здесь, насколько он знает, уважают, когда ты делаешь все что надо, но ненавязчиво и некрикливо.

А вдруг... эта его затея с возвращением – необдуманный плод гордыни, вдруг неосторожным было с его стороны приехать сюда, откуда еще юнцом сбежал? В те времена туда, в большой мир, его тянули мечты и надежды, которыми всегда переполнена юность... тем более что этого определенно возжелала мать.

Но что же, что его так сильно потянуло обратно, – когда ни в письмах, ни через земляков, с которыми он так редко встречался, ни единым словом не

дали ему знать... не то чтобы кто-то позвал сюда – нет, даже не спросили, что он сам думает по этому поводу.

Да, возвращение его было не случайно. Но до сих пор он не мог дать себе отчета, не был до конца уверен – почему он решился: то ли пришла пора перед своей жизнью, в пустоте которой так долго свистел ветер, поставить наконец цель; или надо было поддерживать свой дух; или, может, сама родина позвала... он не знал ответа, как не знал и того, почему все же никто из родных за это время не позвал его домой.

Пока Мзалей думал так, человек приближался. Шагал уверенно, слегка покачиваясь при ходьбе из стороны в сторону. В руке не то посох, не то дубина – поднимал и опускал в такт движению. Получалось – шел он таким образом, что занимал всю дорожку. Мзалей следил за его странной, какой-то развинченной, развязной походкой – и видел: шатался тот не от выпитого, нет. Выпившего человека можно узнать сразу, в его пошатывании ничего и нет, кроме пошатывания, неверности шага. Этот же раскачивался на ходу из стороны в сторону с видимой энергией, будто распирала его сдерживаемая сила. Неизвестно, от зла это шло или от добра, но во всяком случае ясно было, что тут вам не игрушки.

По мере того, как встречный подходил ближе, он все больше становился похожим не то на странствующего монаха, не то на юродивого.

Мзалей, отдышавшись после подъема, пошел ему навстречу.

...Неужели и сюда уже добрались эти странствующие праведники, подумал он раздраженно. Шатаются по свету, распространяя отвратительный запах грязного белья, засаленного своего облачения, бормочут о своей божественной миссии и подносят крест к масляным губам... Если и вправду чисты и святы, стоят на страже Божьей справедливости и во имя предотвращения греха готовы принять адовы муки, то где ж они были, когда народы Кавказа изгоняли с родных земель и пускали по миру с благословения тех же служителей веры! Почему же ни разу не отверзлись в защиту справедливости уста, скрываемые в зарослях густых и холеных бород, сильные чувственные уста, не обделенные земными благами, радостями и вожделениями?!

Где же были обычные, привычные слова о любви к ближнему, где они были в тот час, когда могли бы прозвучать знаком великого милосердия для несчастных сынов и дочерей древних христиан, терпящих бедствие на том и этом берегу лазурного моря, ставшего для них черной погибельной дырой, обернувшегося бездной страдания!.. В тот час, когда несчастная, с ума сходившая мать затягивала колыбельную умирающему младенцу, чтобы не выдать, скрыть его смертную судорогу, когда она смеялась, радостно ласкала его, будто и он ответно хохочет ей в лицо... когда страшно цеплялась за последнее мгновенье жизни – но... но несмотря ни на что вырывали перевозчики из ее рук еще живое, еще тепленькое тельце ребенка и бросали в черную пасть моря... В тот час исхода с родины... Почему же хоть не помолились тогда за эти невинные души? Не это ли было – новое избиение младенцев! И где же, где они были, эти служители веры, когда две алчные

империи тянули, рвали к себе земли здешних народов, обескровленных долгой борьбой, смертельно уставших от многовековой своей кровавой истории, неутихающей смертельной схватки с хищниками...

Шедший навстречу по мере приближения замедлял шаги, укрощал свое слишком вольное, будто победное покачивание из стороны в сторону.

Мзалей тоже не спешил.

Вдруг всплыло, как в детстве его нянька лечила заговорами от сглаза. Он почему-то вспоминал об этом весь путь, стоя у окна вагона, когда колеса пели, хвастаясь: «Примчим, примчим, примчим... с ветерком, с ветерком...», когда лошади, запряженные в дилижанс, начинали дружно отбивать ритм на ровных, не ухабистых участках дороги.

В тот день, подозревая неладное, нянька не велела ему утром вставать. «Всю ночь плохо спал, просыпался от страха, и сейчас глаза все время в одну точку смотрят, – говорила она испуганно. – Небось сглазили тебя».

Когда нянька упорно стала твердить насчет сглаза, он вдруг вспомнил того человека, что пришел накануне, уже под конец праздничного застолья и сидел некоторое время с вчерашними гостями. Смуглокожий, густые седеющие брови все время в напряжении держали высокий лоб, усы тоже были густые. Его он запомнил больше других гостей из-за нижней губы: даже не губа была, а шрам, или след от сильного ожога. Остальные все время ели, раздували щеки, жевали, а потом вставали, говорили тосты и поспешно выпивали. Пришедший под конец гость этот сидел в конце стола. Изредка он клал под усы маленькие кусочки, но большей частью вообще ничего не ел. Каждый раз как наполняли стоявшую перед ним деревянную пиалу, он отпивал при общем тосте лишь чуть-чуть. Улучив минуту, когда сидевшие за столом были заняты произнесением и слушанием тоста, он переводил взгляд и смотрел на него, на маленького Мзалея, с какой-то тихой неутолимой тоской.

Сначала Мзалей не обращал на это внимания, увлеченный новой игрушкой – вертящимся на перекладине деревянным гимнастом, что привез ему из города старший брат.

Но пронизывающий взгляд того человека со шрамом вместо губы наконец заставил его обернуться. «Ах, я узнал его! – сначала обрадовался он внезапному озарению. – Это тот, который в сказках тайком уводит маленьких детей и, прикрывая густыми усами, съедает их... Видно, оттого он так мало и ест – человеческая еда ему претит...»

Как дошел до последней догадки, так у него и упало сердце.

Выскочил из залы и бросился к няньке, та сидела на веранде, и плюхнулся к ней на подол. Она отложила прялку и обняла мальчика. «Что ты так дрожишь, ненаглядный мой, что тебя так напугало?..» – встревоженная, сама себе задала вопрос. Но не вскочила, не стала звать на помощь; как всегда спокойно поразмыслила и сразу решила, что нужно. Повела его, уложила в кроватку. Почему-то и он ничего не говорил о случившемся, и она ничего не спрашивала... просто открыла ему глаза средним пальцем правой руки –

сперва один, потом второй, посмотрела под веками... потом стала всматриваться в пространство, будто хотела энергией своего праведного взгляда вызвать сюда, увидеть эти плохие глаза, обезвредить их, оставить пустыми, неспособными возыметь силу. Через некоторое время она стала постепенно приближать свое старое, морщинистое чистое лицо к его лицу и дуть на него. Это было как дуновение райского ветерка, страх улетел. «Рыжий человек, рыжие усы, тяжелая челюсть, его дурной глаз для него же пусть обернется дурным... – она смотрела так, как будто сквозь лицо мальчика глядела в те дурные враждебные глаза. – В красные глаза пусть красная заноза вонзится, в черные – черная заноза. Тьфу-тьфу...»

Ему хотелось возразить, сказать о том, что тот человек не рыжий, а смуглый, но ее дыхание, это райское дуновение, до того убаюкало его, что не хотелось даже открывать уста. Нянька все хлопотала над ним – обезоружить, обезвредить, свести на нет то, чего достигает этот, с дурным взглядом, не пошевелив ни рукой, ни ногой.

Так незаметно и уснул тогда маленький Мзалей.

Шедший навстречу поднял тяжелую крупную голову, только теперь заметил Мзалея – и выправил походку, зашагал тверже. Тут можно было догадаться, что он вовсе не так стар, как со стороны, по внешности казалось. Мзалей почему-то весь напрягся. Идущий навстречу тоже вроде насторожился; будто он кого-то выследил – или же почуял, что кто-то выслеживает его самого.

Неужели в крови человека еще живет его древнейшее, древнейшее предостережение, когда он не доверял себе подобному: как бы тот внезапно не схватил его за горло да не выхватил у него дубинку, камень... как бы не вонзил тогда еще не по-человечьи, а по-звериному крепкие зубы?!

Когда незнакомец, шедший навстречу в драной тяжелой зимней рясе, глянул исподлобья, Мзалею показалось – тот будто вздрогнул и даже шатнулся назад... но не остановился, не повернулся, а все так же двигался вперед.

Уже приблизившись, еще раз посмотрел, да так, словно желал пронзить взглядом, и сразу Мзалей заметил, как с него спало напряжение. Отвел равнодушно глаза и продолжал шагать, занимая самую середину дороги.

Этот не обманется, как те из трактира, не спутает абрека с обычным мирным путешественником, пусть даже и напоминающим его внешностью, заключил Мзалей.

Мзалей тоже не посторонился. Только сейчас он разглядел, что на встречном под старой оборванной рясой – широкий, прочный новый ремень. К такому ремню могло быть подвешено все что угодно, хотя бы и оружие, – все это покрывала ряса. В руках он держал обструганную и обожженную увесистую толстую дубину, не то самшитовую, не то кизиловую.

Так больше и не удостоив его ни приветом, ни взглядом, не подумав даже посторониться хотя бы чуть-чуть, с большой головой на крепкой шее, с непричесанными густыми с проседью волосами, с бровями, которые

сходились, глубоко вдавливая в лоб переносицу, с тяжелым, свисающим подбородком, – чуть не брезгливо отвернув голову, встречный пронес свое мощное тело мимо, обдав резким запахом пота и ношеной грязной одежды.

Хотя, проходя мимо, он даже не прикоснулся к Мзалею, тому показалось, что у него весь бок затек, одеревенел, словно сильно задело его – нет, не человеческим, а чем-то таким тяжелым, железным.

Мзалея в последнее время мучила забывчивость, сделался рассеянным, – но сейчас ему показалось, что где-то он его видел, этого незнакомца. Не где-то даже, а, пожалуй, – везде: и в дальних краях, и на родине – он сразу узнавал их, эти глаза, этот взгляд – хоть бы и в толпе, хоть бы и праведнику или юродивому, как нынче, принадлежали...

Да, где бы он его ни встречал, такой взгляд, – сразу портилось у него настроение и на душе делалось тревожно и страшно, как тогда в детстве от дурного глаза.

«В красные глаза – красная заноза вонзится, в белые глаза – белая заноза, в черные глаза – черная вонзится... – вспомнил и забормотал он заклинание, которое знал еще с детства, со слов няньки. – В красные глаза... вонзится, вонзится, вонзится!..»

Сейчас ему вдруг досадным показалось, что он не остановил юродивого, не расспросил. Ему представлялось, что тот от него уходит победителем – победителем при смертельной схватке дикарей, доказавшим, что в нем больше дикой ярости, по-звериному острее и крепче зубы.

«В красные глаза – красная заноза...

Вонзится, вонзится...»

Теперь он видел перед собой, как по холму вереницей спускались к дорожке деревья, ближе оказалось – платаны, уже сбросившие листву. Насколько он помнил, стоит срезать ветку платана и воткнуть в землю – пойдет в рост. И этот длинный ряд тоже, верно, поднялся вот так, из веток, подумал он, столько саженцев и невозможно было бы сыскать. Но все же деревья, выросшие не из нормальных саженцев, что с корнями, – они все же другие, словно бы нереальные, будто театральная декорация.

Перед кем же они так торопливо сложили свои осенние флаги, кому так легко изъявили покорность? Видно было, что платаны очень молодые. Настоящее их возмужание еще впереди, и длится оно у них так долго, что к их поздним годам на этой земле не одно сменится поколение.

Но и тогда не переведутся, останутся такие, как только что прошедший мимо него... Даже умерев, они объявляются снова, оживают – но не как природа, которая воскресает, чтобы цвести снова, – нет, восстают, чтобы поражать, испепелять своим тяжелым диким взглядом все нежное, все хрупкое, постоянно в страхе держать сердца чистых и безгрешных.

В народе говорят, что добро и зло всегда пересекаются, ни того, ни другого не бывает в чистом виде. Но зло доказало, и не раз, что способно существовать и без примеси, неразбавленным. Только оно умеет приспосабливаться, делаться невидимкой. Даже и там оно появилось уже, где

ничего еще кроме него нет, – в будущем, скажем, еще не наступившем времени – начинающемся месяце, грядущем годе...

Почему же его так задел этот бродяга? Откуда он знает его, чтоб так уверенно рассуждать о нем? Сам себе удивившись, Мзалей остановился и посмотрел в ту сторону, где уже и след простыл встречного – странника ли, юродивого или просто притворяющегося им – какое ему, Мзалею, дело? Кого только не носит по этой земле...

Однако же с той минуты, как встретил этого типа, как никогда возжаждал поскорее достичь дома, увидеть своих, убедиться, что они действительно есть, существуют. И зашагал быстрее.

Уезжал отсюда – и весь мир казался ему родным. Вернулся – одиноким, оставив чужую, не ставшую своей жизнь. Вернулся, чтобы опять обрести целый мир – уже отсюда, стоя на родной земле. Но, оказывается, надолго оставленная родина – тоже не сразу становится твоей... Мало того, что подзабыла, не может сразу признать тебя. Но вот и ветер – не ветер, тепло – не прежнее тепло, холод – не тот знакомый холод... все затаило свои свойства, опустило занавесы, заперло двери... А ты стоишь, шаришь в темноте, но все время твоя ладонь натыкается на сплошную стену...

МСОУСТ

– Немного воды, глоточек один...
– За немного не отдадим,
За много отдадим...
Моление о дожде

Мсоуст перекусил черствым чуреком и сыром, давясь и запивая водой, чтобы не застревало в горле. Собрал оставшееся и завернул в полотенце.

– Смотрю, ты ушел в лес, чтобы собственными же объедками питаться, – съязвил Манча; икнул, схватил штоф с водкой, который поставила в суму мать Мсоуста, вытащил из горлышка обломок кукурузного початка. – Чтоб его... совсем стал черствым, в горле застряло...

Сделал несколько долгих глотков и, вытерев горлышко ладонью, протянул штоф Мсоусту:

– На, промочи глотку...

– Нет, не буду. Что-то меня все время жажда мучит, хочу воды.

– «У сына господина – ни вина, ни воды, всматривается в высохшие русла ручьев...» – пропел Манча. – Как не мучиться жаждой, чтоб сгинуть твоему врагу, когда ты столько времени кроме черствого чурека ничего не ел!

Болтай пока сколько влезет, боюсь, скоренько придется тебе заткнуться, подумал Мсоуст; похоже, парень решил, что я повержен, загнан, достался ему уже приручeнным, – вот и болтает, что на язык ни придет.

– На все согласен, но избавь меня от холодной пищи, и не только пищи – и от холодной постели... – булькающе засмеялся Манча, толчками выталкивая из горла воздух. – Я покамест сосну... – он приклонил рыжую голову к стволу дерева, под которым сидел. – Со вчерашнего дня, с тех пор как мы с тобой вдвоем, не успею голову положить, как тут же проваливаюсь, – на душе спокойно! Думаешь, я когда-нибудь спокойно спал? Ночью кошмары, кто только ни снится, мертвые – старые и малые... кто только ни горит желанием хоть во сне меня увидеть! Хотя бы кто-нибудь из них так старался при жизни! Не знаю, чего они ко мне пристали – за мной долгов нет, ни за их похороны, ни за их поминки. А днем, сам знаешь, живые люди... Ты думаешь, опасны только те, которые специально ищут тебя? Нет – любой. Случайно где-нибудь увидел, заметил... где-то промелькнул – и уже бежит по селу, шушукается... Я многих проучил, заставил раз и навсегда прикусить язык... – Он пожевал губами и закрыл глаза.

– Никто тебя не ищет, кому ты нужен... – не сдержался Мсоуст, заговорил обычным своим не терпящим возражения тоном. – Трусливый пес лает на пень.

– Это тебе так кажется, – подняв веки, Манча холодно глянул на Мсоуста. – Пока в тебе еще говорит вольный, свободный человек, которому не нужно ни от кого скрываться. Ты меня всерьез не принимаешь, вижу. Но, сгинуть врагу твоему, будь осторожен – это мой совет. Как только сделал шаг в сторону леса, ты уже чужой даже для своих, весь остальной мир – твой противник. – Поднял голову, выпучил покрасневшие от бессонницы и водки глаза. – И отец, и мать, и брат, и сестра – они уже другие. Им бы – чтоб тебя поскорее поймали, связали да и увезли. Так им спокойнее будет. – Он опять приклонил голову к стволу и закрыл глаза.

– Неотразимые мысли... – нехотя улыбнулся Мсоуст.

Манча пожевал губами и засопел.

Он был рыж, рыжое в нем было все – и морщины на лице, и волосы, и усы, и брови, и ресницы. И смех его казался рыжим, и речь, и слова, из которых она состояла. А когда по обыкновению вставлял «сгинуть врагу твоему», – казалось, даже вспыхивало рыжее пламя.

Все это слова, думал Мсоуст, тоже приклонив голову к стволу, какие там у него враги, кому он действительно нужен, всем он здесь надоел, хотят, чтоб его проучили наконец...

Когда впервые заговорили о том, что Манча ушел в лес, Мсоуст решил – из страха. В детстве Манча уже был неспокойным, неуживчивым, способным на всякую пакость, говорил все, что вздумается, лез на рожон. Говорил он гадости и тем, которых боялся. Скажет – и побежит, уносит ноги. Догоняли, валили, топтали его. Встанет – опять начинает то же самое.

Трудно было найти человека более покладистого, чем Бадра, но да и того Манча, случалось, выводил из терпения. Обладая недюжинной силой, Бадра вовсе не умел драться, постоять за себя, – бывало, что пугали намного слабейшие. Однажды летом, на речке, где купались они мальчишками, Манча пристал к Бадре и начал его доводить. Мсоуста рядом не было. И вот

как ни терпелив был Бадра, наконец и он вышел из себя. Схватил Манчу, сжал его горло ладонями, будто хотел раздавить орех. У того глаза закатились – грохнулся наземь. Остальные дети, увидев такой оборот, перепугались и убежали куда-то. Бадра же, не зная, что предпринять, сел возле Манчи и стал плакать. К этому времени и явился Мсоуст.

Облил холодной водой, привел Манчу в чувство, но тот еще долго походил на пьяного, не мог твердо стоять на ногах. Когда все же он наконец удержался, шатаясь как новорожденный буйволенок, Мсоуст разрешил ему собственноручно немного побить Бадру, дабы этим успокоить себя. Манча сразу же ожил и с таким остервенением принялся дубасить Бадру, что Мсоусту сделалось смешно. Бадра, обрадованный тем, что Манча ожил, и смеялся и плакал, и было больно и терпел.

Мсоуст тогда уже был не ребенок, кое-что соображал; он подумал, что в Манче есть деятельное начало, да, но вот привести его в действие можно только тогда, когда появляется возможность совершить пакость, зло. Только что шатался как былинка под ветром, а теперь, когда дали право побить, его невозможно остановить. И Бадра в слезах стоял и терпел сыпавшиеся на него как град удары – хорошо еще, что Манча напрасно пыжился, силенок-то у него было не так много. Мсоуст запомнил этот день и эту забавную сцену, он тогда все же не выдержал, вдруг схватил Манчу за руки с такой силой, что тот опять чуть не упал в обморок. И синяки на запястьях потом еще целый месяц носил...

Но Манча иногда нужен был в его ватаге; например, чтобы затеять перепалку с ребятами с того берега. Мсоуст не любил ребят с того берега они действовали запрещенными приемами. Приводили почти взрослых парней с собой, и эти великовозрастные ослы издевались над тутошними младшими. Сколько воды наглотались мальчишки по их вине! Когда Мсоуст был рядом, те, чужие, не решались нападать. Тогда Манча, зная, что за спиной стоит Мсоуст, начинал заводить противников. Это он умел. Никто бы не устоял перед тем, что он мог наговорить! И конечно, чужие кидались на них. На этот случай Мсоуст и стоял наготове. Однако он всегда справлялся только со старшими из заречных, не давал им тронуть своих малышей, при том и своим не давал трогать младших с того берега, насколько это было возможно. Так или иначе защищал он вместе с другими и Манчу. Собственно говоря, в том возрасте Манчу еще защищало детство.

Однако Манча взрослел и делался все невыносимее. Его главный враг – собственный язык – стал еще хуже, и теперь ему не прощали. Уже и сам Мсоуст перестал подпускать к себе, отдалился от него (Мсоуст-то считал, что это навсегда, но, как выразился сам Манча, опять вернуло его к нему). А Манча продолжал все в том же духе. С теми, кто не желал терпеть, один раз развели его, два раза, много раз, но в конце концов всем надоело его злословие.

Как-то он столкнулся с одной семьей – два брата, очень порядочные люди. Братьев уважали в округе – и скрепя сердце почтенные старики и на этот раз тоже стали просить их не доводить дела до греха. Братья

послушались, но предупредили: если Манча еще хоть раз помянет их, коснется своим поганым языком, тогда пускай пеняет на себя.

На второй день прошел слух, что Манча ушел в лес. Теперь же с важностью называет их врагами... Насколько знает Мсоуст, братья давно уже успели позабыть о нем, как о дурном сне.

Нет, братья – это был лишь повод, думает Мсоуст с раздражением. Ему самому сейчас нехорошо, какое-то недомогание навалилось некстати... Да, повод... Манча знал, что никогда не сможет пересилить, победить настоящего своего врага – собственный язык... Знал и то, что не вечно коту масленица, возьмет кто-нибудь да всадит свинец ему в котелок...

Мсоуст подумал, что сейчас, верно, многие судят о нем точно так же; вдруг почувствовал, как неудобно сидит на корне дерева, выпирающем из земли, поерзал, устраиваясь получше, и с омерзением посмотрел на сопящего во сне Манчу: и этот смеет еще капризничать!

Мсоуст хотел увидеться с настоящим абреком, которого почитали и боялись, с Дадыном. Дадын не маячил здесь, у окраины села, подобно шакалу, крадущему беспечную домашнюю птицу, а обитал в труднопроходимых дебрях горного леса, где так просто никто бы не смог его достать, если б даже осмелился искать. Мсоуст был уверен, что Манча держит с ним связь. Не понял пока только: или Манча набивает себе цену, или еще что-то другое, но не очень хотел их свести, все оттягивал. Вот и приходится ему, Мсоусту, сидеть здесь, недалеко от дома, слыша перекличку сельских петухов.

Он еще не знал, как заставит Манчу провести его в горы, но в ближайшие два-три дня во что бы то ни стало решил встретиться с Дадыном.

Опять он приклонил голову к стволу дерева. Его мучила жажда, но решил потерпеть. Ничего хорошего не предвещала такая жажда.

До сих пор как во сне встают перед ним картины того злополучного дня, но вспоминать подробности, обдумать случившееся он пока не хотел и не мог.

...Оттуда, от церковной поляны, он скакал не дав передохнуть коню. И конь волновался – не потому, что устал, но оттого, что хозяин, который так дорожил им, не баловал, но оберегал даже от случайного прикосновения плети, сейчас обходился с ним жестоко. Обычно конь не ощущал тяжести своего хозяина – будто того поддерживала надежда... словно садясь в седло он одной рукой хватался за небо или у него вырастали крылья... А теперь сам Мсоуст чувствовал, как конь изнемогает под его тяжестью, прогибается спина... он так резко натягивал поводья, что, казалось, еще немного и вывихнет коню челюсть.

Ему мнилось сейчас, что все его надежды, все, что немного поддерживало, поднимало его, все это лежало сейчас в душе жалкими обломками; и самое главное, рухнуло то, на что он все же всегда рассчитывал: народ видит, знает, что он хочет сделать что-то полезное для людей, что очень пригодится им...

Теперь ему казалось, что со всем этим он все время просто-напросто обманывал самого себя.

Он так хотел, так старался сделать что-то для них, он весь кипел от негодования, видя общее унижение, – а они, оказывается, смотрели на него как на пустое место! Как на старый покосившийся перелаз, который даже детишки одолевают без труда...

Подскакал к самому дому и спешился. Если раньше, когда спрыгивал с коня, молодые крепкие ноги пружинили и не давали почувствовать миг прикосновения к земле, то сейчас так резко ударился – показалось, будто земля вздрогнула. А может просто у него у самого голова кружилась... Сразу же расседлал коня, но не провел как прежде сильной ладонью по взмыленному боку, а с седлом в руках пошел домой. Конь, не понимая, глядел вслед хозяину. Бока его были мокры от пота и лоснились, словно намазанные жиром.

– Опять что-то натворил, да?! – встретила его мать, строго всмотрелась в лицо. – Откуда ты явился так рано? – Мкыд... с самой юности славившаяся по-мужски самостоятельным характером, знаменитая наездница... ее рано признали вольной в своих поступках, все кругом убеждены были: никто лучше нее не знает – что ей делать и как... Потому никто и не осуждал ее, когда она взяла и вышла за человека, не жалевшего собственной жизни, пошедшего воевать и вернувшегося с той страшной войны не покалеченным, но немым, лишившимся речи.

– Взять бы ореховый прут да отхлестать тебя по одному месту, чтоб с месяц присесть не мог, – может, хоть тогда подумал бы о себе! Только вот некому это сделать!

Сладок огонь домашнего очага! Это только мать умеет так, а отец разведет пламя – и близко не сядешь, все время надо отодвигать скамейку. Сейчас пока что эти скамейки да табуретки стоят пустые, ожидают седоков, которые разделят время с очагом – а очаг-то всегда готов обогреть гостя.

Сердце, оно пока не всегда слушается его... заныло сердце. В обычное время он бы сразу укротил его, но сейчас не до того: ясно – уже только боль и ожидает его, так пусть болит хоть о достойном – по дому, по родному очагу...

– Мама, собери мне быстро что-нибудь в дорогу... – вот и все, что он сказал, сын Гуатаса, уцелевшего от ста смертей, которые преследовали его, которые обожгли его гортань, оставив ему в удел немоту.

– Это еще зачем?

– Дорога предстоит.

– И куда же, если не секрет? – вот и все, что спросила она, Мкыд, женщина, прославившаяся мужской отвагой, известная наездница, выбравшая в мужья человека, сильно потрепанного жизнью, пропахшего солдатским потом и порохом, сумевшего сбежать из рабства с чужого турецкого берега и вернуться на родину... Вот и все, о чем спросила Мсоуста мать.

– Поохотиться захотелось. Посмотрю на наши стада в горах... – ответил он, неуживчивый, неугомонный и беспокойный, неудавшийся, как он сам считал, ответил ее сын.

Мать быстро собрала ему в дорогу. По тому, как ему не терпелось, она поняла, что на этот раз сын натворил что-то нешуточное. Весь его вид говорил... Но она не стала больше задавать вопросы.

Взял бурку, теплую одежду, взял дорожную суму. Подошел к своей новой черкеске: еще утром принес ее из гостевого дома, хотел было нарядиться, но передумал, поехал на церковную поляну в привычной одежде. Опять это непослушное сердце занялось своими делами... напомнило вдруг, как вздрагивали руки той, которая сшила ее, эту новую черкеску: когда снимала с него мерку, руки выдали себя, дрожали мелкой дрожью...

Красивая, расшитая золотистой тесьмой... и как идет ему! Специально не хотел надевать до какого-нибудь особого праздника... Да, вот только теперь ее и надевать: так неожиданно настал этот праздник...

Он поднял руку – хотел коснуться черкески, но не стал, сдержал себя.

– Хочешь уйти голодным? И утром почти ничего не тронул. Ни на шаг не отпущу, пока не поешь!

– Спешу, мама, меня ждут... – сказал, как отрезал.

– Не натвори еще чего похуже, пожалей нас! – взмолилась она, его мать, родившая и воспитавшая не одного ребенка, прославленная наездница Мкыд, которая еще когда кормила его грудью, заодно с ним вскормила и пойманного ею волчонка, дабы волчий род, который в те годы повадился резать их стада, отступил, породнившись с нею, оставил их в покое; взмолилась прославленная и независимая Мкыд, чей поступок по отношению к волчьему роду одобрили все в округе, справедливо считая, что коли она так поступила, значит, так и надо было...

И вот он вышел со своего двора, он, который нигде не находил себе места, возмутитель спокойствия, вскормленный одним молоком с волчонком, – потому-то, говорили о нем, он и не может среди людей.

Как жидкость в кипящем котле – бурлило и поднималось его возмущение, его гнев, готовые перехлестнуть через край... он сдерживал себя, чтобы не вскрикнуть от обиды, досады.

Пускай, пускай все так и идет, повторял он в душе, пускай, если они могут вот так вот просто бросаться такими как он! Пускай! Ах, как они еще пожалеют! Да теперь он такое станет творить – все, что ни делал этот Манча, покажется им детской игрой!

Так он грозился в душе, покидая свой двор, – но вторая половина его души не желала даже слушать этот вздор. Лучшая часть его души болела об ином: с той самой минуты как он довел себя до положения скрывающегося изгнанника, опустился до угроз, опустился до уровня Манчи, для которого в этом мире не было и нет ничего святого, он перед всем народом, но прежде – перед самим собой совершил предательство.

Ведь отныне и Манча станет еще хуже, злорадствовала обиженная часть души, прежнего Манчу все будут вспоминать с благодарностью! Тот

недавний Манча боялся его, Мсоуста, и не очень-то высовывался. А теперь, с его благословения, теперь-то он начнет свирепствовать: отныне страх будет преследовать людей на каждом шагу, и днем и ночью, их дочери не смогут шагу ступить, побоятся выходить из дому, хотя бы по воду.

Если не сегодня, то завтра уже обязательно надо идти за Дадыном, думала болеющая часть души. Невозможно больше ждать, Манчу надо склонить. Не очень-то он уверен, конечно, чтоб Дадын этот что-нибудь серьезное представлял собой, раз он связан с этим гнусным Манчей, но все равно, надо самому проверить, встретиться. Нужно выяснить, почему он ушел в лес, чего добивается: горит ли, видит ли где-нибудь, хоть близко, хоть вдалеке, – различает ли какую-нибудь звезду, или просто дает удовлетворение своему честолюбию – довольствуется тем, что он абрек, герой, его побаиваются. Затем еще надо бы выяснить, как случилось, что Дадын пользуется настоящим авторитетом среди людей – капризных, двуликих, не уверенных ни в чем... А авторитетом он действительно пользуется на зависть. Даже не видя его, с ним считаются. Они не говорят – в чем, но в чем-то верят ему. Мсоуст сам видел, как люди обращали лица с горящими глазами туда, в горы, словно в небо, – мол, он там, он может...

Сам Мсоуст чем дальше, тем больше начинал сомневаться в правоте общего суждения. Не раз уже убеждался в том, что народ вечно заблуждается в своих симпатиях, легко путает, кто его друг, кто враг, кто истинно его любит, а кто притворяется: вечно что-то мешало людям, чтоб открылись у них глаза и увидели неприкрытую правду.

Им трудно было одного Манчу терпеть – так я заставлю позабыть его – гнев делал его беспощадным. Но главное – они же все трясутся над этим пузатым пугалом, Алмой, собой прикрывают – не дай бог с него волосинка упадет! И кого же они защищают?! Того, который предавал их при каждом удобном случае, который продавал, покупал их, и всю свою поганую жизнь только этим и занимается... который их и за людей-то не считает.

...За немного не отдаем,
за много – отдаем...

...Тот рассчитывал, наверняка, что Мсоуст не тронет его. Как же – он ведь стар! Но все равно, несправедливо будет это, если он спокойно умрет своей смертью... Не говоря уж о его сыне... Об этом Умаре...

– Манча что, Манча был ангел, а вот теперь они почувствуют весь ужас страха... – Он вдруг понял, что говорит вслух, как в бреду, – это немного отрезвило его.

Голова побаливала, была непривычно тяжелой. В глазах чувствовалось какое-то жжение, как при температуре. Во рту пересохло, мучила жажда. Опираясь одной рукой о ствол дерева, он встал. Посмотрел вокруг, но ничего не видел и не слышал, кроме шума реки: пить, пить, пить.

В это время вскочил спросонку и Манча.

– А-а? Что случилось? Куда собрались?! – спрашивал он, словно давясь от больших глотков.

– Немного воды, глоточек один... – протянул Мсоуст, передразнивая с ехидством недавнее пение Манчи. – Иду напиться.

– Нет, нет, – возразил Манча, потягиваясь, – ни в коем случае... Ради бога! Так нельзя. Сразу же заметят. Ты думаешь – ушел за тридевять земель? Сюда всякая шушера ходит хворост собирать – молочка разогреть. Сгинуть твоему врагу, мы еще в этой треклятой деревеньке пока... – он хихикнул, потом поморщился и рыгнул. – От черствого чурека, – чтоб не уродиться в этом году из чего его пекут! – такая изжога, скоро уши обуглятся! Так дальше уже невозможно, крайняя необходимость горяченького съесть. Дай сюда котелок, – он протянул руку. – И ни шагу отсюда, пока я не вернусь.

ШУМ РЕКИ

Блажен, кого Бог посетил,
Дал возможность ему помолиться,
Благословения попросить...
Блажен, кого Бог посетил...
И для свершения молитвы
Храм – небо предоставил...
Пляска святого Витта

Перед ними открылось ущелье – во всей красе: река, словно огромная птица, подняла и держала на весу крылья – утесы. На такой высоте деревья уже почти сбросили листву, но все равно можно еще было определить, где каштановое, где кленовое, где буковое царства; выше уже начинались хвойные леса, вечная их зелень сейчас особенно выделялась на фоне чистого неба. Здесь же, поблизости, кое-где из-за живых деревьев выглядывали огромные стволы высохшего карагача, омытые дождями, высушенные солнцем и ветрами. И всюду – палая поблекшая листва – плавала на воде, была рассыпана по берегу, мокрая, приклеилась на камнях, – каштановые, буковые, кленовые листья...

Вода была столь чистой, прозрачной, что даже в самых глубоких заводях было видно до дна – и переливающееся радугой каменное разноцветье, и косячки рыб, и одиноко стынущая в воде форель. И река беседовала сейчас с воздухом и берегами умиротворенно, ненавязчиво, чутко прислушиваясь к ним, – не так, как в бурные дни и ночи, когда она разливается и властно заставляет все ущелье говорить только ее языком.

В свою очередь и ущелье иногда замирало, чтобы лучше расслышать, насладиться ласковым говором реки, пока у нее такое доброе настроение.

Но река, спустившись туда, где на ее пути лежали растрескавшиеся глыбы скал, вдруг показывала норов: бешеный рев рвал воздух, она становилась седой и окутывала берега туманом брызг. И после еще долго не отходила, не могла удержаться, бурлила и гневливо шумела.

Кто знает, кто измерит и взвесит, сколько она трудилась, сколько из этого ущелья унесла в море, бегущая по своему руслу со дня творения, древняя и вечно новая. Несмотря на осеннюю остылость природы, солнце уже успело согреть на берегу темные камни. Но там, где они решили остановиться, было множество белых камней, и поэтому все тут дышало прохладой.

Какое бы ни стояло сейчас бабье лето, или как здесь его называют, пхынчкун – новое, молодое лето, какая бы ни держалась засуха, время брало свое: месяц уже был зимний, и все кругом постепенно остывало, продувало отовсюду.

На камнях, торчавших из течения, еще не просохла отметина ночного уровня воды; ночью вода всегда прибавляет, поднимается, а к утру падает.

– Благодетель наш, Создатель! – прозвучал вдруг голос Хауйды, и, неожиданно, – будто не маленькой хрупкой женщины голос, а из самих недр донесшийся, негромкий, звучный и глубокий. – Как преображается все, что бы ни осветило его око. Как он обнажил, определил всему сущему свое место... Так обнажаться отпущено разве только природе, а для всякого живого – очень рискованно... – она глубоко и с удовольствием вздохнула, еще раз осмотрелась вокруг, глянула себе под ноги. – Если бы эта открытость – в самый день творения, когда еще не было ни рождения, ни смерти, – тогда б еще было понятно. Но коли на все это сейчас – благословение Господне, то никакой дьявол тут не страшен, никакой сглаз не будет иметь силы. В этом году время особенное...

– Когда люди достойны, всякое время хорошо, – попыталась улыбнуться, непривычно смягчая линию губ, молодая статная барышня, с ровным пробором в черных густых волосах, которая вела госпожу под руку, осторожно ступая по камням.

– Это правда, – сказала печально Хауйда, – это правда – люди должны быть людьми... Но для таких как ты, Эсма, у которых вся жизнь впереди... Золото есть золото...

– Ах, моя госпожа! – вздохнула Эсма. – Что я... Но и золото, если ему применения нет, оно равно обыкновенному камню, каких вот здесь навалом.

– В том, что ты так говоришь, – вздохнула и Хауйда, – виноваты мы, твои близкие...

– Никто ни в чем не виноват... Вместе с человеком должно родиться его счастье... его судьба.

– Трудно говорить о счастье, но я одно хорошо знаю: если бы тебя не было в моей судьбе, то я была бы самой несчастной... Раз ты есть, значит, немного счастья и мне выпало.

– И я бы, и я бы без вас, моя госпожа!.. – взмолилась Эсма. – Это меня заметил Всевышний, меня сироту, и сделал так, чтобы мы с вами встретились. А то подумайте, как бы мне пришлось без вас!

– И ты для меня как родная и любимая дочь... я бы не смогла больше любить тебя, если б даже родила тебя.

– Знаю, все знаю, моя госпожа!

– Что же это мы стоим, давай-ка сядем вот там, – барыня указала на черный камень у самой воды. – Дальше уж не пойдем, здесь остановимся.

Но не успели и двух шагов к камню – и обе враз остановились: перед ними на гальке лежала мертвая лягушка, вымытая, высушенная, чистенькая.

– Здесь все чисто – и живущие и умершие... – лицо у Хауйды просветлело. – Все счастливы...

Когда подошли к камню, Эсма отпустила барыню, нагнулась и ладонью провела по его поверхности, хотя пыли там не было... Камень был приятно теплый.

– Ох, что за благодать! – барыня с удовольствием подставила лицо речному ветерку. – У той женщины, у которой дочь, – забот много, но ту, у которой дочери нет, – ее жалко, – Хауйда говорила, отвернувшись к реке. – Мальчик, с тех самых пор, как станет на ножки, начинает уходить от матери, удаляется. А дочь, с тех самых пор, как станет на ножки, начинает идти к матери, приближаться.

– Говорят, что лицо девушки всегда обращено к чужому дому, но, по-моему, нет больше существа, которое так неотвратимо зависело бы от своего дома, как девушка, – поддержала разговор Эсма. – А то, что она попадает к чужим, это не ее воля, судьба.

– Никто еще не понимал женщин, Эсма, – барыня повернулась, приблизила к Эсме свое лицо. – И навряд ли мы сами себя знаем, понимаем до конца...

– Видимо, что-то непреодолимое влечет мужчин и женщин друг к другу... если подумать, они ведь очень далеки друг от друга, совершенно разные существа.

– Да, это так...

Эсме хотелось плакать. Ей казалось – если представится случай поплакать, а то и разрыдаться, от ее теплых, мягких слез что-то разойдется в душе, и ей станет легче. Еще она убедила себя в том, что сегодня обязательно что-нибудь случится, что-то состоится. И она, уже не в силах таиться, вынуждена будет сказать обо всем, что накопилось и мучило ее столько времени... что привело ее, что заставило наложить на себя руки, попытаться заглянуть в ворота небытия. Чувствовала, что барыня увела сегодня ее так далеко не даром, а с умыслом.

Сколько уж времени Эсма замечала, как барыня все что-то хочет сказать, но не решается... Слово как бы повисло на устах, но снять его и вдохнуть в него жизнь, видимо, была задача не из легких. Но сегодня она должна освободить уста и сказать, наконец, – так уже началось все сегодня, этим объясняется их нынешнее путешествие, так сулит вот эта обнажившаяся природа, об этом бормочет чистая речная струя...

Сама барыня думала о том же. Боялась, сердце холодело, но думала именно так. Все тайны, видимо, имеют свой срок, думала она. Эту она держала под самым сердцем – верила, что с нею ляжет в гроб, – но так же, как приходит срок рождения ребенка или время сева, так, видно, пришел

срок и тут: тайна стала жечь ее, сама толкала к признанию, – несмотря на всю опасность, ей хотелось жизни – тайне...

Это она, тайна, привела ее сегодня сюда – как буйволица, ищущая место, чтобы отелиться. Преодолев пешком необычно большое для себя расстояние, барыня пришла в это ущелье, чтобы открыться именно здесь, в этом чистом священном месте, под говор прозрачных волн реки, – словно это могло обезопасить тайну и смягчить ее вину – если она есть...

«Чурек сиротский не подгорает», – эти слова Эсма слышала всю жизнь. Единственное утешение, доставшееся ей от людей. Так говорили ей, Эсме, дочери абхазского дворянина, офицера российской армии, еще молодым погибшего в последней русско-турецкой войне... ее и без того часто болевшая мать не вынесла гибели мужа; тогда-то ее, осиротевшую, привели в господский дом старшего брата матери, самого Алмы Анчаа. В то время, конечно, она не поняла как следует значения этих слов – может, потому так долго и верила им. Лишь позднее, уже повзрослев, она стала понимать, насколько же не защищено сиротство: где бы ты ни была, у кого бы ни жила, как бы о тебе ни заботились, – все равно кто-нибудь или что-нибудь да напомнит: ты тут чужая, обречена на одиночество.

И горькое одиночество настигло ее. Какие бы добрые отношения ни сложились с барыней, это не могло ее спасти. Более того, когда ко всему добавилось еще и такое чувство, в котором она не могла открыться барыне, Эсма решила, что в этом мире она не в силах будет сохранить душу – и попыталась навсегда освободить ее от бренного тела со всеми его страданиями...

Барыня застала ее, когда она уже заглянула за грань... вернула ее к жизни. Но с тех пор девушка ходила по земле как тень, словно не целиком вернулась оттуда, куда она уж было шагнула. И обитатели господского дома, все, кроме барыни, посматривали на нее особенно, как на больную неизлечимым недугом. Старались не подать виду, конечно, но она замечала, как ее обходят подальше, только бы лишний раз не видеть ее отрешенного лица.

Это ее не очень-то заботило, но после каждого такого случая она еще острее ощущала, что ничего в ее жизни не прояснилось, и с тем самым трудным ее чувством – тоже, ни хорошего не происходило, ни плохого, и даже то, что случилось, ничего в общем не переменило – и никаких надежд, ничего утешительного тут жизнь сама ей пока не обещала.

Но в конце концов, чувствовала она, между нею и барыней должно сегодня состояться какое-то объяснение, и на мучавший ее вопрос она непременно должна получить хоть какой-нибудь ответ. И в ожидании сердце ее готово было выскочить из груди.

Река, оживляющий ветерок в ущелье, тишина, чувство отдаленности от суеты господского дома – все это быстро подействовало на женщин, они ощутили себя отдохнувшими.

Барыня чуть склонилась, зачерпнула воды и провела по глазам, по лбу, по лицу... словно скупясь, вздохнула подряд два раза – коротко, не глубоко...

потом сняла с ног белоснежные мягкие шерстяные носки вместе с мягкими сафьяновыми чувяками.

– Не ставьте на холодный камень, моя госпожа, простудитесь, – спохватилась Эсма и обвела взглядом берег перед собой. – Что же вы беспокоились, я бы сделала все.

– Ничего: немного пошевелиться не мешает даже мне, старушке, – барыня стала рукой зачерпывать воду и лить на ноги, – Ой, как приятно! Словно тяжкий груз с себя сбросила. Эсма, ты тоже делай как я, посмотришь, как помогает.

– Я успею... – девушка опять посмотрела на камни. Наконец она заприметила то, что искала, – помнила такие еще с самого детства. Камни эти были вроде обычные белые, но переливались золотистым блеском, словно их прокатили по золотистой муке. И они нагревались на солнце даже больше, чем притягивающие тепло черные камни.

Эсма подняла камень, который облюбовала. Он был тяжелый, но ей сейчас казался легким не по-каменному. Положила его перед барыней, и та поставила на него свои босые, вымытые прохладной водой все еще изящные ножки.

– Чтобы у тебя на сердце всегда было так приятно, так тепло! – барыне понравилось, что камень хорошо прогрелся на солнце.

Эсма как будто и отдохнула, успокоилась немного, но сердце у нее все замирало, она ожидала каждую минуту, что вот-вот барыня начнет о том, чего она так долго ждала и чего больше всего боялась. Но барыня вынула из кармашка самшитовый гребень, распустила волосы и стала расчесывать.

– Может, я это сделаю, моя госпожа?

– Нет, нет, Эсма... если скажу, что ни в чем не ленюсь, – обману, но вот этим – всегда сама хочу заниматься.

Волосы у нее, хоть и с проседью, были еще густые и длинные.

– Когда вот так проводила гребнем... – она задержала руки, – особенно если роговым, – волосы словно зажигались, искрами потрескивали, просто начинали как бы петь. А сейчас они безжизненные, как у покойницы.

– Не говорите так, моя госпожа! – одно упоминание об умерших возвращало Эсму к той страшной минуте.

– Как не говорить, чего уж... – Хауйда провела гребнем по волосам, до самых кончиков, и опять остановилась, застыла, слушала свой внутренний голос. – Когда я была совсем юной, – начала она, – распускала косы – и внизу только пальцы ног торчали, всю меня закрывали волосы. Моя несчастная мать очень любила их расчесывать. Ночью она тушила свет, и от гребня волосы начинали потрескивать и петь. Потом она звала моих братьев, чтобы скорее шли в комнату. «Видите, как ваша единственная сестричка густо обсыпана звездами!» – говорила она с гордостью. «Маленькое небо» – так называли они меня. Но я, негодница, долго не выдерживала, боялась, что вдруг действительно загорятся волосы и я займусь костром, сгорю. «Зажгите свет, зажгите!» Когда во время службы в церкви я молилась распустив волосы, прихожане больше на меня смотрели, чем на священника. И мне

казалось, что и священник обращается только ко мне. В Тхубуне*, где мы жили, храм большой, величественный, не такой как здесь. Внутри все стены расписаны фресками. Подашь голос, пусть и негромко, – тут же стены, и своды, и купол – все вторят тебе. И кажется, что и святые на фресках тоже отвечают тебе. В праздники, особенно на Пасху, люди собирались рано. Рядом со мной, справа и слева, стояли мои братья, они не такими были как я – высокие, статные, а впереди шли отец с матерью. Праздник постепенно захватывал меня, я просто растворялась в нем, и глупому сердцу казалось, что Всевышний – да будет слава Его имени – где-то близко и видит каждого из нас, только мы его не видим. Я до того уверила себя в этом, что, казалось, слышу его святое дыхание... Приходило какое-то особенное состояние, дышалось очень легко – мне хотелось крикнуть, хотелось сказать Ему, что и я могу в темноте зажигать звезды, если бы только не боялась, что они загорятся взаправду... научи, мол, меня не бояться – или сделай так, чтобы и днем у меня на волосах звезды горели... – глядя на прозрачную, чистую струю она улыбнулась горькой и светлой улыбкой. – А я-то думала, что обо всем этом уже позабыла... Сегодня все ожило... При такой-то благодати...

Барыню нельзя было назвать старой. Она не была грузной, с двойным подбородком, как иные ее сверстницы голубых кровей. Небольшая, стройная, на красивой шее еще не было складок и морщин, которые сразу бросаются в глаза.

Она действительно госпожа, подумала Эсма, глядя, как та сидит. Здесь ведь кроме них – никого: наверху небо, внизу земля, на которой сейчас они одни – но барыня не дала себе распуститься, не села, пользуясь отсутствием чужого глаза, растопырив колени, развалившись. И когда мыла ноги, и когда так просто нагибалась, она ни разу не дала себе спуску, не забылась ни на минуту, ни одного неподобающего шага, движения, поворота. Все линии – шея и плечи, спина и бедра – все пока сохраняло гибкость и красоту, не расползалось, как у старого плетня.

Эсма замечала все это, но и не переставала думать о предстоящем разговоре. Ожидала его. Если вдруг не начнет барыня, то, по всей вероятности, она не выдержит, начнет сама...

Будто поняв ее терзания, барыня повернулась к ней и открыто улыбнулась, как бы успокаивая. Эсма давно знала ее улыбку, и никогда не было так, чтобы эту улыбку она не желала бы увидеть еще и еще – столько искренности было в ней.

И все же, как и саму барыню, она не до конца знала и понимала ее улыбку и смех: они были свидетелями иной жизни, привкуса которой Эсма не чувствовала, связаны с какой-то другой свободой, другой несвободой, с другим качеством, другими правилами бытия.

Черные, пока без единой седой волосинки брови, длинные и к концам чуть приподнятые черные большие глаза – временами казалось, что с легкой очаровательной косинкой; некрупное продолговатое лицо. И сейчас чувствовалось, что когда-то все это было неотразимо... но теперь в этом лице

все было словно заперто на ключ, только доброту да душевную боль можно было увидеть открыто.

Эсма уже не знала, как себя отвлечь, опять взгляд стал шарить вокруг: камни, камни, камни – нет им счету. Большинство белые, холодные. Взгляд возвращался к тому камню, что она принесла под ноги барыне – и приходили на память картины детства.

...Как она тосковала – словно год прошел с его отъезда! А не видела его всего неделю, его забрали на несколько дней на побережье, в город погостить. Сколько раз она задумывалась над тем, чтобы найти какую-нибудь его вину перед собой... Обвинить его в неверности – постараться стать безразличной к нему... но не получалось. Это было похоже на неутихающую сердечную боль. В детстве однажды у нее кольнуло в сердце, заныло – и вот до сих пор не утихает.

...Женская прислуга господского дома вынесла на берег, на горячие камни постельное белье – выстирать, просушить. Вот и ее прихватили. На реке в темноватых заводях с утра до вечера резвились ребятишки. Не вылезали из воды пока не посинеют, пока не начнут дрожать так, что зуб на зуб не попадает. Будто сейчас видит – какими они были загорелыми, худыми от нескончаемого купанья, с тонкими шеями, с просвечивающими большими детскими ушами.

...Там, где женская прислуга господского дома полоскала белье, купались несколько маленьких мальчиков, все, в чем мать родила, и она постеснялась, отошла подальше, села на камнях у воды, уже горячих под солнцем.

Уже тогда она его искала и тогда тосковала по нему, как сейчас, как взрослая, – ей хотелось зарыдать. Все было пусто без него...

– Не древняя я старушка пока, но сердце одряхлело... – опять начала барыня, словно разговаривая сама с собой, или с небом, которое не отпускало, притягивало ее взгляд.

Может быть, начинает, успела подумать Эсма и замерла, стало тесно даже в этой открытости природы.

– Нигде ничего не осталось, ни за спиной, ни впереди – ничего, совсем ничего...

Эсме сделалось жутко, она поспешила в воспоминание – окунуть в него голову, как в подушку.

...Там, на жарком берегу, ее взгляд упал на камушек с индюшачье яйцо: золотистый, он поблескивал искорками. Она притаилась, почти перестала дышать, боясь, что вдруг он ускользнет от ее взгляда и исчезнет среди других, невзрачных.

– Единственное, о чем прошу Всевышнего, яростно желаю... – в голосе барыни послышалась тревога, она повернулась и посмотрела в ту сторону, откуда они пришли сюда. – Хочу увидеть сына, посмотреть хоть раз еще в его глаза...

Кровь отлила от ее лица, она вдруг побледнела, сделалась как эти дышащие прохладой белые камни, заполнившие берег.

...Камушек золотился, переливался на ее глазах, а она не смела протянуть руку и поднять его. Боялась не того, что может что-то случиться, – нет, того, что не случится ничего.

...Годами я его жду, его одного... и не решаюсь позвать его, передать, чтобы немедленно возвращался. Не то что не решаюсь, а боюсь...

...Это знак, предзнаменование... недаром ведь она увидела такой золотистый камень... он связан как-то с тем, о ком она тоскует, сокрушается, ждет...

И когда стали приближаться голоса детей, вылезавших из воды погреться на солнышке, она нагнулась, протянула руку и взяла камень. Он был горячий, обжигал ладонь, но она не отпустила.

– Живу мечтой о встрече с ним, думаю хоть раз посмотреть на него, потом и смерть не страшна, и в то же время боюсь его возвращения. И тяжко жить, не видя его, но так спокойнее, расстояние оберегает его...

...Сжимая в ладони горячий камушек, она стояла на солнцепеке, когда перед ней возникла чья-то тень. Подняла глаза – мальчишка, которого она никогда прежде не видела и после не встречала. Глаза противные, с жаждой обидеть. «Что это ты держишь?! – спросил он нахально. Она еще сильнее сжала обжигающий камень, но не успела даже спрятать руку за спину, как он разжал ее ладонь и отнял у нее находку. «О-о, да тут яйцо и не простое, а золотое! – он противно скорчил рожу. – Небо как несушка село на пучок сена и снесло тебе яичко! Конечно, золотое, потому что простое упало бы и разбилось...»

– ...Когда-нибудь, когда-нибудь... – произнесла барыня рядом.

...Щеки стали горячее, чем камень, а слезы, которые текли по ним, еще горячей. Некому было ее защитить, наказать обидчика. Не только тогда – и потом, и сейчас... Это потому девушки-сироты выходят за первого подвернувшегося... чтобы убежать от одиночества, найти хоть сколько-нибудь родного, защитника.

«Не расстраивайся, колышек ты остренький, – говорил этот мальчишка, кривляясь, страшным и гнусным голосом. – Вот вылупится из этого яйца одуревший от жары чертик и купит тебе маленькие красненькие туфельки...»

– ...Когда-нибудь... – повторила барыня, – если тебе будет плохо так же, как и тогда, и будут страшные мысли лезть в голову, помолись, помолись Ему... до самозабвения, до изнеможения... Тогда Он услышит...

«...Видишь, – мальчишка поднес камень к самым ее глазам, – и больше не увидишь... – Он изо всех сил размахнулся – и тут же звук наподобие приглушенного выстрела родился в черной заводи под утесом, той заводи, что всегда притягивала и пугала ее до ужаса. До сих пор она слышит последний звук, с каким камень был проглочен черной водой. У него был голос, он подал его, а эти бесчисленные серые камни, заполнившие берег, они все бессловесны и навек немы.

– ...Тогда настает такая тишина, нисходит такая благодать... – задумчиво продолжала барыня, – и становится так ясно, что все, кроме Него, все мелко, ничтожно, не имеет ни особого содержания, ни особого предназначения. Все

горести, которые тебе казались непреодолимыми, вдруг теряют силу, уходит самый страшный человеческий порок – зависть, а ты, просветленная, воспрянешь духом, станешь сильной, чистой...

...Не только звук, голос камня – она никогда не забудет гнусный голос того мальчишки. Когда ей особенно плохо, невыносимо тяжело, он начинает звучать в ушах. В день, когда она решилась наложить на себя руки, неотступно звучал этот ненавистный страшный голос, преследующий ее. Даже тогда, когда уже ее глаза ничего не видели...

– ...Особая чуткость сегодняшнего дня, всей этой открывшейся красоты – это Его воля, Спасителя нашего. Сегодня Он близок, почти рядом, но мы сами далеки от Него... – Лицо барыни сияло. – Один единственный раз позволил мне, грешной, услышать Его, почувствовать Его...

Эсма думала о том, что вспоминает давнее – и, неожиданно, гнусный голос того мальчишки при этом не звучит в ее ушах... может быть, тут доброе предзнаменование, может, все откроется само собой, все станет ясно и разрешимо... как бы откроются пред ними врата небесные – и все, что они ни пожелают, будет услышано – и свершится (а вдруг, а вдруг?..).

– Дал себя услышать, почувствовать – и сразу оставил, облобызать мне Его золотые ступни... мол, уже сама над собою подумай. До сих пор если я еще дышу, то силой, которую Он мне придал тогда, в тот единственный раз... мои-то силы давно бы иссякли... – Барыня взяла ее руку и сжала, словно боясь, что кто-то может разлучить их.

Такие маленькие руки и такие сильные, подумала Эсма. Но она это подумала не для того, чтобы еще раз удивиться, а как бы прикрываясь несущественным от того, что должна была услышать сейчас. А то, что она услышит важное для будущего, для самой ее жизни, что все шло к этому, – она уже чувствовала всем существом.

– Эсма, – госпожа понизила голос. – Эсма... я – грешна... – она еще сильнее сжала ей руку. И от того, что лицо ее было обращено в пространство, к небесной глубине, голос ее доносился как из уже прошедшего. – Руки мои чувствуют, ты вся дрожишь. Успокойся. Я все думала, Всевышний придаст мне силы намного раньше открыться в том, в чем я тебе откроюсь сейчас, но все это перенеслось на сегодняшний день. Уже нельзя ждать. Если это было до сих пор моим грехом, дальше может стать несчастьем других... самых близких... Ты сама подумала, что бы за жизнь стала у меня, сумей ты совершить то, что собиралась? Ах, Эсма, Эсма, будь все иначе – надо б тебя хорошенько излупить! – не поворачивая к ней лица, госпожа засмеялась – смехом утраченных, ушедших лет. – Может, все так и складывалось, чтобы заставить меня высказать то, что столько лет сжигает... о моем грехе... не кому-нибудь другому, а именно – тебе... Эсма, Эсма, только успокойся.

Эсма очень старалась, но ничего не могла с собой поделать, ее била дрожь.

– Видит Бог, когда все это начиналось – я не считала грехом... Тогда я была убеждена, что поступаю так, как самому Господу угодно. Я считала, что если человек поступает по велению сердца и помыслы у него чисты и

искренни, то он на праведном пути. Глупа я была, еще очень многого не понимала, многое было скрыто от меня, неведомо мне...

– Если в этой жизни кто-нибудь безгрешен, то это вы, моя госпожа... – невнятно пробормотала Эсма, вся дрожа.

– И я тоже так думала, пока с тобой не случилось... – голос ее доносился будто из еще более глубокого прошлого. – Если это действительно грех – пусть всецело падет на меня, не коснувшись вас – его и тебя... Боже, услышь эти мои слова! – Она устремила взгляд в небо, словно оно было не выше храмового свода.

– Кто это – он, госпожа, кто?! Говорите, нет у меня больше мочи! – Эсма, дрожа, потянулась к ней. – Кто он, кто, кто?!..

– Эсма, я прошу тебя, успокойся. Только слушай внимательно. Потом не раскрывай рта, не закричи, не разрыдайся. Потерпи, в себя заключи, заточи, иначе, если дашь волю чувствам, мы вместе не выдержим... Даешь слово?

– Даю... – выдохнула девушка сквозь сжатые губы. – Даю...

– Ты помнишь... ты конечно уже не помнишь, когда это было. Я один раз за всю жизнь обидела няньку, очень обидела.

– Помню, все помню, моя госпожа...

– Тогда мне показалось, что она вздумала тебя и Мзалея кормить из одной груди...

– Она сама не позволяла... не допускала этого...

– Значит, помнишь... Да у старой няньки и не было уже молока... Женское молоко – оно покрепче, чем кровь. Но все же и так просто брать сосок одной груди – это тоже немаловажно. Я-то потом спохватилась, когда вы уже играть вместе начали. А мудрая нянька, оказывается, еще когда вы были совсем маленькие, оберегала вас. Я боялась этого, думая о будущем... всякое может случиться потом в жизни. Так же думала и ваша нянька, все видевшая, все понимавшая женщина. Никто ей ничего не говорил, сама была догадлива...

– Что молоко, если здесь решает кровь? Не вы – это я грешница, моя госпожа. Сколько лет я в грехе... все это время мучила, истязала себя – лишь бы прекратить, освободиться. Но все больше и больше затягивало меня, не то чтобы отпустить... – Эсма говорила с трудом, ее трясло так, что зуб на зуб не попадал. – Какие-то надежды иногда появлялись, но все – фантазии...

– Эсма! Разве мы так договаривались? Успокойся, возьми себя в руки! – сказала строго Хауйда.

– Я знаю, какой грех вы приписываете себе. Но нет, нет у вас никакого греха – грешна я, и ничем этого не искупить...

Эсма вздрагивала, не в силах вдохнуть, набрать в легкие воздух.

– ...Многие в глубине души подозревали. И ты, верно, что-то слышала от других. И эти подозрения – они верны. Между тобой и Мзалеем нет ничего кровного, никакой связи... так же как никогда вы не питались одним материнским молоком. И на тебе не было греха, не было и нет!.. – Сказав, как в обмороке – разом вся обмякла Хауйда, от той собранности, самообладания,

полного и постоянного контроля над телом и душой, о которых с таким уважением всегда думала Эсма, ничего не осталось.

...И хлынули слезы, которых Эсма ждала сегодня с самого утра. Нет, не сегодня – а долго, очень долго... слезы теплые, обильные, успокаивающие.

– Моя госпожа, госпожа... – слезы орошали лицо Эсмы. – Я понимаю, на что вы пошли, на какие немыслимые жертвы... у меня нет никого, кто бы для меня такое сделал... Я не удивилась бы, если б на такое оказались неспособными мои родители, будь они живы. Ничего под этим небом я не желаю больше – кроме того, чтобы он вернулся целым и невредимым... И я отныне знаю, что имею лишь право так же относиться к нему, как и все время. Больше ничего.

Барыни как будто и не было, она совсем притихла.

– Барыня, моя госпожа... – все бормотала сквозь слезы Эсма. – Я тогда решилась на такое оттого, что перестала на себя надеяться, боялась не выдержать и открыться, вовлечь в грех его и вас...

– Знаю, знаю... – донесся ее голос, как весть из давно отошедшей жизни.

Она его отправила так далеко и так надолго, чтобы не ворошить прошлое, подумала Эсма, чтобы раз и навсегда отодвинуть эту опасную тайну... значит, ее грех – неизбывный, навсегда... А может быть, тут какая-нибудь другая провинность, иная опасность? Его самого провинность?

Не зная, задать ли барыне этот окончательно проясняющий все вопрос или не мучить ее больше, Эсма сидела в сомнениях и слезах – и тут вдруг ее слух поразил чей-то неуместный и неприятный голос. Она испуганно вскинула голову. Из-за большого камня неподалеку, прислонившегося к обрывистому берегу, вышел рыжий, обросший щетиной человек с наглыми, часто-часто мигающими глазами – не спеша, вразвалочку направился к женщинам, будто весь день они здесь ожидали именно его. Если не брать во внимание щетину на его пухлых щеках, – здоровый, в теплой вязанке, в полумягких прочных сапогах, он не очень-то походил на разбойника – абрека, жизнь проводящего в лишениях, скрывающегося в глухих лесах днем и ночью. Наоборот, человек, знающий жизнь настоящих абреков, не мог бы не заметить сразу же, что он, похоже, отсыпается в теплой постели и вообще ни в чем привычном не отказывает себе.

Обе женщины, Эсма и барыня, вскочили на ноги – испуганные, удивленные.

Он шел напрямик, не убавляя и не прибавляя шага, словно собирался миновать их и следовать дальше. Когда близко надвинулся на Эсму, заплаканную и растерянную, она в замешательстве невольно отступила назад. Хауйда схватила ее за руку, остановила.

– Манча, собачье отродье! – твердо и возмущенно воскликнула барыня. – Как ты смел явиться так, к нам, к женщинам, бесстыжие твои глаза!

Манча, словно не слыша Хауйды, склонился к Эсме, подставил ухо.

– Не хочешь ли мне что-нибудь сказать, ягненочек? – голос его звучал нагло. – Я разрешаю тебе последнее слово. Не скажешь ли, с чего бы эти слезы, в которых ты просто купаешься... Что это ты только что объясняла

госпоже?.. – Эсма узнала вдруг ненавистный голос того мальчишки, который отнял у нее золотистый камушек. Нет, конечно, это не был тот, повзрослевший, – Манчу она знает давно, но через него говорил сейчас прежний гнусный голос. Видно, достаточно людей на свете, замышляющих гнусное, – и голоса у них одинаковые. Насчет Манчи сомневаться не приходилось – он точно был из таких. Эсма знала – окажись она сейчас здесь одна – смогла бы от него отделаться. И знала – каким образом. Просто вошла бы в реку, а он с самого детства панически боялся воды. Она слышала о том, что весь их род был такой. Случись, речушка на пути шумит чуть больше обычного, и если была она глубиной в рукоять плети, – любой из них, будь он верхом на самом высоком и крепком коне, будь он хоть горевестник, или ожидай его на том берегу кто-нибудь как нужного позарез посредника, или спеши он на какую-нибудь ночную облаву, где может разбогатеть, – все равно – любой из этого рода поворачивал обратно и уходил восвояси.

Говорили, оттого они и боялись воды, что кошачьего происхождения. Они были жадны и ненасытны, но дорожили все же больше всего своей поганой жизнью.

Обе женщины только сейчас спохватились и вспомнили, что не стоило уходить так далеко от дома. Ведь знали, что Манча в лесу, да к нему присоединился еще и сам Мсоуст. Мсоуста, несмотря ни на что, они не боялись. Надеялись на его порядочность. Однако существовал непреодолимый предрассудок: если имя какой-нибудь женщины или девушки произнесли рядом с именем какого-нибудь, пусть самого никудышного, задрипанного абрека, – тогда все – позора ничем не смоешь. Это так приставало, что проживи хоть два возраста, роди дюжину детей с законным мужем, – и все равно помнилось, учитывалось, передавалось из поколения в поколение, как наследственное кожное заболевание.

Манча, конечно, подслушал все, о чем они здесь говорили, этим только и объясняется его наглое поведение.

– Ты, кажется, слышала, о чем я спрашивал? Ну как?.. – на этот раз он открыто злорадствовал. – Ягненочек, не хотелось бы тебе с волком подружиться, рядом попастись? Волк знает места, где самая сочная трава. А у ягненочка так быстро вырастет курдюк... – говоря эти гнусные слова, он открыто и нагло рассматривал ее туго затянутые в сафьян полные груди.

Он сам, такой отвратительный, его наглость, этот гнусный ненавистный голос, который преследует ее всю жизнь, – все это ввергло ее в такое отчаяние, что в горле свело, и глаза обожгли уже другие слезы... в бессилии, в отчаянии она резко отвернула от него лицо.

Барыня стояла напуганная, не зная, что предпринять, не зная, какими словами с ним говорить.

– Ах, значит, не очень желаешь... или боишься?.. – гнусил он и голос его бил как кулаком. – А если и волк ради такого случая согласится пастись вместе, питаться нежной травкой? Навсегда откажется от крови и тому подобных страхов? Тогда как? А-а? А как думает насчет этого барыня?

– Манча, собачье отродье! Если ты не пожалеешь горько о сегодняшнем дне, тогда ты – князь, а я рабыня! – Видно было, что барыня все еще не могла найти нужного тона.

– Госпожа, госпожа... – перебил он ехидно. – Оставим речи о том, кто нас родил, собаки или кто-то другой, перейдем к тем, которых мы сами родили, и как родили... – он хихикнул. – Тогда окажется, что и мы не молочком омытые...

– Нет, нет! – сказала вдруг барыня твердо. – Пока остановимся на тех, которые родили нас. Может быть, тебе показалось, что вы действительно стали благородными дворянами оттого, что твои предки на брюхе ползали перед каждым, чтобы добиться возвышения?! Никогда вам дворянства не видать – скорее можно будет собственное ухо увидеть без зеркала!

– Барыня... – сказал он зло, и остановившиеся глаза засверкали. Эсму поразило, до чего они были похожи на кошачьи, и он сам весь походил на разъяренного кота, который своим криком и вздыбленной шерстью старается напугать противника (миау, миа-а-ау-у!)... – Барыня (ми-аа-уу!), – повторил он. – Я пока еще не касался подробностей, а почему же вы спешите! Пока я терплю, а если не стану – что сама барыня, что ее прислуга – мне все будет одно...

– Сейчас же уйди прочь с моих глаз! Сию минуту, не мозоль мне глаза, если действительно не собачий сын! Раз ты позволяешь себе такое со мной, видно, нас что-то страшное ожидает!..

– Вот здесь как раз ошибаетесь, госпожа (миа-аауу!), – пропел он своим гнусным голосом. Повернулся к барыне, и в профиль усы его показались Эсме взаправду кошачьими. – То, что вас ничего хорошего не ожидает, – это факт, об этом все знают, я здесь не при чем, но вы сами, кажется, ради этого очень постарались... Я слишком доверчив – это моя слабость. Даже сегодня, когда сам обо всем услышал собственными ушами, и то не хотел верить. А что касается этого благородного звания, дворянского, – мне и даром не нужно. Тем более что оно, оказывается, прикрывает и такого рода благородство. Но повремените, барыня, – и наше время придет. Оно настанет, и тогда придется говорить нам с вами по-другому.

– Ты и не крестьянин, какой же ты крестьянин! – барыня хотела пропустить мимо ушей его намеки. – Крестьяне выгнали тебя из своей среды! А что касается дворянского звания – вижу, ты как раз жаждешь его. Скольких бы ты с удовольствием предал, скольких бы облил своей желчью, грязью ради собственного возвышения, но ничего не поделаешь – таким ты родился, таким и умрешь. Я чувствую, ты еще и стараешься приблизить свой конец!

– Не будем так спешить, барыня... – голос его становился все неприятнее. – Не надо делать вид, как будто ничего другого я не говорил, напрасно стараетесь! С сегодняшнего дня ты у меня в руках, знай это. Пока я не успел все обдумать, но, видимо, мы так просто не разойдемся!

– У тебя язык без костей, на какую гадость только ты не способен, какую гадость только не выдумаешь ты! – неумело старалась защититься барыня.

– Нет, нет, не надо переводить разговор на другое...

Но когда барыня в гневе решительно шагнула ему навстречу, Эсма заметила, как он на мгновение опешил, сник, спрятал свои кошачьи когти, глаза потеряли блеск, помутнели. Как бы там ни было – Алма, его сыновья, она, барыня, – одно, а он – другое...

Манча, видимо, почувствовал, что зашел слишком далеко.

– Одним словом, – добавил он уже без энтузиазма, – поверьте – и наше время придет, такие слушки доходят до моего чуткого уха, такие сны посещают меня в последнее время. Тогда, сдается мне, придется нам поменяться местами.

– Твое время никогда не настанет, уж в этом мне поверь! – заключила барыня, тоже замечая, что он немного поостыл.

Холоп, подумала она, холопья повадка.

Все вдруг почувствовали, что кто-то еще тут есть, стоит над ними на обрывистом берегу, и все обернулись туда. Над обрывом стоял Мсоуст, Манча, видно, ожидал его – не удивился, не обеспокоился. Барыня осталась на месте – не понимая еще, что происходит. Одна Эсма отступила в испуге на несколько шагов. Мсоуст заметил это, но на побледневшем, осунувшемся и потому казавшемся более обросшим, чем было на самом деле, лице ничего не отразилось.

И на мгновение все застыли – застыло все. Как будто в течении времени образовалась пауза, замерло биение жизни. Может быть, сюда пробилась с самого дна, оттуда, где ничего уже нет, сила пустоты и расколола время? Но такое может быть только на мгновение, это вмешательство небытия, – тут же сама жизнь соединит, склеит время, и сразу восстановится бег секунд...

Это длилось всего-то на один зевок, но на время зевка все остановилось: никто не тянулся никуда, не думал, не злился, не гневался, кровь не вскипала, никто в обморок не падал, не страдал... Потом все вспомнят, как сначала обозначились в воздухе их силуэты, потом зашевелились... Потом, как шум реки, доносящийся издалека, начали возвращаться голоса и звуки жизни.

До барыни после мгновения небытия стал доноситься голос, который, хоть она молчала, был ее голосом:

«Нет достойных мужчин, вот почему распоясалось такое ничтожество как Манча! Почему он смеет повалить все границы чести, как подгнившую ограду, и топтать их?!.. Где они, достойные мужчины? Кого за море угнали, кто пошел на дно моря, кто здесь погиб, кто на том, на чужом берегу... А оставшиеся в живых там – оттуда их руки до нас не достают...»

Многое тут стеклось.

И Эсме стало слышаться – дыхание догоняющих. Догоняющих спасителей. Тогда, в детстве, они не поспели, чтобы сохранить для нее золотистый камень... И среди них сейчас он, что же еще может быть... она отчетливо слышит его чистое, мужественное дыхание...

– Ты сюда пришел, чтобы пугать женщин?! – первым после мгновения пустоты был голос Мсоуста.

Он, видно, один из тех, чье дыхание мне только что слышалось, подумала Эсма.

– А-а... – протянул Манча, видимо, сбитый с толку этой паузой во времени. – Жажда, вижу, совсем замучила тебя... А на то, что я здесь немного задержался, на то есть своя причина. Нет ли желания услышать забавные новости? – он постепенно освобождался от мгновенного омертвения.

– Никакого! – отрезал Мсоуст. – Оставь их в покое и иди сюда.

– Как всегда, хочешь остаться достойным... прекрасно... – покачал головой Манча. – Ну что же – пока новенький, неопытный – простить можно.

– Эй ты! – негромко, но резко окликнул Мсоуст и угрожающе шагнул вперед. – Заткнись! И отстань от них!

Манча не осмелился заставлять его повторить, посмотрел по очереди на барыню и на Эсму – и пошел прочь.

– Слушай, Мсоуст, – заговорила барыня, – я не вмешиваюсь в мужские споры. То, что между тобой и моими, – это ваши дела. Но такой человек, как ты… как ты можешь опуститься до него?!

– Все это пустое, барыня, – перебил ее Манча. – Вот ты где находишься, – он протянул ладонь и постепенно сжал ее в кулак. – В твоих интересах забыть мое имя... – Пока Мсоуст еще раз не прикрикнул на него, он успел взобраться на обрывистый берег.

– И я, уважаемая госпожа, – сказал Мсоуст холодно, – в женские дела нос не сую. А что касается других моих дел – в подсказке не нуждаюсь, разберусь сам! – сказал так, повернулся и исчез за деревьями. И Манча последовал за ним, успев обернуться и показать свое рыжее злорадствующее лицо.

Когда они поднялись на ближайший холм, оставив внизу берег реки, Эсма глубоко-глубоко вздохнула – начала приходить в себя. Словно впервые все для нее открылось вдруг: услышала, как средь бела дня лениво брешут псы, перекликаются петухи, сплетаются звонкие звуки металлических колокольчиков и глуховатые – деревянных, что на шее пасущейся скотины. Все ее дни, ушедшие до сегодняшнего, казалось, обратились в пепел, а сегодняшний вернул ее на живую землю, с запахами и звуками, которая обещала жизнь, счастье – и значительные осложнения. Она догадывалась, что ее небо таит в себе молнии, способные вмиг испепелить всю ее жизнь, но сейчас об этом не хотелось думать.

Она обернулась к барыне, их взгляды встретились. На ее лице появилась слабая улыбка; она выглядела и чувствовала себя сейчас так, словно перенесла тяжелый приступ болезни.

– Ничего не бойся, – заговорила барыня, не очень-то сама этому веря. – Я думаю, этот негодяй не посмеет ничего сказать. А если даже посмеет, кто ему поверит, этому потерявшему стыд и срам собачьему отродью. Пусть прикусит свой грязный язык, не то будет ему худо. Он обманулся, думая, что я это так оставлю. А ты успокойся. Мы с тобой обе сироты, но мне всегда

хотелось что-нибудь такое сделать, чтобы ты забыла об этом. С помощью Бога, я думаю, все образуется...

– Моя госпожа... – она подняла руку барыни, которую поддерживала перед тем при подъеме, и поцеловала. Рука была ослабевшей и от этого казалась тяжелой.

ОТЕЦ И СЫНОВЬЯ

Я знаю, отчего я в жару таком, –
Буйвол господина съел муку...
Пляска святого Витта

Тот, кто видел усадьбу Анчаа со стороны, мог предположить, что здесь все определено, все разделилось, как творог и сыворотка, и каждый волен строить свою жизнь так, как ему угодно, что каждому предоставлено достаточно свободы и самостоятельности. Но тот, кто лучше был знаком с ней, знал, что жизнь усадьбы строилась по закону поводов: отец семейства, глава усадьбы, князек Алма Анчаа, чье слово, влияние в былые времена распространялись и за пределами села, чем больше старел, тем более переживал, что супруга, на которой он женился уже пожилым, остается сравнительно молодой, а его жизнь на исходе; занятый этими переживаниями, он терял свое влияние и авторитет; супругу его, госпожу Анчаа, считали, и сама она так считала, женщиной, которой изменило счастье, всю жизнь молча переживающей это; старший сын Алмы – Уатар – злоупотреблял горячительными напитками, и потому неизвестно было, то ли его больше презирают, то ли жалеют; его жена Сафия считалась женщиной, которая ведет себя неподобающе, превышает свои права хозяйки в отместку за низкое пристрастие мужа; второй сын Алмы – Хирипс – был слабогрудый, страдал чахоткой; ему, считающему свои дни, все прощалось – и хорошее и плохое, обреченность мужа определяла и отношение к молчаливой, безропотной его супруге Селме; третьего сына Алмы – Умара – называли бесноватым Умаром, и все избегали его; Астамыр, сын Хирипса и Селмы, – единственный ребенок, чей смех раздавался в этой усадьбе; был он избалован и капризен.

Нынешняя супруга Алмы родила двоих. Одного из них, Мзалея, отправили еще совсем юным в Россию, поводом было получение образования, но с тех пор в усадьбе уже не помнили даже, как он выглядит; другой сын – Бата – появился на свет слабоумным, он-то был вне всяких отношений; кто знает, чей грех настиг его...

Нет господской усадьбы, где бы не призрели какого-нибудь сироту. И усадьба Анчаа не была исключением: здесь тоже была своя сирота – Эсма. Обычно ее знали молчаливой, покладистой, существовавшей бесшумно, не задевавшей никого и никогда, но после того, как застали ее за страшным

занятием – попыткой покончить с собой, ее стали обходить как могилу – с жутковатым страхом.

Всеми этими несчастьями, изъянами, пороками, за редким исключением, болели как грибком все старые усадьбы. Но усадьба Анчаа имела одно преимущество, свою особенность: здесь проживал арфист – игрок на аюмаа*.

Сейчас он сидел на просторной веранде, галереей опоясывающей большой дом Анчаа – в двенадцать комнат с залом и двумя коридорами, – сидел где-то в самом конце большого, крепко сколоченного стола, за которым можно было принять полсотни человек гостей, и тихо настраивал свою аюмаа. Так было всегда: когда ему говорили, чтоб он перестал играть, он начинал ее тихо настраивать. Настройкой он способен был заниматься целый день, арфа не могла ему наскучить. Он уже был стар, всегда непокрытая голова – белым бела. Большинство из тех, которых он видел за столом с утра, – серые черкески, белые, черные, и вкрапленные кое-где среди них европейские костюмы, – большинство гостей удалилось из-за стола, когда солнце поднялось уже довольно высоко, оставили свои места и объедки.

Сам Алма и не думал бы садиться за пиршественный стол, если бы не дальние и близкие родственники, – понаехали, узнав о случившемся на церковной поляне. Его совсем не тронуло, что они явились по поводу, то есть приехали как обыкновенные сочувствующие. Но все равно, хотелось ему или не хотелось, необходимо было соблюсти принятый этикет, встретить их как подобает.

Когда встал из-за стола его хороший друг, который посещал его два-три раза в году, он тоже поднялся с ним вместе.

Тот сразу собрался ехать.

– Отдыхай, пока я не вернусь, – сказал Алма, обращаясь к арфисту.

Арфист приостановил движение рук, на которых выступали набухшие вены, и два раза наклонил голову.

У арфиста отец был мастером по арфам, он их создавал. Но сам арфист уже ничего не умел, кроме как менять струны, настраивать и играть. И арф, несколько он знает, кроме двух, которые были у него, нигде не сохранилось. Все унесли изгнанники за море. И арфистов кроме него поблизости никого не осталось. Почему-то в последнее время перешли на апхиарца*, ачамгур* и стали забывать, как держать, как играть на аюмаа. В усадьбе Анчаа ему давали кров не потому, что хозяева, озабоченные исчезновением арфы, хотели сохранить это искусство для потомства, и не потому, что они были такие уж любители музыки, а просто привыкали иногда забавляться его игрой, как-то поддерживать веселье, если весело, или заливать грусть, если грустно.

У самого арфиста была теперь неприятность: от качества ли дерева, из которого сделана, от того ли, что он положил или повесил не там и не так, одна из арф потрескалась, и это отражалось на звучании.

Единственная полноценная осталась у него та, которую он сейчас держал в руках; он буквально дрожал над ней, оберегая от всяких случайностей.

– Когда ты еще раз посетишь меня, Канчоу? – спросил Алма своего старого друга; они остановились у ворот попрощаться. – Именно сейчас я хочу, чтобы меня не оставляли. Ты не думай, будто из-за этого недостойного случая. Клянусь тобой, нет. Не таких мы видывали, не таких отправляли туда, откуда и весть о нем птицы не донесут. Просто – старый человек начинает остро нуждаться во встречах с близкими людьми, и почаще.

– Уже ты ко мне приезжай, – поглядывая исподлобья, словно в чем-то подозревая его, ответил Канчоу. – Ты как мой сын Алоу, всегда хочешь, чтоб другие к тебе выбирались.

– Пожалуй, ты прав... – согласился Алма без энтузиазма, завидуя другу: тот с видимой охотой произнес имя своего сына. – Кесария! – крикнул Канчоу, обратив лицо к дому.

Не успел он позвать, как одна за другой вышли на веранду все три дочери Канчоу, быстро стали спускаться по ступенькам. Траур, который они носили, подчеркивал белизну их лиц. Когда Алма заметил, что провожать уважаемых гостей вышла только прислуга, ему стало досадно.

– Куда это запропастилась госпожа... – бросил он раздраженно. – Когда больше всего нужны, вечно куда-то исчезают, будь они неладны...

– Все равно, ты не обижай ее, – посоветовал Канчоу. – С тех пор, как умерла их мать, я понял, что для нас, стариков, стоят наши старушки... Несмотря на то, что мои дети никогда не оставят меня без внимания, ты это знаешь...

– Ты действительно счастливый человек, имея таких дочерей, – открыто позавидовал ему Алма. – Не суждено было мне иметь дочь... Дочь лучше: пока жив – обласкает, умрешь – поплачет, слезы над тобой прольет. Может быть, родись дочь – и братья ее стали бы помягче и добрей.

– Да, действительно, я живу ими, дай им бог счастья... – говорил Канчоу, глядя в сторону девушек, спускавшихся к ним. – Но смерть матери на них так подействовала – никак после этого в себя не придут. Вот и вожу их с собой везде, куда ни отправлюсь, хочу их хоть немного отвлечь.

Дочери подошли, стали в сторонке. Из них две постарше, очень похожие, не отрывали глаз от отца, готовые выполнить любое его пожелание. Младшая была выше и стройнее сестер. Она смотрела куда-то в сторону, и по взгляду видно было, что она сейчас где-то в ином времени.

– Отец, – напомнила одна из старших. – До дилижанса не так уж далеко, может, пойдем потихоньку пешком. Зачем лишний раз беспокоить людей.

– Кесария! – сказал вдруг Канчоу ни с того ни с чего, повернув строгое лицо к младшей дочери, будто та нашалила. Она молча ответила взглядом – с грузом каких-то иных, далеких размышлений.

– Как это можно, почему же пешком, ни в коем случае! – возразил категорически Алма. – Алма Анчаа еще жив, и пока это так, вы отсюда никогда пешком шагу не сделаете. Вот же, лошади готовы, – он показал

рукой на дворовых парней: стояли за воротами с оседланными конями, держали под уздцы.

Девушки не заставили его повторять, пошли к воротам.

– Уж не задерживай их, Канчоу, пусть каждая из них найдет свое счастье. Девушка должна вовремя определиться, – говорил Алма, любуясь уходящими дочерьми друга.

– Эй, Алма, ты иногда не слышишь, не вникаешь в мои размышления! Думаешь, все, что пережил народ, все это прошло бесследно? Оно отняло у каждого частицу его желаний... – Канчоу опять исподлобья глянул на Алму, словно стараясь в чем-то уличить его. – А ты проследи для интереса, сколько за год выходят замуж, женятся, особенно из нашей, дворянской среды, посмотри, посмотри... – Оборвав разговор, он обратился в сторону младшей дочери и окликнул ее тоном наставника, оберегающего ее от некоего нежелательного постороннего внимания: – Кесария!

– Что ты пристал к барышне? – удивился Алма.

– Она сама знает... – опять он настиг взглядом свою младшую; та шла чуть позади старших, статная, красивая, и походка ее была свободней, чем у сестер. – Куда-то опять смотрит... – добавил он, понизив голос, – куда – неведомо нам...

– Чудишь ты иногда, Канчоу, – равнодушно усмехнулся Алма.

– Напрасно ты меня не хочешь понять, – почти шепотом заговорил Канчоу. – Будешь смотреть по сторонам – привлечешь посторонние взгляды. Один так поступит, другой, третий... и все, что должно быть в тайне, сокрыто, защищено от чужого любопытства, обнаружит себя, обнажится... Так вот сквозь нас и просочились, пробились взгляды, которые раньше не могли пройти, – и все наши тайны, все сокровенное стало достоянием тех, которые против нас же использовались... Потому-то мы сейчас в таком плачевном положении оказались, разбитые, разоренные, разрозненные... на том и на этом берегу.

– Я не понимаю, о чем ты говоришь. Мой совет: не пугай свою прелестную дочь этими жуткими рассказами, – в тоне Алмы чувствовалось безразличие.

– Напрасно, напрасно ты так относишься... – Канчоу опять посмотрел на него исподлобья, недоверчиво. – Почему мы удивляемся тому, что с нами стряслось, когда не осталось у нас ничего защищенного от чужого взгляда... двери, все, что защищало нас, как крепости, оказалось открытым настежь... Если мы, оставшиеся, хотим уцелеть – нужно захлопнуть двери и отвести глаза...

– Кесария! – его младшая дочь, стоявшая чуть в стороне от сестер, обратила к нему свой взгляд, уже свободный от груза недоступных размышлений, и улыбнулась.

– Барышни ждут... – напомнил Алма, пряча в густых усах улыбку, вызванную испуганными разговорами Канчоу.

– Не переживай насчет случившегося. Не должно было, но случилось... – добавил Канчоу, думая уже о чем-то ином. – Сейчас такие стычки

участились. Но мы сами не должны давать низшим повода. Открываем все двери, всем на обозрение...

Все кругом свихнулись, раздраженно подумал Алма, не могут в лицо сказать, но наверняка считают: в том происшествии на поляне – его вина... Их нисколько не возмущает – как же он посмел, этот собачий сын.

Наконец они обнялись. Алма сразу заметил: Канчоу обнимает его не так крепко, как обычно, какая-то часть сопротивляется. Но и это не задело его, постепенно ко всему привыкал. Хотелось, чтобы гость скорее уехал; день только начинался, но он уже чувствовал себя уставшим.

– Кесария! – опять донесся голос Канчоу, за воротами.

Кесария, видно, не могла ждать – она уже была верхом. Услышав отца, повернула к нему свое белое лицо, царственным жестом вознесла руку – и тронула коня. Конь пошел красивой иноходью. Гибкий стан Кесарии казался теперь воздушным, вот-вот она взлетит.

– Кесария! – крикнул Канчоу ей вдогонку, уже не в силах скрыть, как он горд за нее, летящую подобно птице.

Хочет уследить за ее взглядом, подумал Алма. Пустое... Ни за чем не уследишь, никого не остановишь, ничего не сохранишь.

Он повернулся и, не поднимаясь прямо в дом, несколько раз прошелся по просторному двору. Он видел, что сыновья не встали из-за стола со всеми и сидят, о чем-то совещаются, но и туда, к ним, он не спешил.

Сыновья – Уатар, Умар, Хирипс – сидели у ближнего, почетного конца большого стола и говорили приглушенно, так чтобы не слышно было арфисту – у дальнего конца он тихо, чуть слышно настраивал свою арфу. Старший, Уатар, был в европейском костюме. Крупный телом, возвышался над братьями. То и дело как бы невзначай протягивал руку, словно бы украдкой брал кувшин (привычная манера всех увлекающихся выпивкой и упрекаемых за это) и наполнял стакан. Потом выпивал за несколько приемов.

– Времени уже достаточно прошло, чтобы вино обрело крепость... – сказал он вдруг, чмокая губами, как человек, съевший очень кислое. – Не мешало, чтоб было покрепче.

Его небольшие, закрученные сразу же под самыми ноздрями усики казались приклеенными. И когда он говорил, так раскрывал губы, словно боялся, что усики отклеятся.

– Повезло этому негодяю, сыну немого, – пропустив мимо ушей не столь важный разговор старшего брата, который уже раз повторил свое Умар, пряча колючий взгляд маленьких глазок под мохнатые насупленные брови; папаха, которую он обычно не снимал даже за столом, надвинута на низкий лоб, голова втянута в плечи... – Стрелять – не выстрелишь, кругом людей как шерсти на кабане, и пробиться через стену этих людей – тоже невозможно было...

– Это лучше, что так все обошлось, поверь мне, – сказал Уатар. – Времена изменились. Рты, которые заткнули в девятьсот пятом году, опять стали

раскрываться. Власти тоже настороже, но они не поощряют обострение, стычки, кто знает...

– Не обострять с ними – стрелять их надо, как бешеных собак! – Умар скрипнул зубами. – Только умеючи надо... Я бы давно решил, как с ним, с этим зарвавшимся мужиком разделаться, да отец все карты спутал. В последнее время он что-то стал неуправляем, по любому поводу устраивает скандалы... нельзя же ему сейчас, что можно было двадцать лет назад.

– Да, отцу не стоило опускаться до него, это правда... – Уатар выпил еще стакан вина. – Такие дела должны провоцировать другие, мелкота. Хоть сейчас нужно ему сдержаться и повести дело как подобает. Надо одно усвоить: мы часть великого государства, нас всех касаются законы его величества русского императора. Так не будем действовать вне их, отдельно, кустарно.

– Для него и моего закона достаточно... – повторил Умар не очень уверенно. – Выведут... нет – выволокут его в один прекрасный день из лесу, окончательно усмиренного, дайте только немного сроку... Если нет – не называйте меня моим именем!

– Как его зовут, другого абрека, того, о котором идет слава? – спросил уже довольно подвыпивший Уатар, теряя интерес к разговору.

– Ты имеешь в виду Дадына? – панибратски, словно о знакомом, о приятеле переспросил Умар.

– Если они найдут друг друга, снюхаются?

– Дадын всякого не примет, – уверенно ответил Умар. – Хочешь не хочешь, он крепкий мужик, настоящий абрек. А этот! Кто он такой? Наоборот – нужно, чтоб они встретились. Тот его сразу раскусит. Сам себе яму роет – найдет в этой встрече свою погибель.

– Внемли моему совету, тебе не стоит открыто вмешиваться в это дело... – Уатар опять отпил из своего стакана. – Я вижу, отец идет к нам, давайте лучше продолжим тот разговор. Где мы остановились? В том, что будем говорить отцу, мы должны быть единогласны. – Он все чаще теперь отпивал из своего стакана. – Я, оказывается, ошибался, вино ничего себе, уже показывает свой норов, – словно боясь, что отклеятся усы, он засмеялся, почти не разжимая губ.

– Мы же условились, зачем повторять, – возразил Умар. – Земли, что на равнинах, лучшие, – отдаем в аренду под табак: грекам, армянам, мегрельцам – вот и все.

– А наши крестьяне как, что с ними делать? – осмелился вставить свое слово Хирипс. Будто его болезнь ограничивала и его права, к его мнению не очень-то прислушивались. – Наши уцелевшие... Им тоже исчезнуть – или как?

– Уцелевшие... исчезнуть... – передразнил его Умар. – Тех, исчезнувших, – мы что ли изгоняли?

– По крайней мере так думают.

– Ты, Хирипс, вечно преувеличиваешь... – Уатар, заметно опьянев, не сдерживал голоса. – Если даже так, нам нет дела до того, что натворили наши отцы. За свое пускай сами и отвечают.

– Откуда эти земли, о которых вы говорите? – Хирипс отвернулся, с надрывом закашлялся. – Это – земли изгнанников. Имеем ли право их отдавать другим?..

– Мы же говорим – в аренду, – опять вмешался Уатар, чтобы предупредить его столкновение с Умаром. – Мы не навсегда отдаем...

– И там тоже живут еще... несколько дворов из тех, уцелевших.

– Живут... лучше было б, чтобы не жили... – Умар с брезгливостью посмотрел на больного брата. – Нашел тоже работничков. Они там стоят – руки на кинжалах, чуть что – готовы в любое время вырвать из ножен, не дают слова молвить... Этих тоже надо переселить, только сюда, в горы, пусть там и копошатся.

– Табак – это золото! – Уатар пьяно заблестел глазами. – Чистое золото! Мы пребывали во сне, а если бы все это начать вовремя, знаете, какими мы были бы сейчас...

– Пусть перейдут в ущелье жить... – повторил Умар.

– Что ж, в этом есть резон... – Уатару уже было море по колено.

– Им же немного нужно, только чтобы набить животы, – вот пускай они туда и поднимутся, раскорчуют, засеют ущелье и жрут...

– Не говори так, брат, – Уатар уже манерничал. – Мы же не отказываемся от своего народа. И в то же время пускай он знает, это не лишнее, что мы можем свое хозяйство организовать и без них. Это право, эту силу нам дает наша земля. Значит, народ народом, но земля – главное.

– Есть просто земля, но есть еще земля – родина, – возразил уныло Хирипс. – И как ты на это смотришь?

– Потом, запомните, – продолжал Уатар, пропуская мимо ушей сказанное Хирипсом. – Если вовремя не распорядиться лучшими землями, есть еще один возможный претендент – брат наш, самый младший. К тому же известно, как к нему относится отец.

– Брат, говоришь... – засмеялся злорадно Умар. – Какой он нам брат...

– Ты говоришь – не брат, а он говорит – брат. И ты не скажешь, что это не так. И он потребует свою долю. Насколько я знаю, именно равнинные земли отец хочет для него.

– Равнинных земель не увидать им, как своих ушей, – коротко, но сильно ударил Умар кулаком о стол. – Это все состряпала наша гостья, наша новоявленная мамаша, но она обманывается... Тогда я возьму и буду там жить.

– Отец идет... – предупредил Хирипс.

– Сидите, сидите, – сказал Алма: сыновья встали ему навстречу. – Когда сидишь, и слово сказанное весит больше.

Он сам тоже сел.

Умар один остался прохаживаться возле стола. Он был среднего роста, сутулый, сколоченный крепко, но неуклюже, с короткой, почти незаметной шеей. Он ставил свои маленькие ноги по полу так, как будто хотел продавить его, и действительно пол под ним вздрагивал.

Это в нем столько злости накопилось, оттого такой тяжелый, подумал Алма, и маленьким он был щуплый, сухонький как старушка, но поднимешь – потом руки ныли.

И в детстве он сторонился людей, никогда не давался в руки ни домочадцам, ни гостям, которые для приличия хотели его приласкать. Старались сделать приятное родителям, а то у кого бы он мог вызвать охоту играть с ним. Однажды в дом приехал сын одного из молочных братьев Алмы. И угораздило же гостя взять мальчика на руки! Так этот негодник как даст ногой – попал бедняжке в такое место, что тот потом целый час разогнуться не мог...

– Старик, – Алма обратился на другой конец стола, к арфисту, – сыграй что-нибудь... может, которое я люблю.

Братья переглянулись. Алма знал, что сейчас им не нужно музыки, – однако нарочно хотел сделать только то, что именно его душе угодно было.

Арфист не заставил себя ждать. Звуки были негромкие, но они властно подмяли все остальные, выделяясь значительностью. Как крупные капли начинающегося ливня по засохшей земле, прозвучали они в воздухе, возвращая к жизни, прекращая его немоту. Через некоторое время запел и сам арфист. Голос его, казалось, доносится издалека, в него вливаются звуки ветров и пространств, и оттого он то таял, то возрастал. От этого пения, повествовавшего об открытой, искренней, девственной любви, от этих слов, самых первых, горячих, как из кузни, свежих, как только что упавшее в почву семя, от всего этого отдавало горечью еще недоспелого плода.

...Что это – средь бела дня
Меня ослепивший свет? –
Он увидел Сатаней-Гуашу,
Купается, нежась, в холодной Кубине...
– Уа, Гуаша, ты ли это?
И можно ли придти к тебе и
увидеть тебя?
– Да, это я звала тебя, что-то хотела
сказать,
Только переправься сюда, тогда и скажу*.

Это место особенно любил Алма в последнее время. И любил, и почему-то, хотя он не подавал виду, хотелось плакать. Уатар сидел не слушая, продолжал глотками отпивать вино, а потом опять наливал. Умар все так же нервно прохаживался под нелегкой ношей своей желчи. Алма знал, отчего он нервничает; Умара сильно задевало, что отец пришел и всеми распорядился, делает пока еще что хочет и как хочет.

Напрасно он думает, что моя власть так быстро кончится, злорадствовал в свою очередь Алма; пока он жив, глава рода, его слово должно быть окончательным, решающим. Он не даст им без своего позволения дотронуться до чего-то – будь это богатство, земля, право...

Что же мне делать, разлилась Кубина,
Не осилю ее, унесет меня,
На все готов я ради тебя,
Но с душой расставаться трудно...

В это время на веранду поднялась супруга Хирипса Селма и девушка из прислуги – Чахуназ. Селма, как всегда вспыхнув от смущения, обошла сидящих, приблизилась к середине стола – начала бесшумно собирать грязные тарелки и подавать Чахуназ. Чахуназ была живой, веселой и быстрой. Обвела всех смеющимся взглядом своих лукавых медовых глаз; дойдя до Умара, сразу отвела от него глаза. Не в пример другим, она его не очень-то боялась, но не хотела с ним связываться. Этот господин, хозяйский сынок, не понимающий природы смешного, абсолютно лишенный чувства юмора, при встречах начинал отпускать убогие, плоские шуточки. На его всегда мрачном лице тогда изображалось подобие улыбки, – даже не улыбка, а как бы знак ожидания, предвкушения удовольствия, – вроде как собака ждет, чтобы кто-нибудь да погладил по шерсти. То, что девушка-прислуга, не имеющая ни прав, ни влияния, ни силы, без каких-либо видов на будущее, – не боялась его, которого обходили все в господском доме, да и не только в доме, все это странным образом льстило ему, настраивало на игривый лад.

– Ты что не смотришь? – строго заметила Селма, вспыхнув как всегда: Чахуназ со стуком и звяканьем начала составлять тарелки.

– Если нужно, я могу и с закрытыми глазами их собрать, моя госпожа, и ни одной царапинки на них не будет, – смеясь отозвалась Чахуназ, быстро и ловко управляясь с посудой.

– Все же поаккуратнее ставь, так будет лучше, – сказала Селма, опечаленная сейчас еще и тем, что девушка называла ее «моя госпожа», так здесь больше никто к ней не обращался.

– Что, никого другого не нашлось кроме тебя, чтобы убрать грязную посуду? – забрюзжал Хирипс, и как всегда в таких случаях кашель напал на него. – Почему ты все на себя берешь, во всем себя обязываешь!

Селма вспыхнула еще пуще, но промолчала, только стала быстрее собирать тарелки.

– Все здесь считаются, будто чужие, – ухмыльнулся Алма, отвернувшись от кашлявшего сына. – Всем кажется, что слишком много делают!

Чахуназ обожгла быстрым своим взглядом Хирипса («Все эти твои слова, брошенные сейчас в воздух, как мертвому припарки, нашел, когда защищать жену...»), после чего задержала взгляд на Уатаре («Все пьешь... но мудрее нас с тобой твоя женушка Сафия...»), последним она удостоила взгляда Умара («Тебя еще бояться...»).

Наконец женщины собрали грязную посуду и вынесли.

...Что мне делать, разлилась Кубина,
Брошусь в реку – унесет меня, брошусь в реку –
смерть меня ждет.

Не успели Селма и Чахуназ с грудой тарелок спуститься и до середины лестницы, как послышались их крики.

Мужчины на веранде обернулись, посмотрели. Ну так и есть, это все Астамыр, сын Хирипса. Увидел, что руки у Чахуназ заняты, подбежал, стал корчить рожи, приподнимать подол ее платья. Она вскрикнет, а он заливается, весело горят полные его щечки. Не сумев отогнать паршивца, только что казавшаяся невозмутимой Чахуназ ударилась в слезы.

– Ничто ее не берет, но перед мальчишкой она бессильна, – заключил Уатар, доканчивая еще один стакан. Выпитое порядком обработало его язык, он уже не повиновался хозяину.

– Целую тот маленький твой отросток! – зычно выкрикнул Умар, как выстрелил. – Давай, давай! Учись, учись, переворошиь всех и вся!

– Негодник! – усы Алмы гневно дернулись. – Совсем распоясался, от рук отбился. Сейчас же изловите, да наподдайте так, чтобы сесть потом не мог, сейчас же!

– Давай, давай, никому спуску не давай! – чем больше Умар получал удовольствия, тем глубже его голова уходила в плечи. – Жив еще род Анчаа!

– Я вам не шутки шучу! – глаза Алмы налились кровью. – Эй, кто-нибудь! Поймайте и приведите его ко мне! Я ему покажу, паршивцу!

Астамыр почувствовал, что дед не шутит. Он его не любил, но побаивался: знал, что единственный человек в доме, чье слово имеет большую силу, чем слово Умара, – это дедушка. Однажды действительно ему всыпали, и крепенько: Алма тогда не просто пригрозил, а исполнил... в тот раз маленький наглец приставал к барыне.

Астамыр попятился, рассчитывая в случае опасности успеть забежать в дом.

Отец и мать не вольны были над ним, и он не считался с ними. Селме больно было от того, что она не могла сколько хочет сидеть с ребенком, прижимая его к груди, когда он еще был совсем маленьким, сосал грудь, потом начинал ходить, потом говорить... А сейчас, когда хоть раз в день она наконец поймает его, попытается обнять, – он вырывается, весь колючий, как дикий куст, оскорбляется, считая себя уже слишком взрослым для подобных нежностей.

– Эй, кто-нибудь! – Алма привстал. – Кому я говорю, покажитесь сюда!

Никто из прислуги не откликался и не высовывался.

Никому не хотелось потом иметь дело с Умаром.

– Что, значит, будем лупить чужими руками единственного достойного среди всех нас! – презрительно бросил Умар; прекратил свое хождение и прислонился к столбу веранды.

– Ты уже успел сделать его таким же как сам... – негромко сказал Алма себе под нос. Когда он, чуть выждав и не получив возражения, поднял взгляд на Умара, тот еще сжигал его своими маленькими злыми глазками («Лучше давай не будем!»). Алма отвернулся от сына, пригладил усы, словно лаская, усмиряя их («Еще с ним связываться, с этим кретином... он на все способен... бросит в лицо какую-нибудь пакость – потом же слова обратно ему в глотку не затолкнешь...»).

– Вообще, какого черта я вмешиваюсь в это дело, когда отец и мать есть у него, пусть у них и болит голова, – отступил, стал заглаживать Алма. – Возьмись за него пока совсем не поздно, а то твое дело гиблое, – добавил он, уже обращаясь к Хирипсу, тот сидел поодаль, несчастный, задыхающийся.

– Каким еще может быть мальчишка, которого портят все кому не лень! – Хирипс махнул рукой, поднялся с места. – У нас всегда так. В году один раз вот так соберемся – и вместо того чтобы нормально пообщаться, разругаемся последними словами и расходимся... Кстати, Уатар тоже не всегда здесь с нами сидит, он уже как гость...

Алма не придавал словам Хирипса никакого значения; тот в день несколько раз менялся – то делался невыносимым, всех ненавидел, то вдруг становился кротким, говорил только правильные слова.

– Было бы лучше и для меня, если б действительно был гостем... – Уатару понравилось, что хоть кто-то выделил его, старшего брата. Но язык уже очень плохо слушался. – Не гость и не хозяин... не дома и не у чужих...

Удивительно, что люди по-разному пьянеют, вдруг праздно подумал Алма, ничуть не жалея о спивающемся сыне; одни головой, другие в коленях слабеют, а вот он – языком. Еще ведь не так и пьян, а уже несет околесину.

Когда Уатар доводил себя до такого состояния, Алма с ним вообще переставал разговаривать. Он помог ему немного выучиться, купил ему дом в Сухуме, думал – первый сын, выведу в люди... но сейчас он считал – все, что потратил на старшего, просто в воду выбросил.

Уатар, подвыпив, начинал говорить высокопарно. Алма в таких случаях иногда вспоминал его детство. Ребенком тот был полной противоположностью Умару: лишь бы кто протянул руки – он с готовностью плюхался в них. Однако делал это недаром: не отводя глаз, начинал ласково смотреть на гостя – не даст ли чего-нибудь. Получив подарок, обычно деньги, сжимая их в ладони, он на некоторое время замирал в руках благодетеля, а потом начинал ворочаться, крутиться, делал вид, что ему неудобно, – и выскальзывал, высвобождался.

А сейчас жена его водит за нос... жена, которая осталась бесплодной, как дуплистое дерево...

Когда, наконец, оставив их, Алма прошел к себе в комнату, прежде всего расстегнул свой серебряный пояс со всякими висюльками и украшениями, с серебряным же небольшим, аккуратненьким кинжалом, снял всю эту тяжесть с себя и повесил на стене, где уже висела его сабля. Расстегнул ворот, сел на тахту, откинулся к стене, подложив под спину подушечку-мутаку.

Возраст его был уже немолодой, однако он не страдал никакими недугами; ни голова не болела, ни живот, даже на сердце не жаловался. Беспокоило его сейчас другое, днем и ночью преследовала неотвязная мысль: барыня с каждым днем все отдаляется и отдаляется от него, становится все холоднее и холоднее...

Он обдумывал это и так и сяк, но, несмотря на множество подозрений, которыми вечно мучился с тех пор, как связал с ней свою жизнь, вот сейчас он конкретно ничего не находил, почему их отношения должны были все ухудшаться, в чем она себя попрекала, его обвиняла. Он был уверен, что уже давно прошли первые ее обиды, тяжелые сомнения, недовольства. Почему сейчас это вдруг заново вспыхнуло?

Почему сейчас, когда успокоилась, улеглась его ревность к неизвестным ему, скрытым от него ее, молодой рядом с ним женщины, чувствам, когда он возжелал наконец-то самой тесной близости с нею, – почему сейчас она отдаляется?

Человек стареет – и все ближе начинает становиться пережитое. Когда молод – все устремлено в будущее: и глаза, и сердце, и мысли, и сам – весь. Еще не наступившее, не сбывшееся, еще судьба – тоже как смутное воспоминание. А когда человек уже прожил половину отпущенного ему, жизнь его возвращает к нынешней обыденности; ни прошлое, ни будущее его не интересует, как настоящее. Бывает иногда и такое: если у человека сегодня, в настоящем ничего нет, он может совсем уйти в прошлое, и если он там найдет какой-нибудь свет, хоть лучик, – вцепится в него и не отпускает, теша себя воспоминаниями.

Что же до него, до Алмы Анчаа, то он, в конце концов, пришел к выводу, что ни в прошлом, ни в будущем – никакого пристанища кроме нее у него в жизни нет. Теперь он ревнует ее к ее прошлому. Однако поговорить открыто, разрешить раз и навсегда свои сомнения боится: не сделать бы еще хуже.

Оба супруга вели себя так, будто ничего не происходило. Она в свою очередь не казалась обиженной, имеющей к нему какие-то претензии. И делала вид, что не замечает, как он страдает от одиночества, – находила пристанище и забвение в религии, в молитвах. Будто у этих тхубунцев, с раздражением думал он частенько, кроме как ходить в церковь, молиться Богу, – никаких других занятий отродясь не было.

Верно, барыня так заметно изменилась оттого, что сильно тоскует по сыну... Ах, если бы только это, думал он, подозревая, что ко всему тут добавляются еще и другие причины. О сыне и она никогда не заговаривала, и он сам тоже. Никогда ни по ком не тосковал Алма Анчаа, однако на первых порах, когда мальчика услали в Россию учиться, как ни странно, скучал без него. Правда, время притупляет все, и чувства тоже. Привык к тому, что сын находится в Петербурге, словно так это и должно быть.

Он видел, как от этого страдала госпожа, но она молчала. И сам он тоже со временем совсем перестал говорить о сыне, ибо при одном лишь

упоминании барыня делается мрачной, начинает нервничать, и тошно становится видеть ее.

И сын тоже, если даже он не скучает по отцовскому дому, по родственникам, должен же вспомнить родную мать. Если бы он помнил и тосковал по ней, ничто бы его остановить не могло. Не дает о себе знать, молчит – значит, ничто его не тревожит.

Но когда больше всего нуждаешься в человеке, уже на старости лет, и не то чтобы в других, но в собственной жене... когда возникает желание ослабить если не ток, то хотя бы ощущение времени, а оно все больше давит, жмет тебя...

Отсутствующего сына он помнит больше по детству, с тех пор, как тот начал ходить. До сих пор его плечи, шея помнят прикосновение нежных пальчиков, когда малыш с охотой шел к нему, обвивал шею ручонками...

Алма отогнал от себя мысли, воспоминания, сомнения и некоторое время пребывал в пустоте, ни о чем не думая, ничего не переживая, сидел неподвижно, чувствуя подложенную под спиной мутаку.

Он умел так отдыхать. Раньше, когда в его жизни беспечности было больше, он мог продлить это удовольствие, а потом продолжить во сне.

Но сейчас все его мучители тут же возвращались, никто из них не хотел оставаться за дверью. Они возвращались, они были. Тогда, прежде, их, видно, то ли не было, а если даже и были, так слабенькие, невесомые... в любое время можно было сдунуть их с себя как пылинку.

Сейчас первым вернулось воспоминание о том, что случилось на сходке. Не очень-то он заботился, терзался этим, но все равно происшедшее требовало своего законного места, требовало обдумывания. Да, вмешиваясь в события, он, конечно, знал, как все повернется и какие будут последствия. Он не переваривал сына немого, увидит – дрожь пробегала по всему телу, пробирала до косточек. Сейчас, старый человек, защищенный самим своим возрастом, он его не боялся. Но, верно, в молодости боялся бы как огня. С этим-то он не мог примириться. Знал, что даже Умар боится его... Бросаясь с кинжалом, этот сукин сын знал, конечно, что вмешаются сыновья, родственники – чего и добивался. Знал и то, что народ, собравшийся на поляне, ему этого не простит. Люди оценили его поступок как страшное неуважение этого гордеца ко всему тому, чем они руководствовались в своей жизни... ничего не пощадив, ни с чем не посчитавшись, он попрал святые правила отношения к старшему.

Значит, он во всем проиграл. Алма этого и добивался.

А все остальное должно пойти по закону. Староста должен организовать поимку. А как только засадят его – он сам займется этим делом...

И старосту заодно испытает. Тот и так уже ведет себя вызывающе. Алма считал, что такие, как староста, к слову которого прислушиваются люди, опаснее даже, чем этот скандалист и задира.

Его не удивило, как отнеслись к случившемуся сыновья. Они не очень-то рвались вмешаться. Он примерно знал, что они обо всем этом думают: зачем,

мол, старый негодник наживает врагов – уверен, что не ему – им-то и придется расхлебывать...

Все равно, ни один из них не способен по-настоящему постоять за честь отца. Ведь честь отца – честь всего их рода. Умар, этот домашний деспот, похваляющийся своими домашними подвигами, при самом нападении куда-то исчез. Удивительно не то, что исчез, а то, как ухитрился, чтобы на поляне не заметили. Заметить-то заметили, конечно. Но сам Умар хочет так думать. Ему же говорил, мол, если бы раньше не ушел по каким-то своим делам с поляны, там же, не сходя с места, и решил бы раз и навсегда это дело... А братьям объясняет, будто его народ не пускал, а стрелять в толпе он не решился.

Любопытно, как бы повел себя на поляне тот, отсутствующий его сын? Каким вообще он стал? Как выглядит? Похож ли на своих братьев или не похож?

Сердце заныло... Давняя боль – как старая рана... безымянная боль, беспричинная.

Когда сын был еще маленький, жил дома, Алма относился к нему неровно, двойственно. Иногда бывали даже приступы любви к ребенку, а иногда – он, конечно, этого не показывал, – но так и хотелось его задушить... Словно ревновал к самому себе – к своей поседелой голове – этого, как зимняя земляника, не по времени родившегося мальчишку.

Этот последний сын, эта зимняя земляника разбередила в его душе многое, о чем он забыл, а то и не подозревал: оживали какие-то странные воспоминания о собственном детстве, оборванные картины тех времен.

Одно из таких воспоминаний до сих пор не оставляет его.

Когда он был маленьким, в усадьбе появился щенок, принесла дворовая сука. Остальных щенков в усадьбе раздали, оставили самого лучшего; он сосал сразу два лучших соска своей матери-суки. Насытившегося щенка приводили к маленькому Алме: мальчик до обморока любил с ним играться. Щенок был пушистый, весь мягкий, пухленький и очень ласковый: брал в пасть его пальцы, ручку, ножку – но не кусал их, как-то без зубов умел сжимать. Мальчику тоже очень хотелось сделать так, играя с любимым щенком, – но не решался, не помнит уже – то ли боялся, или все же немного брезговал. Потом он все-таки научился брать в рот лапы щенка и небольно сжимать их зубами. Однако через некоторое время появилось страшное искушение: ему хотелось по-настоящему укусить щенка, сжать во рту его лапу до хруста. Долго он сдерживал себя, но в один прекрасный день не утерпел и сжал зубы. Щенок взвизгнул от боли и, вырываясь, царапнул его лапкой по щеке. Услышав рев маленького князя, прибежали дворовые. Щенка избили, ребенка подняли в дом. Несколько дней его совсем не выпускали гулять. Так он никому – ни няньке, ни другим домашним не сказал, что щенок-то не при чем, виноват он один. Ему льстило: все поднялись на ноги, все вертелось вокруг него...

И когда наконец ему разрешили спуститься во двор, за ним по пятам ходила нянька, ни на шаг не отпускала. Еще через некоторое время он с

балкона заметил, как сука, мать щенка, появилась во дворе. Она не решилась выйти на открытое место – остановилась в сторонке и тоскливо стала оглядываться, прислушиваться. Барыня, родительница Алмы, в тот час прохаживалась по двору. Задержалась, позвала к себе ручного барашка, щипавшего травку поблизости. «Шигу, шигу, шигу...» Барашек не заставил себя ждать, не спеша подошел к хозяйке – хорошо упитанный, курдюк больше, чем полагается в таком возрасте. Барыня протянула руку, он начал ее лизать. Другой рукой барыня поглаживала его белоснежную шубку.

Алма помнит, посмотрел в ту сторону, где появилась сука, чтобы увидеть, что она там делает. В это мгновение сука сорвалась с места и за несколько прыжков оказалась возле барыни. Ручной барашек даже испугаться не успел, как сука издала рык разбуженного зверя и вцепилась ему в горло, повалила наземь. Барыня истерически закричала. Не успела она подать голос, как во дворе раздался сухой хлесткий выстрел. Первое, что Алма увидел, опомнившись: пытался подняться на ноги барашек... в горле, заполненном кровью, хрипело. Барыня еще раз вскрикнула и зашаталась. Один из дворовых, самый бойкий, в несколько прыжков подскочил, успел подставить руки, пока барыня не упала. Она вся обмякла, голова запрокинулась, руки повисли как у мертвой... дворовый джигит держал ее на своих крепких руках.

«Убил, убил...» – заговорили кругом с тревогой, и все завертелось, как в растревоженном муравейнике.

Барыню в глубоком обмороке унесли в дом. Другие побежали к умирающему барашку и быстро утащили на заклание. Сука, мать щенка, осталась лежать посреди двора. Она лежала неподвижнее неподвижного, как бы пристав навсегда к земле. Все во дворе застыло, вместе с липой в его центре, с ее огромной кроной...

Вырвав ладонь из цепких рук няньки, он побежал по ступенькам, на которые старушке нужно было так много времени, спустился – и в мгновение ока оказался у лежавшей суки. Первое, что ему бросилось в глаза, – из тех двух сосков, которые набухли от молока, молоко капало в лужицу крови, в которой лежала собака. Тогда только до него дошло, что и щенка задавили... Все увиденное так его напугало и потрясло, что куда там объяснять, с чего все началось, – он просто бросился в объятия няньки, которая к тому времени успела спуститься с лестницы.

Потом, когда он подрос, до него дошли слухи о том, что его отец взял тогда под прицел не разъяренную суку, а свою супругу, барыню. Чтобы воспользоваться случаем... но пуля подвела.

Алма так никогда и не узнал точно, верен ли слух.

Воспоминания тянули за собой и другие картины минувшей жизни, казалось бы, никак не связанные с ними. Их все вызывала та же безымянная душевная боль, преследовавшая его. Но сейчас даже больше досаждало и оставляло осадок иное: погружаясь в детство, в прошлое, он лишний раз убеждался, что никаких теплых воспоминаний, теплых чувств к родителям у него не осталось. Сейчас он вспомнил их лишь как участников случая со щенком.

Что посеешь, то и пожнешь. Пока что он жив и здоров, глава семьи, рода... но не то что после смерти – уже и нынче ни у кого из сыновей (про отсутствующего он не говорит) не найдется для него капли тепла и милосердия.

Еще он помнит, что того парня, который успел подхватить, поддержать падающую барыню, он больше не видел. И сразу же и говорить о нем перестали...

Может, это знак старости – ему в последнее время кажется: все в доме что-то утаивают от него, что-то скрывают... иногда казалось даже, что отзывают друг друга, лишь бы он не услышал, о чем будут шушукаться.

Но, может, так и было всегда, всегда существовало нечто такое, ему не понятное, что ставило и удерживало его на месте, откуда ничего не видно и не слышно?

Первая жена – чтоб их род посыпали конопляным семенем (где конопля растет, больше ничто не может расти), – чего только она с ним не вытворяла! Так или иначе (он так и не понял, чего ж она хотела, и именно от него, супруга, кроме того, что грызлись с нею как злые собаки) – так или иначе, но убралась в мир иной. Достойно внимания, что никому она больше зла не причиняла, не говорила даже обидных слов – кроме как ему. Своих детей она боготворила – и они ее тоже. Правда, она ко всем, и к детям и к прислуге, была строга и требовательна, но раз уж и справедлива, даром никого не обвиняла, – все ее и почитали и слушались. А вот его, мужа, главу дома и семьи... да она из кожи вон лезла, лишь бы ему сделать больно, обидно, показать, что он – не он, чужой тут и лишний.

Даже перед концом она ни чуточки не изменила себе. Безусловно, сколько бы она ему ни насолила, он не желал ей смерти... она же и тогда ничего ему не забыла, думала, как отомстить. Перед смертью всех попросила выйти, кроме него (стоило ей чуть шевельнуть рукой – тотчас все исполняли ее волю). Сказала ему, чтобы своими руками закрыл ей глаза. «Пока я в сознании, не отпущу от себя ни на шаг... Но когда потухнет сознание, ты постараешься ускользнуть, позвать других, уверенный, что наконец хоть смерть разлучила нас... допустишь такую ошибку, которую потом всю жизнь не простишь себе – я стану являться тебе ночью... как только смежишь веки – предстану перед тобой. Лучше сам закрой мне глаза, убедись, что меня действительно уже нет... тогда я тебя оставлю в покое – и ты отдохнешь, и я отдохну...»

При этом вздорном воспоминании Алма Анчаа, для которого убить человека всю его жизнь было столь же просто, как отрубить голову цыпленку, Алма Анчаа даже сейчас чувствует, как что-то сжимает горло, не пропуская воздух... на мгновение становится трудно дышать.

– Чтобы весь их род засыпало конопляным семенем! – вслух раздраженно повторяет он.

Нет, нет, тут не отношение его к жене, и не иное, просто постарел – все, что с ним ни происходит сейчас, отсюда, от возраста. Ничто его не утешает.

...Когда она, первая жена, сказала так, пригрозила, он – поверил. Абсолютно был убежден, что окажись она на том, на другом или хоть еще на третьем свете – все равно пробьется, вернется – лишь бы выполнить свое обещание, отомстить ему. А так-то он никогда не имел дела с умирающими, с покойниками... Никогда никому не закрывал глаз (покойникам в их семье глаза закрывала тоже прислуга). Если же от его пули или кинжала погибал человек, он знал – свое сделал... других забот у него не оставалось. А так – нет, нет, он в жизни ни разу не прикасался к покойнику...

...Ему тогда показалось, что она вот-вот испустит дух. Хотел было сложить ей руки на груди, но она этими же руками отстранила его. Уже не могла говорить, но все же дала ему знать, чтобы он не спешил, смерть сама сделает как надо.

Потом уже, когда он закрыл ей глаза, ему показалось, что в ее лице наконец появилось умиротворение, даже блаженство. До сих пор никак не может взять в толк, что же его толкнуло... но он тогда протянул руку и погладил ее волосы... и удивился – они были такие мягкие... Его обдало жаром, пот градом покрыл лицо. Он присел, достал большой свежий платок, который менял каждое утро, и стал вытирать лоб.

...И сколько она лежала на смертном одре, лицо ее менялось, но покой и мир в нем не исчезали... и чуть заметная улыбка...

Алма решил заглянуть в комнату супруги. Проходя через залу, задержался перед большим старым зеркалом в углу, в позолоченной оправе. Свое отражение он видел неясно, зеркало помутнело от старости. Если даже и обозначились в лице какие-то изменения, сейчас они были не так заметны. Оно и лучше. Его вечно пугала собственная тень, которую он видел в зеркале. С давних пор отношения между ним и зеркалом были не совсем обычными – трудно даже кому-нибудь об этом рассказать. Он, к примеру, до сих пор не уверен, что оттуда, из-за стекла, смотрит именно он, по крайней мере тот, который сейчас, здесь вот стоит в зале. Что знает человек о себе? – малую толику. А может, за ним, за плечом его стоит еще и другой, невидимый ему? Может, это изображение в мутном стекле – тот, второй?

У этого Алмы, здешнего, размышляющего сейчас перед зеркалом, всегда было страшное желание оказаться как-нибудь на месте другого, который там, за стеклом, увидеть себя его глазами.

В давние времена, когда он был еще молод, и поверхность зеркала была чистой, оттуда, из-за стекла, сюда, в комнату, на него смотрел отменный молодой человек, живой, отважный. Но даже тогда, даже тот самоуверенный молодой человек на него глядел с недоверием. Особенно пронзительно глядел, как ему казалось, правый глаз. Там словно бы затаился осколочек стекла, он отсвечивал, посверкивал – словно бы говоря: погоди, мы еще встретимся! И вот Алма опасался – вдруг да на него, молчащего с этой стороны стекла, тот, второй, возьмет и обрушит еще какие-нибудь слова... он поскорее отскакивал от зеркала... Часто тогда бывал в сомнении: кто же

предстает перед людьми – он, который стоит тут вот в зале перед зеркалом, или тот, другой, с посверкивающим осколочком в глазу...

Уже он и стар, и у зеркала поверхность помутнела, да все так же посверкивает, хорошо виден глаз с осколком: что это, мол, никак ты не одолеешь чувства вины... но погоди, пока раскроются мои уста, – может, я тебе сумею подсказать самый простой выход... – вот что говорил этот взгляд.

Из кухни горько несло жженой шерстью, – видно, обрабатывают голову вчерашнего быка на обед. Его мучили в последнее время запахи, обоняние у него отчего-то теперь обострилось. Кроме горелого до него отчетливо доносился сладковатый запах кипяченого молока – в нем варились ягнята. Это несоответствие запахов так действовало на него, что подступала тошнота.

Такие вещи любил Умар. Алма не раз собирался возразить... запретить это кощунство, по его понятиям... но связываться с Умаром не хотелось. Он чувствовал, что между ними должен состояться крупный разговор: о том, как Умар ведет себя, что думает делать в дальнейшем... а также и о том, что он, Алма, уже не намерен жить с сыном в одном доме, пускай отделяется... но с этого начинать, с кухни, с проблем живота он не хотел.

Умар, ко всем прочим своим достоинствам, любил полакомиться, очень следил за едой, хотя внешне это на нем не отражалось, оставался все таким же сухопарым.

Он же весь пропитан ядом, думал Алма. И все, что ни съест, – а ест он немало – все разрушается ядом, и ничего впрок не идет.

В те времена, когда Алма был молодым, много есть считалось позором. Это с недавних пор начали так обжираться. И большинство тучнеют от обильной пищи... а как же еще – в боевые походы им не ходить, пируют все от жадности да баловства. И такие стали попадаться, для которых обжорство сделалось смыслом жизни: если их хорошенько накормить да напоить, хочешь – для Бога постараются, хочешь – на стороне дьявола.

Там, где увлекаются обжорством, все остальное делается неважным. Человек, занятый исключительно своим животом, никогда хорошего не придумает.

Где же она пропадает до сих пор, нервничал Алма. В последнее время он места себе не находил, когда ее дома не было. Хорошо – ее не посмеют тронуть, но с ней же эта сирота. И так Богом отринута...

Он подошел к ее комнате, и когда легонько толкнул дверь, та открылась. Обычно она закрывала дверь на ключ, на этот раз, видно, позабыла. Шагнул за порог, вдохнул знакомые запахи. Приятно...

Он вдруг вспомнил, как она на него посмотрела, когда узнала о случившемся там, на церковной поляне. Лучше бы она что-нибудь сказала... Хотя говорить и не нужно было ничего – она была страшно напугана...

Ей, видно, кажется, что он этого смутьяна намеренно преследует. Ничего удивительного, если даже так. И не только самого, но и его немого отца. Пока тот еще способен был говорить, и об отце Алмы, и о нем самом, обо

всем роде Анчаа успел наговорить достаточно гадостей. Многим сумел втолковать, что они, Анчаа, видите ли, предатели.

– Не так, не так надо было с ним!.. – вырвалось у него, аж усы дрогнули. – Еще где-то прогуливается... повезло ему – стар я уже, устал... а то бы всех их, всей семьей выслал – откуда не возвращаются!

Вдруг он почувствовал чье-то присутствие – как мог резко повернулся, сердце учащенно забилось. Его взгляд привлекла постель барыни, – казалось, она чуть приподнимается. Может, померещилось? Он пригляделся внимательнее – на этот раз кровать явно качнулась.

– Кто здесь? – он почувствовал такой страх, что стыдно было перед самим собой.

Из-под кровати выглянул Бата. Трудно было сказать, сколько ему лет. Редкие волосы на лице, как на неспелой дыньке, были седые. Из-под старой, изъеденной молью папахи выглядывали тоже седеющие, серо-мышиного цвета пряди.

Бата выполз из-под кровати и стоял еще на коленях. Когда он поднял лицо, на Алму глянули бесцветные водянистые глаза, где жила лишь слабая тень сознания и такая кротость, от которой тошно становилось, муторно и страшно на душе.

В руке он держал огрызок подгоревшего ачашва – пирога с сыром. Видимо, один из пирогов так испортили на кухне, что нельзя было подавать на стол, вот ему целиком и достался.

У Алмы сердце заныло. Когда он видел Бату, забывал всех остальных сыновей, ему казалось, вот – единственный его отпрыск. Не мог смотреть в глаза, где отражалась эта нечеловеческая кротость. И сразу почему-то вспоминал о том щенке...

Бата должен был целый день чего-то жевать. Все его жалели, оберегали от опасностей как могли, кроме Умара да этого сорванца Астамыра – те ему житья не давали. Бата как увидит их – убегал, уносил ноги, прятался.

– Как ты сюда попал, несчастный, – сказал тоскливо Алма.

Он сразу понял, почему барыня оставила свою дверь открытой, – чтоб у Баты было куда спрятаться.

Только обо мне никто не вспомнит, криво ухмыльнулся Алма, даже вот о нем позаботились...

– Родившийся в черный день, ты – мое несчастье, – вздохнул Алма. – Вставай, вставай.

Бата не поднялся, а сел на полу, ноги как-то странно вытянул в сторону – они казались перебитыми.

– Ас-с-стамыр... – пробормотал он и принялся жевать, причмокивая и роняя на пол крошки. – Он у-у-у ме-ня о-отнимает... – старался объяснить несчастный, не переставая насыщаться.

Вдруг он замер – со двора донесся крик Астамыра. Перестал жевать, и лицо его сделалось таким, будто проглотил горькое.

– Не бойся, он не посмеет сюда зайти, – Алма повернул лицо к окну и посмотрел в сторону опустевшего, сбросившего листья сада.

Не переставая смотреть на голые ветки, он придвинул стул, сел.

Тому уже несколько лет... В тот год он еще был крепок. Его и барыни целый день не было дома. Вернувшись вечером, они узнали, что Астамыр заставил Бату жевать чурек, на который перед тем оправился. Дворовые хотели было вмешаться, да Умар, оказывается, никого не подпустил. Говорят, смех его сотрясал дом.

Барыня ушла в свою комнату плакать, а он до того разъярился – приказал тут же найти и привести к нему дерьмеца. Но Умар, зная, какие могут быть последствия, спрятал мальчишку так, что никто не мог бы и догадаться. Алма очень негодовал – хотелось дать хорошенько по лицу самого Умара той самой плетью, которую приготовил для Астамыра... но даже и тогда уже не посмел этого сделать. Он и самому себе внятно не может объяснить, но есть, есть причина, почему он не способен решиться на такое, и на многое другое... этой нерешительностью пропитаны его правда, права и обязанности...

Нет, конечно, – он не всегда был таким. В иные времена он вершил что задумал – если не везде, не со всеми, то по крайней мере там и тогда, где было ему под силу.

Руку, которая лежала на коленях, что-то тронуло. Его передернуло... Словно белка, бурундук, мышка – кто-нибудь из тех, обычно столь боящихся человека, вдруг доверчиво потерся, прильнул... Тихо, чтобы не спугнуть, он повернул голову, посмотрел: Бата прикасался губами к руке, отнимал и опять прикасался.

– Эх, Бата, Бата... – вздохнул Алма. – За какие же грехи наказал нас Господь – и тебя, и меня, и твою мать... Но все благо, что ни посылает нам небо...

С веранды сюда, в комнату, доносился голос забытого, оставленного всеми арфиста:

Не смог я одолеть, перейти Кубину,
не смог перейти, как мне быть теперь...

ГДЕ ЖЕ ТА ДВЕРЬ?

В красные глаза – красная заноза вонзится,
В белые глаза – белая заноза.
Заклинание от дурного глаза

Мзалею уже и дорога казалась незнакомой, да длиннее, чем он ожидал, – порядком устал и – чего греха таить – проголодался. Неужели всегда было так далеко – или только сегодня ему кажется?

Очередная лощина, новый холм – и тут вдруг ему почудилось – не то вдалеке, не то вблизи, над головой ли, на земле – но кто-то или что-то такое, не замечавшее его до сих пор, вдруг обратило взгляд, приметило... и еще он почувствовал, что и сам должен бы заметить...

Поставил у ног саквояж, осмотрелся. Ветерок дул здесь не переставая – прочистил ему глаза, но пока он впереди ничего такого не различал... чтобы увидеть, надо было вспомнить.

Охватил взглядом неширокую котловину, открывшуюся с высоты: там посередине чернели несколько не очень стройных кипарисов – редкость в этих местах; меж ними золотилось всей кроной какое-то неизвестное ему дерево; а вот чуть дальше серела церквушка, отсюда величиной с сундучок.

С тех самых пор, как он стал понимать веру в Бога, заимел представление о его служителях, научился размышлять, насколько это ему удавалось, о народах, правде-истине, справедливости, удаче и поражении, с тех самых пор он ни шагу не сделал в сторону церкви: она не была для него предметом поклонения или хотя бы рассуждения.

Тогда почему же ему стало трудно дышать, как увидел эту серенькую церквушку, этот сундучок, словно выпавший из клюва сказочной птицы?

Оживало прошлое. Он почувствовал, как воспоминания овевают его – сквознячком при душной погоде, переносят туда, где вместе жили сказка и быль.

Он слышит ласковое бормотанье няньки, будто говор ручейка, выбежавшего из лесной чащи под солнечный луч.

На склонах у далекой вершины, сейчас голой и почерневшей, тогда белели пятна ледника. Они сохранялись там почти все лето... когда леса на склонах делались зелеными, на зеленом фоне островки льда казались еще белее.

Это ягнятки, тихонько подсказывала нянька. Мальчик, что пасет их, таинственно нашептывала она, слушается и свою маму и свою няню. И раз он послушный сам – ягнята тоже его слушаются. За это на их следах, которые они там оставляют днем, ночью зажигаются огоньки. И если кто заблудился в горах, по этим звездам-следам находит путь. Вот какие хорошие, послушные мальчик-пастушок и его ягнятки... – неизменно мягок, вкрадчив, сладостен был голос няньки.

Иногда перед сном, в ласковом вечернем тепле, она ставила его на перила балкона и серьезно говорила: «Отсюда». И фонтанчик, описав дугу, стрекотал в траве. Потом она показывала на небо, где от самого моря и за видимые днем горы простирался Ягнячий (Млечный) Путь. И мальчик проникался уважением к послушному пастушонку и послушным его ягнятам.

В церковь он ходил с матерью в неделю два раза. Однажды, когда они пошли, церквушка оказалась заперта. Священника не было. В ожидании бродили по двору по мягкой зеленой траве – она всегда была здесь гладенькой, никогда не поднималась повыше – так, чтоб под сено.

Как только они поравняются с церквушкой, становилось тихо, будто на дне оврага, и он начинал слышать запах, которого нигде больше не встречал, напоминающий запах плесени.

«Запах пыли... прах столетий...» – подумал он сейчас.

В тот раз, едва поравнялись с входом, он заметил, что двери церкви приоткрыты. Что-то его увлекло вперед, и когда он рванул к себе створки,

они не только отворились, но и с шумом хлопнулись о стену. Знакомый запах неожиданно сильно ударил в нос... Мать догнала его, схватила за плечи. Как будто сегодня – помнит, какие были сильные ее маленькие руки. Он все же потянул ее внутрь.

В церкви застоялся душный влажный воздух и было довольно темно. На стенах высвечивали какие-то пятна («Остатки фресок...»). Он неожиданно увидел прядь волос, а под нею – человеческий глаз, как ему показалось, упорно смотревший прямо на него. Испугался, хотел убежать, но маленькие руки матери так сильно держали его, что никакой возможности не было вырваться. Ей некогда было ему что-нибудь сказать: обратив взор на этот единственный глаз, который был им виден на стене, она быстро-быстро крестилась и что-то бормотала. Иногда лишь два слова: «Матерь Божья... Матерь Божья...» – слышалось сквозь почти плачущее бормотание.

Когда, помолившись, она вышла с ним за дверь, ее лицо показалось ему просветленным – блаженная улыбка была на ее лице. Отпустила его запястье, которое держала так крепко, и тихонько, с любовью («Не делая ей больно»...), прикрыла дверь.

Он помнит, как в том году мать терзалась чем-то, какое-то горе сжигало ее... помнит ее вечно бледное лицо. Только позднее, когда подрос, понял: ее убивала судьба маленького несчастного Баты. Родился тот будто обыкновенным ребенком. Но рос – и сквозь его пухлое тельце, сквозь детское личико стало проглядывать безъязыкое, пустоглазое несчастье – уродство.

Мзалей подхватил свой саквояж и быстро спустился с холма. Уже с края поляны, где стояла церквушка, он разглядел, что дверь ее была открыта. Возле церкви росли какие-то новые деревья, которых не было при нем. А стволы кипарисов обвивал плющ.

Как же это допустили – плющ сожрет деревья, постареют до времени, погибнут до времени, с досадой подумал Мзалей. Меж кипарисов поднималось дерево – помнил еще по детству, но и посейчас не знал, какой оно породы. Вся крона в золотистых, еще не облетевших листьях, и земля внизу тоже устлана золотистыми небольшими сердечками.

Мзалей, вернувшийся домой блудный сын, с особым чувством смотрел на это дерево, тоже забредшее сюда неведомо откуда. Оно тут было единственное такое (почему же не дает потомства?).

Из дверей церкви показался священник. Он смотрел в сторону и пока еще не заметил постороннего. Жиденькая рыжая борода была раздвоена, словно середину выщипали. Вдруг он окликнул кого-то резким, довольно громким голосом, необычным для служителя храма. Ему не ответили. И снова застучали в воздухе пригоршни слов-камушков, даже больше, чем у той женщины за холмом. Перевел дух, послушал, но никто не откликался. Тогда, придерживая одной рукой старенькую выцветшую рясу, он быстро пошел от церкви.

Тут-то Мзалей и разглядел в конце двора привязанную у куста козу: запуталась в длинной веревке, упала. Увидев ее беспомощность, два молодых барашка, пасшихся возле, стали с разбега бить ее по очереди. Коза ревела.

Священник, вытянув шею, на которой болтался крест, изо всех сил спешил на выручку. То и дело выбрасывал перед собой пригоршню слов-камушков.

Мзалей улыбнулся, еще раз посмотрел вслед священнику, затем подошел к открытой двери и заглянул внутрь. Все было как прежде, и как всегда пахло сыростью. Тусклый свет, сочившийся сверху сквозь узкие, забранные решеткой окошечки-бойницы, не в силах был разогнать полумрак.

У самого входа перед распятием догорала свеча. Худые ноги Иисуса были прижаты одна к другой, голова безжизненно свесилась на грудь.

Мзалей шагнул в глубь церкви и глянул на стену, с которой когда-то взирал на него глаз («Богоматери?»). Но сейчас на том месте был («Или я спутал все?») Георгий Победоносец; отвернул голову куда-то в сторону, словно видеть не мог, как сам же вонзал свое непомерно длинное копье в пасть дракона. Зато дракон смотрел прямо на Мзалея понимающими, почти человеческими глазами, и не было там ни боли, ни сожаления. Для Георгия ведь важна победа и слава, а не прикончить его во что бы то ни стало... И что будет, если он останется в живых? Ну – какой-нибудь еще Победоносец возьмется его поразить... и так без конца...

Священник заметил Мзалея когда он уже вышел из церкви. Возвращался – видимо, навел там с козой и барашками необходимый порядок. Увидев чужого, остановился как вкопанный. Мзалею показалось, что даже вздрогнул.

Мзалей не удивился: что тут такого – священник тоже может обознаться. Не то удивительно, что его здесь принимают за абрека, а то, что тот нагнал на всех столько страху.

Он, не останавливаясь, зашагал прочь. Почему-то не хотелось ему говорить с этим праведником. За редким исключением, думал он, они все плуты. Особенно невыносимо, когда лжив тот, который призван насаждать справедливость.

Отойдя немного, обернулся: священник все так и стоял как вкопанный и смотрел ему вслед.

Мзалей понимал, что все это смешно, но в нем самом смеха не было: на душе остался нехороший осадок от посещения церкви, от того, что не нашел глаз Богоматери, которые он так запомнил – с детства. Почему-то эта неудача разбудила в нем тревожные предчувствия. Больше чем когда-либо ему захотелось увидеть сейчас глаза Богоматери.

...И вдруг на него словно озарение нашло: он должен увидеть и обнять мать, чтобы все стало на места... чтобы все воскресло в нем по-настоящему... все то, что пока было надеждами, размышлениями, предположениями, обещаниями самому себе, нескончаемым бормотанием.

Он услышал шум воды и увидел перед собой небольшую мельницу – остановился пораженный. Мельница была словно живая, встречала его.

Двигалась, работало колесо, трудились ее сердце-жернова, она вся вздрагивала, дышала. Падала струя, разбивалась, вздымала серебристую завесу водяной пыли.

Мзалей сейчас понял еще одно: глаза его отвыкли от частых перемен, от того, как черта, отделяющая небо от земли, почти не бывает ровной, спокойной – все скачет, то пойдет волной по холмам, то изломят ее вершины гор; не успеешь посмотреть на синь заводи, как через два-три шага – вспенится, бурлит; только вышел на зеленую лужайку, и сразу за ней открывается перед тобой обрыв. Может быть, его глаза еще не успели привыкнуть, приноровиться, когда он уезжал отсюда. А потом – если долго видишь одни равнины, видишь речки, насчет которых иногда сомневаешься, текут они или недвижимы, и как чудо слушаешь, когда речка вдруг ненадолго заговорит, зажурчит... если даже небо над головой кажется плоским, без глубины – тогда зрение, конечно, меняется, природа по-своему воспитывает, ставит взгляд.

Сделавшийся чутким слух уловил какой-то шорох, и, когда он резко повернулся, – слишком, как ему показалось, близко от него стояла девушка. Она смотрела на него не удивленно, а скорее с любопытством, как если бы и ожидали, но не очень надеялась увидеть здесь. Встретила его взгляд, и лицо ее просветлело, как небо на восходе перед рождением солнца. Вдруг воскрес его давнишний сладостный сон, будто все, что он видит сейчас перед собой, – и эта мельница со стучащим сердцем-жерновами, и эти деревья, словно случайно оказавшиеся здесь, – все это было всегда и всегда его ожидало. И возникшая здесь вдруг, как бы из-под земли появившаяся девушка. Впервые его не удовлетворило это слово – «девушка»: по отношению к ней оно было слишком пусто и бессильно. Как бы ни притупился теперь его вкус к родному языку, он остро чувствовал и силу, и бессилие его выразить душу.

Эта девушка показалась ему особой: здесь хорошо, потому что – она здесь, она хороша оттого, что – здесь. Словно это сама природа зажгла в ней как свечу свою красоту («Свое бессмертие»), и вот они связаны сейчас друг с дружкой как огонь и свеча. И теперь, когда для него таким вот неожиданным образом блеснул свет родных мест, ему почудилось, будто все тут вокруг еще первозданное: и звуки, которые долетают до его слуха... и вода, что разбивается под мельницей в серебряную пыль, – только-только ожила и пришла в движение... что еще не было человеческого грехопадения, еще природа не знает ничего кроме рождения, смерти еще не существует.

Когда он освободился от мгновенного сна – вдруг заметил: в глазах девушки появилось удивление, она чуть изменилась в лице... шевельнулись было губы, желая что-то сказать, но он опередил:

– Что, и ты приняла меня за другого? По дороге со мной это уже случалось...

– Нет, нет... – ответила она тихо, словно откуда-то издалека донеслось. – Нет, нет, – повторила она, и в ее медовых глазах мелькнула боль. – Я вас ни с кем не спутала... Мзалей... – улыбнулась она.

Произнесенное ею, имя его сразу нашло, разбудило его слух. Омертвевшее за время его отсутствия, оно было снова вызвано к жизни, ожило.

Образованный, он хотел бы ответить ей как подобает, но, не надеясь на свой язык, на ослабевший свой вкус к языку, лишь покачал головой в знак согласия.

– Так? – переспросила она.

– Так... Откуда тебе меня знать... Может, ты еще и не родилась, когда я уезжал, – решился он наконец, преодолевая себя: ему казалось, его слова худосочны и бессильны.

– Много о вас слышала, и от матушки вашей, госпожи.

Хоть он еще не справлялся о матери, и девушка ему ничего не говорила о ней, с последними ее словами он сразу понял, что с матерью все в порядке, и червь сомнения – надо ли было возвращаться – как будто уже перестал напоминать о себе.

– Что ж это мы стоим! – вскинулась девушка. – Здесь же близко, вы почти дома. Вот обрадуется ваша матушка! Я тоже пойду с вами, хочу первой принести такую радостную весть моей госпоже!

Девушка потянулась к саквояжу, но он не позволил нести. Она лукаво улыбнулась, видимо, принимая отказ за чудачество, и не стала настаивать.

– Извини, но как тебя зовут? – спросил он, когда они вместе двинулись к дому.

– Майяна.

Это имя успокаивало, ласкало гортань – будто он сам, а не девушка произнесла его. И на сердце тоже – еще немного отлегло, блеснула надежда, что все встанет на свои места, он будет говорить не боясь, в нем оживет материнская речь, прочистившая впервые его гортань, осмысленно пошевелившая язык, – польется опять свободно, сочно, оставляя ничем не заменимый привкус родства.

Как никогда остро почувствовал он – до чего же отец, мать, братья устали ждать его... столь долгая разлука с частью их крови сделалась их постоянной болью; и ведь в его отсутствие могло с кем-нибудь из них что-нибудь случиться, могли заболеть, даже уйти из жизни...

Он ускорил шаги, не отрываясь смотрел вперед, позабыв даже о Майяне. Но вот вышли из перелеска – и он увидел наконец просторный двор отчего дома.

Все как прежде... Не совсем посередине, а ближе к дому – старая, далеко выбросившая ветви липа. Тут же вспомнилось, как осенью подметали двор, собирали в большие кучи желтые опавшие листья. А он, маленький, откуда не возьмись, налетал вихрем, врывался, прыгал на кучу, раскидывал, потом вторую, третью... Дворовые девушки с хохотом носились за ним, нарочно не догоняли, пока не перебесится и не устанет, потом окружали, ловили прямо на куче листьев и начинали его целовать.

Сейчас невысоко над липой, над всем двором висят в небе ноздреватые белые облачка, как переспевший сыр. Все строения, какими богат двор,

смотрят на него из-за веток, через ограду, с нетерпением: наверняка узнали уже. Может, и они ждут – не дождутся... скучали все время по нему...

А вот на большом доме, надменно вознесшемся над двором, знакомая галерея, с перилами красного дерева, с фигурной резьбой на столбах... их украшают крутые рога оленей и муфлонов, убитых лучшими охотниками на самых отдаленных вершинах, они тоже как бы подались вперед, встречая... и даже высокая каменная лестница – и то, кажется, готова лечь под ноги легким ковром.

Длинный просторный дом под кухню, видно, завидует большому дому самой черной завистью, но для такого случая он на некоторое время забыл о зависти и повеселел. Две почерневшие трубы как всегда дымят. Это такой дым, что если даже далеко от родного двора прикоснется к глазу – брызнут слезы... Верно, дубовые плахи в очаге сейчас громко трещат в честь его приезда.

Воспоминания, которые оттаивали месяцами, сейчас готовы были закружить его в водовороте... Бледный, растерянный, он оглянулся на Майяну. Та смотрела на него добрыми смеющимися медовыми глазами.

Ступил во двор – и тут-то он понял, что не для красного словца это сказано: «идти, не чувствуя под ногами земли», оправдалась поговорка.

Сквозь сон ли, наяву ли – он видел родные лица: вот отец... как он постарел... сколько же времени прошло... видно – старается улыбнуться, засмеяться, – но что-то не дает ему. Верно, боится не выдержать, прослезиться на людях. Такая встреча не только для отца, и для него, для Мзалея, тоже – испытание. Конечно, все легче, когда ты молод, – и радость, и горе, и слезы. В старости – все превращается в боль. Да ко всему еще на этой земле если мужчина не может скрыть слезы, когда это нужно, – считается не мужчиной.

Вот отец подошел, обнял... Ладонями сжал легонько его голову... густые седые волосы отца приблизились к его лицу.

– Слава богу! – выдохнул волнуясь.

Как умеют сдерживать себя на этой земле!

Потом его окружили братья. Уатар поцеловал его в лицо, дохнул винным перегаром («все пьет, значит»), даже Хирипс поцеловал.

Когда он уезжал, здесь мужчины еще не целовались. Он не помнит, чтобы два здоровенных парня целовались и обнимались – кроме того, что целовали в плечо почтенных старцев, а старцы молодых – в голову.

Последним подошел Умар. Мзалей помнил, как он почти не смеялся, как многие побаивались его. Вот он: черные как смоль усы («даже ни сединки»), обнажились прокуренные, чуть кривые, но крепкие здоровые зубы («так, видно, скалится, играя со своими, волк»), с улыбкой почти никогда не смеющегося. Он не стал ни обнимать, ни, конечно, целовать – крепко сжал руку, а другой похлопал по плечу. Руки были небольшие, суховатые, но крепкие. И ладонь не влажная – горячая.

– Мы-то решили, ты домой дорогу забыл, – сказал он.

Если слова отца долетали жужжанием мирной пчелы, то слова Умара звучали тоном выше: эти пчелы искали, кого бы ужалить.

Потом подошли невестки.

Вот впереди идет, сказали ему, жена Уатара, а та, за ее спиной, застенчивая, – та Хирипса.

Старшая невестка не подошла, словно подплыла к нему, дважды сочно и звонко расцеловала его в обе щеки, и он успел поцеловать ей руку.

– Вот воспитанный в лучших манерах человек! – воскликнула она радостно... – По-европейски! Ах, Европа, Европа!.. – Она высоко вскинула брови, повздыхала.

Одета она была в бархатное темно-синее платье, с довольно-таки свободным декольте (но, конечно, не настолько свободным, как у дам из тех мест, откуда он возвратился), и открытая шея была красива. Когда она чуть наклонилась, приподнимая подол, с шеи свесился медальон на золотой цепочке.

Другая, застенчивая невестка, так и не поднимая глаз, поцеловала его и поспешно ушла.

Еще подходили какие-то незнакомы женщины, девушки... Наконец он обвел взглядом всех встречавших его – и сердце дрогнуло тревожно... Как всякий вернувшийся из дальней, да и любой поездки сын, чуть только шагнул в родной двор, он хотел спросить о матери. Но сначала увидел отца – Мзалей знал его капризы: надо было не суетиться, следовать обычаю... а потом – братья, невестки... просто не успел.

Уже он хочет выйти из круга встречающих, но неудобно как-то, а спросить о матери уже сделалось страшно... Среди окруживших его он угадал несколько прежде знакомых лиц, это из тех дворовых девушек, которые за ним понарошку гонялись, когда он рушил горы собранных ими опавших листьев. Действительно, постарели, прежние черты глядели сквозь безобразные маски, которые готовила им старость. Ему показалось, что и эти пока еще сохранившиеся черты исказились – словно бы плакали по улетевшей молодости.

И ни один, никто сам не догадается...

Наконец он увидел Майяну – стояла чуть в стороне. Она уловила его недоумение, но то, что в ее медовых глазах жил безмятежный смех, его очередной раз успокоило. Майяна, видимо, сразу сообразила, в чем дело, подошла к другим и что-то им шепнула. Вдруг разом все затихли, молча раздвинулись и дали ему пройти.

– Иди, она у себя в комнате, – сказал Алма.

В мгновение ока он очутился в большом доме. Поднялся наверх и пошел, тихо открывая и закрывая двери. Коридор, ведущий в ее прежнюю комнату («не поменяла»), был как всегда полутемный, и как всегда тут пахло кожей: в полутьме белели костяные луки женских седел, как оружие сказочных единорогов. В детстве, бывая здесь, он становился на цыпочки, тянулся рукой к седлу, к гладкой отполированной кости, и начинал поглаживать ее.

Острое, как от щекотки, ощущение пронзало его от пальцев до самых пяток, ему казалось, будто вот сейчас кровь потечет вспять... Однажды это на него так подействовало, что закружилась голова, он стал падать, ухватился за седло – и вместе с ним рухнул на пол.

Подойдя к комнате матери, тихонько толкнул дверь, та бесшумно отворилась.

И он увидел мать: одетая, полулежала на сложенных подушках. Лицо было закрыто тоненьким платком. По тому, как тихо вздымалась грудь, видно было, что она спит.

Осторожно, на цыпочках шагнул он к ней, еще... но как в детстве от прикосновения к полированной луке женского седла – сделалось не по себе, ноги стали ватными. Опустился перед ней на колени.

– Мама... – прошептал он совсем тихо.

Мать – его божество, подарившее жизнь, давшее ему душу, давшее тело – вместилище души.

В детстве от обиды он сразу ударялся в слезы. Но как только коснется его плеча материнская рука, как только прижмется головой к ее груди – тут же успокаивался. Какое это было блаженство – ощущать прикосновение ее рук!

Когда он подрос, стал понимать: по разным обстоятельствам не всегда она была для него доступна, достижима, не всегда он мог подержать ее руку, свою обиженную или истосковавшуюся голову уронить ей на грудь. Положение ее, госпожи, исключало многое, даже из того, что относилось к материнскому. И он переживал это, не спал ночами.

Он, помнит, очень любил свою няню, но все равно – чувство к матери – это было нечто исключительное... словно чуть горчащий привкус ее молока. Ребенок – частица плоти, частица крови матери, сила их притяжения была неодолима.

Дворовая прислуга и другие девушки, которые приходили помогать в господском доме, не уставали тормошить, целовать его, но это не ослабляло тоски по матери, только утомляло. Позже, когда он уже подрос и на лице стал пробиваться первый пушок, ему достаточно стало один раз в день увидеть, поцеловать мать. Уже он был бы не прочь, чтоб как раньше его целовали и тормошили те дворовые девушки... Но здесь появился свой возрастной барьер, он теперь не мог так просто поцеловать одну из этих девушек, поцелуи которых в детстве не успевал вытирать, прежде надоедавшее – сделалось для него запретным плодом.

Мзалей протянул руку и тихонько снял платочек, укрывавший ее. В знакомом родном лице появилось много и незнакомого – морщинки, складки в углах губ – след ушедших лет... но лицо было то же, родное...

– Са-ан! – позвал он чуть громче прежнего. – Сан!

Плечи матери, приподнимавшиеся и опускавшиеся в такт ровному дыханию, вдруг на мгновение застыли, сквозь сон просветлело лицо... подняла тяжелые веки – и улыбнулась. Потом опять опустила веки, два раза судорожно вздохнула. Хотела было повернуться на другой бок, но вдруг не

открывая глаз замерла, словно прислушиваясь к чему-то. А потом наконец проснулась, открыла глаза.

– Сан!.. – и слезы застлали все.

– Мой мальчик! – выдохнула она отчаянным шепотом.

Приподнялась, не веря своим глазам. Красные полоски на щеке от подушки побледнели.

– Сын мой!.. – она обвила его шею руками, прижала голову к груди, совсем как в детстве.

МАЙЯНА

Все ушедшие с ним вернулись,
а его нет...
Песнь ожидания

Когда она неожиданно увидела Мзалея, – он, конечно, тоже это заметил, – Майяна чуть не вскрикнула. Нет, нет – она не обозналась. Мсоуста она безошибочно распознала бы и среди сотни его двойников. Но ее поразило их странное сходство. Да, она сперва чуть не вскрикнула, а потом чуть не расхохоталась. Но когда Мзалей заговорил, она тотчас поняла, что перед ней не маска, а настоящее лицо, мало знакомое, непривычное, но неподдельное.

А потом, когда глаза немного приноровились, она решила, что они не так уж и схожи, как кажется на первый взгляд.

Почему-то ей очень хотелось уверить себя в этом.

Она внимательно следила за тем, как каждый Анчаа держался при встрече. Но кроме некоторой растерянности, скованности, которые быстро прошли, она ничего не заметила. Действительно, для всех возвращение Мзалея было такой неожиданностью... ничего удивительного, если на какое-то время они немного растерялись. А после каждый овладел собой, не давал воли чувствам, вел себя достойно.

Самое же главное – его встреча с матерью – была недоступна ее наблюдению.

Когда Мзалей направился к матери, Майяна вдруг заметила на себе сверлящий взгляд Умара. Ее передернуло, и она тут же вспомнила обо всем случившемся на церковной поляне. Если Анчаа враги Мсоуста, так значит – и ее враги, подумала она, и нечего здесь задерживаться. Она сумела быстро и незаметно исчезнуть.

Уходя, она еще думала о Мзалее, об их неожиданной встрече, и почему-то жалела его. Не надо было много времени, чтобы заметить, насколько он отличался от братьев – от всех. Он был совсем другой. Удивительно: такой нездешний, чужой – и такой доступный. Именно оттого и делалось его жалко, и почему-то боязно за него. Один Умар, его братец, чего стоит! Ни с чем не посчитается...

Покуда они шли вместе к дому, Мзалей так чутко следил за ней, будто боялся, что она споткнется ненароком. Кажется, случись бы идти ночью – так зажег бы свои глаза, как свечи, чтобы посветить ей. Она – наоборот, опасалась, что он сам где-нибудь споткнется, ведь отвык за долгое отсутствие от родных тропинок.

Еще она заметила, как он несколько раз уводил свой взгляд куда-то очень далеко. Тогда его глаза были заняты чем-то своим, сокровенным, непонятным ей, скрытым от постороннего внимания.

Была ночь. Тихо. Огонь в очаге догорел, но еще жарко тлели уголья. Мать и дочь сидели по обе стороны очага. Мать Майяны, Иалса, задумалась о чем-то на длинной скамейке, где когда-то сиживал отец Майяны. Девушка замечала, что мать все эти дни тоже что-то тревожит. Сидит задумавшись, ходит по дому задумавшись. Выходит, быстро возвращается, опять сидит пригорюнившись.

А ей все эти дни хотелось забраться куда-нибудь, где никто не может услышать ее, и выплакать, прорыдать все, что набухло, накопилось.

Как бы она ни злилась на него, сколь ни считала грубым, надменным, слишком много на себя берущим, – стоило ей не увидеть Мсоуста неделю – и она не находила себе места, чувствовала себя одиноким деревом на доступном всем ветрам холме. Внизу, у подножья холма, хоть изредка, но подают голоса, подбадривают друг друга, смотрят, не отводя глаз. Но тут, на голой вершине, – никого, ни голос сюда не достает, ни взгляд. Вот... издалека видна туча пыли, катит сюда, это обычный тут смерч, стоишь в ожидании, содрогаясь, – и знаешь, что никто не заслонит, не защитит тебя. Гудит земля, жалуется малая травка – ей-то земля сообщает раньше всего о надвигающейся буре. А оттуда, по сторонам холма, из ложбин, – оттуда лишь молчание тишины доносится. Все, что существует там, это то, что давно сдуло с вершины. Они и довольны тем, что их совсем не унесло неведомо куда. Так же как и холм, жизнь тоже имеет ту и эту стороны. Оттуда, снизу, трудно помочь тем, кто наверху, – отчасти потому, что внизу уверены: есть только предхолмие и захолмие, ничего больше, выше. А меж тем корни растущего, еще удерживающегося наверху, как стужа, лихорадит предчувствие – боль смерчей и ураганов, которые еще в пути, еще надвигаются.

Она загляделась на тлеющие уголья. Завораживают, притягивают взгляд – и вдруг, словно они ее вытянули, перенесли в какое-то спокойное защищенное место, ее на мгновение опускают все тревоги. В такую минуту она ни о чем не думает, ничего не слышит, ничего не видит. Она уже заметила это за собой... Бывает, ее начинают одолевать противоречивые чувства, сомнения, тревоги, становится невыносимо плохо, – и вдруг все отпускает. Таким коротким выдается это мгновение, но все равно – дает ей возможность прийти в себя, собраться с силами.

И после еще всегда вспоминалось что-нибудь приятное, подбадривающее...

Но сейчас она вспомнила другое: как однажды встретила куницу. Наверху зашевелились ветви, она увидела зверька. Куница вздрогнула – и замерла как каменное изваяние. Но ветка под ней предательски покачивалась. Майяна хорошо разглядела стремительный изгиб спины, хищную, изящную мордочку куницы – вся она была напряжена будто тугой лук. А ветка-предательница все чуть заметно шевелилась... И раздался выстрел где-то совсем недалеко. Вместе с выстрелом куница прыгнула вверх. Нет, это был не прыжок, а полет стрелы, пущенной могучей рукой. Изгиб спины сделался напряженной струной... Но нет, не долетела до цели, до другого дерева... Лопнула струна, стремительность линий, делавшая все ее тело стрелой в полете, нарушилась, – и не стало красоты и гибкости маленького зверька – бесформенным комочком, окровавленной шкуркой неслышно утонула куница в ковре палой листвы.

– Мой брат Такияла, умереть мне раньше него... – начала вдруг Иалса, приподняв голову и немного фальшивя голосом, – оказывается, зарезал одного из лучших своих холощеных козлов, задних две ноги целиком принес нам. Надо посолить и, не спеша, прокоптить – вот на некоторое время и гостям будет что подавать, и нам останется...

– Зачем это нужно было, у них больше гостей бывает, а кто бывает у нас... – Майяну раздражало, что мать явно настроена еще долго вспоминать о благодеяниях дяди.

Дядя Майяны был человек состоятельный, правда, у него вечно не хватало времени уделить им внимание, посетить их, сказать ободряющее слово, а если в году хоть раз ему удавалось это сделать, да оказать к тому ж хоть малейшую помощь, Иалса хваталась за это как утопающий за соломинку и никогда не забывала лишний раз похвалить доброту брата. Поэтому Майяна не любила, когда дядя делал им какой-нибудь подарок или, выкроив день, навещал их. Они и без его благодеяний могли обойтись, много ли там нужно матери да дочери.

– Но видишь, он же мой родной брат, не мог же он себе позволить не поделиться с нами... – Иалса, конечно, так не думала, просто не хотела отстать от излюбленной темы.

– Что ж, не будем ждать, сегодня же посолим, – Майяна встала, принесла длинный узкий обеденный столик-аишва и поставила около матери.

– Тогда уж неси и мясо... – согласилась Иалса и задержала взгляд на дочери, всмотрелась, как бы прощаясь.

Что-то еще беспокоит ее, подумала Майяна, что-то она скрывает...

Иногда Иалса могла из-за пустяка себя расстроить, поэтому Майяна не придала ее взгляду особого значения.

Иалса способна была, скажем, вспомнить обиду многолетней давности, например, как некогда ее супруг, отец Майяны, многое не доверял ей в хозяйстве. На самом-то деле речь шла о мелочах. Муж ей не доверял, допустим, солить запас мяса на зиму, здесь требовалась особая мужская точность, которой иногда не хватает не очень опытным в таком деле женщинам; или надо было приготовить большой ритуальный круг сыра; а то

иногда он сам, собственноручно готовил что-нибудь мясное, какое-нибудь блюдо, которое он любил и насчет которого знал все тонкости.

И вот Иалса до сих пор вспоминала и обижалась, недовольно бормотала, бубнила что-то по этому пустячному поводу. Она вышла замуж очень поздно, засидевшись в девушках (была даже старше своего супруга), но оттого, что была у братьев единственной сестрой, ее не слишком утруждали хозяйственными занятиями. И это сказалось: после свадьбы она не умела или умела плохо многое из того, что должна делать хозяйка.

Майяна принесла все подаренное дядей мясо и положила на стол.

– Ах, у нас же нет мелкой соли, для мяса надо было заранее приготовить!.. – Майяна с досадой махнула рукой.

– Вы все от мала до велика воображаете, будто во всем разбираетесь лучше меня, но и я тоже кое в чем разбираюсь. Я все предусмотрела!

– Диа, ты удивительный человек, откуда мне знать о том, что ты уже подготовила все! – Майяна звонко засмеялась.

Иалса до сих пор говорила во множественном числе – «вы», имея в виду не только Майяну, но и ее отца, словно он еще жив и сидит рядом.

Отец-то как раз Майяне доверял все, не только женское, но и кое-какие мужские дела. Он ее учил всему, и хорошо учил, – правда, и она была понятливой ученицей.

Приготовив все, что нужно было, она вынула из ножен большой отцовский нож – он сохранял остроту, наведенную еще хозяином, – и села за стол напротив матери.

– Я стану разделывать и надрежу куски, а ты соли, диа, – сказала Майяна.

– А ты доверяешь мне? – спросила с ехидцей Иалса.

– Хорошо, диа, хватит, и я могу обидеться, – Майяна хотела скорее начать работать, чтоб отвлечься от неотвязных мыслей.

Нож был достаточно тяжелый, острый, разделывать им мясо было легко. И быстро проводить частые надрезы на кусках.

– Не знаю чем объяснить, – заговорила на новый лад Иалса, макая всю пятерню в мелкую прилипающую соль и водя потом по надрезам, которые готовила Майяна. – Только в последнее время я пребываю в страхе. Ты сделаешь шаг из дому, ненадолго, а я себе места не нахожу, пока не вернешься.

– Оставь, диа, чего тебе бояться, когда я не боюсь. Чего или кого нам с тобой бояться? – Майяна знала, на что намекает мать, но делала вид, что и не вспоминает об этом.

– Девочка моя... – вздохнула Иалса. – Что я могу, горемычная вдова... А ты выросла, вызрела... Ну да, есть мой брат, умереть мне раньше него... – она и тут не могла не вставить брата, причисляя его изъяны к его достоинствам. – Один его авторитет служит нам защитой. У него хорошая голова. Я бы отсекла себе ухо, если б он еще и грамоту знал. Умеет ладить с людьми, знает, как подойти к маленькому аамста*, к большому, как говорить с крестьянином… Никого не обижает.

– Диа, – сказала Майяна раздраженно, – не соли столько, это ведь нежное мясо!

– От соли никогда еще ничего не портилось, – огрызнулась мать. – Пусть будет солоней, воды побольше станете пить, и ничего другого с вами не случится.

В это «вы», разумеется, она себя не включала. Ее род с давних пор стремился получить дворянское звание. И до сих пор тщетно стремится к этому. Но чрезмерно заботясь о возвышении, они забывают, что пока они только лишь крестьяне. Иалса и выросла в такой обстановке, она пропиталась этим стремлением – так же, как пропитывает мясо холощеного козла обильной солью.

Майяна работала молча и быстро. Она до совершенства усвоила все, чему ее учил отец. «Сколько бы человек ни знал, – говорил он, – если никому не передал, никого не научил, – все унесенное в могилу – прах».

Когда Майяна быстро схватывала то, что он ей показывал, очень редко смеющееся лицо отца светлело от улыбки. Она знала, что отец принадлежал к тем людям, которые редко шутят, но если шутят – очень метко и впопад. Его смех навсегда омрачило, отняло у него голос прославленного запевалы последнее трагическое махаджирство, исход большей части народа из пределов родной земли. И не только он один, но все помнящие, все израненные трагедией народа до сих пор не то чтобы петь – просто не могли смеяться. Это в последнее время начали уже петь и танцевать на свадьбах, на празднествах, а так сама Майяна помнит, как везде стояла гробовая тишина.

Кажется, как и все в природе – смех тоже смертен.

Майяну передернуло даже – вообразила, что это за лица будут у людей, если совсем исчезнет смех. Что за жизнь.

– Я представляю, какая радость сейчас в усадьбе Анчаа. – Иалса посмотрела в лицо дочери, желая понять, как на нее подействовало сказанное. – Вернулся сын... Дается же одним все...

– Сама госпожа, вероятно, не нарадуется, но насчет других... не заметила я, чтоб очень уж были рады... – Майяну почему-то задел тон матери, даже чуть было не порезала руку. – Они и радоваться тоже не умеют...

– Перестань, перестань сейчас же! – прикрикнула напуганная Иалса. – И лес, говорят, имеет уши! Чтобы ты не посмела заикнуться об этом еще где-нибудь! Они и радуются и горюют по-другому, у них все иначе, нам этого не понять.

– Кроме госпожи и того, вернувшегося, пусть все там, вместе со всеми хозяевами превратится в пепел!

– Клянусь братом Такияла, эта девка свихнулась! – Иалса от страха понизила голос. – Вхожа к госпоже – она ее жалует! Да ты знаешь, сколько таких, которые даже не посмеют об этом мечтать?! А что тебе еще?!

– Пусть кто хочет мечтает, но моей ноги там не будет никогда! – Майяна все больше и больше раскалялась.

– Ты посмотри, что смеет говорить эта негодная девчонка! Я тебе повторяю: перестань! – Голос Иалсы дрогнул. – Если они очень захотят,

прислугой тебя сделают, ты не знаешь об этом, несчастная?! Все достойные люди идут первым долгом туда, а ты, позволь спросить, какое место предпочитаешь?!

– Диа, прошу тебя... – не отступала Майяна. – Если ты помнишь, так же и мой отец относился к ним. Он, слава богу, знал их как облупленных. Чтоб захлебнуться им кровью, которую пролили, горем, которым они залили землю! – так говорил он. И я дочь своего отца.

– Майяна, девочка моя, послушай меня... – Иалса смягчилась, видя, что иначе ничего не получится. – Ты знаешь, сколько значит одно то, что ты вхожа в их дом, как это защищает тебя?! Я тебе говорила, что боюсь за тебя, я не выдумала. Ты повзрослела, видная стала, ни один не минует тебя взглядом. Есть такие, которые в лес ушли, разбойничают... найдется такой, который не в силах с собой совладать, и такой, которого вообще Бог проклял... Откуда знаешь, что тебя ждет. И я в свое время была такой... с меня глаз не сводили, – но мое положение было иное, за спинами братьев я была как за каменной стеной.

– Все же нашелся один, для которого эта крепость оказалась доступной, – засмеялась Майяна. – Ты могла ведь и остаться в своей крепости.

– Не говори, никому эта крепость не была доступна... если бы не мудрость моего Такиялы – заболеть мне прежде него! Его слово для меня было законом.

– А ты не согласилась бы?.. – ухмыльнулась Майяна.

– Если даже я бы и согласилась, разве могли допустить мои... Но твой отец понравился моему Такияле. Что греха таить, бедный твой отец тоже был – достойный. И как он держался на коне!

– То-то ж... – грустно улыбнулась Майяна.

Потом они некоторое время молча занимались каждая своим делом.

– Диа... – начала Майяна после паузы, почти шепотом. – Сын госпожи, который вернулся...

– Что... который вернулся...

– Тот, который вернулся...

– И терпение у них совсем другое. Четырнадцать или пятнадцать лет... Человек возвратился после такого отсутствия, это же, считай – заново воскрес! – Майяна заметила, как мать уходит в сторону от того разговора, который сама же и начала. – Какое счастье привалило госпоже! Бог смилостивился над ней за все ее страдания в молодости... Ведь она в господский дом попала совсем юной. Мать, отца, братьев угнали за море без нее. Сын сделался единственной радостью и надеждой.

– Вот... этот сын... его, кажется, Мзалеем зовут... он похож на Мсоуста... – Произнесла – и лицо ее зарделось. – Я сразу поняла, что это не Мсоуст... но они похожи, очень даже... Не нажимай на этом месте пальцами, когда солишь, порежешься, там кость острая! – Она взяла мать за руку и остановила.

– То, что ты сейчас сказала... – Иалса не на шутку была испугана, смотрела расширившимися глазами, – ты никогда не говори, забудь раз и

навсегда!.. Если даже кто-нибудь спросит, скажи, что ничего подобного не заметила. Ты ничего не видела, ничего не знаешь!

– Да нет, я это все понимаю, никому и не скажу, что мне за дело... Но какие-нибудь подозрения, какая-нибудь молва была?

– Кроме того, что ты заметила сегодня, я никогда ничего не слышала. – Иалса старалась говорить убежденно, но не очень получалось. – Вообще, какое твое дело – небылицы рассказывать и гадать о господах! Ты ничего не знаешь – и все!

– Нужны они мне очень... – вроде бы согласилась Майяна, однако же была еще больше заинтересована. – Я свое закончила, давай мне от себя, вместе доделаем. – Ножом, тупой стороной, взяла через столик большой кусок мяса с раздробленными костями.

– Майяна, девочка моя, – опять заговорила прежним тоном мать. – Сколько бы я ни ходила вокруг да около, я должна тебе кое-что сказать... Вообще с самого начала нас в разговоре кружит на одном и том же месте – видно, не напрасно. Ты у меня одна, и моя жизнь – это ты. Зачем от тебя скрывать – и сама хорошо знаешь: ты стала такой видной, что на тебя указывают друг другу, где бы ты ни появилась.

Майяна засыпала надрезы солью, потом проводила по ним пальцами – и пальцы тоже в соли; она почему-то нервничала, и видимо, так же как мать, пересаливала.

– Это с одной стороны меня окрыляет... – с каким-то нудным упорством продолжала мать. – Но, знаешь, иногда хочется, чтобы ты была здоровой, а так – обыкновенной, незаметной... Ты слышала когда-нибудь, чтобы мать говорила подобное? Но страх одолевает меня, ни покоя, ни сна...

– Я же сказала – не бойся, мне нечего бояться, – ответила Майяна резко, не пощадив мать; она чувствовала, что за этим упорством что-то кроется. – А если действительно что-нибудь такое... я сама могу за себя постоять. Там висит отцовское ружье. Ты же знаешь, как я стреляю!

– Ты скажешь...

– Скажу и сделаю! Лучше, конечно, чтобы не понадобилось.

– Недаром говорят: не побывавший в сражении – героем себя помнит... – ухмыльнулась Иалса, словно сама успела побывать во многих сражениях. – Сегодня брат не просто приходил. Кроме того, что принес нам...

– Так я и думала...

– Он принес еще и другую весть, – Иалса сделала вид, что не услышала то, что вставила дочь. – Он долго дожидался тебя, но ты задержалась, а ему надо было куда-то еще успеть. Я просила его, чтобы переночевал у нас, но никак не мог. Дело вот в чем, Майяна... И я долго думала, взвешивала, но мы не можем роптать на судьбу в том случае... если кто-нибудь из Анчаа снизошел до нас... такого не случалось – мы разве можем что-нибудь возразить... Ихацкы Умар, сын ихацкы Алмы, через моего брата просит твоей руки.

Майяна зло отмахнулась – солью обожгло, видно, осколоком кости ранило палец.

– Просит мою руку у нас у всех или у тебя? – она удивилась, почему не кричит, не рвет, не мечет... Она вела себя как оглушенный пулей человек, который еще не успел почувствовать невыносимую боль.

– Девочка моя... во-первых, они не могут обойти меня, во-вторых – Умар ведь не какой-нибудь такой... Он делает, как это положено в знатных домах, в их кругу: просит твоей руки у меня.

– Мать, – сказала Майяна, не называя ее «диа», удивляясь, что все еще не кричит. – Ну принес он весть, слово. Видимо, ему это сделать ничего не стоило, – примерно столько, сколько это мясо, которым он облагодетельствовал нас. Но ты сама как думаешь? И ты это сообщаешь мне от души?

– Не говори так о моем брате, Майяна. У меня на всем свете только брат да ты... и почему я должна была сообщить тебе это не от всей души? Никогда не было, чтобы кто-нибудь отказал Анчаа: будь это князь, большой аамста, маленький аамста... И я воспитана в таком духе.

– Мать... – Майяна прижала ранку на пальце. – Этот урод, этот старик... одногодок, если не старше, моего отца... этот, которого я ненавижу больше всех на свете?!

Она еще не кричала, но уже была близка к крику.

– Это не моя дочь, дида, дида*, что я вижу, что я слышу! – Иалса несколько раз довольно щадяще ударила по своей голове сухими кулачками. – Дочь моя была послушной, старалась делать только то, что матери нравилось... Дочь моя, которую можно было по кротости сравнить только с отцом... Где она? Ее нет! Это он во всем виноват, этот разбойник, сын вонючего солдата... этот...

– Мать! – закричала Майяна. – Его не трогай... не трогай его! И мой дядя, твой брат, ненавидит его, а теперь – и ты?!

– И разве не был прав мой брат?! Он всегда далеко и глубоко смотрел. Если это не так, где же тот теперь, не скажешь? Мой брат знает, что просто от зависти тягаться с Анчаа глупо, это может плохо кончиться, – косточки будут омывать дожди в дальней дали от родного дома!

– Пропади оно пропадом, это дворянское звание, почему обошли вас, когда всякой мелкоте оно досталось!.. Может, это немного успокоило бы моего дядю... Вот что, мать! – Майяна встала. – Знай – и брату своему, когда он заявится в следующий раз, тоже скажи: пока я жива, дышу, мое сердце, душа, помыслы – все принадлежит одному человеку, хотите вы этого или не хотите! Только ему! Только ему единственному из всех родившихся под этим небом. Не доводите меня до крайности – а то возьму и пойду туда, где он!..

– Как это ты со мной разговариваешь! И что ты, несчастная, несешь! Ты, ты понимаешь, о чем говоришь... – Иалса всхлипнула, опустила голову. – И я, и я его не хочу... Не хочу этого ненормального... но если он приметил тебя, что же нам теперь делать... что мы ему ответим?.. Того, другого, – тоже не хочу, не для тебя он, не в добрый час ты приметила его. Там тебе не ждать ни счастья, ни света... Почему я не умерла, когда умирал твой отец, почему...

– Мать... мать... – Майяна опустилась возле нее на скамью. Ей очень больно было оттого, что плакала мать, но она сама не могла плакать. – Прошу тебя, не плачь... Говорят же, не столько молний над нами, сколько грома... дальше того, что на роду написано, ничего не будет... – Она сунула палец с ранкой прямо в соль, обожгло – но ничто не могло заглушить душевную боль.

Наплакавшись, Иалса сидела задумчиво, то и дело горестно вздыхала. По локоть открытые руки, сухие, с набухшими, выпирающими венами, неподвижно лежали на столе. Майяна сидела возле, не решаясь больше ни утешать, ни уговаривать. Огонь в очаге уже не грел.

Когда Майяна немного успокоилась, – встала, в свою очередь успокоила мать, согрела ей ноги теплой водой и уложила. Потом она стала убирать в доме, не спеша, чтобы дать заснуть матери. Обиды, потрясение, которые она пережила только что, еще гудели в ней, как неутихающая капель после ливня, но вдруг появившееся желание все заглушало, оно вызвало такое нетерпение, что не давало покоя.

Закончив все свои дела, девушка взяла светильник и подошла к постели матери; закрывая свет рукой, постояла, послушала ее дыхание. Майяне видно было ее лицо, она спала приоткрыв рот, иногда всхрапывая. Похоже, успела уже заснуть глубоко. Майяна чуть опустила ладонь, которой прикрывала огонек, и посветила в лицо Иалсы.

Уже вторгшаяся разрушительная сила времени не смогла еще овладеть всем лицом, черты пока сохраняли знакомую четкость.

– Диа, диа... – сказала Майяна шепотом, и жалость к матери сжала ей сердце. – Я верю, что и ты его не хочешь... Ты ведь не желаешь мне зла, но страх сильнее тебя...

Затем она отправилась в ту часть дома, где спала сама. Здесь был деревянный пол, здесь стояли ее ткацкий станок, прялка и швейная машинка «Зингер», приданое матери. («Не напрасно они рвутся заполучить дворянское звание, есть все основания!»)

Она зашла в комнату, поставила светильник на полукруглый низкий столик перед зеркалом. Сняла с гвоздя свой теплый шерстяной платок, накинула, завязала туго, потом сняла ружье, висевшее на другом гвозде; выходя, наклонилась – тихо дунула на светильник, погасила.

Во дворе еще не было холодно, но ее что-то знобило. И взбредет же такое в голову: она ни за что не заснула бы, не посмотрев на двор, на дом Мсоуста – хотя бы издали. Майяна это делала не в первый раз, но обычно по свету. Если не удавалось повстречать Мсоуста несколько дней подряд, она незаметно пробиралась на холм перед его домом. Хорошо, что там густые заросли кустарников укрывали ее, – она могла разглядывать их двор и дом сколько хотела.

Однажды она оттуда увидела его. Мсоуст спустился по лестнице гостевого дома, потом обернулся, как бы нехотя бросил несколько слов кому-

то невидимому («счастливый!») и привычным быстрым шагом пошел прямо в ее сторону. Майяна, прячась за кустами, быстро убралась восвояси.

Даже если в его отсутствие ей удавалось хоть издалека посмотреть на его дом, двор, на кого-нибудь из его семьи, она немного успокаивалась. Возвращаясь же из такого путешествия, отыскивала тропу, которой, ей казалось, он обычно проходил, и ступала, тихо и нежно, по его невидимым следам. Увидит его лошадь – и со стороны, чтобы не спугнуть, долго могла глядеть на нее.

А когда в последнее время, случалось, совершала такое путешествие уже затемно, думала о том, что вот он сейчас спит под этой крышей, чуть лоснящейся под луной, спит, ни о чем не подозревая... Правда, иногда она сомневалась, спит ли он вообще ночью. Как-то, очень поздно, увидела его... По тому, как он шел, можно было догадаться, что смертельно устал. На ходу снял с плеча ружье и поднялся по лестнице. Навряд ли даже стал раздеваться, таким казался утомленным...

Позже она узнала, что в ту ночь на дом Бадры, кажется, напали какие-то грабители. Все вечно подозревали, что у них припрятано золото. Никто не знает, как это получилось, но до Мсоуста весть о налете дошла вовремя. Он успел. Воры сумели унести ноги, но что-нибудь другое – нет.

Второй раз, когда она его увидела ночью, он был на коне. Не на этом, что у него сейчас. А на том, крепком, но старом, которого волки загрызли в прошлом году в болотах, в камышовых зарослях... Конь бы не дался, но неосторожно отпрыгнул, задними ногами угодил в трясину и завяз... Мсоуст, не спешиваясь, наклонился и тихонько открыл ворота. Расседлал, одной рукой легко поднял седло, а свободной ладонью так сильно провел по спине коня, что тот даже качнулся. Потом конь там же, отойдя на несколько шагов, с лоснящимися в лунном свете потными боками стал пощипывать траву. А Мсоуст поднял голову и посмотрел на небо... И она посмотрела тоже. Оттого, что желтый лунный свет как густой туман заволакивал пространство, заметны были только крупные звезды.

А когда она опустила голову, место, где он только что стоял, пустовало. И сердце больно заныло.

Сейчас же было совсем другое. Сейчас внезапно все изменилось. Опять на душе сделалось тяжело. Она зашагала быстрее. Почему-то ей казалось, что она увидит его сегодня. Если увидит на этот раз – сама подойдет к нему. Эти мысли тянули ее туда, на холм, к дому Мсоуста.

Сейчас такая пора – не поздно и не рано – даже собаки немного хотят поспать; кто знает, что еще ночь готовит им, что их ждет – может, после и не удастся прикорнуть. Действительно, не слышно было лая. Тихо. Все же она пошла окольными тропами, а не прямой дорогой. Может еще повстречаться запоздалый путник. Стояла сушь, и воздух был какой-то нечистый, с привкусом пыли. И ночь выдалась бледная, словно выцветшая.

Она вошла в мелколесье, и воздух сразу изменился. Здесь в нем не было привкуса пыли, лишь отдавало запахом прелой сухой листвы. Майяна

остановилась, прислушалась. Еле-еле доносило, как ветерок колышет верхушки редких деревьев и они перешептываются. Может быть, где-то там спит куница. Утром проснется, встряхнется, покажет красивый изгиб спины, осмотрится – увидит через одно, второе, третье дерево то, которое ей нужно, – и прыгнет, полетит, вытянется струнко, а хищная мордочка сделается острой как стрела...

В эти дни ей иногда чудилось, что она вдруг постарела, старушкой сделалась, и сердце тоже, казалось, отказывает, и лицо будто желтым стало, изможденным, как изъеденное малярией...

...Прыжок – полет с верхушки дерева на другую, далеко от первой...

Сейчас ей казалось, что наконец-то она идет с ним на свидание, ощущала приподнятость, и шлось легко. Местами натыкалась на заросли падубка, они больно кололи ноги. Как-то, уколовшись, шагнула в сторону – и почувствовала, что кого-то задела (ходят тут всякие!) – и оно, живое, выпрыгнуло из-под ее ноги и некоторое время шуршало в палой листве, удаляясь.

Значит, есть тут кое-кто, который и ее боится, весело подумала Майяна.

Она углубилась в лес. Вдруг где-то недалеко закричал филин, донесся мышиный писк, а еще ближе опять что-то зашуршало в сухих листьях. Видно, крик злейшего врага разбудил лесную мелочь. Верхушки деревьев зашумели внятно, верно, чтобы перешептать ветер. Майяна ощутила себя немного усталой. Остановилась у дерева, прислонилась спиной. Ей показалось, что дерево дышит теплом. Провела ладонью – кора была шершавой, но не колючей, что-то родное почувствовалось ей. Она прижалась щекой. Теперь она слышала, как тихо шумела крона, переговариваясь с другими верхушками, – дерево дышало, жило.

Вдруг какое-то непонятное вдохновенье охватило ее и сорвало с места: она побежала по лесу, и ни разу даже не споткнувшись, выбралась опять к мелколесью. Вскоре она оказалась на поляне, лес остался позади. На поляне она побежала еще быстрее. Почувствовала, что перескочила через какой-то перелаз (кто это оставляет перелаз неразобранным в такое время!). Так и бежала, пока не поднялась на холм, откуда днем был виден дом Арадзнышов. Остановилась, запыхавшаяся, и, еще не отдышавшись, попробовала разглядеть, где там в ночи теряется их двор. Конечно, отсюда вряд ли можно было увидеть, различить в темноте, если кто-нибудь там и появится. И сразу сделалось грустно...

...И девочкой она стремилась сюда. Мсоуст, казалось, еще вчера играл с ними – но быстро повзрослел... и все же хотелось его увидеть, недавние друзья скучали по нему. Его мать Мкыд все время трудилась, чем-то была занята, и Майяна с подружками иногда помогала ей. Как-то Мкыд очищала двор, руками выдирала расплодившиеся сорняки, Майяна тоже старалась тут. Среди сорняков оказался и абжарца, болотный перец. Вырвав его из земли, Майяна неосторожно провела рукой по глазам – сразу начало жечь. Мкыд отвела ее в дом, стала прикладывать к глазам горячее полотенце. К тому времени появился Мсоуст. Глаза так жгло, что случись все в родительском

доме, Майяна непременно заплакала бы. Но здесь она упорно сдерживала себя.

– Ты так сладко поешь ей – смотри, пожалеет она тебя, возьмет да и пустит слезу, – съехидничал Мсоуст, глядя на эту сцену.

– Замолчи, – пристыдила его Мкыд. – На ее месте ты бы своим криком всех соседей собрал! Вот ей больно, но и не кричит, и не жалуется, и не плачет!

– Как же – гляди, уже начинается, вот-вот брызнут они, как их бишь... а, слезы... – он на себя не был похож в тот день. – А ты знаешь, если обожгла абжарца, это уже никогда не проходит!

– Уходи сейчас же, чтоб духу твоего здесь не было! – прикрикнула на него Мкыд. – Почему ты такой грубый... Никакой мягкости, душевности... – сказала она ему шепотом.

– Я так и сделаю, уйду... – объявил он снисходительно. – А то еще начнет плакать, зальет меня этими... как их... да, да, – слезами!

Он действительно в этот день встал не с той ноги. Обычно старался никому не делать больно, был строг и непримирим с теми, кто обижал слабых.

Тогда она крепко стиснула зубы и не заплакала. Но сейчас глаза опять вдруг начало жечь, как будто только теперь прикоснулась болотным перцем, и, щекоча щеки и нос, покатились слезы.

...В тот день, как только Мсоуст вышел, Мкыд взяла ее за руку и повела в гостевой дом, через залу, в угловую комнату, где стоял большой кованый сундук. С самого дна достала маленький сундучок. Открыла – там оказалась прядь светлых волос. «Потрогай их», – сказала Мкыд. Она прикоснулась – волосы были мягкие, как у ребенка, когда их снимают в первый раз. «Это волосы Мсоуста, ему тогда был годик, – объяснила Мкыд. – Светленький был, а сейчас видишь какой стал, черный, как вороненок. Но все равно – и сейчас у него волосы мягкие. Сегодня на него нашло, ты не обижайся. Он просто хочет казаться старше своих лет».

Она не обижалась. А когда потрогала детские, такие мягкие его волосы, ей почему-то сделалось его очень жалко...

Она знала это место и быстро нашла камень, на который не раз садилась прежде и смотрела туда, на двор и дом. Камень был весь в раковинах, не холодный и какой-то почти мягкий. Она села, сняла с плеча ружье, о котором совсем забыла, положила в ногах и посмотрела вниз. Сердце ее сжалось: насколько незащищен дом, насколько открыт он миру, обнажены его болевые точки, смертельно уязвимые места... А снаружи – весь мир, со всей своей силой, мощью, мир, который в свою очередь утонул в бездонной ночи.

В это время, словно ее тревога достигла дома, там залаяли собаки. Выбежали со двора, к холму, где она сидела, и некоторое время подавали голос. Потом замолкли, и опять сделалось тихо. Вдруг, Майяна даже не успела испугаться, что-то горячее дунуло под ухо и задышало: она тихонько обернулась – это была овчарка. Весело скулил, помахивала хвостом, словно встретила родного человека. Девушка благодарно вздохнула.

– Узнал меня? – спросила она шепотом. – Почувствовал, что я всем вам близкий человек... Всем – и людям, и дому, и двору, и собакам...

Майяна протянула руку, погладила по загривку, собака тихонько положила морду ей на плечо.

– Знаю, знаю... – Майяна склонила голову, прижалась к теплой шерсти. – Это он поручил тебе встретить меня, обласкать. Он так примерно сказал тебе: придет сюда, обязательно, одна девушка... Которую я... люблю как душу свою, больше... которая всегда в моем сердце, которую во снах вижу. Без нее у меня жизни нет и счастья не будет. Создатель дал на хранение ей и мое и ее счастье. Что бы со мной ни случилось, счастье мое в надежных руках. Пока она есть, я как за каменной стеной, оно хранит меня, вызволит из огня, отведет пулю...

Собака замерла, слушая. В это время недалеко, у кустов, другая подала голос (Хватит, уже достаточно, пошли!). Тогда овчарка убрала морду, посмотрела туда и коротко зарычала (Не стой над душой! Если не терпится, то катись на все четыре стороны!).

Потом на некоторое время обе собаки успокоились, затихли на своих местах.

Наконец Майяна взяла ружье, встала, опираясь на него, и пошла. Все равно отсюда почти ничего не было видно и слышно. В доме явно уже спали. По крайней мере давно легли...

Собаки некоторое время бежали впереди, провожали. Потом незаметно отстали. Под холмом их ждали дом и двор, которые одиноко жались в ночной темноте, которые нуждались в защите. Настоящий защитник был сейчас не здесь, его рука уже не доставала сюда.

Майяна спустилась на поляну. Еще издалека различила сгрудившихся притихших лошадей. Они подняли головы, смотрели ей навстречу, потом нехотя двинулись, распалась их группа. Некоторые из них лишь лениво переступили раз-другой, захрапели простуженно. Майяна сразу заметила, что среди них нет коня Мсоуста. И сердце опять больно заныло.

– Клячи вы, клячи! – говорила она сквозь слезы, словно лошади были в чем-то виноваты. – Только зерно на вас возить на мельницу! Тот конь не остался бы среди вас, он всегда начеку, думает только о дальних походах, как все настоящие кони... а вы никому не нужны, вот вся суть вашей свободы и спокойствия... И он сам такой, он возвышается как вершина над заболоченными низинами. Они не могут спокойно смотреть на него, возвышающегося над ними, над их вечным ползучим туманом, душной влажностью... говорят: опустись и растворись меж нами... А он жаждет тех вершин, на которые ложится первый утренний луч и последний – вечерний! А вы клячи, вы – клячи, ленивые, старые!!!

Она так простояла некоторое время. Земля притаилась – прислушивалась к небу. Дна неба не разглядеть было, как дна реки в половодье. Иногда ветер доносил дальний прерывистый шум реки, словно спросонья. А ручья здесь рядом, за деревьями, будто и не существовало на свете, ста шагов достаточно

было, чтобы обеззвучить его журчание. Заметно похолодало. Тут, на поляне, росу уже схватило морозцем – виделась белым инеем.

К кому же обратиться ей, кто услышит? Отец...

«Что ты мне скажешь, отец? — думала Майяна в горестном смятении. – Что ты можешь мне сказать, когда сам захлебнулся в пучине горя...»

САМАКУА* – ГОЛОС МИНУВШЕГО

На горных пастбищах, в общине пастухов и охотников по-особому ценится живой, без ленцы мальчонка-пастушок. А он и был таким: всем пришелся по сердцу.

Это был твой отец, дочь моя...

Однажды из долины поднялся горевестник. Горевестник обычно является, чтобы сказать о смерти человека, о его уходе из жизни... Здесь горевестник принес весть о живых, которые умирали для своей земли: согнав с нее, их отправляли за море. Это была самая горькая весть из всего, что всем им довелось до сих пор услышать. Это была самая страшная смерть из всех смертей, которые знают люди...

Мальчонка-подпасок, который так пришелся по сердцу всей пастушеской общине, всегда был так послушен, – здесь не стал слушать никого. Оставив и коз, и овец, и любимого стригунка – все оставив на пастбище, он бежал сломя голову. Спустился в долину.

Это дождевой червь может себя лишить глаз, услышав, что ожидается светопреставление, но человек до конца должен поступать как человек, сказали остальные. Они еще соблюдали приличие, установленные обычаи. Надо было решать. Они же еще на что-то надеялись.

Но старик, который восемьдесят лет жил, твердо ступал по земле, который до сих пор ходил на охоту в малодоступные ущелья, знал язык и гор, и леса, и воды, который, приложив ухо к камню, определял его тайны, – старик этот, подперев подбородок дулом ружья, не отвернув лица от людей, сейчас беззвучно плакал. Тяжелые его слезы стекали с бороды, падали на старые, усталые, голубые жилы на руках, державших ствол ружья.

Он единственный не пытался остановить пастушка.

Пастушок за время разлуки очень скучал по любимой сестренке – Майяне. С нетерпением ждал срока возвращения с гор. И он так стремился сейчас домой, забыв обо всем остальном, что, когда он спустился, у его чувяков не было подошв, а были изрезанные, окровавленные подошвы ног.

Это был твой отец, дочь моя...

Везде стояла гулкая тревожная тишина. Какой-то странный дым, не похожий на тот, что вьется над очагом, стлался по земле, закрывая все. Пахло гарью, и в ней иногда выделялся кисловатый запах пороха.

Тогда они жили недалеко от реки, на самых плодородных равнинных землях. Уставший, выбившийся из сил, он поднялся на последнее взгорье, за которым был их дом, – и ему показалось, что он очутился в незнакомом месте, где никогда раньше не бывал, ему показалось, что сбился с дороги. И

шум реки, ничем не остановленный, прямо ударил в ухо, и вот сама она мелькнула в просветах кустов, вся покрытая пеной.

Когда же отнес дым и прочистил глаза свежий ветерок с реки, он понял, что не сбился с пути... Сверху, с холма увидел выжженный пустой двор, где не осталось чудом даже курятника. Было сухо, и казалось, что вся земля покрыта золой и пеплом.

Обычно со скотом в горы поднимались его старшие братья, но нынешний год выдался тревожным, мужчины должны были остаться при доме. И он был спокоен, убежденный, что старшие братья, как неприступная крепость, защищают сестренку от малейшей опасности. (Любовь и благоговение к единственной сестре... Видно, унаследовали от нартов: каждый, у кого была сестра, видел в ней Гунду Прекрасную.)

...Зола и пепел, пепел и зола – больше ничего не осталось на земле.

Кое-где – обгоревшие дома соседей, но и там дворы были пусты. Ветер, налетая, гнал страшную поземку – золу и пепел. Мычали коровы и телята, охрипшие, осиротевшие. Можно было свихнуться от лая и воя собак, оставшихся без хозяев.

– Майяна!!! – изо всей силы крикнул он, стоя по щиколотку в золе там, где был их двор. Но кто мог его услышать!

Это был твой отец, дочь моя.

Он побежал по направлению к морю, от его окровавленных ног на земле оставались кровавые следы. Сразу за деревней наткнулся на русский военный патруль. Когда стемнело, солдаты пожалели его и отпустили. Оттуда он прошел еще значительное расстояние, и его остановил уже турецкий патруль. Ночью он удрал от турок. Попадал то к одним, то к другим, его останавливали, преследовали, он убегал от всех – но на берег моря, где надеялся найти своих, так и не попал. Через двое суток весь оборванный, с опухшими, окровавленными ногами – он почти не мог стоять, – умирающий с голоду, он вернулся к родному пепелищу.

Когда пастухи и охотники, с которыми он был в горах, которым он пришелся по душе, спустились в долину, – нашли его еле живого, он лежал в золе и пепле там, где прежде был его дом.

Это был твой отец, дочь моя.

Жизнь есть жизнь. Потом, когда он женился и родилась дочь, он назвал ее Майяной – в честь сестренки, которой он больше никогда не увидел.

Захочет попить, увлеченно, не отрываясь, работая, – звал Майяну, чтобы принесла ему воды. Когда его слуха касались шаги дочери, он вдруг бросал все – забыв о себе, о своем занятии, резко оборачивался и смотрел застывшим взглядом.

Маленькая дочь, испугавшись такого его состояния, останавливалась с ковшиком воды на руках, опасаясь приблизиться. Тогда он постепенно приходил в себя. «Холодная вода, Майяна? – спрашивал он, стараясь вернуть своей речи обычную, здешнюю интонацию. – Что бы я делал, если б не была ты такой проворной у меня...»

Он должен был часто видеть свою ненаглядную дочь, дважды ненаглядную, – ибо он должен был увидеть в ней и свою сестренку, закатившуюся Майяну.

Ночью, когда они все соберутся у очага, он вдруг вскакивал и выбегал из дому. Долго не возвращался. А возвращался постаревшим, словно он провел на дворе не полчаса, а целый год. Ему все чудилось, будто зовет его сестренка.

Это был отец твой, дочь моя.

Это горе, эта боль... боль разлученной крови. Тоска по неотделимо близким – навсегда оторванным. Эта тоска всегда была сильной, но при общем страдании народа она становится особенно болезненной.

У народов многочисленных, занимающих обширные земли, видимо, все по-другому. Видимо, там и горе и радость существуют по другим правилам, там у всего другие мерки. Чувство силы, обширности – рождает надежду, с которой все легче преодолеть, перенести... Видимо, потому они так плохо понимают тех, у которых надежда укорочена, которых топчут уже давно...

Здесь звезда общей надежды сорвалась... и каждый на себе почувствовал тяжесть того, что поддерживала эта звезда, пока она была цела и сияла им. И горе воспалилось, и тоска, и вместе с ними – чувство родства, и любовь, и ненависть.

В жизни есть место и горю, и радости. Но когда у человека, с которым приключилось горе, за спиной стоит народ, здоровый и невредимый, – всегда найдется способ преодолеть боль. Но когда народ повержен, рассыпается, когда одному некогда поддержать другого, руки не достают друг друга, тогда страдание одного будет равняться страданию всех вместе взятых.

В таком положении находились те немногие, что уцелели от этого страшного потопа.

В таком положении находился твой отец, дочь моя...

Когда он обзавелся семьей и родилась у него дочь, когда постепенно великий врачеватель – жизнь начала затягивать раны, другое стало мучить его: он тяготился своим счастьем – единственный уцелевший...

Однажды весной, когда солнце сияло над головой, когда расцветающая природа пела и щебетала птичьими голосами, он приподнял тяжелый дубовый кол, вогнал в землю – и так и повис на нем...

Это, помнишь же ты, был отец твой, дочь моя...

И ночью продолжается жизнь. Если бы мы не спали, ночь была бы как день. А потому – пускай эта ночь будет днем: пойдем на мельницу, говорил он свой маленькой дочери. Ему было и жалко ее, но все же кроме нее у него никого не было, он не мог позволить себе воспитать в ней неженку. Потом ей же будет трудно. А он знал, что сам долго не протянет...

Как-то они среди ночи возвращались с мельницы. Луна светила очень ярко, и в лопасти мельничного колеса била не вода, как днем, – разбивался водопад серебряных лучей, оборачиваясь посверкивающей пылью...

Другой раз было совсем темно. Луны не было, старая сошла, а новая еще не народилась. Отец поставил ее впереди себя, чтобы она сама научилась приноравливать глаза к темноте, находить дорогу. Шли по бережку вдоль запруды. Вдруг она вскрикнула и крепко ухватилась за отцовскую руку. Испугавшись от неожиданности, он резко взмахнул свободной рукой, обороняя себя и дочь, – задел что-то... Оказалось – птица. Мокрая и, верно, очень усталая. Похоже, просто спала. С испугу всполошилась, шумно захлопала крыльями – и нет ее.

Если не ложиться ночью – это тот же день.

Это все я – твой отец, дочь моя.

...Если спать до самого утра, не увидишь никогда и ничего из того, что случается ночью. Удивительно, что в темноте, после заката, когда вроде нет особых оснований испытывать страх, человек боится больше. А ведь ночью, как и сам человек, большинство обитателей леса спит. Если кто и промышляет из зверей, зверушек, так они ищут друг друга, каждый свою жертву.

...Потом – отчего человек вечно боится покойников? Умершего не надо бояться, его ведь нет – совсем, совсем, совсем. А голос его, если ей кажется, что она слышит, – так это тот голос, который он подал, когда еще был живым. Так что это – живой голос.

Она, Майяна, не трусиха. Он знает, чего она больше всего боится... нет, не то что боится, а жутко неприятно ей в лесу после ливня – даже днем. Когда припускает дождь, все тут начинает говорить своим языком: листья, крупные и мелкие, ветви, густые и безлистые, а потом и каждое дерево целиком – тоже по-своему. А после, как только шум ливня уносится дальше, начинается разноязычье капели... И кажется, что деревья плачут.

И деревья плачут – как люди, дочь моя. Верно, и радость и горе растут из одного корня. Плачут и в радости и в горе...

Чувство, желание, которое гнало ее сюда так истово, остывало, убывало, как река, в верховьях которой растаял весь снег.

...Это так и было всегда. На этой земле всегда трудно было со счастьем. Испокон веку. Девушки вырастали, расцветали, полные надежд, как осенние соты медом. Но все оборачивалось таким образом, что весь мед бесчисленных сотов осушали трутни горя и страдания. Веками исчезала здесь свобода. И тут даже Бог не мог помочь – враги этой земли не допускали Бога, не давали позаботиться о ее счастье. Сами принесшие на эту землю несвободу, сами и справлялись с ним. Когда внешние враждебные силы душат человека, он сам душит в себе свою же свободу.

С того недавнего дня, когда ее самая светлая надежда подвергалась смертельной опасности, Майяне начало казаться, будто тени, стоны, жалобы всех несчастных женщин прошлых, утраченных лет потянулись за ней, преследуют ее, где бы она ни появилась...

...А счастье такая сила, что когда оно сбывается даже среди ничтожного меньшинства – и то отражается на судьбе всего народа. Такими оно обладает

целебными свойствами. Но путь к нему всегда и везде был тернист, а в этих местах оно сделалось почти недостижимым. Майяна уже успела почувствовать, как это может быть: сначала видишь – путь открыт, и оно маячит где-то вроде и недалеко, манит и зовет к себе, но вдруг, средь бела дня, обвал – и не пройти, не обойти...

ЗЕМЛЯ

Кого не ранила жизнь –
тот еще в утробе матери...

Земля.

Твое место под небом.

Каждое утро с востока из-за горизонта выходит солнце, на западе заходит за горизонт, багровым закатным заревом расписавшись в том, что пройден еще день. С севера стоят, сомкнув ряды, горы, вершинами прижимают горизонт к небу; сюда, в долины, они посылают реки, чтобы напоить, оживить землю. А с юга небо крепко опоясано синей полосой моря. Море испокон веку хочет что-то внятное сказать, но никак не может – и корчится, бушует, обрушивается на землю, а земля терпеливо сносит все это, надеясь, что когда-нибудь оно все же заговорит...

Эта земля, мать-земля, – твоя земля, твоя мать-земля. Когда пришло твое время и ты появился на свет, она – земля твоя – подняла тебя на руки, молоком вскормила, напоила ключевой водой – этот вкус ты сохранил, запомнил на всю жизнь; накормила хлебом, на ноги поставила; когда надо было показать тебя другим, выдвинуть, – выдвинула, а когда надо было тебе не выпячиваться, отвела в сторону; когда надо было защитить – защитила. Эта земля, мать-земля, – какой бы она ни была – ты ее выбрал, она тебя выбрала, она стала тебе как мать, стала апсадгыл – землей души, Родиной. И ты не можешь собственную мать поменять на чужую оттого, что та красивее и богаче. Землю, мать-землю свою – тоже не можешь...

...Плугом проходил по ней, засеивал, пот поливал. И нет в жизни человека ничего дороже мозолей от работы на земле.

...Но и кровь проливает человек на землю – кровь себе подобных. Кровь объединяет многие и многие существа – и теплые и холодные, но и молоко тоже объединяет многих и многих. И вот те, в жилах которых течет кровь и которых вскормили молоком, – не успеет то самое молоко, которое дало им жизнь, просохнуть на губах – тут же начинают думать, как отнять ее, эту жизнь, у других, а вместе с ней и землю – родину других... Сколько веков с человеческих ладоней не сходят мозоли от оружия. Но никто не может и не вправе гордиться такого рода мозолями.

На землю, землю-мать одних, их место под солнцем, их родину, в которой лежат кости прадедов, пращуров – зарились другие. На лике земли вздувались, как гнойные флюсы, империи, не вмещавшиеся в целые континенты. Но они обычно не доживали до возраста обыкновенного человека. Две-три свирепые империи, которые распоряжались судьбами людских сообществ, огнем и мечом сметали с лица земли целые народы, – империи эти настигало возмездие за время, пока в ущельях Наришара молодое деревце не успевало подняться в полный рост.

Земля, мать-земля, ее сила, ее судьба – здесь корни всех и всего. И после тысячи лет, как и тысячу лет назад, и сегодня, и завтра – это твой вечный дом, человек, все то, что назначено тебе под этой чашей неба, проливающей синеву существования.

...О том, как, несмотря на это, люди нарушали, продолжают нарушать все заветы и запреты... как всегда и везде находятся такие, что поменяли Бога на дьявола... О том, как человек всегда жил в страхе, не ведал, когда подожгут его дом, – и поныне в таком страхе. О том, как это уродует человека, злоба, жадность опустошают его, все уводит в сторону от совершенства, равенства, братства, справедливости...

О том, как...

Когда это еще началось... С Востока, с Запада, Севера и Юга, из-за горизонтов, которые так мирно окружали тебя, ты заметил, что на твою землю глядело бесчисленное множество завистливых, алчных глаз, будто стрелы нацелились в самое ее сердце. (В дурной глаз – раскаленную стрелу. В алчный глаз... завистливый, в черные, рыжие, белесые... – раскаленные стрелы... стрелы меткие, меткие, меткие...)

Когда это еще началось... черные дни для твоей земли, матери-земли. Горизонты, что дарили тебя восходами и закатами, горной прохладой, морской синевой, – сделались как настежь распахнутые предательством ворота боевых крепостей. (Водой своей поила, хлебом кормила... место моей жизни и моего вечного успокоения, мать-земля. В лоне матери бываешь однажды, а в твоем лоне дважды, мать-земля, второй раз – навечно уйду в него.)

...Тогда обратил свой взор к небу, воздел к нему руки свои, чтоб оно защитило ее, землю мою, и меня в ней... уверенный, что передел земли стал бесконечным бедствием, но небо – оно неделимо и едино для всех. Но и небо молчало, всей необъемлемой своей пустотой. Пособи слабому, поддержи его, полюби ближнего – провозгласил Спаситель и вознесся. Но слова остались словами.

...Не принял ли Спаситель сторону сильных мира сего, добавив, что если чувствуешь в себе силы для одоления ближнего, одолей, пусть существуют (сосуществуют?) победитель и поверженный?..

Выходит, то, что происходило на земле, – уже перекинулось на небо и заразило его.

Кроме силы и оружия успели придумать много способов, какими чужой петух может прогнать домашнего. В древние времена, когда было еще много

необжитых земель, каждый народ, каждое племя отправлялись в далекие странствия вместе со своими неисчислимыми стадами, определяя путь по звездам, оставляя за собой пустыни, в поисках земли обетованной. Тогда уже народы сталкивались, смешивались, многочисленные становились малочисленными, малочисленные – многочисленными, могучие – немощными, немощные – могучими... Потом, мало-помалу, народы нашли свои земли, обосновались на них, и со временем пространства эти сделались для каждого племени землей души – Родиной. Но не перевелся род людей, племена, народы, которые все не переставали думать, что там, дальше, за горизонтом – лежат лучшие земли, именно то, что они ищут. (А вдруг, а вдруг...) Чувство это не давало спокойно обживать одну какую-нибудь землю и в конце концов поднимало очередное поколение, толкало идти дальше. Сильные продвигались вперед силой. А где не доставало силы, которая подняла бы весь народ, – находились отдельные лица, целые группы, которые брали свои посохи и направлялись куда глаза глядят – словно бы гнала их жажда путешествий, жажда познания иных стран и народов, любопытство и любознательность. А иные уходили в чужие пределы и нанимались на работу, шли прямо в рабство – будто на их родной земле было мало рабского труда.

Но это был великий инстинкт захвата, его иное воплощение: совершить миром то, чего им не удалось совершить силой.

Все остальное – желание увидеть, как живут другие, насладиться красотой новых земель, удовольствие, получаемое от путешествия, пилигримства, укрепление уз дружбы, которая потом перерастет в братство, – было поводом, прикрытием, а на деле ими двигал, действовал тот древний атавистический недуг человека – стремление к захвату новых земель, народов, богатств, могущества.

Человеку, видимо, свойственен такой порок, и чем дальше цивилизуется, тем больше ухищряется в нем, создает целые теории, находит новые термины, лицемерно прикрывая ими суть – захват, экспансию, представляя болезнь, заразу, порок – добродетелью.

Кое-кому не нужно далеко ходить за удовлетворением таких потребностей, начинают со своих ближайших соседей. Пока эти соседи, к которым они являются как гости, возятся с ними, «гости» привыкают к своей роли, начинают вести себя как дома. («Мы у вас чувствуем себя как дома»...) А дальше уже чужой петух начинает перехватывать крик домашнего, и кончается тем, что он прогоняет домашнего с его же двора.

Так веками создавались типы народов, которые не могут жить без земель соседей, а иногда и не соседей, народы, которым нравится в гостях больше, чем у себя дома, нравится там, где есть возможность перекроить роль гостя в роль хозяина.

Природа, сама земля всему указали свое место: кто, где должен и может расти, где созревает его семя, вырастает детеныш – растениям, зверям, птицам, всякой твари; человек же остался в этом отношении прежним: глаза

разбегаются, все ухищряется во что бы то ни стало захватить, отобрать, оттеснить, подавить...

Люди ухитрились и в природе тоже попробовать сделать по-своему: создали ботанические сады, оранжереи, зоопарки. Но и завезенные деревья, и завезенные животные – вечно как в гостях, как человек, который всегда ходит во всем парадном, не раздеваясь, не участвуя в живой жизни.

Но есть, конечно, исключения, там, где и природа и земля бессильны – например, сорняки; они могут приспособиться к любым условиям, к любой земле. Они везде делают одно и то же: пожирают, ослабляют землю, свирепствуют – и быстро расширяют свой ареал там, где земля и без них была ослаблена, где выкорчевывали лес, насиловали ее годами. Слабые места – это почва и сила для сорняков и для всяких паразитов.

Потому они – сорняки – самое страшное бедствие: быстро осваиваются, пускают вглубь свои поганые корни – и живучи, как ничто и никто (...поила своей водой, кормила хлебом своим, на руках носила, на ноги поставила... земля, мать-земля мая...).

ГУАТАС

Давно, как меня перебросило
к наблюдающим,
Конь меня сбросил в пустыне и
сам ускакал...
Азар – песнь всадников

В свое время, когда он был моложе, в расцвете сил, способен был уловить жужжанье пчелы, вылетающей из улья, аромат первой фиалки где-нибудь на далекой лесной опушке, горелый запах трущихся друг о друга жерновов, когда смололось все зерно, где-нибудь на окраине села. Как ком земли, лежащий на свежевспаханном поле, он чувствовал эту землю – перегрелась ли, переохладилась, гложет ли что-нибудь изнутри, разрушая ее, не доверилась ли она обманчивой оттепели, приводящей до срока в движение ее жизненные силы. Словно дерево, живущее не одно столетие, корни его вошли глубоко в эту землю, и они доносили до него шуршание столетий. Он был накоротке с этой землей, она доверяла ему свои тайны, он ей – свои, и она учила его своему языку в совершенстве.

Он, конечно, не мог знать жизнь других народов настолько, чтобы сравнить ее с жизнью своего народа, сделать обобщающие выводы, – он просто жил его жизнью, жизнью собственного народа. Когда эта жизнь становилась подобна урагану, она проходила с удвоенной энергией по его жилам, испепеляя их, его сбивало с ног, – но опять поднимала его земля, в которую он врос корнями.

Его юность, молодость совпала с тем временем, когда мир сбрасывал свою вековую обветшавшую кожу и болели рано оголившиеся места, когда воспалялись прежние раны, когда распалось время в конце одного века – в ожидании нового. В те годы беспощадное колесо истории прошлось-прокатилось по его народу и земле. Оставив на теле и в душе трудно заживавшие раны, оставив его самого немым, нанеся вечно кровоточащую рану его народу, – убрался тот век...

Не так уж долго он жил в этом мире, но ему казалось, что существует он уже тысячу лет. В его жилах текло, продолжало жить много такого, что считали навечно погребенным, утраченным, в бытность чего уже никто не верил. По поверхности жизни прошли, не достав этой глубинной потаенной сути, и исторические изыскания, и углубление в смысл событий, археологические и социологические, и всякие другие поиски.

Как всегда, и сегодня он встал рано. В камельке, прямо на земляном полу, он разжег огонь, подложил дров. Потом, сидя на скамейке, смотрел, как постепенно набирает силу пламя, языки его рвались вверх, высвечивали черный закоптелый зев печурки. Разгораясь, дрова громко трещали. Гуатас посмотрел, чтобы узнать, которые из поленьев так выдают себя, но они, видно, находились в глубине, и уже пламя целиком охватило их.

Обычно он поднимался затемно, но не зажигал ни свечу, ни светильник – не желал. На рассвете свечу ставят обычно или над покойником, или в руках отходящего. Чаще люди умирают на рассвете... или ночь, уходя, забирает души умирающих?..

Может быть, все это неосознанно давило на него.

То, что произошло с Мсоустом, очень чувствительно ударило по нему, выбило из колеи. Что бы с ним ни случилось, он всегда надеялся на свои душевные силы; они никогда не оставляли на полпути, не давали остановиться, выводили к какому-нибудь решению... но сейчас он уже был не прежний – боялся, что на этот раз его может не хватит.

Когда совсем рассвело, он поднялся и вышел из дома. Сколько уж времени было сухо и не по сезону тепло – ни разу лужицы не затянуло ледком, хотя бы самым тоненьким. Однако сегодня морозец был чувствительный, и пыльную землю схватило так, что она затвердела. Земля молчала, ничего ему не подсказывала. Молчала, потому что сама была сбита с толку и ничего не понимала. Даже раны молчали – но чутье подсказывало, что быть суровой зиме. И, верно, покажет она себя такой, какой ее не ждут – ни люди, ни природа, расслабившиеся, распустившиеся в последние месяцы. Он сам, впрочем, меньше всего боялся тяжелой зимы, ибо не оставалось уже, видно, ничего страшнее того, что он успел испытать.

Поднял голову: небо было чистое, и от него веяло холодом; по краю лежала густая остывшая заря, отсветы ее тянулись к зениту.

В последние дни в разогретом воздухе копошилось множество всякой мошкары, как в пьяном бреду; ошалело носились полусонные мухи, попадая в дом, жужжали и бились о стекло, пока, оглушенные, не падали на пол.

Верно, всех их усмирил ночной морозец; столько было для них достаточно.

Он пошел к конюшне. Открыл тяжелую, сколоченную из толстых досок дверь: в его чуткий, как в самой молодости, нос ударил кислый запах конского пота и свежего навоза. Внутри конюшни была перегородка. В ближнем отделении стояла лошадь Мсоуста: только вчера загнал ее сюда. Сейчас, увидев Гуатаса, она беспокойно задвигалась, негромко заржала. В полутьме взблескивали глаза, в напряженном ожидании выгнула шею.

Гуатас поднялся по лесенке наверх, где лежало специально отобранное, высушенное сено. Сунул руку в середину – сено еще хранило тепло и пахло чудесно. Везде так: всему дано больше срока, чем человеческой радости, – она самая быстротечная.

Гуатас верил в то, что человеческая душа – не вся помещается в самом человеке, она помалу еще вкраплена в души близких, любимых. И в скольких душах живут капли его души! А еще – в душе этой земли... И в скольких душах умирали, погибали частички его души – вместе с теми, в душе которых существовали...

Лошадь эту он оставил бы пока под открытым небом, могла бы еще вольно пастись на лугу. В этом году, слава богу, не холодно и корма достаточно. Однако, как только не оказалось дома сына, немного души своей Гуатас вложил и в нее: оттого, что ее любил, холил сын.

От тяжело вздохнул. Две большие охапки сена бросил сверху в ясли. Лошадь вздрогнула, отступила, но к сену не притронулась.

Он издал обычные свои гортанные звуки немой речи, в которых слова мгновенно испепелялись. Лошади был знаком этот разговор: так он хотел ей сообщить, что нельзя голодать – нельзя так горевать по живому.

В соседней выгородке стояла низкорослая и более упитанная их вторая лошадь. На ней в основном ездил старший сын Гудзба, а иногда и он сам. Гудзба почти каждое утро добирался на ней до местной школы, где учительствовал. Ясли у этой второй лошади были пусты: она не была особо жадной, но как всякая рабочая лошадь аккуратно съедала то, что ей положили. В ней не была примешана ничья душа, у нее была только своя. Все она делала нормально: нормально ела, ходила нормальным шагом – и была хорошим ходоком.

Ей Гуатас бросил более грубое, более сухое желтое сено, которое лежало отдельно, – но зато набросал полные ясли. Она стала сразу есть, не принюхиваясь, не кокетничая, втягивая в рот сразу помногу. Когда эта стала есть, лошадь Мсоуста тоже подошла к корму; сперва осторожно принюхалась, пощипала губами и, захватив малый пучок, нехотя стала жевать. Она не капризничала, а тосковала: как говорится, кусок не шел в горло.

Когда Гуатас вернулся домой, задав корм и коровам, и буйволам, и быкам, уже поднялись Мкыд и Гудзба.

Гудзба привстал, когда зашел отец, и снова сел, немного отодвинув скамейку.

Кроме одного-двух самых толстых поленьев дрова уже превратились в горящие уголья, и камелек раскалился.

Гудзба сидел молча, видно было, что углубился в раздумья. Когда он (и нередко) бывал в таком состоянии, Гуатасу казалось, что весь его облик становился другим, словно бы чужим. А если при надобности Гуатас начинал его возвращать из далей, куда тот залетел в мыслях, сын, словно боясь сглазить то, о чем он там думал, возвращал только улыбку – как слабый отсвет заката, без единого слова. Но когда сам Гудзба хотел что-нибудь узнать, он сразу же брал человека в тиски, не отпускал, забрасывал вопросами, придирчиво выслушивал ответы и не отставал, пока не выпытает все.

Гуатасу не нравилось, что старший сын и сегодня пребывал, как обычно, в этой своей отрешенной задумчивости. Всегда его дела оказывались выше всего остального. Неужели внезапно нагрянувшая беда (да – это беда!) не задела его, не заставила хоть временно забыть о собственных заботах, подумать о брате, поделиться с ним, с отцом? Ведь надо что-то решать. Придется поговорить с ним, узнать, о чем он думает, что он сам решил.

Мсоуст, в редкие минуты веселого настроения, в шутку называл брата человеком светским. В этой шутке была своя доля правды: Гудзба действительно каждый день с утра выходил на свет, к людям, – ездил туда, где между церквушкой и сельской канцелярией возле двух огромных ореховых деревьев притулилась школа. Мсоуст имел в виду не только службу брата, но еще и то, что он вечно был обращен лицом куда-то – прочь от дома, не был домоседом, домашним. Это в нем заметил и Гуатас, еще с детства, – потому сразу решил дать старшему сыну хоть какое-то образование. Он, конечно, слышал байку о том, как муравей прожил все девяносто девять лет, а вот в сто приобрел крылья – и сразу же исчез, потерялся; но человек-то не муравей, думал Гуатас, если даже крылья образованности занесут его далеко, при надобности вернется, а вот потерявшийся от незнания, неграмотности – тот действительно сгинет похлеще, чем муравей.

Сначала (тогда школы здесь еще не было) он определил Гудзбу в Очамчырскую двухклассную школу, затем – в Сухумское реальное училище.

Мсоуст тоже был вовсе не домосед. Но если не уезжал куда-то далеко, хоть раз днем заворачивал домой. И не просто приходил и сразу убегал, а должен был увидеть мать, отца – если даже тот работал не близко от дома.

Гуатас знал, что он это делал не для видимости, а по сердцу – иначе не мог. Мсоуст, как и брат, конечно, тоже выходил в люди, ездил в дальние села – но часть души его всегда оставалась дома, не хотел дать полное предпочтение тому или другому.

Мкыд повесила на огонь небольшой медный котел, поворошила, оставшиеся поленья – они разгорелись жарче. Взгляд у нее был строгий, но все же видно было, что недавно плакала. Она еще была крепкой, крепче самого Гуатаса, так что никому в голову не пришло бы назвать ее старой.

Это оттого, что она вслух, словом общается со всеми, и со своими тоже, думал Гуатас, это снимает напряжение. А вокруг него, с тех самых пор, как стал немым на той давней войне, сразу нашедшее его одиночество все сгущалось, а сейчас просто загнало в тупик. Пока Мсоуст был дома, появлялся рядом хоть ненадолго, – рассеивал тоску одиночества, и этого ему хватало на некоторое время. Только Мсоуст умел ее одолеть, а то Гуатас уже боялся, что его совсем накроет с головой...

– Плохо, что они не женятся, – а мы уже постарели, – нарушила долгое молчание Мкыд. – Виноваты мы с тобой... – она старалась поймать взгляд мужа. – С самого детства надо было наподдавать ему по одному месту самыми гибкими прутьями так, чтобы сидеть не мог. Тогда, наверно, слушался бы. Видите ли, он себе места не находит, мечется... Все от необузданности. Укрощают и лошадь, когда пора приходит, чтоб от нее польза была да послушание...

Гуатасу нравилось, что она говорила обыденным тоном, не плаксиво.

– Что же это вы сидите как будто ничего и не случилось? – Она повернулась к Гудзбе с нескрываемым упреком: – А ты о чем думаешь, Гудзба, не пора ли предпринять, решить наконец что-то? Не пойти ли мне к Анчаа, броситься им в ноги?.. – она знала, конечно, никто не согласится, да и сама бы лучше умерла, чем такое, но хотела растормошить своих молчаливых мужчин.

– Думаем, мать, думаем, – повременив ответил Гудзба, словно вернувшись откуда-то издалека. – Говорил же я: не спешить, не пороть горячку, но он и слышать не хотел. Может, уже и понял, да, к сожалению, поздно...

Гуатасу не понравился его спокойный тон и мысль о том, что Мсоуст может быть уже раскаивается. Неужели до сих пор не знает своего брата, раздраженно подумал он, или говорит так, чтобы загладить все пустыми словами?

– Если бы знали хоть, куда он направился, где сейчас... – у всегда строгой Мкыд голос уже дрожал. – Он не пропускал дня, чтобы хоть раз не забежать домой...

– Я думаю, он покажется, – сказал еще спокойнее Гудзба, уже окончательно возвратясь из далеких своих размышлений. – Мы должны непременно знать, что он собирается делать, только тогда можно что-то и подсказать. Мать, прошу, поторопись, что-нибудь сделай на завтрак, я очень спешу.

Мкыд принесла каурму в большой сковороде на длинной деревянной ручке, железным прутом разгребла жар, придвинула скамейку ближе к огню и поставила мясо на уголья.

И в эту минуту Гуатас решительно поднялся, будто вспомнив что-то важное, и направился к двери.

– Куда же ты, куска во рту не было, позавтракай... – громко сказала Мкыд ему вслед. – Я быстренько соберу на стол... – Потом уже тише обратилась к сыну: – Хоть бы пожалел его, не видишь – он просто погибает...

Гуатас не обернулся на слова Мкыд. Поднялся в гостевой дом, прошел в дальнюю комнату. Ставни были закрыты снаружи, но он и в темноте сразу нашел, что ему было нужно: под шинелью висел его карабин. Скрывая его под архалуком из толстой домотканой шерсти, быстро вышел из задней двери. Оттуда – через задние ворота в сад. Он до последнего мгновения не хотел в это поверить, но наконец все же пришлось: все-таки что ни случается в его жизни, заранее предусмотрено, прямо на лбу написано – с самого детства, нет, еще в материнской утробе, все было измерено, взвешено, намечено. Да, крепко было замешано и задумано то, что написано при рождении у него на лбу... хотя и лоб был очень крепкий.

САМАКУА – ГОЛОС МИНУВШЕГО

С тех пор, как появился он на белый свет, не было дня, чтоб не дрожала под ним его земля.

Судьбу родной земли вырвало из рук ее сынов, испокон веку живших в опасности и всегда стремившихся пересилить опасность, – вся их жизнь, ее главный смысл, был в этом противостоянии.

Сшибка двух могучих держав сотрясла их землю до основания – так треплет малое суденышко, застигнутое штормом в открытом море, когда свирепые волны вырвали из рук правило...

Да, он был из того народа, который оказался на палубе неуправляемого суденышка в бушующем просторе. Его так бросало из стороны в сторону, что люди думали об одном: как удержаться на палубе, забыв о существовании руля.

Даже в такие времена, когда народ стоит между жизнью и смертью, находятся люди, желающие извлечь выгоду из общей безысходной беды. Они видели, что измученные долгими бурями соплеменники уже не в силах выстоять на палубе потерявшего управление суденышка и пойдут за любым, – так смертельно напуганное стадо овец прыгает за вожаком с обрыва.

В молодые годы, когда Гуатас еще мог крепко стоять на своей земле, хоть и дрожала почва под ногами, – он оказался среди таких несчастных. Он был крепко сложен, рослый и мужественный, и собой недурен; на него заглядывались не только крестьянские девушки, но и дочери именитых дворян-аамста... Вот тогда и обманули его жестоко, заставили поверить, что родная земля, если пока и удерживает народ, то завтра разверзнется и поглотит всех.

Откуда ему было знать, что великий князь Михаил Николаевич, после восстания 1866 года, в одной из летних резиденций абхазских владетельных князей, Лыхны, подписал указ о выселении абхазов со своих земель, – и он, Гуатас, был лишь одной из множества жертв...

Откуда ему было знать, что их местный князек, Анчаа, за которым они слепо следовали, поддерживали во всем, которому верили, – имел поручение хоть хитростью, хоть угрозой, но заставить, обмануть, принудить вверенных ему людей оставить свои насиженные земли и спуститься к берегу моря.

Откуда ему было знать, что Алма Анчаа, тогда еще молодой, сильный, коварный, – предательски лгал, внушая народу, что если не пойдет как всегда за ними, своими дворянами-аамста, то все вместе погибнут...

И еще о том, что было условлено: выманив, выведя соплеменников с гор, из труднодоступных ущелий, Алма должен спуститься с ними до берега, чтобы потом исчезнуть, оставив людей без всякой защиты.

О том, что таких, предавших свой народ, – ожидали награды, чины, деньги и новые земельные угодья.

Откуда ему было знать, откуда, откуда...

Уговорили обоих – старшего брата и его. Их старый отец противился, убеждал сыновей как мог, повторял им, что человек, оставивший свою родину, похож на дерево с обрубленным корнем... если даже еще зеленеет, оно никогда уже не расцветет, не даст плодов. Но и брата и его так обработали, так заморочили им голову, что сделались слепы и глухи. «Я остаюсь здесь, у могил моих родителей и вашей матери, – сказал несчастный отец оболваненным своим сыновьям. – Может, вы сумеете вернуться когда-нибудь, сила родной земли велика, может притянуть заблудших... – Дал сыновьям по кисету: – Это возьмите от меня на память, только не открывайте, пока не окажетесь там, куда вас повезут...»

Никогда, если даже на этой земле две жизни проживет, не забудет и не простит он себе прощальный взгляд отца. Чтобы узнать, какие бывают глаза у человека, теряющего все на свете, надо самому увидеть, об этом не расскажешь.

Лишь когда оставили родное село и примкнули к таким же, как и сами, обманутым, замороченным, толпами метавшимся по берегу моря, начали оба догадываться, что совершили непоправимое.

«Вдвоем нам отсюда не уйти, – сказал ему старший брат. – Но ты уноси ноги. Обо мне не беспокойся, я потом найду выход. Подумай об отце...» Солдаты уже окружили их и прижимали ближе к берегу. «Брат, больше не заводи таких разговоров, – ответил он твердо. – Я – там, где ты, что с тобой будет, то и со мной».

...Тогда стоял месяц сева. Мир весь светился. Везде все расцвело. Земля пахла так же, как дома. Запахи родины, на которых он был вскормлен, как вскормлен был материнским молоком, сейчас душили его. Воздух родины впитывал слезы, которые он не мог показать.

Никакая пуля, никакой штык не могли бы остановить его, сама земля, одни ее запахи придали бы силы, защитили бы от пуль и штыков, – но он не мог бросить брата. А брат уже не мог бежать, совершенно пал духом. Еще недавно оглушенный и ослепленный, теперь он поддался страху, бессилию раскаяния.

Близко за спиной посверкивали штыки. («Лемех блестит от земли, от работы. А штык? Тоже от работы?..»)

Не давая передохнуть, их быстро гнали к самой кромке берега.

...На чужой берег он ступил уже совсем другим человеком. И переменило его не то страшное, что они пережили по пути, нет, – но он окончательно

понял: и живому, и умирающему, и уже мертвому только родина – другого пристанища нет во всем мире для человека.

Причалил на тот берег со смертельно больным братом: брат исходил кровью, – так погибает вол, упавший со скалы. Не прожил и недели, умер на этой чужой неприветливой пустынной турецкой земле, под чужим небом, где свирепый ветер пригоршнями бросал песок в глаза.

Земля – она неодинакова, как и люди: где-то пустыня, где-то степь, где-то горы, пески, болота, камни... Не важно, какая земля на родине, трудные ли, нетрудные почвы, дает ли лучшие урожаи, чем в иных местах, лучше или хуже здесь воздух, места красивые или некрасивые – важно, что это родина, и в каждом из людей – частица ее души, единственной его родины.

...Брата похоронил в чужой земле. Достал из его кармана отцовский кисет. Конечно, еще раньше догадался – что отец мог туда положить. Раскрыл его и высыпал горстку родной земли на могилу брата.

Он не плакал, хоть любил брата больше всех на свете.

...Там, на родном берегу, их загнали в старую скрипучую баржу, впихивали, сколько могли, даже стоять было тесно... люди задыхались, умерших младенцев одного за другим бросали в пасть голодным волнам...

Не мог он оплакать брата, хоть и непомерно было горе. Ему казалось, что оплакать одного брата из всех погибших и из всех еще живых, умирающих сейчас на его глазах в чужой турецкой пустыне, – значит предать остальных.

Сразу же, хоть и сам, как все остальные, погибал от голода, холода и жажды, он решил: если выживет, вернется на родину во что бы то ни стало, превратится в змею, лягушку, в оборотня – но вернется. Если падать, так упасть по дороге на родину, умереть с лицом, обращенным к родине.

Самое страшное было то, что уже не верили таким как он, вначале стоявшим рядом с Алмой Анчаа, помогавшим ему, невольно сделавшимся его правой рукой. Он метался по берегу, хотел найти единомышленников – и наткнулся на одного из людей Камлата Маан, сына царского генерала Каца Маан, о котором был наслышан еще в Абхазии. Этот человек и сам был из дворян. Не получив всего того, что ему хотелось бы иметь от русских, он стал играть роль обиженного и подался сюда, на турецкий берег. Но это тоже не сулило ему многого. Здесь, на турецком берегу, ни он сам, ни его дворянское звание ничего не значили одни, без зависимых от него людей. И сейчас он решил вернуться в Абхазию за такими людьми – обманным путем собрался навербовать сюда крестьян, пообещав им манну небесную.

Рассчитывал, что уже высадившись на этот берег, они никуда от него не денутся, и он закабалит их.

Всего этого Гуатас не знал, но он сразу понял, с кем имеет дело – с законченным негодяем. Гуатас только теперь стал догадываться о том, что в это страшное для Абхазии время, когда народ изгоняют с собственной родины, прикладами да штыками сбивают их в старые, дырявые баржи, половина которых или сами идут ко дну, а может и специально топят... в том, что они мрут и на своем, и на турецком берегу, – большая доля вины

подобных вот этому типу, подобных Алме Анчаа и другим предводителям-господам, на которых они до того слепо молились.

Но тогда он ни о чем другом не мог думать, кроме как о возвращении. Все забыл, кроме родины. Он уже понимал, что как только сам сделал шаг от родины в сторону чужбины – и родина стала отдаляться от него... если не найдет ее, не вернется, – погибнет она безвозвратно и в его душе.

Гуатас решил схитрить – дал слово этому дворянчику, что, если возьмет его с собой, он в Абхазии поможет ему собрать людей и вернуться с ними обратно в Турцию. По пути он все трогал в отцовском кисете высохшие комки глинистой, уже мертвой земли – она была с самого трудного для обработки участка и потому запоминалась больше, отец знал... Действительно, это место, эту глину он помнил больше всех других земель, которые они обрабатывали. Сколько он ругал, проклинал ее, когда трудно было даже с его молодой силой вонзить в нее лемех, мотыгу... за несколько часов работы на ней болели плечи. Этой земле давали отдохнуть через каждые два года – считали, что в тот год они сами тоже отдыхают.

Сейчас нигде в мире для него не было земли лучше... Ему было больно, что эта щепотка в кисете – суха, мертва. Как он спешил долететь до нее, добраться туда, где она еще жива...

...Понадобилось ему, никогда не покидавшему свои горы, свой морской берег, переплыть море, чтобы понять: наряду с теми, которые трудными, невозможными путями несут огонь правды, добра, милосердия, в жизни участвуют и несущие зло, в жилах их – желчь, яд. Видно, надо было пройти страшные испытания, чтобы понять это и сделаться непримиримым врагом зла и его носителей. Но он смутно догадывался и еще об одном: что в каждом человеке есть зерно того и другого, но просто одним зло не дает взращивать в себе только добро, а другим добро мешает дать полную волю злу...

Преодолев неимоверные трудности, миновав сторожевые суда, и русские и турецкие, им удалось наконец высадиться в Акуа-Сухуме.

Город был опустелый, зарос бурьяном и колючками. Кроме русского гарнизона, жителей осталось мало.

Все равно, дворянчик этот, переправивший Гуатаса, опасался открыто прогуливаться здесь. Видно, чувствовал за собой грех, знал, что если встретит его знакомый, то обязательно схлопочет пулю.

До ночи они прятались в береговых зарослях, а как стемнело, далеко обходя кордоны, добрались в селение Тхубун. Таясь, прислушиваясь к каждому шороху, прошли в дом Званба. Гуатас сразу заметил, что этого дворянчика там тоже встретили далеко не дружелюбно. Видно было, что все его презирают.

Гуатасу хотелось только домой, нигде себе места не находил, но надо было не спешить, чтобы чего-нибудь не испортить. Того дворянина, с которым он прибыл, загнали в угол братья хозяина, к которому они пришли, и негромко с ним о чем-то заговорили. Однако по лицам видно было, что не

ласкают его, а хлещут словами... Тот иногда, как загнанная собака, огрызался, но, похоже, не очень удавалось.

В это время, хоть и был до крайности измучен физически и духовно, Гуатас заметил, обратил внимание на вошедшую девочку. И сразу посветлело. По тому, как она была одета, по манерам видно было, что это маленькая госпожа. Но, конечно, не это умилило его: на обездоленной, раздираемой хищниками земле, где почти перестали рожать, – увидел смеющееся, светящееся дитя. Девочка была прекрасна. Распущенные волосы укрывали почти всю ее фигурку. В полутьме трудно было разобрать, какого цвета глаза, но они – светились. Все – и то, что не выплакал в невольничьих баржах, а потом на чужом берегу, над прахом брата, – все, что копилось внутри, первый раз стало набухать, чтобы прорваться рыданием, вылиться горючей слезой... но сейчас и не время было и не место, да здесь оно и не вместилось бы... Слезы душили его... но наконец он сумел с собой справиться, смог вздохнуть.

Девочка приблизилась к нему. Внимательно смотрела, чуть склонив голову набок. Он удивился, вспомнив, что ему немногим более двадцати... а детство казалось где-то далеко-далеко утерянным, оставшимся в глубине времени бессточным озером... чем-то приснившимся.

– Хауйда-ханум! – засмеялась вошедшая барыня. Видно, была не из тех, спесивых, не замечающих никого, кроме равных себе по положению. – Я не узнала тебя, а она помнит. Сколько же прошло с тех пор? Верно, года полтора, но столько пережили – кажется, очень давно все было. Помнишь, мы гостили у Анчаа, а ты до Кодора нас проводил. Я все никак не могла взять ее к себе на лошадь – во весь путь сидела у луки твоего седла, даже здесь у нее не натерлось, у этой шалунишки, обрить ей голову! – она легонько шлепнула ее по попке.

Только сейчас он стал припоминать то, о чем говорила барыня. Вспомнил, как ни за что не хотела уходить от него малышка, такая теплая, по-детски пахнувшая, будто птенец из теплого гнезда. Насколько он помнит, бабушка Алмы Анчаа, мать его отца, была из рода Званба. Из многих близких Алме родов никого не осталось: одни погибли в многочисленных войнах-стычках последнего времени или ушли куда-то, других выгнали из своих владений. Среди оставшихся Званба эти были самыми близкими – обе семьи держали связь, посещали друг друга. А когда здесь, у самого моря, становилось опасно, детей отсылали к Анчаа.

Услышал имя Анчаа – и опять настроение сделалось страшное, и лицо девочки, что светилось до сих пор, и улыбка ее матери – все, казалось, померкло, потухло... стало так же темно, как и раньше.

– Мать, сколько раз мы просили – не говори девочке: «обрить ей голову», – вступился нервно один из братьев. – Не приведи бог, если придется обрить голову нашей единственной сестренке, – считай, мы все сгнием...

– Замолчи, замолчи! – пожурила барыня сына. – Как ты можешь, я ведь шучу, а ты говоришь такие страшные вещи...

– Хауйда-ханум! – голос брата сразу сделался мягким, ласковым. – Иди сюда, ну...

Девочка тряхнула головкой – взметнулись чудесные волосы, еще раз посмотрела на Гуатаса и взяла руку матери.

– Хауйда-ханум! Хауйда-ханум! – дружно звали к себе малышку братья. По тому, как их суровые лица просветлели, взгляды смягчились, видно было: они с какой-то даже болезненностью любят свою единственную сестренку.

На второй день на рассвете, когда они уже собирались, зашел человек из рода Званба, – оказывается, служил офицером в русской армии. Как только увидел дворянчика, с которым Гуатас оказался здесь, – изменился в лице.

– Как вы впустили в свой дом этого предателя, продавшего свой народ! – крикнул он хозяевам.

– Не я предатель, это ты предатель! – ответил тот даже не привстав.

– Ты сатрап Маан Камлата!.. – Офицер стиснул зубы. – Сейчас ты пойдешь со мной, и я тебя сошлю туда, откуда никогда тебе не вернуться!

Но хозяева не позволили тронуть гостя: каким бы тот ни был негодяем, он пришел к ним в дом, доверился – и они в ответе за него.

– Тебе повезло, что ты сегодня оказался в таком доме! Но знай: опять станешь морочить голову несчастным нашим людям, еще уцелевшим здесь, забирать их отсюда на погибель для твоих и Камлата черных дел – я лично распоряжусь, чтобы тебя расстреляли! – офицер с ненавистью смотрел на дворянчика. – Лучше убирайся отсюда к своему Камлату подобру-поздорову!..

– Все слушают тебя, да никто не поддерживает! – огрызался тот, в свою очередь ненавидяще глядя на офицера. – Расстреляю... У своих хозяев научился?! У нас на Кавказе в безоружного не стреляют, что бы он ни сделал.

– Дешевый прием... таким способом обманываешь доверчивые свои жертвы... – Проходя мимо, офицер остановился подле Гуатаса. – Ты бы не хотел пойти служить в армии? Если хочешь спасти свою родину, чтобы остатки народа удержались тут... если хочешь послужить тому, чтобы наш народ навсегда не исчез с лица земли, – другого пути сегодня нет.

– Это не я, а ты обманываешь народ свой! – не удержался тот беглый дворянчик. – Так заманиваешь в ловушку простаков, собираешь для русской армии пушечное мясо!

Офицер не стал с ним связываться, уже могло кончиться плохо, а этого он не хотел, видимо, чтобы не обидеть гостеприимный дом Званба.

– Я не знаю пока, что и сказать, – успел Гуатас ответить ему. – Пока не дойду до дома и не увижу, как там...

– Если надумаешь, найди меня...

К вечеру он кое-как вырвался из цепких рук того дворянчика и отправился домой.

Дворянчик, не моргнув глазом, еще на дорогу приказал ему уговорить как можно больше парней, притом здоровых, сильных, – уговорить пойти с ним в поисках счастья. Распорядился, где и когда с ним встретиться. «А если

обманешь... – приблизил свое от злости задыхающееся лицо, хотя Гуатас ему никакого обещания еще не давал, по крайней мере уже здесь, – если обманешь – из-под земли достану! Сам увернешься – достану твоих детей... их успеешь спасти – внуков достану, сживу весь твой род с земли!»

Голодный, немытый, нечесаный, почти босой, лесами, оврагами – он мчался домой, мчался быстрее самой крепкой лошади.

Солнце уже поднялось высоко, когда он ступил на жесткую и редкую траву родной земли: именно отсюда отец дал им тогда в дорогу по горсти. Там и сям зияли облысевшие куски, проплешины – изношенная, постаревшая земля... И почвы бывают чем-то похожие на людей: есть такие, что терпят долго и много, есть мягкие, рассыпчатые, но долговечные, не боящиеся износа, всегда сухие, не поддающиеся разрушительной силе дождевых потоков и ветра... есть и трудные, тяжелые для работы, но быстро устающие, разрушающиеся. Эта их земля, каждые два года она отдыхала только один год. Уставшая земля не может отдохнуть быстро, как юноша, забывающий о годовой своей усталости за неделю.

Древняя, древняя наша земля, древняя, древняя наша родина...

Весь в поту, с побитыми, болящими ногами, весь ободранный – так он спешил, страдал, что по дороге даже не успел окунуться в какую-нибудь речушку – ни для чего у него не было и минуты времени, пока не достиг родной земли... он повалился на нее и зарылся одичалой головой в жесткую выжженную траву. Был конец августа, земля прогрелась и дышала жаром. Сквозь этот жар и запах травостоя он уловил запах самой земли. Несмотря на пьянящий, дурманящий запах трав, запах земли имел больше силы, ее нетленность, вечность придавала ей эту силу. Он вцепился руками в траву, в землю – обожженными, потрескавшимися губами стал ее целовать. Он весь трясся... все, что накопилось за эти несколько месяцев, равных для него целой жизни, все отчаяние, все горе разлуки с родной землей, все унижения, утрата самого близкого человека – брата, все сейчас снова надвинулось на него – рыдания сотрясали тело. Он оплакивал все и всех – и брата, и отца... Потому что с тех пор, как он осознал всю глубину разыгравшегося бедствия и какой они сделали роковой шаг, – еще тогда понял, что отец не выживет. Если бы отец был жив – он, такой работяга несмотря на свои годы, и эту землю, отдыхавшую еще с прошлого года, не оставил бы пустырем.

Теперь, лежа на этой осиротелой земле, он вновь увидел всю глубину страшного горя, постигшего целый народ... сколько уже людей погибло, сколько среди них молодых, жизнь которых, как и его брата, не успев начаться – испепелилась... так зерна, ошпаренные кипятком предательской рукой, уже не прорастут – оставят маленькие ранки-могилки в земле... И сколько горя ждет еще оставшихся в живых! Многим суждено проклинать небо за то, что сразу не взяло их души здесь же, на родной земле.

Теперь он понял, что кости брата далеки столько же, сколько далека для него та чужая земля, которая ничего не оставила в его сердце.

Когда он выплакал все и перестало вздрагивать судорогой горло, он вдруг услышал – тихий, словно бы гул, где-то глубоко в недрах земли:

отработавшая свое за год, она уже готовилась к зимней спячке, к тишине и прохладе, постепенно возвращала в недра и приостанавливала до следующей весны свои силы, свои соки, которые всему дают жизнь.

Запах самой почвы в такое время еще сильнее, он ее чувствовал всей плотью – и вдруг ощутил во рту привкус золы.

Он приподнялся, сел. Только сейчас и понял, насколько он разбит, смертельно устал; силу свою, с которой мог он разрушить крепостную стену, чувствовал только как тяжесть, как свинец, осевший в теле. Он не удивился, когда отсюда, с поля увидел обгоревшие ореховые деревья на их дворе, обуглившиеся их светлые ветви. Он встал и пошел пошатываясь.

Весь двор, где совсем недавно они жили всей семьей, порос бурьяном.

Когда он приблизился к тому месту, где стояли их дома, его начала душить пыль: поднял ее, наступая на золу, в золе вязли ноги...

Амбар, стоявший поодаль от домов, сохранился. Видно, очень уж спешили те, которые поджигали. Похоже, какая-то терпевшая здесь поражение часть...

...В изголовье еще почти свежей могилы отца не лежал даже камень, как обычно это принято. Даже на могилах погибших солдат отступающей армии – и то ставят наспех сколоченные кресты. Но его отец погиб в самой бесчеловечной, в самой бесчестной схватке. Земля, наброшенная на его могилу, еще не осела. Но все же отец был счастливее многих – лежал здесь, в своей земле.

Иногда говорят, что все равно, легкая она или тяжелая, земля – если уже лежишь под ней. Но так говорят те, которых балует жизнь, которые в жизни ничего не испытали. И тот, который сказал, что будет все равно, какая земля тебя пожрет, он был просто очень сытый, равнодушный.

Гуатас достал из-за пазухи кисет и высыпал высохшую, мертвую горсть той земли на могилу отца. Горстка была как покойница, и место ее было здесь. Для плуга, для зерна могила надолго остается мертвой, запретной зоной.

Уже здесь он окончательно решил, что отсюда, с родной земли, не уйдет, пока не уложат его на ней бездыханным. То, что было, что происходило, он уже понимал: стояла черная погибель, не только для него и для брата, кости которого остались лежать за тридевять земель в чужих песках, и отца, который, не выдержав, закрылся своей землей, землей своего дома, превращенного в пепел... нет, погибель грозила всему его народу, его родине, застрявшим в страшной пасти истории, в пасти несправедливости коварной, наглой, бесчеловечной. Он видел, что все сберечь и спасти невозможно. Но надо было постараться спасти хоть то, что можно было еще... Он был уверен, что здесь он в чем-то пригодится...

Гуатас долгое время шел лесом. Лес вывел к обрывистому берегу. Внизу в голых скалах извивалась река. На равнинной части широкие берега как бы

вбирали, растворяли ее говор, здесь же она была шумливее, камни вокруг отражали и поддерживали звук. И сама река здесь была бурливой и пенистой.

За рекой на холме выглядывала из мелколесья чья-то одинокая, отдаленная от всех усадьба. Гуатас спустился к реке. Перекинул карабин за спину, не садясь, разулся, закатал штанины и, не раздумывая, вошел в воду, выбрав более спокойное место. Вода показалась не такой холодной, как он ожидал. Остановился, наклонился, ладони, где были мозоли и от орудий труда и от орудия войны, сложил в горсть – зачерпнул воды, плеснул себе в лицо, еще и еще раз. На середине реки течение было сильное. Он замочил штаны, но, выйдя на берег, не стал их выжимать, а быстро обулся и пошел дальше.

Чем больше он приближался к этой отдаленной от остального мира усадьбе, тем быстрее портилось его настроение, немного восстановившееся по дороге. В глубине души он рассчитывал, что его догадки не оправдаются, но не очень был уверен. Знал, что увидит, найдет Мсоуста. Но не знал, как они встретятся, как будут говорить и как разойдутся. Все надеялся, что Мсоуст не возьмет себе в напарники Манчу.

Он шел по дну ущелья. Со скалистого обрыва свисали длинные гроздья плюща. В таком тихом, укромном месте сразу давала себя знать смертельная усталость от жизни. Если бы сердце было спокойно... В нем самом еще сохранялась сила, и ноги пока носили его, не подводили, – но вечное напряжение души и сердца не давало ему передохнуть. Не случись с Мсоустом неприятности, может, он наконец немного и перевел бы дух, но после давешнего с удвоенной силой нахлынула на него усталость. Нет покоя в этой жизни, вздохнул он, пусть никто на это и не надеется. Он хорошо знал своего сына, и совсем не таким, как многие думают о нем, лезущим на рожон по всякому поводу. Раз так получилось в этот злополучный день – значит, действительно, выхода не было, не мог совладать с собой... Да, он сразу себя поставил в опасное положение – но и в то же время важно было, как он поведет себя дальше. Гуатас не знал, как объяснить поведение сына по отношению к Манче (о том, что Мсоуст находится с ним, он уже слышал крем уха, и у самого были подозрения). Обычно одно имя Манчи приводило сына в негодование – тогда чем объяснить такую перемену?

Он быстро миновал это уютное тихое место и там, где в скалах зиял пролом и открывался проход наверх, свернул и начал подниматься. Наверху он задержался у больших каштанов, под которыми разросся рододендрон. Отсюда было недалеко до усадьбы, как на ладони просматривался небольшой, но зеленый красивый двор. Дома, постройки – все было добротное, исключительно из каштана. Над амацуртой – домиком-кухней – вился мирный, светлый дымок.

Острым как у матерого волка чутьем он улавливал в сладостном запахе очажного дыма восхитительные ароматы еще и каких-то кушаний. На минуту позабывшись, он с удовольствием вдыхал эти запахи, знак жизни и покоя. Но глаза его горели, и дома виделись ему словно стоящими в огне.

В усадьбе жила одинокая вдова. И вдова была пока, как говорится, в соку. Сюда ее привел из далеких мест немолодой знаменитый охотник. Злые языки болтали, что у нее, у этой молодухи, была какая-то наделавшая шума история, и родители поспешили упрятать ее в это медвежье логово. Гуатас хорошо знал охотника: светловолосый, с голубыми тихими глазами. Лучше всего запомнил он его длинные, красивые пальцы, о которых думал, что жалко ими спускать курок. Гуатас не замечал, чтобы тот носил кинжал, но всегда к его поясу был подвешен в прочном чехле большой охотничий нож. Как многие другие охотники, он никогда не рассказывал о своих удачах. Так же как никто до конца не знал о прошлой жизни молодухи, так и о нем, и о его охоте тоже толком никто ничего не знал. Вроде как вода, струящаяся из груди неприступной скалы, – ее можно видеть только издали... Летом поднимался в горную тайгу, ставил капканы в рябиновых зарослях на куниц. Весной его каждый год посещал перекупщик-грек, скупал куньи меха. Поговаривали, что у знаменитого охотника водится золото. Кое-кто намеревался на него напасть, но не решались. Оттого, что он жил в отдалении от людей, у самой горной тайги, у него дома частенько бывали абреки. Но и без абреков он сам один прекрасно справился бы, окажись под рукой ружье, как жирных дроздов перестрелял бы всех нападавших. Обо всем этом было достаточно хорошо известно, и потому хоть намерения и высказывались, но действий решительных так и не было.

Жену он взял молодую, годилась ему в дочери. Она ему родила девочку. Ее тоже совсем юной отдали замуж куда-то далеко. Дочь и зять раз в году, а то и в два года еще выбирались сюда. Остальное время охотник с женой жили одни.

Зимой охотник ходил на куниц, иногда пропадал неделями. Однажды он поднялся осмотреть поставленные капканы, силки – и увидел: все пусты, ни один не сработал. Такого с ним никогда не случалось. Он не стал заново налаживать капканы, повернулся и спустился домой. Дома со своей женой он застал любовника. Этот парень был абрек не абрек, а так, баловался этим, и прежде уже не раз бывал у них. Обычно он скрывался не из-за каких-то стоящих мужских дел, чаще из-за грязных «бабьих» историй.

«Абрек» убежал, а жене своей охотник ничего не сказал.

Летом, как обычно, он ушел в горы. И пошел охотиться на такую малодоступную трудную гору, с которой даже в молодости едва мог сладить. Никто не знает, отчего он это сделал. Может, хотел убедиться, что еще не так стар, – или погибнуть.

Пастухи, оставшиеся внизу, передавали, что он поднялся туда, куда хотел, и слышали выстрел – но больше он не спустился. Остались его кости в горах, и душа там осталась... Никто не спел по нему «Ахраша» – «Песнь о скале», чтобы вызволить у скалы его душу. Но видно, и сам знаменитый охотник не желал бы этого, ибо не осталось в мире ничего более верного ему, чем горы, не осталось человека, которому он доверил бы свою душу.

Того незадачливого абрека-любовника тоже больше никто не видел, так и сгинул бесследно.

Гуатас знал, что Манча бывает здесь, а зимами безвылазно живет у вдовы.

Подумав обо всем этом, Гуатас ощутил беспокойство и нетерпение.

Почему такое поганое место должно быть пристанищем его сына, негодовал он, как можно водиться с такими людьми!

До недавней беседы с Мсоустом он был уверен, был доволен тем, что его сыновья не живут только ради себя, замкнувшись, что хотят быть полезными своему народу и для этого готовы не пожалеть своего личного. И о себе думал, что уже можно не спешить, не суетиться, провести остаток жизни под стать своему возрасту, размеренно, и к смерти приготовиться и встретить ее достойно. Но не тут-то было, оказывается... Его жизненный путь был вечной погоней, и сейчас он должен опять вернуться на старую дорогу, догнать отпущенное на волю время и примкнуть опять к нему, мчащемуся будто горячий конь. В его-то возрасте!..

Он еще раз оглядел двор, кухню-амацурту, потом гостевой дом – и тут взгляд его остановился: за открытыми ставнями он заметил ее, вдову. Она торопливо раздевалась. И вскоре ее белое оголившееся тело заполнило проем окна. Она сперва посмотрела на себя спереди, похоже, в зеркало, на грудь, на живот, потом выгнула шею и оглядела себя сзади.

Гуатас отвернулся.

Когда он опять через некоторое время посмотрел туда, вдова уже была в другом платье и торопливо закрывала ставню. И сразу же выпорхнула из дому. Гуатас удивился – насколько же сияло ее лицо, она вся была охвачена сладостным предчувствием счастья. В этом предчувствии не было никаких других примесей – ни сомнений, ни угрызений совести, ни сожаления.

– Шьоукар! Шьоукар*! – послышался ее еще звонкий ласковый голос. – Ни ястреба, ни ласки, ни лисицы – нечего вам бояться, выходите смело со двора! Шьоукар! Шьоукар!

Это, конечно, она кому-то дает сигнал, подумал Гуатас: никого, мол, нет, нечего вам бояться, идите смело.

Множество разноцветных крупных кур с петухами собралось вокруг нее. Она легко взмахнула руками-крыльями, чтобы спугнуть их. И куры, словно ждали, с довольными криками-кудахтаньем разбежались, подлетывая, и мигом опустел двор: рассыпались по перелеску, зарослям рододендрона, зашуршали сухой листвой. Один из петухов, огромный, с огненным гребнем, направился прямо к нему, потом остановился, издал тревожный крик, но увидев, что никто его не слушает, присоединился к курам, выкапывая вкусную пищу среди разворошенных листьев.

Только одна из куриц, самая крупная, ленивая, все еще нехотя бегала во дворе вдоль ограды, не сумев перелезть наружу. Вдова тоже игриво трусила за ней, подгоняя в более удобные для перелаза места. Курица попробует, сунет голову, помедлит в нерешительности, возьмет обратно – и дальше вдоль ограды... взлететь тоже опасается, тяжеловата, боится – крылья не поднимут. Как бы танцевала танец предвкушения счастья: так древние воины перед походом исполняли танец мужества и вдохновения.

Курица так и не смогла выбраться к своим... вдова тоже отстала от нее и, явно не чувствуя под собой ног, заторопилась к дому.

Гуатасу показалось, что ему стало жалко эту одинокую женщину, так много отдающую ради крох счастья... и какого счастья («Боже мой, с Манчей, с этим...»). Он оборвал себя – независимо от жалости он должен поступить так, как решил. Все обязывало его, все: и пули, просвистевшие мимо, и попавшие в него, пролитая на землю кровь и ручьи пота... обязывала испепелившая, но и закалившая его глубокая рана – жизнь, и «Песнь ранения», которую она ему пела нескончаемо.

На его глазах кто-то мелькнул между огромным валуном, лежавшим у дома, и дверью.

Гуатас взял карабин, приставленный к стволу каштана, беззвучно передернул затвор, вогнал в ствол патрон – и решительно направился во двор.

...Задняя дверь была не заперта. Он бесшумно открыл ее и вошел. На деревянной тахте лежала чья-то свернутая бурка. Это была бурка не Мсоуста. Он подошел к двери в другую комнату и прислушался. Оттуда доносились звуки, далекие от мирских забот, опасности, боли переживаний, – звуки, рожденные сладким женским забытьем, на которое она была готова променять все...

Он невольно подняла глаза – и сквозь широкую щель увидел крепко сколоченную деревянную кровать с перильцами в голове. За перекладину этих перилец, закинув руки, как раз и держалась вдова, ее густые каштановые волосы рассыпались по подушке...

Гуатас отвернул лицо и ждал.

Снова посмотрел в щель, когда почувствовал, что там кто-то поднялся. Действительно, Манча уже встал и застегивал свои подштанники.

– С голоду подыхаем, вспорхни, моя голубка, и быстренько что-нибудь сообрази, – сказал он, словно целый день пот проливал на ее поле.

«Раз говорит “подыхаем”, – значит, его новый побратим тоже, видно, где-то неподалеку тут околачивается», – подумал Гуатас – и не удивился тому, что сейчас он презирает сына.

Чувство презрения и сорвало его с места: он мгновенно распахнул дверь, вскочил в комнату и приставил дуло карабина к затылку Манчи. Тот вздрогнул и замер. Вдова вскрикнула и закрылась с головой одеялом.

Когда Манча расслышал гортанные бессловесные звуки и узнал Гуатаса, он, похоже, тут же перестал бояться, успокоился: сразу осело, обмякло все его тело.

– Спусти, спусти курок, чего ждешь! – выкрикнул он в бессильном возмущении. – А ты подымайся и дай сигнал, сын его придет, пусть сами разбираются... – отнесся он к вдове, зарывшейся с головою в одеяло. Гуатас заметил: Манча с перепугу даже не грубил ей.

Гуатас убрал карабин и отвернулся, показывая, чтобы та оделась. Но стал так, чтобы не спускать глаз с Манчи. Манча поднял на него презрительный

взгляд: «Чтоб и ты, и он, и все вы!.. И тебя ненавижу, и его, твоего выродка...» – легко прочитал Гуатас.

Вдова в мгновение ока оделась и выскочила наружу.

Манча тоже нехотя стал одеваться.

– Чего вы от меня хотите, не скажешь?.. – голос его уже был нахальный, даже надменный. – Был твой сын в миру – сживал меня со света, пошел в лес – и там не давал покоя. Теперь оказался рядом, я решил: забуду все старое...

Гуатас опять издал гортанные звуки, на этот раз угрожающие, резко отмахнулся от него. Это означало, что он не хочет слышать о том, что сын рядом с Манчей, что решил испачкать себя грязью, которой изгажен сам Манча.

– Но не забывайте – я тоже не камень, могу лопнуть в один прекрасный день. Сейчас я терплю, ты старый человек... Терпел от сына, думал – по молодости через верх берет, но... – он сел развалясь и стал обуваться.

Гуатас опять махнул на него рукой.

– Напрасно! Ты думаешь, что очень хорошо знаешь сынка своего, – но ошибаешься. Он поступает как ему в голову взбредет, только так, – ни меня, ни, представь себе, тебя тоже не послушается... – И вдруг Манча осекся, как-то съежился.

– Отец... – Гуатаса поразил ослабший, усталый, как и он сам, голос. Может, еще оттого поразил, что слишком уж отличался от всего того, что Гуатас только что слышал. Это был голос человеческий – обиженное его сердце опять наполнилось надеждой. Гуатас тихо поднял глаза и посмотрел на сына: Мсоуст оброс черной щетиной, побледнел, но глаза были прежние, взгляд твердый – без раскаяния и послабления.

– Ты иди... Ну, закуси чего-нибудь там, а нас оставь одних... – бросил он Манче.

– Оставляю с превеликим удовольствием! – ответил Манча нагло. – Но пока я здесь – посмотрите в мои глаза. Ты, говорят, – тряхнул рыжей головой в сторону Гуатаса, – пулю в свое время на лету проглотил, мудр, проницателен... и ты, его сын, – точно такой же... Я сам не вижу, может, из моих глаз смотрит на вас какое-то чудовище?.. А если не так, то...

– Это уже слышали, а теперь будь добр – уходи. – Мсоуст нервничал. – Не забывайся...

– Зачем же... ничуть... – Манча стал надевать пояс. – У вас есть один недостаток, только один, простите уж меня за прямоту... у вас у всех: лезете напролом – только так. Буйвол, который видит грядки, но не замечает забора... ну, кто-нибудь когда-нибудь слышал о том, что он мудр или хитер? Нет, не слышали, ибо никто и не говорил. Так не кажется ли вам, что рога у вас чересчур крепкие?.. Смотрите, чтоб не было с вами, как с коровой, которая рога обломала, тягаясь с быком...

– Ты что, решил – сейчас самое время испытывать мое терпение?! – Что стоило Мсоусту сдерживаться, каких усилий! – Оставь нас, с тобой поговорим потом... наедине...

Гуатас с горечью замечал, как Мсоуст был сдержан с Манчей – и тот нагло пользовался этим.

– Садись, отец, садись.

Манча убрался наконец.

Гуатас с омерзением исподлобья глянул на кровать, на разворошенную постель.

– Сюда садись, сюда... – повторил Мсоуст раздраженно. Он был раздражен не отцом, конечно, – Манчей и всем происходящим. Пододвинул ближе к отцу табуретку.

Гуатас присел, не выпуская из рук карабин, и некоторое время сидел так, уронив голову, опустив свои когда-то могучие плечи – как побитая ненастьем старая птица своей последней осенью.

– Отец, – голос Мсоуста стал мягким, извиняющимся. – Прошу тебя, не переживай. Так вышло... Ты же знаешь, сколько сам пережил, – я тоже, видно, весь в тебя. Дело не в этом борове Алме и его сыновьях, а совсем в другом...

Гуатас вздрогнул, словно прикоснулись к незажившей ране, простонал и что-то показал рукой.

– И в том тоже, и в том... ты меня неправильно понял... – поправился Мсоуст. – Знаю, они никогда не пощадят... Но, отец, не это самое страшное – страшно, когда тебя никто не хочет услышать. Есть здоровенные мужики, живут в свое удовольствие и в ус не дуют. К ним-то отношение – лучше не может быть. Есть иные – действительно страдают не из-за себя только, болеют и о других тоже – но никто не хочет их расслышать – все на них рукой махнули...

Гуатас издал звуки, понятные Мсоусту как несогласие.

– Я же не хочу сказать, что уже сам что-то достойное сделал, – Мсоуст сразу уловил, на что намекает пытливый слушатель. – Но ты? Сколько ты страдал, воевал... ранили, убивали тебя, но ты упорно держался, не боясь говорил, кричал: умрите здесь, но не уходите отсюда, не поддавайтесь страху, провокациям. Ты говорил: вы губите себя и весь народ, вы будете виновны в гибели народа. Ты говорил – правду. И что? Отвечали – мол, замаливает грехи, а если пошел в солдаты в русскую армию и воевал, так ему заплатили сполна... Разве ради выгоды ты страдал и рисковал жизнью?! Я знаю хорошо, как ты...

Гуатас застонал, делая знаки руками.

– Если даже была вина... если это можно назвать виной – ты тысячу раз искупил и кровью, и потом, и всем остальным... но тебе ничего не простили. Простили всем, которым всегда прощали, на которых и лежит главная вина! Неужели это его суть – народа?

Гуатас вскочил и стал ходить взад и вперед. Потом сел опять. Сильное волнение – его уже не выдерживали изношенные жилы, кости, которые, казалось, гудят от напряжения.

Он знал: частица его души жила в сыне, но, видно, сейчас и она бессильна.

Он поднял голову и прямо посмотрел сыну в глаза. Тот тоже не отвел взгляд.

Неужели во мне нет хоть немного его души, подумал Гуатас.

Мсоуст сделался, как прежде, холодным, надменным, будто высеченным из цельного камня. Стоял некоторое время задумавшись.

– Отец, – сказал он наконец, уже тоном не допускающим пререканий. — Дай срок, повремени. Я еще должен подумать, взвесить. Потом дам о себе знать. Я знаю и твои планы: уговорить меня пойти к Чантамыру с повинной. Да, Чантамыр плохого не хочет, в это верю, но что он может, что в его силах? Он, будто, мудрый человек, желает добра... но как могу верит уряднику, этому прохвосту! А тот когда с крестьянами – клянется им в верности, мол, готов защитить их, если нужно – стоять в ледяной воде по горло... Твердит, что сам из народа. А повернулся – говорит и делает совсем иное, угодное таким как Анчаа. Морочит головы доверчивым, а потом смеясь рассказывает, что обманывать, оболванивать простонародье – дело государственной важности. Так что, отец, за себя я должен решить сам – не дитя. Сам заварил, сам как-нибудь расхлебаю. Посмотрим, как получится... А теперь иди домой, успокойся... Разве из таких переделок ты выходил? Безвыходных положений нет, не бывает: не таков ливень, каков гром... Успокойся же.

Гуатас опять вскочил на ноги. Издавая гортанные звуки, жестикулируя, он подходил к сыну, потом метался по комнате («Покуда ты будешь водиться с этой мразью, какими глазами на людей стану смотреть?.. К тому же он трижды предаст и продаст!»).

– К сожалению, очень и очень многие недалеко от него ушли! – Настойчивость отца отчего-то вывела Мсоуста из себя, камень, из которого он был высечен, словно накалился, выжигая глаза. – До того дня и я думал так же, основывал жизнь на милосердии, – но меня-то никто не пожалел! Даже и не задумался... Коли так – и я исключу из своей жизни милосердие, на его место призову беспощадность! Какое мое дело – вмешиваться в дела этого типа! Да, я презираю его – и он имеет такое же право презирать меня! Решил со стороны глядеть на все его проделки, как на какое-нибудь представление клоунов-бродяг, допускаемых самим народом.

Гуатас потряс в воздухе карабином: мол, своей рукой застрелю, если действительно так будешь поступать!

– Эй, отец, я всегда был убежден: если даже ты выстрелишь в человека – твоя пуля говорит правду. Но ее-то, правды, кроме тебя да меня – никому и не нужно. Ты хочешь сказать, что в тот день все не его, а меня, мол, защищали, не пропускали – чтоб не погубил себя. Я тоже когда-то верил в такие сказки, но уж сейчас не дам себя провести, и тебе советую то же самое. Надо вещи называть своими именами. Те, кто там был, на поляне, – они защитили своих господ, от меня отвернулись. Защитили дворян, которые сто раз предавали, продавали и продолжают в таком же духе! На что и на кого тогда надеяться?!

Гуатас опять сел. Мсоуст некоторое время стоял без движения, словно окаменел. Потом посмотрел на отца, сидевшего как побитая ураганом огромная птица, которая доживает свою последнюю осень, и постепенно его лицо смягчилось и просветлело.

– Отец... – он подошел к нему и тихонько положил руку на его плечо. – Сейчас – иди... Еще раз говорю – успокойся. Все будет в порядке. Сам не приходи, скоро я дам о себе знать. Мать тоже успокой. Иди, ведь тебе далеко...

Гуатас встал и, не выпуская из рук отяжелевший карабин, направился к двери.

ГУДЗБА

Конь – стрела на натянутом
луке судьбы,
Стали крыльями плечи и руки
всадников.
Азар – песнь всадников

Вся семья жила мыслями о Мсоусте, на некоторое время это беспокойство поглотило все остальное. Но даже такой проницательный человек как Гуатас сейчас не догадывался, о чем думает Гудзба, старший сын, – так углубленно прятал он свое сокровенное от постороннего глаза и слуха. Гудзба был таков и прежде, до стычки на поляне, пока с Мсоустом все было в порядке. Гуатас тем не менее сразу улавливал его мысли – то, что всплывало, отражалось на лице, в повадке.

Но сейчас...

Сейчас, когда он сидел у огня, Гудзбе все казалось, будто он упустил что-то очень важное – и не может вспомнить. Как человек, составляющий лекарство и забывший одну необходимую, пусть маленькую – с корень травы, с волосинку, – но часть, без которой снадобье не снадобье. Вроде, позабытое недалеко, где-то рядом. Ругаешь, поносишь себя за то, что внимательнее не слушал наставника, когда учил тебя этому искусству... не усвоил тысячу способов запоминать...

Но Гудзба, в то же время, походил на лекаря, который уверен, что существует помимо всех обычных лекарств и такое, которое все разом вылечивает – этой мыслью он себя успокаивал.

Сейчас Гудзба неожиданно для себя видел, что не знает своего брата. Ему всегда казалось, что Мсоуст несколько преувеличивает свои переживания – от своеобразного тщеславия. Гудзба любил классифицировать, разделять людей на разнообразные группы: раб раба, раб, крестьянин, мечтающий о дворянском звании, малый (мелкопоместный) дворянин, большой дворянин

(большой аамста); и в ином плане: любящий трудиться и лентяй, человек, живущий в закоулках жизни, не занятый ничем, и занятый всем, занятый торговлей, куплей-продажей...

Правда, при этом его возмущало все же, что в эту схему обычно никто толком не вмещался: для каждого она была тесна. А для Мсоуста – тем более, для него вообще все было тесно.

Гудзба вспомнил, как давно еще подумал о младшем брате: девушку, которая пойдет за него, ожидает вдовство.

В общем-то он привык считать, что Мсоуст к своей физической незаурядности и силе духа хочет подключить и других – чтобы спастись от одиночества, которое готовит ему его положение. И Гудзба считал это опасной затеей.

А вот теперь он начал понимать, что Мсоуст это делал вовсе не из тщеславия, не из того, чтобы уйти от одиночества, – это просто в его характере, потребность его человеческой сути. Но брат был резок, несдержан, действовал открыто, в лоб, – и это отпугивало людей, и без того натерпевшихся. От страха и собака на пень лает...

– Сегодня мои дочери приезжают, – объявила Мкыд, убирая тарелки после того, как он позавтракал. – Они с детьми, как бы их ненастье не застало...

– Если даже ненастье, здесь не так далеко, переждут дома... – ответив так, Гудзба понял, что сказал не то. При этих словах мать посмотрела на него и горько улыбнулась. Она, конечно, сразу подумала о младшем сыне, о котором сейчас не знала толком ничего, не знала даже, есть ли у того навес над головой, есть ли куда приткнуться в ненастье.

– Ой, горемычная, несчастная я, где мой сын, что с ним... – запричитала она.

Жизнь есть жизнь, не всегда она будет следовать тому, что ты хочешь, иногда надо подчиняться и ее воле, но ситуация, в которую попал Мсоуст и вместе с ним все они, вся семья – очень огорчала Гудзбу. Сам он, со своим характером, ни за какое дело не брался без веры, без убежденности. Когда в реальном училище в Акуа-Сухуме, где он учился, стали до него доходить слухи о классовой борьбе, национальном освободительном движении, социализме – он про себя решил, что если что-нибудь и может спасти наш народ, так именно борьба за свободу. С тех пор он ни разу не гасил зажегшуюся тогда в груди надежду, стал потихоньку прислушиваться к разговорам, понемногу читать запрещенную литературу. Сейчас он может сказать, что довольно хорошо знает эти идеи, и хотя пока не состоит в какой-нибудь организации, но поддерживает связь с такими же как он свободомыслящими – в году собираются, встречаются по нескольку раз. Среди них уже есть и члены организации, которые информируют его обо всем, снабжают кое-какой необходимой литературой. В эти знания, информацию, которую он получал, посвящал в деревне самых надежных людей, они в свою очередь – своих наиболее надежных. Так потихоньку шла работа.

Гудзба по своему обычаю долго обдумывал эти идеи – по отношению к своему народу, применительно к местным условиям, оценивал особенности их распространения. Он считал, что с его народом, натерпевшимся страхов, народом, у которого отсекли его большую, лучшую часть, а затем и объявили виновным, не доверяли, игнорировали, надо быть всегда осторожным, деликатным – и в этом случае тоже: необходимо не отпугнуть, а сделать так, чтобы люди постепенно привыкли к новым идеям, мечтам, чтобы потом сами потянулись к ним, а пороть горячку в таких случаях – большой вред.

Однажды он сказал обо всем этом Мсоусту.

Мсоуст сразу зажегся и с большим волнением стал ему доказывать, что надо сейчас же идти в народ и готовить людей к борьбе, к выступлениям. Гудзба остудил его пыл, объявив, что таким образом можно лишь испортить все, еще и не начав, и потом Мсоуст ни разу не заводил с ним разговора на эту тему.

«Если они, о которых ты упомянул, все такие же как ты, – однажды все же не выдержал Мсоуст, – надо вам попробовать одними разговорами заставить, как в сказке, вскипеть воду в котле...»

Мсоуст, конечно, сам не знает, чего хочет... но если бы он так не спешил, не лез на рожон, – мог бы сделаться весьма полезным, и даже при всей его горячности, – но когда это будет ко времени. Гудзба даже решил прочесть брату небольшое наставление, но тот сразу отверг учительский тон.

– Видите ли, ему захотелось, чтобы все были равны, как доски в ограде! – вдруг возмущенно вскрикнула Мкыд среди установившейся тишины. – Вот уж точно: мало я ему в свое время наподдавала прутьями по одному месту!.. Если бы вовремя постаралась – он сейчас спокойненько грелся бы у своего очага, как все нормальные люди. Что эти негодники хотят с нами сотворить! Отец – калека, я – старая... так они и сделают, чтобы мы не своей смертью умерли. Все себя ведут тихо, спокойно, головы свои не подставляют – они у них и целехонькие...

– Мама, меня сюда не вмешивай, – засмеялся Гудзба. – Первые слова, с чего я начинаю разговор с детьми, – это слушаться родителей...

– О тебе тоже ничего хорошего не говорят! – накинулась и на него Мкыд. – Будто бы распространяешь слухи: бедный станет богатым, богатый бедным... Помяните мои слова, плохо кончите!

– Если бедный будет богатым, богатый бедным – тогда что это за равенство! – засмеялся Гудзба. – Чего только не наболтают те, у которых языки чешутся! Ты не обращай на них внимания.

– Если б вы хотели, чтобы я не обращала внимания на такие вещи, женились бы! Мсоуст тоже сейчас здесь оставался бы около своей жены, и я на старости лет посидела бы у колыбели. – Мкыд все расхаживала между очагом и столами, приземистым шкафом, наподобие буфета, что-то вешала над огнем, оттуда забирала что-то. – Ну хорошо, вы меня не очень... Но пожалейте отца, посчитались бы с тем, что он пережил. Вообще, маленькие дети приносят счастье...

– Ты права, мама, здесь мы не можем ничего сказать в свое оправдание, – Гудзба встал улыбаясь, и через открытую дверь посмотрел на срез неба. – Уже трудно надеяться на погоду. И так она давно нас балует, не в чем ее упрекнуть.

– Погода-то будет в порядке, а вот... – Мкыд покачала головой. – Это все хорошо – но вы там детей учите монашеству? – почему-то вдруг спросила она.

– Жизни мы учим детей, мама, жизни. До сих пор у нас не задумывались, полагали – жизни не нужно учиться, это дело Божье. Сама видишь, куда это нас привело... и посейчас не задумываются многие и многие, но завтра уже так будет невозможно... а если даже останется возможность, это будет не жизнью...

– А почему ты сам не учишься этой самой жизни? Если все не женятся вовремя, не родят – что тогда будет за жизнь?!

– Все в свое время, мама...

– Жди, пока само к тебе не прибежит...

– Хорошо, мама, я все понял – подумаю... – он направился к выходу. – Уже надо поспешать. Приведу коня пока.

Когда он выводил свою лошадь, конь Мсоуста забеспокоился, заржал, начал метаться по конюшне.

Скучал по своему хозяину.

Удивительно: Гудзба иногда тоже задавал корм и лошадям и всякой домашней живности, но не бывало с ним такого, чтобы животное, ласкаясь, потерлось бы лбом. Мсоусту, конечно, приходилось чаще возиться по хозяйству и задавать корм скоту; но он и получал в ответ: как только завидят его, все домашние животные прямо рвались к нему, призывно мычали, блеяли, ржали. Он давал им такой же корм и такую же соль, как и Гудзба, – ничего особенного. Но к Гудзбе все были равнодушны, а к Мсоусту – если даже просто шел мимо – все поворачивали головы вслед.

Сколько лет уж Гудзба не менял эту лошадь, возила его – но каждое утро встречала так, будто видит в первый раз. Лошадь была тихая, безобидная, каждый, кто захочет, мог подойти и поймать. Для нее все были одинаковы; единственная во всем хозяйстве она была равнодушна и к Мсоусту. Оттого, что была неразборчива, – когда летом выпускали на луг, дети подкрадывались к ней, вместо узды набрасывали лозу и взбирались на ее широкую спину. И давай кататься... Измученная, вся в мыле, она вместе с ребятишками на спине рвалась домой. После этого Гудзба оставлял ее вместе с телятами в специальном загоне. Вот все лето, отгоняя большим пышным хвостом мух, она и оставалась в обществе резвых телят.

Когда он поднялся в седло, Мкыд вышла провожать.

– Гудзба, – сказала с тревогой, – будь осторожен. Откуда знаешь, что там придумают сыновья Алмы, особенно Умар, – она понизила голос, – этот на все способен... Эх, Мсоуст, что ты с нами сделал! Жили себе, как-то все было сносно, а ты взял и все расстроил... и жизнь свою загубил...

– Ничего не бойся, мама, они не смеют тронуть не только меня, но и Мсоуста, – сказал уверенно Гудзба. – Если немного ценят свои головы... а как они их ценят, тебе известно. Будь уверена, им тоже невыгодно то, что случилось, переживают не меньше нас... Времена не те, им ни к чему воскрешать в памяти людей свои предательские дела, когда уже все вроде притворились, будто ничего и не было...

– Не знаю, не знаю, что и подумать, голова кругом идет... А куда запропастился ваш отец с утра?

– Куда ему деться, придет. Пока... – Он тронул поводья, и лошадь пошла привычным шагом.

– Возвращайся пораньше, не заставляй из-за тебя переживать, прошу тебя!

– Приеду, не задержусь.

Он старался успокоить мать, но выехал на дорогу, и самого охватила тревога: как обернется с Мсоустом. Недаром боятся отец и мать. Их родительское чутье предупреждало об опасности. Правда, отец имеет заслуги: служил в царских войсках, воевал – и хорошо воевал: был представлен к солдатскому Георгию. По обычному делу не считаться с ним не могли бы. Но здесь было иное, худшее. Мсоуст с оружием в руках пошел на главу местного дворянства: получается – поднял руку и на власти. По крайней мере так это будет истолковано. Им дай только повод – Анчаа подольют масла в огонь... уже наверняка донесли куда следует. И на него самого тоже с некоторых пор поглядывают косо. Ко всему прибавилось еще и то, что на недавней свадьбе они с сыном большого аамста Алоу, хорошо образованным, очень неглупым парнем, не встали, когда произносили тост за царя, и сами не подняли. Это, конечно, было замечено – донесли до слуха кое-кого, а там, услышав, запомнили.

Если сейчас поймают и засадят Мсоуста, – сошлют его туда, откуда не возвращаются. Им только надо его посадить, а там ему припишут все смертные грехи. На это они мастера.

Видимо, лучше, чтобы брат пока оставался в абреках, заключил свои рассуждения Гудзба, исчез, не давая о себе знать.

Дальше, ему кажется, события будут разворачиваться так: придет такое время, когда властям будет не до Мсоуста. Недавно он встречался с одним своим старым знакомым еще по училищу, тот уже член партии социалистов. Вот этот знакомый и сообщил, что вскоре, не исключено, начнутся активные действия. Но здесь есть одна опасность, подумал Гудзба с тревогой: как бы сам Мсоуст не выкинул еще что-нибудь такое, чем опять обратит на себя излишнее внимание. Тогда с ним цацкаться не станут, погубят его... Ни за что ни про что пропадет парень... Но если он поведет себя умно – придет его время, и тогда цены таким отчаянным головам не будет.

Этими соображениями Гудзба вроде успокаивал себя, однако не был до конца убежден, что все так и повернется, и подсказать, как лучше действовать, – не мог. Сейчас перед его глазами вставала редкая, скупая, но

прекрасная улыбка брата... ему казалось, что с тех пор, как он ее видел в последний раз, прошло очень много времени.

На этой земле долго не улыбались. Он еще помнит, как на случайно вспыхнувший смех сразу оборачивались все, кто находился рядом, недоумевая – кто же мог себе позволить?.. Потом и смех стал возвращаться. Сначала застенчиво, жидко, дальше – все более оживляясь, обретая настоящую жизнь. Человек есть человек, долго не может жить не смеясь. Видимо, способен долго не плакать (что тоже еще требует проверки), но долго не смеяться – не может. И ушедших, и тех, которые стали далекими, вспоминаешь только по их улыбке, смеху. Мсоуст не был особо улыбчив, но оттого и запоминалась его улыбка, что как бы смягчала камень, из которого он был высечен: приоткрывала губы, светились крепкие белые зубы.

О нем, о Гудзбе, говорили, что мысли все время куда-то далеко уводят его: будто и сидит перед тобой, но на деле находится где-то далеко, в другом месте... А вот ему самому казалось всегда, что Мсоуст находится еще дальше. Его улыбка успевает осветить за день его лицо от силы два-три раза – и все оттого, что не успевает сюда из его далека, – думал Гудзба.

Вчерашний морозец уже спал окончательно, становилось тепло, промерзшая пыль на дороге размякла. От земли поднялся мутноватый туман, заполз в лес и стоял неподвижно. Было тихо, тишину ничто не тревожило кроме размеренных шагов его лошади.

Гудзба постепенно перенесся к раздумьям о школе. К новому учебному году он хотел расширить классы. В этом ему помогал сельский староста Чантамыр, но все время препятствовал сельский священник, преподававший там же Закон Божий. Раньше, когда Хирипсу Анчаа здоровье позволяло работать, священник вел себя как Божий агнец, все старался угодить представителю знаменитого семейства Анчаа. Но с тех пор как Хирипс, болея, почти перестал посещать уроки, слуга Божий старается укрепить свои позиции, а иногда не прочь и поважничать. А в последнее время вовсе сделался невыносим, везде, куда его не просят, сует свой сизый, с волосинками нос. Его не интересует ни школа, ни организация учебы, ни даже религия. Он и не верует сам. Но зато самым рьяным образом интересуется политикой. Чуть не отдал Богу душу, когда с народа сняли «виновность», столь несправедливую как по законам истории, так и по законам терпимого, гуманного отношения народов друг к другу. В том случае священник выражал негодование открыто, но Гудзба пропускал его слова мимо ушей, не давая возможности узнать свои истинные мысли.

Сейчас его мучает, что он тогда сразу не дал отпор. Вообще, конечно, Мсоуст прав: чего только он себе ни позволял, этот присланный священник: на виду у всех понимающих, грамотных – нагло и открыто поменял фамилии полсела. Такие, как он, громко называли себя миссионерами, присланными, дабы послужить верой и правдой Богу, христианству, поднять дух народа, который потерял веру и в людей и в Бога, помочь вернуть ему веру. А на деле поступали наоборот – не как посланцы Бога, а посланцы дьявола, свой

далеко не священный яд пряча под рясами, просаленными жиром жертвенных ягнят и козлят!

Особенно с тех пор, как Мсоуст, не выдержав, начал протестовать на сходе, Гудзба стал понимать, что он сам не сумел дать отпор этому зарвавшемуся «миссионеру». С него-то и надо было начинать. И давать отпор нужно здесь, в селе, внизу... дальше, выше – все, в том числе и редкие официальные абхазы-чиновники, держат ту же сторону, поддерживают ту же политику. Поэтому надо было сделать так, чтобы сама земля, на которой он сейчас стоит, этот присланный «просветитель», чтобы она его жгла, не мог он по ней ходить – будто как по горячим угольям... Но кто это сделает?..

И кто пойдет за тобой, кто поддержит? Кто не понимает – тот не понимает, ладно, но и те несколько человек, что видят и понимают всю эту гнусную политику с изменением фамилий, – и они молчат. А дворяне – те и вовсе делают вид, что ничего не происходит. Каких только кровей в них не намешано, кому служить – не знают, а обычно кто посильнее – тот им и друг. Если когда-нибудь виновники бедственного положения этой земли предстанут перед судом Божьим, то среди них окажется большинство «благодетелей» народа – местных дворян. Эти всегда были сильны только со своими подопечными, и то, что спускали чужим, никогда не прощали своим.

Гудзба себя не узнавал, в нем все кипело, все протестовало.

Он сам, другие его сверстники, хоть немного выучившиеся, хоть немного понимающие, – все они пока плохо выполняют свой долг, нигде еще не сказали нужного слова...

Правда, он все время только и думает об этом... Но чтобы действовать, прежде чем действовать – ему приходилось взвешивать все – и мало что было пока в его силах. Все переплелось в этой жизни... сделай один неосторожный шаг – и так повернут, так используют – даже свои грязные грехи на тебя повесят... и предстанешь перед своими же замаранным, отвернутся от тебя, потеряют в тебя всякую веру... С другой стороны, он уже видел: упустишь то, что надо делать сегодня, случится то плохое, которое можно было предупредить. Он метался, отыскивая опору, опять переносило его к мыслям о Мсоусте. Несмотря на поспешность действий, необузданность, брат во многом был прав, и не напрасно действовал, хотя это и опасно. А он, Гудзба, уж очень много оставлял безнаказанным – как иногда любил думать, до основного удара. Однажды, придя в школу, застал священника в страшном смятении, каким его никогда не видел даже при Хирипсе Анчаа. Тот все суетился, бегал, путаясь в своей засаленной рясе, открыто лебезил перед ним, похихикивал без всякого повода. Такое, помнил, случалось, лишь когда тот еще только что появился в здешних местах, не чувствовал еще ничьей поддержки, не освоился. Но как только оттуда, с морского побережья, он почувствовал поддержку властей и еще каких-то других непонятных, неразличимых отсюда сил, он сразу преобразился. Теперь уж не прочь был требовать от остальных той же приниженности, что сам выказывал перед людьми, когда только что приехал.

В тот день, в день такого удивительного превращения, священник завел Гудзбу в комнатушку, где их никто не видел, и, хоть никто не мог и услышать, заговорил плаксивым шепотом:

– Сегодня утром в церковь явился твой брат Мсоуст!.. – начал он, хватаясь почему-то за живот.

– А что его привело сюда в такую рань? На него непохоже... – спросил осторожно Гудзба, подозревая неладное.

– А ты разве не знаешь, для чего он явился? – священник испытующе вглядывался своими глазками-пуговицами, но увидев осуждение на лице Гудзбы, сразу опять сделался жалким: – Он потребовал книгу крещения...

– А на что ему книга? – спросил Гудзба, уже догадываясь, в чем дело.

– Видишь ли... – «миссионер» был и жалок, и ненавидел, ибо сразу понял, что Гудзба спрашивает нарочно. – Христианство здесь было давно позабыто... Сделалось изичество... – он намеренно слегка искажал слова.

– Я понимаю: Мсоуст, видимо, вел разговор о фамилиях... – оборвал Гудзба.

– И фамилии он спрашивал... – подтвердил священник и замигал глазками-пуговичками... – Он не знает – ты же знаешь... есть христианские фамилии...

– И брат это хорошо понимает, не думай, что ты один. – Как бы ни хотел Гудзба, тогда он не сдержался. – Но мы с ним не понимаем одного: почему если христиане Иванов, Сидоров, Меладзе, Дихоминджия – могут носить свои фамилии, то фамилии Арадзныш, Инал-ипа, Адагуа-ипа, Ануа, Логуа и другие подобные – считаются неподходящими? Может быть, ты мне объяснишь?

Священник такого не ожидал.

– Или ты действительно решил, что кроме тебя об этом, обо всем, что ты здесь стряпаешь, и для чего все это начато, никто не знает... – продолжал Гудзба почему-то тоже шепотом. – Я тебе очень советую хорошенько подумать, и как можно скорее... Помни, не все коту масленица...

– Что, угрожаешь? – плаксиво, но и как бы с негодованием уточнил «миссионер».

– Нет, как видишь, хочу оберечь тебя...

– Вот – гляди! – тот резким движением поднял рясу и нижнюю рубашку – обнажился пупок в реденьких рыжих волосах. Кожа была желтая, нездоровая, прыщавая... Куда же девается все, что он сжирает, подумал тогда Гудзба, зная о жадности «миссионера». (Как-то заглянул к нему в разгар поста; священник сидел за столом, перед ним лежал жареный поросенок – уплетал его с жадностью. «Есть никогда не грех – даже во время поста, – объявил служитель Бога, ничуть не смутившись. – Господь, помилуй и меня и того, кто преподнес это объедение!..» – закатив глазки-пуговицы он посмотрел на потолок.)

А сейчас под самым пупком отчетливо виднелось черное пятно.

– Вот здесь он держал острие своего кинжала, – сообщил плаксиво священник. – Господи, который тот, наверху, – добавил он нехотя, закатывая

глаза, чуть запрокидывая волосатую голову. – Иисус Христос, помилуй его, образумь, наставь на праведный путь – так жестоко сбитого с толку дьяволом...

Опустил рубашку, рясу – и лениво стал креститься.

– Я с ним поговорю, чтобы впредь так не поступал, – сказал Гудзба тогда. – Все же – не так это делается... Но тебе тоже не мешает побояться Бога...

С тех пор священник, встречая его, обнажает желтые зубы – смеюсь, смеюсь над тобой...

Миновав перелесок, Гудзба очутился на месте, где по сторонам дороги были рассыпаны опустевшие, заросшие колючкой, лианами, бурьяном дома, одичавшие сады – сорняки душили фруктовые деревья. Палки, которыми мимохожие и мимоезжие сшибали тут фрукты, застряв в оголившихся ветвях, глядели стаей ворон. Буйно разросшаяся в золе очагов ежевика разъедала дома изнутри, тянула свои желтоватые ростки, напоминавшие хвост разомлевшей на жаре ящерицы, изо всех щелей, даже из отсыревших дымоходов. На одном из таких домов крыша из дранки казалась почти новой, и когда туман рассеялся, засветилась будто солнечная полянка в лесу.

Очаг целой семьи, собиравший вокруг себя, согревавший... люди старались не допустить, чтобы огонь в нем погас, сохраняли в исправности крышу над ним, защищавшую от гневного неба...

Иногда, медленно прохаживаясь меж партами, что-нибудь объясняя детям, мыслями он незаметно уносился далеко... Вот сидят здесь несколько мальчиков и девочек – дети, чудом уцелевшие на своей земле... Сколько же ребятишек могло учиться сейчас рядом с этими, заполняя классы, даже если покрыть весь край густой сетью школ! А они, как передушенные цыплята, умирали от тесноты, от грязи, духоты и болезней в невольничьих баржах, а потом их бросали в пасть этому зеленому дракону... остальным, погибавшим от голода, холода на пустынных берегах Анатолии, глаза выклевывали вороны... А кто уцелел – те остались без родины, с самого рождения лишенными даже минимальных человеческих прав, бродят по чужим пустыням, бесприютные, как пчелки, потерявшие свои ульи. Каждый раз, приезжая сюда, сойдя с этой клячи, расседлав и стреножив ее, он входит в класс, где его ждет малая горсточка детей. И с той минуты, как переступит порог школы, он ненавязчиво, но упорно и последовательно учит их, уцелевших, как они должны исполнить, воплотить в жизнь то, что не дали сделать тысячам и тысячам погибших, брошенных в море детей... и еще тем, кому помешали родиться... Он говорит ребятишкам о том, что является их первейшим долгом: возродить эти покинутые дома, земли, вернуть их к жизни, заполнить их... Как бы ни было тяжело горе, память об уходящих, исчезающих, умирающих, – в конце концов тяжесть утраты ослабнет, боль притупится, затем совсем сгинет, но то, что выпало из рук ушедших, их незавершенные, просто будничные дела – они ведь всегда остаются...

Гудзба торопил лошадь. Приближался к школе – и им овладело нетерпение, хотелось поскорее войти в класс, к этой горсточке детей. Уже ему виден был небольшой деревянный дом – почерневшие от времени

каштановые доски, – зажатый между зданием сельской канцелярии и большим развесистым грецким орехом. И когда он уже увидел ребятишек, услышал веселый щебет – они ворошили обильную палую листву, искали орехи, – у него отлегло от сердца и лицо посветлело.

Первым был урок Закона Божьего. Неизвестно, что его заставило, но спешившись, он не расседлал как всегда коня, не стреножил, а лишь накинул узду на луку седла – и сразу пошел в школу. В домике было тихо и пусто. Не поверив тишине, он все же тихо направился к комнатушке, которая громко именовалась «учительской». Подойдя к двери, услышал изнутри неясные звуки. Прислушался: внутри кто-то был. Только сейчас он понял, что именно заставило соблюдать осторожность: подозрение. Он знал, что священник скрытно, но неотступно следит за тем, какие книжки он читает, чем интересуется. Как только он стал подозревать «миссионера», все свои книги, хоть сколько-нибудь опасные, забрал домой.

Когда он, тихо приоткрыв дверь, посмотрел, священник, со своей рыжей, недоразвитой бородой, мучился, открывая ящик его стола.

На что ж он надеется, удивился Гудзба, – знает же, что к этому времени я всегда могу подоспеть? Или уж так приспичило, что выхода другого не нашел, либо решил совсем не бояться и не стесняться – до того обнаглел?

Видимо, «миссионер» пытался открыть стол неподходящим ключом: повернув в последний раз и поняв, что не получается, он с досады стукнул своим облезлым кулачком по столу. В это время, отворив дверь, и вошел в комнату Гудзба.

Священник вздрогнул было, испуганно глянул в его сторону, но тут же взял себя в руки и напустил на себя такой вид, словно сам собирался в чем-то обвинять.

– Куда ж ты ее дел? – спросил он, опередив Гудзбу.

– Что ты имеешь в виду? И не перепутал ли ты столы? – Гудзбу вывела из себя его наглость.

– Да книгу псалмов. Разве ты не брал ее давеча?

– Почему давеча – уже год как ты сам ее не держал в руках, не то что я.

– Разве ты не говорил, что хотел бы их на абхазский язык перевести? – наглости соглядатая не было предела. – А я здесь ищу, ищу, понимаешь...

– Лучше бы ты помолчал, Барнаба, – бросил ему Гудзба. – Я никогда не говорил, что собираюсь их перевести, такого желания у меня нет. Сказал об этом Хирипс – просто чтобы отвлечься. Это когда было?!

– Да, да, правду ты говоришь, правду... – вдруг мелко задрожала его рыжая борода – он пытался смеяться над своей мнимой забывчивостью. – Это он сказал, действительно... А здесь, понимаешь, ищешь, ищешь... Да, да, Хирипс...

– Хотя ничего и не собирался делать.

– А ты никогда, никогда не думал сам перевести? – священник подмигнул своими хитрыми глазками-пуговицами: хотел отвлечь его от неприятного разговора.

– Это все хорошо, но почему ты забыл, что твоим ключом мой ящик не откроешь? – ухмыльнулся Гудзба.

– Ключ, ключ... Для чего ключ, когда нас здесь только двое! – Гудзба видел, как он окончательно успокоился: оправдался по-своему. Повернулся и посмотрел во двор: – Ипполите, Ипполите! – выкрикнул своим тонким, дребезжащим голосом. – Вернись сейчас же! Куда ты прячешься! (Ипполит был его запоздалый сын.)

Только могила его исправит, подумал Гудзба, бросив на стол котомку, где держал учебники, записи к урокам: пусть и на это поглядит, успокоится.

– Раньше он играл с Астамыром Анчаа, – сообщил равнодушно священник. – А теперь возится со всеми. Это ему даром не пройдет, придет домой – я ему всыплю... Астамыр такой воспитанный... из такой семьи...

– Не знаю, как там его воспитывают, только я иногда боюсь, как бы он не поджег нашу школу, всю эту рухлядь, – возразил Гудзба, не выдержав, хотя давал себе зарок ни единым словом не обмолвиться об Анчаа. – Не надо его выделять, для него это пагубно; здесь, в классе, все дети должны быть одинаково равны...

Он взял со стола колокольчик, стал у открытого оконца: колокольчик зазвучал в воздухе тоненько и призывно – прекрасные звуки, зовущие к знаниям, свету, прозрению, самые прекрасные звуки для этой обездоленной земли!

НИКОГДА НИКОМУ НЕ СКАЗАЛИ ОБИДНОГО СЛОВА

Ты укусил – и раздуло,
Я подул – и опухоль спала...

Заговор от укуса змеи

В лесу было светло, очень сухо, вчерашний морозец почти не оставил следов. Легкая пыль поднималась от опавших листьев и стояла прозрачным туманцем – деревьям по колено. Весело бежала, журчала по лесу речушка.

Базала был в хорошем расположении духа. Он глядел на широкую спину сына, который, чуть опережая, шел возле. Он шел такой ладный, крепкий, твердо и основательно ставя сильные ноги, – выпирала юношеская энергия. Базале казалось, что он слышит не только биение своего сердца, но и биение сердца своего сына, будто они – одно. Вот прекратится постепенно работа его сердца – это будет почти незаметно, так гулко и мощно стучит сердце сына, его продолжения. Это сознание ободряло и поддерживало, энергия, излучаемая сыном, заряжала и его тоже. По крайней мере, так ему казалось. Да, и он дожил до таких вот пожилых лет – и за всю свою жизнь на здоровье не жаловался. Сын и в этом шел по его стопам.

Базала не был известен как наездник, в мировых судьях он не состоял, не отличался на празднествах, не бывал, не участвовал, не состоял – потому что

был трудяга, он нужен был земле, она его даже ненадолго не отпускала. У них с землей было столько забот – целиком требовали времени его жизни. Он знал толк во всех хозяйственных делах, и в плотницком деле тоже. Сам мастерил себе плуг, арбу, был мастером подобрать удобное топорище, строил сушильню для табака – и никто лучше него этого не умел сделать, ибо он строил так, как ему нужнее, удобнее было. Но не увлекался, не распылял внимания. Его главное занятие было – земля. Один из сыновей пастушил, с большой отарой овец и коз оставался летом – на альпийских пастбищах, а осенью и зимой – в горной тайге. Иногда летом на недельку, реже на две его сменял младший сын Базалы – Бадра. А старший спускался сюда, в деревню, ходил по друзьям, по родственникам, чтобы немного отвести душу от пастушеского одиночества.

Младший, Бадра, помогал отцу в хозяйстве и нигде, ни в каком деле уже не уступал ему. Правда, Бадру он отпускал на празднества, свадьбы, похороны – словом, туда, где собирался народ, а когда очень было необходимо, дело касалось близких родственников, изредка и сам отправлялся с ним. Они больше ходили пешком, не любили возиться с лошадьми, с седлами, – и чувствовали себя лучше и уверенней на своих двоих, чем на спине лошади. Никогда не опаздывали, но и не приходили слишком рано, а уходили всегда вовремя: дела их ожидали, ждала земля.

Для тех, кто ничего не делает, новых дел не бывает, не ждут они их, а вот для работящих – работы всегда предостаточно, их занятиям конца и края нет.

– Бадра... – нарушил молчание Базала, переполненный нахлынувшим добрым чувством к сыну. Он вынужден был дать выход этому чувству, хоть немного. – Слушай, вот что я тебе скажу...

– Что, отец? – юноша передвинул поудобнее топор, который держал на плече, повернулся к отцу, притворно суровый.

Смотри-ка, он еще хмурится, так просто не подпустит к себе, нет, подумал Базала. Медвежонок мой...

Жизнь – удивительная штука, думал Базала; оттого, что ему мало приходилось углубляться в жизненную философию, это его волновало, как прозрение. Вот идет рядом с ним его кровь и плоть, и хотя он хочет себя уверить, что они почти одно, но в то же время понимает, что на самом деле не знает сына – что у него в голове, чем он дышит. И то, о чем ему казалось, что знает хорошо, и то все были догадки.

– Бадра... – заговорил опять Базала. – Как переносишь, когда сразу надо подниматься по такому крутому склону? Пока не привыкнешь, тяжеловато... колени не подкашиваются?

– Нисколько... Ты разве не знаешь, каким сам был в моем возрасте? – усмехнулся Бадра. – Мы ведь только-только вышли из дома.

– Ты думаешь, так легко вспомнить, каким я был в твоем возрасте? Но твердо знаю одно – я сейчас делаю больше, чем в молодости. Молодости сопутствует и леность. Я, конечно, знаю, какие колени бывают у молодых, но молодые думают о том, как долог путь впереди, да сколько работы их ждет,

когда они придут туда, куда им надо прийти, – вот и начинают слабеть колени... Угадал?

– О всех молодых я не могу сказать... – но по улыбке сына, про которую Базала говорил – рот до ушей, он догадался, что попал в точку.

– Не бойся, я тебе дам время поразвлечься. Вот заготовим себе на зиму дрова, еще три-четыре арбы подвезем в господское к Анчаа... Тогда поезжай и к братьям матери, немного поносишь свою новую одежду. Не висеть же ей все время неодеваной. Это даже Богу не угодно, столько держать новую одежду. Ты молодой, в самую пору выходить, показать себя...

Базала не менял ритма ходьбы с того первого шага, который сделал, выходя из своих ворот. Это уж как всегда. Бадра в этом был другим. Сам того не замечая, все время вырывался вперед, потом останавливался, чтобы отец догнал.

Год тому назад они вдвоем гнали в горы быков. Бадра с самого начала пошел быстро. А Базала – как всегда. Сперва Бадра вырвался настолько вперед, что его голос сверху, со склона, доносился почти как с неба – победным кличем. Но во второй половине дня отец начал догонять сына, а потом и вовсе догнал. Через некоторое время уже Бадра глядел в спину постепенно удалявшегося отца, нетерпеливо ожидая, когда тот распорядится сделать привал и передохнуть.

Бадра, конечно, и молод, и здоров, и силен, но оттого, что эти свои качества использовал только частично, преимущества его, бывало, обращались в тягость, а отец по опыту, который сплавился уже в навык, инстинкт, расходовал силы не торопясь, они постепенно все вовлекались в работу – и никогда не оборачивались тягостью, наоборот: время от времени давали как бы второе дыхание. Базале в таких случаях делалось жалко сына. Но какая-то упрямая сила, инстинкт не давали смягчиться, остановиться, устроить привал, словно он хотел доказать, что еще не так стар, что может в любое время дать это понять любому сомневающемуся сопляку. Он, конечно, не забывал, что следом поднимается сильно уставший, как устают только в молодости, Бадра – и страшно злится на него.

Вспомнив все это, видя сейчас его легкую прыть, которая не дает парню идти размеренным шагом, Базала усмехнулся в свои прокуренные усы. Сегодня он все видел как бы глазами сына. И этот лес, раздетый осенью, и всю остальную природу. Он с одинаковым благоговением смотрел на то, что уже прожило свой срок с весны до осени и умирало, и на то, что намного долговечнее человека, и на вечное, отрешенное от повседневности. На землю он ступал осторожно, не мучая ее, даже если кое-где ноге делали больно кости земли – острые комки.

Ему было хорошо еще и оттого, что земле тоже было хорошо: разомлела от такой ни к чему не обязывающей мягкой погоды, от позднего бабьего лета – пхын-чкун – которое выдается не так уж часто. Он, конечно, знал и то, что тепло слишком затянулось, и нельзя терять осторожности, бдительности. То, что сейчас делалось в природе, было небезопасно для земли. И такая гулкая опустошенность, видимо, надоедала, утомляла землю – она жаждала, хоть

пока ей и некуда было расходовать, ожидала того минимума воды, который необходим и зимой.

К вечеру, когда уже становилось прохладно, даже холодно, земля протрезвлялась от забытья под ласковым солнышком и, замерши, прислушивалась к недоступно высокому небу, желая понять, что оно ей готовит.

Так все чувствовал и Базала.

И когда ночами он вставал, выходил посмотреть на двор, амбар – не страдает ли кто без него, какой-нибудь там скот, – он чувствовал, как земля находится в непривычно напряженном ожидании. То он видел, как, охватив полнеба, сжимал его в своем кольце багровый ореол-нимб, то целую ночь горели пожарами зарниц все горизонты.

– Смотри, сколько орехов рассыпано в листве... – Базала приостановился под большим старым деревом.

Бадра тоже остановился и посмотрел под ноги: действительно, орехов было так много, что хоть сгребай ладонью. Он наклонился, выбрал из продолговатых бурых орешин самые лучшие и крупные, одну положил на зуб и хрустнул ею.

– Зубы поломаешь! – рассердился Базала.

Бадра в руке раздавил сразу несколько штук, две-три из них протянул отцу, остальные побросал себе в рот.

– И вкус же у них! – Базала жевал медленно, задерживая ореховую мякоть во рту, как бы дегустируя. – Да будет всегда щедрой природа-мать!.. Да-а... – протянул он, покончив с орехами. – Быть суровой зиме – это непременно!

– Все это я слышу каждый год, но еще не видел, чтобы зимой выпало больше чем по колено снега.

– Ты когда-нибудь слышал такое от меня раньше?

– Каждый год, только по одному разу... – Бадра опять растянул улыбку до ушей.

Потом некоторое время они поднимались по извилистой тропе, обходя деревья, валежник. Бадра все время, когда не отвлекал отец, пытался думать о Мсоусте. Он пытался, но как-то не думалось, Только лицо мелькало перед ним, скупая улыбка, брезгливый и гневный одновременно взгляд, обращенный к «святому», и то, как Мсоуст шел через поляну – а перед ним все отступали, шел с кинжалом в руке, бледный, с отрешенным, непроницаемым лицом. И с горящими, да, да, действительно горящими глазами... Как Майяна тоже сперва побледнела, потом кровь ударила в лицо. А он, Бадра, не знал, как себя вести. Что скрывать, он попросту испугался. И такого терпеть не мог, когда один на другого лез, а здесь – один на всех...

Майяна может просто не выжить. Об этом никто не знает, ни Мсоуст, никто, знает только он один. То, что он пришел сюда, в лес, не побывав у нее, ему казалось предательством. Ей сейчас нужен верный человек. Но раз отец решил сегодня поработать, ни на что времени не было. И что же станет с Мсоустом? Его присутствие всегда поддерживало Бадру, ему казалось, что само существование такого человека – для него, для Бадры, – защита от

злословного и злобного мира, которого он по правде сказать и стеснялся и побаивался... Но что же будет дальше?

Ни на один вопрос он не в силах был ответить. Ни тогда, на поляне, ни сейчас он ничем не мог помочь Мсоусту. Некому было подсказать Бадре... а сам он что может решить...

Он не знал даже, с какой стороны подступиться, что бы он мог сделать, но все время, где бы он ни был, чем бы ни занимался, его не оставляли беспокойные мысли о Мсоусте.

– Отец... – вдруг вырвалось у него. – Как ты думаешь, что будет с Мсоустом, что они ему приготовят?

От такого неожиданного вопроса Базала даже приостановился, боязливо огляделся и прислушался.

– Зачем тебе это сейчас? От того, что ты это говоришь, ничего же не изменится... – ответил он тихо и печально посмотрел на сына. – Наше дело – плуг и мотыга, и ни о чем больше нас никто не будет спрашивать...

– Как – зачем? – сказал Бадра, тоже шепотом. – Как – зачем!..

– Я знаю, Мсоуст был достойный парень, но... – Базала уже говорил совсем чуть слышным шепотом. – Но... они никого не пощадят... Мсоуст должен был с этим считаться. Надо поспешить, уже много времени прошло... – Он зашагал быстрее.

Бадра знал, кого отец имел в виду, когда говорил – «они». И сам тоже о них думал так.

Наконец отец с сыном одолели подъем, выбрались на широкую поляну в лесу – и замерли ошеломленные: над поляной носились тучи бабочек. Почти все желтые, но у некоторых, побольше, крылья переливались разными красками. На солнечных полянах в позднее бабье лето, бывало, кружились две-три бабочки, сбитые с толку нежданным теплом, полусонные. Но тут было совсем иное. Такого не увидишь вообще ни в какое время года. Воздух над поляной был просто заполнен бабочками. Иногда часть их, мечущихся в полусонном дурмане, относило к лесу. Лес их разбивал, рассеивал, и они кружили вокруг стволов, словно искали друг друга, играя в жмурки. Они взмахивали крылышками как-то странно, невпопад, почти без всякой энергии, и казалось, будто они летают во сне, а не наяву.

– Уже и я верю, что действительно этой зимой нас что-то ожидает... – сказал Бадра совсем тихо, словно боясь спугнуть бабочек.

Базала смотрел на них молча. Потом поднял голову к небу за переплетением ветвей:

– Защити и помилуй нас, Господи!

Бабочки, как в тяжелом сне, слепо кружили в воздухе, некоторые, занесенные в лес, метались у деревьев, не находя друг друга.

– Смотри, никому ни слова о том, что видишь, даже мне... будто бы не заметили их... – Базала не пошел на поляну, а направился в обход.

– Зачем, разве это секрет?

– Секрет. И не только мой или твой... И природа не любит, когда глазеют на нее, а потом чешут языки, болтают о всяких явлениях в ней. Она жива и разумна, иначе ничего бы этого не было...

Место, где они заранее срубили деревья на дрова, еще в начале осени, когда течение соков останавливается и стволы и ветви обезвожены, было удобное и недалеко от дороги. Базала обычно, за редким исключением, когда дерево уже было старое, не рубил под корень, а оставлял часть ствола с ветвями: потом, через несколько лет, этот же ствол опять можно было обрубить на дрова. Здесь, куда они пришли, он осенью свалил под корень полузасохший старый-престарый дуб; упав, тот разбился на куски. Из-за него придется еще на один день подниматься сюда, захватив пилу, колуны и тяжелый молот. Сегодня же они должны были подготовить то, что можно рубить топором: в основном тут были стволы граба.

Они сразу же сняли с себя домотканые верхние шерстяные рубахи, расстегнули вороты нижних рубашек, поплевали на свои мозоли и взялись за топоры. Стук топоров пошел по лесу; деревья передавали друг другу короткое эхо.

Бадра знал, что отец и в работе, как и в ходьбе, был размерен, несуетлив, зато редко отдыхал: начинал – и работал, пока не закончит то, что собирался сделать. В самом процессе работы при этой размеренности он успевал и отдыхать. Все же к концу он уставал и начинал злиться: ругал кузнеца, который закалял лезвие топора... а то с досады чуть посильнее взмахнет им – перерезав ветку, попадет в камень – на острие появляется зазубрина. «Одни камни торчат из нее, что за земля, чтоб ее выжгло молнией!» – взревет тут Базала. Если замечал, что и без камня видны зазубрины на лезвии топора – начинал ругать жену: «Сколько раз ей говорил, не трогай топоры! Обязательно должна напортить своей левой, костлявой, чтоб она у нее отсохла, кусок не могла поднести ко рту!»

И под конец набрасывался на самого Бадру, упрекал, что тот нечисто обстругивает, очищает от мелких сучьев длинные поленья, либо ворчал, что слишком коротко рубит, или слишком длинно, или же так свалил дрова, что никогда никто не сможет их аккуратно сложить, – словом, находил, к чему придраться. Бадре ничего не оставалось делать, как поглядывать на отца и – рот до ушей. «Перестал бы скалить зубы!» – прикрикивал Базала.

Иногда и Бадра изрядно уставал, и, не выдержав, сам набрасывался на отца: кто же так работает, до упаду, как будто нет – потом, нет завтра, все кончается сегодня! Сам отец не отдыхает и ему не дает! Послушать его – так ничего нельзя переносить на завтра, все надо делать сейчас, срочно и безотлагательно.

Многие о них говорили, что они ненасытные к работе. И несмотря на то, что они никогда никому не сказали обидного слова, их тихо презирали. Больше было таких, что о них отзывались нелестно, чем тех, которые хорошо говорили об отце и сыне. А так посмотришь – люди частенько восхищались законченным бездельником, который, в самом нарядном из своей одежды,

гарцевал при каждом удобном поводе... За таких и с большей охотой отдавали своих дочерей.

Пока что сами они были свежие, неуставшие, топоры хорошо заточены – и нетолстые длинные поленья, перебитые одним ударом топора, гулко падали на землю.

– Для господского дома я сам буду рубить отдельно, – сказал Базала, когда уже дошли до отборных, сухих стволов. – Они капризные, не надо давать повода...

– Ну и хорошо! Я, например, так, как для себя, для чужих не умею делать, особенно для них...

– Замолчи! – сердито прикрикнул Базала. – Все вы такие, юнцы. Пока еще не умеете хорошенько затянуть пояс на штанах, а воображаете себя героями! Я это по себе знаю... Потом только понял, что думать так – тоже нет смысла, а высказывать вслух – опасная глупость. Если они невзлюбят тебя, ничего не зачтется, сколько бы добра ты им ни сделал прежде. Не лучше ли повинность свою исполнять вовремя, без осложнений...

– Все равно, спасибо не скажут! – вырвалось у Бадры. Он сейчас вспомнил о Мсоусте, и казалось, что тот говорит его устами.

– Ты что, не с той ноги встал сегодня? Хватаешь, что ни носит по ветру! – не на шутку разозлился Базала.

«Может, действительно, ветер принес эти слова от Мсоуста, чтоб они стали его, Бадры, словами...»

Потом они долго работали молча, все больше втягиваясь, только слышали дыхание друг друга. Когда они бросали дальше, на ровное место, готовое тяжелое полено, их легкие выговаривали – «хо-опп», «хо-опп». Сначала словно холодным ветерком повеяло меж лопатками, потом пошел пот; чувствовалось, как рубашка становится влажной, потом мокрой, а потом уж покатились капли по всей спине. И на лице высыпало крупными каплями, потом потекло, и они вздохнули свободнее и свежее. Но через некоторое время пота уже стало в избытке, его поток закрывал поры, и приходилось смахивать его ладонью.

С Бадрой происходило что-то такое, чего он не наблюдал за собой: он все больше и больше втягивался в работу, но орудовал топором не как обычно – с любовью, как-то даже щадя дерево, – а с яростью, словно рубил он не дрова, а врагов. Поленья бросал как тяжелые копья – и попадал точно на место, куда прицеливался. А самые тяжелые копья он поднимал двумя руками и размахивался с такой силой, будто собирался разнести ворота вражеской крепости. Жилы на руках вздувались, и уже привычное «хо-опп», которое издавали его легкие, звучало как боевой клич.

И пока он действовал так, не мог как обычно думать, ни одна мысль не задерживалась в голове. Затем как-то сам собой этот воинственный подъем утих. Бадра вернулся к привычному темпу. И сразу мысли появились в голове – самые мирные: действительно, почему не воспользоваться тем, что говорил отец... поедет к братьям матери, сколько уж он их не видел, соскучился. Новая одежда... нет, он ничего больше не наденет, пока Майяна

не сошьет ему новую черкеску, как Мсоусту. Хотя сейчас не время с такой просьбой к ней подходить... Ей тяжело. Но она сама говорила, сама и догадается...

При мысли о Майяне у него на сердце светлело, но вместе с тем это сопровождалось какой-то болью, происхождения которой он никак не мог понять. Он догадывался, как она страдала по Мсоусту и как должно было быть сейчас ей тяжело. Но его боль была отдельно от всего этого и старше всех этих последних событий.

У него была одна, как он думал, нехорошая привычка: как только он увидит, что кто-то заглядывается на Майяну, настроение сразу портилось, и более того, он начинал злиться на девушку. Единственный человек, чей взгляд на Майяну не возбуждал его злости, был Мсоуст. Но Мсоуст так просто, и тем более часто, ни на кого и не смотрел, в том числе на Майяну. Когда же она страдала оттого, что Мсоуст будто бы не замечает ее, чужой взгляд, задержавшийся на ее лице, мучил Бадру еще больше, чем обычно. Каждый такой взгляд казался ему кинжалом, вонзившимся в него самого. Он был такой крепкий – но сколько же кинжальных ударов он мог выдержать!

Вспомнил об этом, и опять в нем родилась такая ярость, что как комья земли швырял тяжелые поленья, мысленно метя в этих пожиравших ее взглядами. Он боялся, что отец может что-то заподозрить, и исподтишка глянул на него, улучив минуту. Но Базала тоже бросал словно бы такие же легкие комья земли, бил, крушил, как стенобитной машиной, ворота вражеских крепостей другими, еще более тяжелыми поленьями.

Да, дела Мсоуста обернулись наихудшим образом, думал Бадра, и так уж не могли переносить его, а сейчас он сам дал повод. Все удивляются, почему после случившегося в тот день не примчались тут же стражники и не осаждают сельскую канцелярию, как обычно это бывало. Верно, Анчаа придумывают какой-то хитрый, коварный ход, но кто может знать их намерения.

Что будет, что будет с Майяной! Защемило сердце. Боже всемилостивый, убереги Мсоуста от самого страшного, пожалей Майяну...

Еще через какое-то время весь мокрый от пота Бадра заметно устал. Чем больше чувствовалась усталость, тем больше начинал злиться. А Базала молчал и упорно продолжал работать, не убавляя и не прибавляя темпа.

И не предложит передохнуть...

Когда он так начинал уставать, появлялось желание курить. Табак он всегда носил с собой, но при отце не дымил и не решался открыться. Сам Базала в редкие минуты отдыха, когда сидел в ожидании завтрака или ужина, иногда потягивал свою самодельную трубку, но работая не курил, даже не брал с собой табаку.

Злился Бадра в такие минуты страшно. Это удивительно было и для него самого. Как будто они, скажем, охотятся вдвоем с отцом – и будто отец хочет перехватить то, что облюбовал и к чему долго примеривался сын.

Это могло быть отголоском древнего инстинкта борьбы за власть еще в семейно-родовом сообществе. Далеким отголоском в крови, в самых древних

ее струях, тяжелого соперничества, того, что в древности необходимой ступенькой вело к завоеванию места предводителя. В таких случаях жилы от напряжения натягивались струной...

Барахтаясь в этом непонятном наваждении, похожем на недобрую зависть, Бадра вдруг почувствовал на своем затылке что-то холодное, металлическое – от неожиданности он даже не смог резко поднять голову. Просто вздрогнул всем телом и замер, окаменел. Страшная догадка поразила его.

– А ну-ка брось свой тупой, как ты сам, топор! – услышал он голос, который не раз заставлял его ненавидеть себя, свою жизнь, свою беспомощность... голос, при воспоминании о котором мерк даже самый счастливый день... который оставил на сердце шрам – так раскаленным железным прутом выжигают шрам на дереве...

Когда он слышал, что еще кто-то ушел в абреки, – и в детстве, и позже, и сейчас все внутри у него холодело. Они были разные, абреки. Были неопасные для всех остальных людей, кроме их личных врагов, были даже такие, которые защищали беззащитных. А когда ушел в лес этот, люди сказали: что, мол, поделаешь, любая собака может взбеситься.

Будто умывали руки: раз собака взбесилась, то это уж не наше дело. И он сам считал так же.

Топор выпал из его рук. Он едва успел взглянуть на отца: старик стоял ошеломленный, на мокром от пота лице – ни кровинки.

– Что это ты, дад* Манча, в чем же мы несчастные провинились? – с усилием выдавил из себя Базала, совершенно чужим, незнакомым сыну голосом. Руки, которые только что с силой бросали тяжелые поленья, будто разбивали ворота вражеской крепости, повисли беспомощно, как плети, из них тоже выпал топор. Перед таким чудовищным бесчестьем, запретными наглыми приемами – он был бессилен.

– Ах, ты не знаешь, в чем провинился? Да-да? Ха-ха-ха! – голос Манчи был страшен опустошенностью, освобожденностью от всякой совести. – Ты повинен в том, что сам появился на свет, да еще и не останавливаясь на этом произвел себе подобного, вот этого ублюдка! Понял теперь?! И ты не должен был родиться, и произвести такое сокровище не должен был!.. Никак не могу смириться – не по душе, сильно не по душе мне это! И пришел вам сказать об этом – только и всего – язык чешется, руки чешутся, имею желание почесать. Потом с неделю буду спать спокойно.

– Насколько я знаю, мы никому зла не сделали... и тебе, дад, Манча... – поникшим, растоптанным, смертельно усталым голосом изъяснялся Базала.

– Ты еще смеешь произносить мое имя?! – заорал Манча. – Или хочешь, чтобы горячим свинцом залил горло этого твоего ублюдка?! А то все время по его горлу течет поток горячей мамалыги – пусть попробует, какой вкус у свинца. Голову подними, подними, а ну-ка, ну-ка, не стесняйся, не ломайся, как невеста, – он нажал дулом, повернул голову Бадры к себе.

Бадре сделалось видно, что круглый живот Манчи перепоясан патронташами. Взгляд притягивал тот из них, который был щербат, как рот

Гуатаса, которому в бою пулей выбило зубы. Патроны, которых не хватало здесь, видимо, уже были в магазине винтовки. Что нужно для того, чтобы оборвать так громко именуемое – жизнь? Один вершок: растянутая на вершок пружина сжимается – и все... Ноги у Бадры подкосились. В глазах мелькали только остроносые пульки, которые покоятся пока под стволом винтовки, все остальное – и отец, и стыд, и все, о чем он думал до сих пор, – исчезло. Весь покрылся холодной испариной, лес вокруг и ясное небо над ним вдруг стали ему казаться багровыми, как человеку, отравившемуся диким медом (с ним это случалось).

А дуло винтовки все больше нажимало на гортань, он стал задыхаться. Из-под глаз начали вылетать бабочки, но не такие, желтые, которых они видели сегодня, а огненные и мелкие.

– Видишь, какой воспитанный твой ублюдок, он стесняется, как красная девица, не открывает глаз... – под белыми ресницами бегали белые свинячьи абсолютно равнодушные глазки Манчи. Рыжая борода словно пылала пламенем. И говорил он, словно брезгуя своими же словами, выплевывал их.

А Бадру охватил животный ужас – если б мог, он взревел бы не своим голосом. Бабочки вылетали из его глаз пригоршнями пуль – уже совершенно пылающие.

– Может, он желает подарка, как невеста, за право посмотреть на ее лицо, – словно из преисподней слышал он голос, затеявший с ним эту страшную игру.

– Открой, дад, открой... – услышал он тоже будто издалека голос отца – и слабеющим сознанием уловил, что отец внутри, в душе – плачет. Но бабочки, которые вылетали из его глаз, вдруг сделались черными и как черные тучи закрыли небо, свет померк, и он рухнул наземь.

– О-о, несчастная моя старость, несчастная!.. – застонал Базала и сделал шаг к сыну.

– Стой! Ни с места! А то так омрачу эту несчастную твою старость, что все теперешнее покажется игрушкой. – Манча кинул брезгливый взгляд на Базалу. – Старость... И в старости и в молодости был дерьмом. Единственное достоинство, что пожирал каждый день по несколько двухэтажных мамалыжных кусков... Вот и твой ублюдок приходит в себя... отчего же он у тебя такой слабенький, а с виду целый буйвол... – брезгливо выплевывал Манча свои слова. – Открывает глазки... Где это он? Он обычно спит у ног своей кривой матушки, а где же теперь?! Может, все ему приснилось – такой страшный сон? К чему это может быть, такое сновидение?..

– На сегодня с нас достаточно, дад, Манча... – выговорил Базала. – Отпусти нас, пойдем в свою хижину...

– Кому я говорил заткнуться, ты, старая развалина, мамалыжная утроба! – Манча дулом винтовки приподнял голову валявшегося под ногами Бадры. – Что ты сегодня поел на завтрак, молодец? Может быть, откроешь секрет, чем тебя кормит твоя кривая мать, что ты такой пухленький, кругленький! Чем это вы откармливаете этого своего борова, что на шее у него сала на два пальца? – обратился он к Базале, и бешено забегали его свиные глазки. – И

если не секрет, для чего вы его откармливаете, не зарезать ли на поминках Анчаа?

Базала застонал.

– Если залить ему горло свинцом, он совсем завоняет. Да они уже завоняли – ф-фу! – там у них в вонючем чреве по котлу мамалыги. Начнут лопать, остановки не знают, если не отогнать, как собаку от кормушки, палкой от котла... начнут ишачить, тоже остановки не знают!..

– В чем мы вам не угодили... – уже не страх, а отчаяние было в голосе Базалы.

– Я уже говорил – в том, что появились на свет! Вы не имеете права жить на земле, по которой я хожу! Должны сгинуть! Все равно, не дам вам на ней жизни!

– Да, лучше было б, чтобы мы не появились на этом свете, но, видно, Богу так было угодно...

– Не Богу было угодно, а твоему вонючему отцу... Проснулся однажды среди ночи, наверняка матрац был под ним тоненький и сухой, как шкура козы, отлежал кости, вот и решил почувствовать под собой что-нибудь помягче, и полез на свою кобылицу...

Базала застонал в отчаянии.

– Перестань, а то штуку эту, чем ты издаешь звуки, вырву и в руки тебе отдам, – плевался брезгливо Манча словами.

Передернул затвор и приставил дуло к сердцу Бадры. Тот машинально сел на земле, потом выпрямился, как будто подставляя грудь. Видимо, не было больше силы переносить. Все было лучше, чем эта пытка! Там, где его, этого, нет – там тихо, там рай!

Базала уже и стонать не мог, он весь обмяк и поник.

– Ты посмотри-ка... – Манча отвел глаза от Бадры, уперся взглядом в Базалу. – Он гордый, изволит молчать. Ты мне сейчас покажешь, насколько хватит твоей гордости! – Дуло своей винтовки направил на Базалу... – А ну-ка спусти свои вонючие штаны, а ну-ка! – взревел он. – Покажешь ему, своему собачьему ублюдку, то, чему он обязан появлением на этот свет. Спусти, тебе говорят! — крикнул он, выпучив глаза.

– Нажми, нажми курок, Манча, ты прав, мне уже незачем жить! – Базала сделал шаг к нему.

– Ты это что, вздумал перечить мне, старая развалина! – Манча рванулся вперед.

– Стой! Хватит! – раздался сверху, из гущи деревьев, чей-то властный голос. Манча застыл. Посмотрел туда нехотя, смахнул с лица пот.

– Ох и устал же я, – сказал он громко, видимо, чтобы слышно было тому, кто крикнул ему сверху. – Но хотел бы я увидеть, можете ли вы пройтись... – Он глянул на сына и на отца. – Ни одного шага не сделаете, потому что наложили полные штаны! Ха-ха-ха! – он закатился смехом.

Сверху звонко щелкнули затвором.

– Иду... – ответил на это Манча раздраженно. – После таких трудов не грех и передохнуть. Прощайте, голубки! – и, понизив голос, зашипел змеей: –

Я далеко не уйду. Сверху буду наблюдать – возьмете на плечи побольше дров и понесете без отдыха, в противном случае, имейте в виду, на этот раз не надейтесь – одному из вас, по моему усмотрению, вместо дров придется другого бездыханного нести. Столько дров понесете, чтобы колени подкашивались, гниль вы поганая! – Он закинул винтовку за плечо и не спеша, с развальцем полез наверх. Везде стало тихо, словно прошел ураган, и не слышно было ничего кроме его шуршащих шагов по прелой листве. Все, казалось, в страхе и унижении притаилось... застыли в оцепенении отец и сын, побитые ураганом, оплеванные, униженные, растоптанные.

Базала так и стоял некоторое время, потом начал оседать, пока не опустился, не повалился наземь. Бадра лежал, не открывая глаз, как убитый. И то, что невольно поднималась мощная грудь, выдавая существование того самого главного – души, жизни, – ради сохранения которого было только что пережито столько постыдного страха, унижения, – сейчас казалось потерявшим всякое значение и смысл.

Когда немного пришел в себя, Базала посмотрел на оставленную работу. Но сейчас он ничего не хотел, кроме как поскорее убраться отсюда и никогда больше не появляться здесь, на этом словно проклятом, заколдованном страшным чудовищем месте. Бадра тоже зашевелился, потом его руки стали шарить по земле, круша, ломая все, что попадалось под ними. Базала молча смотрел на эти руки. И вдруг правая ладонь Бадры, давя листву, мелкие веточки, на что-то наткнулась. Он вздрогнул как ошпаренный, отдернул руки и резко приподнялся, сел. Ладонь его была в крови. Только теперь он заметил, что ненароком разрушил мышиное гнездо. И во все стороны, шурша по листве, убегало множество маленьких сереньких мышек.

«Сколько же их, горемычных...» – подумал Базала. У разрушенного гнезда были рассыпаны горсточка орехов, подсохших, сморщенных лесных яблочек, немного кукурузных зерен.

Бадра брезгливо посмотрел на кровь на руке, стал отчищать сухой листвой, потом принялся тереть ладонью по живой земле.

Базала встал и подошел к сыну.

– Встань, дад, встань... – сказал он, и в его голосе не было ни просьбы, ни приказа. – Пошли домой. Не переживай, что же можно сделать, если этот склон начнет оползать и обрушится на тебя...

Бадра встал.

Базала начал поднимать поленья и брать на плечо. Он поддевал их ногой, а потом наклонялся и подхватывал руками. Бадра стоял, не выказывая никакого желания помочь отцу.

– Возьмем дрова, нам не так уж далеко, и отсюда больше под гору, – сказал Базала голосом, в котором не было жизни. – А то этот собачий сын на все способен, что ему стоит...

Бадра все стоял безучастный.

– А ты возьми одно, но толстое и тяжелое, удобнее будет... – Базала, не оборачиваясь, начал спускаться, нагруженный горой поленьев.

Бадра тоже наконец стронулся с места. Выбрал самый толстый и тяжелый ствол из заготовленных. Когда он поднял свою ношу и положил на плечи, его качнуло, под неимоверной тяжестью колени чуть не подкашивались. Начал спускаться вниз по склону, и ему показалось, что откуда-то из преисподней в такт шагам доносится: трус, трус, поделом тебе, поделом... И тут он вспомнил, что тогда еще, когда сверху раздался голос, ему показалось, что это голос Мсоуста.

Этого не может быть, подумал он неуверенно.

Это совсем доконало его и без того истерзанную, растоптанную душу. «Поделом, поделом, поделом тебе...» – бормотал он уже сам, не узнавая собственного голоса.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРОЩЕНИЕ ЗАБЛУДШИХ

Что ты увидела, вещая птица анапш,
Что так долго привлекает твой взор?
Если невыносимо суров взгляд самого пространства,
Пусть небо тебя обдаст своим целебным дыханием.
Что за тревога застыла во взоре твоем,
Вещая птица анапш?...

МЗАЛЕЙ И ДРУГИЕ

У сильного двери заперты,
У слабого – открыты...
Заговор от дурного глаза

В господском доме Анчаа в эти дни было полно народу. Собрались те, кому поручено подготовить большой торжественный стол в честь приезда Мзалея – множество людей день и ночь занимались устройством праздника. Ночами уже случались заморозки. Погода могла перемениться внезапно, потому-то и спешили устроить этот большой стол – пока держалось тепло.

Затея с праздником принадлежала Алме. Из сыновей от первой жены (чтоб сгинул с лица земли весь их род!) никто не желал торжества, особенно Умар, но когда отец высказался определенно, не стали настаивать на своем.

Алме тоже не так уж нужен был этот стол, не ко времени выходило, но он хотел еще раз проверить, удостовериться – и для себя, и для всех иных претендентов на главенство в имении, – что он, Алма Анчаа, пока еще хозяин здесь, и его слово – закон. Помимо этого, он считал празднество полезным в том смысле, чтобы не было пересудов, не стали бы гадать разные толкователи да сплетники насчет того, почему явно холодно встретили в имении сына, столь долго отсутствовавшего, и не сами ли родные обрекли

его на вроде добровольное изгнание. И еще, конечно, чтобы угодить госпоже и успокоить себя, а может, обмануть самого себя...

Он больше всех боялся ухудшения погоды. Ночью просыпался два-три раза. Как плохо засыпанные угольях в очаге, из золы неба просвечивали редкие звезды. Он возвращался к постели, не зная, что и предположить. К старости он вдруг стал чувствовать и переживать, что упустил многое... вот и природу знал плохо, ее повадки – не мог предсказать по самым обыденным приметам погоду на завтра... и так же как природу – не изучил людей, не знал подхода к ним. Его огорчали провалы, пустоты, которыми изобиловала его жизнь в прошлом и настоящем, а ведь в свое время он почитал их необходимыми атрибутами, преимуществами барской жизни.

Он вдруг просыпался среди ночи, смотрел в ту сторону, где стояла кровать госпожи. Ни звука – она словно растворилась в своей постели. Она всегда была такой. Даже в свои молодые годы, когда он, изнемогая от страсти к ней, обнимал ее, она, будто в обмороке, оставалась безучастна и недвижна.

Неужели она всегда такая отрешенно-спокойная, задумывался он еще тогда, впрочем, не заговаривая с ней об этом, чтобы не обидеть ненароком... неужели ее не тревожит хоть какой-нибудь грех, если не перед людьми – то перед Богом?

А ему, когда в последнее время два-три раза в ночи просыпался, чтобы понаблюдать за ней и за небом, всегда хотелось подойти к ее кровати, сесть рядом, коснуться рукой там, где размеренно бьется ее сердце, где еще сохранились бархатистость и аромат, и тепло... не тепло даже, а жар молодости. Но уже не мог себе этого позволить при ее безответности, теперь он боялся обидеть ее и охладить к себе еще больше. Он видел: плохо ль, хорошо – но на старости лет у него никого не оставалось кроме нее. Все остальное – что ж: пока, конечно, он для виду обозначал, но на деле-то уже давно разобрали, разнесли – и власть, и богатство, и земли, и почет, если что-нибудь такое по-настоящему и было.

На его же глазах уставшее, постаревшее его тело разрушало время, как черви – гниющее дерево. И потому, какие бы у него прежде ни были к ней претензии, сомнения, – сейчас он ожидал и требовал от нее только одного: он должен был верить, что она, понимая свое положение, как и он, – расположена к нему. По правде, она давно уже и не отличалась от него в самом главном: никого у нее под этим небом уже не было. Она была одинока. И дружба с этой тронутой сиротой – просто вынужденная, от пустоты. Даже и приезд Мзалея не отделил ее от него, как он опасался. Наоборот, ему показалось, она словно бы подалась к нему, будто ища у него защиты от чего-то, от кого-то...

Это трогало, обнадеживало, но с другой стороны – теребило и заново пробуждало его сомнения, догадки. Сейчас, конечно, даже если эти туманные догадки вдруг оправдались бы, он бы, пожалуй, ей простил и сам стерпел бы... но только если б это могло оставаться между ними. Однако в

том-то и дело: что бы ни случилось – остаться оно лишь между ними, обойдя всех остальных, просто не могло – так все было переплетено, перемешано.

Он не знал, как себя вести с Мзалеем. Он заранее понимал, что так же, как и к остальным своим сыновьям, и к этому у него не могло быть особых чувств. Сейчас, когда Мзалей приехал, Алма хотя и не подавал вида, однако не имел никакой охоты скорее встретиться и поговорить с ним. И что самое удивительное, госпожа, против его ожиданий, держала сына на том расстоянии, которое было бы оправдано лишь в случае, если сын все время находился возле нее. Алма, конечно, знал, что в ней тоже была в избытке та потомственная физическая и душевная лень и апатия, которые являются признаками не процветания, а увядания, и что это достигает и касается и такого чувства, как родительское. Если по-настоящему выразить подлинные чувства к вернувшемуся, потерянному было сыну, то и дальше надо было бы следовать, соответствовать этому уровню – что требовало бы ее всю, по крайней мере на какое-то время. А такое было, по-видимому, ей уже не под силу. Легче было нести бремя супружеского внимания, находиться подле старого мужа, не давать ему волноваться. Ему казалось, что она решила именно так построить свои отношения с ним и с Мзалеем.

Каждый день, любой приходивший в господское имение по тому или иному поводу, особенно женщины, – все начинали с тревоги: очень уж непонятно вела себя погода. Одни начинали вспоминать, как все лето, залепив широкими черными полосами зеленую траву, ползли муравьиные орды в направлении гор, а от гор к морю спускались гигантские стаи каких-то неизвестных птиц. Одни говорили, что климат окончательно переменился, что холодный воздух с севера научился подниматься вверх и, перелетая беспрепятственно горы, оседает здесь. А другие добавляли, что горы разрушились и гигантские трещины дали: оттого, мол, с одной стороны северный холодный воздух дает утечку сюда, а здешнее тепло – туда. Потому, объясняли они, там будет жарко, а здесь наступят холода. Одни говорили, что ожидается много снега, другие – что небывалые морозы. Кое-кто доходил и до обобщений – связывали происходящее с вселенским грехом: оттого, что на этой стороне Кавказа произошло столь тяжкое бедствие, потрясенные горы потеряли способность противостоять северным ледяным ветрам.

Мзалей все больше застревал среди женщин, собравшихся со всех концов уезда по случаю его возвращения. Они его загоняли или в залу, или в комнату матери. На него сыпались бесконечные вопросы: интересовались, каков образ жизни там, где он прожил столько лет, что любят, что ненавидят там люди, что они думают о сегодняшнем мире, а также и насчет конца света, и о комете Галлея, разумеется, – сколько она уже прожгла пространства своим огненным хвостом, и еще о том, известно ли что-нибудь новое о жизни на том свете... и так до бесконечности.

И он рассказывал с утра до вечера, пробиваясь сквозь русские, латинские слова, которыми невольно густо сдабривал свою речь, останавливаясь при

каждом таком слове, стараясь понятнее перевести его, объяснить. К вечеру он не только уставал, но, хотя и старался не показывать, становился крайне раздражительным. Он догадывался, отчего это: он так и не почувствовал вкус, запах материнского языка, трудно, без свободы говорил, не получая от слова и звука достаточного удовольствия.

Там, где он находился прежде, когда ему становилось невтерпеж, когда скучал по языку и надо было выговориться, он шел туда, где выстроились в ряд, как белые газыри, белоногие березы. И начинал вслух разговаривать сам с собой. Слова, звуки родной речи приятно обжигали гортань, пьянили, как чистый, звонкий горный воздух. Белые холодные березы не были привычны к таким звукам, они покорно внимали только хрупкому своему северному небу. Его это вполне устраивало, что здешняя природа мимо ушей пропускала его речь, – она никому больше здесь не нужна была, никто не слушал, не понимал – она была только его. Глаза горели от выступавших горячих слез.

Сперва он не замечал, но потом стал понимать, что этот его островок – язык – защищал его от смертельной тоски, от звенящего одиночества, от однообразной монотонной жизни. Когда он окончательно в этом убедился, удивился кажущемуся противоречию. Как березы всецело заняты своим северным небом, так и он как никогда становился и оставался самим собой, лишь изъясняясь языком с привкусом материнского молока; всему, что он вычитал в книгах, знал через другие языки, чертам, отличавшим его личность среди других, – всему опора, всему корни, пуповина, связывающая с жизнью, – язык его родной.

В начале было слово...

Но слово, язык не удалялись, оставив его наедине с самим собой. И этот лес холодных берез, и все остальные земные узы – все постепенно отпускало, освобождало его: ему казалось даже, что он чувствует, как становится свободнее отекшим запястьям, лодыжкам, будто после кандалов, – и он оставался совершенно один... Такой, свободный, он сразу сходился лицом к лицу с небом, и возносящим крылом, соединяющим мостом становились слова, речь, что сохранила привкус материнского молока. То, что родной язык значил для него, ничто другое не могло значить.

«Господи... – говорил он, затянутый, как в водоворот, глубиной и силой неба. – Господи...» Для неба что-то значило его слово, небо понимало его язык!

Очень долго язык, которым он разговаривал сам с собой, был для него и матерью, и отцом, и родиной, и богом.

Но проходило время, все это постепенно ослабевало, пропадал вкус слов и звуков, приятно обжигавших гортань. То есть выходили из гортани звуки, быстро занимали нужные места, становились словами, фразами, но они уже не лились как вода в пересохшее горло, а так, без жажды, по глоточку, словно из уважения лишь к принесшему стакан... И речь уже не могла защитить его, сводить его с самим собой и с небом, не была уже для него островком, где он отводил душу.

В то время, когда и внизу, на земле, и наверху, в небе, все сделалось чуждым, ему было очень тяжело, он не знал, куда деть себя. Но Бог не оставил, хотя вроде прямая связь с небом через слово прекратилась: Бог ему приготовил земное чувство, которое надолго всецело поглотило его.

Сейчас Мзалей надеялся, что если вернется вкус языка – все вернется вместе с ним. Он надеялся, что стоит ему ступить ногой на эту землю, как, подобно Антею, вернет силу, которую земля вложила в него когда-то. Но оказалось, что не так-то все просто. А вдруг то, за чем он вернулся сюда, уже невозвратимо? Может, таковы законы природы – мстят за себя сами? И для него теперь и в будущем – и эта земля как земля, и небо как небо – нет уже ничего особо родного?

Если это действительно так, нет страшнее одиночества, которое ждет его.

С того дня, как он вернулся, все эти вопросы только и занимали его. Но после бесконечных пустых разговоров он чувствовал себя так, будто по гортани целый день гулял ветер.

А ночью, когда он ложился, странное чувство овладевало им: ему казалось, что дальше кровати нет никакого пространства, словно там все растворилось. То время, когда здешнее пространство было близко, позволяло войти в него и потом все время чувствовать его, давно ушло, и это место пустует.

Когда он сегодня утром проснулся, не сразу понял, где находится. Сознанию, затуманенному сном, казалось, что это еще – там. Но когда открыл глаза – увидел, что свет, который шел из окна, был особым: более светлый, легкий, веселый, и был удален и отделен от плоскости тихих лесов, блеклого неба и бесконечных степей. И воздух, который струился из приоткрытого окна, был другой: в нем не было жгучести морозной и снежной, – удивительно свежий, он был настоян на других запахах, нельзя было спутать...

Некоторое время он лежал закрыв глаза, и к нему приходили видения тех времен, когда тоской по родине были забиты все его сосуды, как загустевшей кровью: места, где он рос, где проходило его детство... родник в расщелине скалы – и как он еле-еле шевелит языком там, где начинается, и говорит по-своему – родниковским языком, или языком народа Родник, а ниже он уже несется неудержимо, заставляет разговаривать прибрежные утесы, потом заставляет работать мельницу... зеленая густая трава на широком дворе, огромная задумчивая липа, – и как под ней всегда кто-то есть – стоит, сидит, или их много... и как один из них, он помнит, однажды выкрикивал слова – будто стрелял... И доносилось из мира душевного покоя и весны пение дрозда...

Запах земли, дыма... Дорога проходит близко, скрипят арбы, рысят верховые... Запахи полей...

Ему не хотелось просыпаться, выходить из этих сладких видений. Все же пробивалась боль: сколько может продолжаться видение... а потом? Обратно нет хода, как говорится, все мосты сожжены, а здесь то, к чему он так стремился, его не принимало... еще не признавало...

Он опять открыл глаза, окончательно проснувшись. В комнату залетали аппетитные запахи. Он вспомнил, что должен был подняться пораньше: сегодня ответственный день, приезжают именитые гости издалека. На сегодня назначено застолье в его честь. Событие не льстило самолюбию, он начисто забыл такого рода застолья, но любопытно было все это заново посмотреть.

Он не ленился рано вставать, но не хотел встречаться, знакомиться все с новыми людьми, проводить с ними время с утра до вечера. Конечно, он старался выдержать до конца, казаться веселым, довольным, будто все это доставляет ему радость, но к концу уже становилось невмоготу, он чувствовал, что начинает повторяться, сбиваться.

Скинул одеяло, сел. От усталости он спал хорошо, выспался и отдохнул. Встал, потянулся, глянул в зеркало в полутемном углу. И даже вздрогнул. Ему показалось, на него смотрит не то лицо: не привычно знакомое, с всегдашней печатью тоски и ностальгии, лицо человека, разлученного со своей землей, страдающего за чьи-то грехи, – увиденное и оставшееся там, в чистом зеркале на бревенчатой стене. Он почувствовал себя, словно встретил когда-то знакомого человека – и начисто забыл, как его зовут.

Само зеркало было мутное от старости (здесь все зеркала были мутные).

Он исчез из того чистого зеркала, а в этом почти не обозначился.

Сразу же отошел, не стал больше глядеть. На стуле висел его халат, в котором т а м он брился, приводил себя в порядок, – т а м, где благоволил ему внешний мир, не тревожил без его желания, не заглядывал к нему, кроме разве прислуги, раз в день. Но здесь этот халат не наденешь. Здесь сразу надо было одеться до конца.

В тот же день, как он приехал, мать сказала, что ему надо сшить черкеску. У нее для этого случая был припрятан отменный материал. Потом, видимо, в суете позабыли, никто больше не заводил с ним разговора.

А ему очень хотелось надеть черкеску. Ему казалось, что в его положении имеет особое значение и одежда.

Т а м, именно в самом начале, он без черкески и шагу не ступал. Но со временем, когда он кое-как пришелся, соединился с тем обществом, был принят... несмотря на то, что черкеску носили тогда многие – и генералы и офицеры... когда все же среди других его выделяли, подозрение насчет своей экзотичности сильно его раздражало – и ему пришлось отказаться от любимого одеяния.

Уже он был как волк, взятый из лесу и прирученный, – размякли жилы, отяжелели кости, и не оставалось в нем, в его теле той физической природной одухотворенности, при которой черкеска сидела на нем по-особому, тоже одухотворенно. Без этого черкеска будет на человеке висеть как увядший табачный лист.

Он натянул брюки, накинул пиджак, приоткрыл дверь, ведущую в залу. Там, чуть подальше от камина, в котором жарко пылали без пламени уголья, за столом, подперев голову рукой, задумчиво сидела мать. Она вздрогнула, посмотрела в его сторону невидящими глазами, взгляд еще пребывал в том

далеке, куда ее увели раздумья. Когда же взгляд вернулся и глаза стали ясными, вдруг ее лицо заполнила нежная улыбка, какая бывает только у матерей. Она приготовилась, чтобы встать, а сын быстро подошел к ней и, осторожно положив руки на плечи, усадил ее обратно. Когда он близко увидел ее лицо при утреннем свете, оно ему показалось более постаревшим и уставшим, нежели вчера, – ему сделалось грустно.

Конечно, трудно было примириться с тем, что она уже сдает, ведь он ее оставил почти что молодой.

Что такое жизнь, подумал он, – миг, один зевок, поездка на скором в один конец – за окнами мелькает отпущенное тебе... Тем более, когда человек не занят делом, трудом – время его тратится и уходит как льющаяся вода. Не успеет опериться потомство, как солнце родителей безостановочно идет вниз, к закату. А к закату родителей – и солнце их потомков уже кренится, уходит с зенита, а глядишь – завтра уже вовсю летит к черте... и так всегда.

– Хауйда-ханум... – засмеялся он, вспомнив, как, по ее словам, ее называли в детстве.

– Ты не забыл... – чуть запрокинув голову, она посмотрела на сына, и улыбка заполнила морщинки под глазами, обозначилась в уголках рта.

– Мама... – сказал он. – Прошу тебя, говори мне открыто обо всем. Я от всего отвык... иногда тебе может показаться, что я тебя не понимаю или стал равнодушным... – он взял ее маленькие руки, которые были моложе лица, и поцеловал их.

– Ты же знаешь, у меня нет в сердце места для малейшей обиды на тебя... в моем сердце ни для кого нет места, кроме как для тебя, – она погладила его руки, на усталых глазах заблистали усталые слезы... она быстро обежала все его черты, отыскивая в них то ли позабытое, то ли претерпевшее изменения, – и так же быстро отвела глаза.

– Мама, отец... Где отец – со вчерашнего дня я его не видел? – вдруг спросил Мзалей. – Я даже не знаю, можно ли мне самому его найти...

Она насторожилась и не сразу посмотрела на него, а потом, когда подняла глаза, он увидел в них застарелый страх – не могла скрыть, даже если очень хотела.

«Чем она так напугана, – сердце у него сжалось, – и чья это работа... это ведь не только то, пережитое в юности...»

– Здесь он, куда ему деться... – выговорила она через силу. Губы ее тоже не слушались, через силу соединяли звуки в слова.

Он заметил, как она часто и быстро отводит от него взгляд.

Или мне кажется, подумал он. Она, похоже, просто затравлена... Но больше я никому не позволю... Она должна успокоиться, или хотя бы почувствовать теперь облегчение.

Чтобы не посмотреть на него лишний раз (не хочет, чтоб он страдал от ее затравленности?), она устремила взгляд через дверь на балкон, на струящееся сквозь резьбу колонн-подпорок многоглазое небо, синевы которого еще не коснулись лучи солнца.

– Мама, здорова ли ты?

– Здорова, здорова, клянусь тобой... Просто постарела... – ответила она скороговоркой, не глядя на него.

– Ты так говоришь, будто век прожила...

– Дело разве только в возрасте, мальчик мой, не только от этого стареет человек... Если своими глазами увидеть страшное, когда твоя лучшая часть, вместе с лучшей частью души – на дне моря... – улыбка, заполнявшая ее морщинки, померкла, и глаза заволокло слезами.

– Мама, ради бога... – он не мог видеть ее слезы.

– Но, кажется, не совсем отвернулся от меня Господь наш, целую его золотые ступни... – ее голос дрожал, но она упорно не смотрела на сына. – Мне суждено было вот так тебя увидеть... Одно время потеряла всякую надежду. И... отец твой, – она сделала паузу и как бы вслушивалась в звучание этого слова. – Отец – он тоже очень скучал, страдал... Это он сейчас еще не опомнился от счастья, как и все мы. Ты не забывай его, мой мальчик. Старый человек одинок, и совсем как ребенок – ему и легко угодить, и трудно.

– Какой может быть разговор... – ответил он неопределенно; мучился – но не мог найти в себе сыновнего чувства по отношению к этому человеку.

Как и все остальное, оно тоже где-то застыло во мне, думал он, но должно же зашевелиться, ожить...

– Еще я хотел спросить у кого-нибудь, может у отца, может у братьев, – Мзалей прошелся по зале, – о том, что там такое стряслось в тот день, у церкви. Все говорят об этом, но никто толком не объяснит. Все же, видимо, отцу не стоит напоминать...

– Ни в коем случае! Ни его, и вообще никого об этом не спрашивай, если нужно, отец тебе сам скажет... – она не дала ему договорить. – Зачем это тебе, да и никому это не нужно, нестоящее дело...

– Мне кажется, я его помню, этого парня... Он был младше меня, но все равно повыше ростом...

– Откуда тебе его знать?.. – ему показалось, она чего-то испугалась. – Забудь все это, мой мальчик, дай нам насладиться счастьем встречи с тобой.

– Все же это он, которого я помню...

– Прошу тебя, – повторила она, бледная, почти раздраженно. – Не надо об этом, о нем – тем более, ты понимаешь?..

– Мама, я все это понимаю, отчего на тебе лица нет... Не бойся, что-что, но такт я соблюдаю. – Он подошел, опять взял ее руки в свои. – Все образуется, мы же говорим: не таков ливень, каков гром...

– Так дай мне слово, что нигде не заикнешься об этой истории и о том, что помнишь его, – она тревожно огляделась вокруг. – Даешь?..

– Даю... – он смеясь пожал ее руку. – Даю – и больше об этом не думай!

– Уже одевайся, приводи себя в порядок, мой мальчик, – когда она сделала движение, поднимаясь, он взял ее под руки и почти поставил на ноги. В ней был вес еще не усмирившейся, не ушедшей жизни. – Надо подать тебе умыться. Чахуназ! – крикнула она своим милым ему, бархатным голосом, чуть повернув лицо к двери.

– Я здесь, моя госпожа! – Чахуназ вошла сразу, будто стояла за дверьми в ожидании.

– Дай ему умыться, и быстро, уже пора собираться.

– Сейчас!

– Чахуназ! – окликнула она вдогонку. – Ты сообщила той девушке?

– А-а, Майяне? Она вот-вот будет здесь.

– Ладно, иди.

– Хорошая девчонка, – вдруг почему-то почти кокетливо сказал он. – Майяна – и имя у нее какое! Удивительно, ведь она меня узнала!

– Как – сама тебя узнала? – заинтересованно спросила мать.

– Сама, сама... Верно, слышала обо мне от тебя, вот и догадалась. Она что, часто бывает здесь?

– Часто не часто, но приходит... – мать уже куда-то спешила. – Она хорошая. Отец был из крестьян, но, я тебе скажу, лучше многих дворян. И как она шьет! Черкеску, сшитую ее руками, ни с какой другой не спутаешь, и бурку – то же самое. Мне хочется ей помочь, держать ее в поле зрения. Именно в том, что она видная, юная, хорошая, – и таится опасность... Кто ее защитит – ни отца, ни брата...

– Как это благородно, мама!

– Вот я хотела, чтоб она сшила и тебе тоже черкеску. Я сообщила ей об этом.

– Спасибо, мама!

– Я даже не спросила, может, ты хотел бы заказать мастерам в Акуа? Но уверяю тебя, ни один из них никогда не сошьет как она. Они там привыкли обслуживать купцов, торгашей – представляешь, вообще отсутствует талия.

– На что мне эти мастера, – махнул рукой Мзалей. – Но это не так просто, есть ли у нее время, и кроме того...

– Сейчас уже давно все убрали, и она не так уж занята. Да я и найду, как ее вознаградить. Ах, если я увижу тебя еще и в черкеске, вот тогда окончательно поверю, что ты действительно вернулся! – на этот раз она не отвела глаз, смотрела на него полным материнской ласки взглядом.

– Что греха таить, и мне тоже очень хочется надеть черкеску, натянуть на себя, как говорится, свою настоящую шкуру...

В это время появилась Чахуназ с кувшином, тазом, полотенцем. Госпожа тихо выскользнула из комнаты, словно спасаясь от чего-то.

– У тебя есть подруга, настоящая? – спросил Мзалей девушку, долго натирая руки плохо пенящимся мылом.

– Не знаю... – она пожала плечами.

– А эта, Майяна, – разве не твоя подружка?

– Да как сказать... Я бы, конечно, не прочь с ней подружиться, но она разве пойдет на это... Какой совершенной ее Бог создал, мой господин, правда?

– И тебе грех жаловаться!

– Куда мне... – засмеялась Чахуназ. Все же похвала ей понравилась. – Знайте, мой господин, так, как вы, никто еще со мной не говорил. Извините

меня, барин, но такого как вы из господ я еще не встречала... Вы даже с прислугой как с людьми...

– Чахуназ! – он игриво погрозил ей пальцем, который еще был в мыле. – Ты меня совсем не знаешь!

– Хорошего человека не так трудно разглядеть! – Чахуназ осмелела и говорила бойко. – До вас здесь была одна гостья, и говорит о вашей матушке: не знаю, что бы мы делали без нее...

– Полно, полно! – Мзалей почти оборвал ее. Он не хотел быть посвященным в домашние сплетни с той самой минуты, как шагнул через этот порог. – Я тебе не советую повторять такое кому-нибудь, не надо. Живые люди и ссорятся и мирятся, но главное не в этом...

– Это я только вам, – оправдывалась девушка немного пристыженно. – А так – я знаю, где что, кому что говорить, – это все, чему я в мои годы научилась.

– Ладно, сейчас уже послушай меня, – улыбаясь, он отмывал мыло с рук. Понизил голос: – Ты знаешь этого, о котором здесь только и говорят... Мсоуста?

– А кто ж его не знает? Если б не этот случай... Он, конечно, погорячился. Когда еще он не ушел в абреки, вся деревня, да и все окрестные спали спокойно, никого не боялись – ни абреков, ни всяких проезжающих мимо, никого...

– Это как?

– Никто при нем ничего не смел! Его знали и боялись.

– Одним словом не то Вильгельм Телль, не то Тиль Уленшпигель! – ухмыльнулся Мзалей. – Почему же тогда его многие не любили, чем это объяснить?

– Это оттого, что боялись и те, которым положено было его бояться, и те, которые не должны были...

– О-о, – удивился он искренне. – Чахуназ – ты просто умница!

– Мне Майяну жалко...

– Она здесь при чем?

– Как раз при том...

Мзалей не удивился: раз парень – самый, самый, самый здесь, то, конечно, без Майяны – не обойтись. И она в своем роде – самая, самая, самая...

При всем при том, подумал Мзалей, этот Мсоуст, пожалуй, довольно-таки избалован всеми тут: и теми, которые должны бояться, и теми, кто не должен, но боится: и слава ему, и страх, и почитание, и лучшая девушка...

В это время раздался голос, напоминающий больше рычание. Голос звал Чахуназ.

– Это Умар... – сказала она замерев. – Чтоб...

– Беги, – отпустил ее Мзалей. – Я сам справлюсь.

– Я пришлю девочку, – бросила она убегая.

Пришла девочка лет двенадцати. Вошла, он улыбнулся ей, и она застенчиво опустила голову. Худенькая, длинноногая, в стареньком выцветшем платьице.

Когда он наклонился, умывая лицо, и подставил горсть под прохладный язык воды, льющейся из сумрака медного горла кувшина, его взгляд задержался на руках девочки – с потрескавшейся, сморщенной кожей. Казалось, детским слабым рукам приделали чужие, постаревшие кисти. Он сообразил, что девочка может заметить его взгляд, – и стал быстро умываться. Однако все же еще несколько раз посмотрел на ее руки, на ноги, обутые в очень старенькие, расползшиеся чусты, из кожи домашней выделки.

Он умылся и начал вытирать лицо. Девочка еще стояла и ждала, – видимо, новых приказаний. Вдруг он почувствовал, будто какая-то невидимая рука сжимает горло, мешая вдохнуть, – так бывало с ним, когда он тосковал по родным местам... он вспоминал, как расцветает весной и долго увядает природа осенью, какой дождливой бывает зима – дороги тонут в слякоти, землю разъедают ручьи... и как гуляет промозглый ветер по плетеной хижине-апацхе, как стынут в ночи оставленные деревни, ослепшие, обросшие колючкой, лианами дома, и косой дождь смывает с очага остатки золы...

– Ты чья дочь? – выговорил он, стараясь не показать ей свое состояние.

Ее бледненькое лицо оживилось. Она не ответила, но чувствовалось, что хочет немного задержаться, – как хочет задержаться продрогший человек, оказавшийся вдруг у горящего камина и желающий воспользоваться этим, обогреться. Все дети, которым не хватает тепла рук, сердца, глаз, детское сердечко которых затянуло жесткой, невеселой шкуркой взрослости, – они сразу тянутся к чуть дохнувшему теплу, как мотыльки к свету...

Откуда ей было знать, что он готов перед ней стать на колени, как перед святыней, – чтобы утолить, очистить душу.

На колени он перед ней не мог стать, но ему хотелось что-то ей подарить, как жертвуют перед святыней. Он достал портмоне, вынул оттуда серебряный рубль, осторожно взял ее за руку, чтобы положить на ладошку холодную монету. Она отстранилась, выпрямилась, вся напряглась, лицо снова стало изможденным, с темными кружками под глазами, во взгляде исчезло светлое детское, то, что появилось было, – он сделался взглядом вдовы, потерявшей всякую надежду на будущее и уже смирившейся с этим. Он вдруг увидел, какой она будет лет через десять-пятнадцать, хотя через все это еще сквозило бледногубое детство, – так становится виднее пушок на кожице неспелого плода, сорванного ветром и дозревающего на земле.

Одной рукой она вцепилась в дверь, другую спрятала за спину.

– Извини... – он убрал монету.

Девочка быстро поставила кувшин на пол, подняла таз... отчего-то она испуганно трепетала вся. Только тут он расслышал четкие, ровные шаги – и сразу узнал их. Он лишь по приезде познакомился со своей невесткой, супругой старшего брата. Но Сафия так сумела повести себя, что ему казалось – они с ней уже век знакомы. И пока ему нравилось то, что она по

своей воле взяла как бы шефство над ним. Он понимал, что в какой-то мере сейчас похож на ребенка, который учится ходить, и по забытым местам юности его надо было провести, взяв за руку.

– Ты еще до сих пор здесь, негодница! – сияющее лицо Сафии потемнело, когда увидела девочку, – та вернулась с пустым тазиком.

То, что невоспитанна, не умеет держать себя на людях, темна, отстала – сразу вышло наружу, подумал он с горечью. И – никакого благородства, сострадания от природы... Хоть бы научилась там, внутри себя оставлять эту живую злобу, которая так исказила ее лицо.

– Сейчас же беги к госпожам, обслужи их, а то твоя смерть будет в моих руках! – Хотя вроде и сдерживалась ради гостя, выглядела не лучше базарной торговки.

– Если можно, не обижай ее... – попросил он с болью, но не смея упрекнуть невестку. – Это я ее задержал. Она все мигом сделала...

Девочка затравлено суетилась: взяла чашечку с мылом, кувшин и направилась к другой двери; она хотела уйти поскорее, но старые разлезшиеся чусты мешали...

– Как они все похожи друг на друга, холера их возьми! – Сафия еще злилась, раздувались ее широкие породистые ноздри. – Пока не выведут из себя, пока не повторишь несколько раз, никто ничего не сделает!

– Все же надо жалеть детей, так Бог нас обязывает... – Побоявшись, что она увидит монету, он спрятал руку за спиной, совсем как та девочка.

Вот уж действительно, насколько выше их всех эта девочка, бессловесная, безответная, с постаревшими от непосильной работы руками!

– Жалость их портит, – объяснила Сафия (никогда до ее души не дойдет, думал он, глядя в ее глаза), – даже и для себя перестанут работать. Ногой погладишь брюшко щенка, он и растянется на земле.

– А чья она дочь?

– Эта может оказаться дочерью кого угодно, – ухмыльнулась Сафия. – Да, да, ее мать вечно во вдовах ходит, будто прямо так и родилась вдовой. Полно же, о чем это мы толкуем... Давайте лучше о чем-нибудь приятном... – Сейчас же ее лицо снова сделалось сияющим, как у молодой, жизнерадостной девушки. Она была уже наряжена для гостей, на бархатном платье ее сегодня белел расшитый воротник. Воротник делал платье менее декольтированным, при этом шею она держала так, что казалась выше и стройнее обыкновенного. Лишь длинная золотая цепочка с тяжелым медальоном, обвивая шею, подчеркивала уже появившиеся складки, первые вестники в общем еще не такого близкого старения.

Когда она подошла ближе и он увидел ее глаза, выражение всего лица, неожиданно для самого себя он разглядел, как через все это праздничное сияние сквозит – то ли природное, то ли наследственное, то ли уже нажитое – сквозит что-то порочное, затягивающее...

– Красавица! – произнес он поспешно, словно боясь того, что она вдруг заметит его проницательность. – Красавица!

– Ты один способен приятное сказать женщине в этой дыре! – кокетливо вздохнула Сафия. – Остальные мужчины здесь хвалятся своим происхождением, знатностью, но на деле – хуже этих широколапых, крестьян. Эх, что и говорить!.. – Опять притворно вздохнула, прикрыла глаза, повела плечами, словно уносящийся в небеса ангел. Но при столь мощной плоти такой каплей казалась ее душа, что, пожалуй, никакая сила не смогла бы оторвать ее, земную, от земли.

...Скажем, вдруг случись такое: вот как в старой сказке – вдруг ее сцапает крылатый дракон, тоже внушительных размеров, и поднимет высоко в небо; и в это время здесь, на земле, отыщется рыцарь, пусть хотя бы один, который пожелает вернуть ее на землю целехонькой, и направит ввысь свою меткую стрелу, дабы, не повредив красавицу, поразить дракона... Так вот – его труды, пожалуй, оказались бы тщетными: ни один самый могучий рыцарь не удержал бы ее, столь увесистую, – хлопнулась бы о землю – и конец! А может, лучше, чтоб облегчить ее участь, пронзить стрелой ее саму, да спасти, удержать живого дракона, не дать ему удариться о землю? А то и в сказках всегда одно и то же: вечно там спасают всяких засидевшихся, разборчивых невест, или еще вот такую красавицу... Пусть хоть разок сделается наоборот: дракон – он ведь тоже живая душа! А можно найти еще лучший выход: вообще не трогать дракона, ведь крепче него ее никто не обнимет!..

Эти легкомысленные соображения рассмешили его в душе, но внешне он оставался спокойным, ему сейчас нельзя было утратить единственное свое оружие – сдержанность.

– Если когда-нибудь... – начала она с придыханием, вдувая в слова воздух, словно желая превратить их в воздушные шары, – если побываю в Петербурге, в Москве, Париже... Па-а-ри-же! Пройдусь по ним, сделаю счастливый вздох, – тогда можно и умереть!.. И обязательно в рай попаду!..

– Тебе много чего полагается, София, – отозвался он, произнося ее имя не так, как принято было здесь. – Ты достойна всего этого, и я уверен, что мой брат...

– Да ну его... – она почти брезгливо отмахнулась от упоминания о муже и сразу опять в кокетство: – Ах, я хочу, чтоб мое имя произносили именно так! Называй меня так, если хочешь сделать мне приятное, – она вздохнула, смеясь, как всхлипнула. – Давай, уже собирайся, уже пора... – вдруг спохватилась она.

В это время с противоположной стороны резко отворилась дверь и в залу вошла Эсма. Словно не замечая их, обвела комнату взглядом и повернулась уйти обратно.

– Доброе утро, Эсма! – Мзалей шагнул ближе к ней. Только сейчас вспомнил он, что ее не было среди встречавших его на дворе. Лишь позже он ее увидел здесь, уже в доме. Тогда она себя вела очень странно, почти не заговаривала с ним, не поднимала глаз. Он удивился – она как-то уж очень повзрослела, и даже не то что повзрослела, а просто уже казалась засидевшейся девушкой. И еще казалось, будто всю эту взрослость, свою какую-то потаенную женственность она несла как обузу, груз, навалившийся,

закрывший ее детскую непосредственность, юную свободу. Он-то, конечно, увидел, разглядел все же сквозящие знакомые с детства черты. «Помнишь?» – спрашивал он ее каждый раз – и каждый раз чуть-чуть светилась та, прежняя Эсма. Но с тех пор, с его приезда, они так и не встречались. У него просто времени не оставалось, чтоб отлучиться, а она сама как-то не появлялась. А действительно, он ведь по сути еще ни с кем не общался из семьи, сообразил он, и с братьями с того дня даже случайно ни с одним не виделся, словно они все взяли и разом ушли из дому. С отцом он случайно ли, нет, но встречался: здоровались, перекидывались двумя-тремя словами.

– Доброе утро! – ответила Эсма, и взгляд ее был непроницаем. Больше не задерживаясь, она вышла, не хлопнув дверью, но плотно прикрыв ее.

– Боже мой... – сказала почти брезгливо Сафия. – Поспеши, ради бога, заждались тебя гости... и какие барыни!..

– Я сейчас... Но очень прошу, выведи меня от них вовремя, – взмолился Мзалей. – Боюсь, устанут от меня, а я не замечу...

– От любви не устают! – возразила она кокетливо. – Они все в тебя влюблены, да, да, да... Но если ты так хочешь – прекрасно! Только оденься получше, лучший свой фрак, цилиндр, – будто ты только что прямо из Парижа! Может быть, во все это здесь еще не смогут вникнуть, оценить, но глаза есть глаза – и нужно, чтоб они были заворожены... – она засмеялась и кокетливо склонила голову, – на шее снова обозначились глубокие складки.

– Смекалистую... бы... – начал он и дальше ничего не смог добавить, как ученик, позабывший свое задание.

– Смекалистого бы и врагом и другом! – подхватила она, а потом добавила вкрадчиво: – Но я-то друг, и только друг!

– Я верю, верю... – он потянулся к ее руке, и она с удовольствием протянула ему – торжественно, как драгоценность. Он приложился – рука была пухлой, почти как от укуса пчелы, но выручали красивые длинные пальцы. Он вспомнил девочку... Вот у Сафии – руки были моложе, чем полагалось бы по возрасту.

Она была полна энергии и желаний, и вела себя так, будто ей свыше было дано разрешение брать от жизни без меры.

Все, что эти дни Мзалей видел, слышал, включая и то, как ведет себя Сафия, ему казалось своего рода спектаклем из отношений и нравов старой барской усадьбы. Но жизнь была жизнью, она искусно растворяла в себе, прятала то, что ему казалось почти угаданным. А потом и спектакль переносился куда-то за кулисы, оставив его одного в зрительном зале.

В то время как Сафия уже выходила на просторный балкон большого дома Анчаа, внезапно раздался крик, странный, воющий.

– Куш-аа-ть, куш-аа-ть! Умираю с голоду, кушать, умираю! – так воют собаки при затмении луны.

Мзалей сразу узнал этот голос, и как в самый первый раз, когда он увидел слабоумного своего брата, проснулось чувство жалости и какой-то неясной тревоги, заглохшее было в этой ежедневной сутолоке встреч и провожаний.

Еще хорошо держится мать, подумал он сразу, такого вполне достаточно, чтоб человек потерял всякое желание продолжать жизнь.

Сафия остановилась.

«Как бы она не набросилась на этого несчастного...» – Мзалей с тревогой посмотрел в ее сторону. Но невестка сделала смеющееся лицо и принялась сюсюкать: «Бата хочет есть, большой, замечательный Бата, хороший Бата... Я им всем задам сейчас, как они посмели допустить! Бата хочет есть, замечательный, хороший Бата...»

Бата как-то боком, странно двигался по балкону, словно привидение. Умолк, остановился перед Сафией.

– Пошли, пошли, хороший Бата, замечательный Бата... – она взяла его за руку чуть брезгливо, повернула к дверям. – Сейчас, сейчас я сделаю, чтобы тебе они дали... все, что захочешь, Бата, хороший, замечательный...

Слабоумный покорно последовал за ней.

Одевшись, Мзалей взял в руки трость и цилиндр, к которым давно привык, и тихо отворил дверь в комнату, где предполагал увидеть отца. Он не обманулся: Алма сидел, откинув голову на высокую спинку скамьи, и оттого, что он глубоко ушел в какие-то свои раздумья, пальцы, державшие четки, как бы окаменели. Острый профиль его как лезвие косы резал воздух. На мясистых, отвисших щеках лежал отсветом давно закатившегося солнца безжизненный румянец, нос с мужественной горбинкой казался костяным.

Вероятно, по звуку шагов он определил, что кто-то появился, но пока Мзалей не подошел к нему близко, не шевельнулся. Когда же сын остановился перед ним, сделал движение, чтобы встать.

– Садись, садись... – Мзалей тронул его плечо. Алма тоже не стал церемониться, остался сидеть. Пошевелил пальцами, отделил от других и потянул было вверх одно уже помутневшее янтарное зернышко, потом задержал его – и поднял глаза на Мзалея. Будто и глядел – но, похоже, не видел. Мзалей особенно почувствовал, насколько же Алма одинок, и как сам он не может помочь ему в этом одиночестве, и как отец все делает лишь оттого, что это так положено.

– Может быть, им не понравится, как я одет... – Мзалей с ужасом отметил, что ему нечего больше сказать.

– Ничего, сейчас и так одеваются, и этак. Молодому все к лицу... не то что мы, трухлявые... – Алма ухмыльнулся и быстро-быстро начал перебирать янтарные четки.

Мзалей понял, что он совершил ошибку: нельзя было таким, ни к чему не готовым, заходить сюда. Теперь вот уже нечего было говорить и делать – он не знал, как уйти, спастись отсюда.

– Иди, иди... – сказал Алма и стал опять быстро-быстро перебирать четки. – Выйди, покажись людям... – Мзалею послышалось, что последние слова отец произнес с нажимом. Однако он больше не раздумывал – воспользовался предлогом, поспешно вышел.

Уже на балконе он открыл хорошенько глаза и посмотрел на двор.

Кроме тех, что были заняты подготовкой, – мелькали с засученными рукавами, с полами черкесок, заткнутыми за пояс, с взглядами, твердо нацеленными куда-то, – во дворе собралось уже довольно много людей праздничного вида. Одни стояли группами и негромко разговаривали, другие расселись на длинных скамьях под липой, меж оголенных ветвей которой сквозило небо.

Крупы лошадей у коновязи еще лоснились от невысохшего пота.

Пока его не заметили снизу, он видел отсюда, с балкона, донышки папах, красные, белые и зеленые, видел войлочные шапки с прямыми полями, лихо завязанные башлыки, даже две-три студенческие фуражки с короткими козырьками. Но как только его заметили, все разом задрали головы: вместо красных, белых, зеленых углублений в папахах, вместо войлочных шапок – к нему были обращены бородатые, усатые лица, и несколько юных, безбородых.

Он хотел спуститься вниз, но было как-то неловко, даже боязно одному. Нигде не видно ни одного из братьев. Отец тоже закрылся в своей комнате. Он спустится – но, может, уже незаметно так много изменилось, что даже то неполное, что он помнит из прежней жизни здесь, тоже покажется странным? Может быть, здесь уже гостем не так занимаются, как раньше? Хотя, конечно, он и не гость, а просто блудный сын... Но что же все-таки заставило, что толкнуло стольких людей, переживших трагедию, уцелевших, но еще не оправившихся от нее, явиться сюда? Сила жизни или смерти? Некуда девать время – или не знают, что с ним делать? Или опять за их спинами сгущается какая-то беда, грозит выбить их из своих гнезд, лишить очагов, мучает предчувствиями?

Когда он вдруг остался один на один с многоликой, многоглазой, многорукой людской массой, ему показалось, что они его ждут уже давно, – с этими, с другими вопросами, которых он еще и не знает... Такие лица, полные вопросов, обращают к каждому новому человеку.

Не то что они искали мнение каждого, но надеялись услышать мнение знающего человека о причинах своих страданий, о подлинном своем положении, и есть ли для них теперь надежда... Люди, народ, пережившие такой страшный ураган, побитые, поверженные им, если даже впереди видят какой-то просвет, не могут успокоиться, пока не узнают причин, сути их беды, груз которой затуманивал все.

Конечно, они ждут. Но где же такой – кто откроет им? Откуда им ждать своего мессию?

Какое счастье уметь сказать своему народу – и знать, что сказать! Такой не вырастет на голом месте – должна быть и семья, и подготовленная почва, где он сможет подняться.

А что он, Мзалей, способен сказать этим людям, – если сам почти убежал от них, и в то время, когда еще кровоточили раны.

Но он, конечно, должен все же выяснить до конца: его отослали, чтобы просто избавиться, или, надеясь, что расстояние оградит, защитит его? Или же действительно хотели, чтобы он набрался знаний, способен был принести

пользу? Ведь он сам ничего не решал тогда, с раздражением подумал Мзалей.

Все же надо спуститься, вспомнил он не без боязни, и шагнул к лестнице.

И тут он увидел Майяну. Как будто все виденное им сверху, весь двор оборотился вдруг зеркалом – и оно отразило только ее лицо. Плавно проходя мимо людей, при этом никого не касаясь, она шла к дому. Действительно – шла и светилась...

Если родилась такая вот девушка, подумал он, значит, есть звезда счастья, есть и стремление к ней...

Он догадался, зачем она здесь, но после того, как увидел ее, ему вдруг захотелось соединиться, поговорить и со всеми остальными. Страх исчез.

Сойдя вниз, он подал руку первому встретившемуся.

– Слава богу, слава богу! – повторяли все, окружив его, здороваясь и подавая ему руку. Каждый говорил своим голосом, на свой манер, каждый светил ему в лицо своей улыбкой, но он почувствовал, что они все приветствовали его искренне.

Когда он поздоровался со всеми теми, которые окружили его, они отступили и образовали проход: это означало, что ему надо было пройти уже к старшим. Вдруг он совладал с собой и стал действовать увереннее. Он направился к ожидавшим на скамьях под липой. Но никто даже не пошевельнулся, не встал навстречу ему, пока он сам не подошел к ним. Тут, как он понял, были в основном большие аамста, владельцы крупных поместий. Сидели чинно, и непривычно было видеть на них черкески с богато расшитыми газырями. При нем, до его отъезда, такого не было. Надеть черкеску с расшитыми газырями – такое посчитали бы позором.

Когда он совсем уже приблизился – медленно повставали, молча подали ему руки. У тех, с которыми он здоровался вначале, у дома, у всех руки были в мозолях; у этих же ладони были мягкие, кое у кого влажные, и сами руки какие-то вялые, слабые.

Не успел он предложить сесть (что положено было по обычаю), как они все опять уселись сами.

– Слава богу, вернулся цел и невредим, – сказал, наконец, один из них, видимо, старший, с седыми закрученными, хорошо ухоженными усами, с гладко выбритым длинным лицом. – Украсил старость Алмы.

– Спасибо... благодарствую... – ответил Мзалей не совсем впопад, снова теряя уверенность в себе.

Остальные пожевали губами, покашляли и замолчали.

– Приехал насовсем или на побывку? – спросил все тот же.

– Нет, не на побывку...

Он не знал, уйти ему отсюда или пока остаться. Они ему не предложили сесть, значит, не положено. Потом все же решил уйти: молча поклонился им и, повернувшись, пошел. И тут он заметил Сафию, та быстро шла прямо к нему. Он обрадовался: только она могла теперь его выручить!

– Вот я и нашла тебя! – воскликнула она, словно он затерялся среди бесчисленной толпы, где встретиться просто так невозможно. Тем более она сейчас появилась кстати.

Пока он стоял перед ней в нерешительности, почувствовал, какой осадок оставили эти почтенные дворяне в его душе.

– Пошли, пошли! – Сафия вся сияла. – Там ждут тебя, не дождутся.

Он последовал за ней, но этот осадок разрастался, и он вдруг почему-то вспомнил Мсоуста. И словно повеяло знойным ветром, нашло непонятное яростное возбуждение.

– Ты что так помчался? Я слабая женщина, я так не могу... – голос Сафии привел его в себя. Он, запыхавшись, стоял уже на балконе. Сафия удивленно и как-то странно посматривала на него, словно открыла в нем что-то новое.

– Странно... – услышал он свой голос.

Наконец он окончательно пришел в себя. Да, его будто подхватила какая-то сила, сорвала с места – и уже дальше он не помнит, как шел и поднимался по ступенькам.

– Пока заходи в свою комнату, там с тебя мерку снимут... – Сафия все продолжала шарить взглядом по его лицу. – Черкеску тебе будут шить, малыш...

– Я не задержу вас, я быстро... – улыбнулась Майяна застенчиво. Той смелости, с которой она с ним знакомилась первый раз, не было и в помине.

Все равно – на него сразу подействовал ее вид, голос, и ему захотелось сказать что-нибудь хорошее. Он пребывал в состоянии не то опустошенности, не то очищенности от того непонятного знойного возбуждения, что вдруг пронеслось, охватило его, как бы вскипятив кровь.

Вообще здесь, дома, он себя пока что чувствовал, даже с матерью, будто во сне. А вот завидев эту девушку, и так с самого начала, он освобождался ото сна, слух становился острее, зрение – четким, начинал чувствовать себя свободнее, находилось, что сказать и как сказать, словно через него передавался дух и энергия этой земли.

Она обвила его длинной лентой, которую держала в руках, – обмерила и быстро и ловко завязала узелки. Ее прикосновение было почти незаметным, и все же он почувствовал, как чуть вздрагивают руки... ее дыхание овевало как чистый ветерок с полей...

А Майяна сейчас вспоминала, как она снимала мерку с Мсоуста. Теперь тоже руки чуть-чуть дрожат, но тогда просто отнимались, и она с трудом завязывала узелки. Она снимала мерку – но была уверена, что и без всякой мерки может сшить черкеску по нему. Так она его чувствует всего... Но, конечно, она хотела продлить это занятие – и даже не могла скрыть. Он все видел, но держался так, будто не замечает... И еще она хотела выяснить, почему именно ей предложили сшить для него черкеску, его ли это желание. Он ведь так просто никого к себе не подпускал («Недотрога»...). Правда, они с Мсоустом росли считай что вместе, рядом, и даже можно сказать, что в

детстве были близкие, но ведь детство-то было уже давно. За это время его уже утомило взрослое положение, а она еще стояла на границе юности...

– Плечи... – засмеялась Майяна, становясь на носочки.

– Если нужно, могу присесть...

– Нет, нет, так удобнее.

При Мсоусте она тоже поднималась на цыпочки, но он не сказал, что может присесть. Хорошо видел, что она с трудом достает до его плеч, но молчал. Все, что она скрывала даже от себя, нахлынуло тогда на нее, беззвучные слова сами собой слетали с губ. («Милый, милый, милый, моя душа, мое дыхание... Я появилась на свет, увидела солнце, дышу, смеюсь – все ради тебя, все из-за тебя. Без тебя все это ничего не значит...»)

Потом ей вдруг захотелось уколоть его. Но вслух сказать хоть что-нибудь она не посмела...

– Теперь измерю еще грудь – и все, больше я вас не мучаю... – Майяна улыбнулась совсем близко от него.

Вместе со словами на этот раз он явно ощутил ее дыхание – движение воздуха, только-только родившегося из ее груди. Ей пришлось слишком высоко поднять руки, и она на миг потеряла равновесие, качнулась, но все же успела снять мерку. Издала смешок – мол, вот какая я неуклюжая!

Тогда тоже с ней случилось такое, с Мсоустом. Даже задела, коснулась его. Лицо потом долго горело от стыда. В душе она злилась, и готова была сама во всем ему признаться – если даст он хоть малейший повод, знак. Но он стоял как каменное изваяние, холодный и задумчивый. («Камень, камень, хоть бы посмотрел по-человечески... Тоже мне... Да – она бы сама все ему сказала, но он ведь не дает никакого повода. А у девушек такое положение, они не говорят первые... иначе, конечно, осмелилась бы...»)

– Ну вот, вы уже свободны... – Майяна зажала в руке ленту – всюду в узелочках.

– Спасибо за твои труды.

– Не за что.

– Если еще понадоблюсь, в любое время к твоим услугам, – Мзалей склонил голову.

– Второй раз не придется, но с вами мне боязно, – сказала она серьезно. – Вам шили такие искусники, и такую одежду...

– А я не скрываю, хочу, чтобы ты сшила мне... – Мзалей пытался приободрить ее, пусть чувствует себя с ним посвободнее. – Ты первой встретила меня у дома... и вот новую одежду, которую впервые надену здесь, – хочу, чтоб была сшита тобой. Я суеверный, а у тебя, я вижу, рука совсем счастливая.

– Спасибо, но такое принять на себя я не могу... Видно, все же не я первой вас встретила... Несчастливый человек не может никому принести счастья. («Если бы сейчас он, Мсоуст, стоял перед ней вместо Мзалея, она бы решилась, открылась ему... Господи, как иногда этот приезжий бывает похож на него! Лучше нее никто не может заметить. Но и насколько разный у них взгляд!..»)

– Если даже кто-нибудь и встретился до тебя, все это не в счет! – торжественно объявил Мзалей...

– Пора, я пойду к госпоже... навещу ее... – сказала Майяна.

– И я загляну – попозже, а то женщины осудят меня. А женщины – народ серьезный...

Когда Майяна неслышно отворила дверь и вошла в эту обычно самую тихую в доме комнату, ее встретил непривычный тут гул голосов. Из всех гостей здесь было лишь двое-трое мужчин, остальные – женщины. Большинство – незнакомые.

– О-о, – затянула Сафия, увидев Майяну, словно собиралась запеть. Ямочки на щеках сделались глубже, и, словно приглашая на танец, она вскинула руки лебедиными крыльями и пошла к ней навстречу.

Майяне, которая была вхожа к госпоже, навещала ее довольно часто и никогда не чувствовала себя при ней скованно, стало не по себе на виду у множества незнакомых женщин, важных, родовитых. И сразу отодвинулись чувства и переживания, которыми она жила все эти дни, протрезвела до звона в ушах.

Сафия взяла ее под свое крыло и пошла с ней по кругу.

– Нет девушки родовитой, нет девушки из простонародья, когда она вот так мила! Смотрите, смотрите, разве нет? – в голосе ее звучал, присутствовал какой-то еле уловимый металлический звон, будто от кинжала, после броска вонзившегося в дерево.

Перед сконфуженной Майяной замелькали смеющиеся, кокетливые, безучастные лица, в своей радости, грусти, счастье и несчастье совершенно чужие ей. Потом рука Сафии тяжело легла на плечо девушки, обе остановились.

– Княжна, чтоб всегда приятное видели твои глаза! – Чуть повернув голову, сказала в ухо Майяне: – Иди, поцелуй ей руку.

Запах уже немолодого тела ударил девушке в нос, ни духи, ни пудра не могли его смягчить.

Майяна посмотрела внимательнее: в кресле с подлокотниками восседала крупная, почти грузная дама, пожалуй, постарше госпожи – это и была княжна. Подбородок лежал на шитом золотом воротнике бархатного платья. Волосы от пробора были гладко зачесаны на обе стороны, так что лицо ее смотрелось как бы в оконце. Она подняла лорнет, висевший на шее на золотой цепочке, поднесла к несмеющимся и неподвижным, чуть водянистым глазам, посмотрела в сторону Майяны. Уронила лорнет, глянула на Сафию – лицо шевельнулось в заключавшем его «окошке».

– Поцелуй ей руку! – повторила резким шепотом Сафия.

Майяна посмотрела на пухлые, в голубых прожилках руки княжны, покоящиеся на подлокотниках. Быстро подошла, наклонилась и коснулась губами, затем так же быстро вернулась обратно. Княжна, уже без лорнета, посмотрела на Майяну и изобразила на лице снисходительную улыбку. Почувствовав, что уверенное крыло Сафии уже не простирается над ней, не

защищает, Майяна отошла поближе к стене. Теперь только увидела Хауйду, госпожа сидела недалеко от камина, и Мзалея – рядом с высоким молодым господином с бледным, длинным, породистым лицом.

– Извините... – Майяна почувствовала, что у нее горит лицо.

Сафия с недоумением поглядела на нее: почему это отошла к стене? Обернулась к почетной гостье:

– Княжна! Стесняется... Пока молода – простим ей.

Княжна пропустила это мимо ушей – лицо, выглядывавшее из своего «оконца», не шевельнулась. Сафия тоже больше не посмотрела в ее сторону, приблизилась к Мзалею и стала рядом, тихо положив руку ему на плечо. Он посмотрел, хотел приподняться, но она надавила на плечо – сиди, мол.

– Ты же знаешь, я вообще не люблю сидеть, – сказала она совсем другим голосом, уже в расчете на слушателей. – Ты лучше расскажи нам, как там – в Петербурге, в Москве, какие там девушки, женщины? Как одеваются? Что они любят и чего не любят? Какие развлечения предпочитают? Хватит уже, сколько мучаешь нас своим молчанием! Не так ли, княжна, не так ли, дорогие женщины!

– Так, так!

– Ты громче, громче! – сказала княжна басом погуще мужского.

Все словно бы подались назад, уступая дорогу ее голосу.

Мзалей смотрел на гостей с улыбкой, словно обходил заново места, по которым долго скучал. Вдруг остановил удивленный взгляд: по другую руку от княжны, через две-три женщины, сидела та барышня, что он видел в день своего приезда в дилижансе. Здесь она тоже выделялась: державшаяся очень прямо, была на голову выше других. Она тоже заметила его взгляд, однако, как и княжна и остальные, смотрела невозмутимо, ее белое лицо, как белый камень, сохраняло неподвижность. Рядом с ней оказалась Эсма. Она была мрачной, даже голову не повернула в его сторону («Что с ней стряслось?.. Почему так не рада ему? Они же почти названные брат и сестра...»).

– Итак, мы ждем! – прозвучал деланно-оживленный голос Сафии.

Мзалей перестал разглядывать гостей. Ему показалось, что с тех пор, как Сафия в первый раз высказала свою (и общую) просьбу, прошла целая вечность.

– Правда, было бы позором забыть свой язык, – начал Мзалей чуть замедленно и подбирая выражения попроще. – Очень старался не забыть – и не допустил... Но, когда столько лет находишься вне своего языка, разве только с самим собой... Тогда с неизбежностью трудно становится выразить то, что хочешь, и как хочешь...

– Говори, говори, очень даже хорошо говоришь! – Сафия не думала отступать. – Если желаешь, говори на более удобном, найдем толмача... Мы и на это согласны...

– Ни в коем случае! – почти оборвал ее Мзалей раздраженно. – Я переживал, что не смогу так, как это подобает, свободно говорить с вами... как же я могу позволить себе пользоваться здесь чужой речью... тот, кто общается ежедневно, не ценит, не понимает, что у нас за язык! Когда на

чужбине не с кем поговорить, слова, как пузырьки на воде, лопаются и исчезают, – начинаешь понимать, чем ты можешь быть обделен!

– Ты что, оправдываешься? – как-то по-новому посмотрел на него молодой господин, сидевший рядом. – Ты говоришь лучше многих, никуда отсюда не отлучавшихся, считая и нас, сидящих здесь!

– Господин хороший, – с нарочитым акцентом, искажая звучание слов, вступила в разговор женщина с приметным, тронутым оспой лицом, сидевшая подле княжны. – Абхазский язык кончается, как только спустишься до большой дороги... а дальше он никому не нужен... Изучить его также невозможно... – Она исподлобья поглядывала не столько на него, сколько на других, желая увидеть их отношение. В ее взгляде, выражении лица читалось какое-то недоверие ко всем, будто все сидящие здесь в чем-то обделили ее.

Мзалея неприятно поразило – как эта прибывшая откуда-то женщина, по всей вероятности, впервые оказавшаяся в здешнем обществе, так пренебрежительно отзывается об их языке, значит – и о них самих, и никто словно бы не замечает.

– Тут я с вами никак не могу согласиться! – он почувствовал, как шумит кровь, словно закипая, подступает то неведомое возбуждение, что охватило его, когда уходил от тех, рассевшихся под липой. – Родина, ее язык – эта святая святых каждого из нас. Что лучше, что важнее есть у человека?!

– Крестьяне же говорят на своем языке – этого достаточно... – засмеялась княжна презрительным басом.

Сафия показывала глазами, пришептывала, давая ему знать, что с ними нельзя спорить. Да он и сам понимал, что не здесь же, среди женщин, говорить о самом главном, – надо побыстрее уйти, спуститься к собравшимся внизу.

– Конечно, это вопрос очень не простой... Так о Петербурге, Москве... – он круто повернул тему разговора. – Женщины там самые разные. Даже из очень родовитых. Есть такие – весьма изысканно отдают дань моде, одеваться для них – целое искусство. Когда приходишь на бал...

– Ах, ба-ал... – пропела Сафия своим искусственно-оживленным голосом, прикрывая глаза. – Что за несчастные мы, обделенные прелестями жизни! Это ведь можно и у нас организовать, да кто поддержит? Сидят целыми днями за столом, бряцают своими ржавыми кинжалами.

– Правда, правда! – общество засмеялось.

– О-о, ба-ал... Мне выпало такое счастье, что попала на бал во дворце Дадиани! – сообщала уже с меньшим акцентом женщина в рябинках оспы, преподнося свой взгляд каждой из соседок по очереди, словно произносила за них тост.

– Да-а, бал... – прозвучал и бас княжны. – Мы были приглашены на бал, устроенный в Соук-су городским головой.

– Княжна, так это вы... кто же и когда нас пригласит... хотя бы в году разочек кто-нибудь устроил... Это все от нашей чудовищной отсталости! – Сафия в сердцах даже забыла подделать голос.

– О-о, бал во дворце Дадиани, ой-ей-ей... – уже ни на кого не глядя, сама с собой удивлялась женщина с попорченным оспой лицом, – такое даже в Тифлисе редко увидишь...

– Городской голова посадил нас прямо перед собой... – вступила в разговор княжна, с раздражением в голосе, видимо, была недовольна, что ее кто-то смел опередить, – и такое закатили!.. Какие танцы, какие платья, прикоснешься к ним, от них искры летят...

– Так вот и я говорю... – Мзалей хотел еще кое-что добавить, раз уж начал. – Балы там затевают часто... И на балах такие появляются создания, божественные... Подумаешь, будто только спустились с небес. Дело, конечно, не только – в чем и как одеты...

– И в этом, и в этом... – подсказала упавшим голосом Сафия. Она в какое-то мгновение забыла обо всем – и пропала ее подтянутость, живость, вся как-то поникла, и платье уже висело на ней как на вешалке, и шея уже торчала из выреза платья будто колодка для шляп.

– Нет, безусловно, это тоже важно, – невольно улыбнулся Мзалей, оценив произведенный эффект. – Но еще важнее, мне кажется, то, как они носят наряды, какие у них манеры... европейские...

– А здесь кто на это смотрит! Лишь бы ты была до самых ушей застегнута, замурована, на все остальное – плевать... – Платье совсем уж уныло повисло на Сафии, а ямочек на щеках как и не бывало.

– Нет, зачем же так! И у нас были свои прекрасные манеры, и красивые женщины, и достойные мужчины, но когда жизнь расстроена до основания, когда народ предан, ему уже не до тонкостей... – вздохнул Мзалей.

Вдруг воцарилась неловкая тишина. Шевельнулось лицо княжны в оконце волос, она насупилась; женщина, говорившая с акцентом, ухмыльнулась.

– Многие заморские народы передней Азии освежили свою кровь, сделались здоровее и красивее с помощью Кавказа, – вставил слово и молодой господин, сидевший рядом с Мзалеем. – Очистили свою кровь и обновили... А Кавказ потерял столько крови, что...

– Красивые, красивые – говорите, – женщина с акцентом обвела гостей взглядом, словно сочувствуя им в их невежестве. – Какие красавицы были на балу у Дадиани, ах, какие!.. Даже в Тифлисе подобное редкость!

– Но я еще не сказал о женщинах Петербурга и Москвы самого главного, – Мзалей поднял голос. – Что мне больше всего нравилось – среди них много образованных, думающих, глубоких, тонких...

– Дальше, дальше... – донесся совсем новый голос, не похожий ни на один из слышанных здесь. Не только Мзалей – и остальные тоже все оглянулись. Эта была та барышня из дилижанса. Она подалась вперед и прямо смотрела на Мзалея. Лицо оживилось, кровь прилила к щекам (а вдруг, а вдруг, а вдруг, за этим горизонтом, за тем...).

Эсма так и не подняла головы. («Что же это с ней, что за несчастье...»)

Даже Майяну, которая до сих пор спокойно слушала Мзалея и других, захватило это всеобщее внимание к смелой не по годам барышне. И тут она особенно остро почувствовала, насколько же сама она чужая среди

собравшихся – родовитых женщин, как их отношения, в конце концов, замыкаются в своем кругу, минуют ее – словно ее здесь и нет. О ней все забыли, ибо получалось, что ее действительно здесь как бы нет: таким образом действовал закон их взаимоотношений – круг замыкался только на них.

Она почувствовала себя униженной, жалкой, и сразу же поняла, какое это страшное чувство – чувство унижения, как оно сразу погружает тебя в болото. И само слово «унижение» тут же явилось и не уходило. Верно, его произвели обстоятельства, из среды готовых родиться слов безошибочно нашли его, набросили аркан – и вот в мгновение ока оно уже в гортани.

Все же что-то ее держало здесь, пока не отпускало.

– Кесария! – смеясь, пригрозил девушке пальцем молодой господин. – Кесария!

– Эти образованные барышни... – Мзалей хотел закончить свою мысль, но его отвлекали. – Конечно, не в одном дворянском титуле дело...

– О-о! – воинственным басом протянула княжна, которая перед тем делала вид, что все это ей уже наскучило и не очень желает слушать; теперь же она взяла свой лорнет, поднесла к глазам, словно это микроскоп и она хочет рассмотреть всего Мзалея по клеткам. – О-о, не свободомыслие ли это... – Она исковерканно, с трудом вынула из гортани это русское слово. Видно было все же, что, при ее очень слабом знании русского языка, она уже освоила это понятие. – Вот когда мы были у городского головы... – Она обратила лицо в «оконце» сперва туда, потом сюда, так что можно было подумать, будто всех одарила некоей драгоценностью.

С последними словами Мзалея Кесария подалась вперед, с горящим лицом, вся обратившаяся в слух (а вдруг, а вдруг, там за горизонтом, там за...).

– Это, ваша светлость, совсем иное, – отвечал Мзалей не смутившись, но немного подумав. – Я же о другом... Еще раз повторяю: все эти прекрасные дамы, аристократки, вполне светские женщины – они озабочены судьбой своего отечества, думают о его настоящем и будущем, радуются успехам его, его культуры, огорчаются неудачам, тому, что не устраивает при сегодняшнем европейском уровне... Когда жизнь начинает заболачиваться, они наравне с мужчинами говорят об этом, клеймят не скрывая. Когда женщина, которая столько значит для мужчины, да и для народа в целом – мать, сестра, друг, – способна мыслить на таком уровне, это счастье для всего общества.

– А почему же они так должны печься о своем отечестве и народе, если уж правду говорить, – возразил, вспыхнув бледным лицом, молодой господин. – О своем отечестве должны больше печься те, у которых отечество тает как кусок сала, брошенный на сковородку. Что касается России, то она пробилась ко всем морям, она окружила своей границей столько земель разных народов... Но и перенасыщенность не идет впрок... Праздность приводит к недовольству жизнью. Но они не хотят, чтоб обнажились истинные причины недовольства, тогда откроется, что все это

плоды перенасыщения, праздности... Чтоб этого не получилось, они стали обозначать свои воздыхания и печали такими понятиями, как родина, народ, история, культура – и пошло, и пошло... тут все понятно...

– С жиру бесятся! – выпалила одна из гостий, большеносая, очень густоволосая, и засмеялась гулко, будто дунула в пустой кувшин.

– Нельзя все это так упрощать... – немного даже опешил Мзалей. – Такой слой в обществе действительно есть, но я совсем не их имел в виду. Да, конечно, каждый про себя знает лучше, может, не нам судить, но я хотел привести в пример...

– Я не спорю с тобой по этому поводу, – горячо заговорил молодой господин. – Я именно хотел, в конце концов, сказать – все, о чем ты здесь говорил, нужно и у нас, такие люди здесь просто необходимы, – но ведь наши женщины очень далеки от всего этого. По крайней мере сегодня. Нашу страну растоптали, раскромсали, народ – тоже, он истерзан, измучен... А глянешь – никто не хочет знать, каково наше положение сегодня, что нас ждет завтра... Устраивают балы, следуют моде... так этим пристало заниматься тому, у кого все остальное в порядке, все устроено.

– С чего это ты решил, что у нас женщины ни о чем не думают? – опять подала голос Кесария, лицо ее светилось как янтарь под солнцем.

– Кесария, Кесария! – смеясь, он погрозил ей пальцем.

– Алоу, Алоу! – она в свою очередь погрозила пальцем ему.

Тут Мзалей ненароком заметил, что лицо Эсмы тоже сияет, оживилось, и взгляды она бросает в сторону молодых спорщиков.

– Лучше бы вы посмотрели на здешних мужчин, – заметила резко Сафия, абсолютно не заботясь о звучании своего голоса. – А то ополчились на слабых женщин – тоже мне герои!

– Да, да, надо начинать с мужчин, вы правы, – спохватился Мзалей. – Но я как раз, находясь здесь, в вашем обществе, желал высказать... наши женщины могут сыграть в нашем развитии такую роль, что и разбудят мужчин... А впрочем, извините, я вас утомил...

Мзалей действительно почувствовал, что затеял не тот разговор, занесло его не туда. У этих женщин (кроме, видимо, Кесарии да Майяны), впрочем, как и у большинства мужчин, или совсем не было потребности в таких разговорах, или боялись разбередить больные места, или целиком отдались воле обстоятельств, – мол, посмотрим, что завтрашний день принесет, – и постепенно жизнь их сделалась простой привычкой.

– Дадиани, Дадиани... – вдруг ни с того ни с сего заговорила женщина с акцентом – теперь победным, торжествующим голосом. – Они так сильны и такое умеют...

Раздались смешки.

– Разрешите мне сказать, уважаемая госпожа, – Алоу даже встал. – Никто не спорит, что Дадиани – известные князья, высоко родовитые... Но о каком всесилии может идти речь, когда весь его народ разошелся кто куда, отыскивая работу, пристанище... Мы все выродились – и там, и здесь...

– Алоу! – Кесария через комнату погрозила ему пальцем, и удивительно приятная улыбка светилась на ее лице. Сафия посинела, наклонила голову и что-то зло шепнула Алоу на ухо.

– Ах, оставьте! – отмахнулся он.

Наступило неловкое молчание. Княжна надулась, расплылся ее подбородок, лицо застыло в оконце пепельных гладко зачесанных волос. На лице женщины с акцентом оспины превратились в красные пятна. На Сафии платье обвисло, казалось мешковатым и слишком длинным, ямочки исчезли, и лицо стало скучно гладким.

Мзалей с тревогой взглянул на мать: ее усталое бледное лицо выражало смешанное чувство неудовольствия и безразличия.

– Уйдем отсюда, я тебя прошу, – шепнул Мзалей Алоу.

Повернулся, поклонился всем:

– Извините, если что не так, извините...

Он видел, как Сафия качнула головой, и вдруг опять почувствовал в себе решимость – уже видимо от гнева.

Проходя мимо матери, остановился, взял ее руку в свои и поцеловал. Рука была не как всегда – податливой, вялой, а какой-то необычно упругой, нервной.

Он не знал, хорошая это примета или нет.

ЗАСТОЛЬЕ И ДЕТСКАЯ ИГРА

Красная гадюка,
Красная гадюка,
Ты в архалуке человечьем...
Заклинание от укуса змеи

Когда Мзалей с Алоу спустились во двор, народу там оказалось уже намного больше. Все были заняты собой, и никто не пошел им навстречу, как утром, даже не заметили. У кухонного домика-амацурты, широко расставив ноги, стоял Умар. Над головой держал старое небольшое ружье, легкое, как будто игрушечное. Рядом, на носочках, к ружью тянулся Астамыр. Мальчик говорил так громко, будто звал кого-то, находящегося отсюда на порядочном расстоянии, будто кроме него и Умара никого вокруг нет, а если даже и есть, то люди это, или палая листва под ногами – ему все равно.

Астамыр, краснощекий крепыш, был одет как взрослый, в черкеске и папахе, а на разукрашенном поясе висел маленький кинжал с костяной рукоятью.

– Дай мне, дай подержать! – настойчиво просил он капризным голосом.

– Потом, после... – загадочно шептал Умар, осклабясь.

– Нет, сейчас хочу! – еще громче кричал мальчик.

Когда Умар увидел поравнявшихся с ним Мзалея и Алоу, в свою очередь прикрикнул на младшего:

– Не зли меня, а то совсем не получишь!

Астамыр, заметив Мзалея и Алоу, умолк, но глядел на них свирепо.

Мзалей подумал о том, что ему еще не удалось поговорить, обласкать мальчика. Пока он еще многого не успел, но мальчику уделить внимание нужно первым долгом. Какой-нибудь игрушки даже ему не привез, – правда, он же не знал, не ведал о его существовании.

Мзалей и Алоу остановились неподалеку от Умара и Астамыра и стали оттуда наблюдать людей.

– Вот, а его ты знаешь?! – орал Астамыр, тыча пальцем в подошедшего к ним худенького, стройного мальчика его возраста.

– Так это тот самый джигит, а? – Умар так спрашивал, будто желал положить голову мальчика на плаху. Мзалея, слышавшего все это, передернуло.

Лицо, как и вся фигура, у мальчика было живое и даже трепетное, оно светилось и говорило о физическом и духовном таланте. Но взгляды Умара и Астамыра заволокло столь неприкрытой завистью, что залюбовавшийся было мальчиком Мзалей предпочел отвернуться.

– Это же Абзагу! – выкрикивал Астамыр. – Его конь на пасхальных скачках взял первый приз! А на свадьбе у Шамба он попал, состязаясь в стрельбе, в тарелку, укрепленную на макушке дерева!

Слова Астамыра били Мзалею прямо в ухо, и почему-то он отчетливо понимал его состояние. Откуда это? Неужели и он когда-то бывал таким же? Нет, он конечно, лишь приблизительно представлял это состояние – видимо, и в детстве, да и во взрослые годы человек не свободен от этого. Но ведь не до такой же степени, чуть ли не до желания убийства?!

Раз понимает, значит бывал – удивился он.

Астамыр еще что-то орал насчет мальчика, словно этим бил себя, наказывал самого себя.

– Малыш, ты же знаешь мое положение! – шипел, осклабившись Умар. Он, похоже, тоже хлестал, раззадоривал самого себя: видимо, его наказ остался невыполненным. – С тех пор как ты встал из люльки – твоя люлька это спина лошади! Проживешь до ста – и все сто лет ты должен провести на лошади! Слышал?

– Сегодня я хочу играть в войну! – Астамыр явно переводил разговор на другое. Видимо, трудно было ему дать обещание, тем более поклясться. – Игра в войну – до смерти!

Сначала Умар был раздражен тем, что Астамыр уходит от клятвы. Однако, услышав насчет войны, он оживился.

– Молодцом, молодцом! Уже, значит, мечтаешь о схватках, а? Хвалю! – Умар уже не хлестал, не горячил себя, а нацеливался на предполагаемого завистника, словно Астамыр уже совершил какой-то подвиг. – Ты самый что ни есть сердцевинный Анчаа! А-а?! – он нахлобучил ему папаху на лоб.

– Отстань! – грубо и громко кокетничал Астамыр. Ему хотелось, чтобы тот мальчик, стрелок и наездник, тоже поверил, будто он такой – сердцевинный Анчаа.

– Мухи не потерпит на себе!.. – восхищался вслух Умар. – Так держать!.. Не то что сесть – не должна посметь пролететь даже около нас! А что – мало места? Пусть летает где хочет, только не там, где Анчаа! Идите, играйте, не путайтесь под ногами у людей!

– А ружье?..

– Раз воюете, как же тогда без оружия... – Он протянул ружье, маленькое, легкое, судя по тому как он его держал, Астамыру.

– Сначала ему, – мальчик показал пальцем на Абзагу, более удачливого. Видно было, что он буквально отрывал ружье от себя, – как говорится, вместе с мясом, – опять разжигал, наказывая себя за то, что ни ездить, ни стрелять не может как этот, какой-то не Анчаа.

– Хорошо, пусть сначала ему, если ты так захотел, – Умар протянул ружье Абзагу, и тот взял его с охотой.

И мальчики, заполучив ружье, побежали за дома, в старый, запущенный сад.

– Пойдем туда, – предложил Алоу, указывая дальше от дома: в конце большого широкого двора, где было место поровней, сгрудились двумя группами люди, оставив посередине проезд. – Там, я вижу, собираются джигитовку устроить. Стоит подойти, чтобы все было видно.

– Джигитовку, говоришь! – обрадовался Мзалей. – Вот уж никак не думал, что до сих пор такое сохранилось... Насколько же я отвык от всего...

Они приблизились к выстроившимся рядам, но не влились, остановились на бугорке. Отсюда было хорошо видно через головы.

Люди напирали, ряды подались друг другу навстречу, и промежуток сузился.

– Раздвиньтесь, раздвиньтесь! – послышался чей-то резкий голос. – Дальше, дальше!

Ему, конечно, никто не поручал, подумал Мзалей, однако его послушались, потому что он выразил то, что думали все. И власть в таких случаях оправдана, когда такое совпадение, согласие. Все начинается с мелочей. Иногда кажется, очень просто организованы люди, будто все это происходит почти само собой, механически, и этот механизм как бы сам выбирает присмотрщиков, предводителей. Но это только кажется: самая простая вещь и то не проста, а здесь...

Промежуток меж тем достаточно расширился, и из нескольких всадников, гарцевавших в конце двора, отделился один и спокойной рысцой направился сюда. Он был на чалой небольшой, пожалуй, немного нервной лошади. Чуть подавшись вперед, он ослабил поводья – и лошадь пошла быстрее. Мзалей понял, что всадник просто показывает ей путь.

Всадник явно был в самом расцвете сил, крепко и хорошо сложен. На лошади держался безукоризненно, однако что-то не давало ему сосредоточиться, собраться в слиток, и он сам заметно нервничал от того, что не может как следует взять себя в руки, что даже успевает на ходу уголком

глаза посмотреть на людей, вроде как актер, глазеющий на зрителей со сцены.

Мзалей стал вспоминать, в чем суть этого состязания: самое главное – как взять старт... надобно стрелой покрыть это маленькое расстояние – и осадить коня, где надо и как надо, чтобы его копыта оставили след подлиннее. Древние письмена на земле – следы конских копыт... и письмена эти были мирные, а если с примесью лихости – так то знак искусства.

Верховой резко повернул лошадь и, видно, оттого, что нервничал, сильно натянул поводья, – чалая лошадь заметалась, не в силах собраться для броска.

– Свободнее, свободнее, не души ее! – крикнул кто-то из зрителей.

Верховой бросил надменный взгляд в сторону решившегося поучать его – и неожиданно (и, видно, не вовремя) и для зрителей, и для самой лошади гикнул, свистнула плеть. Однако не готовая к этому чалая не смогла собраться и сделать красивый и вместе с тем стремительный бросок вперед, чтобы потом успеть также вовремя и как надо остановиться... Так и получилось: пробежка, и внезапное торможение, и следы от копыт – все было не то. Тем не менее Мзалею показалось, что ни лошадь, ни всадник не переживали свою неудачу. Когда сам всадник до предела сосредоточен, до предела точен в своих движениях, отчего и его расчеты также точны, – хороший конь не может не чувствовать... тогда они оба как настроенные струны арфы: коснулся – и рождается звук...

Верховой на чалой лошади обратно тоже промчался, но не намного лучше, чем в первый раз. Лошадь и он были по отдельности... Видно, и зрители тоже не получили никакого удовольствия.

Верховая езда, как думал Мзалей, не только навык и привычка, но и прирожденное желание, потребность, – как, скажем, из утиного яйца вылупился утенок – и тут же устремляется плавать. И вот как в малом утенке сразу существует божественная сила плавания, так и в крови человека может быть талант скачки-полета.

Второй была каурая, высокая и стройная лошадь, и всадник достойно держался, был довольно-таки сосредоточен, точны были его движения. На тот и на этот конец прошел хорошо, здесь и там осталась «роспись» на земле – следы скользящих копыт. Но Мзалей видел, что и этот тоже не доставил собравшимся особого удовольствия.

Каурая была слишком «рабочей», прилежной, но не больше, подумал Мзалей, тут недоставало красоты, легкости.

После каурой на дорожке появилась новая молодая и горячая лошадь – серая в яблоках. Встала на дыбы, прыгнула как лань в одну, в другую сторону, даже зрители отступили. Верховой был маленький, прыткий, сидел и не сидел, вертелся в седле. Прикрикнул на разгулявшуюся свою серую пронзительным фальцетом. А она до того разыгралась, что, когда в конце дорожки он осадил ее, поскользила копытами, вывела какие-то каракули – и вдруг, будто проснувшись, помчалась снова. По рядам зрителей прошел смех. Этот джигит немного позабавил людей. Но то, что слишком, что

нарочито – никогда не достигает цели. К тому же, Мзалей был уверен, выступление слишком напоказ здесь не будет иметь успеха – более ценно, когда талант сдержан, подконтролен разуму, выражает себя без нажима, не режет, а радует глаз – тогда он и рождает радость, находит сердце.

Это было чертой народной.

Потом еще выступило несколько всадников. В них Мзалею понравилась подтянутость, выправка древних воинов, когда прямо сходились лицом к лицу. Движения были строго соразмерены – от резких до еле заметных. Если бы они (тогда, в тех смертных схватках) перехватили через край или недотянули, – одно неверное движение – и воин мог поплатиться жизнью, не успев бросить копье, замахнуться мечом.

...Наконец дорожку прошел вороной конь – трудно было уловить, когда его ноги касаются земли.

Перед броском, на мгновение, его успели увидеть все.

Всадник был молодой, но зрелый, крепкий, подтянутый. Обветренное лицо его светилось и выражало сосредоточенность. Как вершина, подумал Мзалей, которой целый день нашептывает тайны высоты пронзительный горный ветер. Вместе с конем – оба они ни разу не ранили воздух даже малейшим лишним движением. Вот здесь и конь и седок действительно были одно – как древние кентавры – и человек был конем, и конь был человеком.

Воцарилась тишина.

Шум утих на всем протяжении отсюда, от дорожки, и до длинной, легкой, специально предназначенной для больших застолий постройки – ащапа, где готовилось нынешнее торжество. Каким-то образом всем сделалось понятно, всех охватило это ожидание, не простой, не обычной джигитовки, где один чуть лучше, другой чуть хуже выполняет традиционные приемы этого рода езды, чему вполне можно научиться, – а большего: может, и не намного, но как раз на ту ступень температуры, которая дает кипение или рождает пламя искусства, искусности, которая каким-то образом сводит на долю мгновения, соединяет ищущие друг друга всю жизнь и мысль и сердце человека.

Как бы напряженно ни всматривались, никто толком не заметил, когда же рванул вороной... увидели лишь, как, уперев стройные ноги после рывка, – а сам бег-полет и проследить как следует не успели, – оставил он самые уверенные, длинные, совершенные «письмена» на земле. Собравшиеся приготовились внимательнее следить на возврате, да куда там! Будто молния блеснула, которую скорее только почувствуешь, но не остановишь взглядом, можно заметить, да нельзя разглядеть. Важно не только увидеть, рассмотреть это мгновение между рывком и финишем, но и само то необыкновенное, почти неуловимое чувство, прекраснейший привкус, равного которому не бывает и который вызывает неизъяснимое желание больше и лучше познавать его...

Единственный раз за все время, как наблюдали это зрелище, Алоу машинально прижался плечом к Мзалею. Но и Мзалею не до того было, после напряжения испытанных чувств и желаний по его лицу катились капли

пота, теплого, успокаивающего, дыхание и сам воздух, которым он дышал, сделались осязаемо чистыми. Он чувствовал, что глаза полны слез.

Мзалея посадили на таком месте и так удобно, что он мог свободно обозревать всех участников нынешнего большого празднества. Строение, в котором они помещались, длинное, узкое, крытое черепицей, со стенами из каштановых досок, без потолка и с земляным полом, было предназначено именно для таких небольших по здешним понятиям, но и не маленьких застолий.

Пока никто не притрагивался к еде. Уже раздали мамалыгу и дымящееся вареное мясо. Если не считать случайного простуженного покашливания, было тихо. В помещении стоял дух горячей пищи, парок над ней смешивался с ароматом вина. Все ждали, не видно было, чтоб кто-нибудь в нетерпении смотрел на еду или сглатывал слюну. Казалось, собравшихся смущает этот стол с яствами – сидели чуть откинувшись, высоко держали голову.

Отсюда Мзалею и Алоу видна была свита, в центре которой восседал сам Алма. Неподвижные, торжественные, они казались вышитыми на ковре за их спиной. Справа и слева от хозяина расположились родовитые дворяне, дальше – мелкопоместные, за ними – стремящиеся к дворянскому званию зажиточные крестьяне («Двуликие, – сказал о них Алоу. – Заискивают перед силой, а с остальными – надменны, жестоки, грубы. Более или менее порядочный человек любого сословия презирает их. Зато дворяне их руками творят самые гнусные дела»). Еще дальше сидели, их было немного, крестьяне – воспитатели барчуков, связанные молочными, покровительственными узами с представителями голубой крови, за ними – свободные крестьяне-работяги, которых вполне устраивало свое сословие: не льнули ни к кому; а по самым краям стола устроились бедные крестьяне, близкие лишь по соседству, с этими все остальные сословия считались мало.

Со стороны также бросалось в глаза, что ближние к Алме хранили независимую важность. Однако, пожалуй, и об остальных гостях посередине стола и дальше можно было сказать, что хоть сидели и рядом, но каждый оставался в отдельности: пока еще бездействовала энергия контакта, сближения.

Уже Алма вставал и провозглашал тост за встречу по такому хорошему случаю, уже к столам подходили девушки с подносами – и легко и плавно протягивали гостям рюмки с чачей. Мзалей запомнил обжигающую крепость чачи и как она пахла виноградом. Потом начали передавать чарки друг другу – «чаанбзиала» («чтоб и в будущем мы встречались по-хорошему») – обряд знакомства или приветствия через тост. Затем перешли к вину, и еще продолжили «чаанбзиала». Вино было красное, не густое, пахло свежим виноградом и почему-то земляникой, отметил Мзалей.

Второй раз поднялся Алма и провозгласил тост за тамаду. Как только прозвучало имя тамады, сидевший рядом высокий, сухощавый человек, безусый и смуглый, с добродушным, как показалось Мзалею, лицом, начал

что-то говорить Алме. Но тот даже не повернулся к нему, и тогда кандидат в тамады пожал плечами, покачал головой и стал смиренно слушать.

– Думаешь, ему неприятно, что его избрали тамадой? Просто хочет немного пококетничать, – ухмыльнулся Алоу. – Все равно знает, что раз провозглашенный тамада не подлежит переизбранию. Остальные – те просто соглашаются...

После того как стоя, с короткими тостами выпили за тамаду, все опустились на место, сел и тамада, заранее поблагодарив собравшихся отдельным тостом за то, что доверили ему столь трудное, но почетное дело – руководить нынешним столом, где столько высоких гостей, достойнейших...

Он повременил немного, дал закусить застольникам. Мзалей вполне отвык от острой, наперченной пищи – тем не менее он старался привыкнуть заново. В этих острых вкусах, великолепных ароматах он пытался припомнить, уловить вкус детства, этой земли, этой жизни...

Наконец поднялся тамада, ему передали рог, украшенный серебряной чеканкой, наполнили вином.

– Надо будет встать, – подсказал Алоу.

Все, кроме Алмы и еще нескольких почтенных старых дворян, как по команде встали.

Алоу и Мзалей тоже поднялись.

Шевеля челюстями как у породистой лошади тамада провозгласил тост за здоровье Мзалея, славного сына славного рода Анчаа, столь долго находившегося в разлуке со своими родными, близкими, домом, народом, родиной, дабы узнать, увидеть, услышать многое, выучиться, а затем все это обратить на пользу здесь... Сказал о том, как первым долгом он сделал счастливой старость отца и матери, стал рядом с братьями... Однако, достигнув высоты, выучившись, он уже не только сын своих родителей, но и всего народа... И потому его приезд радость не только для родных и близких, но для всех, малая толика которых находится сегодня здесь. «Поднимем же, господа, тост за здоровье и благополучие того, кто сегодня так обрадовал нас!»

Мзалей был смущен до крайности. Сперва он слушал с любопытством, но потом все больше и больше им овладевала неловкость, в конце он уж совсем опустил голову.

Когда тамада закончил говорить, Алоу дернул за рукав:

– Посмотри в его сторону и поклонись!

Мзалей так и сделал.

Тосты в его честь возглашали довольно долго.

Многие отделывались обычными истертыми пожеланиями, но были и такие, что говорили свежо, содержательно, тепло; несколько человек сказали просто великолепно, талантливо, без всяких красивостей, точными, отборными словами, а закончили стреляющей, запоминающейся фразой. Считай, каждый тут сложил в его честь, посвятил ему настоящую оду.

Мзалей поднял стакан, желая поблагодарить всех.

– Рог! – раздался рычащий голос. Это был Умар, оказался на порядочном расстоянии слева.

Мзалей остановился. На той стороне стола Алма махнул рукой.

– Пускай пьет как ему удобнее! – крикнул тамада. – Успеем с ним и рог выпить.

Умар недовольно буркнул что-то.

– Ты его не слушай, делай, как сказал тамада, – посоветовали рядом.

Мзалей сначала было очень уверенно поднял стакан, но когда его сбили, отчего-то смутился, благодарил за пожелания скороговоркой, механически, и сам не запомнил ни одного слова из того, что сказал. Запил вином горечь неудачи.

– Да благословит тебя Бог! – дружно ответили все на его благодарственный тост.

Видимо, чтобы не дать мне почувствовать, как неудачно мое выступление, думал Мзалей, подавленный.

После этого некоторое время все были заняты сами собой, понемногу закусывали; однако постепенно больше стали уделять внимания друг другу, переговариваться, энергия общения начала свою работу.

– Закусывай, впереди еще придется выпить не один стакан, – сказал ему Алоу.

Но Мзалей видел, как сам Алоу ел очень немного: выбирал самые постные куски, острым ножом ловко разделял их. Несколько таких полосок еще теплого, ароматного мяса подложил и Мзалею. Чувствовалось, что Алоу не захватила еще та самая энергия общения. Мзалей тоже пока оставался в подобном же одиноком состоянии. Не мог оторваться от утренних впечатлений и всецело перейти к тому, что происходило здесь, за столом. Старался полностью ощутить себя в настоящем, но не получалось: то вспоминал, как не хотела поддаваться рука матери, когда приложился к ней... слышал бас княжны, видел, как менялось лицо и поведение Сафии... и где-то в утешение светились лица Майяны и Кесарии...

А иногда ему казалось до сих пор, что все это еще сон... как почти все за столом встали, говоря тост за него... Да, видимо, многие просто подчинялись обычаю, но он верил, что среди собравшихся есть и такие, кто это сделал искренне и с надеждой («А вдруг, а вдруг, там, за...»).

Человек, особенно такой, который очень страдал, подобен измученному жаждой, – он всегда надеется на хотя бы глоточек влаги, участия, помощи, мысли...

– Где же Эсма? – спросил вдруг Алоу.

Голос его показался Мзалею странным, он повернулся и посмотрел. Бледное породистое лицо соседа все было в красных пятнах.

– Я, право, не знаю, она непонятно себя ведет. Чувствую, что я тоже где-то виноват, не успел уделить ей внимания...

– Я не могу заговорить с ней с тех пор, как она надумала наложить на себя руки... – голос Алоу дрогнул. – Это ужасно, ужасно...

– Я думаю, это все же было не серьезно, на какой-то миг ее мимоходом задел дьявол... – Мзалей до сих пор об этом и не думал, и ни в чем таком не был уверен, но он уже понял, что здесь у Алоу что-то серьезное.

– Хоть бы, хоть бы...

– Это точно так, разве не видно по ее лицу?

– Хоть бы...

Застолье уже разгорелось, и шум голосов заполнял помещение. Тамада сказал еще тосты, уже целую партию винных стаканчиков разом. Стаканчик перед Мзалеем был чуть больше водочной стопки, поэтому хмеля он еще не чувствовал.

– До недавнего времени на таких застольях, даже на свадьбах – не пели, – поменял вдруг Алоу тему разговора. – И сейчас не легко превозмочь себя...

– Даже так?..

– Но здесь хоть сама песня жива, а как там, за морем? Кто знает! Долго, очень долго оставаться в забвении песня разве может? Но тот, который оставляет родину, он как умирающий – ничего с собой не может взять... То, что родила та или иная земля, ей и остается, корни-то в ней...

– С тех пор, как я приехал, лишь один раз слышал арфиста...

– Да и он тоже поет песни горя... не поет – причитает...

– Лучше уж чтоб причитали, чем вовсе молчать.

– И свадьба прежде была другой, и любое веселье... Но каким же еще может быть народ, у которого половина отсечена! Пока еще в шоке, похож на раненого с пулей в груди... Беда, ставящая народ между жизнью и смертью, на грань гибели, сама по себе не исчезнет. Вместе с множеством жизней уходит необратимо, навсегда, множество ценнейших качеств народа, а если даже сохранятся – часто они неузнаваемо переменяются, искажаются, либо до того ослабевают, что если их не поддерживать, не культивировать, – упадут, как слишком ранний плод... А мы все сидим сложа руки и чего-то ждем...

– Да, мы похожи на человека, проснувшегося с проломленным черепом... – поддержал Мзалей и удивился, как все это разом, целиком родилось в гортани, услышанное еще от няньки. Помимо этого заметил и за собой и за Алоу, как они свой народ называют – «он».

– Знаешь, чего я больше всего боюсь? Что наши люди свыкнутся с болью, как со своей судьбой, и привычка станет их характером. Если случится такое, они перестанут думать о причинах, перестанут от нее защищаться. Беда еще страшнее, когда народ привыкает к своему несчастью, растворяется в нем. Тогда уж почти невозможно преодолеть ее...

Алоу нервно заерзал на месте. Похоже, он все это глубоко переживал, но Мзалей видел, как тот все же называет свой народ, чья кровь текла в его жилах, чья душа лежала в груди, называет – «он» и дальше не идет... Мзалей понимал, что пока свой народ называешь так, во втором лице... невозможно по настоящему быть близким с пространством между этой землей и небом. Все это он достаточно ощутил на себе: оставаясь непризнанным, незамеченным пространством, ты будто находишься вне этого мира, будто

этот мир выпростал, отделил тебя – и не как собственное дитя, которому он дает сперва жизнь, а потом и пожирает, нет – как чужеродное тело, или как метеорит, сгоревший не достигнув этой земли.

Землю делают Родиной – люди.

– Мы – ветви не простых, особых родов, обязанных стоять впереди, на нас смотрят стоящие за нами, – и мы тоже совсем растерялись, живем в каком-то тупом оцепенении. А обвиняют – за то, что было, что будет – и боги и люди – нас. А остальных («Остальные!»), тех, что в поте лица добывают хлеб свой насущный и тратят в труде все силы, – их-то никто не обвинит...

Со двора доносились крики играющих детей. Громче всех, покрывая остальные голоса, звучал голос Астамыра.

– Абнауаюы – лесной человек, дикарь идет! Не пускайте, не пускайте его! – все громче выкрикивал Астамыр. – Дикарь, дикарь!.. – носились в воздухе испуганные голоса других ребят.

Потом постепенно голоса удалились, видно, дети углубились в старый запущенный сад.

Застолье постепенно приближалось к зениту.

Ели недолго.

Приготовили закуску для очередной партии тостов: длинные тонкие кусочки мяса, аджику, ореховую, алычовую подливу. Затем почистили лезвия ножей сперва о кость, потом о струганные доски, служившие столом для такого большого количества гостей, и положили перед собой.

Чем больше проявлял себя дух застолья, чем больше нарастала энергия общения, тем дальше оказывался Мзалей от того, что происходило, течение праздника оставляло его в стороне, в позиции как бы не участника, а наблюдателя. Со стороны ему даже было виднее собравшихся, но ему бы хотелось быть с ними, чтобы и его захватила стихия празднования. Та невидимая черта, что отделяла его от живого застолья, обладала своего рода внушительной энергией: трудно было найти переход, какой-нибудь брод... А гости, уже занятые самим процессом пира и друг другом, забывали о нем. Застолье теперь обладало единым дыханием, обретало свой голос, собственную жизнь. Мальчики с большими пузатыми мокрыми от вина кувшинами, из которых, прежде вина, выходил крепкий винный дух, а потом уже вино, бегали из конца в конец стола неутомимо, в своих штанишках с оттопыренными карманами.

Иногда объявлялись по одному, по два-три человека запоздавшие, им находили места, усаживали. И сразу же к ним подходили девушки: чуть выгибая спину, выставляли вперед плавным движением руки подносы с чачей в стаканчиках. Они, эти девушки, чем-то походили на всадников, которых Мзалей видел сегодня; все движения были рассчитаны и отработаны опытом. Со стороны казалось, что к столам они направлялись нарочито медленно, однако успевали вовремя – точно тогда, когда новому гостю, уже получившему из рук их товарок угощение и заморившему червячка,

требовалось поднять чарку. И уходили они вовремя, без суеты, уступая место виночерпию.

...Это была игра, слитая с жизнью, где роли распределены точно, как при верховой езде, которая в этих местах и для мужчин, и для женщин не более сложна, чем пешая прогулка.

Родовитые семьи не играли роль исполнителей, обслуживателей в великой и сложной игре – жизни, но в таких мистериях их увлекал сам процесс и ставил со всеми прочими рядом, даже наравне, а избранность, сила, власть, спесь – все временное в какой-то мере ослаблялось, отдалялось. Обычные узы, связывавшие их в клан, постепенно и незаметно уступали место общему, объединяющему чувству, настроению, и пусть на время, но всем сидящим здесь за столом, виднее и понятнее становились то горе, та радость, та надежда, что в равной мере касались тут каждого. И пока бывал так слит, объединен дух собравшихся людей, всякий из них чувствовал себя увереннее, это чувство заключало в себя каждого, как крепость, и защищало. И привкус освобождения, которое они здесь почувствуют сладостно и тревожно, потом еще долго теплился в душе...

Один Мзалей оставался за стенами этой «крепости», снаружи. Рядом с ним сидел Алоу. И Мзалей все меньше и меньше чувствовал его соседство, – видимо, оттого, что тот был со всеми.

Если бы Мзалей мог включиться в это единение, он, возможно, сам своими глазами увидел бы пустое гнездышко, ячейку, откуда он когда-то выпал надолго, как вынутое зернышко из целого початка кукурузы. Но теперь его места здесь уже не было, даже и следа, надо было найти новое гнездышко, ячейку.

– Дикарь идет, дикарь! – донесся откуда-то чуть охрипший громкий голос Астамыра. – Держите его, держите! – За ним кричало еще несколько детей, голоса их были тревожные, испуганные, словно действительно поверили в то, что сами сочинили. Потом голоса детей опять куда-то удалились.

Такое застолье, безусловно, не простая трапеза. В налаженное действо входило много другого, важного. Празднество уже разгорелось, как мощный костер. Мзалея все больше и больше томило, что сам он тлеет отдельно, а не пылает со всеми вместе.

За столом постепенно наладились связи, и наконец они слились, словно кровь одного человека струилась по сосудам другого и наоборот. Время, которое ни с кем, ни с чем не считается и течет себе без остановки, они остановили, озвучили, дали ему голос, сделали соучастником своих чувств, дали прикоснуться к их боли, на ухо ему шепнули о своих надеждах. И вот им уже казалось, что само время говорит с ними, они начинали верить – никто из них не одинок, и появилась надежда – само небо может услышать о том, что их беспокоит здесь, внизу, на земле...

Какой бы сильный ни был человек, долго один он не может. В семье мужчина находит женщину, женщина – мужчину. Но этого тоже недостаточно, еще есть соседи, приятели, друзья, родственники. Человек –

составная часть поселка, деревни, волости, страны, народа и всего мира. Все они вместе стерегут его от одиночества. Но, с другой стороны, очень дорого обходится это человеку: он жертвует своей свободой.

Человек – откуда бы он ни был, к какой бы национальности ни принадлежал, ведомо ему, нет ли – все равно под всеми внятными ему надеждами покоится самая затаенная, самая главная из них – надежда на то, что когда-нибудь откроется возможность за своей спиной ощутить целый мир, где все служит ему оплотом, что наконец-то он освободится от постоянного страха, который неотступно следует за ним с тех пор, как человек осознал себя на земле. Чтобы наконец он мог поверить: мир не столь уж бесповоротно гибелен, он может быть даже и ручным, – не как сейчас, когда, по всему, готов сломать человека, будто соломинку, раздавить, растереть в порошок. Но человек забывает, или вовсе не ведает о том, что земля, где ему так тесно, где он готов пролить братскую кровь из ненасытного желания иметь больше других места под солнцем, – всего лишь пылинка в ураганном водовороте космоса, всего лишь последний лист, который сам дрожит и трепещет от страха...

Человек вечно надеется, что как только он по-настоящему почувствует родную землю, она поможет, спасет, познакомит-сведет его со всем остальным миром, чтобы не пугало его непонятное лицо этого мира, и в силах он был сносить этот великий омут – небо, и мог бы идти под ним, не прикрывая ежеминутно слабыми руками хрупкий свой череп. Вечная тревога, вечный страх и желание избавиться от него – толкают человека на такие размышления...

В этой надежде больше всего нуждается его народ, думал Мзалей, мой народ, который разбит, раскромсан, влачит жалкое существование, разбросанный от Трапезунда до Каира, по чужим пескам, среди чужих... как вырубленный лес, сплавленный по морю... И оставшимся здесь не сладко: им достались на своей же земле худшие куски, лоскутки... Прижали их к самым подножьям гор... Они, люди его народа, желали быть близкими с тем миром, который окружает их, который почему-то был враждебен к ним, желали помириться с ним, точнее – чтоб он их признал и помирился с ними. И небо они ублажали, и поднимали под ним храмы со светлоликими куполами. Но и небо не заступилось за его народ. И когда колесо слепой беспощадной арбы – истории прокатилось по нему, да не раз, никто не захотел жалеть этот народ, даже из тех, которые сами едва спаслись от страшного колеса. И стали на грудь поверженных, злорадствуя, и говорили, что те у них в руках, под их сапогом, и никуда от них не деться.

И откуда им было знать, злорадствующим, что то же самое чувство руководило ими: тщились смягчить хоть на время чувство страха, гнетущего ощущения слабости и неполноценности, дабы приободрить себя этой предательской, гнусной победой над истекающим кровью народом. Но все это было – позор для предводителей тех, которые шарили по истерзанной земле, по истории, культуре поверженных, будто мародер по карманам павших...

Эти мысли снова, как тогда, во времена тоски по своему народу, по родной земле, брали его за живое и здесь, после того как он вдруг остался один по эту сторону невидимой черты, за которой лежал путь к живой жизни его народа и которую он сразу не одолел.

Его народ... как загнанный беженец, задыхаясь, начал снимать с себя все и бросать духам – в надежде, что смилостивятся... бросал на пути свои бесценные ценности, не в силах вытащить их из вязких столетий, из лап хищников... путая свои следы, шел, глотая слезы, пот и кровь...

Но однако же люди должны, наконец, понять друг друга. А люди и составляют народы. И все, что делается против этого, – все губит.

Все же, все же эта надежда вела его народ – хоть на его плечи легла такая тяжесть, что он не может сделать нормальный шаг вперед... но все же он есть, стоит, выстоял.

Народ тысячами нитей связан с миром, с пространством, он их дитя – они всем и каждому не уставали сообщать: жизнь – это не просто испытание, не забава природы... народ, национальность – та же самая природа, они – душа, человеческая культура, духовность, и чтобы вечно пульсировала жизнь в жилах человечества – необходима такая разница, союз разностей.

И то, что они знают и помнят о страданиях, думал Мзалей, и то, что это уже смехом не успокоишь, – трагично, но необходимо. Смех, веселье – хорошо, но если оно закроет, замажет незалеченное страдание – хуже и опасно.

«“Песнь ранения” – вот главная песня такого народа, на теле которого – вечные раны... – все дальше уводили его размышления. – Это как вечный неизбывный гимн. Только такая песня теперь может выразить в какой-то мере душу народа. Известное дело: как смехом, так и одним плачем тоже не утешишься. Тогда – песней. И если песня, то “Ахураша” – “Песнь ранения”».

...Тот знает цвет крови, кто терял ее, и еще кто видел, как она может вытечь до последней капли... С болью не знаком тот, кто не был ранен. Боль не смерть – а жизнь...

Снова в застолье ворвались голоса детей, перекрыли шум пирующих. Вдруг в помещение влетел Астамыр, раскрасневшийся, ружье держал над головой. Умар окликнул, Астамыр подбежал к нему. За Астамыром появились и остальные ребята, тоже раскрасневшиеся, потные. Увидев, что их предводитель занят, смущенно остановились...

Астамыр наклонил голову, и Умар что-то шепнул ему. Издал смешок, другой и подал мальчику стакан вина. Сидевшие вокруг переглянулись, но промолчали. Астамыр потянулся к стакану.

– Пока не скажешь тост – не отдам, – отвел руку Умар. – И только громко!

– Скажу! – мальчик потянулся к стакану еще раз.

Умар отдал стакан.

– Благослови Бог! – воскликнул Астамыр. – Чтобы двинув левой рукой – загребал богатства, двинув правой – отрубал сто голов! И все, кто противиться будет, пусть превратятся в презренных нищих!

Сказал так, осушил стакан, поставил со стуком и помчался дальше. За ним пустились и другие. От них шарахались девушки с подносами – с яствами и чарками полными чачи, мальчики с кувшинами, – чтобы их не сбили с ног. Выбегая из задней двери в конце помещения, ватага издала пронзительный воинственный клич.

Алоу что-то говорил мужчине справа от себя, а второй сосед Мзалея даже отсел ближе к своему приятелю, и они очень оживленно о чем-то беседовали.

Его-то не замечают, ладно, пусть – но почему никто, хотя бы сам Алма или другие братья, не видят, что Умар неправильно себя ведет с мальчиком, раздраженно подумал Мзалей: мальчику вино, еще это ружье. И он вдруг вспомнил, как однажды сотворили с ним самим... Хотя Умар тогда уже был почти взрослым, подростком, он руководил той гнусной игрой. Улучив минуту, когда поблизости не было няньки, он заставил его, маленького Мзалея, бежать по саду, и напустил на него свору старших детей. Когда они его догоняли, он должен был упасть. «Убит!» – орали они и перепрыгивали через него. Потом он снова должен был вскочить и бежать еще, опять падать, опять бежать, опять падать... И это продолжалось, пока он не упал почти бездыханный от усталости и ужаса.

Вероятно, они и теперь так развлекаются. Не может быть, чтоб Умар не научил Астамыра этой гнусной игре. Но кого они сейчас «убивают» еще и еще раз?

Мзалею совсем уж несладко стало за этой чертой, после этого воспоминания.

Шум заполнял помещение как талая вода, прибывающая с гор к вечеру. Но время застолья – особое, оно перекрыло шум, оставило людей один на один с соседом. И словно голос слышали они стук сердца ближнего, чувствовали, как пульсирует кровь в жилах: перекликались, соединялись доброжелательность друг к другу и неисчезающая боль каждого... энергия объединения, сближения возрастала, все больше давала знать о себе. Сближение, соединение пространства томило людей ожиданием чего-то нового, обнадеживающего, ожиданием участия, понимания – и обещало еще новое, другое сближение. Но когда это томление все длилось, а обещание не исполнялось, опять, как в одиночестве, спины их начинали замирать от безвестности, разъединенности пространства.

Мзалей думал о том, что близость его народа с теми народами, которые существовали по соседству и дальше, вокруг, – все после пережитой трагедии словно сорвалось в бездну. Сохранившиеся связи были или странными, искаженными, непонятными, либо их вовсе не было. Мир, который существовал за ними, дальше, – приблизил к ним свои внешние границы, даже прижал их, – но от этого настоящей близости не было – наоборот, народы стали более далекими.

И Мзалей при этой мысли еще острее ощутил свое положение отторгнутого от собственного народа – между ними лежал изолятор, как меж электрических проводов.

– Неужели так и разойдетесь, не спев... – как из другого мира пробился к нему голос Алоу – после столь долгого отсутствия.

Мзалей почувствовал некоторое раздражение: Алоу до сих пор не постарался заговорить, вызволить его из одиночества, хотя, вероятно, понимал его ощущения.

– Все же надеюсь, что споют... – Алоу взял нож, искусно отрезал длинный и плоский ломоть, потом его же порезал на более мелкие куски.

Мясо резать они умеют, подумал Мзалей (лучше бы сказать – «мы»), следя за холеными длинными пальцами Алоу, которые орудовали ножом как смычком. Он посмотрел и на свои руки – ему тоже не стоило бы упрекать другого.

Человеческие руки должны быть заняты: если они не держат плуг, то должны уметь что-то другое, — а так, не занятыми, выдерживают недолго, станут тянуться к оружию, думал Мзалей.

– Этого мальчика Умар испортит... – Алоу перевел разговор на обыденное. – Но как можно его вырвать из этих рук... – упомянув об Умаре, он даже перестал есть, почти брезгливо отложил кусок в сторону, словно почувствовал некий привкус, напомнивший еще что-то такое об Умаре...

– Я уже не знаю своих братьев – ты их знаешь лучше, – Мзалей взял салфетку, лежавшую перед ним, стал рассматривать вышивку – только сейчас заметил ее. – Говорят, своя кровь свою узнает, но пока что-то не замечаю в себе... Меня это беспокоит...

– Не спеши... – Сейчас он близко увидел внимательный взгляд Алоу, который пересек, пробился к нему из-за той невидимой черты. – Всему свое время! Не то что ты, уезжавший на столько времени, но даже и мы здесь, живя бок о бок, не узнаем своих братьев, чужие стали сердцем. Каждый день пялим друг на друга пустые глаза.

– Да, познавать надо вот этим... – он положил ладонь на сердце.

– Не торопись...

– Я здесь не по случайной прихоти – меня позвала родина...

К сожалению, подумал сразу Мзалей, для большинства оставшегося здесь дворянства земля сделалась скорее географическим понятием, либо все для них упирается в их имения, которые кормят их, – а то, о чем пели в своих песнях-причитаниях изгнанники-махаджиры, умиравшие со словом «родина» на устах, – либо вовсе опочило в их сердцах, либо покрылось пеплом равнодушия.

– Это уже о чем-то говорит, если она достала там тебя... ее сила. А то что-то слишком много стало в нашем существовании такого, куда уже не достает наша родина... Пусть не минет тебя ее теплый взгляд, теплое сердце, чтобы вы доверяли друг другу свои тайны! Аминь!

– Аминь! – сказал и Мзалей. – Аминь!

Не сговариваясь, оба непроизвольно подняли стаканы. Но только поднесли к губам, кто-то так рявкнул, что все оглянулись. Опять Умар. Отсюда было видно, как глаза, зажженные выпитым, вспыхивали в темных глазницах.

– Кто это разрешил поднимать стаканы, как и когда, какой виночерпий не доглядел, покажите мне его! — голос Умара был совершенно пьяный.

Мзалей поставил свой стакан обратно на стол.

Алоу выпил свой стакан, не слушая криков Умара.

– Подними, подними, не обращай внимания, – сказал и Мзалею. – Он по другому не может: наелся, выпил, а теперь для полного удовольствия должен кому-нибудь насолить.

– Сейчас же дайте ему полный рог, чтобы не своевольничал! – Умар поднялся, указывая на Алоу. – Тамада, не понимаю твое отношение!..

Тамада тоже встал и смеясь показывал на Алоу.

– Давайте, давайте, я выпью этот рог, если даже упаду! – сказал и поднялся Алоу.

Принесли полный рог. Алоу молча выпил, перевернул:

– Смотрите, кто не слеп!..

Потом, не выпуская из рук, протянул рог виночерпию, чтобы наполнил заново.

– Я давно не пил столько вина, но сейчас с удовольствием – из солидарности с тобой, – Мзалей уже стоял, приняв рог. – Может быть, стоит немного забыться.

Сначала неудобно, непривычно было ему пить из рога, но постепенно приспособил его получше. Вино оказалось мягкое, приятное и пилось легко, только в самом конце остался какой-то привкус, видимо, от еще новенького, недостаточно пропитанного вином рога.

– Таких как Умар ничем не проймешь, – ухмыльнулся Алоу, когда уже сели и немного закусили после выпитого. – Он твой брат, и мне как будто не чужой, но... Извини за резкость, но такие люди – вне морали народа, вне всякой морали... Он так постарался, что вряд ли найдется хоть один человек, который бы о нем мог сказать что-нибудь хорошее... Разве только этот мальчик...

– Не знаю... – отозвался огорченный Мзалей. – Я тоже ничего утешительно не помню про него... Но меня не столько он беспокоит, если так уж его не исправить, а мальчик... Куда смотрят отец и мать?!

– Что они против Умара... – бледное лицо Алоу порозовело от выпитого. – Такие как Умар в нашем нынешнем положении – самый страшный сорняк. Не думаю, что это выпитое действует на меня. Я вижу, тебе можно рассказать... Они камнем легли между теми, кто хочет объединиться с народом, и самим народом. Народ как никогда нуждается в участии, в объединении, он разъединен, от страшного потрясения порвались или ослабли узы, которые людей делают народом... Что же говорить о таких, как Умар, когда даже в черные дни махаджирства враги не могли нанести столько вреда нашему народу, сколько такие как они... Эти твари как лезвие

кинжала сразу показывали два лица, даже в страшном бедствии рыскали, ища себе выгоды...

– Какое значение имеет – брат тебе такой человек или нет... – выпитое вино прибавило Мзалею бодрости, однако он сомневался, не слишком ли резко отзывается о брате, по крайней мере – не слишком ли рано. – Родством не бросаются, но когда речь идет о смерти или о жизни...

– Но я тебе не советую связываться с ним, категорически, – Алоу предостерегающе поднял палец.

– Я пока ни на что не имею права...

– И после...

Опять стали приближаться крики детей. Перекрывая все остальные, доносился уже порядком охрипший голос Астамыра. Услышав его, обслуживающие застолье девушки и мальчики с кувшинами вина поспешно отошли назад, освобождая проход. Но раньше детей забежал Бата, весь потный, с красными пятнами на лице, затравленно оглядываясь. Многие не заметили его, до того были заняты друг другом, но Алоу, Мзалей и все, кто стоял, наблюдали за этой жуткой сценой.

Следом за Батой ворвалась ватага с Астамыром впереди. Астамыр все так же держал над головой маленькое ружье.

– Дикарь, дикарь, держите его, держите! – вопил он. – Вот догнали, догнали тебя, ты убит, дикарь, повались, повались наземь!

Несчастный Бата с выражением дикого ужаса на уродливом лице еще раз обернулся и неуклюже, цепляясь за дверь, выскочил из бокового входа.

Ватага с криком бросилась следом.

— Дикарь, дикарь! Держите его, держите! – еще некоторое время доносились их голоса.

Ничего здесь не изменилось, в этой усадьбе, вдруг подумал Мзалей, ничего.

– Что же это делается! – почти громко сказал он.

– Не вмешивайся, не время...

– Недостаточно разве, что он и без того несчастный... это же какой грех... Неужели... Отец? Что он?

– Никто не хочет связываться с Умаром. А ты думаешь, это дети сами выдумали? Наверняка он нашептал племяннику своему...

– Что за несчастье, что за несчастье... – Мзалея немного разобрало вино, и ему хотелось встать, приостановить шум и сказать обо всем... Но он, конечно, никогда такого не сделает.

Неужели никогда? – подумал он. Сейчас он не может, да, но неужели и дальше будет так?

Застолье уже больше не разрасталось, но и не спадало. Стоял общий шум, все были заняты друг другом, энергия единения достигла высшей точки и так и держалась. Середина стола, ближе к хозяину, вела себя степеннее, холоднее. Время здесь в основном тратили на еду, на выражение надменности и презрения друг к другу. Вообще, за редким исключением, эти

люди едва ли не каждый день сиживали за подобными столами, виделись постоянно, и, хотя очень редко в этом признавались, но надоедали друг другу: отношения, разговоры – все изо дня в день повторялось и становилось смертельно скучным. А дальше от Алмы сидели те, которые встречались нечасто, у них сохранилось желание увидеть друг друга и каждый раз было, что сказать соседу.

Видимо, потому – чувствовал Мзалей – Алоу уже не хотелось возвращаться за черту, где его сословие привычно скучало, хоть и коллективно; по-настоящему в процесс единения они не включались.

– Я давно хотел спросить... – вспомнил Мзалей, и сразу ему стало интересно услышать мнение Алоу. – Но представь себе, некого, тем более что я хочу получить более или менее объективный ответ. Что-то он из головы нейдет... Да, я не помню, говорил ли тебе об этом, но в день приезда, там, на остановке дилижанса, меня приняли за него... Обознались. Видимо, настолько напуганы, что в глазах потемнело. Недаром же говорят, пуганая собака и на пень лает...

– А-а, ты о Мсоусте... – Алоу повернулся и внимательно, изучающе посмотрел на его лицо. – Как тебе сказать... Это скорее мы, дворяне, не могли спокойно на него смотреть – одним своим видом он вселял тревогу в наши сердца...

– И в твое?

– И в мое, и в мое.

– Настолько он был заметен?

– И это было: он действительно слишком выделялся – даже внешне... конечно, тут тоже ему не прощали, но дело не только во внешнем: он ни в чем ни перед кем не думал отступать. Но ты правильно уловил: все началось с того, что он был слишком заметен, – куда бы он ни пришел, все внимание было на него, все взгляды обращены к нему. Мы можем простить – и ум, и образование, даже и красоту, но в силе и власти своего не отдадим ни на вершок – никому. Если даже ты богатырь, герой – с нами должен быть как шелковый! Тогда на другие его качества у нас готова нагрузка, спрос, – и он их истратит на нас, на всякие пакости, и в конце концов себя погубит... А вот когда не влезают в рамки, когда тесно – и с этим не хотят смириться, нам тогда неприятно, и даже очень. И конечно, тут уж все постараются сделать так, чтобы утопить выделившегося... Для этого все средства хороши.

– И ты считаешь, что это правильно в нашем нынешнем положении, когда так подавлен наш дух?

– Я что – я думаю как и все мы. Мы хотим сохранить за собой силу, в нашем положении ее нельзя терять. Тогда и Бог на нашей стороне. Если верх возьмут те, которым все наши рамки тесны, тогда неизвестно, куда все это приведет... А приведет вот к чему: я думаю, к тому, что не станет ни народа, ни государства, ни родины.

Мзалей, удивленный таким поворотом в суждениях Алоу, хотел ему возразить, но почувствовал, что аргументов у него не хватит – не готов, и просто спросил:

– Народ? Как народ относится к нему?

– К Мсоусту? И любит и боится. Не знаю, чего больше боятся – нашего гнева или его резкости, непримиримости. Мы живем сравнительно далеко отсюда, но у нас его даже больше жалуют. Хотя стараются этого не показать, но не получается...

– Он вообще слишком горд, крут?

– Не без того, но зато готов был помочь всякому, кто в нем нуждался.

– Значит, был таким?..

– Был, был... После всех наших бед, когда опустели целые деревни, – дороги стали приводить сюда всяких. Начались грабежи, засады. Так вот там, где мог достать, успеть Мсоуст, – там никому из пришлых ничего такого не удавалось, и вообще предпочитали обходить здешние места стороной.

– Такого губить нельзя...

– Начал он сам. Метался, хотел, чтобы его поняли... А в конце, по-моему, стал себя чувствовать лишним. Он рвался к народу, а народ шарахается от него.

– Народ часто обманывается, не знает, чего хочет, а чего нет.

– И ничего бы хорошего не вышло, если бы они перестали шарахаться. Лучше, чтоб его вообще ни с кем не было... ни с нами, ни с народом. Так спокойнее.

– Неужели и ты так думаешь?!

– Не только я, но даже и те, которые в душе его жалуют, – думают то же. Жизнь – это такая штука... тогда бы они его оплакали, омыли бы его дорогое тело слезами, не скрывая своих чувств и любви к нему...

– До чего можно довести народ – чтобы он желал видеть своего героя мертвым! И к чему же он может стремиться?

– Не знаю!

Река шума утихла. Она не пошла на убыль, но уже текла как бы по равнине. Мзалей сделал усилие, чтобы его захватило хоть это спокойное течение. Вдруг его слух поразило нечто трудно, еле уловимое. Это было похоже на какую-то очень знакомую мелодию. Но ее никто не напевал – она складывалась, образовывалась из всех здешних голосов, вздохов, и, он был уверен, также из витающих здесь душ изгнанников. Это была мелодия «Песни ранения». Все тут были ранены. И «Песнь ранения» плыла над ними – чтобы унялась боль, но и чтобы напомнить – боль тоже есть жизнь, из нее создается песня.

Мзалей повернулся и посмотрел на Алоу, но тот явно ничего не слышал. А Мзалей слышал, но не мог подхватить. А он хотел быть раненым вместе со всеми, душа его отвечала, отзывалась беззвучной мелодии.

– После того, что случилось, – вдруг сказал Алоу, – судьба народа, земли, и честь и совесть его – все на ответственности нашей, оставшихся здесь. Только мы! Что в силах сделать потерявший родину, под подошвами своими не чувствующий поддержки своей земли!

Когда Алоу заговорил об ответственности, Мзалей невольно глянул в сторону братьев, сидевших на приличном расстоянии отсюда. Они увлеченно что-то обсуждали: по тому, как жестикулировали, видно было, что уже изрядно выпили.

– ...Но как поднять, как вынести тяжесть потерянного, отмершего? Мы стали походить на людей, руки которых заняты носилками с покойником, и они должны эти носилки все время тащить... – Алоу прижал к груди тяжелый подбородок. – Враги есть не только внешние, их и внутри видимо-невидимо. Среди них и те, которые за свой живот и свою выгоду все предают и все продают. Когда их видишь постоянно, от злости заходится сердце. Это зло снижает и боль, и доброту, любовь, чувство долга перед другими, надежды, желания – все превращается в пепел, и в гортани остаются перегоревшие слова протеста... Да и я, думаешь, лучше? – нет, не лучше... – он тяжело вздохнул. – Вижу, понимаю, стискиваю зубы, а потом возьму, оседлаю коня и скачу, куда глаза глядят, хоть немного развеяться. Здесь, внутри, видно, у нас у всех уже все отмерло...

– Нет, говорить, повторять – тоже что-то значит... Человек, который об этом и не думал, или не в силах думать, услышит твои слова сегодня, завтра, – а потом прислушается внимательнее и сам начнет думать...

Алоу подозвал виночерпия.

Подошел мальчик в войлочной шапке с оттопыренными карманами, немного уставший, но важный.

– Жажда нас замучила, мальчик, наполни эти стаканы.

– Не могу, – отозвался тот спокойно.

– Почему? – засмеялся Алоу.

– Не имею права.

– Я даю тебе право!

– Ты – не можешь. Право дает один тамада. Один раз ошибся, а дальше не допущу.

– Ты его боишься?

– При чем здесь – боюсь я его или не боюсь... – мальчику наскучил такой разговор.

– Ты прав, – согласился Алоу, желая загладить свой игривый тон. – Тогда прошу – пойди спроси у тамады разрешения. Разрешит – нальешь, не разрешит – потерпим.

Виночерпий молча удалился, вернулся сразу же, так же молча наполнил стаканы.

Мзалей и Алоу уже заметно были под хмельком. Очередная партия стаканов до них не дошла. К ним до сих пор тост ни от кого не переходил. Щадили Мзалея, но и Алоу тоже пока миновали.

– Видимо, какую-то партию мимо тебя не пропустят, ты должен будешь все же что-то сказать, – посоветовал Алоу, – это нужно...

– Я рад бы, но боюсь, что мне трудно будет перед всеми...

– Много не надо, несколько слов...

Мзалей видел, как ушло из Алоу спокойствие: выпитое, да и разговор с ним, видимо, разбередили невеселые мысли, боль испепеленных, как он сам говорил, чувств и желаний.

Хоть Мзалей и знал, что Алоу так успокаивает себя, в раздумьях и терзаниях, – и на этом все кончается, но все же уважал его. На всех на них лежал долг перед истерзанным народом, это мучило его. Но как исполнишь этот долг? И кому об этом скажешь, разве только небу, Богу! Что может человек, которому достаточно пули с маленький желудь, что он, его малые силы перед таким непомерно тяжелым долгом!..

Он все слышал, как носится дух «Песни ранения» над собравшимися тут, словно невесомая душа изгнанника, заставляя каждый раз замирать сердце. В горячих песках горя растворилась та великая влага веселья и радости, накопившаяся за плотиной народной жизни, и песня эта была как горячее дыхание ее.

Вдруг нерешительно возникла свадебная. Алоу и Мзалей молча переглянулись. Голоса были негромкие, но задушевные. Чувствовалось, что запевал молодой человек. Его сначала слабо поддержали, но он заканчивал мелодию и тут же начинал снова. В конце концов он своим упорством довел до ритмичных хлопков под танец.

Мзалей помнил из танцев только «Аибаркыра» («Хороводную»). Выскакивают отовсюду, перемахнут через столы танцоры – сильные упругие ноги, руки вскинуты крыльями, крыло на крыло – замыкают кольцо... начинали движение – кружили, становясь по-балетному на носочки, а потом переходили к быстрой пляске.

Захлопали уже сильнее и быстрее. И тут, с гиком, перемахнув через стол, выскочил танцевать молодой человек, в коротком архалуке, рука на рукояти кинжала. Сперва на носочках прошел по кругу. Не спешил, не суетился: грудь, вытянутая шея, вскинутая голова, энергичный размах руки («взлететь бы!») – все застыло, только ноги и пальцы работали, все прислушивалось и обслуживало их, даже взгляд был направлен как бы вовнутрь – так ему было виднее. Проплыл по кругу раз, второй, внезапный оборот – и пошел кружиться юлой. Затем бешеная пляска, с редкими остановками и «ашацхыртра» – быстрым танцем на самых носочках...

Когда из ребят больше никто не решился, одна из девушек передала свой поднос подруге и вышла в круг. Сначала отступила, осмотрелась, чтобы войти в ритм, подняла руки, как тяжелые крылья, повела плавно («подготовка к взлету!») – закружила вокруг парня, а тот лишь прибавил свой бешеный ритм. Потом она взяла расстояние и, ближе не подпуская, уходя от его преследования, начала прибавлять темп: уже трудно было проследить за быстрым движением ее ног, а затем они только мелькали в глазах. Парень преследовал, старался уменьшить ее круг-оборот, она не позволяла...

Танец более всего растрогал Мзалея, душа замирала, и слезы подступали к глазам.

– А вдруг... – сказал он шепотом, чтобы не услышал и Алоу. – А вдруг, а вдруг...

Посередине стола, вокруг Алмы, где было сравнительно тихо, – гости там словно не имели желания участвовать в веселье – полутьма вспыхнула в нескольких местах: там тоже стреляли.

– А вдруг, а вдруг...

Присмотревшись, Мзалей стал замечать все же, что танцоры не выкладываются до конца, сколько могли бы: а ведь только тогда и сам исполнитель получает истинное удовлетворение. Они подходили к этому уровню – и отступали, какая-то сила достигала их, ослабляла их волю и желание. Как только она доставала их, огонь искусства, возгоравшийся в крови, стремившийся плеснуть пламенем по небу, толкавший вместе с пламенем в прыжок-полет, в головокружительную скорость, – сразу отступал, опадал, слабел.

Это Мзалей заметил нынче и в джигитовке, даже у самых лучших из наездников... Он тогда не захотел поверить себе, но сейчас убеждался, что прав, – и еще больнее стало на душе.

Все это были следы удара, который перенес весь народ, который оставил незаживающие раны на теле и в памяти. Это было в жилах, как хроническая малярия. Организм пока еще не смог выработать защиту, иммунитет, и сила удара, отнявшего часть жизни, еще брала верх.

Но это необходимо преодолеть, думал возбужденный Мзалей, по крайней мере, нельзя терять надежду... Какое-то количество людей, даже целых родов может погибнуть, но народ – он должен остаться бессмертным.

В это время со двора послышался душераздирающий детский вопль. Сразу прекратились песня и танец (то, что не давало людям обрести себя, поверить заново в свои силы, сделало их болезненно чуткими). И застолье умолкло, исчез дух «Песни ранения», витавший над всеми. На мгновение воцарилась тревожная тишина. Ее разорвал истерический детский крик. Кричали от ужаса, и когда выше и больше было уже невозможно, крик закончился отчаянным плачем.

Мзалей обернулся и, отдернув неплотно прилегающий ковер за спиной, через открывшуюся щель увидел двор и на нем Бату: глаза его еще больше покраснели, вылезли из орбит, лицо было страшное, – но от гнева на нем проступило ясное сознание, и от этого в воздухе запахло убийством. Когда он стал догонять ребятишек, те запищали как цыплята, бросились к большому амбару, чтобы вскарабкаться по толстым его опорам на крышу, не смогли их обхватить – и с визгом стали разбегаться. Однако Бата не обратил на них внимания: он стремился дальше, у него была своя цель.

Наверняка он преследует Астамыра! Внезапно и как ему показалось позорное чувство мстительности появилось в душе Мзалея: хорошо, если проучит его как надо, – но, конечно, без увечий...

– Идите, идите же! – послышался взволнованный голос Алмы. – Остановите, уймите его!

Юноши и девушки, обслуживавшие застолье, все уже высыпали во двор. Время как будто ускорило свой бег... И тут раздался выстрел.

Мзалей увидел, как Бата на ходу дернулся, словно в самое сердце ударили невидимой дубиной, на мгновение застыл, а потом стал падать.

За столом повскакивали. Когда Мзалей и Алоу выбежали во двор, Мзалей первым увидел Умара. Тот нехотя шел впереди людей, и никто не осмеливался обогнать его. Но развившаяся болезненная чуткость уже донесла до всех, сделала ясным, что произошло несчастье: их лица говорили об этом.

Ружье валялось посреди двора, на примятой, по-весеннему зеленой траве, а детей нигде не было видно и слышно.

Алоу и Мзалей, ни на кого не обращая внимания, догнали Умара, когда он уже приблизился к упавшему Бате.

...Он лежал, неловко вывернув руки, и ладони его были как свернувшиеся от засухи листья. Глаза, в которых стыла смертная стужа, лицо со всегдашней печатью безъязыкого несчастья – непроясняющегося сознания, сейчас смотрели так, будто мир, которого он вечно боялся, как тени огромного чудовища, и который был для него самой злой мачехой, вдруг сделался родным и близким. С левой стороны груди, меж двумя пустыми газырями нового архалука, надетого на него в честь торжества, была выжжена, словно горячим пеплом от табака, черная дырка... В ноздрях застывала струйка спекшейся крови. Чуть поодаль на траве валялись куски ачашва, пирога с сыром, и мяса...

– Этим ружьецом мы не пользовались. Кто бы подумал, что оно может быть заряжено... – поднял ничуть не удивленное пьяное лицо Умар. Он ни на кого не глядел.

Затем пораженный Мзалей увидел шедшего сюда Алму со свитой. На нем лица не было, и видно сделалось, насколько он стар, устал и раздражен. Усы нервно дергались, ему хотелось шагать быстрее, но он не мог.

Мзалей перевел взгляд на Умара: его глаза смотрели из темных глазниц дулом ружья, которое готово выстрелить и еще раз продырявить, прожечь грудь распластанного на земле несчастного...

Как страшно началось мое свидание с родиной, с ужасом и болью подумал Мзалей. Теперь, совершись даже чудо, ничем не смыть, не предать забвению сегодняшнее...

ПОСЛЕ ДЕТСКОЙ ИГРЫ

За какие же грехи тебя, несчастного...
Плач

В тот день закончилась навсегда игра для этих детей. От того, что один нарушил все, переступив священный рубеж игры, все и нарушилось. Тот, который переступит эту границу, – дальше ему не будет защиты. За этим

шагом, которым он переступил рубеж, лежит только преступление, а прощения нет.

– Это за все мои прегрешения, Всевышний, ты шлешь мне страдания, чтобы ими искупила свой грех... – лихорадочно шептала спекшимися губами Хауйда, убитая горем и страхом.

Люди, которые были свидетелями происшествия, объявили, что тут роковая случайность, – смягчили как могли. Все были видавшие виды – и не стали раздувать...

Хауйду несчастье совсем сбило с ног... Бата был обречен со дня рождения, он был как живой труп в доме, но гибель, и такая жестокая, – невыносимо было, выше ее сил. И более того, нужно еще было этому случиться на торжествах в честь Мзалея – словно уж до такой степени несчастливая нога у него... Хотелось закрыться у себя в комнате, никого не видеть, не слышать. Но она боялась, что этим может сделать только еще хуже, – и, пересиливая себя, она выходила даже чаще чем обычно. А к Алме старалась быть как можно внимательнее.

Она его успокаивала, говорила, что так было угодно Богу, мол, все мы во власти Божьей.

Сам Алма никогда не думал, что так будет тяжело от смерти этого несчастного. Все готовы были обидеть его, и Бата частенько искал защиты у самого Алмы, прятался за его спиной, спасаясь от мира, который всегда держал для него в рукаве камень, сторожа удобный случай, чтобы бросить, доконать окончательно. Алма обычно сваливал его несчастье на ашаца-чапаца, ангелов деторождения, однако и догадывался, что сам был виной этого уродства. Врожденное слабоумие сына было победой сил уродства, коренившихся в нем самом. В Бате ничего не было от матери, весь в него, даже уродство не могло скрыть, насколько похож на отца.

Каким бы страшным ни был конец несчастного Баты, сначала Алма попытался себя успокоить тем, что вот кончились его страдания, – но вскоре убедился, что в опустевшее место в душе, где прежде помещался Бата, стали заползать самые большие сомнения, страдания и недовольство. Тогда он понял, что с давних пор самым близким в доме было для него это несчастное создание, и только он один, Бата, действительно нуждался в нем. И более того, оказалось, что Бата, сам обиженный и беззащитный, защищал его, Алму, от тех тяжелых раздумий, которые мучительно заполняли сейчас опустевшее место в душе.

Как он не желал поверить в это!.. Смерть Баты еще раз убедила Алму, что его власть в семье и усадьбе, авторитет по долгу и вне долга – одна только видимость, на деле он давно потерял надежную опору, не говоря уж о настоящих чувствах любви и уважения.

Сыновья от первой жены (да посыплют ее род конопляным семенем!), ему показалось, вздохнули свободнее. Только лишь одному Хирипсу ни до чего нет дела, как будто стоит одной ногой на том свете. Но Алме не жалко было его... Что касается Мзалея – он хотел приблизить его, обласкать – ради супруги, назло другим сыновьям, рожденным нелюбимой женой (чтоб весь

ее род посыпали семенем конопли!), – те уже почти не признавали его власти... он хотел сделать Мзалея совладетелем той части лучших земель, которую еще сохранял за собой, – но после этого случая почему-то очень ясно увидел, насколько же они далеки друг от друга, более того, – увидел и то, что у них нет и не будет точек соприкосновения для близости. Говорят, где бы ни было, как бы ни было, а кровь – родную себе узнает, но ни с ним, отцом, ни с сыном этого не произошло.

В господском доме страшным грузом лежала неприязнь. Так было всегда, но как-то устраивалось: обходили друг друга, спускались во двор – и неприязнь на время рассеивалась, редела, – каждый, как мог, старался найти для себя и дать другим отдушину...

Как только похоронили Бату, уехал Уатар, Сафия же осталась, не заставила себя долго уговаривать, когда ее попросила Хауйда. Видно было, что она не прочь воспользоваться предложением госпожи... И муж не возражал, более того – уезжал поспешно, словно боясь, что жена передумает.

С тех пор, как случилось несчастье, семья ни разу не собиралась вместе. Алма заранее знал, что их вот так изредка сводила какая-то злая энергия – и оттого в конце всегда разыгрывался какой-нибудь скандал. Однако же, пока существовал барский дом, барское имение, усадьба, – он, хотят они или не хотят, должен был управлять всем, направлять их.

Он сидел на своем большом стуле, задумчиво уронив голову на грудь. Сафия и Хирипс устроились на длинной тахте, подальше друг от друга. Умар расположился в самом центре комнаты: скрестил руки на груди, прикрыл глаза лохматыми бровями, словно хотел сказать – если думаете что-нибудь говорить, начинайте, а то мне не до вас. Мзалей сидел в темном углу, словно желая остаться незамеченным.

Алма поднял голову, посмотрел в сторону, откуда могла появиться Хауйда, и вздохнул. Со стороны казалось, что траур, который носят в семье, как будто помирил всех, их лицам больше подходила грусть, чем обычное выражение недовольства друг другом.

Искренняя грусть всегда прибавляет человеческого.

– Она тоже выйдет... – начал глухо, траурным голосом Алма. – Несчастье постигло нас, слепая случайность сделала свое черное дело... Один из нас... каким бы ни был, он был наш, в нем текла наша кровь. – «Кровь» он произнес невнятно, как-то запрятав среди других слов. – Но если будем вести себя, будто с нами приключилось такое, чего не было ни с кем и никогда, нам не к лицу...

Пока он довольно крепко сидит на своем месте, подумал Мзалей, пока что так просто никто не может его обойти, перечить ему. Не только здесь, дома, в семье, – его связи, корни все же глубоки и довольно прочны.

– Ох-ох-ох!.. – вздохнула Сафия, явно рассчитывая на сочувственное внимание к себе: ведь она обрекает себя на такое страдание, на такую, по крайней мере, грусть!

– Что же поделаешь... и ему на роду было написано, и нам всем суждено... – продолжал Алма. – Если бы не то, как это случилось... не только этот

несчастный – бывает, умирают, погибают такие... – он сделал паузу, вздохнул. Что бы там ни думали о нем, слушали его не перебивая. Все понимали, что говорить таким образом о случившемся имел право он один. – Успокоился, несчастный... И он столько страдал, и мы все... – заключил Алма.

– Ох-ох-ох!.. – опять почти кокетливо вздохнула Сафия.

– Но человек – это не просто («Что они, совсем что ли... хотя бы для видимости кто-нибудь что-то вставил...»). – Всем нам тяжело...

– Тяжело, мой господин, еще как тяжело, – теперь уже плачущим голосом подхватила Сафия. – Бата, бедненький, он так меня любил, слушался...

Умар приподнял свои мохнатые брови и направил на нее острие своих колючих глаз, но она даже не обратила на это внимания. Убедившись, что здесь его свирепый взгляд не сработал, он опять прикрыл глаза лохматыми бровями.

– Он же был живое существо, хорошее отношение понимал, – подтвердил Алма.

Мзалей действительно не понимал, как все случилось: с самого начала ружье было заряжено или потом кто-то его зарядил. Держал ли когда-нибудь прежде это ружье заряженным сам Астамыр, дозволялось ему или нет? Умиротворяющий тон Алмы его злил, однако он и то помнил, как, уезжая, Алоу строго-настрого наказал ему не вмешиваться.

– Я все же хотел бы уяснить для себя один вопрос, непонятный мне... – Мзалей таки не смог до конца совладать с собой («Не вмешивался бы, не вмешивался бы...»).

Все посмотрели на него, и по взглядам, которые он мог перехватить, и по тем, которые не видел, он понял, что нет здесь никого, кто хоть немного способен был бы сочувствовать ему. Сафия, которая до несчастья не оставляла его ни на минуту в покое, старательно покровительствовала ему, поняв, что он не может служить предметом для ее кокетства, тут же отдалилась от него. Мзалея это не удивило, ибо видел: она его принимала не за того, да и вообще он чужой им всем. По крайней мере пока.

– ...Ружье было заряжено – или мальчик сам его зарядил? И заряжали ли ружье прежде, разрешалось ему?.. – Высказав свое, Мзалей спохватился, но дело уже было сделано. Он понимал свое дурацкое положение, ибо здесь не только столь каверзные вопросы, но даже и самые невинные – просто так, в лоб, не задают (он забыл, да и не то что забыл, а – отвык от здешних условностей, улетучилась из него энергия обычаев и устоев).

– Допустим, зарядил мальчик, – и ты думаешь, что он это намеренно сделал? – Умар приподнял брови и колючий взгляд устремил к Мзалею.

– Не знаю. Не знаю, потому и спрашиваю.

– Если не знаешь – не говори. Убит не дрозд, а человек!

– Вот именно... Но надо подумать и о мальчике... – что-то его толкало на ошибку. – Как так – мальчик играет с ружьем, с огнем... И можно ли спокойно на это смотреть?

– Смотрели, смотрели, – вмешался Алма, на этот раз не сглаживая. – Но тут с ним случилось от страха. А иначе, если бы он всегда стрелял в людей... здесь на каждой стене висят заряженные ружья.

– Тем более, отец... – Мзалей видел, как Алма недоверчиво, почти с испугом глянул на него при слове «отец». – По крайней мере уже надо отучить его от этого, мальчик должен знать, что ему категорически запрещается даже прикасаться ко всякому оружию!

Мзалей чувствовал, что его не туда заводит, видел, как самому Алме неприятен этот разговор. Конечно, все, кроме него, знали, как случилось, кто виноват, – но ни у кого не было охоты ворошить обстоятельства, хотели прикрыть все совершившееся трауром – и так молчать, пока не забудется.

– Сам я в таком же возрасте это же ружье держал, и заряжал, и стрелял, и игрался с ним. Мы с самого рождения знакомы с оружием, – опасно, когда им начнет заниматься тот, который его никогда в руках не держал!.. – Умар злорадствовал, но злился сильно: все же не хотел, чтобы стали докапываться до истины. – Уже сегодня, после случившегося, держали в руках это же ружье... я видел, тот вдовий сын, в такие-то годы, – уже меткий стрелок... Я стал отнимать у него, он так вцепился в ружье, чуть не до обморока. А наш мальчик совсем не пристрастен к оружию...

– Мальчик и так напуган! Если услышит, что вы о нем говорите, его просто хватит удар! – выпалила Сафия и зло посмотрела на Мзалея.

– Так и напуган... – вдруг вступил в разговор все время молчавший Хирипс. – Он героем ходит!

Когда сам отец сказал так, ни у кого сразу не нашлось, что бы возразить. Переглянулись – но не та семья была, чтобы с полслова понять друг друга, – всю жизнь не доверяли своим же.

– Не одну клячу загнал – ездил учить детей, а не можешь понять, в каком состоянии теперь твой собственный сны, – бросил брезгливо Умар, не оборачиваясь к брату, – давал понять, что уж на этого-то не станет тратить взгляд своих глаз – пули, готовые вылететь...

– Получше вас всех знаю, какое у него состояние! – Хирипсу трудно было говорить при слабых легких, он сильно злился. – Я его своими руками придушу, если так будет продолжаться! – он выставил вперед сжатые кулаки.

– Вы послушайте, что он говорит о мальчике, на которого взирает весь род Анчаа! – быстро, ни на ком не останавливаясь, Умар обвел взглядом семью. – Нечего сказать, хорош отец... Да ты знаешь, что могло произойти, если б это ружье не выстрелило?.. – Он тут же сразу и спохватился – почувствовал, что явно не то сказал. – Кто же знал, что это ружье заряжено... кто, когда его зарядил? И мальчик этого не знал, просто хотел напугать...

Хирипс от злости привскочил, весь посинел – видно было, что задыхается. Но не сказал ничего, снова сел.

– Для чего нам так мучить друг друга... – никак не мог остановиться Мзалей. – Не лучше ли один раз выяснить, как случилось, и все бы успокоились. Останется так – значит, без конца подозрения, неприязнь...

Истина дороже... Она очищает все – она прочистит и наши глаза, чтобы мы друг на друга смотрели чистым взглядом...

Мзалей хотел остановиться, но какая-то неведомая сила, вероятно, обитавшая в здешних местах, поднимала, толкала его.

– Слушай... брат... – начал Умар резко, выпрямился на стуле, скрещенные руки напряженно опустились на колени, и направил было свой взгляд, как дуло ружья, на Мзалея... но вдруг зрачки забегали, лишенные обычной силы и колкости, он даже побледнел. Ту фразу, которую он сложил – готовая стояла в гортани, он выпалил, однако как чужеродное тело, почти без интонации. – Ты случаем не работал в суде?..

– Нет, не работал, но я учился на юриста! – Мзалей совсем не собирался сказать это резко, но словно какая-то сила отняла у него волю и сама обострила разговор: – Не до конца, но достаточно, чтобы разбираться в делах и посложнее... И я считаю, что лучший выход в таких случаях – поиски истины; этого требуют не только правила правосудия, требует справедливость...

– Несчастный случай есть несчастный случай... – Алма был заметно раздражен и растерян. – Какое может быть здесь судилище?! А собственно говоря, о чем речь?! Мы что, будет друг друга подозревать – думаете, это приведет к этой вашей истине?!

– Несчастный случай!.. – зло повторил Хирипс. – Завтра так же застрелит меня – я уже лишний в этом доме... И вы опять начнете кивать на несчастный случай!

– Замолчи! – уж на нем-то Алма мог отыграться. Усы его гневно дернулись, и что-то еще такое между слов он пробормотал под ними. – Тебе вообще нечего говорить! Кого ты обвиняешь, что не смог воспитать своего негодника?! Может, нас?!

– Да, да – вас! – начал было и умолк Хирипс.

Конечно, кое-кому, а пожалуй, и всем здесь – невыгодно выяснять истину, подумал Мзалей, потому-то стараются держаться от нее подальше. Желают обойти, не то заведет в сторону, куда все не хотят.

– Вы что, с ума все посходили! – Сафия распустила себя окончательно, забыла о всяком кокетстве. – К горю еще большее горе прибавляете, хотите подвергнуть всех нас чудовищному подозрению... небылицы – все ваши рассказы! Единственное, в чем мы видим свою вину: надо было детей вовремя остановить. Первым долгом я в этом повинна, надо было выйти, взять Бату и закрыть где-нибудь, он меня слушался... Но все были заняты, упустили, здесь у нас было такое торжество... – последние слова она произнесла явно с иронией, умышленно искажая их, и с открытой неприязнью посмотрела на Мзалея («Тоже мне!..»).

– Но все же что стоит выяснить, ружье было раньше заряжено или его зарядили тогда, и кто это сделал? – Мзалей понимал, что он катится по наклонной плоскости, но та неведомая сила, которая витала где-то вокруг и руководила им сейчас, не давала ему опомниться.

– По твоим словам, мне кажется, ты кого-то подозреваешь?.. Тогда скажи, выложи, мы послушаем... – Алма раздраженно отвернул лицо.

Умар опять резко вскинул голову, но встретившись глазами с Мзалеем, снова как-то обмер и присмирел.

Никогда, хоть и ненавидят друг друга – кровь готовы пить, правды они все равно не выдадут ни о себе, ни о других... – Мзалей удивился своему открытию. Если станут губить друг друга – только с помощью лжи, и если решили терпеть друг друга – тоже через ложь. Правда – смертельна для них, и пока они в силах, будут ее топить, иное для них равно самоубийству.

В это время дверь резко отворилась и в залу почти ворвалась Хауйда. На фоне траурной одежды ее голова была совсем седой, а лицо как у мертвой. Она хотела сразу начать, но не смогла, пока не перевела дух.

Алма испуганно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Мзалея. В глазах стоял укор.

– Я прошу, я умоляю вас... – сказала она наконец с трудом. – Оставьте этот разговор, который вы вели сейчас... раз и навсегда... прошу!.. Не прибавляйте к моему горю новое горе. Вы, – извините, что смею так выразить вслух, – могучие Анчаа, не должны допустить, не к лицу вам заниматься склоками, довести себя до того, что сгоряча будете наносить друг другу оскорбления! Сила и добрая слава господского дома – в единстве, в следовании правилам, заведенным издавна, в уважении друг к другу, в послушании. Для слабой семьи, слабых людей – достаточно совсем немного, чтобы разразился скандал, вражда... о нас же должны сказать: хоть с ними приключилась страшная беда – они как прежде на высоте, остались сплоченными. И это для нас всех очень много значит. А что до этого несчастного – для него достаточно и моих слез, он случайно пришел в этот мир и случайно ушел из него...

Говоря все это, она смотрела на Мзалея.

Умар встал:

– Мы все сделаем, как вы скажете... – Он в непривычном для него приступе уважения хотел, видимо, добавить в конце «мать», но настолько это было чуждо ему, что не получилось. Но явно было, ему нравилось то, что говорила госпожа («Пожалуй, первый раз в жизни»): она отвела в сторону разговор, который мог привести к нежелательным последствиям, отвела правду, которую он пуще всего не любил, и перевела все в адзымлага – в воду, текущую в стороне от мельницы... И более того – она это знала – все, что она говорила, было рассчитано на то, чтобы объединить семью. Так и получилось – сказанное объединило их. Мзалей и здесь один остался за невидимой чертой, отдельно даже от матери.

Хауйда, не отвечая Умару, повернулась и пошла к двери. Сафия вскочила, догнала ее и, взяв под руку, удалилась вместе с ней.

Оставшиеся некоторое время сидели молча, потом первым встал Умар и как всегда тяжелым шагом не спеша вышел на балкон. За ним тихо как мышь удалился Хирипс. Наконец тяжело поднялся Алма, разминая затекшие ноги; не прощаясь отправился следом за госпожой.

Один Мзалей остался в комнате.

МАЙЯНА

...Человеку – бескрылому,
В награду за все его страдания,
Была дарована – осветившая
его тернистый путь по жизни –
Любовь – очи судьбы и счастья...
Утешительная

В этот день она искала повода уйти из господского дома. Искала, и в то же время что-то не давало ей это сделать. С самого начала, с вежливого, деликатного отношения к ней Мзалея, с его улыбки – она потеряла покой, хотелось поскорее остаться наедине с собой. Наконец она оторвалась от обвораживающего, унижающего, восхищающего влияния усадьбы, всей этой барской жизни с ее хозяевами и гостями, спустилась по боковой лестнице – и уже на нее не действовали взгляды, сами люди, чье пристальное внимание иногда смущало. Ее не остановило, не задержало даже то, что, направляясь к боковым воротам усадьбы, она повстречалась с Умаром. Тот шагнул – стал поперек дороги. Но она не свернула в сторону, чтоб обойти его, и не отвела взгляда. А он в свою очередь метнул из глаз молнию, как он считал, неотразимую, нагонявшую на одних страх, других гипнотизировавшую. Но девушка шла прямо, и он, страх, неожиданно даже для себя, отступил и умерил взгляд.

– Всем что-то шьешь... – сказал он тоном обиженного нехорошего мальчика. – А вот мне – ничего... Почему?..

– Пока я сошью то, что уже взяла, а потом видно будет, – ответила она мирно, но всем тоном показывая ему, что и не подумает приостановиться.

– Черкеску нужно шить тому, который понимает в ней толк, – он еще чуточку отступил, давая ей пройти... – Для такого, которому все равно, что пиджак, что черкеска, – стоит ли стараться...

Это, конечно, он имел в виду Мзалея, в голосе обозначилась острая неприязнь. То, что несколько обмяк, обнажило злость еще больше. От ее зоркого мгновенного взгляда не ускользнуло и то, что многие стоявшие по двору заметили, как она на секунду убавила шаг и перебрасывается словами с Умаром: похоже – все желали, чтобы она ушла, не оставив ему ни капли надежды.

– В последнее время пожилые люди стали носить расшитые черкески, – бросила она проходя мимо и не отводя при этом взгляда. – Так что здесь я вам ничем не могу помочь...

Его передернуло, метнул было взгляд своих колючих глаз, но встретившись с ее прямым взглядом, удивленно замер, глаза забегали под нависшими бровями.

Уже довольно далеко от барского дома, где не слышно было шума с его двора, она остановилась: слышала, как учащенно бьется сердце, и чувствовала себя причастной к некоей неведомой силе. Она это ощутила еще утром, снимая мерку с Мзалея: его черты напомнили ей знакомые черты Мсоуста, только были не строгие и внушающие страх, а озаренные вежливой, даже доброй улыбкой; никогда она не видела его лицо таким мягким, как нынче у Мзалея, таким кротким, спокойным, понимающим – он вечно казался надменным, холодным, далеким. Но зато сегодня сквозь особенность этих схожих с ним черт она легче и явственнее увидела его душу. И эта сила, касавшаяся ее, – конечно, была силой его духа. Она уже знала – дух этот для нее витал везде. Верно, светил и сквозь нее, сквозь ее взгляд, поведение – именно это обезоружило сегодня Умара.

Майяна пошла медленнее. Это ощущение, что Мсоуст рядом, действовало на нее, требовало какого-то проявления, но она хотела тратить такое счастливое состояние постепенно, как драгоценность. Опять, как в тот день, когда все подсказывало, что вот-вот увидит его, – природа сейчас казалась иной, необыкновенной, и все чувства были другие, особенные. То, что она скрывала до сих пор, чему не давала выйти на поверхность, – все высвобождалось и разливалось по крови. Сами приоткрывались губы и слова сами беззвучно вылетали, как пчелы из ульев («Милый, милый, милый! Дарована мне жизнь, омыта солнечным теплом... дорожу тем, что живу, тем, что в гортани моей дышит моя душа, – все только из-за тебя, для тебя... Без тебя что моя жизнь, есть или нет ее – ничего не значит... Пока ты есть – есть все, а когда тебя нет – нет ничего!..»).

Это в ней говорила, побеждала зрелость, это взрослая девушка осмеливалась так говорить и думать. Но совсем рядом была и та, которая еще не вышла из детства, которой хотелось смеяться, – ее смешило это слово – «милый», хотелось во все совать нос (драные чусты, из которых пальцы ног торчат... сердце – среда, а голова – пятница...).

День был ясный, небо чистое и совсем новенькое. Восток, как в тот раз, был занят солнцем, весь светился, весь был золотистым. Ветер был столь свеж – его могла родить лишь земля, на которой нет ни пылинки, и он только-только взлетел, учился летать, как ребенок учится ходить; он бережно касался тяжелых кос Майяны, боясь взъерошить волосы, прочищал глаза, от него дышалось сладостно.

Сначала она думала идти торной дорогой, все равно на ней сегодня ни души. Но торная дорога была старая, уезженная, ее же тянуло в сторону, в лес, где и тропинок не было. Деревья теснились, становясь лесом. Высокие, но еще молодые, в стволах пока не образовалось твердой сердцевины, а ветки, с которых уже давно слетели листья, казались до того новехонькими, будто на них никогда еще не росла листва. Воздух же был новее всего – просто первобытным. В лесу на палой листве кое-где еще блестел иней после заморозка. И небо было новое. Оно еще не знало, сколько надобно вылить на землю, сколько нужно снега зимой, дождя и росы весной и летом, и то, что осенью лучше, чтобы стояли ясные, ведренные дни.

Она бывала здесь нередко, но ни разу ничего подобного никогда не замечала. Даже в тот день, когда она вдруг уверилась, что они вот-вот встретятся.

Вот перед ней на просеке торчат из пожухлой, полегшей травы совсем новенькие мелкие белые цветочки. Их все больше, потому что это начало, других цветов еще нет, еще не появились под небом.

– Белые, белые-беленькие, – произнесла она вслух – и верила, что ее словам внимают, и цветы не меньше ее удивлены встречей, первый раз услышав человеческий голос. – Бело, бело, беленько...

Идет она, не слыша земли, не чувствуя ног, своего веса, увлекаемая этой волшебной силой, – ощущает, как сама расцветает, как она обозначается четче в этом новехоньком воздухе, и в пространстве, и в течении самого времени...

Речушка появилась рядом. Она текла, журчала и вся была занята собой. Девушка посмотрела, откуда она течет, поблескивая реденькой пеной в полутьме леса. Вода журча спешит к ней, но еще не научена языку, что-то хочет сказать ей – и не может. Потом, образовав маленький водопадик, запела сотней голосов в ее честь. Дно речушки усеяно сплошными черными камушками – и вода казалась черной.

Эта речушка родилась довольно далеко отсюда. Сначала под каменным обрывом превращала в щепотку грязи пыль от скал, потом след обозначился на траве, его можно было различить там, где трава целый год оставалась зеленой. Еще дальше – где-то она струйкой выходит наружу, ее уже видно. Если ребенок рождается и криком оглашает дом, то ее можно было услышать лишь совсем приклонив к ней голову, первый ее звук был журчащий шепот. Но по дороге в нее вливались другие струйки, потом ручейки – и она начинала лепетать довольно внятно. И так текла, без умолку болтая на своем языке. В ней отражались ветви деревьев. Сначала она старалась это отражение смыть, но убедившись, что нет, невозможно, она решила – пусть, это ее неотъемлемая часть.

Майяна немного прошла по течению и остановилась над маленькой заводью. Речушка вдруг умолкла, сделалась такой спокойной, серьезной, стараясь быть непроницаемой («Пускай увидит меня, отразит ее а вдруг понравлюсь, вдруг не выдержит и улыбнется»). Наклонилась и стала смотреться как в зеркало. Лицо ее зыбко обозначилось на поверхности воды. Заводь хотела замереть, успокоиться, внимательнее всмотреться в девичье лицо, но вода, которая вливалась и которая выливалась из нее, не давала ей ощутить полноту удовольствия. Уходящая вода тянула изображение за собой, но прибывающая вода роптала, ей тоже хотелось посмотреть...

Майяна улыбнулась, и заводь заметно посветлела. Подняла голову, и заводь потемнела, погрустнела.

Углубляясь в лес, она все больше и больше слышала звуки и голоса его жизни, его тихий говор, ободренный такой ясной сегодня погодой. Лишь изредка внезапно вспыхивал ветерок – проведет по верхушкам деревьев,

будто рукой по струнам, и сыплются редкие уже желтые листья, и слышно, как они шуршат, кружась и опускаясь на землю.

Майяна яснее даже всего остального, того самого дня помнила, как она шла к нему... Тогда она спешила, очень спешила, однако сдерживала, как сейчас, свой шаг. Чтобы прийти туда и не опоздав и не запыхавшись, а настолько вовремя, как будто все это происходит само собой. Не один раз она решалась пойти вот так – и столько же раз на полпути возвращалась, но в тот день она не могла вернуться. Никто не назначал свидания, ни он, ни она, но та самая сила, как и сегодня, сила его духа настигла ее, объяла и вела ее вперед, не давая не то что свернуть с дорог, но даже и просто обернуться назад.

...Отсюда она пошла, ее повело, на подъем, который она легко и незаметно одолела. Там, наверху, лес кончался, лежали большие испещренные временем камни, кое-где покрытые мхом. Меж камнями далеко-далеко на нее глянуло море, словно синий широкий воротник рубашки-неба. И ветер, что овевал ее разгоряченное лицо, знал обо всем, со значением прикасался к ней.

Дальше уже вела тропа. Тоже хорошо утоптанная, но, конечно, не так, как торная дорога. Там она и услышала его шаги. Как бы ни поддерживала ее сила, что вела ее сюда, ноги стали плохо слушаться. Когда что-то непременно должно случиться – случается как бы само собой: или ноги перестают слушаться, или они несут тебя – прямо летишь, или такой ливень припустит, что загонит тебя под дерево...

Встретившись, они оба остановились. И он тоже наверняка не мог не встретиться, хотя бы так... Но сразу же оба почувствовали, что между ними какая-то неведомая стена, и они видят друг друга из-за этой стены. Они знали и не знали, что это за стена: их захватывала и давила еще не спавшая сила несчастья тысяч и тысяч изгнанников, этим был заполнен воздух, которым они дышали. И трудно было перешагнуть через это огромное море несчастья. Каждый был в долгу перед ним, и потому встретиться свободным от него для них совсем не было возможности.

– Пойдем... – предложила тогда Майяна, надеясь, что так будет лучше, свободнее. – Пойдем...

Пошли. С этой минуты все для нее сделалось неизвестным, новым, как и следы, которые они оставляли за собой. Это были их первые шаги навстречу друг другу.

Путь человеческих побед начинается с любви. Любовь так возвышает, возносит любящих, что их защищают ветры нетронутых вершин от холодных осенних сквозняков земли и насилующих человеческую плоть сил, которые не так далеки, как иногда человеку кажется.

Майяна навсегда запомнила свое состояние в те минуты. Несмотря ни на что, на силу еще разлитого в воздухе несчастья десятков, десятков тысяч, на невидимую стену между ними – здесь же дать слово, и срок приблизить – насколько это возможно!.. Но посмотрев на него, она поняла, что все тщетно: ей показалось, что он весь во власти этой невидимой стены; глаза, которые

так вспыхнули, встретив ее, быстро потухли, сделались тоскливыми, исчезла мимолетная радость свидания.

Почему, почему, страдала она тогда, раз великая мудрость – жизнь сама их свела пережить свое счастье, почему не сделать это счастье опорой, ведь с его помощью можно осилить и то, что уже случилось и труднопреодолимой стеной стоит даже между любящими, и те испытания, которые как клубок змей где-то лежат и ожидают их.

Она посмотрела на него с отчаянностью и жаждой, но он уже был далек, как тогда, когда переступил черту, оставив ее еще надолго в детстве. Она молча повернулась и пошла обратно по их же свежим следам, которые они оставляли, поднимаясь выше.

Он остановился и некоторое время отрешенно стоял там же.

Сегодня же взглядом, доброй улыбкой Мзалей как бы заново объяснил, сообщил ей, до чего же хотел Мсоуст этой встречи, как он страдает, вспоминая ее. От этого растаял лед, что лежал на душе с тех пор, и она вернулась в тот, прежний день.

Майяна опять приостановилась. Оголившийся лес далеко просматривался, сделался светлым. Угомонился шаловливый ветер, стало тихо. Лес молчал и вслушивался в пространство. И Майяне как никогда хотелось приобщиться к этому согласию мира – неба, леса, земли, слиться с ними, чтобы в свою очередь им передать радость своей души. И действительно, ей казалось, что гармония пространства открывается для нее, и она ждала, – но так и не дав себя по-настоящему почувствовать, эта связь удалялась, ибо кровь ее пульсировала так мощно, до того была она захвачена желанной и жданной силой, силой его духа, что все это никак не давало ей расслабиться, не оставляло свободы.

В это время послышался дятел, застучал по сухому дереву. Это напомнило ей о времени, о реальности, и она пошла быстрее, как бы вырываясь из самой себя. Собственное быстрое движение вдруг напомнило ей куницу, которую она видела когда-то здесь, ее прыжок от одного дерева к другому – и как она не долетела... Но ей сейчас виделось, хотелось видеть – будто она допрыгнула, а оттуда к другому дереву – и еще, и еще, только мелькал хищный и красивый изгиб спины и заостренная, как наконечник древней стрелы, мордочка. Так она шла, не шла, а неслась через лес, и только войдя во двор своего дома, вдруг подумала, что если такой предстанет перед матерью – мать может испугаться. Она остановилась у плетня, перевела дух, поправила волосы.

– Почему ты так быстро ушла, госпожа обидится? – испуганно посмотрела в полутьме маленького дома Иалса.

– То, что от меня требовалось, я все сделала, а потом уж чего было ждать... – бросила Майяна, все еще находясь во власти иных мыслей, иной силы.

– Да что же это такое! – близко увидев дочь, Иалса в недоумении смотрела на ее раскрасневшееся лицо, даже отложила свою прялку. – Среди

бела дня уходит из барского дома... Ее пригласили – она самовольно уходит... Вы видели что-нибудь подобное?..

– Видели, диа, видели, – Майяне хотелось мирно разрешить спор. – Госпожа сама мне сказала, чтоб я ушла, если я так хочу.

– У них же сегодня торжество... Посмотрела бы на людей, на тебя бы кто-нибудь посмотрел... – Иалса видела, что дочь чем-то сильно взволнована, и это ей тоже мешало сосредоточиться. – Побывать на торжествах в доме Анчаа не всякому дано, туда попасть – и не воспользоваться?..

– Во-первых, диа, нас никто не приглашал, меня вызвали, чтобы снять мерку.

– Какая разница, ты же была там... Видите ли, ей нужно особое приглашение самих Анчаа! Многого же ты хочешь!

– Ничего я не хочу... от них... – Майяне не терпелось закончить разговор. – Хочу вот заняться своим ковром, может, завершу... А ты занимайся своей прялкой, остальные домашние дела я сама сделаю к вечеру, не утруждай себя... – и она поспешила в сторону пристройки.

– Ты же только начала, как же говоришь – доткать, девочка, в своем ли ты уме?.. – сказала неласково Иалса. В это время ей вдруг пришла мысль о том, что Майяна встречалась с ним. Что ж еще могло ее так приподнять, – смотрика, готова взлететь! Иалса решала было догнать дочь, остановить и допросить, но что-то неясное отпугивало ее. Ей показалось, что дочь так сильно преобразили именно небесные силы, может, сами и толкают на встречу с ним, и вмешательство, похоже, не угодно Богу. Как лесная тварь заранее чувствует, какая зима предстоит, так и мать предчувствовала, что на том пути, на котором оказалась ее дочь, есть два выхода – или она будет неимоверно счастлива, или же ждет невыносимое несчастье, да вдобавок и страшная молва среди людей. Третьего не дано. Она три раза быстро перекрестилась – что ж еще она могла...

Маленькую комнату Майяны освещало солнце. Она быстро сняла с себя жакет, повесила и оттуда же взяла жилетик, надела, застегнула все пуговицы. Потом подошла к ткацкому станку – давно за него не садилась. Наклонилась, придвинула поудобнее крепкую, тяжелую скамейку и села. Пока что она даже не взглянула на ковер, а рисунки, узоры – вручную, с помощью особого челнока – адашина и таким же особым шилом – абадзыдз. Она была слишком возбуждена, или у нее голова кружилась, или же дрожали лучи солнца – проходя через щели, перекрещивались в комнате... Хотела сразу же начать – но чувствовала, что слишком невесома, быстра, а для тканья необходимо, чтобы руки работали точно, не промахивались. Еще немного подождала, но наконец терпение вышло, – еще чуть пододвинула скамейку, взяла в руки инструменты. Однако же руки не были готовы к работе, не чувствовали инструментов. Положила все на место, вскочила и прошлась по комнате.

Майяна знала много способов ткать, много узоров, рисунков, и как их наносить на ковер. Но сейчас ей показалось, что все это – повторение, скучно и однообразно. Существовало определенное количество методов ткать, определенное количество узоров, рисунков. Стоило все это изучить – и

можно было соткать ковер, такой же, как у всех. Только лучшие мастера каждый раз что-то добавляли. Но все равно и в этом они оставались однообразными. Куда ни придешь – везде висит то же, надоедая глазам. Обычно она не замечала, но теперь вдруг это открытие поразило и огорчило ее.

Сейчас, в этот самый миг она поняла, что ни единого узора не может, не хочет положить из обычных, привычных. А хочет что-то совсем новое, которое где-то дальше, вне всех этих правил, навыков, заученных схем, хотелось самой что-то придумать, например, на весь ковер сделать солнце, переливающееся, как море, волнами, выткать лучами...

Заметалась по комнате, опять кинулась к станку. Села. Взяла пряжу, мягкую, лохматую. Раз приготовила такую пряжу, значит, уже раньше думала об этом... Все же к инструментам, к станку не притронулась. Чувствовала, что не может сосредоточиться, и потому не хотела оскорбить неверным или пустым движением руки свой высокий настрой. Жажда сделать необычное, прекрасное вспыхивала в ней, зажигала кровь, потом опять отступала и не могла обрести такую продолжительность, которая бы обеспечила ее сосредоточенностью, необходимой отрешенностью.

Она сжимала кулаки, не смея дотронуться до инструментов. Потом положила руки на станок, опустила на них голову и некоторое время сидела так. Вдруг потихоньку стала вздрагивать спина, прорывались до сих пор сдерживаемые рыдания. Они душили ее, искали простора, размаха, но она знала, что им нельзя давать волю, их не то что эта прокопченная комнатушка – даже целое ущелье не вместило бы. Но пусть бы даже она была одна в пустом огромном ущелье – и то не дала бы воли слезам, ибо тот, кто не ответственен перед самим собой, кому перед самим собой не бывает стыдно, неудобно, – все, что он делает, от чего удерживается, что смягчает на людях, – лицемерие.

И когда все же она со всем тем, что не давало ей целый день покоя, держало в своей власти, напоминало о себе, но не направляло никуда, – когда она не смогла все же совладать с собой, своими чувствами, дать им желанный выход, – она не выдержала, и, орошаемое обильными слезами, напряжение немного смягчилось, слезы успокаивали ее, а губы неслышно шептали (... где он? где он? где он?.. он... он...).

...Куница с хищным и красивым изгибом спины и острой, как наконечник древних стрел, мордочкой, прыгает с одного дерева на другое, вот мелькает ее тугое продолговатое гибкое тельце в воздухе, от дерева к дереву, от дерева к дереву...

ИСКАТЬ, ЧЕГО НЕ ПРЯТАЛ

Перескочив через семь гор,
через семь неприступных скал,

догнав быстролетную лань,
надоив ее целительного молока,
я принес бы...
Но кому оно нужно?
Стенание

Поднявшись на высокий берег, перед тем как войти в каштановый лес, Манча задержался и посмотрел туда, где меж могучими дубами виднелся еще зеленый двор вдовы. Потом, отвернувшись от Мсоуста, – тот остановился и ждал, – пробормотал что-то злое в свою рыжую бороду. По тому, как ярко и беспомощно поблескивали глаза, да и шея раскраснелась, можно было понять, что ничего хорошего про Мсоуста он сказать не мог.

– Слушай, Манча... – Мсоуст дал ему догнать себя. – Ты напрасно пропадаешь в лесу, просто со страху, – сам же на себя и напустил. Тебе не лес нужен, а лучше шкура ежа с такими вот иголками, – он поднял палец и показал. – Пристанет кто-нибудь к тебе, а ты – нырк в нее! Ходил бы тогда вольготно по тому двору, на который так тоскливо поглядываешь!

...Наконец-то Мсоуст уговорил Манчу пойти по следам Дадына. Предполагал, что в такое время знаменитый абрек может спуститься ниже и остановиться в одном из своих тайных прибежищ. Раз уж сумел сделать Манчу проводником, Мсоуст надеялся, что найдет настоящего абрека. Поэтому сегодня он был в духе и не сторонился разговора.

– Ты так поворачиваешь, будто сам пошел в лес по собственному желанию, а не со страху. Ха-ха-ха! Умру от смеха! А как называется это чувство, которое тебя привело сюда, может, скажешь?! – Манча засмеялся деланным смехом, притворно схватился за живот.

– Да, повод есть, чтобы так сказать... – Мсоуст помрачнел.

– Еще бы! Вот у тебя голова болит, если не подколешь человека, – понимаю, отводишь душу. А я не занимаюсь таким, мне дела нет, что там с другими, – пусть хоть о камень головой бьются. Но пусть и меня не тревожат, не переходят мне дорогу!

– Если б ты только подкалывал... – Мсоуст презрительно посмотрел на спутника. – Я не так давно видел, как ты способен отводить душу... Чем больше унижаешь, втаптываешь в грязь человека, тем больше ты получаешь удовольствия!

– Однако ж и ты преспокойно наблюдал за этим зрелищем – не так ли? Так. Значит, тебе это принесло не меньшее удовольствие, чем мне. Одним словом, ты от меня недалеко ушел!

Мсоуст понимал, что Манча просто пользуется случаем. Я сам допустил до такого, этот – ни при чем, злился он, убыстряя шаг.

– Я же говорю – пускай дорогу мне не переходят, не трогают меня... – повторял с удовольствием Манча, и голос его становился невыносимым.

– Ах, видите, ему не нравится, когда его трогают! Или ты решил, что этот мир тебе одному отдали? Он общий для всех, а не так, чтобы кому-то достались самые лакомые куски, а другому – одни обглоданные кости!

– Я уж слышал, ты до того упрям – и старшего брата не почитаешь! Но, вижу, все же кое-чему научился у него. Он, вроде, с теми, которые хотят всех и все уравновесить... – ухмыльнулся Манча. – Поровну, значит, делить... Гм... гм... А что – не так плохо, а? Я, например, тоже за такое равенство... Недаром же я повторял – придет, придет и наше время! И я кое на что надеюсь, кое-чего жду...

– То, о чем ты говоришь, мне неизвестно – так же, как и тебе. И все же, хоть мне не хочется сегодня тебя обижать, но...

– Как это вдруг случилось такое?!

– ...Но если действительно наступит такое время, которое устроит тебя и тебе подобных, то всем, кто болтает о нем, надо шею свернуть теперь же, пока не поздно!

– Значит, по-твоему, мое время никогда не придет, да?

– Не знаю, что и ответить... – Мсоуст шагал быстро, то и дело отрывался от Манчи, но потом давал ему догнать себя. – Твое ли время придет, мое ли время придет. А вообще – твое же время нынче на дворе!

– Не скачи, не скачи, я не намерен загонять себя как клячу. Хоть ты всегда считал, что все знаешь лучше всех, но, представь себе: как здесь ходить, быстро ли, медленно – я знаю получше твоего... советую слушаться меня...

Мсоуст едва терпел развязный тон Манчи: прежде тот себе не позволял с ним такой смелости – но сегодня пользуется положением: сегодня он нужен Мсоусту.

– Но меня не то удивляет... – что-то разговорился Манча. – Для чего делишь время на твое и на мое? Твое и мое время – одно – и сегодня, и в будущем!

– Говори, говори, согревай себя...

Они поднимались все выше. Каштановый лес еще не кончался. Под ногами шуршала палая листва, не слежавшаяся, сухая. Иней на ней сохранился нетронутым, иногда скользили ноги. Но Мсоуст на это не обращал внимания, думал только о встрече, которая, надеялся, ждет его. Он уговаривал Манчу идти к Дадыну, хотя могли и не найти его. Однако теперь он был уверен: решил правильно. Встретятся – хорошо, особенно если оправдаются его надежды. Нет – дальше будет сам решать, полагаясь только на себя.

Он просто рвался вперед, но боясь, что Манча устанет и откажется подниматься дальше, по крайней мере сегодня, не уходил далеко от него. Правда, иногда забывался и начинал убыстрять шаг.

– Куда он прет, – начинал бормотать Манча недовольно. – Не туда, не туда!..

Скоро они оказались в царстве белоствольных могучих буков. Деревья до того высоко уходили в небо, что казалось – верхушками привешены к нему. Мсоуст, как прекрасный сон, помнил их еще с детства, когда его в первый раз взяли в горы. Что-то между сказкой и былью: свет, который струился от них – высоко-высоко в синеве неба...

Под обрывами, в лощинах кое-где встречались заросли дикой лавровишни, кусты барбариса. На лавровишне еще виднелись увядшие черные ягоды, иногда целые гроздья, заросли были растрепаны, ветки переломаны, – видать, медведи, перед тем как уйти в спячку, хорошо тут поработали. Много лежало и сломанных, а то и с корнями вырванных огромных буков: и еще вроде не сгнивших, и полусгнивших, и совсем трухлявых. Их приходилось обходить – это утяжеляло путь. Пахло гнилой древесиной, грибами и прелыми буковыми орешками. От ходьбы становилось жарко, хотя чувствовалось, что воздух все холоднее. Иней уже лежал на листве сплошной корочкой, идти стало труднее, ноги скользили. В одной из лощинок Мсоуст заметил падубок. Остановился, достал из ножен острый большой нож. Падубок долго не поддавался, срезать его было не так просто: древесина крепкая, да и шипы кололись. Однако он все же срезал два более ровных ствола – из них получились две надежные палки.

– На, возьми, – протянул одну из них Манче, – тот отдыхал на сухом повалившемся буке.

Манча взял, восхитился:

– Здорово!..

Мсоусту понравилась его внезапная искренность.

Потом они довольно долго одолевали крутой подъем. Когда наконец выбрались наверх, на небольшую просеку, Манча остановился тяжело дыша:

– Уф-фу-фу... Если здесь не передохнем, дальше просто ноги не пойдут. – Он опустился на камень, снял с плеча винтовку, почти бросил на высохшую траву. Положил на палку ладони, оперся подбородком.

Мсоусту смешно было смотреть, как он отбросил винтовку, как сел, подперев подбородок палкой. Видимо, этот негодник, подумал он, вовсе не имеет вкуса к оружию, он просто враг самому себе. Вообще-то кому нужно это проклятое оружие!.. Если б не необходимость, если б не было сильных и слабых, имеющих власть и задавленных, если бы один другого не топтал... Сам он, признаться, не мог так небрежно отбросить свое оружие. А Манча ничего не ценит, даже жизнь – кроме, разумеется, собственной. Но не может быть, чтобы в нем ничего не осталось человеческого, – хоть где-нибудь, – что совсем пропащий. Так, верно, вообще не бывает... Сколько вопросов, сколько сложного в жизни, над которым еще не успел подумать!.. Ответов на многое у него еще нет. И будут ли когда-нибудь все ответы...

Он тоже присел на почти окаменевший лежак, обветренный, выжженный солнцем, временем. Здесь стоял запах старого козьего помета и высохшего щавеля. От этих запахов он заскучал, сердце сладко и грустно заныло. Обычно такие слабости он не допускал: если наперекор его усилиям все же прорывались размягчающие чувства, он начинал мысленно тренировать себя. И старался погасить в себе, как он считал, ненужную восприимчивость. Разве можно такое нам, которым нельзя ни на мгновение расслабиться, думал он всегда упорно. Но что-то не срабатывали сегодня в нем контролирующие силы. Может, где-то в организме притаилась болезнь какая, или его ожидает что-то непредвиденное?

Так или иначе – но сегодня что-то сердце его опережало волю – хоть ненадолго, но искало другого пристанища. И вот он опять вспоминает, как в первый раз мальчиком его взяли в горы... Он тогда еще заметил, – как эти лужайки менялись по тому, как поднимались выше, – и растительность, и краски, высота и густота травы. Там, где они остановились ночевать, был целый луг – довольно широкий, трава по пояс взрослому человеку, его же самого местами закрывало с головой. Цветы, цветы... Луг, прогретый солнцем, и над лугом дурманящий запах цветов. Вечером там совершили моление в честь горных духов. Усталый, заморенный, – его одолевал сон, – сквозь сон он слышал: «Горные духи, присматривающие за этими святыми местами, услышьте нас, одарите нас теплом своего взгляда, теплом своего сердца!..» «Одарите... одарите... одарите...» – слышалось ему долго, пока не заснул глубоким безмятежным сном, какой только бывает в мальчишеском возрасте.

Всю ночь ему виделся удивительный сон: он слышит со стороны, как перекликаются голоса – именно голоса – с самого первого подъема и до того места, куда они еще не поднялись. Голоса все были его, но звучали везде по-разному, и почему-то не возвращались эхом, а самый последний голос пропадал в горах... И тут же опять слышался, начиная снизу, с самого начала подъема...

Он забыл обо всем, когда на второй день увидел в солнечном сиянии альпийские луга. Решил было, что это самое конечное место и есть, цель всего пути... И там ночью снова видел тот же самый сон, только его голос уже отсюда, с высоты начинал перекликаться с оставшимися внизу голосами. Голоса, перекликаясь, спускались вниз и не возвращались обратно.

– Закусить не мешало бы... – голос Манчи вывел его из забытья.

Он поднялся.

– Куда нам сейчас?..

– Ты что думаешь, это рукой подать?! – Манча нехотя встал, поеживаясь от холода, который здесь уже давал о себе знать, нехотя взял винтовку.

– Я все время хочу кое о чем тебя спросить, Манча, – заговорил Мсоуст, когда они прошли немного и стало теплее от ходьбы. – Не вечно же отшучиваться... Я знаю, жизнь у тебя – не мед. Вот иногда я и думаю, что же тебя сделало таким.

Чем ближе, как он считал, приближались они к цели своего похода, тем больше в нем укреплялась надежда встретиться с человеком, с которым он должен поговорить о многих жизненно важных вещах, и тем настойчивее такого рода вопросы – о себе, о других – возникали в голове. Даже Манча почувствовал особенность в словах и в самом тоне Мсоуста – это по отношению к нему-то, всеми презираемому, который вообще перестал понимать серьезный разговор. Манча обернулся и странно – веки дергались – посмотрел на Мсоуста. Видимо, такой разговор еще больше настораживал его и отпугивал.

– Скажем, как бы ты хотел жить, чтоб мог сказать – доволен, даже счастлив?

– Как?.. – начал было Манча своим обычным задиристым тоном, но осекся... он и сам недоумевал, отчего это почти растерялся. – Как?.. – он повторил вопрос неуверенно, словно вдруг оказался среди людей в чем мать родила. Потом жалко и гадко усмехнулся: – А вот так, чтобы я мог всех держать под сапогом...

– Скажем – ты добился... Всех, кого имеешь в виду – наша маленькая округа, – ну, сумел их держать под сапогом, – а потом? На что это тебе? Разве сделает тебя счастливым?

– Все же пригодится... – ответил Манча так же неуверенно. – Говоришь, потом... потом ничего нет, нет «потом». Мне достаточно и столько. Что ты называешь счастьем, – его отдельно не бывает... если сбылось чего желал – это уже все...

– Но так не может же быть, да? Тогда давай ближе к тому, что на самом деле есть... и что все же ты думаешь на будущее, как думаешь построить свою жизнь?

Мсоуст не сбавлял шага, но что-то непривычно подкашивались ноги. Однако он подумал, что это все делает высота, и немного успокоился.

– Никак... – сказал не лукавя Манча. – Я доверился лесу. Лес таких как я многих видел, многих в себе схоронил. Пока могу, тому, кто решил перейти мне дорогу и здесь не давать мне житья, – вот это всажу в сердце! – он ткнул пальцем в пулю, торчащую из патронташа на поясе.

– Все же не верю, что у тебя сердце никогда не болит за других. Например, тебе никогда не хотелось сделать кому-нибудь хорошее, помочь, выручить и услышать от него благодарность, увидеть в его глазах искреннюю расположенность? Или помочь бедняку, который находится под тем же самым сапогом, вытащить его, заступиться за слабого, поверженного?

– Никогда не хотелось, нет! Никогда ничего хорошего мне никто не сделал, и у меня никогда не было такого желания, и не сделаю! – Манча раздражался. – Больше всего людям не подходит – хорошее. Потому все, в том числе и я, уважаю тех, кто способен творить зло. Ненавижу этих ангелочков, которые не умеют сделать другому плохо, не приспособлены к этому. И если я плохо кончу, то непременно в этом будут повинны они!..

– Тут я с тобой согласен, – усмехнулся Мсоуст. – Но почему тебе так ненавидеть их? Тебе надо ненавидеть тех, которых боишься. Но знаешь, почему ненавидишь именно беззащитных?

– Почему же?

– Ты слышал, как говорят: кто не в силах был укротить лошадь, бил по седлу... И здесь то же самое. Зло, которое ты копишь на тех, что нагоняют на тебя страх, вымещаешь на самых слабых...

– А я знаю другую поговорку: прежде чем идти судить другого, посуди сам о себе. – В обычное время Манча не посмел бы сказать такое Мсоусту, и сейчас тоже в его глазах блуждал страх. – Вот, например, ты всегда грозишься, что положишь голову за народ – но хоть бы кто-нибудь понял это? Как только где-нибудь мелькнет твоя тень, они разбегаются, будто ты чумной...

– Все равно у меня без людей жизни нет – вот все, что я знаю пока определенно, – вздохнул Мсоуст. Он сам удивлялся, что так спокойно сносил дерзости Манчи.

– Если думаешь, что им это очень нужно, – ошибаешься, – ухмыльнулся Манча. – У тебя без них нет жизни, а они шарахаются от тебя... Здесь все понятно.

– Для тебя все понятно, ты у нас слишком умный... – Мсоуст брезгливо посмотрел на Манчу. – Что это случилось, почему никак не придем? Может, ты с пути сбился? Тогда знай, тебе придется одеть наизнанку не только эту твою вонючую домотканую одежку, но и кое-что еще...

– На тебя это похоже, – сказал Манча мирно. – Вот уже пришли...

Маленький сруб был так запрятан в зарослях дикой лавровишни, меж тремя гигантами-буками, что, конечно, если не имеешь представления, хотя бы примерно, где он находится, – невозможно было его найти.

– Ты пока не показывайся, я позже дам тебе знать, – сказал Манча шепотом, заметно волнуясь.

Чего он так боится, этот несчастный, чем Дадын так его напугал, подумал Мсоуст, прячась за ствол бука. Что-то вид сруба не говорил, что там обитает человек. Будь это дом, шалаш, сруб, – если он обитаем, есть кто-то внутри, – и снаружи это как-то чувствуется. Впрочем, Мсоуст тоже волновался, думая, застанет ли, а если застанет, каков будет прием, разговор с Дадыном.

Манча остановился у ближнего к срубу бука, палкой, которую срезал ему Мсоуст, тихонько постучал по стволу. Прислушался. Потом повторил стук, чуть посильнее. Еще прислушался. Повернул голову к Мсоусту, скривил губу, – мол, ничего не понимаю. Оставив палку у бука, подошел к двери, осмотрел ее, потом поднял довольно тяжелую лесину, которой была подперта дверь, прислонил дальше к стене сруба.

Если бы он сейчас не боялся как всегда – лесину эту швырнул бы на снег... Мсоусту вдруг стало смешно: все поступки, поведение Манчи диктовались исключительно страхом.

Манча открыл дверь, задержался, не смея войти сразу. Потом все же решился, и Мсоуст тоже больше не стал ждать, направился следом. Манча стоял у очага, рассматривая полуобгорелые поленья, золу. Мсоуст бросил взгляд: по очагу было видно – топили еще вчера.

Теперь Манча заметался, обследуя стены. Снял со стены маленький медный котелок, повел пальцем внутри, облизнул.

– Надо ведь! – удивился, – здесь варили копченое мясо. Кто же варит копченое мясо?! Он, насколько знаю, ест нормально, как и все, – жареным. А другого, чужого, он бы сюда не привел...

– Это видно было с самого начала, что так с нами и случится, – бросил Мсоуст, наконец поняв, что здесь нет Дадына, и раздосадованный неудачей. – Сколько я говорил, – пойдем, встретимся, но...

– Я же объяснил – он не желает заводить новые знакомства, не хочет никого видеть... – Манча предугадывал ссору и сам был раздражен. – Или ты

думаешь, он мне молочный брат?.. В году раз или два встречаемся – и то когда ему зачем-нибудь нужно. Если сейчас меня вдруг увидит, что я явился без всякого вызова, да еще с чужим человеком, одному богу известно, как он поступит. Может просто взять и оставить с простреленной грудью, как куропатку...

Потом Манча стал вытаскивать из-под нар у стены разного размера кувшины, деревянные кадушки – все внимательно осматривал. Засунул обратно, обернулся недоумевающе:

– Здесь не один день был человек – несколько дней...

– Оставь все это, пока время есть пойдем искать, – распорядился Мсоуст. – Если очень захотим, сегодня же можем его найти...

Манча выпрямился, немного постоял безучастно, потом вышел из сруба. Мсоуст заметил, как исказилось его лицо, побледнело.

– Мсоуст... – заговорил Манча, и Мсоуст вспомнил, что тот никогда не называл его по имени до этой минуты. Как же нужно не любить человека, чтобы бояться назвать его – бояться хоть какого-то потепления отношений!

Мсоуст тоже вышел из сруба. Ему все стало ясно – о чем Манча сейчас будет говорить.

– Мсоуст... – повторил тот. – Я не знаю дальше – куда идти. Всегда встречались здесь, на одном месте. Наверняка, он имеет таких срубов несколько, в разных местах. Но о них я ничего не знаю. Сюда привел тебя, дальше ни в чем не могу помочь...

– Поможешь, еще как поможешь! – Мсоуст был взбешен. – Как миленький поможешь, ты, собачий выблядок! А ну давая вперед! Если сегодня же не найдешь его, будь уверен, с этим днем закатится и твоя душа! Сам знаешь, мне уже нечего терять!

Манча не отступил – против ожидания, остался стоять у сруба. Разгневанному, горящему взгляду Мсоуста показалось, что вдруг лицо Манчи как-то посветлело, глаза стали чище и во всем облике появилось некое умиротворение.

– Зачем до заката ждать, кончай сейчас, – сказал он спокойно, отбросив обычный свой издевательский кураж. – Я говорю тебе правду, другого пристанища я не знаю. А ты не веришь. Мне некем поклясться... Если б даже и было, ты бы все равно не поверил...

– Нет, ты знаешь! Знаешь – и сейчас же все скажешь без запиночки! – Мсоуст снял с плеча карабин, загнал патрон в ствол и наставил на Манчу. – Сейчас или навсегда закроется твой рот, или раскроется. Даже одну пулю на тебя истратить жалко... Все равно когда-нибудь это придется сделать – пусть будет сегодня!

– Чего уж... ты всегда так думал... – нижняя губа Манчи дрогнула, но теперь уж не от страха. – Кажется, кое в чем я получше выгляжу, чем ты... а ты подумай, каков тот, который хуже меня! Я ведь тоже мог прикончить тебя... пусть открыто и не решился бы, так из-за угла. Однако ж я этого не сделал, а? Если скажу, что люблю тебя, – обману: не люблю, ненавижу тебя... Никого не люблю, всех ненавижу – и себя тоже, но – ты, конечно, не

поверишь – но все же я никогда не думал хоть кого-то лишить жизни... Поиздеваться люблю, могу ненавидеть, но... я до сего дня не пролил ничью кровь. А ты вот учишь всех, глядишь защитником правды, а на деле – именно ты жаждешь крови, так и стараешься кому-нибудь на больное место наступить, унизить... А на что такая правда, которая вся в крови?

– Напрасно заговариваешь мне зубы... тянешь, гад, время, только знай – ничего у тебя не получится! Если не сын последней суки, как смеешь говорить о правде! В голове у тебя никогда ничего не было, кроме пакости! Лучше иди и показывай дорогу!

– Нажми, нажми на курок... ты во всем прав, на что мне такая жизнь! – Манча выпрямился. – Все, что нужно было, я тебе сказал, дальше я никакой дороги не знаю. И позволь добавить еще одно: зачем он тебе, ты себя обманываешь... Он тоже как ржавый гвоздь в мякоти жизни – не то чтобы тебе посоветовать, сам не знает, куда себя деть... Стреляй уж, мне нечего больше сказать. Я вижу, ты должен начать с крови, начни с меня...

И вдруг Мсоуст увидел совершенно другое, изменившееся лицо Манчи, и все его сомнения постепенно улеглись. Вероятно, где-то, неведомо даже для самого Манчи, в нем все же остались крохи добра, человечности, – и когда пришла опасность, да неминуемая, они вдруг обрели силу и вышли наружу. С одной целью: защитить, если можно, его, их тюремщика, или по крайней мере помочь ему хоть умереть с достоинством. И для Мсоуста прояснилось: ведь если даже на время он высвободил в Манче это окончательно было задавленное человеческое начало, – не может же он, так сказать, освободитель, его же и расстрелять...

Может быть, подобные случаи превращения и служили поводом к тому, что из врагов, грабителей, налетчиков все же оставляли одного – горевестника... правда, обычно он, долго не раздумывая, мстил там же, лишь немного отойдя. Но люди были верны своему принципу, из года в год повторяли эту свою ошибку – не ошибку.

Мсоуст опустил ствол карабина, взял палку Манчи, прислоненную к стволу бука, вышел из зарослей дикой лавровишни и, решив, что, видимо, пока надо лезть дальше вверх, стал подниматься по крутому склону, усеянному могучими ровными белесыми стволами бука.

Видимо, где-то все же недалеко, подумал он, немного еще выше... А дальше в горы навряд ли Дадын пойдет. Там сложнее – пожалуй, и совсем невозможно зимовать. Стану искать, пока не ляжет снег... найду – хорошо, не найду, там поглядим, как быть дальше.

ХОЛОД

На дворе морозит...

Пока три дня и три ночи стояли трескучие морозы, и небо сделалось темным омутом, а звезды на нем – синими, холодными льдышками... пока

реки и речушки дымились в своих за столетия прорезанных ущельях, словно подогреваемые огнем снизу... пока облетали с озябших веток последние листья, пока пересохшая за долгую ведренную осень земля крошилась от стужи, пока днем светило, но не согревало багровое солнце, – все это время Мзалей так томился ночами от бессонницы и холода, что, казалось, – не три дня и три ночи, а все три месяца прошли.

Там, где он провел часть своей молодости, долгая зима и холода были привычны, а люди всегда подготовлены к ним. Здесь же, в этом огромном доме из дуба и каштана, несмотря на то, что в каждой комнате горел камин, – тепло не удерживалось. В обычную зиму тепла этих каминов бывало достаточно, такие морозы, как сейчас, случались нечасто – но зато могли всполошить всех.

Мзалей все эти ночи засыпал где-то перед рассветом – и опять просыпался от холода. Потом его захватывало течение воспоминаний, размышления, они тоже как бы примерзали к нему, и уж совсем под утро он засыпал снова.

В господском доме ужинали рано, и сразу все расходились по своим комнатам, к теплым постелям. Появлялась Чахуназ, заново растапливала камин, приносила поленьев получше, чтобы Мзалей мог поддерживать тепло всю ночь. Однако после полуночи он уже не следил за огнем, и к утру камин остывал.

Все так случилось – из-за него (так не говорили, но, несомненно, думали) погиб человек, потом состоялся неприятный семейный разговор, который как-то неожиданно для них изменил взаимоотношения... И никто пока не собирался все это сгладить, помирить его со всеми...

Мзалей как обычно сидел у камина один, на душе было невесело. Пока еще в доме никто не спал, иногда раздавались шаги, покашливания и глухие разговоры. И Умара еще слышно не было. Ужинать он не пришел. Вообще он редко встречался со всеми и за завтраком, и в обед, и вечером. Иногда являлся среди ночи: не обращая внимания на то, спят ли, не спят, распахивал двери, громко хлопал ими, шаркал ногами – чувствовалось, насколько он пьян, – и наконец-то уходил в подвальное помещение, где обычно отдыхал. Сегодня его время еще не пришло.

Мзалею вдруг захотелось выйти на воздух. Накинул пиджак, обмотал шею теплым шарфом и, тихонько отворив дверь, шагнул на балкон. Сразу его обдало обжигающе холодным ветром. В минувшие ночи ветра не было, словно его тоже заморозило, но сегодня он налетел, холодный, пронизывающий – раскачивал деревья.

Мзалей вышел к перилам, посмотрел вверх. Он забыл за годы отлучки это небо, и сейчас ему трудно было определить, какую же погоду оно сулит. Вечерняя заря растеклась широко на западе, а выше было уже непроницаемо темно, как под куполом храма, когда погашены свечи.

Ветер гудел, рождался из преисподней, и когда достигал верхушек деревьев, завывал, как матерый волк от зубной боли.

– Что-то задумала природа, но кто его знает... – сказал Мзалей вслух. – Может, потеплеет, а может, холоднее станет...

Вернулся, крепко прикрыл за собой дверь и сел у камина, пододвинув скамейку.

О морозе в господском доме почти не говорили. Он, конечно, догадывался, что кое-кто изволит бормотать злорадствуя – мол, вся эта напасть пришла вместе с ним, незваным... А вот то, что если мороз продержится – туго придется бедным крестьянам, дома, хижины которых вовсе не приспособлены к холодам; да и скотине, которая в основном гуляет под открытым небом, несладко, и с кормами плохо, – все это здесь никого не заботило, словно капризы природы касались кого угодно, только не их, не господ. Прислуга тоже недалеко ушла – вне привычных обязанностей их словно бы ничего не трогало: остальное было делом господ.

Мзалей чувствовал, что эту ночь придется коротать у камина. Дров ему Чахуназ припасла достаточно, единственный человек, который еще заботился о нем. Все эти ночи он плохо, а то и почти не спал от холода. Ляжет, закроется единственным одеялом – и холод тут как тут: залезал под одеяло вместе с ним, и никакое свое тепло не в силах было изгнать его из постели. И вот, думая, как обогреться, и больше ни о чем не в силах думать, страдал он под своим одеялом. Ни о своем положении, о деревьях, стынущих под непривычным морозом, лужах, озерцах, что затягивает крепеньким ледком, о холмах, вершины которых зябли как кончики пальцев, о долинах, где залег холод, как в его постели, – ни о чем не мог он размышлять. И так уж походил он на затворника, а теперь и в мыслях – тоже. Он забыл и те немногие тропы, по которым гулял в детстве, а новых за время приезда не успел проложить – и вот пространство, позабывшее его, кольцом окружало его, загнав в дом, будто как вражеское войско.

Что же станет дальше, как сложится? Даже с матерью он успевал за день лишь раз или два перебросится несколькими словами, в основном приветственными, и она сразу уходила, вздыхая, подавленная. А отца иногда целыми днями не видел. Сафия, которая сначала просто осаждала его, начисто исчезла. Этот дом обладал удивительным свойством держать всех порознь, не давать людям встречаться – чтобы теряли друг друга. У каждого из помещений был свой боковой, ни от кого не зависимый выход.

Неужели в действительности такой несчастливой оказалась его нога...

Как бы в ответ его невеселым мыслям, где-то отворилась дверь. Это или у Сафии или у Эсмы. Мзалей встал, почему-то уверенный, что наконец-то кто-то направляется к нему. Удивился и обрадовался, увидев, что это Эсма. Он все переживал, что у них как-то не клеилось, не возобновились давнишние отношения брата и сестры. Сама Эсма вела себя непонятно, отчужденно.

– Эсма?! – воскликнул он. – Иди к огню, к теплу, посидим наконец хоть немного!

Она не посмотрела на него, голову держала прямо и была до того мрачна, словно только что услышала весть о смерти еще одного близкого.

– Эсма, что с тобой, случилось что-нибудь?

Она резко повернула голову, поглядела с укором («Быстро же, однако, забываешь...»).

– Да, да... извини... – пристыженно вздохнул Мзалей.

Если кто-нибудь жалеет по-настоящему несчастного Бату, только она, подумал он, и если кто-то продолжает страдать по нему, это тоже она.

– Эсма, присядь хоть на минутку, – он придвинул поближе стул.

– Нет, нет... – отказалась она холодно.

– Все я забыл – но наши игры с тобой помню – будто сегодня... – Мзалею очень хотелось как-то если не развеселить, то хоть чуточку расшевелить, оживить ее. – И няню бедную нашу...

– Нет, я за эти дни убедилась в обратном, – возразила девушка погасшим, траурным голосом. – Но я тоже должна была знать свое положение... Кто я вам и всем остальным... сирота горемычная...

– Эсма, Эсма, ради бога, о чем ты говоришь! – Мзалею сделалось больно от ее слов. – Эсма... – добавил он почти шепотом, – кто у меня есть – кроме тебя. Ты мне сестра, родная сестра – и по духу и в семье.

Эсма вздрогнула, еще крепче сжала губы, заметно побледнела.

– Эсма, прости же! Я знаю, что виноват, но пойми и меня – я как птичка в силках, сам запутался. Ты же свидетель – какое несчастье случилось, и в общем-то из-за меня... Может, лучше было мне совсем не приезжать?!

– В том, что случилось, – ты не при чем, напрасно терзаешься. Это давно уже началось, но никто пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить... — отрубила она как тяжелым ножом. – Подожди – еще не то увидишь...

– Что может быть тяжелее, чем такой конец...

– Чем он, несчастный, отличался от покойника... Не мучился... – холодно успокоила Эсма.

Мзалей видел, что ей тяжело – но не от гибели Баты, а от чего-то другого, этого и не скрывали ее глаза.

– Я пойду, – тихо сказала она. Похоже было, что она немного успокоилась.

– Мне бы хотелось посидеть с тобой, но если спешишь... Прошу, не обижайся на меня: я тот, которого ты знаешь, ничуть к тебе не переменился. Наоборот... Братья что-то остыли ко мне, но пока буду знать, что ты рядом, буду чувствовать, что ничего со мной не случится...

Она повернулась и ушла, забыв даже пожелать ему доброй ночи.

Все почему-то недовольны мной, недоумевал он, – значит, помимо того, что случилось, я еще в чем-то веду себя не так...

Он сел поближе к огню и предался размышлениям.

САМАКУА – ГОЛОС МИНУВШЕГО

Почему же столько времени его держали за тридевять земель, сами преспокойно здесь посиживали? Не написал, не послал никто ему

приглашения, не позвал – ни мать, ни отец, ни брат, хоть чтобы просто навестить приехал, на время... Почему?! И мать всегда писала, чтоб еще потерпел... Потерпи, писала она, возьми пример с меня (сравнила тоже!), пока некуда тебе приезжать... Что хорошего может ожидать выходец из народа, объявленного виновным перед империей, писала она, пока, пока... Пока можем, будем надеяться – писала...

Потом с народа сняли виновность, но в письмах продолжалось то же самое. Потому в конце концов он сам, никого не спросив, не предупредив, отправился сюда. Ведь у каждого есть право вернуться, встретиться с родной землей, не правда ли?

Если он спросит, почему же так сложилось, отчего, они ответят: сам видишь, насколько здесь лучше. Но в таких случаях не сравнивают, где лучше, где хуже. Для каждого родина – лучше всего.

Каким он уехал отсюда, о чем он думал тогда... Трудно сейчас сказать, с каким сердцем отправлялся, но одно хорошо помнил: что ни по ком не болела душа. Даже Эсма, вместе с которой его воспитывали, с кем больше всего проводил времени, – и ведь искренне привязан был, – вдруг сделалась для него безразлична. Он видел, как Эсма искала его взгляд своими опухшими заплаканными глазами, но делал вид, что не замечает ее, – и все глядел на дорогу, в сторону лысых холмов, которые теперь встретили его поросшие могучими платанами.

Он не боялся лошади и неплохо держался верхом, но усадили его тогда на белую смирную конягу. Когда он пришпорил ее и она пошла трусцой, в животе ее что-то стало булькать, словно там стояла вода. Из братьев никто даже из ворот не вышел. Отец ждал, прислонившись к частоколу и нервно (как ему показалось) перебирал четки.

До того, как он поднялся в седло, мать обняла его и некоторое время не отпускала, положив голову, пахнущую родным материнским запахом, ему на грудь. Этот запах все минувшие годы сопровождал его. «Не плачу, не плачу... – твердила, отпуская его. – Грех плакать...» Вокруг губ то бледнело, то синело, как если бы сглазили.

Он очень хорошо помнил то, что слышал с детства: для оставившего родину нет жизни, – однако далеко не понимал смысла сказанного, не чувствовал. Еще помнил, как часто повторяла нянька: для тех, кто жил на этой земле, – покидать ее для них было тяжелее смерти. Но смерть же не приходит по зову, не стоит рядом изготовившись...

А он спешил оставить родину, поскорее уехать.

Изгонять народ со своей земли, бросать на произвол судьбы – великий грех, потому каждый решившийся на него старается на самих же изгоняемых и свалить всю вину. Но несмываем позор преступивших все ради своей только прихоти, жадности и жестокости – никогда не заживает, не затягивается травой преступный след кованых сапог и хищных конских копыт, клеймом остается на самих насильниках, как и на поверженных. Вина перед другим народом не иссякает как дождевой поток после ливня. И возмездие совершается не одними только силами неба и земли, что

призывают поверженные; сама жизнь в своем круговороте создает, собирает силы, которые и вершат возмездие – неизбежный итог преступления.

Позже, когда он уже стал больше понимать и чувствовать, его мучило другое: что же было причиной – отчего он, уже далеко не дитя, так легко, даже с охотой оставлял своих, свою родину? А те, изгнанники? Как даже они могли оставить все? Почему же не погибли, не сложили головы, защищая свою землю? Значит – возможно, чтобы мать оставляла свое дитя, сын – свою мать, сестра – брата, брат – сестру?.. Так же как он, ни разу не посмотревший в сторону горько плачущей Эсмы... Когда у последнего поворота он все же оглянулся назад, все уже преспокойно возвращались домой, а Эсма одна стояла, прячась за дерево, все еще продолжала плакать.

...Но принять смерть, видимо, не так просто, как это иногда произносится легко и браво. Недаром же говорят – душа солона.

...Но пока еще, как стоны бездомного странника, которого закидали камнями, витают вокруг очагов, ставших могилой своего же дома, стоны этих погибших очагов, плач и дрожь безвинных детей, в самом начале жизни теряющих все... А дальше – у детей, внуков, правнуков этих безвинных – у них отняли сразу родину. Земля становилась родиной тысячелетиями, сто лет здесь – что один день.

Когда он уезжал, ему казалось, сама земля подталкивала – в путь, в путь! Однако вот же – настигла его там и пригнала сюда, не давая даже оглянуться.

Придет ли время для потомков этих несчастных – чтобы как у всех: нормальные и полноценные текли детство, юность, возмужание? Они же с малых лет несут на своих плечах вечную и непосильную ношу: тяжесть погибшей для них родины, и этот груз не передашь никому другому. Человек всегда под ношей, но это ноша особая, по-особому тяжелая.

И все же... никто не вправе осуждать их, изгнанников. Когда человек встречается с чудовищной силой, против которой он просто волосинка, и когда все его несчастья – от нее, он бессилен, бессилен даже лишить себя жизни.

Он остался один на своем островке – в отведенной ему комнате. Ни один из тех, кого жаждал увидеть, на которых надеялся, что тоже ожидают встречи с ним, – не приходил просто даже из приличия. Такие как Алоу и Кесария, с которыми действительно возможна была близость, уехали к себе. И вот он вынужден был, чтобы существовать, – искать какую-то почву под ногами, и находить – хотя бы в прошлом. Его стало высаживать на те берега, где еще его дыхание, казалось, обозначено в воздухе, откуда он совсем недавно уезжал, а скорее – убегал.

...Он желал и старался, чтобы парус надежды и воспоминаний мог свободно приставать как к этому берегу, так и к другому, теперь уже далекому... пригород в березах и соснах, где он провел столько лет, – он и там, на той стороне надеялся найти, воскресить что-нибудь светлое в темноте забвения. Но вот беда – уже от него удалялось, пряталось на том берегу даже то, что хорошо понимал, знал. И парус его надежды и воспоминаний

полоскался и обвисал беспомощно, как бабочка, срок которой истекает, его захлестывали волны забвения – он не мог продвинуться ни на шаг. Однако же он все не отступал – и вот уже начинали мелькать знакомые лица, еще недавние воспоминания. Ясно увиделись синие спокойные глаза, незамутненные опытом и страданием, ожидающие. Слух будто сейчас улавливает ее последние слова, и даже тон. Слова, неожиданные, поразили его... тогда, сразу, он не понял их подлинного подспудного смысла – что их породило – настолько сильно было задето его самолюбие, чувства. Конечно, и сам все же сообразил, и кое-что открылось ему после разговора с Иваном Федоровичем. Тот не был чутче, прозорливее Мзалея – так, чтобы с первого взгляда указать болевую точку... и не из таких был, что всегда советуют, поучают, абсолютно уверенные в своей правоте. Главное – Мзалей верил в его искренность, а также и в то, что все же со стороны всегда виднее. «Дело не в Ольге... – слышится его живой голос, – совсем в другом. Она чувствует – ты здесь временно, и если даже останешься физически, душа твоя будет тут лишь наполовину – и не обретет покоя. Конечно, это говорит и о ней, о ее ограниченности, о подавляющем перевесе здравого смысла над чувствами, – но это же еще раз напоминает: человек не может всю жизнь прожить случайным гостем. Многое надо человеку, чтобы познать самого себя, в том числе и такая временная перемена места: на чужбине он больше и теснее встречается с самим собой, больше иллюзии свободы. Однако – человек не человек, пока нет на свете того, без чего он не может, равно как и того, что без него не может... И такой первый долг для него – родина. Оттуда ему всегда лучше видно...»

Вдумавшись в эти слова, он постепенно перестал обвинять ее. Здесь ею руководили чувства посильнее нее, они распоряжались ею – не она ими... Они отбирали и волю, и слова, наделяли своей волей, уста – своими речами...

...Началось у них с дружественности, с человеческой близости поверх всех остальных случайных атрибутов, навязанных жизнью. И они прошли на другой берег по этому игрушечному мосту. Но когда этой основы сделалось недостаточно, вернее, когда у нее не хватило дыхания для высшего, верх одержали иные, более заземленные чувства, и пребывание на том берегу стало невозможным, – они же, эти силы, перевели ее обратно по тому же игрушечному мосту и затем разрушили его...

Опять его настигает голос Ивана Федоровича: «В древности, когда началось обледенение, ни один островок не смог избежать этой участи – там, куда обледенение дошло. И когда сшибаются огромные империи, каждая хочет оттеснить, сокрушить своего соперника... В ярости схватки они ничего не видят, ничего не слышат – топчут, сокрушают все, что случайно оказалось под ногами. Так динозавры оставляли раздавленным все, что попадалось на пути... Конечно, кто-то, попавший в такую катастрофу, – изувеченный, но уцелеет. Вот спасение их – дело святое, божеское. Здесь и мой, и твой долг...»

В это время его достала какая-то боль, заставившая забыть обо всем остальном. Не то что достала, а как бы донеслась. Ее нельзя было назвать

только плачем, ибо она была больнее той боли, которую смягчает плач. Плач все же как-то утешает, рассеивает боль. А это, долетевшее, не рассеивало, а собирало. В том напряженном состоянии его души, нервов, натянутых как струны, время до того ощутимо сделалось реальным, что как смычок касалось их – извлекало тонкие, слышимые только ему звуки.

В боли этой жил и плач по бедному Бате. Это усиливало чувство гадливости к тем, которые прикрывали трауром по нему свое лицемерие, полное равнодушие. Наоборот, никто из них не мог скрыть – все вздохнули свободнее. Одни стыдились его: их унижало его появление на людях, в других же вид его возбуждал панический страх. В присутствии Баты отец и мать отводили друг от друга глаза. Одна Сафия умела его утешить. Однако она, особенно когда скучала, на этом не останавливалась; начинала подозревать в нем, выискивать какие-то еще более искаженные инстинкты, это она называла – развлекать Бату. Невозможно было смотреть на это зрелище, Сафия уродовала его еще больше.

...Перед тем как опустить его в землю, открыли его бледное лицо. Еще в самом зародыше пораженная разжиженной, порочной кровью предков, пораженная недугом их пьянства, разгула, ничегонеделания, душевного и физического опустошения, вся его плоть, весь облик, казалось вопрошали, прозрев: «За что... суждено было столь долгое страдание – бытие, когда так покойно здесь, в небытии?»

Когда никто не двинулся, чтобы подойти к телу («Даже мать...»), Мзалей вышел из столпившейся родни, в нетерпении ожидавшей конца, склонился над Батой и провел рукой по его груди. «Спи спокойно, брат, – шепнул он. – Все мы здесь встретимся, на кладбище...»

Как пустую, неспособную быть семенем персиковую косточку, бросили его в землю.

Сейчас там, наверху, с застывшей мертвой кровью Анчаа лежит он под промерзшей неплодородной сухой землей, на роскошном для этих мест родовом кладбище его предков, сильных мира сего, огороженном частоколом из отборного красного дерева, Бата, для которого и здесь жизнь была сущим адом, а там он – прах.

Когда в камине остались одни горячие уголья, он не подкладывал больше дров, разделся и лег. В комнате стоял морозный дух. Он прислушался: в доме еще не спали, отовсюду доносились звуки какой-нибудь возни, приглушенных разговоров. Пока еще и Умар не объявлялся. Все эти морозные ночи он возвращался поздно, хлопал дверьми, шаркал ногами, иногда издавал пьяный рык и, видимо, будил всех – его неслышно ругали, проклинали, однако никто не осмеливался упрекнуть вслух.

Все эти ночи, бодрствуя, он слышит звуки, рождающиеся в доме и доносящиеся до него сквозь стены, которые не в силах все их удержать: в самом дальнем углу дома, в самой изолированной комнате раздается глухой, надрывный кашель Хирипса. Кашель долго покрывает все, но в конце концов

начинает пробиваться и чей-то храп, иногда храп нескольких человек, затем чьи-то задыхающиеся стоны. При них храпы вдруг замирают... Сначала ему показалось, стонет мать, и сердце его больно сжималось. Но потом он понял, что ошибался. Однако ж это были и не мужские стоны. Надо Эсму спросить – похоже, это она... А то кто же еще может быть? Сафия не будет стонать, а жена Хирипса до того тихая, бессловесная, что даже во сне не решится подать голос...

Днем кто может, у кого хватает настроения – прихорашиваются, стараются подтянуться до тех, которые держатся с достоинством, контролируют свое поведение, поступки... а ночью, когда сон сморит волю, – каждая боль, неудовольствие, обида обретают свой подлинный голос: возгласы испуга, стоны, храпы, вскрики, надрывный кашель...

Вдруг Мзалей услышал порывы ветра, заскрипели стены, где-то сильно стукнула наружная ставня, верно, позабыли закрыть («И попадет же кому-то!»).

«До сей поры тихо и безветренно было в природе, никогда ни один лист не шелохнется... – вдруг вспомнил он сказку, которую любила рассказывать нянька: о смешном, но бесстрашном и лукавом карликовом народе ацанов. – И вот однажды пышная борода козла, под которой дремал старейшина ацанов, закутавшись в свою тоже очень пышную бороду, вдруг зашевелилась. Чуткий старейшина дрогнул, и на лице его, изрезанном морщинами множества столетий, которые он прожил, сразу появилось еще столько же морщин. “Не миновать нам, народу ацанов, страшной беды! – воскликнул он горестно. – Не стану от вас скрывать: борода козла шевелилась, воздух пришел в движение... А где же наш воспитанник? – спохватился он. Но того нигде не оказалось. – Все понятно... Он еще ребенком был послан нам с неба, мы его воспитали. Недавно он меня спросил, какая сила способна истребить народ ацанов, и я собственными устами ему и сказал...”

У ацанов не было тайны, ибо не было у них и предательства, – не думали и не гадали, что оно существует. И стали жертвой первого на их земле предательства...»

Через некоторое время воцарилась тишина: и на дворе все стихло, и внутри дома прекратились все звуки, притаились.

Мзалей лежал некоторое время и слушал тишину, ему еще не было холодно. Хотелось заснуть – встать выспавшимся, свежим, способным думать, решать. Но сон не шел – напротив, постепенно непонятное волнение охватило его, будоражило кровь, чуть успокаивалось, потом опять повторялось. И вдруг он вспомнил Мсоуста. Мсоуста, которого не видел в глаза, но о котором уже столько был наслышан. Пространство вокруг, дотоле пустовавшее, вдруг стал заполнять этот незнакомый знакомец, становясь его содержанием: Мзалею даже показалось, что он слышит его дыхание. В его положении сына Алмы Анчаа он должен был бы ненавидеть этого человека – но ненависти к нему не было, и с самого начала не могло быть. Наоборот, он стал думать о том, что именно Мсоуст может сделаться для него самым

близким здесь. Хотел уйти от этой мысли, считая, что в этом доме, под крышей которого спит его оскорбленный отец, думать так – непорядочно, однако ничего не мог с собой поделать, и помимо его воли настроение у него поправлялось.

В это время где-то совсем близко открылась дверь и громко захлопнулась. Умар... Нарочно шаркал ногами, громко и нехотя пьяно откашливался. Шарканье дошло до половины коридора – и вдруг исчезло. Куда-то, к кому-то зашел, подумал Мзалей. Именно сейчас, в таком состоянии он мог бы возмутиться, не выдержать... но вдруг совсем иное: Умар предстал перед ним со всей бессмысленностью своей жизни, никому не нужным, без всякой цели и значения. Ничтожество... В эту минуту Мзалей понял раз и навсегда, что их дороги никогда и нигде не могут сойтись и компромисс между ними не возможен ни в чем. Мысль эта успокоила еще больше – и показалось, что теперь Мсоуст, вернее, дух его, который непременно витал где-то поблизости, сделался еще ближе.

Наконец, измученный бессонницей прошедших морозных ночей, холодом, душевной неустроенностью, сомнениями, одиночеством, ощущением бескрылости, – Мзалей вдруг почувствовал, что ему стало теплее (не к снегу ли?) – и незаметно заснул глубоким сном.

САФИЯ

Буйвол господина съел муку...
Пляска святого Витта

...Господский буйвол съел муку, видать, от этого ломит мне кости, я возбуждена, и жажда мучает меня. Наклоняюсь к воде напиться, там пузырится кровь... Ступаю по траве, желая перевести дух, – трава под ногами испепелилась, земля горяча, ноги мои горят... Господский буйвол съел муку, – видать, от этого я вся горю...

Подняла голову и посмотрела на небо, приоткрылись небесные врата и где-то засверкали золотые ступни Всевышнего... там, внутри, за вратами – белым бело. Но постепенно белизна розовеет, и наконец все заполняется бушующим пламенем... Крыша земли загорелась, горящие падающие головешки заполняют воздух... Значит надо танцевать! Вот этого парня я приглашаю на танец, этого, с сильными стройными ногами, яростного, бесстрашного, смотрит с надеждой... А ну-ка, молодец, стройный стан, взлети, не жалей себя ради меня! Как горяча, как горяча земля, горячее огня, сумасшедшим будет наш танец, лишь на мгновение коснемся ногою земли... Но с неба сыплются, сыплются пышущие жаром уголья, покрывают землю... Земля становится жаровней. Верно, это пересохшие облака вспыхивают огнем... Но мы быстро-быстро отрываем ноги от земли-жаровни... А ну-ка, молодец с надеждой в глазах... А ну-ка!

Подними в танце голову, посмотри на небо. Там рассыпаны звезды – пламя не может их достать. Давай, молодец, взлети, но так, чтобы не споткнуться, не склониться в сторону, – не то и небо скособочится – горящие облака скатятся на донышко и сожгут звезды... Взлети, взлети, молодец с тонкой талией, прошу, не сочти за труд...

После того как вдоволь наговорилась, насмеялась с вздорной, вертлявой, чересчур живой подругой Ханифой – прискакала к ней с самого утра на такой же, как и сама, сумасшедшей кобыле, – Сафия хотела лечь и ни о чем не думая заснуть. Она получала от подобного времяпровождения, особенно от сплетен, такое удовольствие, что земли под ногами не чувствовала: внутри у нее царила блаженная опустошенность, и она отдыхала; если это было жаркое время, она подставляла лицо прохладному ветерку и издавала одни и те же звуки удовольствия: «ох-ох-ох» – вылетало как-то само, без ее усилий, из раскрытых губ; а если было холодно, она подбиралась ближе к огню и мурлыкала, как ленивая сытая кошка.

Никогда в жизни она не выстраивала никаких планов, программ, и никогда не поступала не так, как ей сейчас вот, в эту минуту хочется, а иначе – как лучше и нужно. За день она как-то выполняла то, что велела ее плоть, и тем и определялось ее поведение. В желаниях ее не было разнообразия: плоть, и душа, и сердце ленились. То, что она делала вчера утром, сегодня уже не помнила, и потому ей казалось, что каждый день она живет по-новому. На деле же дни почти все походили друг на друга, как одна и та же заунывная дорога. Никогда ни при каких обстоятельствах в ней не возникало, что она может быть ответственна перед кем-то, перед чем-то, – и никогда на себя не брала ответственности. Она и не скрывала этого, хотя для видимости иногда сглаживала небрежение и равнодушие сладкими словами – да и то больше потому, что ей нравились эти безответственно пустые, но, как ей казалось, красивые звуки, – они проходили через гортань, как бы помазав ее смягчающим жиром.

Она осталась, это действительно так, по просьбе госпожи – до сороковин несчастного Баты. Носила, как и все, траур, однако ни дня не соблюдала положенных при этом ограничений, даже по барскому облегченному минимуму: не стала поститься и в самый день похорон. «Так ему, бедному, покойнее, да и нам... – повторяла в обычных разговорах. – За что ж другие должны страдать от того, что ему на роду было написано...»

В доме, кроме Умара да матери мальчика, все отвернулись от Астамыра. Сделали это с удовольствием, заполучив ясный повод. Сафия же так просто не пропускала его: ухватит, остановит. «Ну ты, сорванец, – подмигивала, – а ну-ка, ну-ка, насколько оно выросло...» Астамыр, с другими лягавшийся, кусавшийся, царапавшийся, с ней вдруг становился кротким. Неизвестно, любил ли ее, или боялся ее решительности, либо нравилось ее деланное величие, – только кривлялся, хохотал, однако не убегал и позволял засунуть руку в штаны – но чуть она соприкасалась с этим самым отличием, он издавал какие-то блаженные звуки, выворачивался из объятия и убегал. «О-

о!» – восклицала Сафия в свою очередь похвально и одобрительно, и лениво и кокетливо хохотала.

Увидев Мзалея, Астамыр, который никого в общем-то в доме не боялся, прятался. Когда Мзалей не слышал, мальчик закатывал истерику и кричал: «Зачем он здесь, тут не его дом, пускай убирается!..»

Сафия давно уже хотела перебраться в постель, но огонь так жарко и хорошо горел в камине, что трудно было от него уйти. Она была уверена, что никто больше сюда не зайдет, поэтому сидела свободно расставив ноги, удобно развалясь. И от этого теплого расслабленного состояния ей так было уютно и хорошо, что внутри у нее что-то беззвучно и радостно повизгивало, как довольная собака, мурлыкало, как сытая кошка. Как и в обычной жизни, внутри нее эти собака и кошка обычно не ладили, но такие приятные минуты мирили их.

Так она сидела и блаженствовала, когда дверь без стука, без предупреждения резко отворилась. Она не испугалась и не вздрогнула. Пугается и вздрагивает тот, кого размышления или воспоминания перенесли в другой мир, и всякий звук из реального мира тогда застает врасплох. Что же до нее – не было силы, которая пересилила бы ее и перенесла в какой-то иной мир: она всегда присутствовала только в здешнем мире.

– А-а, это ты, монсеньор! – Это последнее непонятное, механически усвоенное слово в ее устах означало некоторое пренебрежение. Она даже не поднялась с места, лишь нехотя свела колени.

Умар двигался не останавливаясь, нарочно еще больше, чем обычно шаркая ногами, набычившись. Оказался возле стула, где целый день вертелась, сидела – не сидела Ханифа, грузно опустился на него. Он был пьян. Вместо колючих маленьких глазок под лохматыми, лоснящимися, будто влажные, бровями виднелись только пляшущие мелкие блики огня.

Сафия посмотрела – и ее стал разбирать смех. Она знала, видела, как он держал в страхе усадьбу, как не способен был поступать нормально – лишь пакостил, однако в душе не ставила его ни в грош. Ясно определяла разницу между тем, за что он себя выдавал, и тем, чем на самом деле являлся. И он, видно, с его звериным нюхом, догадывался, что раскрыт и понят ею, – поэтому, хоть старшего своего брата не ставил ни во что, все же делал вид, что ее, Сафию, уважает как невестку, жену Уатара, делал вид, что слушается ее, ценит ее мнение. Она тоже хорошо усвоила эту ситуацию, и когда что-то обсуждали, решали в доме в ее присутствии, она при всех угождала Умару, соглашалась с ним, выделяла его мнение. Со стороны думали, что они особо уважают друг друга и всегда едины, однако сами они, каждый для себя, знали суть и цену происходящего.

Сафия понимала, что в душе он всегда зол на нее, как и на всех, и ждет случая, чтобы подчинить ее, как остальных. Сейчас тоже не просто явился, решила она посмеиваясь, – от выпитого ему кажется, что он грознее, чем на самом деле... А в общем-то вид Умара ее не огорчил, захотелось вдруг

почесать язык, но уже иначе, в другой роли, чем со своей вертлявой подружкой.

– Ты так сидишь – скоро ляжки свои зажаришь... – сразу и грубо пошел он в наступление. – Главное, как человек ведет себя, что себе позволяет, когда один, – на людях-то все стараются казаться недотрогами.

– Люди, люди, что мне люди... – отвечала посмеиваясь Сафия и нарочно немного снова развела колени. – Я иногда от них, от людей, отдыхаю... Кто лучше тебя знает об этом, лучший из моих деверей, – хитрила она.

Она уже заметила: Умар хоть и пришел устанавливать свои права старшего в доме, все же поглядывает на ее ноги.

– Да, для тебя все равно, ты права, – блики огня заплясали под бровями. – Но ты не подумала о том, что для нас это далеко не так?! – Он вынул пистолет из кобуры, со стуком положил на столик.

– Что ж это вы, монсеньор?! – ей стало еще смешнее, однако сдерживала себя. – Что с тобой, которого я ставлю выше всех своих деверей? И ты не ты, и голос не твой! Подумать, что ты на что-то обижен – не смею, ты же не капризная служанка... тогда скажи мне, в чем дело?

Он некоторое время молчал, видимо, несколько обескураженный ее, как ему казалось, дружеским тоном. Но все же она видела, что он задыхается от злобы, все это не только от выпитого.

– Иногда я думаю... – добавила она подчеркнуто мягко: в душе царило блаженство – оттого, что он задыхался от злобы. – Ты же знаешь, я это не очень уважаю... думать-то. Я живу днем сегодняшним. Ничего заранее не приготавливаю, говорю то, что бог подскажет, поступаю так, как ему угодно. Но иногда все же самой хочется подумать. Вот я иногда и думаю: почему же такой мужчина, как ты, подобный льву, подобный тигру, должен пропадать в этой глуши? Такой как ты должен еще где-то что-то иметь, где-то отводить душу... Вся жизнь – в женщине, и кто не согласен с этим – обманывает себя и других.

– Оставь... Я пришел совсем о другом с тобой говорить... – Все равно он не справлялся с взглядом – косил на ее ноги. Она же нарочно еще чуть развела колени навстречу огню. – Ты законная жена моего старшего брата, которого я ценю больше самого себя. Только потому я терпел до сих пор, не давал знать ни тебе, ни другим, поддерживал твой авторитет, твое мнение. Но считай, игра окончена. И вот – я давно хочу от тебя услышать кое о чем, давно это сжигает меня...

– Правду говоря, мой дорогой деверь, я тоже хочу услышать твой столь таинственный вопрос. Ответ возможен ведь только на заданный вопрос, правда же? Как ты знаешь, мы с тобой всегда лучше всех понимали друг друга, но так – лицом к лицу, по душам – нам все же почти не приходилось...

– Я тоже надеялся, что мы понимаем друг друга, но... – сказал он с расстановкой, положив почему-то левую руку на пистолет. – Но оказывается – совсем не так...

– Больше того, мы с тобой просто похожи друг на друга еще в одном...

– Это в чем же?

– Есть в чем, есть – не говори, что нет! Я женщина, я умею вести себя на людях, улыбаться где и когда нужно, умею завоевать симпатии. Все это, я считаю, не лишнее. Мне поэтому завидуют... Однако это мне нужно меньше всего. Женщине нужен мужчина. Женщина должна всюду помнить свою постель как счастливый сон...

– Тебе что, не хватает?! – он хотел прикрикнуть на нее, но все время что-то мешало в горле.

– А ты сам разве не знаешь, так или нет? Ты же предложил поговорить открыто – вот и слушай! Я желаю своего мужа. Муж есть муж. Но если каждую ночь этого мужа укладывает вино, обессилив, превратив его в тряпку, – трудно слушать до утра только его храп, каким бы сладостным ни казался...

– Нет, нет... моя дорогая невестка, не переводи разговор на иное...

– А ты знаешь, кстати, я и хотела о невестках...

– Не сваливай на других, этой ночью мы говорим только о тебе! – он опять не смог повысить голос.

– Обо мне-то говорить проще простого, дорогой мой деверь. Ты не путаешь, не осталось ли что-нибудь потруднее насчет невесток, подумай хорошенько?..

Она пододвинула свой стул и села к нему вплотную. Умар подался в сторону, но не стал переставлять свой стул.

– Тс-с... – Сафия показала пальцем на дверь и прислушалась. – Кто-то крадется к двери! Подкрался... Кому-то очень хочется услышать наш разговор... и... как мы сидим, не в обнимку ли... – она громко засмеялась.

– Ты бредишь... – ответил Умар почему-то шепотом и быстро отодвинул стул. – Наверное, кто-то заблудился в этой темноте...

– Что с тобой, ты же слышал: это женские шаги. Хочешь, я открою дверь, – может быть, успеем увидеть, кто это там подглядывает!

– Сиди, сиди, – нервничал Умар. – Призраков только не хватало в этом доме...

– Это вовсе не призраки! Но нам-то с тобой известно – даже друг другу не надо говорить все, что знаем, все, что с нами случается... – она протянула руку и положила ладонь на влажный, потливый («Мерзкий»...) его лоб. – Какой горячий... Я знаю, почему ты так не жалеешь себя, знаю...

– Это разве так трудно узнать... – с тех пор, как он услышал крадущиеся к двери шаги, кураж его иссяк, ему хотелось отдаться течению.

– Самое тяжкое для мужчины, когда ему не достает мягкой, заботливой женской руки. Жизнь – это сегодня, завтра, один зевок – и все. Сердце мужчины, лишенного нежной женской руки, черствеет, постепенно становится бесчувственным...

Он снял с головы высокую, жаркую свою папаху, в которой так и сидел, и положил на пистолет. Волосы с густой проседью были слипшиеся, потные.

– Но что же делать... – притворно вздохнула Сафия. – Видно, нам с тобой на роду так написано. Если ты чувствуешь где-то в глубине души неприязнь

ко мне – это как раз оттого, что мы в чем-то похожи. А вот ненавидят только те, которые делают вид, что очень к тебе расположены...

– Я не говорю, что... ненавижу тебя... здесь речь идет о другом... – он как-то присмирел. – Но есть то, что трудно простить...

– Говори же, говори, у меня сердце болит то того, что ты так мучаешь себя! – она потихоньку положила руку на его плечо. От него несло перегаром, но надо было терпеть. Когда она положила руку ему на плечо, он вдруг застыл, словно окаменел. Чтобы этот камень не выдержал, нужно было лишь еще одно ее движение, и тогда будет понятно, есть ли в нем хоть остаток – не совести, нет, но хоть стыда. Его, она понимала, не столько задевает то, о чем догадывается, – что была счастлива с человеком, который стоит их всех вместе взятых, – сколько сомнение, что его, похоже, в чем-то обошли. Если она сделает еще одно движение в его сторону, он может и сдержится, но его изгаженное самолюбие тогда, пожалуй, успокоится, затянется расчесанная рана...

В это время она почувствовала, как плечам стало тяжело («Он же каменный»)... – его руки дрожали... она ухмыльнулась – и легонько попыталась освободиться, но руки, вдруг, как клещи, впились в ее плечо. Она резко обернулась – освободилась от клещей; не отодвинулась, а прямо посмотрела в его почти невидимые от густой тени глаза.

– Ты, дорогой мой родственник, неправильно истолковал мои слова, – произнесла она спокойно, тоном выражая презрение. – Как это случилось с тобой?.. Ведь ты так чист, особенно со своими невестками...

Он выпрямился, выхватил пистолет из-под папахи – направил на нее.

– У тебя одно в голове – потому думаешь, что все на тебя похожи!.. Ты (похоже, хотел сказать: «потаскуха», но не осмелился)... Если поддаться твоим...

Она опять ухмыльнулась и с места не сдвинулась.

– ...В доме был один урод, от него избавились. Осталась ты одна, которая грязнит наше доброе имя, вот с тобой я и разделаюсь!

– Почему же так? – возразила она невозмутимо. – Все же – может быть, не я? Я пока еще не спала со своим милым деверем...

– Ты и на это способна...

– Замолкни, мой дорогой родственничек, и убери эту свою игрушку... сказать куда?! Не то что меня – даже тебя, который живет со своей невесткой как с собственной женой, спокойно выдерживает земля... – она ехидно усмехнулась. – Недаром говорят, тихая кошка опаснее мяукающей... – она встала и с удовольствием потянулась.

– Что, что ты сказала?! – он вскочил, но пистолет в его руках был сейчас действительно не более, чем игрушка. Уж лучше бы совсем не вынимал его.

– Видишь дверь, откуда вошел? Вот теперь выйди оттуда – и топай, дорогой мой родственничек! А то, как ты и сам заметил, подслушивающие имеются... Хочешь, чтоб узнали, – ты решил и с этой невесткой?.. Это я могу тебе устроить – мне ничего не стоит.

– Ну, я тебе это еще припомню – или я не Умар! – он скрипнул зубами, скорчившись от бессильной злобы. – Ты опозорила весь наш род! Еще никто не посмел, кроме тебя! Ты думала, я не узнаю? Не надейся... Еще и с кем – с этим ублюдком, выкормышем этого пса Гуатаса?! Жестоко пожалеешь, но будет поздно...

– И ты еще можешь говорить после того, что услышал от меня?! Что же до человека, о ком ты изволил выразиться так нелестно, – все вы, весь род Анчаа, не стоите его одного! Тебя кто-то обманул, конечно... но как бы я хотела иметь с ним дело! Ты не учел одного: если б я имела что-нибудь с ним, меня бы сегодня здесь не было, а была бы с ним, даже если б пришлось мне ночевать под открытым небом, под деревом – где угодно!.. Но, мой дорогой деверь, он не только тебя одного не считает за человека, и всех нас остальных тоже!

– Когда я принесу его голову и собаки будут лакать его мутную плебейскую кровь, тогда я покончу и с тобой...

– Это еще посмотреть надо, – тихо хохотнула она. – Свежо предание, да верится с трудом! В старые времена таких людей почитали как героев. Мало, что имеешь дворянское звание, тут надо обладать иными качествами... И потому здесь вам никто не поможет...

Он еще больше съежился, даже пошатнулся, сдернул со стола папаху, нахлобучил на голову и пошел к двери. Больше ничего не сказал ей и не обернулся.

НЕНАВИСТЬ

Я прогнал все твои боли,
За семь гор угнал...
Заклинание от ожога

Нижний каменный этаж, на котором стоял второй, главный деревянный этаж дома Анчаа, имел много комнат, как и верхний. Некоторые были с земляным полом. Эти помещения, с массивными коваными дверями, служили темницами, куда сажали на определенное время сильно провинившихся слуг, либо тех, кого Анчаа считали преступниками, – пока за ними не явятся стражники. Одна из комнат, в самой середине, была попросторней, с деревянным полом, и располагалась у основания одного из каминов. Стены обшиты досками, ковры, на коврах – оружие; стояла крепко сколоченная деревянная кровать, стол, стулья – все что положено. Умар обычно спал здесь. Когда ему удавалось в одной из каменных камор заточить беззащитного, из тех, кого он вдруг возненавидел (такое с ним случалось, и частенько), – мучил его жаждой до смерти и каждый раз, просыпаясь, выкрикивал: «Ну, ка-а-ак?!» Иногда даже поднимался ночью, брал кувшин с вином – всегда стоял в изголовье, подходил к двери, стучал громко кулаками, чтобы разбудить, если узник вдруг прикорнул, с плеском наливал в

деревянную кружку и смачно прихлебывал, выпивал, дразня страдающего от жажды несчастного.

Однако в последнее время новый сельский староста Чантамыр начал препятствовать такому самоуправству. Говорил, что дело должно идти по закону: если это не преступление, а нарушение какое-нибудь незначительное, – местный третейский суд все и решит; в ином случае виновного надлежит содержать в подвале сельской канцелярии и вызвать стражников, дабы увели его в настоящую тюрьму. Сначала Умар не желал его и слушать, однако как-то наведался в село урядник, пригласил Умара и вежливо, но определенно высказал такое же мнение. Умар видеть не мог представителей власти, и, конечно же, не хотелось самому себе признаваться в собственном бессилии, – но все же он боялся их. Сила, перед которой он чувствовал свое ничтожество, нагоняла страх, – и он начинал ненавидеть себя, такого жалкого.

На Чантамыра, на этого зарвавшегося широколапого, он затаил яростную злобу и поджидал удобного случая...

Спустившись в подвальную свою комнату, он нашарил большую, до половины целую восковую свечу и зажег. Сначала немного потрещала, но потом дала ровное багровое пламя. Скинул верхнюю одежду. Хоть и был разгорячен вином, холод казался невыносимым. Снял со стены бурку, накинул сверху на одеяло, взял штоф с чачей, стоявший вместе с кувшином вина в изголовье, зубами расшатал, потом рукой снял кукурузную затычку и отхлебнул немного.

Постель была ледяной, но он надеялся, что быстро ощутит тепло и от усталости сразу заснет. Тепло ему действительно сделалось, но сон совсем не шел. Прошло полчаса, больше – сна и близко не было. Недавний разговор, то, как поступила с ним «обожаемая» невестка, жена старшего брата («Шлюха!»), его бесило, но все это было игрушками рядом с той неистребимой злобой, что сжигала его давно и постоянно. Такая злоба не насытится, пока не напоишь ее вдоволь кровью. Однако он и то знал еще, что так просто взять того, кого ненавидел больше всех, не то что не легко, а почти невозможно – это и приводило в исступление.

Ненависть, одна только ненависть и злоба... Все ему осточертело в жизни, как и те, которые его окружали. Он знает – нет на свете ни единой живой души, которая хоть немного бы жалела его... «Мальчик, Астамыр?» – иногда задавал он себе немой вопрос, но ничего утешительного не мог ответить. Ему, конечно, хотелось, чтобы мальчик был привязан к нему, – но то, что на людях мальчик обожал его, было притворством. Лучше бы уж он не знал, что это ложь. Мальчик боялся его и... болезненно ревновал собственную мать. Каким-то звериным чутьем он постигал, что между Умаром и матерью что-то очень и очень затаенное происходит...

...Никто его не жалует, никто. И как же после этого можно требовать с него, чтобы он да кого-нибудь еще и жалел! Говорят, смерти нельзя желать даже врагу. Чепуха! Его-то смерти все и желают, ждут постоянно, когда же наконец ноги его не будут стоять на этой земле, рот замкнется и онемеет

навсегда, – чтоб никогда больше не слышать его голоса, ни единого звука от него...

Назло всем (он лег на спину, лицом кверху) – он долго еще не даст исполниться их желаниям, за это время многих еще успеет растоптать!

Схватил штоф и отпил еще несколько глотков.

...Неужели это она бродила в темноте и искала его?.. А может – и ревнует? А вдруг на самом деле кто-то и ревнует его? Но ничуть не смягчилась его душа: это не ревность... Тут желание изобличить его в очередной подлости, хоть этим мстить ему... Да еще – смертная ненависть к жене своего почти незнакомого деверя («Дурака»)...

Вдруг ему сделалось страшно. Он оглядел комнату: от свечи по стенам, на полу лежали угрюмые неподвижные тени.

И свечу он не потушил неспроста: призраки и тени бродят по этому дому всю ночь. Утром, когда шел взять седло, – мимо него мелькнула чья-то тень. И не успел он протянуть руку к седлу, как оно сорвалось со стены и грохнуло на пол. Оставив седло там, где упало, он выбежал во двор. Но не скажешь ведь остальным, что среди бела дня по дому блуждают привидения! Внимательно всматривался в глаза – не видит ли кто того же, что он, но ни у кого ничего не заметил. А отец – тот вообще не дает заглянуть в глаза. Однако ему кажется, что отец-то уже давно знаком с ними, с домашними призраками и тенями, – блуждают по дому, натыкаются друг на друга...

...А тень этого урода никогда не исчезнет из дома, это уж точно, пока не переведутся тут все, кто его знал. Вроде, достаточно было пульки, которой он зарядил игрушечное ружье, отдавая этому сорванцу. Но оказалось, что с ним не так-то легко разделаться... А мальчик почти каждую ночь с криком просыпается, а потом со страха не может заснуть. От него уж этот урод никогда не отстанет...

...Все она, эта непрошеная гостья в их доме... Для чего надо было отцу, старому дураку, брать в дом эту ехидну, которая годилась ему в дочери! Уже никогда не очистится господский дом и род Анчаа... Он (видимо, как и все) хранил одно страшное подозрение, которое сейчас возымело почти реальную силу. Если подтвердится – тогда уж он никого не пощадит! и с каким удовольствием будет их вышвыривать отсюда – и отца, и эту непрошеную гостью, и, конечно, виновника, который явился сюда, будто его кто-то просил (его-то он и сейчас не переваривает!). Вот тогда и остальных всех, в том числе и братьев, он поставил бы на место!

...Но злоба, которая душит его, побеждает эти и другие мысли. Она опять бушует в груди, жжет огнем, скоро испепелит его напрочь. Собачье отродье... Мсоуст... Неужели так и будет продолжаться, и он не утолит свою жажду мести, не смоет кровью эту сжигающую его ненависть?! И самое невыносимое – он вынужден теперь каждый день невольно встречать его, собаки Мсоуста, взгляд! Это он тоже не прочь проверить – начал искать следы удивления, удовольствия, злорадства, страха в глазах домочадцев, – но у них от рождения один и тот же взгляд, непроницаемый. Однако у этого-то, явившегося из тридевятых земель, глаза проницаемые – из них таки

выглядывает тот, его заклятый враг. Он, этот явившийся, пока что смотрит глазами не здешними, чуть ли не ангельскими («Дурак») – и этим смягчает рвущийся из него взгляд... но не всегда же так будет... и дерево каждый год меняет свою кору... Разве вместится в его ангельскую шкуру эта чудовищная кожура, не начнет выпирать из него, его самого заслонив?! А тогда спросят – откуда же занесло к тебе этот известный нам всем взгляд...

Мсоуст... его следы везде. Брехня – будто люди не верят, сторонятся его. Боятся из-за него влипнуть, а так – они в душе кроме него никого и не признают, и самая первая тут – эта негодница Майяна. Все лучшее обращено к нему, для него, будто это он барин, все в его руках... Потому-то он так себя и ведет, заносчивый и надменный... думает – куда же они денутся, только бы он пожелал...

Как было бы хорошо, если б он исчез с лица земли, будто его и не было!

Ненависть к Мсоусту не проходила и не пройдет в нем. От этого и у самого нет жизни, и другим не дает жить. Больше всего его убивает, что тот... что Мсоуст сумел поселить в нем неистребимый страх...

Умар возбужден, он не может ни спать, ни даже просто лежать спокойно. Протянув руку, снова нащупал штоф, отпил уже порядочно – чача обожгла горло как в первый раз...

САМАКУА – ГОЛОС МИНУВШЕГО

В том году Алма со своими сыновьями решил удвоить площадь обрабатываемой земли, особенно под табак. Да еще добавились и земли Эсмы – долгое время оставались невозделанными. Работы начали ранней весной, когда еще даже не набухли почки. С каждого двора на поле теперь должны были выходить все трудоспособные, не как раньше – по одному человеку, – и отрабатывать три дня у Анчаа. Дворовые утром бегали по всей деревне, собирая людей, и даже сам Умар иногда принимал в этом участие. В доме Гуатаса, как у всех, оповещали ежедневно, однако сам Гуатас работать в поле уже не мог – возраст, раны, – так что тут они были бессильны. Гудзба же должен был уходить в школу. Получалось, выбор падал на одного Мсоуста. Но Мсоуст, как и отец и брат, не явился в первый день, не явился и во второй, и на третий тоже не явился.

– Оставьте, не до его капризов сейчас, – посоветовал Алма. – Будет время – так просто ему не спустим.

К старости он стал все смягчать, прощать, ему кажется, что за это ему Бог отпустит все грехи... Как бы не так... Все же Умару даже непонятно было, как это недавно в день схода получилось, что отец так бурно выразил свое возмущение. Как раз там, где не нужно было, не к месту и не вовремя...

Но тогда, весной, еще ни он сам, ни отец так открыто с ним не сталкивались. И Умар не послушался отца, решил проучить этого взявшего себе слишком много воли. Или тот сделается смирненьким, как и все остальные, или – заточить, выслать, изничтожить – так он решил.

Зарядил револьвер, вскочил на лошадь и никому не говоря, куда и зачем, ускакал.

В э т о в р е м я М с о у с т...

...совсем не помнил о том, что три дня его звали на барские поля работать. Без дела бродил по лесу – любил лес и часто там бывал. Его обступали, как друзья, мощные стволы, накрепко всаженные в землю, он с удовольствием вдыхал сладкие весенние запахи... Прелый дух прошлогодней листвы пока еще не исчез полностью, но казался легким дуновением, дыхание весны все побеждало в лесу. Запах прели усиливался, если кто-то совсем недавно прополз, прошуршал под деревьями, оставив за собой переворошенную полосу коричневатых влажных листьев.

Может, это старый плут Ажвейпш – божество охоты, улыбнулся Мсоуст самому себе. В такие моменты ему казалось, он чувствует горячее затаенное дыхание всех этих сказочных лесных жителей... он свободно и глубоко дышит всей грудью, ему хочется долго и сладко, до хруста в суставах, потягиваться, как утром после глубокого, здорового сна.

«Что же он, этот старый плут бормотал, проходя мимо, – Мсоуст смеялся в душе, и душа отдыхала. – Видно, где-то он застрял – и незаметно застало его утро, оттого и торопился... Но разве только в рассвете дело?» Ажвейпш, по преданию, обычно держится выше, в глубине горной тайги, но, похоже, сильные холода согнали его вниз. У него, верно, тоже есть места, где останавливается зимой, где весной, где летом. Раз у владетельных Чачба есть такие имения, то ему и сам Бог велел. Уже весна начинается, но что-то этого плута задерживает здесь внизу.

Говорят, у него нет возраста, он вечный, подумал игриво Мсоуст, но что же это означает? Он остается всегда в возрасте ребенка, юноши, пожилого или старика? По крайней мере, говоря об Ажвейпше, никто не упоминал еще, что он когда-то был ребенком, потом вырос, стал юношей, потом постепенно старел, как обычно бывает с простыми смертными. Всегда считалось, что у него борода по колено. Конечно, это разумно, такая борода в его положении просто необходима! Не накинет же он рубашку домотканого полотна: боги не работают, следовательно, и не ткут, а в черкеске – неудобно, если даже ее сшила Майяна. Борода же – и греет и, может, самое главное – прикрывает кое-что, тем более если она до колен или даже ниже.

«А-ах, вот ты куда забралась, – Мсоуст погладил по стволу молодой липы, поднявшейся в перелеске. – Ты такая чуткая – видно, на расстоянии читаешь затаенные мысли этого плута, переживаешь, когда доносятся его стоны – вот набухли преждевременно твои почки... Видишь, как этот огромный дуб стоит и в усы посмеивается... Он ведь тоже – тысячелетний, и он в незапамятные времена уже видел его, этого старого плута, точно таким как сейчас. С тех пор ни чуточки не изменился! А ты его жалеешь, думаешь, он старый и немощный. Откуда тебе знать, отчего он так тяжело вздыхает;

там, в глубине леса, речушка у больших треснувших камней образовала глубокую черную заводь, в ней живет Русалочка, и он в нее страстно влюблен. Его застал рассвет потому, что он всю ночь провел у этих камней и любовался Русалочкой, – но она в воде и не подвластна ему, и никакого внимания к нему. Иногда, если он случайно обнаружит себя, она дразнит его: «Старая развалина!» – и хохочет, и голос ее, пронзив лес, отдается в горах. Ажвейпш, застигнутый на месте преступления, бежит со всех ног от беды подальше, путаясь в лохматой бороде, падает, встает, – и боится, что жена узнает. На всю жизнь запомнил, как однажды жена все же застала его у камней, как вцепилась в его бороду и выдирала клочья (и сколько потом из этой святой бороды свили гнезд белки да птички!), пока он не вырвался... еле ноги унес. Потом она остановилась, обратила разгневанное лицо к Русалочке, а та спокойно плавала в заводи и уже собиралась нырнуть в свою подводную постель, отдохнуть, да любопытство сдерживало. Как бы хотелось подруге жизни лесного божества вцепиться в волосы этой твари и все до единой волосинки вырвать, выщипать и оставить ее лысой, но, пропади оно пропадом, – есть границы силы божества (всегда, всю жизнь заключены в какие-то рамки вечных запретов)! Здесь она бессильна – разрывается от злости, а дальше за чертой, – Русалочка строит ей рожи, и так убийственно молода и привлекательна!

«Ты, старая дева, холодная больше чем тысяча рыб, никогда ты любви не понимала, никогда тебя никто не полюбит, и не узнаешь, что такое любовь! – запустила супруга Ажвейпша. – Так ты и останешься, ты наказана за свое... за...» – она задыхалась от злости и досады. «Ха-ха-ха! – звонко хохотнула Русалочка, голос ее пронзил лес, отозвался в далеких горах. – Ты, несчастная, ревнуешь своего дряхлого болвана... с него же песок сыплется — и столько, что все дно моей уютной заводи в этом омерзительном песке... А ты, кому ты нужна?! Разве только твоему старичку, этой развалине! Грязная, – сколько, скажи, ты не мылась!.. Моя кожа – чиста, вся блестит, глаза мои – цвета заводи, я изящна, красива, хочу – вожу хоровод с феями, развлекаюсь, хочу – соблазню любого... Никогда тебе и не снилось столько любви, сколько я испытала! Только люди смертны, потому их любовь сгорает как умирающие звезды... – она сладко зевнула. – Что же это я с этой дурой трачу время, там меня ждет моя мягкая постель... а ты катись к своей достойной подруге ведьме, и толкуйте сколько вам заблагорассудится... Ха-ха!» – хохотнула она и нырнула. Только круги еще некоторое время расходились после нее.

Остальное супруга все выместит на бедном Ажвейпше, улыбается Мсоуст, – видать, снова не один клок вырван будет из бороды. Так и вовсе можно остаться без украшения, способного к тому же прикрывать тело, – вот и предстанешь перед своим царством голеньким. Падение нравов, тем более если исходит от божества, может привести к всепрощению. Всепрощение – это не доброта, а вид самозащиты, и небезопасный. Вот так-то, старый хрыч, пора бы тебе остепениться...

А доброта, лесной владетель ты наш, должна быть силой, самой сильной силой.

С ним, с Ажвейпшем, из-за его поведения уже случалось... так проучили, что должен был запомнить... или у этих лесных царьков память коротка? Может, напомнить ему?

...Жена, та самая, что каждый день пила ему кровь, наконец решила использовать его положение – и дать ему откупиться. Заявила ему – пусть он построит ей дворец из костей всех лесных зверей да птиц. От такого чудовищного предложения Ажвейпш чуть не испепелился, ведь звери и птицы – вся его жизнь. (Божествам ведь жены даются навечно, хочешь не хочешь – надо терпеливо нести это бремя, тут не разведешься!) И вот назначил Ажвейпш всеобщий сход всех зверей и птиц, подопечных ему. В назначенный день на зов своего владыки явились все. Кроме Совы. Наконец с большим опозданием является и Сова. «Где это ты была, Сова?!» – строго спросил Ажвейпш, которому жена понемногу пила кровь. (Мужья, которые не в силах подчинить жену, особенно свирепы с подчиненными) «Я считала по отдельности – сколько живых и сколько мертвых, потому и задержалась...» – ответила ничуть не смутившись Сова. (Тот, кто решил сказать правду, побеждает страх.) «И кого же больше из них, мертвых или живых?» – спросил надменно владыка. (Все те, которые слушаются своих женушек, умеют напускать на себя важность где нужно и где не нужно) «Когда я отнесла к числу мертвых того, кто послушался жену, мертвецов стало на одного больше!» – невозмутимо ответила Сова. (Тот, кто говорит правду, всегда невозмутим.) Старый хрыч призадумался. (Так бывает с теми, которые еще не совсем потеряли совесть.) Однако больше все же надо благодарить опять же самих птиц и зверей – они поняли поступок Совы и по достоинству оценили. А то ведь могли и преподнести своему господину: «Как скажешь, владыка...» (С людьми такое нередко случается – больше покорны тому, кто их угнетает, от которого нет им житья...)

Мсоуст тихонько шел перелеском, ни о чем не думал, душа блаженствовала.

Под корнищами-великанами разворошена палая золотисто-коричневая листва. Может, здесь происходила схватка чертей, – улыбается и сам ворошит ногами листву Мсоуст, – они страшные, злые, хватают друг друга за горло, норовят задушить, кусаются, царапаются, рвут волосы...

Мсоуст трогал рукой стволы деревьев, иногда прижимался ухом и слушал затаенный гул, живущий в них. Вдруг недалеко ветви бука – тут больше, чем у всех остальных деревьев, набухли почки, вот-вот раскроются, – ветви зашевелились, зашуршали. Мсоуст спрятался за стволом, возле которого стоял. Из покачивающихся веток показалась красивая, чуткая головка куницы. Настороженно глядела на дуплистый огромный дуб через полянку, – видимо, за чем-то наблюдала. Красивый плавный изгиб спины заметно напрягся. Не хотелось думать, что все это – ее изумительная стойка, изящный изгиб спины и шеи, чуткая головка и видимое напряжение пружины, – все для того только, чтобы удачно прыгнуть и схватить жертву, что тут не вдохновение чистого прыжка на дальность, ловкость, красоту...

Не успела она окончательно изготовиться и прыгнуть, как Мсоуст показался из-за ствола. Куница на мгновение застыла, словно окаменела, притаилась. Ее выдавала ветка – еле-еле, но шевелилась. Длилось все это – мгновение, затем куница стремительно рванулась, ее пружинистое тельце в летящем изгибе мелькнуло в воздухе, затем – на ветке дуба, и в то же мгновение она прыгнула и оттуда, – в полете ее коснулись лучи солнца, позолотив на мгновение. А потом видно было лишь, как шевелятся ветки, отмечая ее полет.

Мсоуст не двигаясь наблюдал это редкое зрелище и от удовольствия улыбался. Потом выбрал место посуше и улегся на мягкую постель палой листвы лицом к небу, свободно раскинув руки и ноги. Он старался хоть ненадолго освободиться от всяких связей с жизнью, которая есть там, за лесом, – как если бы стряхнуть с себя впившиеся гроздья колючек... Высвобождаясь понемногу от них, он больше чувствовал землю, – как лоб кроткой их буйволицы: любил в детстве гладить маленькими ладонями. Над ним наверху высокие деревья водили верхушками по небу, как мягкими вениками. Постепенно они замирали, а потом и вовсе застыли, чутко прислушиваясь, – кто знает, что вещала им голубизна... Но проказливый ветер терпел недолго, опять вернулся, нарушил тишину, деревья заволновались, зашевелили ветвями, рассерженные (вот поймаем – за уши драть будем!), – видно, небо поведало им что-то важное, высшее, а ветерок так некстати налетел со своими шалостями.

Если бы на всех на них повесить колокола, подумал Мсоуст – как мечталось когда-то еще в детстве... захотел, тронул общую для всех веревку, соединенную с каждым языком, с каждым колоколом, – так, чтобы хоть на миг встрепенулся, прислушался каждый человек, тот, который всю жизнь все сносит молча, делая вид, что ничего не видит, ничего не слышит, предоставляя сильным мира сего решать все по своему усмотрению... чтобы поднять того, кто привык валяться на коленях перед силой (Вставай! Вставай! Вставай!)... Зазвонили бы, пронзая небо, колокола человеческого бесстрашия, совести, мужества, свободы, непоколебимости... Некоторое время он лежал так и смотрел на верхушки деревьев, простиравшие руки к небу. А там, выше, плыли разорванные редкие облака, в прогалинах сияла нежная синева, какая бывает только весной. Ему все равно не удавалось отвлечься: внешние силы прорывались к нему, возбуждали, волнуя кровь. Наконец они заставили его вскочить на ноги.

Он пошел по направлению к торной дороге и впереди видел на холме за лесом огромную старую липу – крона ее напоминала очертаниями сердце. Высокий холм с липой опять вернул его, дал прикоснуться к полному светлых надежд детству, – это его и привело сюда сегодня, а уходил он – как бы заново прощаясь с тем временем.

...Тогда, в детстве, он каждый день хоть разок поднимался на холм и взбирался на липу. Открывалось полсела: крыши домов, разбросанные по лужайкам, садам, зеленым лугам, – как морские шхуны. Издалека часть их

казалась величиною с ладонь, часть – как утлые лодчонки, были и побольше, поновее. Раньше всех в глаза бросалась крыша из оцинкованного железа – на восходе солнца золотилась, а к вечеру розовела от заката. Крыша соединяла небо и род Анчаа. Весной, летом и до самой середины осени они, эти «шхуны», дымились мало, только утром да вечером, и то не сильно, словно все это время флотилия стояла на якоре. Но как только делалось прохладней, дома все начинали дымить больше – казалось, флотилия вот-вот отправится в плавание, подняв якоря. За ними в тумане пропадала даль, мало знакомая, возбуждавшая в нем неприятные чувства и страх. Когда он был еще всецело во власти детства, эта незнакомая даль так восхищала его – дыхание прерывалось. Но уже юношей он понял, что в этой дали, там, на морском берегу, совершалась самая тяжкая несправедливость, какая вообще может быть на земле, – изгнание народа со своей земли, родины. Он давно стал понимать, отчего отец, сидя в задумчивости, вдруг вскакивал со стоном... Посмотришь на него – лица на нем нет...

Когда он, сделавшись постарше, прибегал сюда, – быстро влезал на самую верхушку липы, и перед его глазами открывалась дымящая вовсю «флотилия», сердце тревожно замирало, будто корабли собрались опять за море. Он начинал отыскивать взглядом одну из этих «шхун», ближе к лесу. Дым над ней был еле-еле заметен. Это его почему-то и успокаивало и удручало. Успокаивало – дыма над ней было мало (детство так просто не проходило, цеплялось, не отпускало), – значит, она никуда не собирается... удручало – капитаном этой «шхуны» была юная девушка, потому-то и жидковат был дымок... Он заметил, что когда находил взглядом эту утлую «шхуну», почти всегда оттуда выходила она, останавливалась посередине двора и стояла так некоторое время. Может, и смотрела в сторону холма и липы с огромной сердцевидной кроной. Потом ее тоскующая, как ему казалось, фигурка медленно направлялась обратно, на свою капитанскую вахту. Он до боли знал ее походку...

Но когда оба уже достаточно повзрослели, чтобы открыться друг другу, – неожиданно это оказалось не так просто, возникли новые обстоятельства. Больше тут было его собственных сомнений, нажитых уже обид и тревожных предчувствий насчет своего будущего. От всего этого ему казалось, что он не имеет права вмешиваться в жизнь существа, чистого как утренняя роса. Ничего утешительного не видел он в перспективе и, конечно, не мог знать, как у него все обернется, в какие водовороты жизни его занесет. Тем более, что не думал ни в чем и никому ничего уступать.

В последнее время он уже не мог средь бела дня взбираться на липу над селом, но все же не думал совсем оставить этот свой наблюдательный пункт. Приходил сюда вечером, после заката. В кромешной тьме были разбросаны слабые огоньки. Явственнее, чем днем, слышался, то приближаясь, то относимый ветром, шум реки. Еще среди этой тьмы был разбросан собачий лай. Люди же молчали. И все, что было вокруг, – весь остальной мир, не

отмеченный точечками огня, заключил, зажал деревню в темное безликое кольцо.

Когда Мсоуст долго оставался внизу, он уже не мог представить всю деревню, каждый дом по отдельности – они начинали расплываться в воображении, удаляться. И тогда приступали, начинали одолевать вчерашние, сегодняшние сомнения, размышления, обиды, маленькие радости, глубоко припрятанные тайны жизни, которые, ему казалось, подтверждали ее бесперспективность, – все наваливалось на него, и, завертевшись в этом водовороте, он начинал чувствовать, что особенно одинок. Тогда, как только стемнеет, он одним рывком поднимался на холм. Смотрел с вершины огромной липы, видел, как прожигают огни черное полотно ночи, и понемногу успокаивался.

Однако все равно: чем дальше, чем больше он набирался опыта, тем больше начинали мучить его проклятые вопросы жизни, тем напряженнее становились его отношения ко всем, ко всему. Только здесь, в лесу, – среди этих деревьев, так мудро и естественно устроенных, когда он был так близок к дыханию природы, соприкасался с ее жизнью, возвышающей над всеми и объединяющей всех, он немного излечивался от напряжения, от которого никак не мог освободиться окончательно. Но все равно – он, человеческий сын, должен был опять идти к человеку, должен был помочь ему там, где тот нуждается в помощи, быть ему правой рукой, – а если он не в силах этого сделать, то хотя бы разделить с ним его участь.

Не успел он выйти к торной дороге, как услышал конский топот и раздраженное ржание.

Мсоуст пошел по той тропе, на которой, он предполагал, повстречается верховой.

Всадник ехал прямо и не думал сворачивать, но когда пеший тоже не подался в сторону, конь сам остановился и испуганно заржал.

– Ты что, ослеп что ли, не видишь коня?! – чувствовалось, что в горле Умара клокочет истерический крик, но он, видимо, считал, что лучше взорваться попозже.

– Если бы конь шел один, я бы непременно уступил ему дорогу, – усмехнулся Мсоуст, еще во власти хорошего расположения духа.

– Конь бы уступил, в нем человечья кровь!

– Выходит, во мне течет не человечья кровь?! – от хорошего расположения духа не осталось и следа.

– Выходит так... – пока можно было и поиздеваться.

– Я хочу узнать одно... – теперь уже сам Мсоуст был на грани. – Почему ты говоришь со мной таким тоном?! Я не мальчишка какой-нибудь, который не может еще штаны застегивать! Давно замечаю, косо смотришь на меня. Почему? Раз так встретились сегодня, давай поговорим, зачем откладывать.

– О чем это мы с тобой будем говорить, о чем, позволь мне знать, я буду с тобой говорить?! – Умар хотел отпустить какое-нибудь самое обидное, больное оскорбление, но внутри гортани голосовые связки будто заарканило,

– не слушались его. Перевел дух. – Лучше скажи мне, разве тебе не передавали – и не раз, – чтобы ты явился к своим господам?!

— Да, да, конечно... я совсем было запамятовал... – подтвердил Мсоуст, не сумев скрыть издевку. – Все же я бы хотел прежде выяснить, почему говоришь со мной вот таким тоном, где я перешел твою дорогу или сказал тебе не то? Если нет, тогда в чем моя вина?

– У тебя не может быть вопросов ко мне – ты всегда должен только отвечать на мои вопросы! Как я к тебе отношусь – это меня одного касается, как хочу, так и отношусь! Я все вижу и слышу и хорошенько знаю твое поведение. Много, очень много я тебе прощал! Когда ребенок начинает ходить, для него делают специальные поручни. Сначала ходит до конца поручней, но потом пробует и дальше, думая, что уже может самостоятельно... тут он падает и разбивает в кровь губы и нос... Понял смысл?! А теперь иди вперед и то, что ты не сделал за три дня, сегодня за день сделаешь! – и, видно, даже не ударить, а просто, чтоб пригрозить, – он резко взмахнул камчой.

Почему-то врезалось в память, как его конь (чтоб его волки разорвали!) шарахнулся к зарослям дикой азалии и как... седло мгновенно оказалось пустым... Сам Умар, от одного имени которого все трепетали вокруг, был так прижат железной рукой к мшистому стволу граба, что глаза вылезали из орбит. Когда его организм, избалованный властью и безнаказанностью, вдруг столкнулся с неумолимой силой, – тут Умар весь обмяк. Наконец ему показалось, что внутри него что-то треснуло, как ореховая скорлупа, ему стало трудно дышать... он отомкнул губы, как умирающая от жажды хищная птица, и взревел как животное, которому режут горло.

Мсоуст пылающими глазами прямо смотрел в глаза Умара, не давая ему спрятать уже почти ничего не видящий взгляд.

– А теперь скажи все же, почему ты так ведешь себя со мной, и не только со мной?! – Мсоуст хотел бы успокоиться, но не удавалось. Он не мог совладать со своим гневом – если теперешнее состояние продержится еще некоторое время, он мог просто выдавить из этого животного его скверный дух. – Я спрашиваю, и теперь ты мне ответишь – как миленький!..

Умар еще шире разинул рот, но на этот раз оттуда рвалась немота, глаза, обычно смотревшие заряженными стволами ружья, бессильно закатились.

– Напрасно думают, что ты как непробиваемая каменная тюрьма! На деле – весь глиняный, от первого прикосновения рассыплешься... Но кто ж этому поверит – все запуганы, оболванены... Твой отец и такие как он половину из них продали в рабство, остальных превратили в овечье стадо – шарахаются от каждого шороха, и трудно понять, живут они или вовсе не живут... – Руки, державшие Умара мертвой хваткой, почувствовали, как он совсем обмяк, голова повисла. Тогда руки разжались, и не успел Мсоуст отнять их – тело Умара начало валиться наземь... Мсоуст успел подхватить его одной рукой, а другой – притянул гибкую молодую ветвь и зацепил за соседнюю, так, что Умар остался как бы пристегнутым к стволу граба. Ветви действительно удержали его.

– Говорят же, что Божья матерь вроде бы по фамилии Хециапха, Грабова... может, и пожалеет... – Мсоуст брезгливо обтирал руки о полы черкески.

Он поймал лошадь, которая совсем неплохо себя чувствовала без своего бесноватого седока, и привязал к другой ветви (благо, у граба ветвей предостаточно). Видно было, как Умар почти пришел в себя, и лицо порозовело, но он не подавал виду.

Мсоуст больше и не оборачивался к нему, почему-то на душе было гадко: решил в порыве гнева ударить крепостную стену, но стоило ему пошевелить плечом, как она рухнула...

У м а р с е й ч а с...

...не то рычал, не то стонал – его сжигала злоба.

– Выскочивший из собачьих ноздрей, из собачьих, собачьих!!! – не разжимая стиснутых зубов, рычит он. – Этот отпрыск широколапых, он посмел не посчитаться с тем, что моя сила не во мне одном, – во всех нас, государем и Богом наделенных силой и властью!.. Он не посчитался – нарушил положенную границу между ними и нами, когда ему и близко подойти к ней не дано!..

...Этот собачий сын удалялся даже не прибавив шагу, ни разу не обернувшись. А он, Умар, остался стоять под грабом, шатаясь, растоптанный, униженный, оскорбленный, будто только что сняли с креста и кровоточат раны, только что вынули ржавые гвозди... Пока видел его (выскочивший из собачьих ноздрей, собачьих, собачьих!!!) широкую спину, мог не спеша навести пистолет... обычно он метко стреляет, но тут не пошевельнулся. Настолько он был поражен... На себе убедился: поддержка, сила, которые он имел от государства и Бога, не такие уж неуязвимые... далеко не все в этих руках, подвластно им, – при них же он может оказаться совершенно беззащитным! Раньше, признаться, бывало: протрезвлялся после продолжительных пьянок, – и случалось: вдруг ненадолго, но в душу его закрадывались тревога и страх, особенно когда припоминал все зло, что совершили его дед, отец («Старый хрыч!»), да и он сам. Но это всегда быстро проходило. В конце концов, решил он, они, Анчаа, имеют право – и на это тоже. Столкнувшись же физически с этой силой, которая возможна против них, он почувствовал, какая здесь таится угроза.

Он, конечно, давно знал об этой силе, угадывал в глазах тех, которых давил, – но всегда очень глубоко запрятанную. Почуяв даже отдаленную возможность протеста, он приходил в ярость, налетал на того, в чьих глазах увидел хоть слабый отсвет воли, – дабы убедиться: взорвется ли наконец человек, не вытерпев, или станет сносить и дальше, проглотит все. До сего дня никто не выдерживал его напора, все отступали. И он вновь и вновь убеждался: то самое приспособление, с которым учатся ходить, – оно годится всегда. Все же с тех пор как этот, нынешний, сделался заметен, у него порой возникало подозрение, что он давно вышел на свободу, вырвался с

протоптанной тропинки с поручнями и гуляет вольным. Умар догадывался, что справиться с ним, заставить его присмиреть – не так-то просто, но никогда не думал, что уж настолько... Неумолимая сила сжавших его горло рук донесла до него ту истину, что мощь, частицей которой эти руки являются, – огромна и неодолима, это пока только она покоится (покоится ли?) где-то, как река, перегороженная обвалом.

Дрожащими руками отвязал коня и, вдев ногу в стремя, поднялся в седло, – правда, только после нескольких попыток, ноги подкашивались.

На тропе догнал его. На этот раз сам остановил коня – в нескольких шагах. Тот тоже остановился. Посмотрели друг на друга. Взгляд у того был тяжелый – трудно было устоять, перенести его, но злорадства не было в этом взгляде, – скорее, какая-то неведомая тоска, будто как у раненого ястреба («В красные глаза – красную занозу, в черные глаза – черную...»).

А его собственный облик, видимо, был зрелищем позорным. Чувствовал, как выглядит: старым, осунувшимся, со впалыми небритыми щеками, взгляд застывший, глаза осоловелые...

Взгляд того, вырвавшегося, вольного – расстроил все в нем («В красные глаза – красную занозу, в серые глаза – серую...»).

– Если переживу... – начал он. Никогда не слышал таким жалким свой голос, но грозиться в теперешнем положении было бы еще хуже. – Если переживу сегодняшнее и ты будешь ходить по этой земле, то ты – барин, аамста, большой аамста, а я – холоп...

– Барин, холоп... – нехотя отвечал тот, с непроходящей тоской раненого ястреба в глазах. – Народ их на краю гибели – они все свое: барин, холоп... Что делить, когда всех осталось по горсточке. Разве любой из нас, кто бы он ни был – барин, дворянин, крестьянин, холоп, – должен об этом думать теперь?! Хотя бы сейчас опомнились! – Опять его взгляд сделался тяжелым, видно было – он весь напрягся. – Побоялись бы своих грехов, грехов отцов ваших отцов, всех вас! Сами хорошо знаете, каковы ваши заслуги. И самое чудовищное – вы помогли врагам расправиться с вашим же народом, и вам за это хорошо заплатили... а теперь на земли несчастных изгнанников вы привозите и селите людей, выгодных вам, которые за такое вознаграждение будут служить вам безропотно... Зачем вам свой народ! Кто прислуживает – тот и есть народ...

Однако Умар был до того опустошен, что ничего толком не слышал, даже на злобу сил не хватало.

– Если когда-нибудь, – закончил Мсоуст, – у кого-нибудь из вас появилось бы мужество признаться в своей вине – хоть в чем-нибудь, хоть в самом ничтожном, – и то повернуло бы вас лицом к совести...

– Да, да, виноват я, виноват... – Умар хотел это произнести злорадно, но не получилось. Не сказав больше ни слова, пошевелил пятками, и конь пошел.

Он никогда не въезжал, не входил во двор веселым, сияющим, к этому все привыкли, – но таким его никто еще не видел, и потому все приметили его

появление. И возвратился словно бы не тот, который выехал со двора, чтоб сразу и вернуться, а другой: будто, выйдя со двора, заблудился, и оказался совсем в ином мире, и после нескольких лет скитания, мороки, опять напал на дорогу домой – и вот объявился только что. Вернулся, но не верит, что он дома, потому что и этот мир уже кажется ему другим. Все поняли, что с ним произошло что-то серьезное, но никто не осмелился расспрашивать...

...Каково было ему увидеть здесь Мсоуста! Пока он плелся на своем коне, которого сейчас не понукал как обычно, тот пошел напрямик и явился в усадьбу раньше него. Мсоуст был еще мрачнее, чем тогда, когда они расстались.

К этому времени Алма спустился с балкона со своими гостями из Акуа-Сухума. Все молодые дружно встали им навстречу. Гости были даже более родовитые, чем Анчаа, и государь их жаловал больше. Представители их рода во времена великого Келеша* были ярыми противниками сближения с Россией, но после его убийства, когда все пошло кувырком и нахлынули свирепые волны махаджирства, повернули вспять и столь же яростно действовали в пользу сил прорусской ориентации. Сыновья тоже пошли по стопам отцов. Но вся беда в том, что старались они не ради того, чтобы спасти свой народ, свою родину, а лишь для своей личной выгоды. Они неукоснительно выполнили приказ, в свое время отданный великим князем, «главнокомандующим всего Кавказа» Михаилом Николаевичем, о выселении сердцевины абхазского народа с его земли – с побережья Черного моря. Годилось все: и прямое насилие, и хитрость, и подкуп, и оболванивание. Да, весьма постарались – и преуспели эти родовитые князья... когда побережье было опустошено, царский наместник отменил свой приказ и щедро одарил – землями, чинами, должностями, деньгами – тех, которые из кожи вон лезли, торопясь выполнить его волю. Неизвестно, что больше их теперь связывало, – совершенные ли совместно злодеяния против своего народа, желание ли глянуть хоть одним глазком – насколько преуспел каждый... или, может, собираясь вместе, подбадривали друг друга, желая прогнать страх, память о содеянных грехах... так или иначе – но они были дружны с Алмой.

Гостей было двое. Оба грузнее, как-то внешне значительнее Алмы. В черкесках дорого сукна, с богато расшитыми газырями, с поясами в серебряном наборе, с серебряными же кинжалами – и с двойными подбородками, с заплывшими глазами: неизгладимая печать довольства, чрезмерной еды и питья, безделья и сна вдоволь. Опустились на вынесенные для них стулья. Старший из гостей был отцом Сафии.

Усевшись, какое-то время рассматривали столпившихся поодаль молодых людей. Потом наклонились к Алме, что-то сказали или спросили – и еще больше раскрасневшиеся от неприязни посмотрели туда, где в мрачной задумчивости стоял Мсоуст.

– А-а, это сын того, который с аппетитом проглотил пулю! – произнес громко отец Сафии и ухмыльнулся.

– Вы не ошиблись... – опередив других, Мсоуст сам ответил ему.

– А я-то думал, ты тоже немой, как и твой отец! – второму гостю явно не понравился Мсоуст с его дерзостью.

Стоявшие вокруг обмерли. Видно было, что и самому Алме тоже не по душе этот разговор и тон, но он только заерзал на месте.

– Когда в свое время со страха у многих отнялись языки, он не боялся говорить то, что нужно было. А если теперь, когда страхи рассеялись, когда каждый храбрится, грея живот у очага, и всласть чешет языком, – если теперь у отца не оказалось возможности участвовать в этих разговорах, то, уверяю вас, он ничего не потерял!

– Скажи-ка, пожалуйста, отец твой питался свинцом, но чем тебя питают, не сталью ли*, отчего ты вырос таким вот дюжим?.. – спросил старший гость, важно приподнимая плечи; глаза его казались кроваво-красными.

– Ах, вот что вы хотите узнать?! – усмехнулся Мсоуст, резко вздернув голову. – Могу объяснить: когда кое-кому, прохлаждавшемуся под сенью своих лип, в карманы текло золото, заработанное предательством, мой отец, убедившись в том, что у свинца вкус недурной, за время войны понасобирал его немало – и вместо сладостей принес нам домой. У нас его и теперь предостаточно – и если кто очень желает, мы не скупые, можем накормить...

Среди внимательно слушавших разговор стоя, кое-кто прыснул.

– Вероятно, вероятно... – без связи с предыдущим, но с ухмылкой изрек второй гость и глубокомысленно добавил: – Может и так быть, что за неимением быка петуха запрягают...

– Укажи им, чем заняться, – обращаясь к Умару, кивнул на молодых раздраженный Алма. – Дел что ли больше нет?!

...Умар ворочается, скрипит зубами, постанывает, лежа у каменной стены, опять пьянея от чачи, которую отпивает по глоточку. Внутри горит, а лицо мерзнет от сырой стужи.

...Даже тогда этим почетным гостям, считавшим себя сильными мира сего и решившим поизмываться над холопом, даже им пришлось позорно отступить. У них не было охоты осложнять. Почему же сейчас осложнил его отец, старый хрыч Алма, в день сходки, не стал же он крепче и грознее с тех пор! А теперь этот разбойник совсем неуправляемым стал, в лес ушел – и кто знает, что еще надумает...

Есть один человек, на которого Умар надеется. Да, да, только он, только он один может справиться с этим опасным холопом. У него же, Умара, достаточно своих забот. Да еще прибавился этот странствующий братец... Не проходит и дня, чтобы отец («Старый хрыч!») не проклинал тот день, когда зачал его, когда родился он, Умар. Но он и для отца приготовит сюрпризик. Если подтвердится то, что он (разве только он) подозревает (это не может не подтвердиться, ибо такого случайного сходства не бывает, нет, не бывает), то он не станет церемониться ни с отцом, ни с верной его супругой, этой гостьей в их доме, ни с этим странствующим, для которого его папаша приберег лучшие земли, лучшую часть...

———————

Сафия согрелась сразу как легла, потому что и под ней и на ней была перина. О ночном визите, о своем родственничке («Родственничек – пистолет бронзовый!») она быстро позабыла. Не до него было, уже в ее крови бушевали воспоминания о другом. В таких случаях ей казалось, что она слышит его последние прощальные слова, сразу же сердце начинало бешено колотиться, на какое-то время она впадала в полуобморочное состояние. Потом, понемногу приходя в себя, она принималась мысленно честить его: этот негодник, отпрыск рода широколапых, посмел ей так дерзить, ей, столбовой дворянке... Разве не самое высшее счастье для него быть близким с ней! Это же перед ним открылись врата небесные...

Но все это ничего ей не стоило пережить, простить, лишь бы еще хоть раз встретиться с ним – за это готова полжизни отдать. С последнего их свидания у нее не оставалось никаких надежд, но почему-то сейчас, когда обострились его отношения с Анчаа, когда, казалось, эта возможность навсегда перечеркнута, в ней вдруг вновь пробудилась надежда на встречу. Дела у него неважные... это молчание, кажущееся спокойствие среди его врагов – обманчивое, оно чревато опасными, неожиданными последствиями (о, она хорошо знает их нрав – этих, завидующих всем, боящихся всех и всех ненавидящих!), – они или сошлют его туда, откуда не возвращаются, либо его мертвого найдут в лесу и никому не разрешат похоронить. Единственный, кто может повлиять на это дело, – ее отец. Его слово было законом для ее свекра («Свекор – пистолет бронзовый!»), Алма не может ни в чем ему отказать, помня, что его мнение – весомое для властей. Она, конечно, знает безграничное самолюбие свекра, да недаром говорят, что жизнь солона... А доказать отцу, что это им всем, знатным дворянским семьям, несдержанность Анчаа («Да переведись их род!») грозит опасностью, – это она возьмет на себя. И надо так сделать, чтобы обо всем этом он, там, в лесу, – догадывался. Тогда и может сбыться (а вдруг, а вдруг, а вдруг...).

Она так была возбуждена, что не могла спокойно лежать, ворочалась, постанывала, засунув руки под ночную рубашку, гладила свое тело, больно пощипывала...

Что такое любовь, это миг, это вздох, думала она, это призрак, ее почти нет. А есть желание, страстное, жгучее, неотвратимое, которое уносит как горный поток – и тогда нет уже больше ничего, кроме него, кроме желания. Оно промчится сквозь тебя быстрой рекой, – и то состояние, та размороженность – и есть счастье.

Вспоминала она и Майяну. Когда Майяна появлялась в доме, Сафия не спускала с нее глаз – не раз замечала, как девушка вся заливается краской, будто спелый персик, при одном упоминании имени Мсоуста. Вспоминала его неимоверную страстность: с высоты развязной свободы, которую она сама себе представила, она чувствовала его жар во всю силу. И своим женским чутьем понимала, что он вынужден будет сдерживать себя перед такими как Майяна, ибо, если он даст волю своему буйному естеству, то

должен будет всецело ему подчиниться. Этого он не мог себе позволить. Он свою жизнь хотел истратить для каких-то других дел, в которых, как она думала, ни он сам, ни кто иной еще не разобрался. Такие как Мсоуст обычно не находят того, что ищут, им самим непонятное, прежде всегда находят смерть. И пока он не встретил ее, оставшимся ему временем она хотела попользоваться вдосталь...

Да, да, да, он искал смерти, это ей было ясно. Он не из тех, которые влюбляются, играют свадьбу, родят дюжину детей, весной и летом проливают пот, обеспечивая их едой на зиму, которые в кругу семьи сидят у очага, подставив живот огню. Более того, она никак не могла представить Мсоуста постаревшим. Такой сломает себе шею еще смолоду, положит жизнь за кого-то, за что-то. Какими-то нездешними ветрами веет от его имени, от него самого. Не от этих поселений, прижатых к горам, притулившихся к крутым склонам, разбросанных по тесным долинам, а откуда-то свыше приливала к нему сила, – сила эта выбрала его.

Безошибочным женским чутьем она определила, поняла, что ни один человек, так или иначе соприкоснувшийся с ним, не может потом быть свободным от него: на всю жизнь останется каким-то образом привязанным к нему, зависимым. До сегодняшнего дня она не может понять, как получилось, что этот молодой мужчина, всегда занятый чем-то своим, проходящий мимо женщин вовсе не замечая их, в тот день не смог совладать с собой. Но человек не бог: каким бы ни был от твердым, если угодно жизни, она может с ним любую шутку сыграть...

– Боже, всемилостивый, всемогущий, – горячо шептала она. – Сделай, чтоб угодно стало жизни повернуть его в мою сторону, чтобы он нашел меня, нашел, примчался ко мне, сжигаемый страстью...

...В какой-то из своих наездов сюда, на свадьбе, она встретила его, почти столкнулись лицом к лицу. Не обращая никакого внимания на окружающих, она пронзила его взглядом, перехватила его взгляд и впилась... Он отнял у нее свой взгляд и невозмутимо прошел дальше, ни одна жилка не дрогнула на его лице.

А барыни, скучавшие на балконе, сразу приметили его.

«Если бы разделить между нами этого широколапого...» – не удержалась одна, с наглыми глазами. Эти дворяночки между собой выражаются довольно откровенно, не стыдясь грубости. Остальные прыснули, не в силах оторвать взгляд от такого молодца. «Нет... стала бы я делить его с кем-нибудь, будь он мой! – добавила та же, особенно вульгарная. – Целиком – мне одной!..»

Лишь по капельке любви перепадает им, а иногда и того нет, этим несчастным из высокородных семей, никогда не устававшим от трудов праведных, страдающих ночами в своих пуховых постелях от избытка чувств. Но если еще станет на что-то жаловаться женщина, познавшая сжигающий жар такого молодца, – каким бы избытком чувств она ни обладала, тогда неизвестно, как ее назвать...

САМАКУА – ГОЛОС МИНУВШЕГО

...В тот день она прибыла сюда вместе с отцом. Муж в последнее время вовсе осточертел. Каждую ночь его приносили мертвецки пьяного. Поговаривают, что у мужчин, пристрастившихся к вину, другие желания угасают, что перестают и ревновать. Но ее муж не перестал, накатывало на него временами. Иные шептались, что и пить-то он начал из-за этого...

...Они жили далеко от поместья Анчаа. Это только отцы их виделись иногда – давно знали друг друга. Но и до поместья тоже, вероятно, доходили слушки – мол, о ней поговаривают всякое с тех самых пор, как она совсем еще молоденькой быстро оформилась, расцвела. Да, тогда они уже жили в Акуа-Сухуме, но земли их были расположены в Мархиауле. Несколько оставшихся после махаджирства родовитых дворян владели землями крестьян-изгнанников. Сдавали эти земли в аренду пришлым грекам, болгарам, армянам, мегрельцам. Сын одного из мелкопоместных мархиаульских дворян, молодой офицер русской армии, приехал на побывку домой. Ей уже шел семнадцатый год. Она, признаться, не видела никого лучше этого юного офицерика – и тут же влюбилась в него (ха-ха!). За день она должна была посмотреть на него хоть раз, избегая, убегая от всех запретов. Когда она ближе познакомилась с ним, поняла, что ее пленяла главным образом его офицерская форма – хоть этим был не похож на других, изнывавших в одинаковых, как панцирь жука, черных черкесках. Она приближала свое лицо к его лицу, нечаянно касалась его руки, у него учащалось дыхание, смешно округлялись глаза, бледнел, краснел, но не решался шевельнуться. В конце концов она сама решилась... Пока догадались в ее семье, в семье офицеришки догадались раньше – и прежде срока отправили обратно на службу. Как огня боялись ее отца, однако почему-то не захотели, чтоб молодой офицер на ней женился. Может быть, выпытали у него («тряпка!») все, как было, и решили – если уж она на такое решилась в юные годы, что же будет потом. Позже отец ее тоже догадался, но она ни словом не обмолвилась, не сказала – кто. Отец был очень привязан к ней: пистолет, который приставил к ее губам, выпал из рук. Боясь, что беременность выдаст ее, сделали вид, что посылают надолго к родственникам, отвезли к старой акушерке и срочно устроили выкидыш. Она довольно быстро оправилась – и через небольшое время уже не помнила ни того, что с ней было, ни самого офицера. И больше никогда не вспоминала, не переживала. Отец офицера был небогатый дворянишко; видимо, испугавшись грозного противника своего, снялся и переехал жить в Мырзаканиуаа (Самурзакано), самую восточную часть Абхазии. И ни слуха ни духа, словно в воду канули.

Семье казалось, что они сумели все скрыть от глаз и ушей посторонних, однако всякий, кто мог услышать, – услышал... разговоры дошли до Анчаа. И после всего этого не постыдился ее отец – поехал к Алме и предложил поженить его старшего сына и единственную свою дочь. Алме ничего не

оставалось, как согласиться. Зло, которое они в свое время творили рука об руку, надо было скрепить наконец родством.

...В тот день, когда и без того мрачный Умар вернулся домой мрачнее солнечного затмения, когда, как она потом узнала, очень неласково поговорили с Мсоустом ее отец и дядя, брат матери, она заметила Мсоуста издалека. Она ждала его все эти дни, но он не появлялся. Она решила – сегодня или никогда. После того неласкового разговора он, видимо, уже направлялся домой.

– Пожалуйста, не уходите так, не отведав хлеба-соли... – она преградила ему путь, невзирая на опасность такого поведения. – Все готово, скоро все сядут за стол...

– Видите, барыня, ваши родственники со стороны мужа и с вашей стороны уже успели попотчевать меня, вы же знаете, они у вас очень хлебосольные...

В это время откуда ни возьмись Умар появился на балконе – застыл широко расставив ноги, нахально стал наблюдать за ними.

– Я хочу попросить тебя, – негромко и быстро сказала она. – Мне необходимо встретиться с тобой... по одному делу. Как стемнеет, жди меня под липой на холме... Решается судьба человека, одинаково дорогого и мне, и тебе... Не откажи в милости...

– Не боишься? – только и спросил он, ничуть не удивившись.

– Нет, не боюсь... Такой парень как ты... а затем – желаю сделать добро близкому мне человеку. – Она решила использовать Эсму. Вслух об этом не говорили, но все в усадьбе почему-то были уверены, что Эсма безумно влюблена в Мсоуста – и хотела наложить на себя руки лишь оттого, что Анчаа никогда не согласятся выдать ее за широколапого, и еще оттого, что Мсоуст не обращал на нее никакого внимания.

Ей надо было, используя любой предлог, встретиться с ним, а там уж она знала, как себя вести. Если семнадцатилетней не побоялась пугливого офицеришку подбить на то, чего желала, здесь, сейчас, уже с таким опытом – и подавно...

– Если не боишься, я готов! – он чуть заметно наклонил голову, обошел ее, ровным неторопливым шагом пересек двор Анчаа по самой середине и удалился прочь.

Умар, конечно, догадывался кое о чем, но она знала, что так просто сунуться к ней он не может. Она знала, что никто из хозяев усадьбы не придерживался тех запретов, адатов, которые формально были обязательны для всех: кроме внешних каких-то правил поведения не было такого, чему бы они подчинялись, – в конце концов каждый делал что хотел, поступал как ему заблагорассудится; если подворачивался случай, они не проходили мимо любой юбки, кроме материнской да сестриной.

Если он решится перепрыгнуть один запрет, она перепрыгнет сразу два – потому для него и для нее лучше, если он притворится, что ничего не видел, ничего не подозревает, думала она неистово, уже вся во власти предстоящего свидания.

Было время выпрягать быков, когда она приказала прислуге оседлать коня. Все же перед уходом она намекнула Эсме, что хочет кое-что выяснить для ее пользы. Эсма вся побледнела и не смела ничего ответить. (Она все время ходила бледная, отрешенная – казалось, постоянно с петлей на шее. Правда, Сафия еще тогда не верила, что у Эсмы есть что-то к Мсоусту… А теперь, с приездом Мзалея, она догадывается, в чем дело… Но не удивляется – чего только не может случиться в этом барском доме!)

Никогда так ловко, с такой охотой она не садилась на коня, как в тот вечер. Ей казалось, что она не сидит в английском своем дамском седле, а воздух ее (не такую уж легкую) держит на весу. Конь почувствовал ликование всадницы и понес ее легко и быстро.

———————

...Огонь в камине слабел. Когда последние головешки, догорев, падали в золу, вспыхивали мгновенные язычки пламени и освещали черный зев дымохода. Пламя от одной из головешек продержалось некоторое время, и ей показалось, что отсвет его рисует образ Богоматери: ее горящие глаза не смотрели на нее прямо, но они были спасительные, прощающие слабость. Сафия с волнением следила чтобы, изображение не исчезло. Сама удивилась тому, что вдруг так захотелось увидеть святой образ. Это ей-то, которая ни в чем себе не отказывала, не ограничивала, бывала как март капризна – то плакала, то смеялась! «Пресвятая Богородица... – услышала вдруг она свой – и будто не свой шепот. – Прости меня, грешницу, мои грехи, если можешь... но оставь мне это короткое счастье, мне, несчастливой! Если от него я счастлива, гонюсь за ним, презрев мужа и семью, то не сочти это за смертный грех... Я молю тебя, всевидящую, всезнающую, всепонимающую...»

Пламя угасало – изображение стало растворяться в темноте... Вдруг огонь в последний раз вспыхнул – и на руках изображения не оказалось ребенка, они повисли пустыми, а потом загорелись и исчезли. Сделалось темно.

Сафия со страху до боли зажмурилась.

М с о у с т в т о т д е н ь...

...когда она назначила свидание, как-то не придал ему особого значения. Но оказавшись уже далеко от барской усадьбы, заметил, что мысль об этом все вертится в голове. Сам удивился, стал злиться на себя – не помогло. Вернулся домой – и здесь места себе не находил, хотелось, чтоб побыстрее пришел вечер. Казалось, что день неимоверно длинен, словно кошку спрятали под перевернутым котлом*.

Еще не стемнело, когда он торопливо выскочил из задних ворот, – помнит только, как на ходу распахнул створки и как они сами силой тяжести вернулись на место, а тропу, по которой бежал, совсем не помнит, ее словно и не было. Наконец увидел липу с кроной в виде сердца, такую огромную вблизи. И тут будто шлюзы открылись – у места свидания в него хлынула

какая-то неимоверная сила, будто копившаяся вода нашла выход; сила эта разлилась по всему его телу – он был сейчас похож на мельницу, на колесо которой падает слишком мощная струя. Руки не доходят до запасной задвижки, чтобы спустить лишнюю воду, и вся она, бурля, бьет в лопасти...

Тут он увидел ее. Как птицу подхватывает порывом ветра – его подхватила такая сила, с которой он ничего не мог сделать, и слышно было, как бушует кровь... потом его словно подняло куда-то высоко, даже уши закупорило.

Она было не хотела отказываться от своей женской очевидной, но хитрости, желания из этого очевидного сделать тайну, попридержать, помучить... Но хитрость ее имела силу, пока он не соприкоснулся с ее телом... тут она мгновенно обо всем позабыла, ото всего отказалась и вся открылась... Бурка спала с его плеч и легла на мягкую реденькую траву, всегда зеленевшую в тени липы...

Ожидание... Ожидание чего-то неизъяснимого – чтоб она растворила, перемешала с собой... Это состояние было за гранью всего – раздумий, сомнений, терзаний, тяжести плоти, стыда и бесстыдства. Оно было прежде и старше всего, и границы познанного, плоского мира на него не распространялись. Потому что оно было началом начал, началом и концом всего. Потом... и оно ушло, где-то в глубине души оставив слабый след своего существования.

Постепенно возвращалось ощущение тяжести тела, в нос ударил запах нового пота, запах, высвобожденный телом женщины, всецело отдавшейся, забывшей обо всем, отринувшей все... и уши наконец раскупорились.

«Сон, волшебный сон...» – услышал он ее разомлевший бесстыжий голос. Когда он убирал руку, коснулся ее цепочки, на которой был подвешен тяжелый медальон. Показалось, что дотронулся до чешуйчатой змеиной кожи, – отдернул руку.

Он стоял как обугленное дерево – после только что отбушевавшей грозы, и тогда услышал ржание ее коня, привязанного на склоне в ольшанике, и вслед за этим ее шепот: «Послезавтра в такое же время... послезавтра... в такое же время...»

Где-то в верхушке дерева ветер лениво шуршал листвой, но внизу было тихо. Мсоуст хотел провести ладонью по стволу липы, но стыдился – как перед живой: ему казалось, она все слышала, все видела. Так и не притронувшись к дереву, пошел по вытянутому горбу холма. Ветер налетал издалека, с моря, не теплый и не прохладный. Его ноги, казалось, не чувствовали земную твердь. Он ощущал только свою дышащую грудь – а ниже пояса его как бы и не было.

«Послезавтра в такое время... в такое же время...» – раздавался ее шепот в ушах. «Больше меня здесь не будет!» – сказал он вслух, отомкнув будто слипшиеся губы. Но больше всего он презирал себя оттого, что знал: придет. Знал, что та часть дурной крови, которая есть у каждого, взяла верх в его разбушевавшейся страсти – и пока ее трудно побороть... она будет выворачиваться, изворачиваться до поры до времени, как тот, которого ты

осилил, но не смог потом удержать. Он никогда раньше не поверил бы, что с ним может случиться подобное, – но нет ничего более незнакомого для человека, чем он сам.

Он был как лес, только что перенесший бурю, ему трудно было соображать. Недавнее кипение крови, ее бешеный ток приблизили его к чему-то большому, неизведанному, – его обдало жарким дыханием, обдало и пронеслось мимо, своей дорогой, не захватив его. Все же искры этого необыкновенного, промчавшегося мимо, попали в его кровь и еще обжигали...

Достигнув восточной оконечности холма, он остановился. Село обозначало себя булавочными точечками вечерних огней, где-то в ущелье задыхаясь шумела река, протискивалась сквозь скалы. Постепенно с его губ стал исчезать горьковатый привкус страсти; ароматы весны, насыщавшие воздух, пересиливали запахи пота и женского тела, которыми он, казалось, пропах насквозь. Все вокруг благоухало, распускало почки, цвело, даже трава под ногами – все было уже новое, все выгнало из себя прошлогоднюю горькую прель.

Мсоуст вдруг уловил запах рододендрона – откуда-то далеко с гор. Запах исчез неожиданно, как и появился. Он еще и еще жадно втягивал воздух, стараясь уловить знакомый аромат снова – но тщетно. Ему стало еще грустнее.

Повернул обратно – к западному склону холма – и вспоминал слышанное о Данакее и Сасней. Легенды ходили об их любви... Здесь не привыкли видеть столь открытое изъявление чувств – но им прощали. Данакей жил на берегу моря, а она в этих краях. Он попал в число изгнанников. Там, где он оказался, море было синее, берег лазурный, земля тучная – но ее рвали друг у друга хищники, которым некуда было силы девать... Их было много, больше чем волос на голове... захотят – убьют, захотят – выгонят... Кто обращал внимание на твои страдания, твои слезы, счастье, любовь – все это превращали в жидкое кровавое месиво... человек был как трава, которую топтало неисчислимое множество солдатских сапог...

...Все же через год, неизвестно как, – превратился ли в птицу, в ветер, в морскую рыбу, – но вернулся Данакей. Сасней открыла глаза, затемненные горем, и они засветились. Но когда от счастья, от любви стал оттаивать Данакей, обрел способность чувствовать, – с новой силой возобновились страдания, острое ощущение несчастья тысяч и тысяч изгнанников, гибнущих сейчас на пустынных чужих берегах, несчастья любящих, продаваемых в рабство, в разлуку навсегда.

«Прости! – сказал он однажды любимой. – Я понял, что после того, как стал свидетелем стольких несчастий, после того, что я видел, что я пережил, – не имею я права на такое счастье. Я оставил людей в страшном бедствии, и это равносильно предательству...»

«Иди... – сказала она. – И я не могу перенести наше счастье – когда весь наш народ в беде...»

Он ушел – и больше от него вестей не было. А прекрасная Сасней постарела в безнадежном ожидании...

Сколько таких, сколько, сколько...

А он? И он тоже так думал, – что при общем бедствии искать счастья только для себя – невозможно... но сейчас-то он и вовсе угодил в грязь... Значит – раз довел себя, опустился до того, что смог на это пойти, – значит, он не достоин большего!..

Несмотря на молодость, его уже не раз испытывала, крутила жизнь... но сейчас вдруг она у него завязалась в узел совсем не на том месте... И он идет по холму, опустошенный и мрачный как яма. Он готов был упасть на колени на этой земле, изъеденной дорогами, где лежит непросыхающая слякоть, на этой земле, оглохшей от ветров и бурь, – и, воздев руки, просить, умолять небо, которое всегда оставляет хоть слабое, но подобие надежды... Но он понимал, что после такого своего низкого поступка, такого падения – нельзя представать перед небом.

Первая встреча бывает лишь раз, все другие – повторения. Видимо, так и во всем остальном: в жизни есть и от Бога, и – предостаточно от дьявола.

Не дойдя до западной оконечности холма он свернул вниз. Спускаясь по мокрой от росы молодой траве, поскользнулся, пытаясь удержать равновесие, взмахнул руками – в темноте наткнулся на молодое деревце, схватился – и устоял. По коре он сразу узнал, что это та самая молодая липа, выросшая в ольшанике. Она раньше всех тут распускалась, а осенью раньше начинали золотиться листья, потому она всегда выделялась, издалека была заметна. Обнял ствол, прижался лицом: свежестью и прохладой веяло от деревца, – ему стало чуть лучше... Конечно, липе не до него: она всецело занята бесконечной связью со своей матерью-землей, это требовало всех ее сил...

...Деревья, пока не высохнут, постарев, не рухнут наземь, – они пуповиной связаны со своей матерью-землей...

Только немного успокоившись, он почувствовал, как деревце все дрожит, от самых корней до макушки. Вдруг на руки, обнимавшие молодую липу, упали горячие тяжелые капли... небо ли их уронило?.. Откуда бы они ни упали, такие горячие здесь, внизу, – какие же они должны быть там, где рождены!..

ВЕРШИНЫ И ПЕРЕВАЛЫ

...Давно ускакал мой конь, сбросив меня...
Азар – гимн всадников

Уже было далеко за полночь, может даже и предрассветная пора, но он знал, что его время – время, когда он обычно встает, еще не наступило. Оно само поднимало его, если б даже в нужную минуту его окружали бы по одному Гуатасу из каждого прожитого года, он встал бы и оттолкнул их.

Человек не может оторваться от прошлого, оно следует за ним по пятам, но если даже он стар, пока жив – будущее сильнее, будущее влечет к себе.

Все эти ночи, вдобавок к тому, что у него было на душе, ему не давал спать холод. Но он не старался закутаться потеплее – лежал и терпел, будто за что-то наказывал себя. Сегодня он проснулся еще раньше обычного. В доме было так холодно, – верно, вода в кувшинах замерзла. И просыпались те многочисленные Гуатасы, что шли за ним вереницей, неся его прошлое.

САМАКУА – ГОЛОС МИНУВШЕГО

...Пока это было возможно, он крепко держался того, что принимал за правду; для этого не пожалел себя, пересилил страх, не отступил, не испугался, что пуля его настигнет, что, вонзив в самую пуповину, повернут острие кинжала... В общем, не старался во что бы то ни стало себя спасти. И нажитый опыт, и перенесенные страдания, и вообще все, что успел понять, усвоить, – он использовал, пытаясь оказать посильную помощь людям. Он был уверен, что любому, кто мешает этому первейшему долгу человеческому, – откуда бы тот ни был, где бы ни находился – надо не жалея заткнуть рот.

Может, оттого, что он постоянно об этом думал, – часто запутывался, никак не мог объяснить казавшиеся простыми явления жизни. Иногда он приходил к выводу, что, верно, вообще все было приготовлено и решено еще до того, как человек появился в этом мире. Они лежали как обожженные большие кувшины: «Добро», «Зло», «Судьба», «Счастье», «Горе», «Радость», «Страдание», «Труд», «Безделье», «Свобода», «Рабство» – и так далее. Одни прямо шли и занимали, как нечто наследственное, – «Добро». Почему-то им, так решительно и уверенно выделившим добро, все уступали путь, никто не бросался опережать их. Оставшиеся кинулись занимать свободное, и такая пошла толкотня, что невозможно сделалось выбрать. Уже старались не выбирать – лишь бы хоть в какой-нибудь попасть. Попав, они оставались там навсегда.

Наши отцы говорили то же самое: «Тот, кто родился на острие, – и умрет на острие». Но позже он понял, что это не совсем так... то есть совсем не так. «С тех пор, когда человек решил ни во что не вмешиваться, положиться на судьбу, считая, что все равно ничего не изменишь, – это уже не человек! – слышит он голос одного из молодых Гуатасов, из тех, что стоят у истоков его прошлого. – Скажем, если “кувшин”, который ты занял, покатился в бездну, так и будешь сидеть и ждать?»

«Все равно – он и сейчас катится в бездну, – подумал с болью. – С самого начала жизнь обернулась к нам своей изнанкой, вот он и покатился по откосу... Все же что-то предвидеть трудно было...»

Тогда думать и рассуждать обо всем этом некогда было: на их глазах жизнь летела к пропасти... Но надо все же было постараться что-то спасти. Пригодились только те, которые поняли: если человек приложит все силы, во что бы то ни стало, – что-то сделает. Самое опасное, когда люди доходят до

того, что ничего не хотят предпринять. Тогда они похожи на оползень, все ниже и ниже... Были и такие, которые хотели обозначить круг, который не должно пересекать, – считая, что поиски других путей приведут к еще худшему.

Он, конечно, не был ни тем ни другим: ни тем, кто хотел обозначить круг, ни тем, кто соглашался томиться в бездействии. Но вернувшись в родные места, он наткнулся на враждебное к себе отношение: люди разобрались наконец, где правда, – так же, как и он, поздно... а про него известно было: из числа тех, кто уговаривал добровольно последовать за господами, за теми самыми, что так легко предали... Его выручил старый друг – Чантамыр, нынешний староста. Он служил в русской армии, полк его находился недалеко, в пределах Абхазии. В то время все напряженнее становились отношения русского царя и турецкого султана, в воздухе стоял запах новой войны, как пороховой дым.

Только он знает, сколько пришлось пережить, перенести за два года – столько потребовала от него солдатская служба. Все было сметено – и остатки гордости, самолюбия, которыми не думал пожертвовать даже ценою жизни. И все равно: испытания не сломили его внутренне, ибо он знал, ради чего терпит. Он даже решил: необходимо, чтобы все прошли тяжесть солдатчины: нужно выдержать все это, чтобы закалить себя, набраться силы, которая удержит на своей земле при любых тягчайших обстоятельствах в будущем.

Он не сломался еще и потому, что все солдаты, и русские, были в одинаковом положении. Но он должен был проявить больше терпения и выдержки: его народ стоял на краю пропасти. Не сломался потому, что друзья, такие же крестьянские сыны, солдаты его полка, поддерживали, помогали ему, понимали его и не давали пасть духом. Но случалось и иное, когда попадались особенно жестокие офицеры, – боялся, что его терпению вот-вот придет конец. Однако напоминал себе – он с оружием стоит на родной земле, и это придавало ему крепости. Он видел, как ступали по его земле чужие сапоги, но ради того, чтоб самому остаться стоять тут, на своей земле, с этим тоже надо было пока примириться. (Окончательного смирения, видимо, никогда не будет, – кто может навсегда смириться с тем, что в твоем же доме каждодневно твой затылок жжет чужое дыхание...)

Но когда нет другого выхода, надо поступать, как диктуют обстоятельства. От того, что этого веления не воспринимал национальный характер его народа, их и ставило во все времена на краю бездны. Но сейчас жесткое упорство вело к неминуемой гибели: необходимо было поступать по законам безвыходного положения.

Когда он оставался с такими же солдатами, как и сам, все эти тревоги, терзания немного смягчались, опасности словно бы отступали, и начинала теплиться надежда, – может, и сделается так, чтобы больше их мертвых детей не выбрасывали с палуб невольничьих судов, чтобы отцы могли хоронить своих детей на родной земле – и наоборот. Когда у него появлялась

такая надежда, он и понимать начинал лучше. Тогда он начинал догадываться, что на его болях не заканчиваются нужды человечества... как важно, чтобы люди, разные по национальности и по родине, поверив друг другу, дружески пожали протянутые навстречу руки... как это раздвигает горизонты человека, каким надежным спокойствием наполняется жизнь.

...Но опять началась война. Тогда, что греха таить, крепко усомнился во взаимопонимании, в дружеском расположении столь расплодившихся народов друг к другу. Судил теперь на ином уровне: так, словно передавалась ему боль его погибающей родины. Человек везде человек – среди других народов иногда встречаешься с такими людьми, с которыми хочется подружиться навсегда, каких у себя же в народе находишь редко. Да вот беда: если захочет тот, который понукает его, – он вынужден будет тебя убить, и наоборот: если присматривающий за тобой заставит – ты должен будешь его убить. Бывает и по-другому: когда присматривающий за тобой не в силах отнять у тебя, у твоего народа землю, в которой скрыты кости твоих предков, выгнать тебя из твоего же дома и все, что сотворил твой народ за время своего существования, все пролитые реки крови, слез и пота, предать забвению, – тогда он договорится с более могущественным соседом или прямым поработителем твоей земли – и того, с которым ты побратался бы навек, заставит все это исполнить.

...Однажды вдруг появился Чантамыр. Он был обучен грамоте, знал русский язык, и потому его держали обычно в штабе в качестве переводчика. Рассказал, что приехал специально к нему. Оказывается, когда участились военные столкновения с турками на побережье, особенно в Акуа-Сухуме, в Тхубуне, – братья Званба привезли свою единственную сестру Хауйду и оставили до лучших времен у дальних родственников – Анчаа. Пока позволяли обстоятельства, они часто навещали свою сестру. Но в последнее время вдруг от них не стало никаких вестей. Сестра умирает от тоски и тревоги. Несколько раз ее заставали, когда собиралась убежать, отправиться к себе домой. Тогда Алма сделал так, чтоб обязали Чантамыра устроить свидание барышни со своими, найти ей надежного сопровождающего. Выбор пал на Гуатаса. Ему подготовили пропуск для русских застав, бумагу с просьбой оказывать всяческую помощь.

– Повези ее и покажи ей родителей и братьев, – приказным тоном объявил ему Алма. Он стоял еще довольно молодой, крепкий, надменный. Это было время наилучшего его положения. – А если очень захочет, оставь ее там. Но лучше, чтоб она вернулась обратно, не так ли, малышка? – Бесцеремонно коснулся ее щеки, посмотрел нехорошо, откровенно. Она промолчала.

Гуатасу дела не было до всего этого. Он солдат, его долг – выполнить приказ. Девушка несколько раз украдкой глянула в его сторону – он стоял безучастный в своей старой, пропахшей потом солдатской шинели.

– Если хоть волос упадет с ее головы, знай, отрублю твою и собакам брошу! – Алма, не оборачиваясь к нему, опять с откровенным вожделением, не церемонясь, провел рукой по ее прекрасным волосам. – Собакам – понял?!

Юная барышня вздрогнула при этих словах, вздернула плечи, ссутулилась, будто стараясь спрятать голову, будто это ей грозили, не ему. Чувствовалось, однако, Алма что-то знает такое, что давало ему уверенность: она вернется.

Видно было, что она сильно напугана, страшные предчувствия томили ее, в глазах стоял страх. С тех пор, когда Гуатас видел ее, она повзрослела, сделалась барышней. Небольшого роста, но прекрасно сложенная, черные волосы до пят.

...Кони были крепкие, надежные. Добыть коня тогда не представляло особой трудности: сколько их, потерявших хозяев-изгнанников, еще гуляло на свободе. Когда отъехали от барского дома, он сказал ей, что хочет заглянуть по пути к себе: там ждет жена, и неизвестно, когда еще они увидятся, встретятся ли вообще...

Он успел до армии на месте пепелища поставить домик и жениться – хотел убедить себя, что жизнь их рода продолжается. Жена была беременна. Его уже несколько раз отпускали на свидание с женой. За сутки он покрывал путь туда и обратно. Сейчас он ее застал в тревоге и страхе. То ли от беременности, от одиночества, то ли от чего-то еще – она сама не понимала... Он ее успокаивал, говорил, что скоро совсем вернется, до окончания войны остались считанные дни. Она молча смотрела на него – и лила слезы. Была тихой, кроткой, слишком послушной – догадывался, что без него не может. Строго-настрого наказав: что бы ни произошло, без него не принимать никаких решений, дождаться его возвращения, – он удалился. Выходя из ворот, обернулся: она стояла перед домом и плакала. И будто он впервые увидел плачущую женщину, на всю жизнь запомнил ее такой – как страдальчески был искривлен рот...

Огрев коня плетью, пустил его вскачь, и пока не добрался до реки, ни разу не обернулся к ней. Понимал – и ей не сладко, но сейчас он не способен был кому-то улыбаться, кого-то утешать. Плач жены окончательно вывел из равновесия, особенно растревожил: черные тучи опять нависли над этой несчастной страной, прошлое было страшное – и будущее не предвещало ничего утешительного. Все, кто оставался здесь, томились в ожидании худшего.

...Далеко за полдень, по тропам, по самому подножью гор, они достигли Кодора. Реки еще не было видно, когда он услышал шум течения. Ему это не понравилось. Несмотря на раннюю осень Кодор еще нес с гор талые воды, уровень поднялся.

Остановил лошадь, обернулся и посмотрел на нее: несмотря на усталость она хорошо держалась в седле. Он понял, что несправедлив к ней, и через силу улыбнулся – она ответила усталой грустной улыбкой.

– Боишься? – спросил он жалеючи.

– Если бы не ты – да, но с тобой почему-то не страшно, – ответила она спокойно, будто они давно и близко знали друг друга.

Он промолчал. Улыбки как не бывало. Довести ее до дома – и сразу вернуться... Ему самому хотелось повидать ее братьев, узнать, что они думают о нынешних временах. Хорошо помнил их разговор с человеком Камлата, этим собачьим сыном, еще тогда, когда он с ним пересек море.

...Пока еще люди сидели на своей земле, собрав бедные пожитки, не зная, когда их попросят... Если погонят и этих, немногих оставшихся, думал он с болью, – тогда конец, тогда все его старания, служба – все напрасно. Тогда наконец сбудется злобная мечта тех, для которых эта земля вместе с ее народом – как бельмо на глазу. Тогда – для чего жизнь, такая жизнь... Остается одно-единственное – пустить себе пулю в лоб, исчезнуть, будто тебя никогда и не было.

Почему-то вид барышни обострил эти чувства, опять вернулись мрачные мысли.

...На войне, в бесконечных стычках, вдруг в тебе проявляются качества, неожиданные для тебя самого. Было однажды: их отряд и турецких аскеров разделяла река, тут проходил фронт. Турки занимали высокий, господствующий берег. Как только здесь, на низком берегу, кто-нибудь пошевелится, тут же пуля настигала его. Очевидно необходимо было выбить аскеров с высоты – задача не из легких. На второй день стычек он пошел к командиру отряда, человеку порядочному и решительному, и объявил, что хорошо знает эти места, если ему доверят – он сделает так, чтобы можно было сбить аскеров с позиции. Офицер, похоже, заинтересовался. Но... «Ты что – всерьез хочешь ему поверить! – рявкнул другой, оказавшийся рядом. – Не успеешь оглянуться – приведет сюда аскеров! Что эти, что турки – один дьявол. Предатель!..» – И схватился за пистолет. Он и себя не любил и других – этот офицер, всегда злой и мрачный, – и солдаты его не любили. Похоже, трус был, нетерпимостью прикрывал животный страх.

А вот командира отряда солдаты любили, верили ему. Гуатас тоже верил. Когда видел его голубые глаза северянина – будто освежающее движение воздуха чувствовал.

Командир глянул на того, с вздувшимися жилами на шее, поморщился, махнул рукой, отсылая.

– Все они готовы изменить, – негодующе бросил тот напоследок. – Виновны перед императором, перед великим князем Михаилом Николаевичем! Истребить, изгнать всех их вместе с турками, очистить от них землю! Пока жив хоть один – не будет покоя, значит – поголовно!..

Гуатас стоял и слушал. Надо было терпеть. Надо было...

Все произошло как-то неожиданно быстро.

Уже стемнело, и он сумел незаметно перейти реку. Дальше – немного не рассчитал, хорошо не обдумал; как только поднялся на высокий берег, наткнулся на двоих караульных. Один не успел вскрикнуть – штыком проткнул ему горло. Но другой успел поднять тревогу. Из перелеска высыпали аскеры. Отстреливаясь, Гуатас отвлек их – в это время отряд перешел реку. Наверху быстро смяли противника...

Когда все было закончено, он не удивился тому, что на нем даже царапины не было: совсем не боялся пули. Но от всей этой истории на душе оставался осадок после слов обозленного офицера: ясно было – не сам же он придумал насчет измены и виновности.

Когда спустились на берег Кодора, он натянул поводья, остановил коня и спешился. Она повторила его действия. Оставил ее в зарослях прибрежного ивняка, сам с карабином в руках пошел поразведать, безопасна ли переправа. Так высоко никого не должно было быть, силы обеих сторон сосредотачивались на побережье, но все же необходима была предельная осторожность. Он хорошенько осмотрелся, особенно тот берег, но ничто не вызвало в нем подозрения. Вокруг было пустынно, тишину нарушал лишь шум реки.

Он знал нрав таких рек и умел находить брод. Нашел хороший брод и здесь, и лошади ступили в воду. Ее конь шел рядом, но посредине реки сильное течение стало сбивать его с ног. Гуатас успел подхватить барышню, она обняла его обеими руками, и он перенес ее к себе.

– Только не бояться! – приказал он.

– Я же говорила, мне с тобой не страшно... – и правда, в ее голосе звучала спокойная уверенность. Она обнимала его за шею, как ребенок, наконец после многих чужих рук попав на руки матери, обнимает радостно. Хотел он или не хотел, не мог этого не почувствовать. Его окатило жаром – и вдруг стало стыдно своей провонявшей солдатской шинели.

(«Прочь, прочь! – злился он на себя сейчас, лежа в холодном, почти ледяном доме, в холодной постели. – Разве до этого мне, старому хрычу... даже вспоминать не имею права... Прочь, прочь!..»)

«Откуда же мне было знать...» – слышит он тогдашний свой голос.

«Разве тогда было лучше?.. Не менее трудно...»

«Но тогда ты был молодым...» – снова его молодой, не отнятый еще голос.

...Не надо забывать, что человек – до всего и прежде всего, просто человек. Иногда бывает – вдруг, внезапно, на мгновение спадет с него вся тяжесть, все путы этой жизни, – и предстает он в своей человеческой первозданности... Вдруг мир, пространство замечает его, находит для него время... Он может даже не догадаться – откуда, собственно, нисходит к нему такая благодать, так быстротечно все. Редко, редко случается – но и дает человеку много. Если б не энергия, которую вливают в человека такие мгновения, никакие бы надежды ему не помогали... Он вдруг вспомнил, какой видел ее в первый раз – утопавшей в своих прекрасных волосах, строившей ему по детски глазки, и как ее тогда называли Хауйда-ханум.

Так она и не разжала свои объятия...

(«Прочь, прочь! Небом и Богом прошу, пусть забудется навсегда... Старый я хрыч...»)

Жизнь нельзя разделить, будто зерна пшеницы и проса, она как река – в одном глотке все...

(«Тогда начинался еще один грех, прибавился к другим, которые я совершил...»)

Они миновали быстрину, и лошади уже ступали твердо, дно было каменистое, ровное. Позади бурлила стремнина – та, что так хотела разорвать, разъединить их. Из-за облаков выкатывалось солнце – угрюмые волны, вдруг ясно освещенные, показались даже ласковыми, они стремились друг к другу, а встретившись, слившись, рождали радостные всплески. Берег уже был близок. Там, на камнях, он видел отсюда трясогузку – будто все собиралась взлететь («Взлечу, вот-вот взлечу, взлечу, взлечу...»).

«Трясогузка, птичка-малютка, – обрадовался он в душе. – Ты же предвещаешь хорошего гостя, значит – считаешь, мы несем добро? Да, да, недаром говорят – гость приносит сто удач...»

Перейдя реку, конь сам остановился. Гуатас спешился, и она покорно скользнула на его протянутые руки. Мокрые – с одежды струйками бежала вода – оба сперва посмотрели на себя, потом друг на друга. Она прыснула, прикрывая рот ладонью. И он, чуть отвернув голову, несмело засмеялся. Этот смех был настолько искренний, от души, и имел такую силу, что его лицо, теперь всегда мрачное, неожиданно просветлело. Она смеялась, прикрыв рот ладонью, и он смеялся тоже, но как бы стыдясь своего смеха, отвернувшись в сторону.

Однако необходимо было поторапливаться – оба не знали, чем кончится их путешествие, что ожидает их впереди. Мысль о настоящем сразу протрезвила его, смех исчез, как и не бывало. Ей показалось – произошло маленькое затмение.

Темнота в положенное время не пугает, но кровавый отблеск, сочащийся при затмении средь бела дня, кажется идущим с того света.

Спрятали коней в ивняке, поодиночке немного обсушились, перекусили – и опять в путь. Пробирались тропами, лесом, держались ближе к подножию гор. Он ничего не сказал ей, но на этой стороне реки был особенно насторожен, оружие держал наизготове. Стояла гулкая, до неприятности пустая тишина. Жители были все изгнаны отсюда одиннадцать-двенадцать лет назад, и села пока пустовали. Только земли, расположенные ближе к побережью, уже были заняты новыми поселенцами, – сюда, так далеко к горам, они еще не решались пока.

Она снова погрустнела, а в глазах появился страх ожидания, который он заметил еще в доме Анчаа. Хотел бы утешить ее, но не мог, язык не поворачивался: вид опустевших сел, колючки да лианы на месте бывших домов, – все это вернуло прежнее мрачное настроение. Невыносимо видеть разоренную, поруганную родину... Слезы наворачивались... Будь он один – упал бы на землю и зарыдал так, что все забилось бы, затряслось в нем... так разлившаяся река заставляет говорить берега.

Уже солнце катилось к закату, и вся окрестность была залита красноватым заревом, когда они добрались до мест, где уже можно было видеть поселения новых хозяев. Домишки, стены обиты дранкой, походили

на курятники – такого здесь прежде не водилось. Двери домишек, тоже из дранки, все забиты, везде пустынно, нигде не слыхать живого существа. Он вспомнил: когда здесь, в сухумской бухте, высадились турецкие аскеры и вернувшиеся с оружием махаджиры, поселенцы вместе с частями генерала Кравченко, да и сам генерал подались в горы, в направлении Клуха (Клухорского перевала).

Конечно, когда изгнанники опять оказались в родных местах и увидели, что их очаги уже заняты другими, – не знали, на ком сорвать зло. Доведенные до отчаяния люди опасны, везде видят врагов, готовы не щадить никого и ничего. Иногда таким образом могут оказаться на одном уровне и тот, который хочет всех покорить, все захватить, и тот, у которого все отобрали, обездолили. И для того и для другого нет правил, нет запретов: для одного – потому что он всесилен, а для другого – ему уже просто нечего терять.

Солнце уже садилось, когда подъехали совсем близко к Тхубуну. Издалека донеслось несколько одиночных выстрелов, а потом опять успокоилось. Но чем дальше, тем тревожнее становилось, казалось, воздух стынет от близкой опасности. Она еле слышно выговорила дрожащим голосом – «боюсь». На ней лица не было. Он хотел успокоить – мол, чего им еще пугаться, хуже не будет, – но пожалел ее. Сказал, что все в порядке, хотя сам этому не верил. Сказал, что вот вдоволь нанюхался пороха, обожжен, обуглен огнем войны, и турок повидал на своем веку, и русских, и вернувшихся махаджиров – но смотри-ка, пока живой, вот здесь с нею стоит, – и через силу улыбнулся ей.

– Пока с тобой, я не боюсь, – говорила она крестясь. – Боже, сохрани его... Сейчас я страшусь совсем другого... предчувствия у меня плохие...

Они все же не вошли в селение, а поехали лесом. Вдруг в первый раз за всю дорогу услышали чьи-то голоса, разговор. Гуатас дал знак, остановились. Голоса утихли. Он сдернул с плеча ружье, спрыгнул с коня. И когда протянул к ней руки, она снова покорно доверилась... бережно опустил ее на землю.

Опять голоса...

Гуатас вслушивался, стараясь понять, на каком языке говорят. Разобрать слова было невозможно, но он чутьем догадался, что разговор вели по-абхазски. Это немного успокоило.

Когда двое встречных неожиданно увидели их, схватились за оружие. Видно было, что не новички на войне. Гуатас не пошевелился.

– Мы свои! – сказал он мирно.

– У нас нет своих! – бросил тот, что помоложе, не снимая руки с приклада и подозрительно рассматривая его замусоленную шинель. – Кого ты считаешь своими? Более выгодных, которые больше платят? Таких нынче много развелось...

– Эй ты! – свой голос послышался ему будто издалека. Барышня испуганно отступила.

– Успокойтесь! – между ними стал второй встречный, далеко не молодой, с седеющей головой. – Хоть уважайте старшего...

Гуатас опустил ружье.

...Они были из тех махаджиров, что высадились с оружием вместе с турками. Так просто вернуться им не удалось, потому пришлось пойти в действующую армию. Оба были из Бабышра*.

Сюда прибыли стремясь обратно к своим очагам, а не воевать. Но их уже не было, тех очагов, то есть были – но их уже заняли чужие.

– Мне седины добавил тот вечер, – горестно рассказывал старший. – Стою в карауле. Штаб помещался в абхазском деревянном доме, все было слышно. Турецкие командиры и наши, махаджирского ополчения, не могли договориться. Турки приказывали, чтоб махаджиры шли в свои деревни, поднимали народ... непослушных приканчивать на месте, жечь дома и усадьбы, чтоб земля раскалилась – негде было неверным поставить ногу. Нашим не дают говорить, только иногда успевают вставить: «Мы же прибыли не истреблять и жечь, а помогать...» «Не лучше ли не спешить...» Наконец один из турецких офицеров особенно раскричался – мол, зря его там, в Турции, не послушали, когда он предложил очистить берег от этих гяуров, истребить всех. Кричал – как, мол, можно их впускать в свой народ, кто знает, что еще они придумают, не лучше ли избавить мир от них, гяуры всегда останутся гяурами... Как я удержался... Хотел забежать в дом, уложить несколько турок, первым долгом кричавшего, пока не спохватился... Но подумал о людях, выброшенных на тот берег, об остывшем здесь моем очаге. Надо держаться – назло всем, кто уготовил нам такое, держаться, пока есть какая-то, хоть слабая надежда. Но сколько можно терпеть, сколько можно притворяться глухими, немыми, нам несчастным... – его слова внезапно исчезли, растворились в гортани, видно было, что воздуха ему не хватало, трудно было выдохнуть.

– Какие там остывшие очаги! – махнул рукой, не выдержал молодой. – Им не дали остыть, там уже чужие хозяйничают... Перепахали наши дворы – они же никогда не видели, чтобы двор, зеленую лужайку оставляли так, для души. У них вместо души один желудок... Разве мы сюда пришли бы воевать?! Как только высадились здесь, на этом берегу, ничто нас не могло удержать, тайком пошли проведать свои родные очаги... и вот люди, которых мы никогда не видели, начали перекликаться, выбежали на улицу, окружили, перерезали все дороги... Потом с криком стали гоняться за нами, словно за бешеными собаками. Ничего не оставалось делать, пришлось защищать себя. Сперва мы выстрелили в воздух – они не отступали. Ну тогда – не хотелось кровь проливать, тем более, они не русские и не турки, – вроде, не воюющая сторона, – но еще больше у своих же очагов не хотелось быть еще раз растоптанными, на этот раз насмерть...

– Страшные времена настали, ослепило людей – и стали забывать, что они люди, – вздохнул седой. Он нравился Гуатасу. И не трус был, похоже.

– Это все слова, пустые разговоры! – слезы обиды выступили на глазах молодого. – Наши несчастные отцы как поступали – увидят нищего, все

отдавали, что было, на всех перекрестках оставляли еду и питье для странников, для путешествующих... и вот результаты... Не отдавать, а истреблять их надо было, чтоб не распространяли слух о земле обетованной, не сглазили ее... Мы жалеем даже тех, которые перепахали наши дворы, греются у наших кровных очагов. А они?!

– Успокойся, – сказал седой, сделав паузу. – Одной ненавистью ничего не решишь... Ты же сам не сможешь убивать безоружных людей, я тебя знаю; не то что убивать – увидишь слезу в глазах ребенка – и обо всем забудешь...

– Это всепрощение окончательно погубило нас! Мы всех жалеем, а они шагают по нашим костям... – включился в разговор Гуатас. – Но, конечно, надо поступать обдуманно. Есть какая-то черная, дьявольская сила, которая выбила людей со своих мест, восстановила друг против друга. Вы разве не помните, как нас предавали самым черным предательством многие наши князья, дворяне! А те, соседние князья, от которых зависят понаехавшие сюда переселенцы? Они, верно, думают, что решают будущее своих народов, захватив земли изгнанников. Но они просчитаются. Невозможно, захватив силой, чужую родину сделать своей. Сколько ни обживай ее – дух того народа, которым пропитана эта земля, могилы ста поколений предков – не дадут покоя чужаку. И он не сможет жить нормальной жизнью, в вечной тревоге будет ожидать, когда же ему придется убираться восвояси...

– Это ты хочешь себя утешить, – возразил нетерпеливо молодой. – Завтра же они скажут, что вечно жили здесь, что они появились раньше даже, чем сама эта земля!

– Главное сейчас – любыми путями удержать, сохранить тех, которые каким-то образом уцелели от изгнания... Не дать врагам до конца торжествовать.

– Именно! – подхватил седой... – Важнее этого сейчас для всех нас ничего нет.

– Землю, родину нашу жалко, в ней же наши души! Если опустеет, потеряет нас, останется навек с мертвой душой внутри, как женщина, которая носит в утробе мертвого младенца...

– Так не лучше ли, чтоб еще здесь, в утробе матери стали мертвыми дети, которыми кормили рыбу несколько лет подряд... Их игрушками играют ребятишки, отцы которых не дают нам теперь даже одним глазом взглянуть на свои очаги. Назовите мне какого-нибудь зверя хуже человека! Волки и те знают свое место, свои владения, другой волк не переступит их границы. Кто-нибудь из вас слышал, чтобы один медведь пришел и выгнал из берлоги другого медведя! А человек на все, на любую пакость способен! – молодой, видно было, искренне возмущался, говорил выстраданное.

– Все равно, мы не можем отказаться от человечности, мы так воспитаны... – Седой держался внешне спокойно. – На том стоим... Но я был поражен, когда услышал, что вернувшихся из Турции, сделавших возможным почти невозможное, – за спиной обзывают «махаджирами», бродягами, смотрят косо – и это свои же...

– Это все я и по себе знаю... – подтвердил Гуатас. – Люди не могут отделить само понятие махаджирства от человека. Махаджирство зло, значит, и носитель – тоже... А может, мы и вправду достойны такого отношения... Почему мы не умерли здесь, на родном берегу, почему не стали биться головой, подчинились изгонявшим нас, уговаривавшим, предавшим... наконец, почему мы влезли в эти посудины, в эти гробы, – а не вошли сразу все вместе в море и не утопились?!

– Видишь, вы, жившие далеко от моря, не все знаете. Нас, прибрежных, изгоняли прикладами, не давали опомниться. У вас больше оставалось шансов спастись, уйти, спрятаться в предгорьях, в лесах. Но как только кто-нибудь из близких ваших попадал в отъезжающие, вы целыми родами следовали за ними... Что родственники в такое время, что?! – никак не мог успокоиться молодой, кипел.

– Да не в этом дело, – почти перебил седой. – Что толку твердить одно и тоже, взвешивать, кто больше пострадал, кто меньше. Главное сейчас – всем повторять и себе дать наказ: и жизнь и смерть только здесь, на своей земле, на своей Родине! Другой надежды, других путей нет! Все остальные губительны для нас!

Товарищ его не стал больше возражать.

– Почему столько горя, бедствий выпало на нашу долю... – сокрушенно добавил седой. – Что мы такого сделали, за какой такой грех должны расплачиваться?! В конце-то концов – чего мы так вцепились в эту жизнь... обязательно что ли во что бы то ни стало надо оставаться живым?..

Они распрощались уже затемно. Беглецы направлялись в горные селения, где-нибудь спрятаться, переждать самые трудные месяцы. Договорились встретиться с Гуатасом и условились – где.

Только когда они ушли, он вспомнил о барышне. Она сидела прижавшись к мшистому стволу полувысохшего дуба – и словно ее и не было.

– Извини меня, извини, – заспешил он. – Мы в таком состоянии, что иногда совсем теряем головы...

– Как тяжело вам, нашим мужчинам, и как тяжело нам, вашим девушкам! – она смотрела на него, и ему показалось, будто она вдруг стала намного взрослее. На глазах ее блестели слезы. Его сердце смягчилось – убедился, что она тоже не отделена от страданий всех какой-нибудь защитной стеной.

Уже наступила ночь, когда они осмелились спуститься к побережью и тихо поехали через молчащее село. Наконец она остановила коня. Показала рукоятью плети-камчи направление – там их дом. И он сразу вспомнил это место. Берег тонул в темноте, в неприятной тревожной тишине – словно все тут вымерло. Даже не слышно было морской волны. Нигде ни огонька, хотя бы с ноготок. Он не видел в темноте ее лица, но различил: сохранявшая все время прекрасную осанку, она вдруг как-то осела, сгорбилась.

– Что же делать, война, свет нельзя зажигать, свет – словно мишень... – он хотел утешить ее.

– Дело даже не в темноте, – ответила она, и он не узнал ее голоса. – Нигде никого нет. Разве не слышишь тишину – такой тишины не бывает там, где люди.

...Забор был повален, сокрушен, двери сорваны, одна сохранившаяся, болтаясь на петле под ветерком, тихо, но пронзительно поскрипывала. Гуатас помнил, что у них в предгорье людей угоняли, но оставались хоть собаки, кошки, да и какая-нибудь скотина, которую не успели угнать солдаты (скот тоже забирали в плен). А здесь вообще ничего живого не осталось, даже никакая ночная птаха не пищала. Отсюда уже было слышно море: шум глухой, угрюмый, словно простуженный. Она вошла в одну из пустых глазниц дома. Через некоторое время появилась оттуда как тень – шаталась, ноги плохо держали.

– Вот, Гуатас... – первый раз он услышал от нее свое имя. – Осталась я в этом мире совершенно одна... До сих пор меня на всех не хватало, меня все хотели видеть – и няньки, и братья, и мать, и отец. А теперь?! Как же, как же с вами так случилось, что оставили вашу единственную дочь, единственную дочь!.. Почему же вы меня зарезали тупым ножом?!.. – разрыдалась она, задыхаясь, захлебываясь.

Не зная что делать, он бережно взял ее за плечи, чтобы не упала. Как птенец, выпавший из гнезда, – она вся дрожала.

– Во время войны всякое бывает, поверь моему опыту... – он очень хотел утешить ее, да плохо умел утешать. – Сначала все перемешано, но приходит конец войне – потерявшиеся находят друг друга...

– Никогда... – выговаривала она сквозь рыдания, – никогда, никогда я больше их не увижу... Разве мои братья так просто ушли, нет, они могли только головы сложить, так просто никому бы не сдались...

По тому, какой здесь остался разгром, понятно было – схватка произошла действительно смертельная... Их, видно, хотели насильно выслать, на этот раз турки... снова давшие себя жестоко обмануть махаджирские ополченцы.

Вдруг до его слуха дошел знакомый шум – где-то недалеко маршем проходила воинская часть. Трудно было определить, кто сейчас здесь – турки или русские. Опасность была велика – приходилось немедленно покинуть побережье.

Неожиданно для себя он понял, что очень беспокоится за барышню, всякие неприятные мысли лезли в голову.

Он сказал ей, что нужно немедленно уходить.

– Мне все равно уже, куда идти, я бездомная... – ответила она, тихо всхлипывая.

– Когда опасно, это для всех, особого выбора нет, – бросил он грубовато, по-солдатски. – Смерть и пуля не разбирают.

– Да... поступай как знаешь... – сказала она, перестав плакать. – Я в твоей власти...

Когда весь народ в опасности – духовная его сила мобилизуется таким образом, что пронизывает весь его организм, всюду дает сигнал тревоги... за

двое-трое суток людей меняет неузнаваемо, само время словно успевает вложить человеку новое сердце, дать ему новые глаза, новую душу.

Нечто подобное, ему казалось, происходило и с барышней. В другое время она могла вообще не оправиться от такого удара, такого горя.

Они уже поднимались по склону, значительно удалившись от берега, и находились в каком-то перелеске, когда попали вдруг под вспыхнувшую сильную перестрелку. Кони испуганно заржали и рванулись, но он успел схватить ее лошадь за узду, пока не понесла... Пули просвистели мимо, разбивая листья, сбивая ветки. В этот самый миг ржание ее коня, рвавшего повод из его рук, внезапно заглохло – и вместо него лошадь издала почти человеческий стон. Он успел выпустить из рук поводья и подхватить барышню. Однако раненая лошадь, пока успел бросить поводья, резко потянула его – и ему вместе с барышней пришлось спрыгнуть с седла. Все равно – удержаться было невозможно, единственно, падая вместе с ней на землю, он успел подставить руку, чтоб барышне не было больно. Его конь умчался в темноту. Перестрелка еще некоторое время продолжалась, потом сделалась глуше, стала удаляться вниз, к побережью. Они лежали как упали, прижимаясь к земле.

(...Сейчас, в холодной постели, ему стало казаться, что у воздуха снежный привкус, чуть-чуть обжигает губы, кончик языка. «Когда должен произойти грех, все способствует ему... – слова, которые уже давно не могла воплотить в звуке его гортань, как сожженная пламенем мошкара, падали внутрь. – Когда какой-то великий грех задевает всех, одного он настигает так, а другого – по-своему...»)

В жизни, в ее ткани, случаются такие уплотнения, что будь ты трижды пулей – насквозь ее не пробьешь.

...Его вывел из оцепенения какой-то несвязный шепот, необычное дрожание голоса... Только тогда он понял, что она его как обняла за шею, так и обнимает... это она говорила быстро-быстро шепотом что-то невнятное, своим жарким дыханием обдавала его лицо. Вся дрожала – но не от холода или внезапного всплеска лихорадки... И он... («Прочь, прочь...»). Он уже тоже был в таком состоянии, что хорошо не разбирал, что происходит.

– Сперва мне показалось... – выговорила она наконец – дрожала сама, дрожал ее голос, – что ты ранен... О Боже, как я испугалась, Боже, Боже... Тогда бы и я встала, подставилась шальным пулям. Кто у меня еще есть кроме тебя! Кто у нас с тобой еще есть...

Что-то неодолимо тянуло ее к нему, а его – к ней. Если бы даже оба очень захотели, ничего не смогли бы с собой поделать. Может, это наконец дали о себе знать подлинные жизненные силы, силы бессмертия в них – назло времени, назло враждебному миру, пожелавшему как былинку смахнуть их с себя, обездолить, лишить всего, – назло, чтобы вырвать хоть мгновенное счастье, отомстить ему, беспощадному, хоть одним дыханием счастья... (А вдруг... а вдруг, а вдруг...)

Это не было обычным счастьем – скорее, оно исходило от тех особых сил, которые жизнь применяет в самых чрезвычайных обстоятельствах, борясь с забвением, бренностью... и спасения от этого счастья не было, и преодолеть его они тоже были не в силах, ибо оно само было победой...

...В глубоком забытьи лежали они на груди горящей своей земли, как шальными пулями сбитые веточки, а над ними бушевало ненастье бедствия и смерти. И оттого минуты счастья были особенно наполненными. Оно не было настоящей явью, их мимолетное счастье, подернутое туманом сказки и тревожного сна. Не давая вернуться в реальный мир, оно держало их так – сердце к сердцу...

(«Прочь, прочь!.. Это, верно, был сон, сон, – терзался он сейчас, – ничего подобного не могло быть... не могло... это дьявол, дьявол – перед ним всякий бессилен...»).

Но это был не дьявол, а сила, мощь самых высоких миров...

...Он ее почти все время нес на себе, предгорьями, стараясь не встретить ни единой живой души. Все же она еще держалась на ногах, когда пришли в свою деревню, к дому Алмы. Здесь их ожидала страшная весть: опять нахлынувшее махаджирство еще раз опустошило село. Отовсюду слышался вой собак, рев коров, волов, оставшихся без хозяев.

– Ты ничего не бойся и ничего не переживай! – Алма не мог скрыть свою радость, когда она вернулась. Даже не обратил внимания на то, что она стояла перед ним безучастная, словно окаменелая. – Будешь под присмотром – это главное. Твои не пропадут. Сама видишь – что теперь творится... Не такова гроза, каков гром, говорят. Все образуется. Так что ничего не переживай...

Он был в превосходном расположении духа и держался еще надменнее.

– А ты, – продолжал обращаясь к нему, – поторапливайся. Сегодня вечером кончается твой срок. Часть твоя стоит недалеко, рукой подать, в Куачара. Так что поспеши. С сегодняшнего дня я за тебя не отвечаю, и что бы ни случилось, уже меня не касается. Жена твоя, говорят, ушла со всеми... Гм, – ухмыльнулся, – даже скотина не пристает к чужому стаду, а они... Уже не успеешь, их давно уже здесь нет. Лучше не опаздывай на службу – мой совет...

Он как бешеный сорвался с места, несмотря на усталость, разбитость, которые особенно остро ощутил, увидев свое село опять в таком запустении. Его не могли удержать ни заставы, ни фронтовая полоса... превратился ли он по дороге в воду, огонь, в змею, лягушку – не помнит, но пробился к берегу моря, откуда их могли загнать на баржи. Но берег был пуст... и мать, и тот, кого она носила под сердцем, навсегда покинули его.

Потерявший родину еще в утробе матери...

Он лежал без движения в холодной своей постели, и трудно ему было шевельнуться, ибо и горе, и терзания, и боль обретают большую силу, когда человек распластан пред ними, сбитый ими с ног...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПЕСНЬ РАНЕНИЯ

...Но, вещая птица анапш, –
Может, там, в страшном далеке,
Видишь ты очи грядущего.

ОДИНОЧЕСТВО

Я все твои боли прогнал,
За семь морей выгнал,
В море сдул...
Заклинание от ожога

Уже в глубине леса Мсоусту показалось, что потеплело. Однако иней на палой, здесь уже полусгнившей листве держался белый и густой. Он чувствовал, как лес затягивает его, но не сопротивлялся – шел, куда глаза глядят. Мелькало – надо бы приостановиться, обдумать, решить, как поступать дальше, но мешал не находивший выхода гнев, который так или иначе не мог выплеснуть на Манчу.

Еще давно, когда у него и в мыслях не было, что станет когда-нибудь искать, он слышал о том, будто обитает Дадын не так далеко, опытный ходок может, выйдя поутру, к полудню добраться туда от самого подножья. Это, примерно, были как раз те места, где он сейчас блуждал.

Удивительной и не совсем понятной была история этого Дадына. Собственно, никакой особой истории и не было. А так – смолоду уйдя в лес, Дадын там пробыл до седых волос. Мсоусту не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь очень уж рьяно искал абрека, или готовил травлю, поимку, или чтобы Дадын совершил особенное – ну хоть защитил кого-нибудь. И тем не менее одно лишь его имя наводило страх, его упоминали шепотом, как нечто запретное. Он как матерый волк, – произносили опасливо: – и голова варит и физически силен неимоверно. Однако всего удивительнее было то, что представители власти упоминали имя Дадына не чаще, чем имя кого-нибудь давно усопшего. И если кто-нибудь, заметив это удивительное, имел неосторожность где-нибудь сболтнуть, позволить себе вольность в разговоре,

сразу его посещала беда: чаще – угоняли скот, лошадь и еще что-нибудь. Поэтому в округе давно перестали говорить о нем, произносить его имя. Дадын был единственный сын своих родителей. Мать и отец от какой-то болезни умерли друг за другом в один год, и кроме не очень близких однофамильцев никого не осталось у него. Можно сказать, что его в этой жизни ничто не удерживало.

Казалось, он отделился от сообщества людей и создал свое особое королевство. Все же было тут что-то сомнительное, и Мсоуст не очень верил тому, что передавали о Дадыне, потому что знал: люди так просто ничего не прощают, и тем более не прощают власти.

Мсоуст не полез прямо наверх, а шел поперек склона. В лесу стояла такая тишина, что шорох его шагов разносило окрест. О местах, где обитал Дадын, он краем уха кое-что слышал; всегда жалел, что плохо знает горы, эти вот места, и сейчас пожалел еще больше. Однако же у него была одна догадка. Как-то в юности, когда поднимался с пастухами на альпийские луга, один охотник показал ему на далеко громоздящиеся скалы, где начинались хвойные леса, и заметил, что там так много сухих, даже теплых пещер, что когда в суровую зиму обитатели гор спускаются ниже, пещеры всех их могут вместить. Никто эти места не связывал с именем Дадына, но Мсоуст внезапно догадался... Внизу он верил своему чутью и предположениям, но здесь они не имели такой силы – из-за плохого знания местности, да и нравов гор.

Когда он думал о Дадыне, еще одно приводило его в недоумение: каким образом тот мог столько времени оставаться один-одинешенек. Мсоуст и сам мечтал испытать себя, свою волю: высвободившись от жизни среди людей, побыть одному – без того, чтобы кто-нибудь стоял над душой... подумать, насколько он сам может, о своей и о чужой жизни, над тем, почему ему все удается так трудно, спотыкается на каждом шагу... не доверяют, ничего ему не прощают, когда в общем-то он хочет помочь, принести пользу...

Но при всем при этом он знал, что так уж долго не сможет оставаться один.

...Он даже еще не обдумал, о чем будет говорить с Дадыном, если вдруг встретятся. Время занимали то сомнения, то надежда – что все же найдет общий язык с человеком, который столько лет как ушел из общества, протестуя... что с его помощью он сумеет наметить и свой жизненный путь.

Несмотря на то, что частенько терзался неверием, сомнениями по поводу Дадына, само существование и влияние абрека, который, безусловно, обладал незаурядными качествами, одно имя которого нагоняло страх, – конечно, действовало на его воображение.

Чем дальше, тем круче становился склон. Среди огромных стройных буков – гигантскими свечами тянулись ввысь – уже кое-где проглядывали и хвойные. Это значило, что он забрался довольно высоко. Остановился, осмотрелся. Кое-где в лесной полутьме холодно мерцали красные кисти рябины.

Если заблужусь, подумал он, значит, так мне и надо: обязан знать здесь каждое дерево.

Лес уже шумел многоголосо. Ветер сначала трепал верхушки гигантских буков, пытался раскачать стволы, потом опускался вниз, волнуя, вороша там и сям заросли рябины. Так или иначе, когда начнет вечереть, он должен будет вернуться в тот сруб. Он уверен, что сам Манча сразу же двинулся обратно, уже, может быть, сидит с той вдовой. Но пока Мсоуст не терял надежды: впереди уже становилось больше хвойного леса, и кое-где видны сделались небольшие голые скалы. Правда, не близко. Инстинктом он знал, что ему нужно сегодня возвращаться к тому срубу (его тоже уже надо искать), а завтра с утра начинать поиски заново, но лес действительно затягивал, и у него не было желания противиться...

Опять он попал в какую-то лощину, в заросли лавровишни. На ветвях еще кое-где оставались увядшие гроздья. В кустах зашуршало: кто-то, похоже, прервал свою трапезу, встревоженный его шагами.

Только сейчас он вспомнил, что с раннего утра ни кусочка не держал во рту, но мучила почему-то именно жажда. Можно было бы сорвать несколько ягод лавровишни – но вдруг понял, что о еде вообще не хочет думать. А вот пить хотелось очень. Это ему не понравилось: отчего бы такая жажда, как бы не захворать вдобавок ко всему. И жажда была какая-то ненормальная. Но все же он настроен был отнести все за счет невезения...

Задержал шаг, прислушался: где-то недалеко журчала вода. Ему показалось, что сразу за зарослями. Пошел напрямую, разрывая сплетение ветвей дикой лавровишни, и не успел выйти на свободу – внезапно сделалось непривычно светло. Остановился как вкопанный. Под коленями больно свело: он стоял на краю по-настоящему бездонной пропасти.

Оттуда, с темного дна, из провала, до него достигал дух пропасти, пронзая все тело, заставляя замереть в страхе. Выше обрыва из-за грязных остатков ледника вытекал поток, шумя, перепрыгивал изрытые временем скалы и пропадал во тьме провала. За потоком виднелись следы гигантского оползня, образовавшийся сброс весь был утыкан стволами деревьев, как булавками. Он вспомнил о том, как несколько лет назад весной страшно разлились речушки, реки внизу... Тогда как раз говорили об этом оползне, загородившем путь здешним потокам, запрудившем их до поры до времени. Но, прорвав в конце концов преграду, воды хлынули вниз... хорошо, что ущелье продолжается и в деревне. Все же ни одной мельницы нигде не осталось – все унесло.

Глядя на эту пропасть, на след гигантского оползня, он особенно остро почувствовал, насколько же незащищены дворы и домишки, которые он оставил внизу; даже дом Анчаа, заметный посередине села со своими трубами от нескольких каминов, кажется таким игрушечным, жалким.

Он вернулся через заросли дикой лавровишни. Пройдя еще немного, понял, что нет смысла бесцельно блуждать по лесу и что навряд ли он уже найдет сруб, если даже до темноты успеет обратно. Покружился, покружился, но не знал даже, в какую сторону идти, где он, этот сруб. В лесу

уже давно стоял полумрак. От того ли, что сделалось холоднее, или пот высыхал, его начало знобить. Далеко видно было, как на хвойные леса опустился густой серый туман. Он задрал голову: здесь пока туман доставал только верхушки деревьев.

Он пошел быстрее, потом даже побежал трусцой, но все кругом было похоже друг на друга, одинаковое. Буки великаны, на которые он все время глядел с восхищением, и ему казалось, что они тоже замечают его, вдруг сделались мрачными, невидящими, неслышащими. В их верхушках шумел ветер, который здесь, внизу, проносился пронизывающим сквозняком. Верхушки буков размешивали вязкий туман, гудели их голые, гладкие стволы, постанывали, будто прихватил ревматизм.

Сколько он мог бежать? Остановился. Карабин, дорожный бурдюк с едой и другими необходимыми предметами, патроны, пистолет, кинжал – все вдруг показалось особенно тяжелым, его больше и больше знобило, в горле пересохло, мучила жажда.

Что это я?! Как ребенок, которого первый раз уложили спать отдельно от матери, зло подумал Мсоуст, не заплакать ли! Не только он – даже Манча который год проводит в лесу. Абрек есть абрек, он должен ночевать там, где застала темнота, он должен быть готов ко всяким неожиданностям. Вот сейчас тоже лучше найти место, где можно переночевать, пока не стемнело. Собственно, куда ему спешить, времени у него достаточно.

Ему стало лучше, когда он понял: все беспокойство не оттого, что испугался, заблудившись, а от самолюбия: захотел – и не нашел кого искал.

Место для ночлега найти было нетрудно: здесь редко, но росли пихты, вокруг дров было предостаточно, правда, вот воды нигде не попадалось. А он-то думал, в предгорьях, как и в горах, везде есть вода, и отменная. Помнится, сколько встречалось родников по пути в горы, когда гнали летом стада на альпийские пастбища. Но эти пастушеские дороги – их не так просто выбирали, не там, где случайно споткнулись, они не раз проверены, и там есть все что необходимо. То, что народ выбирает, – место, дорога – все надолго и надежно.

Он спустился в небольшую лощину, где росло несколько пихт, а вокруг лежали огромные, в нескольких местах переломленные стволы бука, в самом разгаре гниения; кислый запах стоял кругом в лесу. Вокруг пихт – густые заросли дикой лавровишни. Пониже лощины, у сгрудившихся буков, ему показалось, поднимается дымка тумана. Он догадался – там есть вода. Выбросил одну ногу вперед – и заскользил вниз с внушительной скоростью. Возле буков успел выставить вперед правую ладонь и упереться в ствол. Под ним, занесенный листвой, тихо журчал родничок. Мсоуст даже крякнул, недовольство от сплошных неудач чуть-чуть смягчилось: это была пусть небольшая, но необходимая удача. Главное – и здесь не обманулся. Он снял с себя свернутую бурку, ахиатра – лохматый бурдюк из шкуры серны для провианта и необходимых предметов, карабин, отвязал ахмачир – самшитовую кружку – от пояса и спустился к воде. Деревянною кружкой повел по глади, раздвинул листву, белесые водяные волосинки – и зачерпнул.

Раз в воде волосинки-адзхуц, значит, довольно высоко он забрался. Это нынче нигде нет снега, а так здесь зимой без лыж нечего и делать.

Как ни мучила жажда, он не забывал, что с этой водой надо быть осторожным, – а то сведут горло судороги, может обернуться худым. Сделал два-три глотка: вода была теплее и мягче воздуха... Все же он осушил ахмачир не спеша. Глубоко вздохнул, перевел дух. Он еще и еще хотел пить, но воздержался. Чувствовал, что очень устал. А силы надо было беречь.

Привязал ахмачир к поясу и поднялся в лощинку: решил пройти к пихтам и приготовить там ночлег, запастись дровами, видимо, ночью будет настоящий мороз. Пробираясь по зарослям дикой лавровишни, он заметил не то чтобы тропу, но какую-то вроде притоптанную полосу. Раздвигая сплетенные ветви, вышел к двум рядом стоящим пихтам и остановился: меж ними был втиснут сруб, такой же, как сегодня осматривал с Манчей. Прислоненная к камням поленница. Дверь подперта колом. Со стороны заметить сруб не было никакой возможности. Либо надо было знать место – или уж наткнуться очень и очень случайно. Может так быть, что этот тоже принадлежал самому Дадыну, а может быть, охотникам на куниц. На куниц зимой ставят капканы ниже, там обширные рябиновые заросли. Но и сюда поднимаются, здесь тоже попадаются заросли рябины, ягодами которой лакомятся зверьки.

Так или иначе, он может устроить свой ночлег как нельзя лучше. Это еще одна удача, и побольше первой. Может быть, наконец началась полоса везения.

Он живо взялся за дело. Отставил в сторону тяжелый кол, видимо, из какого-то особо крепкого дерева. Дверь была низкая, он не мог пройти внутрь не пригнувшись. «Для карликов что ли строили», – сказал он вслух, желая услышать хоть свой собственный голос. Но пришлось разочароваться: здесь, в глубине леса, среди этих гигантских буков и пихт, под скалистыми вершинами, его голос показался ему голосом простуженной зверушки, вполне зависимой от этой суровой и надменной природы.

На очаге – недогоревшие поленья, досчатая лежанка у стены, два обрубка вместо скамеек... Да, дом был обставлен на славу. Долго пытался разглядеть в полутьме, посмотрел над лежанкой, но никакой посуды не нашел, ни железной, ни медной, ни глиняной. Это немного огорчило его. Как так, подумал он, кто бы здесь не жил, охотники ли, сам ли Дадын, неужели – если не готовить, то не было нужды хотя бы зачерпнуть воды? Насколько он знал, охотники никогда ничего из своих стоянок не забирают, из однажды принесенного туда. А что касается Дадына, тот вообще должен все иметь... Так или иначе – посуды никакой не было.

Он опять спустился к роднику и на этот раз без передышки выдул полный ахмачир. Еще раз зачерпнул – и понес с собой. Непонятно было, отчего такая жажда, – он еще в рот не брал ни медовый чурек, ни аджику, припасенные в дорожном бурдюке.

Первым долгом развел огонь. Огниво, кремень, на нем – трут... Выбил искру и к тлеющему труту поднес лоскуток ткани, смоченный в серном

растворе и высушенный, – и вот уже язычок синего пламени вспыхнул в полутьме.

Сухие поленья занялись весело, с гулом, потрескивая, – на душе стало уютнее. Он развесил по стенам свое снаряжение – патронташ, пистолет, пояс с кинжалом, бурку положил на лежанку; развязал бурдюк с провиантом, вынул медовый чурек, отломил немного, отрезал кусочек козьего сыра. Наколол сыр на острие кинжала и протянул к огню; вертел около жарких, еще пылающих угольков, пока поверхность не порозовела и не стали пузыриться капельки жира. Подул на сыр несколько раз и, не снимая с кинжала, откусил. Поджаренный сыр пахнет замечательно – и вкус хорош. Так, откусывая сыр, а потом чурек, он проглотил несколько кусочков, запил водой – и больше ему не хотелось есть.

Он еще подложил дров, огонь разгорелся жарче. Развернул бурку, накинул на себя и, взяв под голову ахиатра, прилег. Было тепло и уютно, огонь плясал на очаге, он согрелся – и опять немного полегчало на душе.

Может быть, не так уж и плохо быть одному, подумал он, не очень веря себе... но по крайней мере лучше, чем с таким как Манча. Он пока не верил по-настоящему – ни прожитому им, ни тому, чем он живет сейчас, ни – самое обидное – тому, что ждет его завтра. С тех пор, как помнит себя, хотел делать только хорошее, но все оборачивалось против него, и кроме вреда – никому ничего не принесло, никакой пользы. И сейчас вот – носит его по этим лесам, по предгорьям какая-то сила, вроде как наитие, но вовсе он не уверен, что делает именно то, что нужно... Если бы он точно знал, что необходимо делать, как поступать – не так уж важно было бы, выиграет он или проиграет, одержит победу или потерпит поражение: он был бы счастлив всецело отдаться борьбе, какие бы трудности ни стояли перед ним. Его терзало не то, что пришлось уйти в абреки; Анчаа он и сейчас не боялся, так же как и тогда, в тот день, на церковной поляне; и не то мучило, что отец, мать, сестра, брат – все родственники страшно переживали; нет – его больше всего беспокоило иное: уйдя в лес, он сделал решительный шаг, но остановиться на этом, просто прятаться в лесу – означало быть на положении Манчи. Теперь особенно важно было – что предпринять, как предпринять и, конечно, как к этому отнесутся люди, народ: будет ли для них все равно – есть он или его нет, или пожелают сами (а то и заставят их пожелать) изгнать его из своей среды, на что не раз намекал старый негодяй Алма; или же, наконец, поймут его и скажут, что каким бы он ни был – он сын наш, он нам добра хочет, если даже не умеет выразить...

Но одно он знал твердо: для него лучше, чтоб изгнали, прокляли, повернулись к нему спиной, чем, если б им сделалось все равно – есть он на свете или нет его...

Огонь разгорелся, уже уголья пышут жаром, и его, согретого, уставшего, стало клонить ко сну.

– То, что мне приснится сегодня ночью, – сбудется, – сказал он вслух, желая опять услышать свой собственный голос. – Ведь сны, приснившиеся на новом месте, – обязательно сбываются...

Голос был хриплый, простуженный, но более спокойный.

АЛМА И ХАУЙДА

Ты укусил – и раздуло,
Я подул – и опухоль спала...
Заклинание от змеиного укуса

Самому Алме и госпоже в эти морозные ночи ни разу не было холодно. Самые лучшие одеяла в доме находились в комнате госпожи, вот она и выбрала сейчас наиболее теплые. И камин у них горел всю ночь. Алма сам поднимался несколько раз до рассвета и поддерживал огонь. Он все равно уже который год вставал раза три за ночь и совершал поход до медного таза, стоявшего в кладовке, за вешалками для седел...

Этой ночью он проснулся, как с ним водилось уже давно, далеко за полночь, когда обычно люди спят самым глубоким сном. Было тепло, хоть снимай с себя одно из одеял. В такое время он привык вставать первый раз по нужде, но сейчас пока было терпимо. В камине еще тлели, дыша жаром, два больших сухих полена. Было бы неплохо опять заснуть, но засыпал он с трудом. Хотелось громко зевнуть, застонать, но нельзя – разбудил бы госпожу. Он знал, что она часто тоже не спит, лежит, притаившись, но позвать ее не решался, словно застал ее за каким-то неприличным делом.

Конечно, ему очень хотелось поговорить. Всякие неприятные мысли, непрошеные воспоминания лезли в голову. Этого можно было избежать, – была б возможность объясниться с ней; более того, сам ее голос действовал на него успокаивающе. Но, особенно с тех пор, как возвратился их блудный сын, ему кажется, что она даже днем избегает начать с ним разговор.

Сколько так можно...

Раньше у них была постоянная тема для общения – отсутствующий сын. И в любое время дня и ночи можно было обратиться к ней. Он начинал утешать ее: в наше время туда уже ездят многие, он всем будет поручать, чтобы почаще приносили вести о сыне, а если удастся – убедили бы его приехать, если не насовсем, то хотя бы временно. И она опять вспоминала, как сын уезжал, что он написал ей в последнем письме, и о том, как она в ответ просила его еще немного потерпеть, пока здесь не образуется более или менее... Потом они соглашались, чтобы, как только он приедет, постараться определить его на службу в Акуа-Сухуме.

Как-то однажды, он сам еще был крепок, а Мзалей только учился в России, – однажды она страшно затосковала. Алма тогда поехал в Акуа-Сухум и поручил человеку, собиравшемуся на север, непременно навестить Мзалея. Через месяц явился к госпоже с письмом и хорошими вестями от

сына – она какое-то время ходила счастливой и делилась с ним этим счастьем. Он помнит такие мгновенья – как она искренне, как никто другой в его жизни, говорила с ним, когда набрасывался на нее, озабоченный ее постоянно подавленным состоянием:

– Что ты гробишь себя в такие молодые годы, что ты терзаешься, изводишь себя?! – повторял он, сам терзаемый подозрениями.

– Какой я еще могу быть, мой господин, – отвечала она кротко. – Каким может быть человек, потерявший всех... Разве не удивительно, что я еще жива...

Он сейчас ясно видел, что Мзалею лучше было не приезжать. И для него, и для них... Уже за долгие годы все сделалось привычкой, даже тоска по сыну, редкие письма от него, после которых она всплакнет, а он утешит ее.

Он понял, что именно приезд Мзалея – причина столь резкой перемены в поведении госпожи. Больше всего беспокоило, что она явно избегала Алму, – конечно, боясь разговора о вернувшемся сыне. Он согласен был не затевать никаких разговоров – лишь бы вернуть, опять сделать нормальными их отношения. Однако чувствовал еще и другое: их обоюдное молчание еще больше осложняло существование и его, и ее...

Видимо, в жизни каждого наступает момент, когда надо ответить за все. И, по-видимому, все они стояли перед порогом, за которым придется держать ответ – не только ему, всем без исключения, в том числе и госпоже, ей, может быть, даже в первую очередь. Или, пока так мирно поскрипывает ночами этот господский дом, постепенно каждый дойдет до намеченного судьбой срока? Иначе – должен будет ответить и никчемный его старший сын Уатар, болтун, бездельник и пьяница, и с ним его дражайшая супруга, бесплодная как дуплистое дерево, которая хочет все скрасить... и Умар, тиранящий всех и вся каждый день, каждый час... и несчастный Хирипс, и его жена, которая прикрывается своей застарелой застенчивостью, и Эсма, что еще прячет свою якобы роковую веревку... Даже этот маленький негодяй Астамыр, по которому уже видно, какой будет конец этому роду... Лишь один был среди них – никому ничем не обязан, не должен отвечать ни на что... Бата. Но за него придется кое-кому держать ответ. Если придется... если только придется...

А Мзалей? В чем его ответственность, за что ему держать ответ, перед кем? Но на это, как ни странно, должен ответить не он, – Алма Анчаа...

Эта мысль испугала его, и он заставил себя переключиться на иное – на собственную судьбу. А вот ему-то мало и осталось. Конечно, человек в любом возрасте на что-то надеется. Пока он еще держится, держится на могучем здоровье, которое было у него, – но уже все на пределе, все трещит по швам, холодеет кровь, кости тают в теле, с каждым днем становятся все тоньше и тоньше, каждый день, каждый день что-то лопается, что-то умирает в нем, – постепенно умирает, разваливается тело.

«Что же в конце-концов я сделал такого, чего не делал никто другой... – он поерзал в своей постели. – А кто же так и проходит, не запачкавшись? Никто! Так почему же все у меня так складывается... Все, за что я ни брался,

все, чем думал устроить свою судьбу, счастье, наконец, – все теперь тянет меня ко дну, как камень на шее утопленника...»

Сейчас, лежа в постели, он пытался хоть самому себе доказать свою сравнительную невиновность, – но тот, который из зеркала смотрит на него, еще был жив – там, внутри... Никто не рождается подлым, это только потом набивают его всякими пакостями... Иногда он, содрогаясь от омерзения, думал, – а вдруг, как бывает в этих безделушках для бедняков – в сказках, вдруг когда-то изо рта умершей жены (да посыплют их род конопляным семенем!), из плоти которой вышел такой как Умар, – изо рта умершей жены выползла змея, жившая внутри, – да и влезла в него. И всегда, если голова забивалась таким кошмаром, он слышал не то свой стон, не то приглушенный, но злорадствующий смех... Даже в этих безделушках-сказках находится спаситель, который отрубает ей голову топором, змее, когда выползает изо рта спящего, чтобы ужалить самого близкого человека, например, молодую жену. Для того чтобы оказался такой спаситель, нужно, чтоб ты перед этим кому-то сделал очень большое добро. Добро можно сделать даже мертвому. Например, кто-то умер и лежит где-то на улице. Там его никто не знает, никого у него нет. Мусорщик хватает его за ноги и тащит, чтобы сбросить труп куда-нибудь в пропасть. А ты отбираешь у него умершего, даже за это платишь, и хоронишь по-человечески...

Неужели он не сделал за свою жизнь настолько добра, чтобы равносильно было, как если бы похоронил кого-то по-человечески? Он мысленно начинал подбирать, искать, – но со всех сторон наперерез шли, как к окруженным абрекам, злые воспоминания и оставляли вопрос без ответа.

А вот змея, которая вошла в него, долго не давала о себе знать, затаилась, но сейчас, на старости лет, все смотрит на него из зеркала, пронзая его же взглядом. Это треклятое зеркало тоже уже старое, мутное, но тусклый и жуткий огонь змеиного глаза прожигает эту мутность.

Чьи взгляды смотрят на него в ночи, чей же это душераздирающий голос, крик, от которого не может не вздрогнуть человечье сердце – у кого оно имеется? Не тех ли, что он, выполняя задание сверху, обманным путем согнал на морской берег? Но чей же именно... он это делал не раз, их было много. Может, та соседка, что в этом столпотворении потеряла своего мальчика. Сквозь штыки она пробилась к нему: «Я потеряла ребенка, моего Маджгу, помоги мне, благодетель мой!» Солдаты опять загнали ее в толпу. «Отыщи его, он где-то здесь, благодетельный мой господин, и пусть будет до скончания века слугой твоим, лишь бы он был жив, лишь бы жив...» Даже когда уже не могла кричать так, чтобы голос ее донесся до него, сквозь все это столпотворение, как меткая пуля, нашел его ее взгляд. И сколько таких голосов, таких взглядов...

Эта женщина наверняка не пережила исход, но остался ее взгляд, настигает – и нет от него спасения. Не только сейчас – но уже и тогда, когда он еще был крепок, прожигал жизнь... в те минуты, когда собирался наконец отдохнуть от затяжных оргий.

Эта женщина запомнилась особо, – видно, оттого, что он по сути мог бы уже и не обманывать их, отпустить домой, когда дошли до берега, ибо приказ великого князя Михаила Николаевича от 1867 года уже не имел силы. Поручение было исполнено с превышением: все, кто занимал прибрежные лучшие земли, более развитая часть, ядро народа, – была изгнана, и отпала необходимость дальнейшего насильственного исхода. Но за старание все же пока еще платили – деньгами, чинами, землей.

...Потом, когда уже большинство изгнанников перешли в баржи, он увидел-таки этого мальчика – окончательно потерявшего голос, задыхающегося от плача, Маджгу этого. К тому времени наверняка уже отплыла баржа, куда поместили несчастную мать. «Почему не подошел к нему... почему хоть не послал кого-нибудь... Он всегда был среди ребятишек, которых собирал для игры этот негодник Умар. Почти каждый день тебя видел. Но ты не пошевелил даже пальцем. Ты привык только губить, а спасти или помочь – не умел!» «Я сам ничего не решал, решал тогда мой отец. Что скрывать, отец не прочь был перестараться. Это была возможность показать себя, свою преданность царским властям, такая возможность потом еще навряд ли представилась бы ему, силы у него были на исходе. Он считал, что если останется побольше пустых земель, можно будет выгодно подобрать по своему усмотрению работников... Слово отца для меня было законом. Мы были так воспитаны, не в пример нынешним, которые вообще ничего не соблюдают, забыли обычаи отцов...» «О каких еще обычаях ты говоришь! Обычаи не вы создавали, а народ, вы же их никогда не соблюдали. Ради выгоды прикрывались ими и обманывали народ, морочили ему голову. Все же подумай хорошенько, есть ли у тебя чем искупить вину – или нет...»

В такие минуты змея, притаившаяся внутри, пересиливала его, начинала управлять им, заставляла открываться.

...Искупить... разве он один такой... Правда, отец его тоже наконец спохватился, пришел в ужас, когда волнами последовали друг за другом лавины изгнанников. До сих пор помнит, как вцепился отец в его плечи еще сильными пальцами: «Разве не видишь, всех охватило, всех угоняют, как потом нам одним жить! Надо остановить! Что ты здесь торчишь как истукан! Знаешь, что мы натворили?! Хуже, чем Бабыш, согнавший всех своих людей, связавший и продавший! Когда это произошло – но помнят, будто вчера случилось. О нас же и помнить будет некому...» Старый хрыч... это он заговорил, когда уже все было кончено, ничего нельзя было исправить. («А ты не помнишь, – тебя это вовсе не испугало, слова отца ничуть не подействовали на тебя, ты тогда был уверен, что старик лицемерит (на то, конечно, были основания). Тебя вполне устраивали опустевшие земли. Важно было заполучить их побольше. Родичи твоей жены, как бы ты их ни проклинал, ожидаючи сидели, готовы были все переехать к тебе. Тогда ты был у них в особом почете, носили на руках, подсказывали, вдохновляли...»)

«Чтобы посыпали весь их род конопляным семенем! Это они совсем меня с толку сбили, с ума свели. В чреве их дочери, их сестры – моей жены, пряталась змея, и не выполни я то, что они требовали, ночью выползла бы из

нее и укусила меня...» («Тогда ты не так пел: говорил, что старый хрыч выжил из ума и все их усилия хочет пустить насмарку!»)

«А кто меня женил на этой, со змеей внутри (чтоб их род!..), кто, если не этот старый хрыч, отец мой?! Он уверял, что этих-то никто никогда не изгонит, никакое махаджирство их не затронет, этих мырзаканууа... они, говорил, имеют сколько хочешь работников: если дешево купить их и дать им в аренду опустевшие, отошедшие к нам земли, – ты будешь выше всех аамста в округе...» («Все равно, ты же не задумывался никогда всерьез над своей жизнью, над своими поступками, никогда не замечал ближнего, не ведал о его существовании. Все ты видел глазами надменности, бессердечности, заносчивости и головотяпства...»)

«Был сыном своего отца, своего отца... – Он, кряхтя, долго поворачивался на другой бок, выбирал удобную позу. – Однажды отец позвал к себе меня и брата и сказал: “У нас, у аамста, особенно у больших, и у князей, – кровь очень смешанная... И мы давно разных кровей с тем народом, с которым живем, – он одной национальности, а мы – другой. Потому нам важно сохранить власть, силу, землю, а кому работать на нас – всегда найдется... Например, чем плохо отдавать землю в аренду, – говорил он, – пока арендатор тебя устраивает – хорошо, не будет устраивать, – в тот же день укажи ему на дорогу, по которой он пришел к тебе...”

Тогда чего же от меня хотят?..»

С тех пор, как вернулся Мзалей, у Хауйды сон пропал. Если с трудом засыпала к утру – и то видела кошмары. Она старательно обходила, отдаляла разговор с Алмой о сыне, – чтобы ему угодить, снова сделала так, что они спали вдвоем в своей старой спальне. Она уже давно не ночевала там, оставляя Алму одного. Конечно, в своей комнате ей было спокойнее, чувствовала себя свободней и отдыхала лучше. Бывало, что проснется со страхом среди ночи, увидев страшный сон, но зажжет свечу, помолится Богоматери – и успокоится. Теперь же она, просыпаясь, лежит молча, чутко следит, прислушивается к Алме. Всегда знает, когда он не спит: то и дело судорожно вздыхает, будто не хватает воздуха. Она сильно уставала от того, что так таилась, притворялась мирно спящей, – и даже на раздумья сил не оставалось. Правда, с другой стороны, – это и выручало.

Когда человек что-то ждет впереди, надеется, – все тянет его туда, и не остается времени и желания вспоминать прошлое. Но когда впереди ничего, пустота, прошлое начинает одолевать воспоминаниями, входит в сны, сегодняшний день делает словно бы несегодняшним. А положение госпожи было еще труднее: она боялась и прошлого, и того, что ее ожидает, вчера и завтра стиснули ее меж собой.

Этой ночью она заснула не поздно, но сразу нахлынули кошмары. Виделось ей не бывшее с нею в жизни, а где-то слышанное. И именно то, что, услышав, сразу же тогда и позабыла. Вот она оказалась в каком-то тесном, темном, страшном переулке. Нигде ни души... пройдя до конца, она, прижимаясь к углу, осторожно выглядывает и видит: из домишек на курьих

ножках, да и похожих на курятники, выступает множество лиц, прямо из самой стены. Смотрят все не на ее лицо, а на ноги, ожидают, когда оторвет подошву от земли. Она ступает, ноги не слушаются, подкашиваются, свинцовые. Вдруг начинают прилипать к утоптанной земле. Оторвет одну, другая приклеится. Потом обе пристали намертво. Как воткнутый в пол кинжал – стоит она, шатается. Головы, из маленьких оконец, а то и прямо из самой стены высунувшиеся, – разом щелкнули зубами, и она не поняла – это они так смеялись или же грозили ей. Как будто тысяча матерых волков лязгнули зубами – разнеслось по переулку, и сразу все головы исчезли. И потом еще долго она стояла покачиваясь, как одинокое деревце на вершине холма под ветром. Вдруг головы снова заполнили переулок. Спереди, сзади – отовсюду шли к ней, медленно, но неотвратимо. Она рвется, гнется в одну сторону, в другую, а ноги намертво прилипли к земле. Головы не спеша приближаются. А чего им торопиться, куда она денется. Она сознает, что все ее усилия напрасны... Посмотрела на них и опешила: это уже наступала свора страшных уродов, у одних головы огромные, а ноги короткие и тоненькие, у других наоборот – головы с грецкий орех, а ноги как толстые столбы, у третьих туловища отдельно, а рядом шагают ноги... У женщин – бедра неимоверных размеров, и все были беременны... За ними – огромное количество детей, орут, кричат, им вторят те, что еще не вышли из чрева матерей.

«Сколько же их вместе с детьми, – подумала она обреченно, – и еще ведь народятся – в чреве уже подают голоса, какая земля их вместит...»

Единственное, что ее успокаивало, – все они были страшные уроды. Она подумала: что ей в конце концов терять, – и во всю глотку захохотала. Мигом все всполошились... ноги, отдельно шагавшие рядом с туловищами, поспешили с ними соединиться, да невпопад, туловища стукались, сшибались с маленькими, с грецкий орех, те трескались... уродливые младенцы стали попадаться под ноги и запищали... Она захохотала еще сильнее. И вдруг все исчезло – и домишки на курьих ножках, и те, что наступали на нее. А она в фате стоит в Тхубунском храме. Священник, – часто мигающие свинячьи глазки, нечесаная борода, – берет руками, – взбухли вены, как у доярки, – венчальную корону. Она чуть наклоняет голову, выпрямляется с короной. Поворачивается – рядом вместо ее господина стоит Он. С непокрытой головой, в поношенной шинели. Священник с другой короной потянулся к нему. Он резко перехватил дряблую кисть, священник обмяк и стал валиться...

Она вскрикнула и проснулась. Поднялась, села в своей постели.

– А-а-ах... – вздохнула она, досадуя, что выдала себя, – сны какие-то несуразные...

– Сон, увиденный в мороз, ничего не значит, – не переживай, – успокоил он как мог, довольный, что заговорили.

– Знаю, но испугалась... – она опять легла и прикрылась одеялом. – Казалось, чего бы уж мне пугаться, да вот...

– Полно, госпожа, не терзай себя из-за пустяков. Мне кажется, нам грех жаловаться. Когда ты начинаешь, так и мне становится не по себе.

– Нет, мой господин, я не терзаюсь – чтоб не иметь мне тревоги за тебя...

Ему понравилось, что она клянется его именем, но готовность повиноваться насторожила.

Сказать, что она презирает своего супруга, было бы не верно. Она сама считала, что относится к нему не так уж плохо. Счастья не получилось, а в отсутствие счастья был он один, выбора не было. Когда счастья нет, и безсчастье становится жизнью.

То, что тогда пришлось пережить сразу столько потрясений, заставило ее заново оценить многое в жизни. В ту роковую ночь, когда сквозь них двоих прошел ураган, который оба не в силах были усмирить, имей она и в десять раз большую силу, она осталась как обугленная. А когда вернулась сюда, в дом Анчаа, когда обдумала свое положение («страшное и безвыходное»), поняла, что не сможет выйти за принятые рамки поведения, презреть свое сословие, совершив что-нибудь из ряда вон выходящее, даже и пытаться не станет... То, что там случилось, по дороге сюда, – могло случиться, но повториться – нет. Да и ее тоже уже не было, той, с которой это случилось, она прежняя превратилась тогда же в дуновение ветерка – и не стало ее.

– Моя госпожа, у меня единственная просьба к тебе... – Алма торопился, не давая прерваться их разговору. – Будь со мной откровеннее, между нами уже не должно быть тайн. Мы должны быть едины, быть одного мнения, – только тогда наше слово будет что-то значить.

Она притаившись слушала его, но промолчала.

– ...Разве не видишь, кто нас окружает, – добавил он. – Своя кровь как будто, а вот...

– Как может быть, мой господин, – вмешалась она, боясь, как бы он что-нибудь не добавил еще. – Какая тайна может быть у меня... У меня нет от тебя тайн...

– Видишь ли, меня теперь иногда мучают поступки, которые совершил давно... – В полутьме он повернулся к ней лицом. – Если человек на себя надеется, он крепок и благополучен... Словом, не могу себе простить, как тогда с тобой поступил. Я скотски был пьян... – Он тяжело вздохнул. – Единственное, что хоть как-то смягчает мою вину, – ты была очень небезразлична для меня... Ты, думаю, знаешь, я никому никогда не давал управлять мною, но первый раз меня женили, а второй раз я женился сам по собственному желанию... Но тогда я ранил твое сердце – мне кажется, осадок от этого еще остается у тебя...

– О делах какой давности говорим, мой господин... – хотя это тяжело было вспоминать, но все же поворот в сторону от опасной темы ее устраивал. – Время все побеждает, это все ушло, и я забываю и ты забудь...

Давненько она с ним так открыто и, как ему казалось, искренне не говорила. Но это ему и нравилось, и в то же время прикасалось к одному страшному подозрению, которое притаилось в нем и жило, то возникая, то утихая. Ему сейчас надо было заставить себя заглушить подозрения, чтобы

то, как она говорила с ним, оставалась таким же искренним, как ему это показалось.

Да, с тех пор как она вернулась в дом Анчаа, понимая свое безвыходное положение, у нее было такое предчувствие, что Алма с его ухаживаниями, покровительственным поведением, постарается не выпустить ее из рук. И у нее не оставалось воли сопротивляться. Более того, она всецело была занята иным, новой тревогой. Случившееся с ней в ту страшную и прекрасную ночь, подаренный ей миг безмерного счастья – не прошел бесследно... убеждалась больше и больше... Жизнь будто зашла в тупик... Но она не предполагала, что Алма все это разрешит так вероломно – поступит с ней как с последней прислугой...

...В тот вечер в усадьбе Анчаа было много гостей. Она не могла спрятаться от бравых, самоуверенных возгласов Алмы во время застолья – везде настигали ее. Собственно говоря, она и не пряталась – оставалась в своей комнатушке. Не находила себе места, душа рвалась прочь, и в то же время она не могла никуда убежать, словно как в ее нынешнем кошмаре – ноги прилипли к земле... Она как никогда чувствовала – быть какой-то развязке, приближается. И сама удивлялась: отчего-то прислушивалась к возгласам Алмы, ее интересовало, насколько он пьян.

...Гости угомонились под утро. И она всю ночь не сомкнула глаз. Он пришел, когда проводили уезжающих и уложили оставшихся. Из окна уже лилась в комнату предрассветная прохлада. В воздухе чувствовался привкус осени, но пока природа бодрилась, молодилась, старалась не показать увядания. Все же к рассвету ее отчего-то стали мучить запахи умирания еще вроде совсем зеленых листьев, где в прожилках уже застыли жизненные соки; ее будто преследовало дыхание тления.

...Она не вскочила, не побежала. Долго слышала вместе с винным духом, от которого мутило до обморока, его слова, целый поток пьяных слов о том, как он готов положить за нее голову, и если она даст знак, хоть пошевелит губами – сегодня же пойдет под венец... что он ее сделает настоящей госпожой, даст ей полноту власти – и вместе со всеми будет повиноваться ей и исполнять все, что она пожелает... Сидя рядом на тахте, он все подвигался к ней, а она от него. Когда она уперлась в стену, – как бы защищаясь (а может, решив сдаться) подняла руки... и тут заметила, что он полураздет. «Прошу вас, прошу...» – повторяла она слабо. И – знала, понимала, что это ее горькая судьба, от этого ей не уйти никуда... Больше ничего ее не ожидало. Все остальное – сверкнуло молнией и навсегда исчезло с ее небосклона...

А потом, потом... выхода у нее не было другого... Может быть, это был самый наихудший, но в чем-то и самый лучший выход... Иначе, при естественном ходе событий, ей пришлось бы кроме этого удара принять и еще один удар... И она, забившись в угол, сжавшаяся в комок, безвольно расслабилась...

С той молнии, что сверкнула и навсегда исчезла с ее небосвода, прошло чуть больше месяца.

– Вижу, как после приезда мальчика ты потеряла спокойствие, – опять начал он, решившись. – Я тебя понимаю, не все благополучно у нас дома... Но не волнуйся, раз приехал – пусть будет так. Зиму здесь проведет, потом поедет в Акуа... получил образование, по всему, не глупый, и я использую кое-какие свои связи... словом, все будет в порядке.

– Как была бы тебе благодарна, господин мой, если бы все так уладилось, как ты говоришь («Может, лучше было тогда, в ту роковую ночь, открыться во всем, чтобы не оставить это смертельное бремя на всю жизнь...»). Ты знаешь, что и ко всем остальным я стараюсь хорошо относиться. Но они меня не приняли. Я не говорю, что здесь совсем нет моей вины, – тоже, видимо, есть, я из-за своего горя по близким иногда ничего и никого не видела. В моем положении нельзя было этого допускать. И для них я осталась чужой. Конечно, и мой сын для них чужой. Он, как видишь, воспитан, не груб, и навряд ли сможет себя защитить... потому ему лучше находиться где-нибудь недалеко... И лучше это устроить поскорее. Если начнутся между ними какие-нибудь несогласия, столкновения, – и ты не сможешь не вмешаться, и я. А нам разве можно допускать... Нам бы остаток своих дней провести в дружбе и согласии, не мучить себя... Даже, – она вздохнула сокрушенно, – его приезд начался с несчастья. Будто его или меня кто-то проклял... Бата несчастный, которого я родила в черный мой день... – Она заплакала.

– Не надо, прошу, и у меня не каменное сердце, себя и меня пощади, – сказал искренне Алма. – Бата упокоился – так лучше для него... единственный, кто у меня защиты искал, – как кто его напугает, он бежал ко мне и прятался за моей спиной...

– Как так можешь, господин мой, – запротестовала она сквозь слезы. – А я? Кто у меня есть, кроме тебя, кто меня защитит, если не ты...

– У тебя хоть еще есть сын...

– Умереть мне раньше, чем он, но, господин мой, какими бы хорошими ни были – дети живут для себя... нам же достаточно любви к ним... Дай Бог счастья хоть ему... А Баты как будто и не было... Бата, Бата... – опять всхлипнула она.

– Чтоб этому... чья пуля оборвала ему дыхание...

– О, господин мой, прошу, умоляю тебя, не проклинай, я этого еще больше боюсь... Ребенок... можно ли его обвинять.

Алма стиснул уже слабые, но целые еще зубы, чтобы не разразиться проклятиями... Умар... и этот маленький негодник Астамыр...

Она вспоминала сейчас, как Умар с друзьями, уже почти взрослые парни, заставляли убегать маленького Мзалея – пока он не упадет. Перепрыгивали через него и кричали: «Убит, готов!» Потом поднимали и опять заставляли бежать. И так до посинения. Был случай – заставляли даже после того, как «игру» заметила нянька... когда няньку не подпустили к Мзалею, позвала на помощь ее, госпожу.

Умар тогда ощетинившись бросил: «Заберите труп!»

Хауйда в отчаянии задыхалась, словно все это происходило сейчас.

– Чтоб посыпали весь их род конопляным семенем! – процедил сквозь зубы Алма. – Это все он, Умар, его влияние... В нем нет ни капли крови Анчаа, весь из проклятой материнской крови! И ты иногда подставляла свою шею, как пасхальный ягненок, берите, мол, режьте...

– А что мне оставалось делать... Мачеху всякий волен ненавидеть, так уж повелось...

– Знаешь, что я тебе советую: не переживай за всех, ни с кем ничего не случится, ты права – лучше позаботимся о себе... – Он немного успокоился, ему казалось, что уже может заснуть. – Мы заслужили это...

В камине умирал огонь, уже все поленья сгорели и превратились в золу и пепел, из последних возможностей кое-где вспыхивало и светилось. Алма не поднялся, как обычно, чтобы опять затопить, – в комнате было тепло. Он звучно зевнул.

– Похоже, мороз утих, – сказала госпожа, сдвинув верхнее одеяло. – Мне кажется, что потеплело.

БАЗАЛА

Я отдаю по зернышку,
А ты возвращай пригоршнями...
Песня жерновов

К старости у Базалы появилась одна странность: он перестал спать раздетым и в постели. На ночь укладывался на длинной скамейке у горящего очага – одетым. Он, конечно, не ведал о том, что в старые времена встречались воины, рыцари, – спали в доспехах, приучали себя к трудностям, чтобы потом легче было в походах, в бою. Базала свои причуды объяснял просто: хотел утром, проснувшись, не возиться с одеждой, а сразу встать и приступить к делу.

Он не ведал еще об одном: о том, что он по сути тоже воин, боец. Война тоже работа, хоть и страшная, а работа тоже война, хотя и благодатная. И Базала вставал еще затемно и шел прямо из дому на эту свою «войну».

В семье такая странность вызывала недоумение, протест, пробовали уговорить – но Базала не отступил. Потом домашние кое-как привыкли. Однако как бы они ни держали привычку отца в секрете, все скоро сделалось известно. В селе сначала бурно обсуждали, сплетничали, даже включили в поговорки, но затем, как и ко всему остальному, к этому тоже привыкли.

Супругу Базалы, Киасу, больше заботило – не помешает ли такое чудачество мужа замужеству дочерей да женитьбе сыновей. Но, по ее словам дочерей ноги унесли, а вот сыновья еще могут подождать. Киаса в семье была самой властной, и вне дома тоже с ней больше считались; однако же она больше всех в семье боялась того, что может преподнести это «вне дома». Знала, как трудно угодить людям. Ей вечно было некогда, всегда дел невпроворот, но все же она успела заметить: бездельников обличали,

высмеивали, но тех, кто не разгибая спины вкалывал днем и ночью, тихо презирали, старались держаться на расстоянии; тот, кто легко входил в общение, надоедал людям; того же, который стоял особняком, не приближали, но уйти тоже не давали.

Все равно – без этого «вне дома», без людей жизни не было. И Киаса опасалась не того, что слишком засосет это «вне дома», а того, что можно вообще остаться без него.

...Совсем рано, раньше, чем обычно, Киасу разбудила возня Базалы. Возился будто совсем близко, слышно было его дыхание. Успела подумать – неужели в нем проснулось на старости лет что-то подобное тому, в чем в молодости был неистов... может быть, снова заимел вдруг такую силу, что опять не может с собой совладать... она вскочила как ошпаренная.

Огонь горел ярко, и Базала стоял неподалеку от ее тахты одетый, готовый выйти из дому. Краем глаза заметил, что она вскинулась, но никак на это не ответил, даже не посмотрел в ее сторону. Опять напали на них! – обожгло Киасу, и сердце ее упало. Пусть возьмут что хотят, думала она лихорадочно, и денежки какие есть, пусть подавятся, лишь бы сына не трогали! Она решила, что так и скажет им...

– Где он, где?! – сердце ее гулко билось в груди – даже успела удивиться, как это оно так сильно может ударять изнутри.

– Кто? – спросил с раздражением Базала.

– Сын мой... Бадра!

– А ты что, не знаешь, где он?! – с еще большим раздражением откликнулся Базала, но так и не посмотрел в ее сторону.

– Его уже нет, нет, ты несчастный разве забыл, что он вчера куда-то уехал! – Она схватила платье, долго не попадала в рукава, натянула на себя наконец. – Почему же меня земле не предали, Мсоуст, сынок, когда с тобой такое случилось! – вырвалось у нее – и вся дрожала мелкой дрожью. – Ты один мог, не жалея, не щадя себя, в любое время дня и ночи прийти на помощь таким как мы, умеющим лишь мотыгой махать... Эх, Мсоуст, как ты всех нас зарезал тупым ножом!..

Она приговаривала будто в лихорадке и тревожно осматривала дом, но никого чужого не увидела. Значит, он не в гостевом доме, подумала в ужасе, а там же спит Бадра! Что же этот старый дурень не догадался сказать, – мол, все, что у них есть, – здесь, в этом доме под кухню, где они спят сами, – злилась она на мужа. А Бадра, мол, в отъезде...

– Нет его, нет... – передразнил Базала жену. – Кабы не я, ладони твоего сына поросли бы шерстью. Вам бы дрыхнуть только да языки чесать. Твой сын, видно, спит так же как и ты, а уже, посмотри-ка, день занимается...

Он говорил беззлобно, но громко, как обычно. Тогда только до Киасы дошло, что она напрасно перепугалась.

Базала начинал каждое утро так, будто оно единственное, – как самое ответственное в своей жизни. Делался собранным, сосредоточенным и несговорчивым, как река, что вдруг сдвигает все свои броды.

С ее души упал камень, но не стала ругать мужа, вообще не стала объяснять, что с ней случилось. Убедилась, что никакая беда не грозит, – и вдруг ей показалось раем то, что почти условно называется жизнью и никогда не вмещается ни в какие названия, что всегда ноша – и ноша нелегкая, не дающая ни на минуту передохнуть... не успеет отпечататься след на земле – и сразу заметает, и не дает хорошенько вперед посмотреть... то, что измеряется расстоянием от рождения до конца, что поносит человек, когда устает до изнеможения, как тягловое животное, как бык, буйвол...

– Что ты кричишь, будто режут! – она сделала попытку пожурить мужа и невольно улыбнулась: – Соседей разбудишь!

– Что равнодушный, которому все равно, что дырявый кувшин, в который все льешь и никогда не заполнишь, – одно и то же. Сейчас смеется от нечего делать, ночью видит сны, тоже от нечего делать, а нет чтобы без всяких сновидений выспаться, встать вовремя, готовой к своей работе... – Даже она не знала, всерьез он это или шутит; ничем внешне, даже тоном не выдавал.

Пошел к двери.

– Что сын твой, что ты – одно и то же: спите спокойно, словно закончили все свои дела. Пока кто-нибудь не крикнет вам в ухо, сами не встанете, – это уже он говорил даже немного раздраженно.

Подошел к двери и отворил настежь.

– Как поднимется Бадра, пускай займется скотом, накормит, а у меня другие дела. Если задержусь, не ждите, завтракайте сами.

Там же у дверей взял топор; приблизив к глазам, посмотрел на лезвие, провел по нему намозоленным пальцем – послышался еле уловимый звон.

– Дай бог умножить свой род этому кузнецу Уасилу, какие у него руки! Какой человек! – произнес Базала с неподдельным чувством.

– Раз хороший топор сделал, значит – хороший человек?! – засмеялась Киаса.

– Да, раз хороший топор сделал – хороший человек! А плохой человек ничего хорошего не сделает!

Базала был как обычно готов к зиме: все под рукой – и дрова, и корм для скота, и запасы еды. Так или иначе, дело для него всегда находилось, но он сейчас больше мечтал о весне. Он хотел, если погода позволит, раскорчевать кое-какие новые участки. А иным надо было дать отдохнуть – вспахивал подряд несколько лет. Уже было жалко их.

Мороз ударил сильный, земля затвердела так, что пуле не пробить. Чусты из сыромятной кожи сделались как деревянные и жали.

Он подумал и пошел так, чтобы по дороге глянуть на мельницу, – была общей собственностью нескольких хозяйств, в том числе и его. Частенько, когда мельница не занята, приходят женщины или дети – помолоть немного сои, пшеницы для чурека-амгиал, для ачашв – пирога с сыром. Навряд ли они догадаются, что на мельничные колеса, зажатые льдом, сразу пускать воду опасно: может повыбивать лопасти.

Когда он пришел на мельницу, она стояла. Посмотрел на колеса – действительно были скованы льдом, над ними висели сосульки.

Какая досада!

Но ему было некогда, ему еще надо побывать во многих местах, посмотреть все участки своей земли и там, где он хочет корчевать весной. Каждый год он совершал такого рода прогулки.

Он пошел дальше вдоль запруды, до водопадика, где приспособлена была сеть-адарч. Не успел еще посмотреть, но уже знал, что не пустая. В адарче оказались три довольно крупных лосося и несколько других рыб. Лососи были великолепные, и Базале от этого стало хорошо. И старик не прочь побаловать себя вкусной едой, подумал он. Рыб он тоже пока не трогал, решил забрать на обратном пути.

Вообще-то руки у Базалы доходили до всего: он разводил сад, собирал хорошие сорта груш, яблок и слив, делал прививки, да кроме того еще имел достаточно вина отличного качества.

Охотой специально он не занимался, почти никогда в руки не брал ружья. Одна-единственная кремневка, оставшаяся еще от деда, висела на том месте, где ее дед и повесил. Но если к его скоту или птице повадится какой-нибудь хищник, он сначала выслеживал его – и очень скоро тот оказывался в его капкане или в силках.

Подошел к небольшому обрыву. Перед тем как взобраться наверх, он обухом топора отбил замерзший комок земли. Взял его в руки, понюхал. Пахло и морозом, но все равно кисловатый собственный запах был сильнее. Как любил этот запах Базала! Наверху лежало десятины две земли. Хоть и на берегу речушки, почва не содержала песка, обрывчик был достаточно высок. Но по рассказам отца Базала знал, что здесь прежде было сильно заболочено. Осушил участок дед. По канавам, которые он тогда прорыл, теперь круглый год бежит вода: речушка, уже обретшая свою жизнь, имеющая собственные истоки и устье. Он запомнил эту землю еще и потому, что здесь впервые отец передал ему рукоять плуга, и он провел свою первую настоящую борозду. Отец сам вонзил лемех в почву и только потом дал ему плуг в руки. «Не спеши, не суетись, – говорил ему спокойно, – держи плуг крепко, но свободно, не очень нажимая, но и ни на минуту не ослабляй...» Земля была не легкой, но и не совсем тяжелая, да и он сам был такой крепыш! Больше всего мешало – он еще не доставал как следует до рукояти плуга. Но он сразу понял, даже не головой, а руками, плечами, что надо быть в согласии с плугом: он мог казаться порой очень податливым, легким, но ты не должен поддаваться этому, распускаться, а если он становится очень тяжелым, так что даже быкам трудно, ты должен сразу определить причину и выводить его из этого состояния. В народе правильно говорят: трудна первая борозда, а потом все легче. Отец недаром выбрал для его первой борозды не легкую, рассыпчатую почву, но и не совсем тяжелую, чтобы его с первого раза не отпугнуло.

Он подержал еще в руках эту землю, затаившую на время свои жизненные силы, ожидавшую поры, когда она, великая матерь живого, опять сможет вдохнуть жизнь в растения, дать корни и дыхание.

«Эти морозы очень полезны для почвы, – подумал Базала, втянув с удовольствием холодный воздух, – все плохое, вредное уничтожат в ней и удвоят силы».

Он поднялся наверх и обвел взглядом поле. Оно было все белое от мороза, и влажная дымка тумана стояла над ним. Посмотрел дальше, на крутые склоны, спускающиеся к этому полю.

На склонах земля была каменистая, сухая, с небольшим слоем почвы, которую легко смывали дожди. Но вот уже три года как она отдыхает.

Подошло время вспахать – будущей весной, решил он. Дальше за склонами – небольшие куски земли, там она легкая и рассыпчатая, но – невозможные заросли папоротника, целая морока с ними возиться. За ними еще есть его земли. Покупали деды, отец, он сам – и понемногу накопилось немало...

Через поле он попал в перелесок, а оттуда на другое ровное поле. Он еще застал, когда здесь стояли огромные вековые дубы. Все дома в их селе – из этих дубов. После того, как срубили стариков-исполинов, место заросло кустарником, колючкой – они и задушили оставшуюся молодую дубовую поросль.

Базала подошел к кривому, старому низкорослому грабу и срубил топором ветку. Топор взял ее с одного взмаха, с веселым звоном. Базале хорошо стало на душе оттого, что в руках хороший топор, что искусный кузнец закалил его хорошо и Бадра наточил тоже хорошо.

Добрый хозяин из него выйдет, только ни на минуту нельзя ему спуску давать. Вспомнил о сыне, и на душе стало еще светлее.

Эту поляну надо раскорчевать. Если не будет дождей, не мешкая надо начинать, чтобы ранней весной все было готово к вспашке.

Поднять здешнюю целину не так просто. Надо будет запрячь крепких, опытных, несуетливых быков – здесь столько корневищ, что каждую минуту может треснуть ярмо, а то и погнешь лемех. Но если не иметь в виду корни, земля здесь должна быть мягкой, рассыпчатой и очень насыщенной. Видимо, здесь они посадят табак. В прошлом году он посадил и высушил немного. Но зато такой получился табак, так был убран, высушен и затюкован, что грек-перекупщик не стал даже торговаться, сразу дал сколько он назвал. И еще просил, чтобы в будущем году продавал бы только ему...

Когда в прошлом году выручил неплохие деньги, ему вдруг захотелось приобрести коня, седло, сбрую достойную, пошить под стать им черкеску, а пояс с серебряными украшениями остался от деда. Все это нужно и Бадре, и старшему сыну, который пасет коз и овец и почти круглый год проводит в лесу. Но они еще молоды, успеют, а вот он в конце жизни, пока еще не совсем постарел, не прочь бы доставить себе какое-нибудь удовольствие.

«Все говорят, Базала как вол – создан, чтобы работать, кроме этого ничего не умеет, – подумал Базала о себе как бы глядя со стороны. – Увидят его на

коне, в приличной черкеске, скажут: мы ошибались, Базала, оказывается, умеет не только работать, но и одеваться, держаться достойно на коне, посещать сходы, празднества...»

Он так мечтает, Базала, но знает: о нем этого не скажут. Если с самого начала о человеке сказали, что он поедом ест землю, мнение своего не поменяют. Вряд ли сможет он достойно держаться на коне, красоваться, достойно носить черкеску, которую и в жизни не надевал, и не стать ему человеком, к чьему слову прислушиваются на сходах, деловых встречах, празднествах. Но ему приятно об этом думать, так же, как в детстве случалось – в очень редких случаях вдруг говорили ему, что он может идти поиграть. В прошлом году он не решился. Не потому, что пожалел денег, а просто трудно вот так вдруг решиться на какие-то перемены. Но в нынешнем году он должен исполнить наконец свое желание. Может, купит белую лошадь. А для белой лошади понадобится серая черкеска. Нет, нет, – лучше вороного коня, черную черкеску. Но это слишком излюбленное сочетание всяких дворян-аамста да щеголей. Лучше всего конь рыжеватой масти, он неприхотлив, не бросается в глаза... черную черкеску и не какой-нибудь белоснежный или красный, как грудка зарянки, архалук, а сероватый, не бросающийся в глаза. Решено – рыжей масти, рыжей.

От таких размышлений еще теплее стало на душе. И тогда он вспомнил давнишнюю свою боль: ему было и больно, но очень хотелось пойти и посмотреть. Сейчас он понял, что, выходя из дому, в глубине души, не сознаваясь самому себе, думал больше всего об этом. Там, еще дальше внизу, на равнинном месте, у него был участок тоже в две десятины – отменной, плодородной земли. Но когда с этих равнин были изгнаны все жители, земли отошли к Алме Анчаа: они были жалованы ему за преданное служение царю. О лоскутных участках, которые принадлежали оставшимся после изгнания, как этот участок Базалы, даже не стали говорить – они вместе со всей равниной отошли к новым владельцам. Тогда был жив еще и отец Базалы, он его предупредил никогда не заикаться о своем участке: как никто знал, что шутки с Анчаа плохи.

Базала слышал, что на этих землях станут выращивать табак арендаторы. Не только равнина, но и все соседние склоны уже предназначены табаку.

Не нужно бы этого делать, боязливо подумал Базала: на склонах лучше бы кукурузу посеяли... под табак не раз и не два так надо разрыхлить землю, что она превращается почти в пыль: пойдут дожди – все смоет, и постепенно из склонов будут торчать обнажившиеся камни, а земля сделается непригодной очень надолго.

По камням перешел ручеек, пересек продолговатый холм и спустился на равнину, где и находился бывший его участок земли. Тут все было белым-бело от мороза, словно посыпало снежком. Добрел до участка, несколько раз прошел его из конца в конец. Все поле, куда глаз доставал, было очищено, подготовлено к вспашке. Базала в душе похвалил людей, которые так постарались. Он уважал умеющих работать. Но когда вспомнил, что эти

земли сейчас принадлежат Анчаа, что они подготовлены под табак арендаторами, ему сделалось грустно. Еще было больно от того, что кто-то другой очищал его землю, а не он. Базала получал полное удовольствие, когда все работы на своих землях выполнял сам, и никто не мог так сделать, как он это делал, сравниться – как его земля и он понимали друг друга...

Земля была подготовлена, да, но почему-то не тронули молодую поросль акации – перешагнула свои границы и врассыпную пошла по полю. Они, видимо, не знают, что акацию просто срубить – ничего не дает, надо вырывать с корнем и резать корневища. Эту землю – все, что ей надо и как надо, – он знал больше, чем знал своего сына Бадру. Не выдержал и начал рубить молодую поросль акации; звон, который шел от топора, казался вещественным, режущим.

Почему-то он все время вспоминал о том, как купит коня, как сядет в седло и поедет... думал о том, как надо с особой тщательностью следить за конем, под седло – достаточно толстый войлочный подседельник, а то не дай бог, как бы не сбить спину... Вернется домой из поездки – сначала надо ослабить подпруги, пока не высох пот, потом, сняв седло, с обеих сторон провести ладонью, сильно нажимая... Это опять же, чтобы предупредить от натирания... А то конь с натертыми боками, спиной – уже не конь. Земля точно такая же. Если это случится – потом все, она такая же кляча, над которой вьется стайка назойливых мух.

– Эта назойливая акация, – сказал он, нервничая. – Лезет везде, куда ее не просят... Что ей делать здесь, на такой отменной земле. Мало ли непригодных земель, пусть там растет себе на здоровье... Там ее никто и не тронет.

Ему стало больно, что сказал о земле «непригодная». Вырвалось у него. Нет-нет, не вырвалось, он повторил то, что обычно все говорят. Нет непригодных земель – ни куска. Иногда в оврагах растет такая нежная трава, что если к ней подберется какая-нибудь скотина – будет ей настоящий пир. Например, где их родник, там земля для пахоты не пригодна, но какая трава растет! Потому-то он устроил выгон для телят. Эта трава их растит столько же, сколько и материнское молоко. А там, где оползни... Там отменные прутья растут, какие только душе угодно, даже рододендрон...

Он думал и продолжал рубить кустарниковые акации, как вдруг услышал какие-то голоса и, опустив топор, осмотрелся. Невдалеке стояла женщина, как при росе поддернув юбку, – выпучила на него свои черные и без того выпученные глаза. А там еще приближался мужчина, торопился, смешно устремив туловище вперед. «Еще чуть-чуть постарается, больше наклонится – так прямо и упадет, зароется лицом в землю»... – Базале стало смешно. Он бросил корчевать кусты акации и сделал несколько шагов к женщине. Понял: это, видать, те самые, что арендуют его бывшую землю, поселились где-то поблизости.

Позади всех, опираясь на палку, ковылял старик. Голова свесилась на плоскую грудь, весь какой-то сгорбленный, скрюченный. «Видать, от непосильного труда... несчастный», – пожалел старика Базала.

Женщина сделала несколько шагов, но близко подойти не решилась. Уперла руки в бока и что-то сказала громко и сердито на непонятном ему языке. Будто именно эти слова были у нее лишние, инородным телом застряли в гортани – ему показалось, что, выпустив их, она почувствовала себя легче.

– Я кроме своего абхазского ничегошеньки не понимаю... – он усмехнулся, как бы стесняясь такого положения. – И ты, видно, кроме своего ничего небось не знаешь...

Она опустила руки, повернулась к тому, который уже подходил, наклонив вперед туловище, и что-то негромко и почти примирительно сказала. Человек несколько смягчил стремительность походки, убавил шаг. Правда, женщина, заметив, что пошел тише, опять схватилась за бока и негромко, но строго что-то опять ему сказала. И мужчина нехотя снова прибавил шаг.

– Я так просто пришел сюда, – объяснил Базала. – Раньше на этой земле много пота пролил, соскучился по ней...

Мужчина остановился, поравнявшись с женщиной, и оттуда слушал, будто понимал все, что Базала говорит. Он выпрямил спину, даже несколько откинулся назад, словно собираясь сказать, что если нужно будет – и так могу.

– Когда-то эта земля была моей, – втолковывал Базала, указательным пальцем показывая на землю, а потом ткнул им раза два себе в грудь.

Увидев это и по-своему поняв, женщина помрачнела пуще прежнего, недовольство свое выразила бессловесным каким-то взвизгом, взвоем. Мужчина тоже указал пальцем сперва на землю, потом куда-то выше, потом упер в свою грудь и там оставил.

Базала понял, что он хотел сказать: это, мол, земля Анчаа, но сейчас обрабатываем – мы.

– Знаю, знаю! – смеясь, Базала покивал им.

Мужчина и женщина переглянулись в недоумении. Базала слышал о том, что местные парни несколько раз схлестывались с парнями переселенцев. Среди новоселов, видимо, были свои задиры. Местные задиры пришли в бешенство: как, мол, – эти пришли на нашу землю, а еще и права требуют... были случаи тяжелых избиений. Видимо, потому женщина хорохорилась, мужчина же вел себя робко.

– Я просто так пришел, оказался в этих местах и просто заглянул, – Базала помахал рукой, пытаясь втолковать им, что его нечего опасаться.

В это время раздался глухой голос подоспевшего старика. Мужчина и женщина обернулись. Тот что-то сказал им небрежно, махнул рукой, чтоб уходили. Оба сразу же повернулись и пошли обратно, а старик направился к Базале. Подошел к нему и, чуть приподняв отяжелевшую голову, посмотрел на него. Базала увидел уставшие, потухшие глаза, красные веки совершенно без ресниц. И когда на высохшем, в глубоких морщинах лице появилась слабая старческая улыбка, она совсем не коснулась глаз. Протянул свою высохшую жилистую руку, Базала тоже протянул свою. На обеих ладонях был такой слой мозолей, что они не почувствовали друг друга.

– Салам алейкум... – вымолвил старик и прислушался, ожидая ответа.

– Абзераз узбалааит, – засмеялся Базала, – Не понимаю, кроме абхазского, ничего не понимаю, – повторил он. – Знаю язык вот этой моей земли, понимаю язык Дзыпа-реки, различаю разговор каждого дерева, когда их заставляет говорить ветер, а вот другого человеческого языка не знаю, кроме своего...

Старик прошел мимо него к дереву на бывшей меже, притулился, оперся о его мшистый ствол. Базала тоже подошел к дереву и тоже прислонился спиной. Потом он вынул из кармана кисет и протянул старику. Тот некоторое время смотрел своим усталым взглядом, потом сложил пальцы, словно собираясь креститься, и опустил в кисет; добыл оттуда щепотку прекрасного оранжевого табака, порезанного мелко и аккуратно, высыпал на свободную ладонь и внимательно, понимающе рассмотрел. Потом поднял глаза, встретился взглядом с Базалой и покачал головой. Это означало, что табак хороший.

– Табак должен быть крепким, – сказал Базала, набивая свою трубку. Достал огниво и кремень, на кремень маленькую щепотку трута, одним коротким и резким ударом высек искру – от трута пошла струйка изумительно пахучего дымка. Положил тлеющий трут на табак, прижал прокопченным ногтем – закурил. Старик так и стоял, держа на весу ладонь с щепоткой табаку. Базала показал на табак, потом на губы, – мол, почему не куришь. Старик в ответ двинул рукой: то ли не курит, то ли забыл, не успел взять трубку.

Базала обтер мундштук и протянул трубку новоселу. Тот опять посмотрел на него своими утомленными глазами, взял, два-три раза затянулся. Потом вынул трубку изо рта: «О-о!»

– Не только для себя так делаю, – сообщил Базала не без гордости. – И то, что для продажи, – тоже. Разве можно другому плохое предлагать?

Старик еще несколько раз затянулся, потом так же, как и сам Базала, тыльной стороной руки обтер мундштук и передал трубку обратно хозяину, кивком головы благодаря. Оба постояли еще некоторое время – смотрели на покрытое густым инеем поле. Двое так много потрудившихся на земле... один – всю жизнь проживший здесь, углубившийся корнями в эту землю, для него она родина испокон веку; другой, переселившийся откуда-то, пока что был и не был на этой земле, и неизвестно – сделается она для него родиной или нет. Но оба хорошо знают вкус пота, и оба усвоили, что на любой земле есть хозяин, а бывает и приходящий, – и пока каждый помнит свое место, земля, на которой они трудятся, объединяет их.

Базала выкурил трубку, вытряхнул пепел, спрятал ее, кивнул старику и пошел. Старик двинулся рядом. Поднял руку, показывая на пять-шесть маленьких домишек, крытых дранкой, прилепившихся у подножия отвесного склона. Базала понял, что он там живет, и, еще раз посмотрев туда, подумал: похоже, умеют работать на земле, но эту землю не знают, не знают, как выбрать здесь место для жительства. Одного умения работать недостаточно, надо хорошо знать землю, почву, – как она себя ведет в засуху, в дождь,

какой она бывает утром в росу, без росы... На все это надобно время, и не малое. И кто же селится у подножья такого склона! Выше там камни... вот сейчас, после морозов, опять пойдут теплые дни, камни оттают и станут срываться сверху. Более того, новоселы эти вырубили оставшиеся деревья – и домишки свои оставили открытыми всех ветрам.

Кто же так поступает с лесом, который окружает твой дом! Базале сделалось досадно, и, посмотрев на старика, он неодобрительно показал головой. Но старик не понял Базалу: он опять задержал на нем свой утомленный взгляд, и слабая немощная улыбка изменила его лицо как при плаче. Он кивнул Базале и пошел. Базала еще раз обвел взглядом землю, которая когда-то принадлежала ему, и пожалел, что напоследок не взял отсюда щепотку, не высыпал на ладонь и не погладил... Он чувствовал себя так, будто, встретившись с близким человеком, не успел сказать ему самых откровенных слов, которые и хранил-то лишь для него. Повернулся и зашагал обратно к участкам, которые еще принадлежали ему.

Шел и думал о встрече с человеком, языка которого не знал. Они не могли изъясняться друг с другом, но во многом он понял его. Так ему казалось: земля их объединяла. Старик был переселенец, оставивший землю, к которой был привязан душой и телом, как он к своей. Но почему-то он ее покинул. Изгнали его со своей земли? Или, может, сам бросил, желая найти лучшую? При этой мысли Базала даже остановился: если старик оставил свою землю, чтобы найти лучшую, он не может его уважать. Такие опасны и для той земли, куда они пришли, ибо станут выжимать из нее все соки, пока не будут выпирать ребрышки, а потом пойдут дальше – искать новые, лучшие земли.

Но вспомнив ослабевшие, утомленные и никогда не смеющиеся глаза, опять пожалел старика. Все же после этих мыслей, после сомнения, ему сделалось больно, будто только-только отняли у него этот любимый кусок собственной земли.

Каким бы оказался он сам на другой, не родной земле, в таком вот положении? При этой мысли у него подкосились ноги, сердце упало: он бы погиб, как рыба, выброшенная на берег. Тогда лучше уж здесь умереть.

Если даже не будет кому похоронить, то родная земля его примет, а это высшее счастье. Да, говорят, с человеком всякое может случиться, – но он стоит на ногах, стоит на своей земле, и если убрать ее из-под ног, то ничто больше не может служить опорой; и жизнь и сила его – в своей земле, вне этого у него ничего нет. Человек не может изменить матери, каждый рождается один только раз.

Он стал вспоминать особенно близких ему людей, с которыми делил все и которые попали в тот страшный водоворот, когда он случайно уцелел. Как они там, если живыми достигли чужого берега? Они ведь тоже на положении этого старика, а может, и хуже.

Странно тогда получилось. Он был свидетелем этой страшной беды, но ему все было некогда – продолжал работать, пот лить, пахать, полоть. Ему не верилось, что кто-то может оставить свою землю, что бы там ни было... он существовал тогда как в страшном сне: и видел и не видел, что происходит.

Ему стало не по себе, когда вдруг вспомнил все это... обычно на воспоминания времени тоже не оставалось. Видимо, совсем уж прилипнуть к земле – вовсе не так хорошо, как ему кажется... но он иначе не может – это его обычное состояние. Многие думают, что у него поэтому давно вместо сердца комок глины, что кроме сохи и мотыги да своей земли, в которой он копается как крот, ничего он не чувствует и не видит...

Базала тяжело вздохнул. Все равно – все эти чувства пересиливали боль, боль от потери участка земли, который он только что навестил.

На восходе сквозь густой туман выглянуло желтое пятно солнца, но мороз не спадал, держался как и на рассвете. Базала уже спешил домой, на ходу перебирая в мыслях все, что должен успеть сегодня сделать.

ИАХУАЛАК, ИАХУАЛАК!*

Кто однажды родился, однажды
умрет, говорит...
Оденьте, говорит, его в белые
одежды...
Апсуаша – Абхазская песня

...Ранена, убита, обожжена эта земля... Первые всходы нежной травы никнут, не успев разрастись... когда земля становится горячей до самых корней деревьев, деревья вздрагивают – и обвисают увядшие листья...

Вечно настороже, вечно в ожидании пугливая, беспокойная олениха, в вымени ее целебное молоко, глаза ее красны от кровавых закатов. А где такой, который пролетит на своем волшебном коне-араше меж сходящихся скал, перемахнет через огненные потоки, догонит олениху и принесет жаждущим ее парное молоко? Никто не знает... Где тот, что пролил бы на бездыханную грудь этой земли целительное молоко, влил бы его в горло, чтоб вновь прорезалось дыхание, вернулся дар речи, жизнь... А может, такой уже родился, уже в пути? Но путь далек и тернист: туда через семь гор перемахнуть, через семь сходящихся скал, семь огнедышащих потоков – и обратно столько же. А у оленихи ноги быстрее, чем взгляд, как догнать ее... Сама олениха не прочь остановиться, дать молока: она знает, что это посланец из страны без вины виноватой, обвиненной в не совершенных ею грехах... Но такое право должно быть спущено с неба. Чтобы ее молоко возымело силу целебную, нужно еще поспорить с ее бегом, догнать ее... А здесь ждет израненная, обожженная, убитая, убитая наша земля. Не все вернутся из тех, что пускаются в этот путь, – но разве это смерть, если Родина спасена... Это вечная жизнь.

...Чтобы побрызгать целительным молоком на ее грудь, влить глоток в пересохшее горло...

...Пока не просыпайся, пока не пытайся вставать, жди, пока не подоспеют... Пока они не подоспеют, небо будет слать тебе свое дыхание,

будет врачевать – подует на твои глубокие раны, на обожженные места... Вот оно спустило густые-густые тучи на твою промерзшую грудь, чтобы до самой весны лег на нее теплым пухом снег... Чтобы ты прикорнула немного, немного отдохнула.

...Снег пошел сразу.

В полночь надвинулись с моря тучи, закрыли звездное небо. Снеговые тучи – от них не стало очень темно, так были насыщены снегом. Затянув небо, тучи стали опускаться на землю. А туман, державшийся над промерзшей землей, как бы устремляясь им навстречу, поднялся выше, по пояс деревьям. Мороз, что покалывал тысячами тончайших иголок, вдруг сделался неколючим, стих. Вкус воздуха тоже изменился, он стал мягче, лишь чуть-чуть обжигал язык, как крепкое молодое вино. Везде – от моря до гор – стало теплее. Сразу глубоко уснули в тех позах, в которых их застало потепление, люди, – все эти морозные ночи их мучил холод, забиравшийся под тоненькие, подчас дырявые одеяла, – и даже не спасали горячительные напитки; заснули старики, и дети, прижавшиеся к матери, и даже малыши в своих люльках, на маленьких своих матрацах, набитых сухим самшитовым листом.

Не спали животные на дворе: иногда одолевал сон, роняли отяжелевшие головы, но вздрогнув, опять тревожно поднимали их. Стояли у кормушек, но не ели, не жевали буйволы-мерзляки, коровы, быки, лошади, – чутко прислушивались к чему-то... козы жались друг к дружке в своих загонах, и воинственными пиками торчащие их рога будто сникли. Все на ногах – что-то им не давало сесть, лечь, успокоиться. Лесным животным, и хищниками, и их жертвам, тоже не шел сон; казалось, сама земля подталкивала, настораживала. На предгорья упала звенящая, томящая тишина.

Тогда и началось.

Обычно, прежде чем родить снег, неделями небо исходило дождем, – мокрой, продрогшей лежала оголенная земля. И затем уже только в воздухе появлялись белые точечки снежинок; сначала белели вершины, потом – ущелья в горах, потом холмы над деревней, и только потом уже начинало сыпать везде.

Сейчас большие редкие хлопья легли на сухую промерзшую землю, а потом снег пошел стеной, густо и обильно. Через некоторое время снежные хлопья сделались крупными, больше, чем самые крупные бабочки. Такими большими лоскутками снег опускался довольно долго. Если бы подобное приключилось днем, люди, которые и без того живут в предчувствии беды, наверное, заключили бы, что все это – к светопреставлению (...Шел хлопковый снег, шел день, ночь, трое суток, и когда он закрыл всю землю, с неба упала пылающая головешка – и загорелось...)

И тот, кто утром увидел собственными глазами – сколько за ночь навалило снегу, – пришел в недоумение... и потом из поколения в поколение удивлялись – как это за одну ночь столько выпало... А случилось все оттого, что снег долго валил не обычными хлопьями, а целыми лоскутками.

...В притихшей ночи шуршал снегопад, как бесконечное легкое соприкосновение шелковых тканей. Большие хлопья постепенно делались сугробом по колено, а затем сверху сыпануло помельче, но гуще. И не прекращая – так и сыпало, сыпало и сыпало... Пространство между небом и землей, что обычно втягивает, засасывает человеческий взгляд и заставляет замирать сердце, сейчас походило на огромный улей, где роилось бесчисленное множество пчел-снежинок, и так густо, что от касания их крылышек мир был заполнен еле слышным шелковым шуршанием.

И настрадавшаяся, будто от неутолимой боли в костях, от страдания людей, ее населяющих, наполовину осиротевшая земля – тоже вдруг затаилась, расслабилась, еще не зная, что это: окончательно исцеляющее – или временно утоляющее боль...

Приближалось к рассвету. Крыши, под которыми спали люди этой земли, редко ожидавшие милосердия от другой большой крыши – неба, с опасливым напряжением поглядывавшие – не выкинет ли опять что-нибудь... крыши эти как никогда почувствовали тяжесть наметенных сугробов – они оседали, их непрочные суставы тревожно скрипели и потрескивали. Деревья, утомленные внезапными морозами и пронизывающими ледяными ветрами, ощутив тепло, тоже успокоились было, но тихо и бесшумно стал ложиться на их ветви снег, и вскоре они уже гнулись под его тяжестью. Да и самой этой земле, что обладала способностью всегда затягивать раны, хоронить то, из чего ушла жизнь, затягивать следы от войн и уничтожения, следы напрасных усилий человеческого гения, введенного в заблуждение по прихоти чьей-то болезненной гордыни, а то и из самодурства, хоронить громады колоннад, нагромождения гробниц свирепых и бесплодных деспотов, не знающих ничего кроме ненависти и уничтожения, вражды и предательства, слова которых из выгребных ям столетий до сих пор морочат головы легковерного человечества... и земле этой тоже было непривычно подобное необыкновенное расточительство неба. Оборачивалось все непривычным баловством природы или недосмотром, а то и попустительством. Как горячего коня – когда вырвет из руки всадника узду, – так трудно было осадить, остановить то, что началось, пока само не ослабнет и не выдохнется. Даже единый миг забытья, попустительства природы может обернуться смертельной опасностью. Скажем, если, вдруг, море на миг забудет, что оно – не река? Но природа мудра. И человек, которому предоставили некоторую свободу, хоть будто не подчиняется ей, строит жизнь сам по себе, не уповая на ее милосердие и снисхождение, – и человек тоже не решился бы на такое своеволие...

...Снег все сыпал, заполнив пространство между небом и землей.

Иахуалак! Иахуалак!!!

...Из оконца башни раздается клич – и так, от башни к башне, мигом облетит весь край, поднимая даже больного из постели, переносясь с берега на берег разлившейся бурной реки... и вскрикивал ребенок в колыбели от этого клича: Иахуалак! Иахуалак!!! Проснись, кто спит, кто бодрствует – вскочи на ноги! Кто на ногах – беги, кто бежит – лети! В опасности то, что

всего дороже, – Родина, мать, дети, даже и еще не родившиеся, еще в утробе... кости твоих предков – самое ценное, что сокрыла твоя земля в своих недрах... Не пощади себя, свою жизнь! Иахуалак! Иахуалак! Иахуалак!!!

Еще в те времена, когда Кавказ – по ту и по эту его сторону – сотрясали копыта коней киммерийцев, скифов, сарматов, готов... Когда оглашал эти горы рев боевых слонов персов, лязг оружия греческих, римских, византийских легионов, – вспыхивал он: Иахуалак! Иахуалак!!!

«Медея похищена, Апсирт, спеши!» – страшный крик Аэта разрывает сырые и густые туманы Колхиды: Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!! Из-под глыб веков доносится стон угоняемого в рабство плененного царя Пти*: Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!!

Раскрывая опаленные огнем Трахеи** губы, как стрелы, посылали народу ее защитники: Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!!

С вершин древней Анакопии звучал из гортани братьев Леонов*** этот клич, крепкий как сердце и безустанный как их ноги: Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!!

Из глубины времен доносится предупреждающий глас поднявшего свое царство к величию – и почуявшего тревожные симптомы его падения Леона III: Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!! Как «Песнь ранения», как плач – звучало по всему его обширному царству... Печалясь любящей отцовской душой, отправил в Афины сына-наследника, зная, что уже государством править может не только богатый, сильный и воинственный, но и обязательно глубоко образованный государь; однако в монолите львиной династии Леонидов вдруг обнаружилась трещина – и предчувствуя неотвратимость краха, в припадке отчаяния лишил Леон III света своего сына-наследника и предателя, выколол глаза: Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!!

Власть турецкого султана, навалившаяся на Апсны, – это триста лет... калеными стрелами дырявил ее этот зов: Иахуалак! Иахуалак! Иахуалак!!! Вскриками беды пробежало по стране, когда сила черной измены занесла меч над мудрым Келешом****: Иахуалак! Иахуалак!!! В тысяче восемьсот шестьдесят шестом, когда стала невыносима позорная жизнь поверженных: Иахуалак! Иахуалак! Иахуалак!!!

...Иахуалак! Иахуалак!!! – из-под земли доносятся голоса ушедших с этим кличем и не вернувшихся в жизнь... звучит в опаленных башнях крепостей, долетает к вершинам, блуждает на пепелищах, над остывшими очагами изгнанников...

...Снег идет, заполнив мир, – густо, обильно. Такой, какого не помнит ни один из ныне живущих на этой земле. Небо истекает снегом, как набухшее вымя молоком. Спит глубоким сном под стонущими от сугробов крышами измученный, истерзанный народ. Кто знает, что означает это – столь глубокий сон народа, десятилетиями мучимого бессонницей?

Кто знает... (А вдруг, а вдруг, а вдруг...).

Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!!

...Почему те, которые когда-то растворились в захлестнувших их народах, кого судьба разбросала по всей Малой Азии, потомки мамлюков, чьи кости

сожгли горячие пески великих пустынь... кого во сне посещает блуждающая душа Али-бея, кто до сих пор вскрикивает во сне, вскакивает спросонья, тревожно вслушивается в пространство, которое приблизилось к ушам, дабы что-то шепнуть в них... почему они смотрят в небо задрав головы, обнажив горло как агнец при заклании? – по крови проходит давнишняя, неведомо как приобретенная и передаваемая из рода в род безымянная боль, от которой першит в горле и горят глаза... отзвук любви ушедших – любви к своей растерзанной земле... она-то и превратилась в крови потомков в безымянную непреходящую боль: Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!!

Снег все сыпал и сыпал. Близился рассвет. Наконец раздались первые тревожные крики петухов, потом пошли перекликаться во всей округе – суетливо, часто, нервничая оттого, что их плохо слышно в снегопаде. Все же они своими голосами пробивали снежную стену, которой, казалось, не будет конца, будили занесенные снегом дома, где в золе сохранялся, жил огонь, будили леса, будили израненную, не раз убитую, истерзанную землю – ранним утром в начале второго десятилетия двадцатого века.

Петухи выбивались из сил, и то же было в их крике: Иахуалак, иахуалак, иахуалак!!!

ГУАТАС

...Ноги коня твоего должны быть
крепки и быстры,
А сам ты – как сокол...
Все должно быть измерено, взвешено
– любое движенье...
И ни на минуту не забывай о Судьбе,
Судьба – это вся жизнь...
Азар – песнь всадников

«...Отчего же не суждено было счастливой... да хотя бы сносной старости человеку, оплатившему сполна все долги...» – простонал без слов Гуатас в своей постели. Он чувствовал, что проснулся раньше обычного и время вставать еще не пришло, но что-то подталкивало его – поднимайся! Тут до его слуха долетел тревожный крик петуха. Не как обычно – а словно бы издалека. Крики же соседских петухов уже доносились будто из преисподней. Он сразу почувствовал, что петухи подают голос тоже раньше обычного. Что-то их сбило с толку... Что-то, верно, значительное, оказавшееся сильнее их вековой привычки...

Он откинул одеяло, лицо было закрыто, и увидел, что в доме светлее обычного, воздух чуть обжигал язык вкусом снега. Ясно, за ночь выпал снег. Это лучше и для людей и для земли, подумал он. Присел в постели, совсем откинув одеяло. В последнее время, когда все более или менее складывалось нормально, и сыновья были дома, он утром поднимался с каким-то новым

желанием жить. Это достигнутое наконец душевное равновесие все же облегчало груз пережитого, и он считал себя близким к счастью. Каждое утро просыпался так, будто у него впервые родился сын. И что стоило этому неласковому миру все так и оставить до скончания дней его...

Да, не получилось... опять тревога, опять ненастье, опять мучиться душой... Но все же надо взять себя в руки, как подобает человеку его возраста, видавшему виды... Вот пришел еще день, и он должен его так провести, чтобы ни взглядом, ни стоном не выдать своего горя, не омрачить день другим, и себя не отгородить этим от других, от обычной жизни.

...Петухи голосили не переставая, до хрипоты, без пауз. Он быстро оделся: это была еще солдатская привычка. Выбрал самое теплое, и натянул только что связанные Мкыд шерстяные носки. Новые намного теплее, старые постепенно теряют это свойство. Он любил держать ноги в тепле, насколько это было возможно: тоже солдатская привычка, скорее – мечта.

Потом он встал и разгреб золу в очаге; горелый запах ударил в нос, и он инстинктивно, будто защищаясь, отвернул голову. Сколько уж времени прошло, и хоть любил огонь, как только чувствовал запах золы, запах пожара, страх сжимал его сердце. Сладок дух очага в жилище, но под открытым небом, когда огонь похоронил крышу, оберегавшую его, огня, место в доме, – запах горелого становится невыносимым. Тут он уже совсем другой, запах золы... А вот под крышей это место, место огня и золы, очаг, – сердце дома, престол человечий, откуда сам человек виден миру, виден людям.

Так и везде: пагубное и благое, хорошее и плохое, злое и доброе – лежат пятка в пятку.

Разгреб крупные, пышущие в лицо жаром уголья – и сразу на душе сделалось лучше.

Когда очаг стал разгораться, подошел к двери, толкнул ее – но она уперлась во что-то и не открывалась. Из узкой щели на него дохнуло запахом снега и брызнуло в лицо снежной пылью. Все, что мог он разглядеть через щель, сквозь снежную мглу, говорило: происходит непривычное, и непривычное это уже успело изменить все привычные рельефы, расположить их в пространстве по-другому. Успел заметить и то, какая узкая полоса осталась между крышей и сугробом, на который все сыпал и сыпал густой снег.

Давно Гуатас не обращал лицо к небу... глядел, конечно, поутру – какая погода, да ночью – вызвездило ли. Не ходил он и в церковь, лишь в прошлом году, когда объявили, что в Мыкуском храме служба будет идти на языке его матери, не удержался. Надеялся, что услышит молитву на своем языке – на котором страдал, который был самым близким в часы невыносимого одиночества, которому доверялся больше всего на свете, которому доверил все, на котором он изрек бы, если б мог, самое сокровенное желание, если вдруг приведется увидеть спящую реку, небо приблизится к нему и утешит во всем, в чем еще можно утешить... На этой земле не только ему, но уже долгое время никому не удавалось сказать небу то, что он хочет, – для себя,

для своей земли. Они подняли глаза к небу, думая о другом, о своем боге, с которым говорили от души и на своем языке, и им казалось, что он понимает их и только их. А здесь им навязали чужого бога, говорящего на чужом языке. Сколько крови, пота, горя было потрачено на то, чтобы привыкнуть к этому навязанному отчиму – и в конце концов смирились. Он же их не принял в сыновья – но они согласились быть и в пасынках. Посылали своих сыновей учиться в Грецию, Византию; возвращаясь, на прекрасных холмах по ту и эту сторону Кавказа, на ладони гор сыновья воздвигали прекрасные храмы... А потом – нашествие султанской Турции... И, как туман, губящий весенние всходы, поползли по этой земле турки со своим богом, муллами, медовыми лепешками... Думали соблазнить их медовыми лепешками, заморочить головы своими пророками, а если не получится – заставить огнем и мечом... И триста лет над этой землей были занесены знамя с кривой луной и карающая рука с кривой саблей... А после турок – опять вытащили из забвения того самого бога, который первым из богов заговорил с ними на чужом языке. И из замшелых полуразрушенных храмов, и из новеньких, наспех сколоченных, опять полилась чужая молитвенная речь...

Каждый раз, когда он вспоминает, как происходило тут новое крещение, брезгливо закрывает глаза... как выстроились впереди большие и малые дворяне-аамста во главе с Алмой, по пояс голые, обнажив свои грешные телеса, жирные, рыхлые от безделья и обжорства... как кривой священник что-то бубнил в свою редкую клочковатую бороденку, опуская желтые пальцы в святую воду...

Опять они изображали предводителей народа, указующих каждому путь к лучшему, к необходимому и нужному, а на деле готовы были любому богу поклониться, чтобы сохранить свое положение, свою власть, которая была лишь тенью настоящей власти!..

...Он в тот день, в Мыкуском храме, хотя люди толпились, давились еще по ту сторону рек Мыку и Дуаб, перешел Дуаб и протиснулся ближе к священнику, совершавшему службу. Но отчего-то слова родного языка, произносимые священником, до него доходили как чужие: тот выпускал их из гортани, словно они там лежали уже давно готовые, как вареники. Гуатас тогда опустил голову и смотрел на истоптанную траву своей земли... все из земли – и жизнь, которую невозможно было упорядочить, которая устроилась по беспощадным законам всесильных и бессильных, преодолевших и поверженных, где маленькую речушку выпивает чуть большая, а ту – еще большая, а всех их вместе – соленое, вечно жаждущее чудовище-море... жизнь, где жизни нет даже слабому ребенку от более сильного, где ложь действует, обрядившись правдой, где совесть давно побеждена безнравственностью, где знатностью рода, нечестно заработанным золотом все шито-крыто, где человечность, где правда – смертельны...

Да, все это было не под силу тому богу, о котором священники говорили, как о человеке. Только тогда, когда сам он называл того бога, у которого нет

имени, кроме как Бог – Анцва, это огромное пространство не оставалось, как раньше, пустой, в нем появлялась суть.

Сейчас он тоже раскрыл рот, имея в виду бога вообще, Бога – Анцва... немая гортань издала только привычные уже звуки, далекие от слова. Случилось нечто невиданное для здешней обычно пребывавшей в тепле и свете природы: снег уже подбирался к самому горлу домов, готовый задушить, и шел не переставая. Даже он, Гуатас, видавший всякие виды, с таким явлением прежде не сталкивался. Стоял и смотрел в недоумении. Сначала подумал снять со стены ружье и открыть пальбу, разбудить людей. Но тут же догадался: не стоило этого делать, мог еще больше напугать их. В душе посмеялся над собой: столько его колотила жизнь, а он еще способен был поступить легкомысленно. «Анцва, – сказал он в душе. – Анцва...» Само собой получилось, что он вернул бога к своему месту, которое для Гуатаса долго оставалось пустым.

Его состояние нельзя было назвать страхом: он не испугался (хорошо знал разрушающую силу страха). Но каждый сначала теряется перед неизведанным, с чем прежде не сталкивался. И в то же время он презирал тех, которые бездействовали в опасности, – мол, что должно случиться, случится все равно. Тем более сейчас нельзя было медлить. Чувствуя опасность, он собрался, как в былые времена. Ему самому было приятно, что он не подумал только о своих – о семье, доме, о сыне, которого неизвестно где и как застало это светопреставление, – а сразу вообразил, каково людям от побережья до этих предгорий, подумал, выдержат ли еще и это испытание, устоят ли.

Значит, жив еще курилка, ободрил он себя. Давно заметил, что когда опасность заставала врасплох, загоняла в угол-тупик, и он ощетинивался, собрав последние силы, но сил недоставало, – вдруг на подмогу приходила неведомая сила откуда-то из-за грани обычной жизни и ситуации... А сейчас она пришла раньше, загодя, – видно, снисходя, учитывая его возраст... надо же и ему помочь иногда!

Он прошелся по дому, подошел к разгоревшемуся очагу и смотрел на пламя. Да, когда беда грозит всем – не остается своего дела, есть дело всех, загнаны в угол – все. Все эти дни занятый раздумьями о сыне, ушедший целиком в себя, сейчас, ощутив близкую опасность, Гуатас преобразился: старый солдат, он готов был действовать. Много и то значит, как сейчас, в такой ситуации Мсоуст поведет себя, подумал он о сыне. Что ж – бывало много хуже, когда, вырвав все корни, их выбрасывали далеко от родной земли. Теперь они стоят на своей земле, – она подскажет, как себя вести, что делать.

Он все быстрее прохаживался у огня и вдруг остановился как вкопанный: вспомнил о Мзалее. Вот кого он желал увидеть все это время, как бы ни старался не думать ни о нем, ни о встрече с ним. Почему-то интуиция подсказывала, что теперь-то уже о нем можно думать свободно... вообще в таких случаях надо себя освобождать от всевозможных пут, чтобы стать сильнее.

С мыслью о Мзалее он направился будить старшего сына. Старушку жалко, пусть пока спит, подумал он. Вообще всех надо оповестить, но пусть немного упорядочатся мысли, пока он поговорит с сыном. Как только он сделал шаг, ему показалось, что очень тихо, но настойчиво доносится «Ахацараша» – «Песнь мужества». Прислушался – да, из обожженной, онемевшей его гортани вырывались какие-то звуки. Сами по себе они вовсе не были похожи на песню, но шли изнутри, оттуда, где когда-то замерли звуки этой песни.

Когда уже недостает силы, что ж – и такая поддержка не повредит, подумал он.

МЗАЛЕЙ

Как бы меня глубоко ни похоронило время
в своих недрах,
Когда-нибудь все же прорасту,
Как вешняя трава...
Забытая песня

Он проснулся выспавшимся, отдохнувшим. Глубоко и с удовольствием вздохнул. Ему хотелось встать, поразмяться, поговорить с кем-нибудь. Весь осадок вчерашних тяжелых раздумий, волнений, озлоблений, казалось, рассеялся. Заметил, что для этого времени слишком светло, и сразу догадался, что выпал снег. Это еще больше подняло настроение, снег был ему как бы старый друг. Откинул одеяло, набросил на плечи теплый свой халат. Халат здесь не очень жаловали, но с тех пор, как ударили морозы, он его надевал дома поверх одежды, лишь бы сохранить тепло. Достал из жилетного кармашка часы, приложил к уху: «идет-течет», «идет-течет», тикали, тикали, тикали они. «Идет-течет, – повторил грустно, – и не остановишь...» Часы он заводил каждое утро, иначе, если станут, трудно было бы узнать точное время. Большие старые часы в зале, без боя, шли, но трудно было надеяться на их точность. Никто в барском доме, кроме него, Мзалея, на часы не смотрел. Никто никуда не спешил, не ценил время. В пасмурный день на вопрос «сколько времени» тут отвечали приблизительно, неважно, было ли немного больше, немного меньше: «Скоро встанет солнце, солнце поднялось на топорище, на один олений прыжок, на высоту дерева, до полудня не хватает немного, полдень, заполдень, уже повисло, у самого заката, закатилось...»

Та часть прислуги, что занималась приготовлением пищи, и вовсе не нуждалась в часах: люди до того привыкли к своему времени, что в нужную пору вскакивали, знали, когда и что делать, когда подать, убрать, когда ложиться на ночь. Время суток делили по привычке. А из господ – все носили часы в карманах, но, за редким исключением, ими не пользовались, поэтому часы обычно стояли или шли неправильно.

Его собственные часы показывали половину седьмого. Завернувшись в халат, он направился к окну. И когда посмотрел из приоткрытых ставень во двор, глазам своим не поверил: просторную галерею замело по перила, и снег все валил и валил. Там, на севере, он привык к метелям, но здесь... даже вкус этого снега был немного другим, более резким – словно его чуть приперчили... Явно происходило нечто большее, чем обычный снегопад. Может, всевидящее, всесильное небо решило совсем занести эту грешную землю, сделать ее гладенькой, навечно оставить без всяких следов? А что стоит занести, стереть с лица земли эти крыши над головой, вроде войлочных шапчонок, которыми вообразили защититься людишки! Разбросало их по всей земле, как разгоняет стая матерых волков дрожащее в страхе овечье стадо. И вот собираются поспешно в селения, города, воздвигают храмы, и храмы уходят в небо шпилями, как продолжение воздетых просящих рук... Тешат себя тем, что Бог милосерден к ним, как тешат ребенка соской-пустышкой. Да что стоит вырвать эту пустышку изо рта утешающего себя... Но удивительно, что они тешат себя еще и страхом: концом света, кометой Галлея... там, где все бессильно, – и они как бы по праву освобождаются от всяческих усилий. Говорят обычно об ужасах и надвигающемся конце... И слышится в этом жуткое искушение оказаться на краю пропасти, как некая мстительная страсть... словно конец настигнет других, вечных обидчиков, не коснувшись самого человека...

Утешают себя близостью конца и те, которым опостылела жизнь, для которых стала невыносимым бременем, и те, которые прожигают, живут, казалось бы, в свое удовольствие. Страх, конечно, был – был у тех и у других, у всех, но, видно, оттого, что окончательно разуверились в жизни, обманывающей все надежды, некоторые решили, что небытие имеет больше прав, чем существование, – и может навсегда избавить от страданий...

А Мзалей сейчас наивно желал, чтобы его одного захватило это испытание: оно и нетрудно, ибо единственный остался в стороне, народ свой еще не впускал его в себя, – а народ минуло бы очередное злоключение... Народ состоит из отдельных лиц; если среди них много согрешивших, это становится уже грехом всего народа. Его народ не принадлежал, он так надеялся, греху, – но если даже что-нибудь подобное было, то люди здесь чашу искупления выпили до дна. Если что-то значит это небо, если не пустое оно, – должно быть милосердным для них, защитить...

Он отыскал свои теплые вещи, которые здесь еще не надевал: дома к такому не привыкли и смотрели как на диковинку, – но раз само время вышло из своих обычных рамок, и он мог себе позволить какую-нибудь необходимую вольность: достал тулуп, толстые свои фуфайки, шерстяные носки.

Одевшись, прислушался, не проснулся, не встает ли кто-нибудь. Но было тихо, даже стоны, кашель, хрип, которые усиливались к утру, ниоткуда не доносились. Выглянул наружу. Насыщенный снегом воздух бил в нос, чуть обжигал ноздри и губы. Снежная пыль таяла на лице. Все глубже ступая в сугроб, дошел до лестницы, лестница успела стать снежной горкой.

Как могло столько навалить за ночь, даже если земля была промерзшей, сухой, удивленно подумал он. Воздух был заполнен шуршанием сыплющегося снега. «Ш-ш-ш» – слышалось тихо, как бы убаюкивая землю.

...Небо языком мириад снежинок говорило с землей... А может, это неприкаянные души несчастных изгнанников, чьи кости покрыли пустыни турецкого берега, как белые морские камешки – пляж, собрались там наверху, на небе, и сейчас снежинками спускаются на родную землю?.. Сколько насыпало за ночь и сколько еще сыплет! Это, верно, великое счастье для них – снежными пылинками ложиться на свою землю, а потом раствориться в ней. Вот снежинки, словно в игре, кружат, касаются его лица... это, может, души детей, будто цыплята, попавшие в ненастье... их мертвыми бросали в море, их детские тельца смешались с галькой анатолийских берегов. Может, вспоминают теперь свои детские игры, некогда забытые в вечном плаче... «Шш-шшш...» – это, верно, их родители, успокаивают малышей, чтоб не подавали голос, чтобы не услышали те, которые отняли у них родину, чтобы хоть души детские не лишились ее... Сколько их! Если души их вот так, снежинками станут возвращаться сюда, то совсем закроют белым саваном свою маленькую родину.

А вот этот голос – он очень знакомый, близкий... да, да, это его голос, его собственный... Он увел отсюда свою плоть, но частичка детской души еще витает там, где он прожил столько лет...

Рой бесчисленных снежинок вылетал из огромного улья – неба, они кружились, перегоняли друг друга...

Светало...

Мзалей видел, что природа не шутит. Он понимал, что надо что-то делать, но ни в большом доме, ни в людской никто не подавал признаков жизни. Когда он повернул обратно к дому, чтоб уж там решить, кого именно будить, до слуха его долетели едва слышные удары топора – выныривали из заполненного метелью пространства, похожие на стук камушков под водой. Он раздавался беспрерывно, этот звук работы – звук созидания, каждодневной будничной жизни, и с ним радость вошла в сердце Мзалея.

Он стряхнул с себя снег, облепивший одежду, и вернулся в дом. Через свою комнату прошел в залу, где находились старое потускневшее зеркало и старые же часы. Там его слух вдруг поразило четкое тиканье: никогда не обращал на него внимания – и потому никогда не слышал. Сейчас тиканье наполняло комнату.

Нащупал ключ, попал им в скважину, повернул – и удивился: кто-то успел завести механизм до отказа. По тому, как туго повернулся ключ, понял: заводили недавно, утром.

И шли часы – верно.

Он прислушался: все затаилось, было тихо в доме. Однако, раз завели часы, – кого-то время пригнало сюда, в залу, – заставило, видимо, ценить себя – хоть в мыслях... Что говорить о других, когда он сам всю жизнь транжирил время – даром что его часы шли исправно. Время стало его прижимать, когда юность уже была на исходе, когда пришла пора

неутолимой тоски по родине... Однако когда происходит такое... то, что касается всех без исключения и неизвестно куда приведет, люди – что господа, что крестьяне, что слуги – должны будут как-то объединиться. Большинство людей в обычном течении времени хотят быть незамеченными, инстинкт подсказывает, что это один из способов выжить, но во времена, когда что-то серьезно грозит всем, – уже хочется увидеть других и себя обозначить, восстановить связь насколько можно, чтоб ясно сделалось – никто не одинок, приободрить друг друга.

Сейчас, как никогда, кстати, если б несколько человек стали бы во главе деревни, поддержали, объединили всех. Лучше всего подходил Мсоуст. Но он попал в такое положение... Когда он сам предлагал свои услуги, протянул руку сельчанам, – никто не ответил, не посмел. Недаром говорят: обжегшийся горячим дует и на холодное. Настолько напуган народ, настолько лишен надежды... Бывают такие времена в жизни народа, когда нет места герою, он как бы становится лишним. В такое время люди опять отдают себя во власть своих старых предводителей-мучителей, которые не раз предавали, поступали гнуснейшим образом... людям кажется удобнее забежать, спрятаться в старые, привычные крепости, которые их никогда и не защищали.

Сейчас могло повернуться иначе. Вообще герой – с той самой минуты, когда он ступил на свой путь, – не должен отступать, думал Мзалей, должен гнуть свое, проводить свое, он не может и не должен дожидаться, пока сам народ его призовет. Жизнь для героя – как юность, она быстротечна, и потому надо, пока есть время, успеть...

Как только Мзалей вспомнил Мсоуста, ему стало казаться, что он слышит у затылка его дыхание. Прошелся по комнате. Он чувствовал, как в нем прибывают силы, будто глотнул какого-то необыкновенного живительного воздуха. И дыхание, которое он слышал у самого затылка, усиливалось и призывало не ждать, что-то предпринимать. Он действительно уже не мог оставаться в комнате; надел тулуп и вышел.

Рассвело. По полоске между туманом и снежным покровом видно было, как густо-густо и основательно сыплет снег. Стук топоров слышался уже четче.

В господском доме до сих пор никто не подавал признаков жизни. Посмотрел в сторону дома под кухню – амацурты: там вообще все двери были завалены снегом. Нигде ни дыма, вообще никаких признаков жизни. Что это с прислугой, удивился Мзалей, даже возмутился.

Пошел под навесом, соединяющим большой дом с амацуртой. Дойдя до открытой, заваленной снегом веранды, оглянулся на господский дом – и сердце замерло: столько снега навалило сверху, а все спят не чуя опасности... и мать...

Четырехскатная крыша была непростительно плоской. Он с детства помнил хижину-акуацв, в которой жил арфист. Ее венчала островерхая круглая крыша, – видимо, неспроста. Здесь много дождей, и, верно,

снегопады тоже выдавались обильные, к тому же снег тут тяжелый, мокрый (правда, этого не скажешь про нынешний; если бы сейчас навалило сырого снегу, какой обычно случается в этих местах, то, не приведи Господь, все было бы уже сравнено с землей). А хозяева домов, построенных сравнительно недавно, особенно господских, с такими вот широкими крышами, почти без наклона, – они будто заранее договаривались с небом, чтобы оно сыпало снегу не больше, чем выдерживают их крыши... Когда народ повержен, когда ему сдавили сердце, перебили хребет – отражается на всем... Потеряв уверенность в себе, люди начинают сомневаться, а зачастую и вовсе перестают верить в какую-то значимость своих привычных ценностей, своего опыта... если их уносит река – вместо того, чтобы хвататься за свою корягу, которая торчит у берега, хватаются за чужую соломинку. Правда, народы обмениваются опытом – так и должно быть, но часто – без смысла. Бывало – вместо того, чтобы обмениваться, кто-то совсем бросал все свое, и не потому, что был убежден, что собственное – хуже, а просто наставало такое время, когда кажется лучшим все, что там, где нас нет... не разобравшись, случалось, сразу и хватал, если даже в этом скрывалась его погибель... Те, кто сильнее, больше числом, – не усваивали, а присваивали, либо навязывали свое, намного худшее прежнего.

У одной из дверей амацурты Мзалей разгреб ногами снег, чтоб можно было приоткрыть, постучал кулаком.

– Кто? – послышалось через некоторое время, заспанное и простуженное.

– Открывайте! – бодро крикнул он. – Снег выпал, хороший снег!

В это время приотворилась соседняя дверь пониже. Только теперь Мзалей заметил, что снег там кто-то уже расчищал. В щель выглянула Чахуназ.

– Мой господин, – еле выговорила она. – Что с нами будет... Чем мы разгневали Бога, что так наказывает нас, какой грех мы совершили, чтобы заживо похоронить?.. – она перекрестилась. – Видно, все время вот об этом и говорили... говорили же о комете... конец света... – всхлипнула она.

– Я от тебя не ожидал, – засмеялся Мзалей. – Как тебе не стыдно! Сейчас же перестань!

– Не буду, не буду... – она поспешно вытерла слезы.

– Давно как встала?

– Давно.

– И почему не разводишь огонь!

– Разводить огонь... Что огонь... Что происходит, барин, что это происходит?..

– Сейчас же разводи огонь и ничего не бойся. Ты же лучше моего знаешь, как в народе говорят: не таков ливень, каков гром... – В своем голосе он слышал незнакомые самому себе нотки уверенности. – Ты занимайся обычным своим делом, только побыстрее и попроворнее, всех поставь на ноги... Повторяю, ничего страшного не произошло, выпало снега немного больше, чем обычно. Там, где я был, половину года лежит снег, но никто на это не жалуется. Правда, мы здесь не очень готовы – но подготовимся, правда?! Мы же – люди!

– Правда, но... – она тоже невольно улыбнулась. – Но...

– Никаких «но!» – весело отрезал он. Ему самому понравилось, что он не притворялся, а действительно был в духе: откуда-то из пространства к нему поспевала сила, придававшая ему неведомую прежде бодрость. – Итак, приступай!

– Приступаю!

– А ну-ка прислушайся! Слышишь что-нибудь?

– Конечно, слышу – стук топора!

– Видишь, люди давно занимаются обычным своим делом.

– Это у Бадры, – лукаво усмехнулась девушка. – Вот дают! Что бы ни происходило, они занимаются своим делом: или пашут, или сеют, или стучат топором...

– Такой стук – сейчас важнее всего!

– Они лучше, чем за собой, следят за своими топорами... – хмыкнула опять Чахуназ. – Я бегу, бегу...

– Беги!

Снег все не переставал.

ТЕ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ СЛЕДЯТ ЗА СВОИМИ ТОПОРАМИ, ЧЕМ ЗА СОБОЙ

Мелко, мелко мелет...
Песня жерновов

Киаса, жена Базалы, проснувшись и услышав перестук топоров, поняла, что проспала. Поднялась, быстро натянула холодную как змеиная кожа одежду, подошла к двери, открыла – и отпрянула назад, словно дверь, сама захлопнувшись, стукнула ее.

– Боже, Боже! – повторила шепотом и быстро-быстро перекрестилась. – Спаси и помилуй...

Фигуры Базалы и Бадры темнели в белой мгле снегопада. Они рубили старое ореховое дерево в углу двора. Не меньше чем сто лет давало тень и обильный урожай ореха, но в последние годы начало сохнуть. Во дворе все вдруг оказалось незнакомым, переменившимся: еле торчали из сугроба колья ограды, а высокие ветви орехового дерева неожиданно приблизились к земле. Отец и сын стояли в утоптанном снегу как в яме.

– Спаси и помилуй нас, Господи, – произнесла она громко. – Что мои глаза видят!

Она знала, что от Базалы ни один звук не ускользнет, вот и хотела увидеть, как он откликнется: по его голосу можно будет узнать, пал он духом или нет.

– А что твои глаза видят? – выдернув топор из толстенного орехового ствола, он обернулся к ней. Его смешные, торчащие, подрезанные усы были

сейчас белые, в сосульках. Лицо раскраснелось и в снежной мгле казалось моложавым. – Снега что ли не видела?..

– Такого – никогда... – ответила она, сразу успокоившись: настроение у мужа было даже приподнятое, – Не занесет нас совсем?

– Это уже не у меня надо спрашивать! – крикнул он, как всегда, когда торопился, близкий к легкому раздражению. – Ты лучше подложи больше дров в очаг и приготовь что-нибудь горяченькое. Вот это – твоя забота, а то, что ты спрашиваешь, не наша с тобой забота.

– Горячее, горячее, вам бы только вовремя поесть, – беззлобно огрызнулась Киаса, чтобы поддержать в себе бодрое настроение.

– Мать, поспеши, поспеши, а то мы уже скоро начнем снег глотать! – крикнул весело Бадра, словно собираясь играть в снежки.

– Смотрите, не валите дерево в мой огород, а то совсем не дам горячего, так и знайте! – крикнула она в ответ шутливо-предостерегающе.

Перекинувшись словом с мужем и сыном, она успокоилась, и страх улетучился. Всегда так было: поговорит она с ними – чуть грубовато, немного раздраженно, и на душе полегчает и работа спорится. Она боялась, когда вдруг ее мужчины, особенно Базала, не раздражались, не отвечали ей нарочито-грубовато, – или молчали, или, еще хуже, если вдруг становились мягкими и покорными.

...Этот страх, что до сих пор преследовал Киасу, родился давно... проснувшись, она тогда увидела, как смертельно поблескивало дуло ружья в свете коптилки. Базала стоял посреди комнаты в нижнем белье. «В чем я провинился, сынки, в чем?..» – услышала она тихий, жалкий голос – сейчас он не был хозяином своего голоса. Она встала тоже, но от страха сделалась такой невесомой, что не чувствовала под собой земной тверди. И было потом жутко и смешно вспоминать: тоже, нашла же время думать о его голосе, мягком и кротком...

Именно этот голос вывел ее из оцепенения... слезы просто брызнули из глаз, и было их так много, что она все время глотала, глотала их, чтобы не задушили, и страх прошел, и она стала между мужем и ружьем...

Но потом, когда все обошлось, вспоминая, она начинала дрожать от страха.

Возвращаясь в дом, она даже подумала, что в чем-то такой снег может и защитить. Она всегда была настолько привязана к повседневности, что ни назад, ни вперед не успевала ничего замечать и думала все время сегодняшним днем. Если не брать в расчет очень редкие дни страха или каких-то запомнившихся из всего, в общем-то незначительных радостей... И сейчас, когда природа прижала их таким образом, она опять же и четче увидела, что этим действием природа как бы стерла, изъяла на время из жизни все, кроме того, что надо исполнить сегодня, либо начать завтра с утра. Тут еще больше обнажились суть и способ их существования: хорошо и основательно сделав то, что надо делать сегодня, сохраняешь немного и вчерашнее – и облегчаешь переход к завтрашнему.

Ни разу не дав себе передохнуть, Базала и Бадра успели многое: они повалили, почти бесшумно, огромный орех; мелкие стволы, ветви все были обрублены на дрова и уложены на веранде у амацурты; большой ствол и другие поменьше, но ровные, которые можно было использовать, они оставили – пригодятся в хозяйстве.

– Такая древесина – орех! – говорил Базала, глядя на большой ствол, уже чуть занесенный снегом. – Орех – одна сердцевина...

Он сказал это и вдруг, первый раз за все это необычное утро, внимательно посмотрел на сына. Бадра заметил, но не подал виду. «Верно, проверяет, струсил я или нет, – решил он. – Не подумал ли я, зачем, мол, говорить о том, какая хорошая древесина из ореха, когда уже может не понадобиться, вообще ничего не понадобится». Когда понял, что это не так, что сын не пал духом, Базала стал насвистывать, будто праздно болтавшийся по переулкам гуляка. Так делал он всегда, ощутив душевное удовлетворение.

Пока Киаса собирала завтрак, они схватили деревянные лопаты, давно приготовленные для этой цели, на всякий случай, и кое-как проложили дорожки до скотного двора, чтоб можно было пока подойти туда. А снег все валил, и быстро заметал следы. Для начала скоту дали корм из тех запасов, что лежали наверху, в хлевах. Но Базала тут же сообразил: сразу после завтрака надо идти к стогам подальше от дома, там же и кукурузные стебли висят на деревьях, – нужно не мешкая принести, заполнить свободное место наверху в хлевах. То, что уже здесь приготовлено, надо беречь на случай крайней необходимости.

Завтракать сели уставшие, проголодавшиеся, и ели с особенным аппетитом, переговаривались громко, с азартом.

– Много снега навалило, – сказал, подняв чарку, Бадра. – Пусть еще больше счастья будет! – Голос его был таким, будто обращался еще к кому-то, кого сейчас нет с ними.

Это действительно было так: он молился в душе Богу и Майяне. Утром, увидев снегопад, он первым долгом подумал о Майяне, и так стало тревожно за нее, что дух захватило, словно глотнул самого крепкого первача.

Бадра выпил еще одну, но Базала сегодня совсем не дотронулся до чачи. И когда Бадра еще раз потянулся, он отодвинул от него штоф. Бывало, когда особенно холодно, и сам утром вместо завтрака он выпивал чарку первача. Макнет палец в соль – указательный, именно назначенный для стрельбы, но никогда не касавшийся курка, – макнет палец в соль, проведет по краю чарки – и выпьет. Когда Киаса начинала удивляться этому, он невозмутимо отвечал ей: «Ты когда-нибудь спрашивала себя, отчего размахиваешь порожней рукой, когда ходишь? То-то ж!..»

– Всю внутренность сожжет! – Киаса тоже поддержала молчаливый протест Базалы. – То, что получилось из самых последних выжимок, – совсем как огонь.

Бадра слушал их, но думал о Майяне: что могут сделать женщины в такой день, в такое ненастье...

Но хозяйство, дом, – это государство со своими правилами, правами и запретами, и просто вырваться, освободиться от них невозможно, пока они сами не отпустят, пока время не настанет. Они, эти правила, говорят, что главная задача каждого – занимать свое место. Только если у человека остается время от главного занятия, он может его использовать как хочет. Если же, не имея такого времени, уйдет, даже помогать кому-то, – оправдание ничего не значит, ибо больше теряется от того, что он оставил свое место.

– Маныху, чтоб засыпали меня землей... – решилась наконец напомнить о старшем сыне Киаса. Маныху находился в предгорных лесах со стадами овец и коз. – Если здесь столько выпало, и представить невозможно, что же там происходит! Анцва, Анцва, все в твоих силах, спаси и помилуй моего сына!

– Там, может, совсем и не метет, – бросил раздраженно Базала. – От того, что ты здесь болтаешь о них, – им лучше не станет, если не повредит... Им не впервой, там всегда достаточно снега выпадает. Теплые шерстяные вещи есть, оружие при них, сруб у них хороший, да и загоны приспособлены к ненастью. Их сруб выдержит в десять раз больше, чем эти дома... Но если действительно такой же снег там идет, будет плохо отарам... Что же делать, на все воля Божья...

– Мать, у них положение лучше, чем у нас, – поддержал отца Бадра. – Скот да они сами... Им не надо очищать крыши домов, пробиваться помогать соседям. У них там всегда есть лесные лыжи, прямо поверх снега ходят.

– Не наденут же они козам да овцам снегоступы... – Киасу нелегко было успокоить.

– А нам каково... Мы же не можем спокойно дома сидеть... сколько вдов, детей, беспомощных – и всем нужна помощь, – повторил Бадра. – А они – здоровые сильные ребята, там же у них пастушья община целая...

– Да, на это я и надеюсь, – сказала Киаса наконец, – их немало, и они все крепкие.

– Пока мы должны со своими делами покончить... – Базала обратил внимание на то, что сын настойчиво упоминал о помощи соседям. – Если наши крыши не выдержат, провалятся, то и мы окажемся лишней обузой, об этом не надо забывать. Все надо делать по порядку.

– У каждого сейчас достаточно своих забот, но они ведь не кончатся, пока идет, пока лежит снег, так что... – Бадра уже злился.

– Так можно было говорить, если б мы сидели сложа руки, но мы не сидим, и то, что мы делаем, уже становится общим делом... – Базала поднялся.

Базала был уверен в том, что он говорил. Человек должен одно успеть сделать до конца, думал он, а уж потом – дальше. А то, если начать метаться то туда, то сюда, вообще ничего не успеешь. И он не отступал даже сейчас от простых, но верных, по его убеждению, принципов.

Он не выдавал себя, но тревога о старшем мучила его. В самом Маныху, в том, что тот сумеет сориентироваться, поймет, как и что делать, как себя вести в столь необычных условиях, – Базала был уверен... и то верно, что

там, наверху, они все крепкие ребята... но он боялся лавины. При этаком снеге лавина могла сойти и в лесу. Он знает место, где они стоят, – и те, которые еще до них выбирали это место, выбрали с учетом всех возможностей, наиболее безопасное... но все же тревога не оставляла его пока...

– Как только очистим крыши, надо сплести лыжи, – сказал он, не в силах забыть о лавине. – Подходящую дикую лозу надо найти.

Только сейчас он вспомнил домишки арендаторов, те, на куриных ножках под самым склоном, и старика, у которого глаза были старее, чем лицо. Он даже приостановился у самого порога и несколько минут стоял как вкопанный. Несчастные, подумал он, несчастные... если и дальше так пойдет, их всех снесет, похоронит лавина.

Снег не переставал, мир был окутан снежной мглой.

Киаса тоже вышла за ними на веранду. Толстые сосульки с крыши уже почти касались вспухающего снизу сугроба. От того, что с самого утра в доме горит огонь, две-три из них чуть пожелтели от дыма и с них падали редкие желтые капли. След их сразу заносило снегом.

– Поддерживай огонь, подкладывай и сырые, разогреются – еще больше тепла будет, – сказал Базала громко, будто Киаса стоит где-то в отдалении.

– Куда же больше! – беззлобно огрызнулась она. – Дрова некуда девать? Все же заготовки под снегом лежат, а что, будете срубать все деревья, торчащие из снега? – Последние слова она произносила уже машинально, ее взгляд привлекли собаки: жались в углу веранды и тихонько скулили. Обычно и близко к дому никого и ничего не подпускавшие (после попытки ограбления завели овчарок), теперь они были охвачены страхом.

– И не стыдно вам?! – прикрикнула на них Киаса. – Позор, просто позор! От вас волки шарахаются, а вы снега убоялись, эх вы! – она отчитывала собак, но ею самою опять завладевал страх. – Дамш, Такар!!!

Овчарки повернули к ней головы и уставились на нее, как провинившиеся, даже не стряхивая с себя снег. Они мелко дрожали от холода, и внутри у них сами оживали, выходили наружу какие-то неведомые им звуки: и не визг, и не стон, и не лай, и не рычание...

– Такар!!! Такар!!! – вскрикнула Киаса, ей было жутко видеть своих овчарок такими.

Этот крик подействовал на собак, они вздрогнули, отряхнулись от снега и замерли, не дрожали. Замерла у порога и Киаса. Помедлили и Базала с Бадрой, совсем уж собравшиеся уйти. И сделалось тихо, только из дома доносилось потрескивание дров в очаге, да шуршал падающий снег, как шуршали бы трущиеся друг о друга огромные мотки шелковой пряжи... Словно бы чуть-чуть коснулась их своей могучей энергией сама природа, чуть захватила в своем движении, на миг заколдовала... почувствовав дыхание могучего пространства – долго ли выдержишь его близость, открытость, – через миг все очнулись, всех отпустило, все задвигались.

– Что ж это мы стоим! – Базала отнял голос у могучей приоткрывшейся силы. – Давайте, давайте!

– Такар! Дамш! Домой! – Киаса кивнула овчаркам, и они покорно последовали за ней.

Сначала они решили очистить крышу большого гостевого дома – акуаскиа. Бадра сказал отцу, чтобы он оставался внизу, или чистил низкие строения, хлева, например, но Базала не дал ему больше говорить. Когда они взобрались на крышу, белая мгла словно бы тоже поднялась выше, но снег все валил не ослабевая. Дом заметно подрагивал под огромной снеговой ношей. Именно это дрожание показывало, насколько дом еще крепок, пока хорошо выдерживает: недаром был собран из дуба и каштана. Добротно и из хорошего материала построенные дома похожи на здоровых, жизнеспособных людей. Когда ставили этот дом, Базала уже был подростком и помогал плотникам как мог. Теперь вот он уже стареет, а дом – еще молодой. Но он перед этим и другими домами чувствовал себя как перед старшими, почтенными по крайней мере: имеющими не меньше прав. Под этой крышей спали отец с матерью, отсюда выносили их гробы. Во время его свадьбы в одной части дома сидели за столом гости, что приехали с невестой, и его сверстники, а в другой комнате в платке невесты стояла Киаса... Там же, в той комнате, где она стояла, они провели весь первый год их семейной жизни. Амхару – домик для новобрачных – им не построили, зато оставили им весь большой дом, а отец и мать перешли в амацурту. Так же теперь он и Киаса перешли туда: под этой крышей, в большом доме, спит сейчас один Бадра, но это пока...

...Тогда дом стоял над ними, прикрыв их своей крышей, окружив своими стенами, как крепость. Дом тоже радовался и принимал участие в их счастье. Оно, это счастье, по крайней мере, постоянное ощущение его присутствия, – так быстротечно... Потом все превращается в привычку, в обыденность...

– Эх, какой был мастер! – глубоко вздохнул Базала. – Куагуса-уаста... Обо всем он знал – и о земле, на которой строил дома, и о небе, под которым оставлял их. Когда он строил дом, совсем молодой, немногим старше тебя... но видишь, как он расположил крышу, какие скаты... потому сейчас дому легче выдерживать такую тяжеленную ношу.

– Потому и снег счищать удобно! – подтвердил Бадра весело, весь облепленный снегом, который все валил и валил. Он двинул широкой лопатой большой срез снега, пласт дрогнул, отделился от остальной массы – и тихо-тихо пошел вниз... прошуршал, упал с гулом – и дом содрогнулся от удара.

– Не спеши, не спеши! – остановил раздраженно Базала. – Если так начнешь, дом свалит не то, что на нем лежит, а то, что так вот съезжает и падает вниз. Надо ниже спуститься и счищать лопатой. Перестань!

Бадра послушно начал орудовать лопатой, больше не устраивая маленькие лавины. Он чувствовал, что пот течет по всей спине и, наконец, порядком устав, приостановился; выпрямившись, подставил лицо густому

рою снежинок. Они приятно сыпались на разгоряченное лицо – словно бегали, резвились малюсенькие зверушки. Потом посмотрел на отца: тот работал лопатой не поднимая головы. Когда Бадра, спускаясь вниз, поравнялся с отцом, явственно услышал словно бы работу мехов, – постоянно подающих воздух на уголья жизни, – как бы сигнал, сообщение о том, как сильно изношены: через бронхи, пропитанные табачной копотью, не везде свободно проходит воздух, иногда с присвистом («поберегите нас немного, поберегите, чтобы не остаться нам дырявыми как сито, задыхающимися»)... Но хозяин никак не желал, не мог слышать эти сообщения: ему сколько еще надо было успеть сделать, пока они окончательно не остановятся, не в силах вдыхать и выдыхать воздух, станут как тряпка... Вдыхал, выдыхал, опять вдыхал...

Бадра сначала думал, что он будет очень жалеть отца, но этого не случилось: скорее, он его ревновал – не то к работе, не то к передышке, о которой отец не говорил. Базала видел, что сын отдыхает, но не обратил на это внимания и сам не остановился, продолжал работать. Это означало: нам сейчас некогда уставать. И Бадра чувствовал, что в нем шевелится какое-то безымянное чувство, похожее не то на зависть, не то на злорадство... протест против чего-то унизительного: отец прощал ему усталость...

Чтобы оправдать эти не очень понятные ему чувства, пробуждающееся вдруг словно бы недовольство отцом, он вспоминал что-нибудь такое, что как бы давало ему право неласково смотреть в ту сторону...

Он был уже почти взрослый, старший брат всегда с отарой, мать и отец давно перешли спать в амацурту... И вот, случалось, он просыпался, когда мать среди ночи заходила в гостевой дом, где он спал, быстро на ключ закрывала двери и устраивала себе здесь постель. Ложась, она долго, пока не согреется, ругала отца: «Совсем выжил из ума, – бормотала она, – на старости-то лет. Совсем... Если кто-нибудь узнает, это же позор, потом хоть вешайся...» А после еще чаще стала уносить ноги в гостевой дом, особенно в страду, когда отец работал не поднимая головы, как это умел он один, от зари до зари... и вот в такое время она еще убегала от его приставаний...

Они уже спустились достаточно низко, счищая снег своими широкими деревянными лопатами. Пора бы немного передохнуть. Но пока Базала не дойдет до того места, которое наметил, его не остановить. Шумят, хрипят, все чаще и чаще вдыхая-выдыхая, его старые, видавшие виды меха-легкие...

– Поспеши, поспеши! – бросил он раздраженно. В его горло вливался хрип из легких. – Как видишь, снег не перестает, а сколько у нас еще дел!

У Бадры больно заныло сердце при этих словах – вспомнил Майяну, ее маленький дом, но знал, что пока сам Базала не найдет нужным, не скажет, – от него не уйти, и потому промолчал.

Потом, как всегда, так вошли в работу, что обо всем забыли, кроме того, чем были заняты вот сейчас, в эту минуту. Снег заносил их, слепил. Но для Бадры снег был всегда лишь снегом, он еще слышал в нем голос своего детства, еще он оставался для него в какой-то мере забавой. Базала, напротив, уже явно чувствовал, насколько этот снегопад далек от того, когда снег

радует и детей и взрослых. И это заставляло его думать о вдовах, больных, их детях, о тех, у кого дома, хлева – старые, непрочные. Он опять вспомнил о том старике со столетними, утомленными глазами, язык которого не понимал. Увидел как наяву наспех сколоченные домишки на курьих ножках, жавшиеся к опасному крутому склону.

– Поспеши, поспеши! – бросил он сыну раздраженно.

Наконец Базала перестал часто взмахивать лопатой; упершись лопатой в пласт снега, толкнул – и от сплошного снежного покрова отделилась целая снежная полоса, скользнула вниз. От ее падения дом только чуть заметно задрожал. Бадра давно ждал этого момента – и принялся сталкивать снег большими пластами. Скоро один за одним были полностью очищены все четыре ската.

Закончив с гостевым домом, не переводя дух, стали счищать снег с хлевов. Стояли теперь внизу, на утоптанном пятачке, и пользовались особым приспособлением – ачала-хуап, похожим на лук с туго натянутой тетивой. «Стрелой» была длинная рукоять.

Когда очистили и крыши хлевов, Базала остановился, призадумался, и на лице его появилась лукавая улыбка.

– А ну-ка пойдем... – бросил он сыну и, как морскую волну разрывая ногами пушистый снег, пошел по направлению к одному из хлевов.

Что это ему в голову взбрело, подумал Бадра, опять хочет чем-то занять, отвлечь его. Снова вспомнил Майяну... – сердце сжалось в бессилии. Все же жалко стало старика... обошел отца и сам начал прокладывать путь в снегу, а было уже по самую грудь.

– Туда, где неприрученный бык... – подсказал ему Базала довольным голосом. Бадра догадался: отец что-то задумал, такое, что сам радуется. И опять появилось в его сердце чувство неприязни, недовольство не проходило, ему казалось, отец тормозит его продвижение к взрослости, к особым каким-то тайнам этого состояния.

Бык этот давно ходил неприрученный. Но он был хорошей породы, и потому Базала не спешил пустить его под железо, кастрировать. Однако в последнее время бык совсем разбушевался: уходил далеко в чужие стада, устраивал турниры с другими быками. Тогда Базала собрал несколько ребят покрепче, поймали быка и лишили его источника такого буйства. Но, оправившись, бык все равно не подчинился, не подпускал молодых производителей к коровам, беспощадно избивал их своими могучими рогами. Базала решил, что бык может присмиреть только под ярмом. Не было еще такого животного, которого бы не привело к подчинению ярмо.

Когда усилились морозы в последние дни, Базала опять собрал ребят, и они вместе с Бадрой поймали быка, водворили в отдельный загон в хлеву и крепко-накрепко закрыли дверь. Сначала и там тоже бык буйствовал, тыкался во все стены, но из сруба Базалы даже ему было не выйти. Устав, он успокоился.

Теперь отец и сын разгребали снег так, чтобы возможным сделалось открыть дверь.

– Ты отойди, – кивнул сыну Базала, сам подошел к двери, выбил клинья, которыми она была подперта, и с большим усилием отворил... Бадра посмотрел в щели: когда дверь открылась, бык выпучил удивленные глаза – мерцали в полутьме хлева. Подозревая какую-то уловку или испуганный неожиданным изменением в природе, он завертелся внутри загона, не решаясь выбежать наружу. Базале не было видно быка, он смотрел на то, как реагирует сын. Вдруг под запорошенными снегом ресницами Бадры радостно блеснули его глаза – к нему прорвалось чувство детства, озорства, голос которого он целый день слышал из-за снежной мглы... будто чертики играя прилетели к нему – и он крикнул зычно, весело:

– Хей-хей!!!

Быка раздразнил его голос: вылетел из дверей, черная линия по хребту изобразила изгиб, когда он ворвался в снег, а затем прыгнул, стараясь одолеть препятствие. Прыгнул – и провалился в сугроб: только испуганная шея да полоска на хребте виднелись. Рванулся еще, еще раз... Устав, он нырял в сугроб, и как от огромного крота – снег над ним вздымался, бугрился, ходил ходуном. Пробежав такими прыжками саженей двадцать, он стал. Из снега торчала только голова. И такими никчемными, ненужными казались сейчас грозные рога...

Как будто ждал этого целый день – из крепкой гортани Бадры вырвался смех, громкий, задорный и почему-то победный. Базала тоже засмеялся громко – не столько из-за быка, сколько оттого, что так заразительно смеялся сын.

Бык попытался еще выпрыгнуть, но не смог, и голова его бессильно зарылась в снег. «Му-у...» – жалобно замычал он. Существо, которое до сих пор везде выходило победителем, считало молодость, силу, крепкие рога неотъемлемой своей принадлежностью, сейчас будто спрашивало: «Что же это вы со мной делаете?»

Отец и сын перестали смеяться. Их тоже захватило это состояние... вид поверженного животного, которое с некоторой опаской, но выбежало, желая порезвиться, поразметать снежок, – и, столкнувшись с чем-то мощнее себя, чем-то непосильным, – так сразу сломалось.

– Давай проложим ему дорожку... – Взяв две лопаты, что стояли в хлеве для подборки навоза, Базала одну протянул сыну. – Порезвился – и хватит...

– Не порезвился, но сломался, – сказал Бадра. – Хотел приручить, вот он и готов, с сегодняшнего дня будет ручным.

Когда, разгребая лопатами снег, они приблизились к быку, тот опять замычал жалобно.

– Знаешь что, необузданный ты мой... – сказал Базала смеясь. – Оставь свое позорное мычание и потихоньку следуй за мной, – он спокойно взял быка за рога и потянул. Бык попробовал пошевелиться, и когда убедился, что снег его больше не держит, покорно пошел за человеком, низко наклонив голову, чтобы хозяину удобно было вести его за рога. Когда они подошли

близко к хлеву, Базала отпустил его рога, сам посторонился. Бык прямо прошел в хлев и преспокойно остановился внутри, в загоне, где некоторое время тому назад стоял как в темнице, в неволе. Еще не совсем придя в себя, он отряхнулся и опять промычал, глядя наружу, но уже спокойно.

– Дверь просто прикрой, – сказал Базала сыну и, повернувшись, направился домой. – Теперь его оттуда и силком не вытащишь.

Притворив дверь, Бадра посмотрел в щель: бык стоял ошеломленный, не дотрагиваясь до сена, и тоже сквозь щель смотрел на снежную мглу, окутавшую землю.

В БАРСКОЙ УСАДЬБЕ

Амарджа, амарджа!..
Эй, амарджа!..
Амарджа! – возглас предупреждения

Чахуназ принялась будить прислугу – девушек, женщин: звенел ее хлесткий, как перец, обжигающий голосок. Мзалей направился к мужской части прислуги. Дверь была не заперта. Он вошел в помещение, где сейчас спали. Длинные узкие столы, за которыми обычно обедали, были неприбраны, объедки, пустые и недопитые пиалы – в беспорядке по всему столу. На длинных деревянных лавках вдоль стен, из-под старых, прокопченных одеял, из-под бурок – разноголосый храп. На одном из столов, у большого, пузатого винного кувшина, в густой полутьме лоснилось дуло револьвера. Мзалей взял холодный револьвер в руки, направил дуло вверх и нажал на курок. Сверкнул огонь, грохнул выстрел. Храп прекратился. Еще раз нажал на курок... Несколько человек ошалело подняли голову, ожидающе прислушались. Но долго не могли в такой позе держать головы, видно, и без того тяжелые, – плюхнулись обратно.

Мзалей почувствовал – со злостью в него вошла, пронзила неведомая до того сила... он напрягся, готовый добиваться своего. Вспомнил: кое-кто из этих парней и в обычные дни вел себя распущенно, развязно. Потом, бывало, они исчезали на несколько дней. Возвращались, надменно не встречаясь взглядом с обитателями барского дома, замечая лишь тех, которых им угодно было заметить. Такие подчинялись только Умару – и не имели права подчиняться другим. Остальные еще не решались ослушаться самого Алму, но и они тоже явно давали понять, что подчиняются против своего желания.

Протест рождался внутри Мзалея быстро, внезапно, неожиданно.

– Вставай, подымайся! – гаркнул он – и удивился крепости и уверенности своего голоса, обычно негромкого и спокойного, смягченного воспитанием. И он сейчас понимал: это не то, что осталось в нем от былого, а новое,

сильное, неведомо откуда прибывающее... – Давно уже день, а вы все дрыхнете, – не стыдно вам?! – позабытые, куда-то отошедшие слова родного языка оживали и по первому зову становились на свои места. – Кто ж до таких пор дрыхнет из носящих мужские штаны?!

Все молчали.

Тогда он подскочил к одному их тех, кто только что приподнялся – и снова опустил голову, и сорвал с него старое одеяло и бурку. Парень присел, сунул руку под грязную свою подушку; пошарив и ничего не найдя там, вытащил руку обратно, и, резко вскинув голову, посмотрел сперва на пистолет у Мзалея, потом на него самого мутными полусонными глазами.

– Вы что, оглохли все или притворяетесь?! – сказал Мзалей серьезно. – Хотите, чтобы всех, и вас в том числе, придавили крыши? Немедленно всем подняться!

Присевший парень остыл с той же быстротой, с которой вспыхнул, безучастно выслушал Мзалея, держа голову склоненной к плечу, словно в ухо ему залетела муха, затем лениво зевнул.

– Ох-ох! – вдруг вскочил один из тех, которые даже не приподняли головы, а лишь прислушивались к разговору, – и, дрожа от холода, начал быстро-быстро одеваться. – Чтоб мне!.. Разве могу в моем-то положении оставаться на ночь там, где пил и ел... Мне же обязательно надо быть дома!

– Насчет этого теперь можешь не беспокоиться, – подкольнул его Мзалей. – Пожалуй, с неделю дома своего ты не увидишь, не надейся напрасно.

– Это отчего же, ваша светлость?! – он тоже по-своему подкольнул Мзалея, все еще дрожа от холода. – Почему – неделю, я сейчас же отправляюсь. Если вам нужны помощники, работники – вот сколько их, бездельников! – он указал рукой на еще валявшихся под бурками своих товарищей.

– Иди, я тебя не держу, – Мзалей лишь пожал плечами. – Остальные – тоже вставайте! Поднимайтесь, поднимайтесь!

– Обрадуй, обрадуй его, – толкнул еще лежавшего соседа один из проснувшихся и одевающихся, указывая на того, который торопился. – Скажи ему, что сегодня утром родился его отец, вот и резвится сейчас в колыбельке. Скажи ему, что еще и другая радость его ожидает: там на поляне ожеребилась его кляча и жеребеночек резво скачет по лугу*.

– Так и должно было случиться, – поддержал его приятель, тоже уже одевавшийся. – Вставший утром раньше всех – и удачу раньше всех встретит.

– Ты вот спустишься сейчас к поляне, возьмешь на руки жеребенка, сядешь на клячу и поедешь.

– Но на кляче далеко не ускачешь.

– Что же такого случилось с этой твоей клячей? Ожеребилась – ну и что, не она первая, не она последняя!..

– В том-то и дело, одного человека да жеребенка, которого носила в своей утробе столько месяцев, сейчас не может поднять!

– Сколько раз она тебя поднимала и везла, а что с ней сегодня, отлынивает?..

– Всегда, чтоб наверняка, – даже воду черпаком не зачерпнешь.

– Все изнашивается – даже каменные жернова...

– ...превращаются в тоненькие каменные листья.

– И тогда, чтоб их вращать, достаточно столько воды, сколько может вылакать одна паршивая собака.

– Это старая карга, твоя бабушка, целый день, говорят, из-за лени не ходила мочиться, терпела. К вечеру, когда совсем становилось невтерпеж, пойдет немного повыше к сухому руслу речушки, на которой работала мельница с этими стершимися жерновами, помочится (не пропадать же даром) – и вот этого достаточно было, чтобы жернова мололи три дня и три ночи!

– Да, да, три дня и три ночи!..

– И намелют столько, на семью хватает на целую неделю!

– Языки у вас чешутся!.. – огрызался тот, что спешил. Одевшись, взял свой пояс, кинжал с костяной рукоятью, натуго перепоясался и решительно направился к двери. Подошел к приоткрытой двери – и застыл, разинул рот. Потом, словно кто-то не выпускал его, сделал шаг назад, покрутился на месте. – Дома одни женщины... Из женщин тоже может передвигаться одна старушка мать. Дети маленькие. Жена – вы знаете, в каком положении... А вдруг она... а вдруг!..

– Тогда слезай с клячи, возьми ее на руки и езжай на жеребенке!

– Раз уж действительно спешишь, не слушай песню красотки, которая сидит на своем балконе да сочиняет небылицы.

– Не обязательно трогать рукой там, где обычно бывает голова, чтобы проверить – на месте ли она.

– При такой спешке и голова тебе не понадобится!

– До сегодня ее у тебя не было, что это вдруг приспичило?..

– Самое главное, клячу живой донести...

– Нет, нет, здесь многое меняется... если у твоей жены родился сын, не дари ему клячу!

– Да ну вас, хватит молоть языком, идите сюда и посмотрите, что происходит!

– Какое спокойствие, прямо позавидуешь! – в тон насмешникам добавил Мзалей. – Так вот знайте – в эту погоду никто сюда не придет работать за вас, как вы привыкли, все придется вам самим. Не то что сегодня, в ближайшие дни никого вы здесь и не увидите. Сколько будете сидеть сложа руки, столько и придется потом бегать.

– Я... – все крутился у входа тот, что спешил, – если даже в снегу задохнусь, я должен пойти! Что же это такое, что творится, не прорвалось ли небо! Боже милостивый, не осуждай меня, несмышленого, если не то говорю...

– И напоминать ему не надо, он сам прекрасно знает, что ты дурак. – Тот, первый, что так и не поднялся еще, зевнул, вызывающе посмотрел на Мзалея. – Если это возможно, положите мой револьвер на место.

Мзалей резко повернулся к нему (хватит, наконец, насмотрелся на твою наглость!): парень уставился мутными, наглыми глазами. Но и Мзалей понимал, что его собственный взгляд тоже был вовсе не мягкий. Тот опешил было, тень какого-то удивления, настороженности пробежала по лицу, но все же не уступил – не встал, даже не двинулся.

Это брат мой во всем виноват, подумал Мзалей, нельзя так распускать людей. Он вспомнил о брате, но никак не отозвалось в душе, не потеплело. Это, может, оттого, что они родные только по отцу? Какая же сила смогла стереть в брате все родовое, рода Анчаа, кровь ли его матери, которую отец проклинает при каждом упоминании?..

– Это не к добру, это – конец... – подойдя к Мзалею, тихо сказал тот, который спешил. – Рок нас преследует: если кто уцелел от одной беды, так другая обязательно должна найти его...

– Не нужно паниковать, – возразил Мзалей, – положение серьезное, но и преувеличивать не стоит. Все в наших руках. Если сам покорно ляжешь в воду – и мелкая речка унесет...

Парень внимательно посмотрел на него: видно, хотел бы ухватиться за какую-нибудь соломинку, немного успокоиться, но не получалось...

– Сколько твоим ребятишкам? – спросил Мзалей.

– Сколько... мало... Старшей десять, а младшая малышка еще...

– Но ходит уже?

– Ходить-то ходит...

– А твоя мать еще кое-что может делать по хозяйству?

– Без матери что, без матери я дома никто, она все и делает.

– Тогда не мучай себя понапрасну. Если что с женой, будет рожать, – есть кому помочь, это очень важно. Сегодня так потерпят, а до завтрашнего дня что-нибудь придумаем.

– До завтра, вы говорите?! – парень рванулся к двери. – Не то что до завтра, сейчас же я должен идти! Они там со страху перемрут. Даже соседей близко нет... Где соседи, всех изгнали за море...

Каждый, одевшись, подходил к двери – и обмирал. Окончательно рассвело. Туман немного приподнялся. Но снег сыпал не переставая и не ослабевая.

Тот, что спешил, выбрал из коротких не новых бурок свою, от старости уже побуревшую, и надел на плечи. В обычное время его обязательно стали бы дразнить «красной буркой», но сейчас уже никто не смел шутить. Все наконец-то поняли, что теперь вовсе не до шуток. Спешивший все завязывал кожаные тесемки бурки, снова развязывал, медлил, не знал, что предпринять. Наконец взял от стены чью-то дубинку и решительно вышел. На веранде снегу уже стало выше колен. Двинулся дальше, все проваливаясь, проваливаясь в сугроб. Никто ничего ему не говорил. Мзалей тоже молча

наблюдал за ним. Двигая плечами, парень прошел немного – и уже провалился по грудь. Остановился. Обернулся к ждавшим у дверей, выбрался из сугроба и вернулся на веранду. Отряхнул с себя снег – и посмотрел на Мзалея, будто спрашивая: что посоветуешь, не в силах ли помочь... Мзалей искренне жалел его, но сделать что-нибудь, тем более быстро, не виделось никакой возможности. Если бы, если бы... если б можно было помочь человеку именно тогда, когда ему это позарез нужно, необходимо... В таких обстоятельствах, верно, больше поможет Бог, чем человек, но искреннее желание помочь, которое он в себе почувствовал до боли, укрепляло в нем надежду – выстоим...

– Что же это, что же это... – сокрушенно бормотал тот, который спешил. – Почему так невзлюбил нас Всевышний, какой это грех мы, несчастные, совершили, что ничем невозможно искупить... Черт, дьявол с нами, взрослыми, но при чем здесь дети, в чем же их грех, этих невинных существ?!

– Не нужно сокрушаться, – сказал ему Мзалей. – Это ничего не дает. И не принесет искупления. Надо искать выход, а выход всегда есть. Например – крикнуть...

– Может, тому, который в небесах... – все подкалывал первый, нагловатый, поднявшись наконец и все недружелюбно посматривая в сторону Мзалея.

В нем говорит та поддержка, которую имеет от Умара, подумал Мзалей... ничего, погоди, ты теперь лишился этого преимущества... Он почувствовал, что вторая часть мысли была почти не его, какая-то сила, чей-то дух перехватил ее, подхватил и высказал по-своему. Сам он вовсе не думал так круто заключить.

– Надо крикнуть к тебе домой, – продолжал Мзалей.

– Отсюда?! – в глазах спешившего померкла последняя надежда, отразилось недоумение: неужели непонятно, что из этого ничего не выйдет.

– Да, отсюда, – неверие не смутило Мзалея. – Надо сделать невозможное возможным, а возможное-то всякий в любое время готов совершить... Мы отсюда крикнем самому здесь близкому: попросим, чтобы он в свою очередь передал наши слова соседу, тот – еще дальше... Оттуда, из твоего дома, сюда принесут весть таким же образом. Вообще надо покликать соседей, приободрить их. Этот снегопад – не навсегда же. Все, имеющее начало, имеет и конец.

Он велел парню подождать здесь, а сам поспешил в амацурту, где Чахуназ и ее подруги должны были готовить завтрак. Мимоходом глянул на большой гостевой дом: в снежной мгле виднелась часть крыши, не крыши, а громоздящегося на ней огромного сугроба. Да, тут придется нелегко.

В амацурте девушки уже разогревали огромный котел со вчерашним мясом и бульоном. Хотя дрова были сухие и горели прекрасно, весело гудело пламя, в доме было много дыма: все дымоходы были завалены снегом, крыша как бы закупорена, и дым своим теплом еще не смог отворить себе

путь, просочиться наружу. Чахуназ посмотрела на вошедшего Мзалея слезящимися от дыма глазами и доверчиво улыбнулась. Остальные девушки тоже все были заняты делом: одни накрывали длинные столы, другие счищали снег с террасы, чтобы он не успел примерзнуть к земляному полу, третьи просто убирали помещение.

– Скоро бульон будет готов, – сообщила Чахуназ. – Я же знаю, где у них души расположены, у этих лоботрясов, – в животе. Вот если хорошенько смочить эти «души», тогда еще их можно будет поднять с лежанки.

Она бодрилась, но Мзалею показалось, что у нее все еще дрожит голос, может вот-вот расплакаться.

– Что это с тобой? – спросил посмеиваясь Мзалей.

– Боюсь...

– Ничего не бойся, все будет хорошо! – он поднял над головой сжатый кулак и увидел, как на мгновение в лице Чахуназ мелькнула тень удивления и сразу исчезла. Сам себе удивляюсь, подумал он, не удивительно, что и она замечает... Видно, со стороны заметнее всякая перемена.

Он вернулся в людскую.

– Девушки оказались лучше нас: скоро подадут нам горяченького. Позавтракаем – и сразу за дело. Время не ждет. Сидеть и ждать сейчас – значит погибнуть... – Правда, подумал он, если в подобных случаях испугаться, отдаться во власть страха, – смерти подобно.

Никто никак не отозвался на его слова, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы хоть для себя же разжечь огонь. Спешивший парень все еще то подходил к двери, то метался внутри помещения. А владелец револьвера уже сидел у стола – видимо, пропустил одну-две чарки крепкого и ждал, пока его разогреет; тем временем рассматривал свой револьвер, будто видит его в первый раз.

Похоже, он остальным что-то сказал, как только я вышел, подумал Мзалей, потому и остальные тоже так себя ведут.

– Вы что, действительно хотите, чтобы всех спящих под крышей большого дома придавило снегом, или как? – начал он, стараясь быть спокойным. – Я вас спрашиваю!

– Мы посмотрим, что скажет Умар, ухацкы... – нехотя бросил владелец пистолета.

– Хоть ты пойди со мной, – обратился Мзалей к спешившему парню. – Это и в твоих интересах.

– Знаете что, господин хороший, – снова ответил ему за всех парень с пистолетом. (Дело не в нем... до чего братец его довел, подумал Мзалей. И почувствовал: снова среди всех других слов «братец» – было самым безвкусным, пустым.) – Если хочешь правду услышать, то, что, например, думаем мы, – иди спать. Господа не встают в такое время и не лезут не в свои дела, не в свои обязанности. Ты будешь иметь то, что имел и вчера, – и завтрак вовремя, и камин затопят, обслужат те, которые обязаны это сделать.

– Ну, идешь? – снова обратился Мзалей к спешившему парню.

– Я там, где ты скажешь, ваша светлость, но куда направимся, что в наших силах?

– Ты иди туда, куда я велю, – это можешь сделать?

Мзалей понимал: необходимо самому принять какое-то решение, это был не тот случай, при котором за него кто-то решал бы, а он лишь терпеливо ожидал... Тем более, что и не от кого было ждать сейчас какого-нибудь решения: такие как его отец и братья в обычное время ходят надутые, значительные, но в ситуациях, когда от них требуется немедленное решение и участие, – они бессильны.

Они обычно не задумывались, пока не припечет, о том, как к ним относится народ, – всегда были уверены, что и в большом и в малом им принадлежит первое слово... не думали о том, что это – страшная ответственность, которая неожиданно может потребовать немедленного и точного решения, что в ином случае ответственность эта может обернуться невидимой, неизведанной своей стороной...

Прошедшие бедствия еще раз доказали все это. Дворяне-аамста – и большие и малые – оказались ни к чему не готовыми, даже в самых незначительных делах. Они давно заняты лишь собой, своим эгоистическим – потому-то, когда пришла беда, основная их часть позорно забегала, спасая свои шкуры, предательски преступая святая святых народа, бросив единоплеменников в страшной беде. Потому-то они доходили до потери человеческого облика, обогащаясь на гибельном бедствии своего же народа.

А в жизни так все взаимосвязано – если допустить промах в малом, то и в крупном непременно это отразится, только в еще более внушительных масштабах.

И сейчас, когда природа испытывала всех, и все одинаково, без исключения очутились в равных обстоятельствах, – и сейчас первого слова ждут от них, дворян-аамста. Но здесь они бессильны. Хотя в такой ситуации труднее будет умыть руки и отойти в сторону, думал Мзалей. Те, что околачиваются при усадьбе – такие же работники, как и сами хозяева... развращенные ими же, например Умаром, на этот раз дармоеды эти вынуждены будут взяться за дело. Но если будет недостаточно их усилий? Вот тогда всем придется худо... Если сейчас они, семья Анчаа, не выйдут в народ, не обратятся к людям с призывом помочь друг другу, и первым долгом не им, своим господам, а более нуждающимся, – тогда и они сами, и их слова будут только лишним грузом в жизни народа – и больше ничего.

Каждый год к началу холодов чистили дымоходы большого дома Анчаа. И вот – высокая тяжелая лестница осталась, к счастью, на том самом месте, где ее приставили тогда к крыше – и забыли убрать. Безалаберность и лень дворовых обернулась неожиданной удачей.

Мзалей обрадовался лестнице. Чахуназ, выйдя на террасу, в недоумении смотрела на его деревянную лопату. Он же весело бросил ей:

– Эту лестницу не давало убрать какое-то предчувствие!

– Никакого предчувствия у них не было! Просто лень, да еще то, что я, не рассчитав, приготовила еду пораньше... Они, конечно, предпочли поесть, чем тащить на место тяжелую лестницу.

– Чахуназ, ты молодчина, мимо тебя ничего не пройдет! – засмеялся Мзалей. – Найди мне какие-нибудь сыромятные чусты, ноговицы, башлык, – я должен полезть на крышу.

– Что вы, что вы!!! – ужаснулась девушка. – Слыхано ли? Для чего тогда эти дармоеды, которых я кормлю?!

– Ничего удивительного, в такое время каждый должен делать все что может, – возразил Мзалей, приставив лопату и снегочистку с короткой ручкой к стене. – Скажем, никого бы дома не оказалось, кроме меня, что бы тогда было?!

– Я лучше сама полезу! – глаза Чахуназ сверкнули. – Только потом всем этим дармоедам по юбке сошью!

Немало времени потребовалось Мзалею, чтобы добраться сквозь сугроб до лестницы и кое-как очистить нижние ее ступени. Когда стал на них, обледенелые, скользкие, у него сердце дрогнуло – чуть не обернулся, посмотреть хоть на Чахуназ, увидеть хотя бы ее сочувствие... но вовремя сдержал себя. Нет, не он сам – он бы все же не сдержался, оглянулся, – а удержала его подоспевшая та некая новая сила, которая нынче то и дело доставала его, давала о себе знать. Только тогда до него дошло, что можно ведь потрясти лестницу и сбить снег. Так он и сделал – и отпрянул, насколько позволяла утоптанная им площадка. Но совсем уйти от рухнувшего сверху с лестницы снега не было никакой возможности. И если бы не эта подоспевшая на подмогу сила, может быть, он больше не смог бы даже пошевелить плечами. Но от этой силы он теперь стоял как каменное изваяние, и пласт снега, разбившись об него как о камень, засыпал его по самые плечи.

Выбравшись из завала, он сразу стал подниматься. Та новая сила была сейчас и в руках, и он довольно легко взбирался все выше. Наконец добрался до самой крыши, расчистил кусочек перед собой и без особых усилий переступил туда со скользкой ступеньки. Ощутив дрожание лестницы и оглянувшись, увидел за собой того парня, что торопился домой, – он уже поднялся до середины.

Когда, с трудом проложив дорожку, они взобрались по скату крыши наверх, снег не прекратился, но вроде стал сыпать слабее, и мгла немного рассеялась, туман поднялся. Им пришлось передохнуть, и сейчас оба стояли и смотрели вокруг. Лишь вдалеке в двух местах чернели отвесы скал, а все остальное пространство было белым бело. Ближе над заваленными снегом крышами сочился дым – казалось, в нескольких местах подожгли сугробы. Дымок очага как знамя жизни и тепла победно развевался над домами, почти занесенными метелью. Постепенно стали до них доходить звуки, голоса этой новой, непривычной, необычайной будничности. Мзалей обернулся к своему напарнику: взгляд парня блуждал, по-видимому, еще не узнавая такое

знакомое, такое переменившееся пространство. Вдруг его тусклое лицо засветилось, заулыбалось:

– Дым, дым идет! – выговорил он дрожащим голосом.

– А что ты думал! – Мзалею приятно было видеть искренний восторг растерявшегося человека. – И будет так, и должно быть так и сегодня, и завтра, и всегда! Это те только твоя обязанность – стараться, чтобы над твоим домом вился дымок, – наша общая обязанность... и наоборот.

– Так со мной никогда никто не разговаривал, ваша светлость, ухацкы, – оживился парень. – Только повторяли: ты обязан, ты должен... – Призадумался, потом смущенно спросил: – А что, если я действительно крикну? Неудобно все же, с барского двора...

– Как у тебя с голосом?

– С голосом – порядок.

– Тогда давай!

– Сначала я крикну Нахару, Нахар – Гадаре, Гадара – Кушашу, а голос Кушаша легко достанет до нашего дома... – Он оперся на деревянную лопату, кашлянул, прочистил горло. Сам был среднего роста, недюжий, но голос оказался сильный и приятный. (Видимо, такие люди и возглашали в древности клич «иахуалак», извещая всех о надвигающейся опасности.)

Услышав его голос, на террасу выбежала отлынивающая, ждущая указаний Умара прислуга. Выбежали-то, желая повеселиться, посмеяться над ним, но смелость кричавшего, обезоруживала: кричать, стоя на крыше барского дома... Их развратил в каких-то мелочах сам Умар, но в основном, в главном, – они не то чтобы переходить запреты, рамки, границы барской усадьбы, ее власти, – даже близко к такому не подходили.

Голос кричавшего заглушал туман, снежная мгла, опять спускавшаяся ниже.

– Нахар! – кричал он. – Это говорю я, Маху... обязательно передай Гадаре, чтобы он передал Кушашу, а Кушаш чтобы передал моей матери... – он запнулся, помялся, не зная, как выразить лучше и как это положено в таких случаях, посмотрел на Мзалея, улыбнулся ему, словно прося прощения, а потом вдруг нашелся: – Чтобы спросил, как они там, и добавил бы, что я постараюсь выбраться! Затем пусть ответ передаст обратно. Не забудь сказать, чтобы он передал ответ!

Потом издалека голос Нахара то доносился, то проваливался. Туман спустился еще ниже, снег опять повалил хлопьями. И те, которые сгрудились на террасе, и они сами на крыше ждали, обратившись в слух. Стало так тихо, что явственно слышалось шуршание густо падающих хлопьев, словно соприкасались, терлись друг о друга огромные мотки шелка.

Спустя некоторое время вдруг от дома Нахара донеслись один за другим два выстрела. И – сделалось словно бы еще тише. Лишь шуршал мягко падающий снег – терлись друг о друга огромные нити шелковой пряжи. Мзалей осторожно посмотрел на Маху, чтобы не спугнуть его. У того опять засветилось лицо: и щеки, и нос, и скулы, и губы – все ожило, было в движении, словно желая дружно поддержать хозяина в его радости.

– Значит – сын! – понял Мзалей.

Маху тихонько отвернулся, чтобы не дать увидеть свои повлажневшие глаза.

– Стреляйте! Что вы там, остолбенели, что ли! – крикнул Мзалей вниз – прислуге. – Родился сын! Хорошее предзнаменование – родиться в такое время!

Наконец от столпившихся на веранде отделился владелец пистолета, направил дуло в небо, обрушившееся на землю необыкновенным снегопадом, и выстрелил. И сразу все внизу разошлись, – видимо, решив, что пора уже заняться чем-нибудь, каким-то делом.

– Может быть, начнем, – Мзалей взял лопату.

– Начнем, ваша светлость, теперь-то я гору сворочу! – и парень вонзил свою широкую деревянную лопату в снег. – Я родился, когда покойный отец сидел и ждал своей участи, собрав, связав узлы в дорогу. Это было в страшные времена изгнания... – Маху говорил и энергично взмахивал лопатой. – Он не был нытиком, не так просто было заставить его пасть духом, но сам не выстрелил и другим не разрешил...

– Напрасно, надо было!

– Тогда и родившиеся проклинали день, в который появились на этот немилосердный свет...

– Все равно, надо было! Назло врагам, немилосердному небу, всем алчным, с нетерпением ожидавших беды другого народа, чтобы занять его место, его землю, его родину! – Мзалей сам не ожидал от себя таких слов, обычно несвойственных ему, но явно опять в него проникала какая-то сила, блуждавшая здесь, державшаяся где-то рядом наготове. Он не хотел даже самому себе в этом признаться, но догадывался, откуда она идет и чья она. Это было как наваждение, и в обычных условиях могло бы испугать. Но теперь та же сила придавала ему такую уверенность, что все страхи были ему нипочем.

– Тогда открыто говорили, – продолжал Маху, – что лучше бы ашапачапацва – носители душ – так и носили бы вечно их души, не воскресив их в теперешней плоти...

– Надо было выстрелить... в любом случае! Выстрел – это преодоление, победа!.. – Мзалей чувствовал себя словно бы в экстазе. Еще и то действовало – был момент, когда всякая работа приятна: только начало, пот только-только оживает...

– Отец мой хотел потом исправить! – засмеялся Маху. Смех его говорил – он счастлив. А что он видел в этой жизни... чтобы почувствовал себя счастливым, ему не так уж много нужно... Хотя рождение сына – это действительно было счастьем. И пока рождение ребенка – праздник, счастье, – народ жив.

С непривычки к такой работе оказалось, что усталось лежала недалеко, но еще больше было у Мзалея желания слышать вокруг голоса, учащенное дыхание людей, чувствовать беспрерывный ритм их труда, находиться, участвовать в нем.

– Отец повторял – выстрелю, как только у тебя родится сын, – Маху немного смущался последних слов, но не мог не выговориться. – Ему пришлось ждать, пока я не создал семью. Создал семью, родилась дочка. Опять стал ждать, следующего раза. И следующий раз родилась дочь. Опять ружье отца осталось неразряженным.

– Дальше?..

– Дальше он не стал ждать... сказал, что и так ждал достаточно, что уже там все его сверстники... посоветовал моей матери не торопиться, приказал долго жить. Но прежде чем уйти, завещал мне: если родится сын, выстрелить, и выстрелить два раза – и за тот, тогда не произведенный выстрел... И видишь, ухацкы, как все вышло сегодня.

– Хорошо вышло... Верно, Нахар знал о желании твоего отца.

– И там, у меня дома, не стояли спустя рукава, я уверен, что отцовское ружье разрядили – и два раза. Моя мать так стреляет – на лету птице в глаз попадет. И Кушаш бы выстрелил, и Гадара...

– Какой герой, какой красавец, если б еще на нем была голова! – Мзалей и Маху, все облепленные снегом, оглянулись: трое из тех, подшучивавших утром над Маху, поднялись до половины соседнего ската крыши.

– Ох-ох, где же моя головушка... – Маху повел над собой рукой и посмотрел на свою ладонь. – А какая была голова!

– Поищи, поищи получше! – бросил один из парней, мощными движениями сгребая снег.

– Это ты ее должен найти, а она тебя не найдет, не догадается!

– Когда была на месте, как она тебе служила, нормально?

– Да нет, не она ему служила, – он ее носил, как носят деревянную миску с едой для работников, таких как мы.

Мзалей смеялся со всеми, рои снежинок падали на разгоряченное лицо и остужали щеки и лоб, на душе становилось хорошо.

– Вот видите, вы все не так говорите, без моей помощи не обойтись вам, – Маху приостановился. – Я совсем было запамятовал, где же моя голова: давеча возвращался из очередного похода ради славы – хидзрацара – и там, где пересекаются семь дорог, чтобы не узнали меня ожидавшие в засаде, я взял ее, голову свою, и сунул за пазуху, поглубже. – Оглянулся на приятелей, показал рукой: мол, сейчас только добыл голову из укрытия и снова водрузил на собственную шею.

– Это же не твоя!

– Да, да, что-то припоминаю, – согласился Маху. – Когда засада напала на меня, я посрывал с них головы, и одну из них, видно, сгоряча, тоже засунул вместе со своей.

– А как же твоя собственная?

– Верно, потерял... или ее подхватил тот, которого я обезглавил.

– Вот повезло-то ему: до чего безотказную голову приобрел! Она любила поболтать.

– А он будет ее слушать и винцо попивать...

– А что новая, подходит тебе, не слишком громоздкая, или как?

– Подходит, подходит, как раз по мне.

– Ах вот оно что, а я-то все думаю, с чего это вдруг у него родился сын, когда все время только девочки рождались... На нем же чужая голова! Значит, все благодаря тому, который потерял эту голову?

Все смеялись, и работа спорилась.

Почему-то эти последние слова подействовали на Мзалея, и прекрасное настроение исчезло. И почему-то вдруг оставила сила, поддерживавшая его, словно объявив, – мол, справляйся своими силенками... он вдруг сделался вялым, заметил, что уже устал, рубашка прилипла к потной спине, – и стало казаться, что снег, который здесь доставал до самого горла, может запросто задушить...

– Ты все же молодчина, Маху, – сказал один из парней. – Родил сына! Внизу пошли доставать лозу для лыж-плетенок, первые предназначаются тебе. На лыжах доберешься до дома!

– Не думай, что это вдруг стали так стараться для тебя, – это ради того мальчика-наследника, который родился!

– Божьей вам милости! – воскликнул Маху. – Да, да, да, лыжи, конечно, лыжи! Как я сразу не догадался – дурья моя голова! – Он даже стукнул себя кулаком по голове.

– Слушайте, – предположил один из приятелей, – он же и при своей собственной голове с трудом отыскивал свой дом, каково же ему придется сейчас, с чужой?!

Смеялись дружно. Но Мзалей, оставшись опять один, за границей их простого, но живого веселья, не смеялся, изо всех сил старался не показать, что он уже устал, что ладони натружены и горят с непривычки.

– Не бойся, Маху, сынок сам тебя найдет! – продолжали насмешничать парни. – Он уже знает, что ты родился рано утром и дожидаешься его в своей колыбельке, он уже ищет тебя!

– Вот видишь, это он едет, несет на луке седла твою клячу, желает подарить тебе, – говоривший махнул рукой, указал на сгустившуюся снежную мглу, из-за которой за несколько шагов ничего не было видно.

– Да, да, вижу, вижу! – готовно откликнулся Маху. – Он едет на жеребеночке, который тоже родился сегодня утром!

Мзалей уже слышал их смех, будто балагуры отдалились как-то... и тут до него донесся новый голос. Поднял голову, но из-за огромного сугроба ничего не было видно, что делается внизу, во дворе. И сразу же почувствовал у самого затылка знакомое горячее, обжигающее дыхание... вздрогнул, выпрямился, ноги крепче придавили снег, – в общем, что-то сразу вернуло его к жизни, и он услышал равномерное утяжеленное дыхание тех, кто не поднимая головы сгребал рядом снег.

– Ты и младше всех нас и лучше всех нас!* – услышал он снизу знакомый колючий голос Умара. Правда, сейчас тот постарался говорить без обычных шипов.

Несколько раз ударив лопатой, Мзалей проделал в сугробе щель, через которую увидел на террасе людской Умара. Голова его была обвязана башлыком. На лице – непривычная улыбка, которая действительно ему не шла.

Все равно, не верь ему ни в чем, подсказывала душа, приободренная долетавшей и выручавшей силой, не может он быть искренним, это он сейчас такой – чуть прикрыл осиное гнездо своих постоянных пакостей, да и к тому ж еще струсил.

Они с Маху уже многое успели. С возвращением к нему той выручающей силы он работал легко и охотно. На соседних скатах крыши все замолчали, орудуя лопатами. Его постепенно уводило к раздумьям. Они теперь оказывались не праздными упражнениями ума, а живой частью его самого, его сегодняшнего бытия. Как бы ни относились скептики к этой мысли, – жизнь человека, живущего только ради себя, не может образовать счастье, как нормальный фрукт образует семя. Человек должен представлять собой нечто оправдывающее его земное существование. Насколько в нем присутствует это нечто, настолько его жизнь приобретает способность образовывать счастье, как хорошо и со знанием дела выращенный шелкопряд – дает больше и лучше шелка. Для такой жизни счастье – все равно как семя для плода. Человеческую жизнь делает бессмертной то, что порождает семя. Значит, бессмертие – в счастье, жизнь делает бессмертной – счастье...

Но откуда истоки, корни его, этого счастья, в жизни ли не для себя? А может, так: сначала заняться собой, понять себя, научиться жить для себя, потом уже – ради других? Конечно, тот, который не сделал все возможное, не готов отдать всего себя, свою жизнь, в час, когда твой народ вдруг теряет волю, разжимает так долго сжатые для борьбы руки и готов отдаться воле судьбы, – он ничтожный предатель и явился на этот свет напрасно. Нет, нет, дело не в том, чтобы быть на видном месте, добыть власть, славу... В такие моменты все эти соблазны опасны. Бывало, и рождались с такой страстью, как с врожденным пороком, а бывало, что приобреталось это уже при жизни в силу разных обстоятельств. Например, у очага, у огня, в середине – не сажали бы по старшинству... У очага, у огня занять свое место, рассадить всех так, чтобы каждый оказался где заслуживает – по возрасту, уму, семейному, общественному положению, – о-о, это не простое дело и не вчера началось. Кто знает, сколько времени понадобилось, пока утвердился порядок. И безусловно, все гладко никогда не было, и нет, и будет ли... не всегда всем достаются свои места, да и вообще места. Кое в чем это решено, – скажем, известно место старейшины, ребенка или там дефективного... Только среди здоровых никак до сих пор не поделят все эти места, чтобы по справедливости.

Главное свойство, которое Мзалей ставит выше всего, это умение так посадить, чтобы всем доставалось тепло огня, очага.

В это время он особенно явно услышал, почувствовал горячее, шумное чье-то дыхание... остановился, выпрямился, огляделся: Маху работал немного дальше, других из-за снега не видно было, снег все валил.

Неужели, подумал он, так может действовать дух живого человека, который находится бог знает где. Вообще, где бы ни находился?..

Он продолжал работать, уже с Маху заканчивали один скат, но снег все не ослабевал, уже и на очищенное наметало. Нет, нет, подумал он, природа не шутить вздумала – все шутки отложила в сторону. Вернее, если и решила пошутить, так уж крепко.

Когда в очередной раз он выпрямил спину, увидел, как дымят все трубы дома. Сейчас внизу уже, видимо, собрались у огня, дым которого поднимается сюда, сидят отец, мать, Сафия, Эсма, сорванец Астамыр, Хирипс. Если б это был обычный снег, то голос Астамыра гремел бы везде, но сегодня он притаился как мышь, видать, и носа еще не высунул во двор.

На душе у него сделалось хорошо оттого, что они там сидят в тепле, а он здесь с теми, кто очищает крышу... И сразу чувство непонимания, неприязни, сопровождавшее его все это время, как будто улеглось, смягчилось, как будто приблизилась надежда на его преодоление. Он подумал, что такие вот моменты и ведут к примирению, к пониманию.

Опять берется за лопату, с еще большим удовольствием сбрасывает вниз пласты снега. Мать-природа, думает Мзалей, иногда подвергает нас испытаниям, чтобы мы не расслаблялись, не теряли силу и дух, способны были выдержать испытания и потруднее. Значит, получается, и ей не ведомо все, что ждет нас впереди...

Скольких могут обогреть эти домишки, разбросанные окрест, среди теперешнего моря холода? А ведь в лесах, за деревней, на холмах, в ущельях, тонущих в снежной мгле, есть и другие хозяева – звери. Их всех неожиданно главный их хозяин – природа поставила на край гибели. В такое время, когда общая беда, должно быть, между ними тоже – если не исчезает совсем, то хотя бы ослабевает вражда? А может быть, и вовсе отменяется правило сильного и слабого, побеждающего и побеждаемого...

Когда они спускались, освободив от снега крышу большого дома, Маху остановился на середине лестницы и рукой указал на крышу амацурты. Ее тоже уже очистили, и сугробы вокруг теперь были вровень с ней. Вокруг прочищенных дымоходов образовались проталины. На одной из них лежали, жались к дымоходу собаки.

– Всех сбило с толку, – сказал Мзалей с жалостью, глядя на бедных животных. – Но привыкнут, придут в себя.

Когда они вошли в кухню-амацурту, дворовые, на минутку забежавшие погреться, все легко одетые, дружно встали. Расступились и указали место, где сесть (место у очага, исток всех престолов). И Мзалей прошел не церемонясь, занял это место, но так, чтобы рядом с ним мог поместиться еще один человек. Сразу перед ними поставили длинные узкие столики-аишва и сразу же накрыли: подали в глубоких деревянных чашках дымящийся горячий бульон. Мзалей вынул часы и посмотрел: было начало двенадцатого. Раз к полудню снег не прекратился, хотя бы на время, уже трудно было

предугадать, когда кончит мести, – потому надо было отправлять Маху домой.

Хлебнув несколько ложек бульона, Мзалей потянулся к чарке. Смуглая, какая-то вечно пугливая и оттого казавшаяся чересчур быстрой молодая девушка из прислуги взяла кувшин и налила ему первача. Вино сегодня как-то не подходило. Мзалей все и всех благословил, сказал, что если даже слишком много снега – это Божья воля, и главное, не надо на все смотреть как на бедствие, падать духом. Потом еще поднял за родившегося в этот особенный день, который непременно останется в памяти людей, родившегося сегодня ребенка, сына своего отца, своего народа, нового человека.

– Позавтракай – и в путь, Маху, – сказал Мзалей. – Ребята проведут тебя немного, а потом, я думаю, сам доберешься. Все равно, все мы должны будем научиться пользоваться лыжами...

– Он притворяется только, – вставил тот, который утром был сильно не в духе, но сейчас сидел немного пристыженный. – Ничто его не возьмет, весь их род... как только стемнеет, рыщут на волках по горам, по долинам. Зачем его провожать, он, как только зайдет за поворот, покличет своего матерого, – не успеешь глазом моргнуть – будет на месте.

Все засмеялись, но никто не гоготал, как утром.

– Плохи дела у волков теперь, – заметил Маху серьезно. – Снег выпал и для них.

– Видите, они уже успели ему пожаловаться, – добавил кто-то из парней, осушив еще чарку.

– А вообще, куда ему спешить, – еще более оживился тот, который утром был не в духе. – Его старушка мать до сих пор лазит на самые высокие деревья, на самую макушку, где никто не удержится, кроме нее да маленькой пичужки. Чтобы не уронить ни одной виноградины, достает до самого конца самой тонкой ветви. Вот она какая!

– Видишь, ухацкы. – сказал Маху, обращаясь к Мзалею, – я смеюсь вместе с теми, которые смеются надо мной, но в том, что он говорит, есть доля правды: моя мать до сих пор лазит по деревьям и собирает виноград. Я, например, не осмелюсь полезть на дерево, на которое она поднимается свободно...

– А он внизу убирает за ней наполненные корзины!

– Что ж ему больше остается делать, раз боится лезть на дерево!

– Боится, как не бояться! Он еще в утробе испугался, она с ним в животе так же свободно лазила на самую макушку, как обычно. Испугавшись тогда, до сих пор не пришел в себя!

– Как это не пришел, сегодня же поднялся на крышу дома!

– Ты прав, об этом я и не подумал! – действительно удивился тот, который утром был не в духе.

– А что, ты и вправду боишься дерева? – спросил Мзалей заинтересованно.

– Это так, ухацкы, – согласно покачал головой Маху. – Не то чтобы совсем, но это плохо мне удается – лазить на что-нибудь.

– Сегодня же ты поднялся на такую крышу, это же несравненно труднее, чем влезть на дерево?

– Сегодня так получилось – это твоя заслуга, мой господин.

– Спасибо тебе, Маху!

– Это тебе спасибо, ухацкы!

На ноги Маху надели прочные снегоступы из прутьев лавровишни, еще двое парней довольствовались наспех изготовленными из дикой лозы, добытой сегодня же.

В это время раздались звуки арфы, и Мзалей только сейчас заметил арфиста, сидевшего в самом углу, куда почти не доставало тепло. Старик несколько раз прошелся пальцами по струнам и потом, словно озвучивал, пересказывал невнятное бормотание снегопада, тихо начал:

Не плачь, пока мать не придет,
Не плачь, пока отец не придет...

«Колыбельная»... Продолжение рода, продолжение жизни... Оно побеждало все, рождая любовь, рождая песню, противопоставляя вечным невзгодам жизни – бессмертие, рожденное любовью.

КОГДА ЖИЗНЬ НА ВОЛОСКЕ

Дуновение – исцеляющее...
Кто в силах вспахать песок...
Заклинание боли

Он очнулся – не помнил, где находится, что с ним: весь горел, а в то же время трясло, в горле так пересохло, что казалось – тронешь – так и рассыплется пеплом, выдох опалял, как жар из камина. Голова раскалывалась. «Что же это такое... – в глубине замутненного сознания мелькнуло недоумение. – Неужели сгину... так бесславно...»

Потом все потонуло в жару и сознание больше не пробивалось...

Огонь давно потух. Внутри сруба было холодно, но хотя бы не продувало. Только просыпавшаяся из какой-то щели у самого очага лежала полоска снега. Снежок прошел через щель в самом начале, потом крышу замело. Снаружи кружила метель. Утром крыша еще торчала из сугроба, но затем над ней обломилась под тяжестью снега большая ветвь пихты, и пласт накрыл сторожку. К счастью, крыша выдержала, не просела, но теперь сруба вообще не было видно со стороны.

Мсоуст все метался в жару, голова сползла с деревянного подголовника лежанки, свесилась вниз. Лицо горело, губы потрескались, черная жесткая

щетина покрывала щеки и подбородок. Бурка, которой он накрылся, сползла и одной полой лежала в золе очага.

Бревна сруба, хорошо просохшие в летний зной, в осеннюю и зимнюю сушь, сейчас, оседая под тяжестью снега, то и дело потрескивали. Метель постепенно сравняла всхолмление на том месте, где стоял сруб. Опустившуюся на горную тайгу, как снежная мгла, тишину нарушал лишь треск ломающихся от непривычной тяжести ветвей да негромкий посвист набегавшей то и дело поземки. Треснет где-то ветвь – и за ней сразу несколько в разных местах, подобно тому как петухи сразу отзываются на крик соседа. И вдруг, заглушив все, раздается громкий, мощный как выстрел треск. Видно, для какой-то пихты, долго подпиравшей верхушкой небо, этот день стал последним. То ли старость, то ли просто неудачная минута, или еще что-то, – на этот раз не прошло даром.

Наконец метель охватила все, везде поет чуть слышно, не буйствуя, почти кротко. «Чфф-ффу, чфф-ффу», – дует на обжигаемые снегом раны лопнувших ветвей, сломанных деревьев: «Чфф-ффу, чфф-ффу!»

Но до Мсоуста она не достает, даже если ее дух целебный и в силах снять с него все боли, сдуть их за семь гор, за семь морей.

«Чфф-ффу, чфф-ффу...» («Я дую на рану, я сдую все боли... подую на сглаз – сдую сглаз... если сглаз покойника – с покойником уйдет, если сглаз живого – на истязание пошлю...»)

Через некоторое время Мсоуст снова очнулся – его трясло, зуб на зуб не попадал, бурка совсем сползла вниз. «Что же это со мной творится...» – шевельнулось где-то в глубине замутненного сознания. Оно, пересиливая черноту, давало еще знать: если не соберет все остатки сил и не предпримет что-нибудь, ждет его верная гибель. «Сгинуть так глупо, исчезнуть дождевым пузырьком на луже...» – шевелилось, шевелилось в глубине сознания – и беспомощно замирало.

Находясь в том же полуобморочном состоянии, он сделал усилие, хотел привстать, но оказалось – основательно был прикован к этим грубо обтесанным доскам: всего-то дернулась голова – и стукнулась обратно, только уже попав на этот раз на дощатый подголовник. Через некоторое время он опять попробовал... На этот раз непослушными пальцами вцепился в выступ стены и, превозмогая себя, с нечеловеческим усилием присел. Во всем его организме все горело, гудело, болело, кости ломило так, что, казалось, трещат... Голова до того кружилась – никак не мог приподнять. Когда он наконец еле-еле разлепил веки, разглядел – бурка валяется внизу. Это говорило о том, что огонь совсем погас. «А не то, – шевельнулось в глубине сознания, – а не то уже так бы согрелся – навек...» Ему хотелось попробовать поднять бурку, но замутненным сознанием он боялся, что и сам тоже может свалиться на пол. Он все силился разобраться, что же такое с ним случилось, что так скосило его и почему, – но не получилось. Догадывался лишь, что времени прошло немного.

Но если он сдастся – конец. Он не мог связать свои мысли, но всей плотью чувствовал: надо постараться что-то предпринять. Попытался было

опустить одну ногу и зацепить бурку, но пришлось отказаться – сразу стал терять сознание. Все же, когда сознание вернулось, он пересилил – опустил ногу и понемногу подтянул бурку к нарам, но большего добиться не мог.

«И это все, на что я оказался способным?..» – услышал он совершенно чужой, незнакомый голос, как бы из иного мира. Он чувствовал смутно досаду, недовольство собой, и это чувство неожиданным образом помогло: приподнялся все же, достал бурку уже рукой и, держась другой рукой за стену, натянул ее на плечи. Но дальше – опять все в глазах закружилось, он снова стал терять сознание. Успев все же понять, что падает, наклонился к лежанке – лишь бы грохнуться туда, а не оземь.

Когда еще раз пришел в себя, оказалось, что лежит в кромешной тьме, будто живьем зарыли. Он весь горел. Чувствовал, что температура не очень-то спала, но головокружение, головная боль, ломота в костях поутихли, и сознание вроде работало. Он опять попытался понять свое положение, хотя что-нибудь узнать... какие-то мысли будто готовы были высвободиться из подсознания, но это было только смутное и мучительное желание, а дальше не шло... Не успевал он начать думать, как все тот же жар, словно бы из камина, испарял все, оглушая, ослепляя его...

Только один раз очень ясно запечатлелось в мозгу: «Не пылающая ли зараза?» И даже сквозь сжигающий жар прошла дрожь по всему телу от этой мысли. «Аа-аа!!! – беззвучно вскричало пробужденное сознание, – аа-аа!!!» И опять ушло...

Через некоторое время снова выплыл из тьмы – однако все чаще и чаще опять впадал в тяжелое забытье. Тянулись какие-то кошмарные сны. Он видел чистое небо... снизу тянутся языки бушующего пламени – все небо в ожогах. Потом ему виделся белый конь, оседланный, но седло пустое... летел, распластывался над землей, пытался уйти от огня, но огонь все же догонял, пламя то и дело доставало развевающийся хвост... Потом – сплошная тьма. А через некоторое время опять он видел этот бушующий огонь, и на небе появлялись все новые и новые ожоги. И у белого коня уже хвост пылал языком пламени...

Через некоторое время этот огонь обернулся гигантским костром. Кружком стоят дети, и все пышут жаром, словно изнутри у них просвечивают горячие угольев. Он этих детей знает и не знает. А потом кажется, что он тоже их ровесник. Все дети кроме него держат по крупной белой головке соли. Он хочет этот гигантский костер перепрыгнуть... но чуть только соберется, дети разом бросают головки соли в огонь, и они все начинают взрываться: «кох-кох, кох-кох-кох-х...» Взрывы отдаются эхом в невидимых утесах. Но он все же улучив минуту рванулся – дети испуганно шарахаются назад и потухает просвечивающий сквозь них огонь, фигурки их темнеют. Он прыгает, на мгновение его обдает бушующим жаром огня, чувствует – обожгло щеки, они в ожогах, как небо... Он перепрыгнул, но перед ним опять полыхает костер. Фигурки детей снова засветились, приблизились к огню и опять дружно бросают головки соли в огонь, те снова

взрываются «кох-кох, кох-кох-кох-х...» и больно бьют, словно как дробью по всему его телу, прожигая кожу...

А снег все валил, и все больше, пышнее становился сугроб над срубом. В воздухе носился треск обламывающихся под снегом ветвей, рушащихся стволов. Метель мела игриво, сеялся мелкий, густой, сухой снежок, будто пригоршни проса. Метель задувала, утешала, прятала старые раны земли и новые раны лопнувших стволов и ветвей: «Чфф-ффу, чфф-ффу».

Когда он наконец еще раз очнулся, стояла какая-то странная полутьма. Жар вроде немного спал. Голова была тяжелой, как не своя, но сознание работало ясно. И он помнил, как страшно испугался, подумав о том, что заболел пылающей заразой: эта болезнь иногда за сутки справлялась с самыми здоровыми парнями. Он боялся пошевельнуться, казалось, внутри у него все обгорело и превратилось в пепел. Мучила жажда, но он не знал, сможет ли через его обуглившуюся гортань пройти хоть глоток воды...

Он уже не сомневался, что это та самая болезнь. Она как-то внезапно возникла после махаджирства, после изгнания – и стала вторым страшным бедствием. Заболевал человек сразу – начинал метаться в страшном жару, под конец вдруг становилось лучше, даже жар спадал, – и скоро он умирал. Пока не знали, что болезнь заразная, – вымирали семьями, а потом уже за больными ухаживали только те немногочисленные, кто перенес эту болезнь. Он ясно вспомнил, как умирал его младший брат.

Как он лежал в большой кровати с большими круглыми деревянными шарами, как эта кровать стояла у пылающего камина, как мать сидела в изголовье пригорюнившись, как отец, словно сорвавшись с привязи, ходил, ходил, метался по дому... дойдя до порога, ступал на него, а затем, словно обжегшись, убирал ногу и опять возвращался обратно. «Сядь, что ты мечешься, мелькаешь в глазах...» – иногда бросала ему измученная мать. И почему-то слово «мелькаешь» долго не выходило потом из головы. Мать и отец отгоняли его от брата, но он ни за что не хотел уходить, сидел у его постели. Но он и тогда понимал, и сейчас помнит, какая была боль отца и матери – безысходная, особая, неослабевающая.

Гудзбы тогда дома не было, уехал учиться. Он всегда существовал немного отдельно от братьев, и ему, Мсоусту, иногда казалось, что у Гудзбы и на братские отношения нету времени. А он боялся стать таким близким с Гудзбой, как с младшим, покойным братом. Боялся, что старший перекроит его жизнь, взнуздает, разделит ее на то, что сегодня сделать, на то, что завтра, на то, что потом.

Сестер тоже не впускали в этот дом, где лежал брат, чтоб не заразились. Сидя у постели брата, через приоткрытую дверь он видел, как они, сестры, выбегали, бледные, испуганные, услышав отсюда какие-нибудь голоса, стоны отчаяния. Сейчас он их, оставшихся тогда в живых, тоже помнил плохо, как в далеком сне, – настолько они сейчас были далеки от него, настолько разные были их положение и его положение.

Он очень хорошо помнит, как перед смертью брату вдруг стало лучше...

«Неужели так и сгину, не сказав никому даже слова, – подумал он. – Нет, нет, нет... Глупо, несправедливо... Хотя бы надо на ноги встать в последний раз...»

Он сделал усилие – и удивился, насколько стал легким, невесомым, словно в сосудах вместо крови воздух... Поднялся без особого труда. Увидел свой ахмачир – деревянную кружку, которую оставил в изголовье. Нужно было суметь, не упав, поднять ее. Когда достал, поднял, у него долго кружилась голова. Справился, устоял – наконец поднес влагу к пересохшим губам. Но едва успел смочить опаленную жаром гортань, как вода кончилась.

А может, попробовать открыть дверь? Этого он не осилит... По белой полоске у очага он понял, что выпал снег, а может, и сейчас тоже идет. И еще он понимал, что здесь, на таких высотах, выпадает много снега... Неужели так, с одного маха, все и кончится, подумал он, шатаясь. Младший его брат был лучше их всех, но вот же – ничего в жизни и не увидел...

Так что у всех судьба одна, если только случайно не выпадают из общего правила... все, все снежинкой опускаются с неба, чтобы стать каплей на земле и испариться...

Уже он не мог держаться на ногах. Собрался было опять лечь, и вдруг взгляд его упал на ружье. Протянул дрожащие руки и, сняв со стены, еле удержал – такое оно было сейчас тяжелое. Сел, задумался... чувствовал, как опять поднимается жар, в глазах плыло...

А на воле не переставая шел снег, и все чаще слышался треск падающих стволов и ломающихся ветвей. Метель усилилась, сыпал густой, сухой, похожий на просо снег, и все выше вспухали огромные сугробы. Едва уловимые звуки, которые донеслись как из-под земли, звуки двух выстрелов в срубе, метель без следа растворила в своем месиве. Казалось, лишь сильнее запела в ответ: «Чффу-чффу-чффуу-уу...» – задувало в заснеженном пространстве.

ПО-СЕМЕЙНОМУ

Если ненастье загнало в дом...
Заочажная

Когда Мзалей возвращался к себе, было уже темно. Метель к вечеру усилилась, и мгла сгустилась. Он сейчас уже видел, что еще много хлопот доставит им этот большой снег, но за день словно бы привык к нему, как будто мело уже очень давно. Весь день прошел, как говорится, в трудах и заботах, не выдалось свободного времени – пробиться к кому-нибудь, с кем можно было бы поговорить, что-то решить насчет помощи старикам и вдовам. Когда он думал о том, что здесь, в селе, и дальше – очень многие и многие нуждаются в немедленной помощи, – наверняка не все дома выстояли под таким снегом, – сердце болело их болью... однако же то, что день не прошел даром, ощущение это подбадривало его, и настроение держалось.

Завтра с самого утра надо непременно найти сельского старосту, думал он.

Да, все же настроение держалось. И в его душе просыпались словно бы не к месту веселые истории, что он помнил еще с детства. Он вдруг вспомнил об одном человеке, которого приметил еще мальчиком, – звали того Мыркыджи-Репей. В день работы на барском поле он появлялся самым последним. Был маленький, тщедушный, казалось, на месте его лица с беззубым ртом остался один нос – большой, загнутый книзу, точно лезвие топорика-цалды. Няньке Репей, вроде, приходился дальним родственником, – она всегда привечала его. «Как поживаешь, – ласково спрашивала нянька, – как себя чувствуешь?» – «Когда-нибудь, когда-нибудь!.. – вскрикивал вдруг тот свистящим фальцетом, – кого-нибудь, кого-нибудь слопаю, вконец изничтожу!» – «Как же так можно, – тревожилась нянька, – как можно так себя расстраивать...» – «Кого-нибудь, непременно... – повторял свирепо Репей, непременно умрет от моей руки!» И начинал сжимать рукоять топорика-цалды, словно за горло уже душил кого-то. «Нет, нет, ты не смеешь, Мыркыджы, переступить мои, старой женщины, желающей тебе добра, слова, ты должен успокоиться, ты не должен так горячиться... Разве не знаешь, что в этой жизни всегда достаточно глупцов, – такой человек как ты, всеми уважаемый, чье слово значит много, такой разве может опуститься до них?..» – «Вот видишь, и я тоже думаю так, и все это останавливает меня, – говорил Мыркыджы, засовывая топорик с загнутым лезвием-носом за пазуху. – На этот раз из уважения к тебе не стану...» – и удалялся. Нянька лукаво улыбаясь смотрела ему вслед.

А он, Мзалей, в страхе жался к ее подолу. «Не бойся, малыш, не бойся... если бы после каждого такого разговора он убивал по одному человеку, уже в нашей округе никого бы в живых не осталось... Так, тешит себя...»

Войдя в свою комнату, он застал там Чахуназ – подкладывала поленья в камин. Засияла навстречу улыбкой, и это его обрадовало.

– Устал, ухацкы... – он видел, что участие ее – искреннее. – Господское ли дело очищать крышу, слыхано ли...

– В такое время все дела – общие... – Он действительно чувствовал себя смертельно уставшим. С непривычки болело все тело, горели натруженные ладони. Но он не только не был раздосадован, но наоборот, считал, что едва ли не впервые за всю свою жизнь ощущает полезную, счастливую усталость. – Я действительно утомлен, – засмеялся он. – Но без тебя было бы совсем худо, Чахуназ.

– Это ты так сделал, ухацкы, чтобы я все успела... Если бы утром не приободрили меня, не знаю, что бы со мною сталось, – я очень испугалась, еще как!..

– А теперь?

– Теперь – нет, совсем... Но... – она потупила голову.

– Я полагаю, его бы ничто не остановило, окажись он поблизости. Значит – он далеко. Но для него такое не впервой – нечего волноваться.

– Это правда... – Чахуназ, еще грустная с виду, прыснула в кулак. – Реки переплыл бы, гору одолел, обрыв пересек... Но такой снег – он же завалит его вместе с его щупленькой клячей... – Она снова прыснула в кулак, на этот раз веселее.

– Ча-ху-наз! – он погрозил пальцем: – Знай: мы, мужчины, стоим друг за дружку перед вашим наступлением, иначе с вами не совладаешь.

Чахуназ весело засмеялась.

– О-о, что ж это я тут... – заспешила она. – Идите туда, они ждут тебя, ухацкы, без тебя не начинают.

Действительно, они его ждали. В зале, за большим широким столом, у пылающего камина собрались все. Никто не отсутствовал. Астамыр, – а его вообще невозможно было удержать за столом, – и то сейчас сидел прижавшись к матери, тихо и мирно. У самой середины, спиной к огню, расположились Алма и Хауйда (...право первого, лучшего места у очага). На той стороне стола больше никто не поместился. В конце, пряча голову, в полутьме, сидел, словно застыв, Умар. Неизвестно, как это получилось, но Умар сейчас был без своей обязательной непомерно высокой папахи, которую он, похоже, вообще никогда не снимал, даже за трапезой. Оттого он казался каким-то обрубленным: плечи больше обычного подняты, а голова более вдавлена между ними.

На другом конце устроилась Сафия, будто хотела сказать, что это место ее мужа, – значит, и ее. Она оказалась ближе всех к свечам в приземистом, грузном подсвечнике на полке камина, и лицо ее было освещено больше. Сафия, как обычно, почти не двигалась, не выказывала нетерпения – первой сказать, первой начать, глядела прямо перед собой, будто чутко прислушиваясь к какому-то внутреннему голосу.

– Иди сюда... – позвал больным простуженным голосом Хирипс и указал на пустую скамейку подле себя.

– Сейчас... – Мзалей кивнул ему, но подошел прежде к матери, взял ее руку, вялую и безжизненную, поцеловал. Она подняла голову, посмотрела на него грустно и вздохнула: «Добавить мне все свои дни – тебе...» Как только опустился на скамью рядом с Хирипсом, сразу услышал шум нездорового дыхания, его прохудившихся легких. Чтобы не обидеть брата брезгливой подозрительностью, он глянул мельком, незаметно: тот сидел в напряжении, чтобы при внезапном кашле успеть отвернуться, пылающие щеки отдавали болезненным глянцем. Мзалей знал, что ему открыто не высказывали, но в семье старались не садиться с ним за стол. Хирипс тоже знал об этом, и потому, если формально и появлялся ненадолго за столом, когда бывали званые гости, за редким исключением обычно сам избегал таких совместных трапез. Сейчас он презрительно посматривал на остальных: видно было, что сегодня он самовольно пришел и сел со всеми.

Мзалей чувствовал, что еще кого-то не хватает за столом... но лишь когда она, оказавшись рядом с Сафией, подвинула к себе тарелку, сообразил: ну конечно же – Эсма. Она появилась как-то незаметно. Мзалею больно стало –

постыдно невнимателен к самому близкому, после матери, человеку... ведь они вместе росли. И так как-то до сих пор не вышло поговорить по душам... Конечно, тут и причина была – очень уж она переменилась... и Мзалей, если и не боялся, то, пожалуй, не знал, как с ней говорить, и особенно о том, что она пыталась с собой сделать, о причине... Как раз то, что он словно бы избегал Эсму, – и было непростительно. Да, верно, одиночество девушки – оно другое, более тяжелое... так он думал сейчас.

Дворовая девушка, известная Мзалею как подружка Чахуназ, видно, ожидавшая в сторонке, подошла бесшумно, придвинула к себе высокую вместительную кастрюлю и большим серебряным половником проворно налила всем в глубокие тарелки густой куриный суп, положила в каждую вместе со специями еще и обильное количество курятины.

– Хвалю, хвалю! – сказал Алма ни к кому не обращаясь. – К сегодняшнему дню – это в самый раз. – Он ладонями попеременно провел по усам, поднимая их повыше. Потом взял чарку, уже наполненную перед ним, и, приподняв голову, закатив глаза к потолку, пожелал: – Да не минуют нас, Господь, твои милости, тепло твоих очей... все, что ни пошлешь нам, – все благо... – и выпил до дна.

– Стоило ли сразу... – заметила Хауйда бесстрастно.

На ее слова никто не откликнулся, и сам Алма тоже. Заметно было, как она шевелит губами – читает молитву, а потом перекрестилась и взяла ложку. Алма тоже взял ложку и, шумно втягивая жидкость, принялся есть. Мужчины все поддержали отца: дружно провозгласили «аминь», опрокинули свои чарки и все заработали ложками.

Присмотревшись к своей тарелке, Мзалей вспомнил, что он в детстве ел из такой же. Вот на ней те же самые цветы... Правда, почти уже стерлись... Всему дана большая прочность – не только железу, фарфору, всякой керамике, но и самой мягкой древесине, – большая, чем бедному, бедному человеку... А тот, ни разу не задумавшись об этом, злясь, свирепствуя, сживая своего ближнего со свету, оглянуться не успевает – и уже свет меркнет в его глазах.

Бульон был жгучий, острый, видно, для такого случая не поскупились с перцем. Мзалей слышал, как Хирипс давится кашлем, но продолжает есть этот жгучий суп. Все ели по-разному. Это особенно проявлялось, когда кашлял Хирипс, – в эту минуту каждый старался хлебать пошумнее, делал вид, что ничего не слышит, ничего не замечает и ни к чему не имеет отношения. И сам Хирипс, то ли чтобы приостановить кашель, то ли веря в целебность горячего супа, орудовал ложкой быстрее всех и ел шумнее всех. Мзалей чувствовал себя очень уставшим, словно пахарь, ходивший за плугом от зари до зари. Но это было приятно – устал не без пользы, – и аппетит был отменный. Такое было для него внове. Он с удовольствием вспоминал, как в детстве, вдоволь наигравшись, прибегал к няне таким проголодавшимся, что сил не было терпеть. Как переменялась тогда его милая, заботливая няня! Эта старенькая женщина вдруг словно молодела, становилась быстрой, проворной, даже начинала на ходу бормотать некое подобие песенки:

«Барский сын желает есть, барский сын проголодался, и он столько съесть готов, сколько поднимет правая рука!» Настроение у нее делалось приподнятым, игривым. А как было вкусно все, что получал он из ее рук! Ему готовила только она сама – никому больше не давали прикоснуться к его еде. «Уже достаточно, – говорила она, когда набегавшись и ужасно проголодавшись, он ел и ел без конца. Обычно она упрашивала его съесть лишний кусочек, но в таких случаях останавливала: – В барине с детства должна быть статность...». Потом целый день он сладко вспоминал все, чем она его накормила...

Но люди, сидевшие за этим столом, почти никогда не ели с таким удовольствием, с каким ест человек после работы. Тут были такие, кто ел как бы отдавая дань некоему ритуалу, но были и обжоры, аппетит которых обычно подогревался вином или животной жадностью от природы. После обычного обеда здесь на столе оставалось много объедков, стояли недопитые стаканы, только начатые и оставленные тарелки с едой... Все, на что человек смотрит заранее сытыми глазами, что он съедает не проголодавшись после работы, – все для него безвкусно.

Если человек все делает без желания или вообще ничего не делает, думал Мзалей, не испытывает настоящей потребности в труде, – то и вся жизнь станет безвкусной.

Когда обнажились полустертые цветы, напомнившие детство, уже на дне тарелки, Мзалей понял, что он тоже ел быстро. Покашливая, стуча ложками, зачерпывая последние глотки, семья заканчивала трапезу.

Мзалей думал о том, как было бы хорошо, если бы всегда так собиралась вся семья, и могли бы, как близкие люди, говорить друг с другом о настоящих делах. Но он чувствовал, да и знал в точности: хотя их сюда согнали необычные обстоятельства, даже эта необходимость не в силах была объединить их хоть на время; он с болью убеждался: тронешь их ряд – сейчас же все и разлезется на глазах, как гнилая веревка; в этом доме никогда не сладится, чтобы человеку дышалось свободно, стало спокойно и надежно на душе, не жди тут теплого отношения друг к другу, согласия... Будь это отдельный человек, семья, государство, – если в них никто никогда не думает о ближнем, о заботах другого, не принимает в них участия, – никогда не достигнуть им благополучия... равнодушие, безразличие наказываются так же, как и ненависть.

Когда семья недружная, и кто-то все же страдает от этого, – видимо, им обычно кажется, что кого-то здесь и сейчас не хватает, того самого, который роднее всех, больше брат, чем все остальные братья, больше сестра, чем все остальные сестры, – его-то больше всего и не хватает в семье... на которого надеются, что с его приходом все наладится и пойдет как нельзя лучше. Может, так думали и о нем, пока его не было, – если не все, то какая-то часть семьи... или хотя бы один кто-нибудь... Кто б это мог быть? Мать... а еще кто? Может, и Эсма. Больше – никто! Он даже удивился тому, что так мало... Еще удивительнее было другое открытие: и те, о которых подумал, что ждали его, – и они желали его появления вовсе не так уж, чтобы пострадать

за это. И еще: они этого желали лишь для себя, а вовсе не потому, что пеклись насчет объединения, укрепления расползающейся по всем швам семьи... Тот, кто смог бы объединить всех в этой семье, никому не был нужен, – потому-то никто и не отсутствовал сегодня. И те, которые есть в наличии, и они – лишние. Сегодня их здесь собрало необыкновенное явление природы. Но, похоже, не для того сошлись, чтобы поделиться мыслями, поддержать друг друга, сказать слова участия, – нет: чтобы подглядеть, в чьих глазах больше страха, из желания увидеть его, этот страх, в чьих-то глазах, получить от этого удовольствие, пусть даже перед тем как быть заживо погребенными под большим снегом.

И может быть, больше всего желали увидеть страх именно в его глазах. Похоже, сильнее других этого хотел Умар. Но, видно, как он ни притворялся, – Мзалей ему с утра испортил настроение; увидев его на крыше, Умар сразу же лишился надежды на удовольствие. Видимо, потому-то он и не подавал сейчас голоса, – такое случалось нечасто. Остальные для него не шли в счет: его не интересовало то, что у них в глазах, он их считал как бы уже отошедшими в небытие.

Но сам, сам-то он кто, Умар, куда стремится? Что его заставляет злобствовать, жлобствовать? Или он создан, чтобы злорадствовать над неудачами других, содействовать этим неудачам?

Мзалей вдруг подумал о словах, которые Умар прокричал ему утром снизу: «Ты младше всех нас и лучше всех нас...» Тогда ему показалось, Умар сказал их почти искренне, ибо совершенно искренне говорить он вообще вряд ли способен. Потом еще некоторое время в его ушах звенел голос Умара, и только позже он уловил тут отзвук некоей издевки. Эти слова, в трудную минуту сказанные 99 братьями Нарта Сасрыквы, которые считали его незаконнорожденным и отказывали ему в братстве, – эти утренние слова Умара тоже были – предательство и низость.

В это время к столу подошла Чахуназ – принесла полный поднос жареных кур. За ней появилась ее подруга, держала такой же поднос, полный дымящегося вареного мяса. Оба подноса поставили посередине стола.

– Все метет? – спросил как бы между прочим Алма; покончив с супом, он опять поглаживал ладонями усы.

– Мне показалось, еще сильнее, мой господин... – в голосе Чахуназ снова слышались тревожные нотки.

– Не бойся... – не слишком убедительно повторил Мзалей, занятый мыслями о своем. – Не таков ливень, каков гром...

– О ливне ничего не знаю, но о снеге так не скажешь, – ухмыльнулся, и довольно-таки злорадно, Хирипс, у которого еще пунцовее, еще болезненнее горели щеки.

– Комета Галлея! – он выбросил руки вперед, чуть не задев кувшин с вином перед собой. – Это не пустые слова, это предвидели!

– Комета или не комета – не знаю, но что-то предстоит, на что-то напрашивается давно этот мир, – высказался и Алма. – Разве не того хотели,

которые добивались свержения царя! И на этот раз Бог спас. Это же было вчера... сколько с тех пор прошло – пять-шесть лет. Царя, правящего нами по Божьему велению!.. – Сердито задрожали усы...

– Ты думаешь, этому конец положили... – голос Умара был хриплый, но и ядовитый. – Уже опять высовываться стали!

– Вы бы лучше о том столпотворении, которое сейчас в природе, поговорили! – Хирипс сердито кашлянул. – Всех теперь погребет: и тех, кого хотят свергнуть, и того, кто их хочет свергнуть, – всех заодно. Комета Галлея! – добавил он опять, открыто злорадствуя.

– Я боюсь! Почему он пугает!.. – плаксиво пожаловался Астамыр. Обычно Астамыр, когда указывал на отца – «он», обязательно добавлял что-нибудь обидное, дерзкое, но сейчас видел, что его прежняя власть в эту минуту не распространяется даже на отца.

При этих словах мальчика Умар весь напрягся и даже привстал, чтобы изощреннее высказать что-нибудь очень обидное, особенно оскорбительно, однако почему-то снова опустился на место, стиснул зубы – промолчал. Потом схватил чарку, с остервенением глотнул ее содержимое и не выпустил – оставил в руках. Прислуга, подружка Чахуназ, быстро схватила кувшин и горлышко наклонила над чаркой Умара.

– Отсохли твои руки что ли! – гаркнул он: видно, в спешке и страхе она какие-то капли пролила ему на руку. Снова залпом выпил и со стуком поставил чарку на стол.

– Если суп съешь, – говорила Селма притихшему Астамыру, – тогда вот отсюда какие хочешь куски, самые тобой любимые дам, – она кивнула на поднос с жареными курами.

Селма была сегодня как никогда весела и говорила только с сыном, внятно, будто никого не замечая рядом.

– «Хурп» сделай, «хурп»! – бросил Алма игриво и посмотрел на безучастного, отказывающегося есть мальчика, – глаза потеплели от улыбки. – Однажды в суровую, снежную зиму... – начал вдруг Алма, непривычно улыбаясь, – туго стало с едой в семье одного бедняка. А вся семья была – отец, маленький сын да маленькая дочь. Дочь звали Чапара, а имя отца и мальчика пропустили... видно, не стоили они того, чтобы называть их по имени. И вот – отец не знает, как быть, и, конечно, мальчик не знает. А девочка, Чапара, сидит и думает...

Мзалей заметил, что сегодня Эсма тоже в веселом настроении. Когда Алма принялся рассказывать, почему-то ее стал разбирать смех, она коротко взглянула на Мзалея и тихонько прыснула в кулак. И удивительно, что Астамыр тоже слушал, а Селма, пользуясь этим, начала его кормить. (Когда было, чтобы его кормили!)

Мзалей опять посмотрел в сторону Эсмы: веселой она была прекрасна, очень хороша собой. И он впервые за все время после того злополучного застолья вспомнил, как ему тогда совсем неожиданно доверился Алоу... По глазам, по тому, как Алоу говорил, видно было, что чувство тут настоящее... спешил сказать ему, открыться, – чтобы Мзалей в свою очередь не замедлил

передать ей. Но события того дня надолго омрачили все. Однако ж это не смягчает его вину, его несерьезное отношение к доверенному ему.

Завтра же, подумал, завтра же надо выбрать время... Времени действительно было так много – и вдруг стало мало, по крайней мере для него, но надо найти, найти и передать – и не пощадить себя за молчание, за промедление.

– Не долго думая, – продолжал Алма, – Чапара сообразила: сделала самую простую ловушку – и наловила множество жирненьких птичек, общипала их и приготовила великолепный суп из птичьего мяса... – Рассказ Алмы у всех вызвал улыбку, потому что никто никогда не видел его в подобной роли. – И вот она щедро наделила всех супом с птичьим мясом – и начался пир горой. Но братик Чапары сидел и не дотрагивался до ароматного супа. «Почему не ешь?» – спросил отец. «Птичек жалко...» – промямлил мальчик. «Если птичек жалко больше, чем себя, тогда ладно, сиди... – сказал отец. – А ты, Чапара, – заслужила, сделай “хурп”». И сам отец принялся за еду и сделал «хурп»... Так что и ты – сделай хурп...

– Это же не из птичек... – засмеялся Астамыр. Он был непривычно кроток.

– Курица тоже птичка, для адауы-великана... – Усы и глаза Алмы улыбались, видно было, что так не очень умело, а может быть в чем-то перевернуто переданный рассказ и его самого непривычного оживил.

Кто знает, может быть, этот человек, видавший виды, больше всего обслуживавший себя, больше всего любивший себя, желает в конце свой жизни почувствовать любовь и тепло внука? Когда дедушка хочет любить внука, а внук – дедушку, на обоих воздействует очень благоприятно. Для Алмы это было бы находкой: ему ведь не грозит беззаветная любовь сыновей, и он сам ее не ищет... Иначе и не могло получиться, ибо он не передавал им никаких нравственных примеров, не мог и не хотел. Тогда какими же должны были стать его сыновья? После этого не нужно удивляться Умару...

Хоть настроение у Мзалея все еще оставалось приподнятое, такие мысли приходили ему в голову, протрезвляя, не сглаживая, не давая закрывать глаза на правду, какая есть. Та сила, которая целый день поддерживала его, вроде, отступила, но остатки ее, как остатки молнии, еще блуждали в его крови. По тому, как мать с тревогой наблюдала за ним, похоже, он так, с такими мыслями рассматривал всех за столом, и это было видно со стороны.

– Нет, курица – не птица! – Астамыр вдруг приобрел свой прежний нрав.

– Как же не птица?.. – игриво возразил Алма; пока еще его глаза теплели добротой.

– Если б она была птицей, не убивалась бы, пожирая ослиное дерьмо там, в перелеске! Ха-ха-ха! – изображая смех, он даже привстал.

– Перестань, перестань! – закричал на него Алма, и глаза его сразу сделались холодные, брезгливые, как обычно, и сердито дернулись усы.

– Не заставляй тошнить тем, что поели... Здесь и так много дохляков... – Умар спрятал свой оскал, подобие улыбки, в полутьме, не удостаивая зрелищем других.

– Уложи его сейчас же! Вон, вон отсюда! – Алма почему-то вдруг разъярился, обращаясь к Селме.

Селма сразу начала поднимать мальчика, он поупирался, но потом, видно, понимая, что здесь это не пройдет, встал и пошел за матерью. У дверей он обернулся:

– Вот его, – он указал пальцем на Хирипса, – его плевки тоже ели... Он стоял и плевал в них, а они ели...

Хирипс вскочил, но на него сразу напал кашель, и он, сделав несколько шагов, некоторое время корчился от удушья. Потом опять вернулся к своему месту у стола:

– Вот каков продолжатель вашего славного рода Анчаа! – прохрипел злорадно, приглушенным голосом. – То, что и полагается вам... вы его подготовили, взлелеяли!..

– Каков ты, таков и он! – усы Алмы сердито дергались, но все же, видимо, ему не хотелось обострять. Может быть, чтоб не нервничать самому. – Ничего, не пропадет, не кончится род Анчаа, найдется еще кто-нибудь!

– Нашелся уже... – подсказал многозначительно Умар и на этот раз даже самого себя не поощрил улыбкой.

– Поживем – увидим, – бросил Алма, не удостоив его взглядом.

– Если можно, прекратите такие разговоры, прошу, умоляю вас, – первый раз за все время ужина послышался голос Хауйды. – Разве сейчас время такой вздор молоть, не видите, что происходит... Каждый же из вас думает, что это не шутки...

– Если бог даст, если бог даст... – Хирипс присел за стол, чтобы ближе, полнее насладиться страхом других. – Он все решит за эту или следующую ночь. Комета Галлея! – и вознес над головой бледный полумертвый палец.

Некоторое время все молчали. Чахуназ подложила еще несколько поленьев в камин.

– Ты что берешься за огонь?! – прикрикнул на нее Умар, словно застал ее за каким-то недостойным делом. – Разве не усвоила до сих пор, что человек, который наливает напитки, не трогает огонь?!

– Напитки я не наливаю, ухацкы!.. – и без того напуганная светопреставлением Чахуназ обомлела от его взгляда, хотя вообще-то старалась не бояться господ.

– Сгинь! – бросил он брезгливо.

Она не посмела уйти, отступила в более темную часть зала.

– Да, вспоминаю... коли виночерпий возьмет в руки полено, те, которым он наливает, быстро пьянеют, так? – не совсем удачно вступил в разговор Мзалей, желая выручить бедную девушку. – Она же не наливала вино, а если даже наливала, мы ведь сегодня не соревнуемся, кто больше выпьет...

– Ты напрасно не затрудняй себя, я сам в силах разобраться, – из полутьмы на него сверкнули маленькие колючие глаза. – Знайте, я никому не позволю распускать их!

Хауйда тяжело вздохнула, почти простонала.

Он – или я всех распустил? – вдруг молнией снова настигла Мзалея та сила, необыкновенная сила духа – обожгла огнем. Резко обернувшись, он прямо посмотрел в глаза-шипы Умара, – и сразу же исчезло их сверкание.

Видно, испытывая неловкость и бессильную злобу, но не желая обнаружить слабость, тот схватил чарку и опрокинул, – так чтобы струсивший взгляд как бы естественно сместился, обратился вверх, уперся в потолок.

Чахуназ поставила на поднос часть грязных тарелок и быстренько исчезла. Ни от кого не ускользнуло, как Умар не выдержал взгляда Мзалея. Мзалей заметил, что этому, не веря, удивились все, и все как бы заново хотели на него поглядеть. Мать была, похоже, в полуобморочном состоянии. Одна Сафия оставалась невозмутима, все видела и, вроде, все понимала; на ее лице сменяли одна другую улыбки разных оттенков. Впрочем, Эсма как будто тоже не растеряла своего нынешнего веселья.

Никто не притронулся к жареным курам и мясу. Сидели и молчали.

– Все забирай, кроме напитков, – сказал Алма девушке-прислуге. Его усы еще сердито дергались.

Подружка Чахуназ быстро и ловко убрала оставшуюся посуду, подносы с курами, мясо – отнесла на другой стол, в углу комнаты. Тут возвратилась Чахуназ, и они вдвоем все забрали и торопливо удалились.

Мзалей и сам не прочь был уже уйти, полежать, подумать, наметить какие-то планы на завтра, но никто не тронулся с места, и ему одному откланяться было как-то неловко.

– Этот дом был самый опасный... – Разговор опять начал Алма. Видно было, что он не отошел еще, но продолжал не ради того, чтобы сгладить, а, видимо, желая успокоить госпожу: она сидела ни жива ни мертва, и обращался он только к ней: – Раз крышу очистили...

– А сколько можно счищать?.. Уже столько же, да, видно, и больше намело – разве не слышите, как по всем швам трещит дом, – злорадно вставил Хирипс (Возмездие, возмездие, возмездие!). – А сколько еще наметет за ночь! Комета Галлея... Ты разве не слышал об этом? – обратился он к Мзалею.

– Слышал.

– Ну?..

– Ничего...

– Если ничего – она тебе теперь покажет!

– Чтоб этим мастерам, построившим этот дом!.. – Алма все посматривал на госпожу – и хотел повернуть разговор в семейное русло.

– Сейчас уже и мастера виноваты... – оскалился Умар, пряча свою ухмылку в полутьме, никого больше ею не удостоив.

– Напрасно я гнал покойного Куагуса-уаста, совсем напрасно, – Алма сейчас обращался к Мзалею, будто не расслышав Умара.

– А это кто, здешний был мастер? – спросил Мзалей.

– Здешний, и какой, – подтвердил Алма. – Если в Наришара есть хорошие, прочные дома, это все его рук дело. Я уверен, и сейчас с них можно не счищать снег, они спокойно выдержат.

– Куагуса был самоучка, и не мастер, а плотничек, – возразил Умар. – Этот дом построили признанные мастера; все дома на побережье построены ими, и ты их еще сравниваешь с каким-то деревенским самоучкой...

– Уатар и ты готовы и ворона за сокола почитать, коли он с побережья, – злорадствовал Хирипс. – Откуда этим безродным плотникам знать дом, который подходит к нашим местам!

– Полегче, полегче, – словно бы игриво, но довольно ядовито вставила Сафия. – Подвергаете сомнению, потому что это было предложение того, чье имя ты назвал сначала. Дурная голова ногам покою не дает. Сколько грязи он истоптал от побережья до этих круч, чтобы уговорить признанных... Мне не положено его выгораживать, вы сами меня вынудили – так что уж скажу до конца: если б не он, те, с побережья, никогда бы сюда не пришли. Зачем топтать эту грязь, подниматься сюда, куда и осел не ходит жеребиться, когда они у себя – нарасхват?

– На кого-то надо же свалить собственные грехи, так удобнее, – сказал важно Умар. – В этом доме принято стало в последнее время козлами отпущения делать меня и Уатара. Все напоминают, что мы пасынки...

Хауйда хотела что-то возразить, но заметив в лице Алмы беспокойство и тревогу, промолчала.

– Все одно и то же, – Алма сердито махнул рукой. – Все кокетничают, будто барышни. Я все же продолжу свое слово: когда они, эти хваленые мастера, готовили фундамент, Куагуса-уаста пришел и сказал, чтобы под каждой несущей балкой, на которые потом ляжет пол, поместили по шесть каменных подпорок. Я не дал ему договорить, потому что те сразу же загнули цену и потребовали вдвое больше.

– Вот почему, оказывается... – обрадовался сделанному открытию Хирипс. – Как только Умар становится на пол, весь дом начинает дрожать. Или, Умар, у тебя внутри залежи какого-нибудь металла, свинца, например? Может быть, начать разработку...

Это, конечно, было слишком. Все замерли.

– Хватит, заткнись!.. – Умар скрипнул зубами. – И так ты сегодня уже много лишнего наболтал. Я тебе советую не надеяться на то, что я не суюсь не в свои дела.

(Он-то!)

– Ты лучше скажи, что брезгуешь мной, только так можно назвать твое отношение ко мне. – Хирипс взял чарку с водкой, понюхал и поставил обратно. – Но ты можешь не переживать, я к тебе отношусь точно так же.

– Ты!.. – Умар даже приподнялся.

– Потом, когда поднимали крышу, он еще раз все же приходил... – нажимая от злости на каждое слово, продолжал Алма (дадите ли наконец сказать!).

Братья замолкли.

Пока еще не все утратили, подумал Мзалей; все же не смеют перечить отцу... может быть, еще не все потеряно, можно будет что-то исправить в этой семье. Он хотел так думать, но надежды было мало.

– Пришел – и опять он говорит, – нудно и обиженно продолжал Алма: – или надо крышу сделать покруче, или по два крепких, из крепкого дерева столба – под каждое стропило. Но опять я его не послушался, прогнал. А те поставили по одному – и то под угловые только. А что им, им – безразлично. Им нужно было только одно: чтобы дом стал похож на те дома, которые они строят на побережье этим пузатым торговцам, похожие один на другой как лепешки Чахуназ.

– Сколько снега свалили с этой крыши... – вставил Мзалей и свое слово. Ему тоже хотелось, чтобы разговор стал семейственным. – Как снегособиратель какой-нибудь... Хорошо, что выдержала...

– Снегособиратель и есть, – подтвердил Алма. – Пока еще сохранились дома, из которых ушли в Турцию... Вот посмотрите: что построил Куагуса-уаста – все останутся целехонькие, а другие могут не выдержать. – Алма что-то очень подчеркнуто занял сторону Куагуса-уста.

– С домом, в котором никто не живет, никогда ничего не случается – это проверено, – продолжал злорадствовать Хирипс. – А разрушаются те, в которых человек, – чтобы задавить, приплюснуть к земле. Дуб молния поражает чаще не из-за того, что он не граб (помните, господа, что Божья Матерь была из рода Грабовых!)*, – нет, оттого, что в его дуплах водятся змеи!

Госпожа быстро-быстро перекрестилась.

– Ты посмотри, как они себя ведут, – сказал тихо Хирипс, чтобы мог слышать только Мзалей. – Говорят все то же самое, грызутся все так же, и не подумают, что их что-то может настигнуть. В самый день конца света они еще скажут: «поживем – увидим». Очень хорошо научились всех ненавидеть, а на остальное их не хватает...

Мзалею не хотелось все это выслушивать – видел: в Хирипсе явно говорит страх, а не желание перемены к лучшему в доме... считает свои оставшиеся дни... иное для него все трын-трава.

До самого конца надеется даже тот, чье лицо уже холодит ледяное дыхание смерти...

Несмотря ни на что, хорошее настроение у Мзалея не пропадало. Он сначала хотел было поговорить о том, что еще можно предпринять, спасая дома и людей, что предстоит сделать завтра. Так или иначе, на них смотрит село, что они решат – повлияет на всех. Они и ответственны. Но увидев, чем тут озабочены, как грызутся за столом, он решил вовсе не заводить такого разговора. К тому ж он видел, как матери хочется, чтобы он как можно больше молчал. Но вдруг к концу этого семейного сбора к нему снова долетела сказавшаяся уже утром сила, этот дух... она влилась в него – и он снова чувствовал себя как после первых стаканов молодого, крепкого, игристого вина – сразу же отошли все колебания. А почему ж не говорить, подумал он, пусть тоже побеспокоятся, это их обязанность.

– А что будем делать завтра? – обратился он к Алме. – Сегодня были заняты только собой, но... отец (он удивился тому, насколько это слово было чуждо его языку), – видимо, ждут твоего слова тоже...

Вдруг лицо Алмы сделалось непроницаемым, надменным (хотя на колкости, грубость других сыновей он почти не реагировал; если даже это злило его, – хотел показать им, что пренебрегает...).

– Я что ли должен к ним идти, – возразил Алма, чуть наклонив голову и глядя в сторону, будто он там увидел нечто достойное брезгливого отношения. – Еще сегодня, с утра, что бы ни случилось, кто-то должен был явиться, посмотреть, что происходит в барском доме, не нужна ли какая помощь. И завтра, и послезавтра... и потом – в селе существует староста – пусть он и занимается делами, пусть у него на этот счет болит голова. Обычно ничем не занят, никакой тяжести на нем нет, кроме этой бронзовой или медной кругляшки, знака власти, которую носит на шее. А то, и так чувствую, зазнался, распускает язык... я его мигом вышибу с этого места – это я еще могу сделать.

– Да, конечно, на старосте лежит ответственность... – Мзалею хотелось бы говорить без нажима, обычным тоном, становясь поперек этой силы, которая все напирала откуда-то... – Но когда такое совершается в природе – все выглядит иначе, и ответственность другая. Например, говорят, когда в пустыне страшная засуха и воды становится совсем ничего, и лев и косуля вместе пьют из последней лужицы.

– Значит, и овечки пасутся рядом с волками... – надменно улыбнулись усы Алмы. – А людские правила другие, они одни и в землетрясение, и в снегопад, даже в день Конца; кто остался в живых – остался, а кому было суждено погибнуть – погибли... Госпожа, пойдемте, уже поздно, и больше мне нечего сказать...

Уходя, мать нежно рукой коснулась его плеча:

– И ты тоже иди, отдохни, за день так устал... – в ее словах сквозило все то же предупреждение: не скажи, не вмешивайся, не открывайся. На этот раз мольба матери даже вызвала протест: почему же она хочет держать его в стороне, старается, чтобы он остался здесь чужаком, – так, может быть, удобнее? Вообще, он не понял, хочет ли кто-нибудь чего-нибудь в этом доме?

Когда Алма и госпожа вышли, оставшиеся сидели некоторое время и молчали. Умар сам себе налил и опрокинул еще две чарки.

– Еще кое-что из прежнего в нем осталось, – высказался он наконец. Выпитое давало себя знать, язык не совсем слушался его. – В чем прав, в том прав...

– О-о, он высказал великую мысль! – Хирипс продолжал в том же издевательском духе.

– Все, что только что говорил отец, – сущая правда! – Умар брезгливо оглядел Хирипса. – Если бы он всегда был таким, я только его поддерживал бы.

– Который из нас окажется прав – завтра будет видно: я или вы, – стоял на своем Хирипс.

– Как бы там ни было, мы несем ответственность за свой народ, по крайней мере, за тех, кто под началом этого дома, – на Мзалея напирала, не давала успокоиться сила духа, долетавшая, не оставлявшая его. – В такие моменты сидеть и ждать, мягко говоря, безнравственно. Вот по этому поводу, насчет человеческих правил, я думаю иначе: в такое время остается одно правило – помочь друг другу, сообща осилить беду. Это же проще простого, для этого не надо никого уговаривать, каждый должен догадаться сам. И в то же время я не скажу, что во всем прав, может быть, в чем-то и не прав, ну и что...

– Может быть, говоришь? – Умару хотелось бы превратить каждое слово в пулю, но взгляд Мзалея, в котором был напор этой достигающей его силы, обезоруживал, вынуждал отводить глаза, смягчать тон. – Ты говоришь о народе... что ты знаешь о нем – ровным счетом ничего. Откуда тебе знать его, как мы каждого знаем – как облупленного? Потому-то у нас все так и должно быть, как мы хотим, как мы этого желаем.

– Я, собственно говоря, приехал за тридевять земель, вернулся к своему народу, – и вели меня самые глубокие чувства. Потом, не забывай, я приехал не из-за рубежа, там, где я был, такая же власть, как и здесь. Власть властью, но надо обладать какими-то качествами, чтоб предстать перед этой властью, кем-то, чтоб она вынуждена была если не уважать, то считаться с тобой. Таким можно быть только тогда – я говорю о лицах, представляющих перед властью свой народ, – когда народ рядом с тобой, он идет за тобой, и ты прочно связан с ним.

– Ты, я вижу, понахватался социализма, – вдруг выпалил Хирипс, и не без злорадства. – Так и есть... я уж не знаю – оттуда ли привез или здесь уже успел Гудзба на ухо посюсюкать... А может, тебя как раз за это – оттуда?..

Мзалей заметил, как вздрогнул Умар, услышав имя Гудзбы, и еще больше отвернул свое лицо. А Сафия и Эсма как по команде перестали шушукаться и теперь смотрели на Мзалея.

– И до того, как узнали о социализме, мало ли было людей, которые пеклись о своем народе? («Эти все заражены нелюбовью к своему народу...») Было в крови, было их дыханием, жизнью. Я не знаю, где и когда кончилась та кровь в наших жилах и куда вытекла...

– Как это называется... патриотизмом что ли? Какие громкие слова! – Хирипс все продолжал в издевательском тоне. – Вы слышите, господа, у нас появился второй мессия...

– Лучше бы не паясничал! – бросил ему Мзалей. – Ты дворянин, ты грамотный, на тебя, может быть, с надеждой смотрят люди, твои односельчане, – разве это игрушки?!

– Никто на меня не смотрит, и я ни на кого не намерен смотреть, – сказал Хирипс грустно, – Кто-кто, но ты-то не имеешь права меня обвинять: когда ты там разгуливал в березовых рощах, я здесь в лачужке, со сквозняками как

кинжалы, пытался учить детей того самого народа, о котором ты говоришь красивые слова. А что слова – они ни пить, ни есть не просят. Там-то я совсем и загубил себя... Есть из детей и такие, которым я потом помог в Акуа-Сухуме устроиться, но ни один из них ни разу не проведал меня и не поинтересовался моим житьем-бытьем прекрасным... Возьми сыновей этого Такиялы, который способен у кошки незаметно котят украсть... Один из них ни бельмеса не смыслил ни в чем. Так я оставался после занятий, холодный, голодный, – натаскивал его... Натаскал-таки... Теперь он прекрасно занимается в Акуа. И что ты думаешь, его отец, старый плут, приходит сюда, привезет на своем муле всякую всячину – и несет мне? Как бы не так, несет вот ему, своему приятелю. Они один другого стоят! – он ткнул пальцем в сторону Умара, словно хотел выстрелить, всадить ему пулю в лоб.

Умар вскочил.

– Отстанешь ты сегодня от меня или решил до греха довести?! – от приступа злобы у него свело горло, он потянулся к кобуре.

– Вытаскивай, вытаскивай свою игрушку... – Хирипс посмотрел на него с бессильной злобой. – Одного уже прикончили, теперь моя очередь. Давно вы ждете моей смерти, просто заждались...

На Мзалея надвинулась знакомая сила духа, его подняло, свинцово налились сжатые кулаки. Умар шел к Хирипсу – и остановился не доходя до Мзалея.

– Что это с тобой... мы все смотрим на тебя, как на старшего, ждем от тебя поддержки и разумного совета, а ты всех топчешь, никого не жалея, – бросил ему в лицо Мзалей. – Для чего сам добиваешься, чтобы тебя не любили, сторонились... Пощади себя и других... Так не надо, брат...

– Брат? – ухмыльнулся Умар, стараясь не глядеть ему в глаза. – Я не могу знать твоего брата и где он, но здесь такого нет, я такого не знаю! – Он повернулся, возвратился к концу стола: – А с тобой, – обратился он к Хирипсу, – с тобой я поговорю как-нибудь потом, в других обстоятельствах. Сейчас я раздумал, зачем лишнее говорить при чужих... – Он махнул еще одну чарку, повернулся и пошел к двери. Почему-то пол теперь уже не дрожал под ним.

– Поговорим... поговорим! – дыша прерывисто и с шумом, Хирипс тоже поднялся. – Если очень желаешь, и сейчас можно это сделать. Ты можешь услышать такое, о чем вовсе не подозреваешь. Только жаль, что здесь не все, а то мне бы хотелось при нашем родителе сказать, как он тебя распустил еще с детства, и что ты недалеко ушел от него, а кое-где, может, и превзошел... Бесстыжие твои глаза, как ты смеешь мне в глаза глядеть... – он задохнулся в приступе кашля, и когда его немного отпустило, дышал прерывисто, словно долго бежал откуда-то. Потом он с нескрываемым презрением посмотрел на каждого из еще остававшихся за столом и на те места, откуда уже ушли, и зашипел: – Всех, всех чтоб превратило в прах, чтоб само небо опрокинулось и задавило как клопов всех вас, без исключения, лицемеры паршивые, дармоеды прожорливые! – держась рукой за сердце, он заковылял прочь.

Мзалей ошеломленно посмотрел на Сафию.

А Эсмы не было, она как-то незаметно ускользнула.

– Не удивляйся ничему, – сказала Сафия почти безразлично. – Это всегда так, они едят друг друга, когда под рукой нет такого, которого можно есть всем вместе. Лучше всего не вмешиваться, и тебе не советую, тебе особенно... – она почему-то прыснула в кулак при последних словах. – Откуда тебе знать все, что тут зарыто, в этой куче мусора, которая называется усадьбой Анчаа. И к тому же еще и ты прибавился...

– Что за несчастье... бедный, бедный наш народ... – Мзалей сокрушенно покачал головой.

– Ты тоже заладил – «народ», «народ»! – она снова прыснула. – Словно злые духи тебя околдовали.

Мзалей задумался. Он действительно был озадачен. Дух, поддерживающий его, затаился где-то.

– Может, я к Эсме зайду, если она еще не спит... – сказал задумчиво Мзалей. – Мне не понравилось, как она незаметно ушла. Никак я не выберу времени поговорить с ней, оказать ей внимание. Ведь мы вместе воспитывались, мы почти брат и сестра.

– Эсма уже девятый сон видит... ты просто невнимателен, она же так изменилась, словно ее подменили... сделалась веселой... – Сафия говорила с лукавинкой. – Лучше зайди ко мне через некоторое время, я подыхаю от одиночества, поболтаем, после всего этого немного отведем душу. Прямо скажу, надоела эта бесконечная грызня, бессмысленная, бесцельная... а мы будем говорить о простых, но хороших вещах... – ее глаза расширились, и все лицо будто осветилось.

– Но...

– Никаких но!

– Завтра придется очень рано вставать.

– Это еще вопрос, придется ли вставать, хотя я верю – ничего плохого не случится. Все останется целехоньким – но только зачем? Об этом и поговорим.

ЛИШЬ ОДНА Я ЗНАЮ,
ОТЧЕГО Я ТАК НЕИСТОВА

...Буйвол господина съел муку,
И оттого меня Бог посетил...
Пляска святого Витта

– Заходи, заходи, герой! – она отворила дверь своей комнаты и ладонями легонько толкнула его внутрь. – Я просто не успела тебе сказать, но ты сегодня действительно был герой. Этим, что днем и ночью здесь грызутся, такое и не приснится...

– О чем ты говоришь, Сафия... просто мужская половина прислуги очень уж распустилась... надо было как-то заставить их понять, что дело серьезное...

– Не скромничай... Располагайся.

– Здесь действительно очень мило... – Он нагнулся, поднял несколько поленьев и подбросил в слабеющее пламя в камине. – Мы все зависим от тепла. А может, есть... да, пожалуй, есть иная жизнь – ценящая именно холод. И там, наверное, говорят одобрительно вместо «кровь кипит» – «кровь леденеет», вместо «горит в жару» – «он как лед»...

Важность того, что происходило в природе, того неизвестного, что ждало всех завтра, отодвинуло уже все эти недостойные (как он считал) разговоры за столом. Он уже был захвачен завтрашним днем, душой торопился туда – и был недоволен собой, что согласился войти к Сафие. Чувствовал, что снег не перестанет, – последствия трудно было предугадать.

– В крови не одно только тепло, и у некоторых тварей кровь тепла, – сказала многозначительно Сафия, усаживаясь не на высокую скамью, а на низенькую у камина и указывая на такую же рядом Мзалею.

– Правду сказать, погода действительно не шутки шутит, снег все валит – и как... – Он отодвинул свою скамеечку подальше от огня и от Сафии и уселся. Она прыснула, взгляд ее говорил: «Боишься, агнец?» – Почему-то опять понадобилось испытание...

– А что испытывать человека – пустое... – она явно нарочито, заметно пододвинула свою скамейку к нему. – Пускай валит – это уже не наша забота – небесная. Ну, останемся лежать под снегом, – разве хуже, чем под этой грязью – землей? Завалят человека землей и желают вслед – пусть, мол, будет ему пухом... да не станет земля пухом – а тут уже готовый пух...

– Пух еще хуже... Ты, верно, слышала предание об ацанах?

– Представь себе, я не так далека от того же самого народа... Если я через каждое слово не повторяю: «народ, ах, народ!» – это не значит, что я вылезла из дупла... – Мзалей понимал, что за этими ее словами ничего не стоит. Существенным было иное: то, что она неотрывно всматривалась в него сейчас. Это было не очень-то приятно. – Как же, помню... Когда борода козла, под которой сидел старец, давно забывший свое имя, зашевелилась, старец возвестил – не в добрый час мы воспитали подкидыша... Он выдал наш секрет небу, и небо теперь расправится с нами, ему неугодна наша свобода... Три дня и три ночи валил хлопковый снег. На четвертый день с неба слетела горящая головешка – и все спалило... Так что у нас еще есть время...

– Что ж, похвально...

– А вдруг – и вправду занесет... Надо же что-то еще успеть...

– Не занесет, мы не ацаны, мы не мыши какие-нибудь, мы – люди! – этот дух сопротивления иногда являлся некстати – вкладывал ему в уста несвойственные слова, – прямо можно было поперхнуться. – Снег – на что он способен... – Мзалей неумело старался смягчить высокий тон, на этот раз мешающий. – Холодный, не живой – не станет же ползать ящером и глотать людей. Первое же тепло его и погонит, одолеет, в водичку превратит, весь и вытечет в море. А в человеке – горячая кровь, много видел, много знает – ему ничего не стоит из такого положения выйти!

– Браво, браво!.. – сказала она отсутствующе. – Я, признаюсь, не очень слушала тебя. – Она это говорила уже совсем иным, не то тоскующим, не то завистливым голосом. – Я смотрела на тебя, и мне казалось, ты раскрываешь рот – но твоими устами говорит другой человек... постепенно тебя словно бы... подменили... он уже растворяет и твое лицо, обращает в свое...

– Вот как... – ухмыльнулся Мзалей. – И мне, правда, иногда мнится такое.

– Ты разве не замечаешь, как постепенно меняется твой тон... приехал – говорил совсем по-другому, боялся лишнее слово сказать, повысить голос...

– Неужели до того заметно во мне что-то переменилось?

– Нет, нет, не то чтобы переменилось – это не всегда... но иногда что-то словно настигает тебя – и все меняет по-своему.

Мзалей задумался. Он действительно не вникал особенно – верил и не верил в это, как-то то ли опасался докапываться, то ли решил заранее, что это какие-то скрытые силы в нем дают о себе знать, ему самому еще не очень ясные.

– Это кровь... – говорила Сафия и придвигалась ближе. Он было хотел отодвинуться, но подумал: нет, ей покажется, что он не надеется на себя. – Главное – кровь. Напрасно говорят, все на челе выведено, – это не так, все – в крови. Она все передает, она и выдает...

– Может быть, и кровь... У нас же с народом одна кровь. Сколько бы мы ни твердили о голубой крови, сила и дух народа передаются через кровь тех, которые сегодня вкалывали со мной.

– А ты знаешь, в этом случае, кажется, ты прав... дело не всегда действительно в этом – у кого голубая, у кого нет... – она с какой-то странной радостью и такими ясными глазами смотрела на него, что на этот раз он опять словно бы принимал ее. – Иногда мы, с голубой кровью, можем пасть ниже любой паршивой служанки, сделаться рабом раба. Но как только выкарабкаемся из этого положения – горе тому, у кого мы побывали в рабах, если даже он в чем-то оказывал нам услугу... мы сживем его со света. Покорных – потопчем. А вот если человек независим, возвышается над нами, – мы пыжимся, грозимся, но боимся, отступаем...

Она все передвигалась, передвигалась со скамеечкой к нему вплотную. Он недоумевал, но не стал отстраняться, опять же чтобы не показать, будто растерян.

– Не бойся, не бойся... – повторяла она, и голос ее дрожал, – я помню, кто ты мне. Меня такой делает другое, ты не обращай внимания, тебе это ничем не грозит...

Этот дух, который поддерживал его в трудные минуты, вел сейчас с ним неприятную игру: клонил его к тому, чтобы унизить, растоптать эту женщину, спросить – мол, откуда у твоего тела, довольно-таки истасканного, с которым ты особенно не церемонилась, опять взялось столько жара, на каком это мусоре ты подогрета?..

Он, который в обычных условиях очень многое мог простить женщине, сейчас злился на дух, силу, которая, правда, иногда очень выручала и

которую он уже окончательно не мог осилить, – злился за то, что сейчас она так грубо вела его, руководила.

– Говори, говори, что думаешь... – она уже вся дрожала, как в лихорадке, и если бы даже хотела, не могла уже скрыть. – Ты тогда лучше становишься... мне больше нравится твой голос, твое лицо, взгляд...

– Довольно, все шуточки... – это был его собственный голос, без примеси, но он был бессильный, словно говорила его тень.

– А ну-ка покажи руки, я погадаю тебе... – она схватила его руки, не спросясь, хотя ее пальцы дрожали, – подняла и опустила, будто взвешивая. – Как мне нравится, когда мужские руки большие, крепкие и тяжелые... – она словно не к нему, а именно к руке обращалась.

Мзалею показалось, что рука действительно становится непривычно тяжелой.

– Хватит, хватит дурака валять... – Но она лишь сильнее сжала пальцы, ее ладонь была обжигающе горяча. Взгляд заволокло, сделался отсутствующим... она просто бредила... – Это потому ты так долго не показывался... все дело в крови... коли жидкая кровь, как бы человек ни начинал хорошо, кончит неважно... Ты ведь тоже не мог выговорить слова, столько было огня... Ты даже не дал мне сказать о вести, с которой к тебе пришла. А потом, когда успокоился, ты стал походить на наемника, который уходит, насытившись... Не меня ли ты обнял, так, что не могла продохнуть?.. Ах, какое это счастье, когда обнимают так, что не можешь вздохнуть!.. Я запомнила на всю жизнь, но потом... потом точно не знаю... верно, и ты не помнишь... и призрак этой паршивой девчонки – все исчезло в нашем сумасшествии... потому что нас с тобой сжигал другой огонь... Этот огонь сжигал, сжигает и будет сжигать, обращать в пепел благонамеренную, эту якобы чистую любовь. Но где же ты, почему сгинул?

Она уже обеими руками вцепилась в его руки, ее трясло, как в лихорадке. Он почти грубо, как впившиеся пиявки, оторвал ее пальцы от себя и вскочил. Она осталась на месте, пораженная, с расширившимися помутневшими глазами.

– Здесь ты ошиблась, не за того принимаешь... – бросил он почти брезгливо. – Я... я твой деверь, никто другой. Смотри, если поведешь себя так с кем еще, может плохо кончиться.

– Да, да... – она постепенно приходила в себя. – Я же знала, что не за того принимаю тебя... но и ты знай – не за того себя принимаешь...

– Почему же не за того? Что, я и Уатар братья только по отцу – об этом ты?

– А может, и не об этом...

– Как, как?

– Ну ладно, ладно, извини, я еще в бреду... Если до завтра снег нас не занесет окончательно, как-нибудь продолжим разговор...

– Нет, почему, коли начала – говори. Тем более, раз есть такая опасность – быть заваленными. Последнюю просьбу любого смертника положено выполнять.

– Ничего, совсем ничего... от безделья чего только в голову не взбредет... – Она еще не совсем пришла в себя. – Вообще, напрасно я осталась, надо было сразу уехать... с мужем.

– Почему все здесь окружено какими-то жуткими тайнами, подозрениями... – Он уже знал, что вовсю идут разговоры, иногда краем уха слышал в последнее время – и не хотел слышать об этом, как о сущей чепухе, которую плетут только завзятые бездельники. Думал, что распространять слухи могли и назло матери, – как же, молодая жена при старике. (Бедная мать, если она знает об этом, сколько же пережила, еще и с ее характером!)

Но сейчас впервые за все время, как он появился здесь и услышал краем уха о чем почти только догадывался, – впервые стал его доставать холодок какой-то очень острой боли, словно кто-то оставил дверь чуть приоткрытой – в этот морозом и снегом дышащий мир.

Он резко потянул дверь к себе – и даже не попрощавшись, вышел.

В его комнате было хорошо натоплено. Он догадался, это Чахуназ постаралась. Никто больше и не думал в этом доме, чтобы затопить камин для человека, который целый день мерз во дворе. То, чего наслушался за столом... потом странный припадок, бред его невестки, ее колкие двусмысленные слова под конец... все это возродило в нем усталость целого дня работы – он чувствовал, как все тело отяжелело.

Верно, в каждом доме есть своя ведьма, думал он, не в силах забыть сегодняшнюю Сафию. Известное дело, каждая семья имеет свою историю, свою драму, тайну, но это ужасно, когда эту тайну прячут, как острый нож в рукаве, и вечно у каждого замирает спина, вечно ждут – кому, когда нанесут удар...

Почему мать задержала, оставила Сафию в доме, думал он, неужели до сих пор не поняла, что та собою представляет? Надо найти любой предлог – и выпроводить ее, очистить здесь воздух...

На полке камина в подсвечнике горели две свечи, почти целые (опять старается Чахуназ). Он взял в руку тяжелый подсвечник, поставил у зеркала. И сам присел. Со времени возвращения лицо его заметно изменилось, огрубело. Но удивило его не это, а тот жар, которым полыхал его взгляд и который менял выражение его лица.

– Ты есть? – спросил он, сидящий у зеркала.

– Ты есть? – тоже спросил тот, который смотрел из зеркала.

«Тебе кажется, что ты есть...» – незнакомой ему улыбкой улыбнулся тот, из зеркала.

Потом они молча глядели друг на друга. Это был он и не он. До сих пор он знал, взгляд его был – без участия бровей. Брови – просто покоились над глазами. Не было так, чтобы вдруг взлетали – в удивлении, в гневе... Вообще – лоб обычно был гладкий – как заводь. Но сейчас – все как будто обрело подвижность, а то, что неподвижно, – стало тверже. Дуги бровей сблизились, словно стремясь коснуться друг друга... Пожалуй, тем и закончится. Губы, всегда чуть приоткрытые, мягкие, сейчас стиснуты, взгляд не то что не

ожидает увидеть чудо – а насторожен, готов отреагировать на любой шорох, и явно – способен отбирать наиболее важное, значащее.

– Кто ты? – не веря своему голосу спросил он, сидящий здесь.

– Кто ты? – тоже не очень уверенно повторил тот, что глядел из зеркала.

Потом опять молча смотрели друг на друга. Вернее, молчал он, а тот, который глядел из зеркала, говорил молча: ...о том, что уйма непонятного, пугающего своей непонятностью; но есть ясное, как ясное небо: жить просто так, чтоб коротать время, день прошел – и слава богу, – это хуже, чем небытие; о том, как на этой земле теперь самой опасной заразой стало неверие... чтобы осилить его – необходимо, чтобы опять поверили в себя, в жизнь; о том, что каждый ставший в сторонке и делающий вид, будто ничего такого не происходит (там, в сторонке, заодно как раз можно больше и поживиться), – выронил все то, что до него донесли его предки, ценой моря крови, пота, слез... он предает не только их, но и будущие поколения...

У того, который смотрел из зеркала, разлом у переносицы углубился, взгляд напряженный: глазам, которым суждено однажды навек закрыться, тяжело выдерживать дыхание вечного горя.

– Надо быть – раз уж я есть! – сказал тот, который смотрел отсюда. Но смотревший из зеркала промолчал: пока что это все были только слова.

СНЕГ ВАЛИЛ И ВАЛИЛ

...Дальняя дорога извела его,
уставшим был...
Ностальгическая

Уже рассветало, когда Майяна встала. Мать лежала с закрытыми глазами, но Майяна знала, что она не спит. Поднявшись, Майяна как и вчера натянула мужскую одежду, оставшуюся от отца. Обычно, занимаясь грязной, пыльной работой, она поверх своего платья надевала какое-нибудь старье, но при этом так подвернет рукава, так подпояшется, чтобы мужское шло ей. Однако сейчас не до красоты было, сейчас важно, чтоб тепло и удобно.

Еще до того как развести огонь подошла к двери, толкнула – дверь словно гвоздями прибили. Чувствовалось, что за эту ночь намело больше, чем в минувшую. Посмотрела в щель – везде только снег, нигде никакого просвета.

Все же почему-то не так страшно было, как вчера. Надо выбраться через чердак, подумала она. Сегодня она даже в силах была вспомнить, как в детстве радовалась снегу, каким он бывал праздником... особенно ее приводило в восторг, когда хлопья опускались, как она называла, пританцовывая. Как жалела, когда снежинки сначала переставали пританцовывать, а потом и вовсе заканчивались где-то там, на небе. Ей, маленькой, и в голову не приходило, что такой красивый, белый и праздничный снег – может засыпать хлев, повалить дом. И птички

становились тогда кроткими, переставали бояться человека и прямо лезли на веранду. А как они, дети, целыми днями играли в снежки, когда еще возможны такие игры... потом уставали – и катали снежный ком, отращивая его до огромных размеров, изо всех сил поднимали его к горке – и сталкивали. Сначала он катится целым, подминая под себя снег, быстрее, быстрее, а потом где-нибудь подпрыгнет, развалится на куски, и каждый из кусков тоже катится еще сколько-то, но постепенно зарывается в сугроб, как мышка... Жалко становится – ком был такой огромный, почти живой... сделали его сами...

Но этот, нынешний снег – не игрушки. За целый вчерашний день не слышала ни одного детского голоса, который радовался бы белому чуду. И небо не обвинишь, не может же оно вечно стараться только детям на забаву, – бывает, всем серьезное испытание посылает.

У них на веранде были сложены дрова – на неделю, а может и больше, но их засыпало, и все так перемерзло, что вчера никаких сил не было выбрать поленьев, а сегодня – тем более. Но и выхода другого нет – дрова-то нужны. Что бы там ни было, хотя бы один раз она сумеет дать корм, воду скотине, а хлев очень крепко сколочен, приземистый, ставил его отец, и она надеялась – с такой постройкой никакой снег не совладает. Единственное – может совсем занести. Потому все равно надо освободить от снега – пробить к хлеву дорожку, и все время его очищать. А дом снизу так или иначе подогревает свою крышу – мало-помалу снег там будет таять. Но неужели и сегодня не появится Бадра? Она его ожидала еще вчера. Или так стало опасно, что для всех все сделалось безразлично, что не свое, или она не знала по-настоящему Бадру, Бадру, в чьей преданности была уверена... Так она подумала, но не верила этому, и никогда бы не поверила. Если он не смог прийти, – значит, действительно не мог... или отцовским поручениям нет конца, а он никогда не переступит то, что ему скажет отец.

Но еще и то она знала, что Бадра отдельно не мыслился – он всегда был вместе с Мсоустом. Как только Бадра узнавал что-нибудь о Мсоусте, – прибегал к ней, в этом случае для него не существовали запреты. Все, что происходило сейчас, если даже окончательно занесет снегом, было бы нипочем, если б она уверена была, что Мсоуст в безопасности.

«Где ты, где, где же?»… – все время звучал в ней беззвучный, бессильный вопрос.

Подошла к очагу, разжечь огонь. Только потом разбудит мать, чтобы та хоть своим бесконечным нытьем отвлекла от мучающего неотвязного вопроса... Но в это время услышала какие-то странные звуки – и повернулась туда, где лежала мать. Тихо и заунывно скулила и плакала Иалса.

– Мать! – Майяне не то что не стало ее жалко – даже разозлилась.

– Бедные сироты, горемыки мы несчастные, – причитала Иалса.

– Мать, о чем ты говоришь, снег не только здесь валит – у всех, – прикрикнула она. — Не надо с утра оплакивать нас, не один наш дом занесло, все, что будет, будет и с нами. Не дай бог одним остаться! Да и

вообще – ничего не случится... Трудно – будет, а нам никогда и не было легко.

– Я не о себе думаю, я-то что прожила достаточно, гореть мне в аду, – всхлипнула Иалса. – Ну а ты-то, ты что в этой жизни видела...

– Полно, полно, мать... тебе, женщине, прожившей годы, видевшей и горе и трудности, разве к лицу в беспокойное время так вести себя! Снега что ли убоимся? Ну, пусть идет хоть неделю, разве одну неделю не выдержим? Потом, в деревне есть мужчины, они что-нибудь придумают, не оставят без помощи вдов и сирот.

– Это все, может быть, и так...

– Ты пока лежи, торопиться некуда. Встанешь, когда огонь хорошо разгорится.

Иалса перестала плакать, натянула на себя одеяло, повернулась на бок, и лицо ее стало спокойнее.

Разводя огонь, Майяна думала о том, что с матерью ее устами говорил его дух, дух Мсоуста, – доставал ее, пересилив и расстояния, и всякие другие обстоятельства.

Значит, он жив и здоров, более того, он тот же, каким был всегда... радостью захлестнуло душу Майяны.

– И еще – разве мы можем себя вести так, как не угодно Богу... – Майяна говорила все более и более уверенно. – Ты же знаешь, сколько горемык несчастных в нашем селе и дальше, вдовы, хворые, бедняки, у которых и сейчас ничего нет, покосившиеся хижины, – они, может, уже и повалены, и сами люди остались без крова... ведь этот снег – он на всех же сыплет...

Когда огонь разгорелся, быстро и весело, на душе Майяны и вовсе сделалось хорошо. И сейчас, как испокон веку, на первом месте был огонь. Человек ко всему привыкает – все становится привычным, обыденным; но когда ему приходится трудно, природа надавит на него, он моментально делается зорче, возникают отзвуки самых первых впечатлений, изумлений, обожания... Сами слова, которыми обозначены предметы, явления наиважнейшего для жизни значения, сразу начинают выделяться – обретают цвет и запах. В теперешнюю минуту таким был огонь. Огонь был – Бог.

Разгорелись сухие дрова, пламя взмыло, страстное, веселое, – и Майяна сразу дала ему нагрузку, подложила отсыревшие поленья. Тогда пламя, оставив кокетство, принялась за сырые дрова, за работу, и сразу поменяло праздные звуки парения, зашипело, запыхтело тяжело, но упорно. Уже это был настоящий труд, и язык, и голос – все поменяло, как и требовала такая нагрузка. Оно могло пощеголять, покрасоваться только при первой вспышке, а потом – труд, оно все было занято только им... и вот уже разогретые сырые дрова занялись, огонь уже бушевал, бушевало пламя... оно набиралось сил и старалось показать свою мощь, чтобы оставить, сохранить на какое-то время свое тепло в доме и после того, как дрова сгорят.

Иалса успокоилась наконец, даже заснула.

Майяна решила сначала сделать все необходимое внутри дома. Она повесила над огнем пойло с кукурузными отрубями для коровы, которая еще

давала молоко. В доме уже не стоял, как вчера, пугающий треск, – значит, перестал оседать под снеговой ношей.

– Дом, домик наш, – она подняла глаза кверху, к заполненному дымом чердаку, и зашептала, как перед небом: – Ничего не бойся, не падай духом... Ты создание рук моего отца, ты мой брат, тебя он специально так тщательно и добротно отделал, чтоб после него укрыл, защитил нас. И у тебя прекрасно это получается, дом, домик наш милый.

Потом она взяла веник и стала подметать; почему-то была уверена, что сегодня непременно кто-то придет.

– Дамш, Дамш! – Майяна вспомнила о собаке. Та показалась, посмотрела ничего не видящим, не своим, каким-то не домашним взглядом. Только через некоторое время тепло пробилось через густую мглу умных глаз, и она слабо пошевелила хвостом.

– Все какие-то стали словно пришибленные... – сказала Майяна и сразу спохватилась, догадалась, что для матери это лучшая зацепка.

– Как же им быть еще, – отозвалась Иалса, словно она и не спала. – Где наша икона, Майяна, – вдруг спросила она, громко, будто хотела, чтобы услышала сама Богоматерь – как она ее помнит и чтит.

– Там же, где и раньше, диа.

– Принеси ее мне... – она быстро-быстро перекрестилась. – Ниспошли нам тепло своих глаз, тепло своего сердца... ты, чьи золотые ступни я счастлива облобызать...

Майяна повернулась к матери и хотела ей что-то сказать, когда услышала голоса. Так и замерла, раскрыв рот.

– Тсс-сс!.. – она рукой показала матери, чтобы та молчала.

Действительно – доносились чьи-то голоса... но, видимо, как и все в природе сейчас, изменилось движение звуков – голоса казались странными (А вдруг, а вдруг...) В ее голове, пересилив ее саму, перекрыв все остальное, запечатлелось: «Если придет, придет... конечно, мужчина... и моей судьбой станет тот, который первым переступит мой порог в такой день, первым...»

И вдруг она вспомнила куницу, как та готовилась прыгнуть с дерева на большое расстояние, на ветку другого дерева... прыжок на такое расстояние – уже не прыжок, а полет... Вот замерла на самой оконечности ветки, вот-вот оттолкнется... Но почему-то зазевалась, – может, оттого, что вдруг нашла роковая неуверенность. И сразу это отразилось, это дуновение неуверенности, на ее напряженной, как при взлете, стойке, на всем облике. Вершиной красоты был бы прыжок-полет, то мгновение, когда она парит в воздухе. А сейчас в ней пробудилось сомнение, может быть, оттого, что в такой снегопад вся поверхность, все линии исказились... Почему она зазевалась, прыгнуть, прыгнуть ей надо!

Голоса были уже совсем близко. Один из них выделялся.

Это наверняка ОН, ОН... замерло сердце... она рванулась к двери. Ей показалось, что прошла вечность, пока нашла щель, пока глаза привыкли к

полутьме: весь занесенный снегом, с лицом побагровевшим, будто свекла, как бы между небом и землей не то стоял, не то висел... Бадра.

ПЛАЧ

...Осталась я висеть, охрипшая, с заржавевшими петлями, уже давно ничего не означая, я, первая, главная входная дверь осиротевшего дома. Другие двери, уходя, люди успели закрыть. Так они и остались навсегда – закрытыми наглухо. В конце такая была лихорадочная спешка, что даже некогда было меня притворить... и во всей этой кутерьме успела, успела погладить меня... Когда она последний раз провела по мне рукой, каждый кончик ее пальца доносил до меня – как раненной птицей бьется сердце... Рыдания, которые подавляла, на этот раз вырвались... но она опять превозмогла себя.

И с тех пор осталась я висеть, приоткрытая... свирепый ветер часто бил меня, и петли мои уже ослабли, и когда он сейчас бросает меня изо всей силы, я не попадаю в свою раму – так отвисла. Визжат петли, что еще поддерживают меня, – нет больше силы... Воет сумасшедший ветер, особенно ночью, под утро, врывается в дом, и несмотря на то, что дом даже и в таком состоянии укрощает его, он до сих пор что-то да сорвет все равно со стены. Я никогда не думала, что столько бушует ветер, буйствует по земле, столько у него разных голосов, звуков, оттенков. В мире нет ничего, что бы не страдало от какой-нибудь червоточины... Даже ветер, иногда беспощадный, своенравный, и то воет, как старая женщина от зубной боли, или вскрикивает, словно его в самое сердце поразил клинок... он помнит, когда еще мирно жили во всех этих домах... И я издаю свой жалобный визг с помощью ветра. Стихнет, исчезнет ветер – и меня не слыхать от зари до зари, в доме, в котором уже никто не живет, из которого никто не выходит, в который никто не заглядывает. Удивительно, что пустого дома боятся даже больше, чем могилы.

Тогда, когда только-только построили этот каштановый домик-акуаскиа, когда только-только навесили меня, новенькую, мой порог переступало множество мужчин и женщин с доброй душой и добрым отношением к этому дому и всем, кто обитал в нем. Родственники, друзья, соседи, гости... дом был полон жизни.

Я многое помню, но есть в моих воспоминаниях особенные... тот день, когда меня собирал Куагуса-уаста. Все другие, закрытые двери, окна, каждая доска, каждая линия дома, каждая рама – навсегда запомнили его руки и не забудут, пока не сгниют, превратятся в прах и землю. Но в конце, когда дело дошло до меня, до последней двери главного входа дома, – какими они, руки его, стали, никто не знает, только я. Движения, точность его рук были

божественны... кроме того, чем я распята на петлях, во мне нет ни одного гвоздя. Он тогда был в расцвете сил.

«Вот навешу эту дверь, главную входную дверь, – и дом уже станет домом, – как сегодня звучит в ушах его голос. Он это сказал, обращаясь к подошедшей в это время старшей дочери хозяина. – Потом я ухожу. Но я не могу не сказать тебе... Не получается наше счастье... У меня семья... я смог бы с ней расстаться, но ни ты, ни твоя семья это не в силах принять». «Только не я, не я...» – сказала она жалобно. «Если я проживу два человеческих возраста, – лишь оттого, что ты есть на этом свете... и если завтра меня не станет и горевестник принесет плохую весть, – тоже оттого, что ты на этом свете»... «Не говори так, не говори, Богом заклинаю!» – со стоном прошептала она, как раненая.

Потом подошли к ним, и он сразу продолжал навешивать меня. Как изменились руки после этого разговора! Они прожигали меня. Может быть, до сих пор на мне остались следы его горячих пальцев.

И еще я помню... но как можно сказать обо всем, что помнишь... и кому расскажешь... Столько рук прикасалось ко мне, столько открывало-закрывало. Среди них были и мягкие, жесткие, добрые и недобрые, безразличные, очень искренние, завистливые, но все это было мелочи по сравнению с одной из них, с одной из этих рук. Что это была за рука, сколько зла, желчи, коварства было в ней! Если я когда-нибудь начну гнить, начну именно в тех местах, где он прикасался ко мне. Что сделали этому исчадию ада, этому пропитанному ядом гаду здешние честные труженики, в поте лица добывающие хлеб свой, не пересекавшие никому никогда дорогу? С того времени, как он все чаще стал переступать порог, начало таять счастье, поселившееся в этом добром, честном доме...

Руки всех их, живших здесь, запечатлены на мне... оставив в доме половину души, они ушли... Днями, ночами я слышу их разговоры, голоса, смех, плач – все эти звуки еще витают здесь... Кто знает, как у них сложилась жизнь там, куда они уехали, но пока этот дом стоит, их души не совсем исчезли с этой земли. Всю ночь я, прикованная петлями, отвисшая дверь, слышу, как грызут мышки сафьяновые чусты самого младшего в семье, которого называли «зимней земляникой». Сколько уже времени прошло, в доме все съели мыши, все, что можно было съесть, а вот детские чусты они до сих пор не могут сгрызть, чтобы сгнить их поганым зубам! Так торопили тогда хозяев – не успели даже мальчика обуть. Он в те дни болел, лежал в жару. И вот раздался окрик: «Идти всем, немедленно! Если не поторопитесь, все, что останется, – останется, если даже ребенок!» Взяли из постели исходившего плачем малыша, пылавшего страшным жаром, и понесли. А его маленькие иссохшие чусты все грызут здесь маленькие мыши, нарождающиеся каждой весной, на них пробуют свои зубки...

То чудовище пришло позже... Как меня захватили, как стукнули мною его руки, высохнуть бы им! Шипел как змея, был в восторге оттого, что видели его глаза. Верно, он был посланец черных сил, чья губительная частица достала до этого несчастного дома, чтобы смести с лица земли, вырвать

навсегда корни этих домов, двора, вообще все, что напоминает о тех, которые испокон веку жили здесь. Кто знает, почему мозолила ему глаза безгрешная эта семья, корни которой глубоко ушли в эту землю с тех самых пор, как рос тут каштан, из которого я сотворена.

Мастер Куагуса подходил, бывало, к воротам, но дальше не шел, – верно, ноги его не несли. То, что он приходит к воротам, я знала, ибо во мне его душа... так искусно собранное им начинало ломить. Хоть бы явился, поддержал меня, провел бы рукой по тому месту, где, уходя, успела погладить старшая дочь хозяина... трепет ее ладоней я чувствую до сих пор... но, видно, это ему не под силу...

...Однажды в полдень, в самое пекло, когда от жары поник, завял бурьян, заполонивший двор, а змеи, подняв свои ошалелые головы, извиваясь, ползли отовсюду, отыскивая местечко попрохладнее, и желтый отросток нахальной ежевики, что уже дотягивалась до меня, желая задушить, уже закручивала петлю... когда от зноя замертво упал желтый отросток ежевики, чтоб не встать, чтоб сгнить ему!.. – я вдруг так вздрогнула, что чуть не слетела с петель. Весь дом вздрогнул, затрещали прочно, сколоченные суставы, закрытые двери и окна задрожали в первый раз, издали визг, едва возможный в их положении, и все в доме застонало... Во мне с болью отозвалось что-то наподобие «Песни ранения», и эти звуки старались передать ржавые мои петли, когда какой-то тяжелый воздух кружил вокруг дома и двигал меня тоже... К вечеру примчался другой ветер, горячий, запыхавшийся, злой, на своем пути срывая все, что оплело дома Куагуса-плотника: «Куагуса-уаста погиб, Куагуса-уаста погиб! – обрывки слов доносились из того жаркого воздуха, что он пригнал сюда. – Сорвался с макушки дома и упал неудачно... Куагуса-уаста погиб, погиб...» С этой вестью смешивались обрывки голосов, вскрики людей, воспринявших донесшееся как беду. Ветер-зловестник, пролетая, изо всех сил хлопнул мною, вырвал с корнями ежевику, разворошил и оставил ее отросток бездыханным, сам же умчался дальше: «Куагуса-плотник погиб, погиб...» – долго еще слышалось в клубах пыли, гонимой злым горячим ветром.

...А осенью явился сюда этот гад ядовитый. Какие-то люди были с ним, раздавались их голоса.

– Будущей весной здесь везде посадим табак, все тут надо сжечь дотла. На месте этой лачужки поставим каменный дом-крепость... построимся мы не здесь, немного дальше. Это место проклято. Один я сколько его проклинал... у этих крестьянишек я мотыжил кукурузу, виноград собирал, возделывал табак, а попробуй хоть краешком глаза посмотреть на их девушек, хотя бы на одну самую задрипанную, – успевай только уносить ноги, если сумеешь. А теперь вот их никого нет, и все здесь мое, я всем распоряжаюсь как хочу. Нет торжества выше, когда человек на своем веку, еще в полном расцвете сил, видит возмездие, о котором мечтали его предки и он сам мечтал тоже!

Пришедшие говорили на непонятном мне языке, перебрасывались словами, которые мне казались похожими на обледенелые снежные комья, потом смеялись, и смех их был для меня как чужой мне язык.

– Сжечь, сжечь все дотла! – выкрикнул он, словно в час победы.

– Пока не стоит, – возразил кто-то.

– Почему, черт побери?!

– Не надо, пока выждем, это я говорю тебе... – сказал второй, шипя как змея, когда, уползая от жары, сворачивается в кольцо и прохлаждается в тени дома. По его тону можно было догадаться, что он трусит и что он предательского склада человек.

– Ну хорошо, – согласился тот. – Тогда оставим до весны. Весной огонь еще красивее горит, а пламя золотистого цвета. Эх! – он причмокнул, – всю эту землю, становящуюся иногда грязью, слякотью, – превратим в золото! И не отстанем от нее, пока не останутся от нее кожа да кости!

Потом они еще перекинулись словами на непонятном мне языке и заржали, – и смех, ржание их тоже было непонятным для меня языком.

…Уже с неделю как ни ветерка. Мороз забирается внутрь, овладевает всем домом, и дом весь уже по ночам трещит от стужи. Это тоже продолжалось с неделю. Недавно в полночь, болтаясь в полусонном состоянии на своих ослабленных петлях, я очнулась; на меня тихо падали снежинки, много, густо. К утру я стояла по пояс в снегу, и веранда трещала от тяжести сугроба, который намело на нее.

Лучше бы нас занес снег, засыпал, сровнял с землей, – чем быть сожженными этими негодяями...

И сегодня целый день шел снег и всю ночь, не переставая. Я уже доверху занесена снегом, намертво примерзла к стене, никакой уже ветер мне не страшен. Вдруг ни с того ни с сего меня одолевают сны-видения... я постепенно начинаю чувствовать, как приобретаю давно срезанные корни, как по ним поднимаются к иссохшим жилам живительные соки, и будто я постепенно обрастаю корою... А под конец мне кажется, что я стою где-то молодым крепким деревцем, уже нажившим прекрасную розовую сердцевину, и не тронутым топором... и будто там тоже сыплет снег. Но что деревьям снег! Какой бы глубокий он ни был – им все по колено. Разве только ветви страдают, ломаются от него.

Такие грезы меня немного утешают... и чудится, будто я никогда не была причастна к человеческой жизни, к человеческому горю, сжигающему изнутри, от которого крошатся суставы…

И САМ НЕ ПЛОШАЙ

Прямо – вперед...
Старинная походная

На вторую ночь снега выпало не меньше, чем накануне. Еле видны были протоптанные вчера дорожки. Увидев, что снег не перестает, люди испугались не больше, чем минувшим утром, но зато и не меньше. Пока трудно было привыкнуть: и вчера необыкновенное было новым, и сегодня. В первый день все были заняты собою: счищали снег с домов, добывали дрова, тревожились о своих родственниках, домочадцах, которые находились в пути или где-то далеко задержались в гостях, о пастухах, оставшихся с огромными отарами в ущельях. Многие, кто сам не мог себе помочь, прождали целый день, и на второй день тоже не теряли надежды, что их выручат. Говорят же, что к козе, издыхающей от голода, вдруг сама опустилась ветка, вся в обильной листве. Неужели же ничего не существует, ничего, кроме забот о самом себе, неужели так и оставит ТОТ, которому они с колыбели учатся молиться, воздевая руки к небу, оставит это бездонное пространство, обращая взгляды к которому они все надеются что-нибудь да услышать?

То, что случилось, нажало, надавило – принесло с собой много вопросов, одинаково новых. Обычно каждый или совсем не думал о них, или если даже иногда задумывался, считал, что такие вопросы решать только богам дано, а людям тут нечего делать. Но сейчас перед всеми вплотную стоял главный вопрос – действовать ли, и как... каждый должен был сам определить свое отношение к нему.

Люди, видавшие виды, много пережившие, уже один раз были свидетелями тому, как несерьезное отношение к жизненно важному вопросу, сваливание всей ответственности на Бога, потом на князей, на дворянство, желание во чтобы то ни стало самому избежать ответственности, – в конце концов привели к самым плачевным последствиям. Даже те, которым не пришлось самим участвовать либо наблюдать трагедию со стороны, чувствовали сейчас точно так же, как и участвовавшие, истерзанные бедой, – потому что после ни у кого не стало жизни. Когда с неба двинулась угроза, под стать только небу, и нечем стало ее остановить, – ложью затянутые входы зла и беды раскрылись... Постепенно притерпевшимся людям казалось, что они свыклись уже со своими бедами, со своим горем, – но это был самообман, привыкнуть к беде человек не может, он должен ее осилить.

После грянувшей катастрофы уцелевшие здесь, на своей земле, притаились, хотели сделать вид, будто ничего и не случилось. Им казалось, что это их как бы защитит. По сравнению с той катастрофой теперешняя напасть, необычное природное явление, конечно, было не так-то уж и страшно. Даже если погибнешь – хотя бы на родной земле. Все же природа не должна так расправляться со своими детьми: не задавит же коровья нога собственного теленка. Однако это и не означало, что надо сидеть и ждать, когда же сама природа помилует.

Сначала многие растерялись. Но потом все же справились, взяли себя в руки и принялись действовать – как по древнему кличу «Иахуалак»; если лежишь – вставай, если стоишь – беги, если бежишь – лети. Понимали, что в таких случаях надо объединяться, выступать сообща.

Как всякое официальное лицо, привыкшее отдавать приказания, Чантамыр говорил отрывисто, немного сердито, тоном, не допускающим возражения.

– Явились ко мне вереницей, здоровенные лбы... я их не назову, конечно... – рассказывал он сердито, каждому по очереди глядя в глаза и от того делая паузы. – Спрашивают – нет ли у меня затруднений, – мол, готовы помочь. Я говорю: как же вам не стыдно, минуя бедных, сирот, вдов, которые, может быть, уже лежат, придавленные своими обвалившимися крышами, как не стыдно являться ко мне. Я их даже не пригласил сесть. Перечислил несколько хозяйств, в которые они немедленно должны были отправиться. Все молча повернулись и ушли... такие не придут к тем, о которых я говорил... эти скорее завернут к таким, как Такияла, или же у себя спокойно посидят, попивая чачу.

Разговор происходил в гостевом доме. Мзалей усадили на самом почетном месте, у широкого пылающего камина (место у очага, место у тепла...).

Мзалей сегодня рано утром, не спросив разрешения даже отца, не то что Умара, собрал всю мужскую часть прислуги и распределил обязанности. В том числе некоторым предложил, чтобы немедля оповестили сильных хороших ребят, – и все вместе во что бы то ни стало должны были явиться к Чантамыру. Примечательно, что тот, с пистолетом, ершистый, первым сам вызвался... (Кажется, Макитатом зовут). Сейчас он здесь где-то: как он сам сказал, четверых ребят пригнал и сидит с ними. И все остальные по двое-трое крепких парней взяли с собою. В амацурте же сидели те, которые сами явились к Чантамыру и ожидали приказаний. На длинных узких столиках-аишва – чарки с первачом, сушеные фрукты, инжир, орехи, жареный каштан, аджанджахуа. Выпив по одной, удовлетворенно крякнули, и когда каждый оставшуюся каплю выплеснул в огонь, зеленое пламя полыхнуло чуть не до потолка, – и все, довольные, загоготали.

Вдруг все в гостиной встали, и Мзалей машинально поднялся тоже. Только теперь заметил он вошедшую миловидную, еще не старую женщину с узорчатым шерстяным платком на плечах. У рта и возле глаз были уже заметны морщинки, но брови вразлет и большие темные глаза доносили еще неугасший свет былой красоты. Мзалей вдруг вспомнил очень старую, позабытую молву о том, что Чантамыр был лучшим женихом в округе и взял лучшую невесту (милое, милое детство, чего только не хранит оно в своих удивительных кладовых). Он еще и тогда, ребенком знал, что Чантамыр служил в русских войсках и за героизм был представлен к солдатскому Георгию.

– Садитесь, садитесь! – предложила хозяйка как только переступила порог. Голос был грудной, необыкновенно красивого тембра, какой-то особенно музыкальный. – Бог с тобой, отчего ж не потчуешь никого... и так мне неловко – на столе пусто, а он и к тому, что есть, людей не приглашает.

– Ты думаешь, они праздновать тут собрались... – Чантамыр посмотрел на нее снизу, и она будто стала выше, он как бы поднял ее взглядом. Когда

увидел ее – все его лицо засияло, но и после того, как сияние сошло, в его еще неотцветших глазах стояло тепло; он не мог скрыть своего расположения к жене.

– Поднимите по чарке, и разговор тогда пойдет лучше, – сказала она и прошла к столу.

– Здесь уж мы сами как-нибудь справимся, а ты там распорядись, в амацурте... – из голоса Чантамыра мгновенно ушли все нотки неудовольствия, раздражения. – И присмотри, чтобы они там лишнего не хватили. Нам они нужны не с замутненными глазами, имей в виду!

– Да, что ты, у них рюмки с наперсток, и сами не хуже вашего понимают положение... – она засмеялась грудным приятным смехом, разбавленным еще особой мелодией, словно какие-то звуки, какая-то разлитая в воздухе гармония питала ее голос. – Раз я здесь вам не нужна, действительно пойду в амацурту.

– Ты везде нужна... – глаза у Чантамыра потеплели. – Ты, конечно, нужна и здесь, но обстоятельства требуют...

– Пора, перейти к делу... – Чантамыр вернулся к обычному своему тону. – Как видите, снег все идет. Он, конечно, перестанет, – но если заранее не принять нужные меры... еще вся зима впереди, могут быть неприятные последствия. А потом – он, видно, не так скоро уйдет, и как будет уходить – неизвестно.

– Если даже сегодня прекратится снегопад – все равно опасно, – сказал Гудзба, возвращаясь из далеких своих раздумий.

– Да, спору нет, зима будет невиданно суровой, – подтвердил Чантамыр. – Потому одних разговоров мало... здесь же решим, как поступить, и сейчас же приступим к делу, а дальше само дело нам подскажет в каждом конкретном случае. Первым долгом – дети, и там, где дома в опасном положении, и там, где женщины одни...

– Смотря какие женщины... – мигнул своим ребятам Макитат.

– Шуточки в сторону.

– Почему бы не пошутить... вот возьмем мать нашего Маху...

– Ты что-нибудь знаешь о нем? – обрадовался Мзалей. – У него родился сын в первый день снегопада!

На Мзалея все обернулись, поглядели – на нового человека, и на минуту установилась тишина.

– А что Маху... они его от очага не отпускают, чтобы не простыл, все у очага держат, обхаживают.

– Конечно, да, надо его беречь, он сейчас незаменимый – качает люльку.

– Да, да, там еще некоторая неувязка вышла! Роженица, конечно, пока не встает. У колыбели сидел сам родитель. И вот что-то ребенок стал уж очень громко плакать... так со двора, из снежной мглы прибежала бабушка, мать нашего Маху. С ходу толком ни в чем не разобравшись, хватает ребенка и ну укачивать! Малыш оказался довольно тяжелым, и бабушка на седьмом небе: думает, что если он уже сейчас такой тяжелый, из него точно – богатырь,

Нарт Сасрыква выйдет. Но когда глаза ее привыкли к обычному свету, она хорошенько раскрыла их – и видит: на руках-то у нее сам ее взрослый Маху. Он же стоял подле колыбели, вот она и подхватила его на руки...

– А что ему оставалось делать: он же не возьмет и не выпорхнет из рук! Стоит его поднять на вершок, как он замирает – боится упасть.

Все засмеялись.

– Он вчера доказал обратное, – заступился за парня Мзалей. – Лазил со мной на самую верхотуру, на крышу большого дома. А вот кое-кто долго не решался последовать его примеру.

– Ты откуда знаешь, ухацкы, сколько он нашептал ачатахиа – давал слово совершить жертвоприношение, если останется жив... – все подтрунивал над приятелем Макитат. Видно было, что он из присутствующих самый близкий для Маху. – Как только этот снег сойдет, тут же и начнет уплетать все свои жертвоприношения!

Когда Мзалей упомянул о большом барском доме, Гудзба поднял на него глаза и холодно словно бы смерил его взглядом. Мзалей заметил это – и не отвел своего. Гудзба не ожидал такого взгляда навстречу: какой-то совсем незнакомый, и явно без злобы на него. Он бы сам на месте Мзалея не смотрел бы так мирно, просто не смог бы. Несмотря на то даже, что сейчас и на вражду нет времени.

– Ну ладно, хватит рассиживать, встаем! – сказал Чантамыр и поднялся сам первый. – Что-то и не думает проясняться. Ихацкы Мзалей предложил, по моему мнению, очень удобный выход: разбившись на группы пойдем по деревне. Каждый же знает, с кем идет?

– Знаем, знаем! – подтвердили все дружно.

– Послезавтра в такое же время встречаемся здесь, и каждый расскажет об обстановке на своем участке, так будет вернее, ухацкы, Мзалей, так, думаю, удобнее, Гудзба. – Он посмотрел на обоих.

Оба качнули головой, согласные.

Все стояли наготове. Мзалей посмотрел на каждого и понял, что, пожалуй, больше него здесь находился и действовал Мсоуст, его дух чувствовался во всем. И это приятно было видеть. Ему даже показалось, что он ощущает его горячее дыхание.

Группа, которую возглавлял Мзалей, была больше остальных, и им предстояло обойти почти третью часть села.

– Я должен успеть везде, где есть школьники, дать им задания, – сказал Гудзба Чантамыру. – Один из мальчиков очень болен. Бог его знает, как он себя сейчас чувствует. Сегодня уже не успею, но завтра с самого утра я должен туда идти, меня не ждите. А чем поможешь, чем утешишь... пришел, посмотрел и ушел.

– Что с ним? – в голосе Чантамыра была тревога.

– Отец и мать говорят, воспаление легких, но боюсь другого.

– Чего?

– Помнишь, перед последним изгнанием вспыхнула какая-то эпидемия... Человек вдруг начинал гореть, а через два-три дня умирал... Так и не узнали тогда, что это было за несчастье. А если сейчас то же самое, что тогда? – последние слова Гудзба почти простонал.

– Этого только не хватало, – Чантамыр кулаком больно ударил себя по колену. – Это нам еще не хватало!

– По-моему, маловероятно... Ведь всякая эпидемия быстро распространяется, для нее нет преград, – сказал Мзалей, сам не очень веря своим утешительным словам. – Во всяком случае – никому ничего...

– Это да – никому ни слова! – подтвердил и Чантамыр, хотя и в его голосе не было всегдашней уверенности. – Все правильно! – согласились собравшиеся парни.

– Перед выходом стоя выпьем по одной чарке, так просто уйти тоже неправильно будет. – Чантамыр взял одну из чарок, и другие дружно последовали его примеру. – Самое главное – не допустить паники. Только и нужно, чтобы каждый на своем месте делал все, что от него зависит, и чтоб в такое время не делить людей, ко всем относиться одинаково милосердно. За дело, ребятки, бог нам в помощь! – Он с удовольствием осушил чарку. – Когда твою жену никто не хвалит, другого выхода нет, как сделать это самому: мне кажется, недурная чача, советую попробовать. – Она, – его лицо посветлело, – она хуже не умеет... – он посмотрел в сторону двери, куда уходила его жена, словно она оставила здесь свой прекрасный призрак.

Чарки держали все, но Мзалей видел, что после слова Чантамыра ждут его.

– Не помню изгнания... – начал Мзалей. – И не только это... потом тоже мне не пришлось участвовать, видеть, как мой народ страдал... Одним словом, я оказался вне своего народа, когда он больше всего страдал и, когда, пожалуй, каждый был особенно нужен. Пусть простят меня безвременно погибшие, пусть простят те, которые без родины и жизни скитаются на чужбине, – но эти зияющие раны, оставленные, осиротевшие дома, говорят о том, что плохо поработали люди, которые могли стать во главе народа, все сделать – но не допустить беды, по крайней мере, в таких катастрофических размерах. Вы, конечно, имеете право сказать, что я здесь выгляжу как тот герой, что хвастался, не побывав в сражении...

– Рыба с головы тухнет – вот и вся разгадка, – перебил его Гудзба довольно грубо. – Как же еще может случиться с народом, во главе которого стоит такое дворянство, которое даже тогда торговало своим народом, его землями...

– Я к тому и говорю, чтоб и сейчас с нами не посмели так поступить, – отрезал Мзалей, тоже довольно-таки резко. – И не может быть, чтобы одно лишь дворянство во всем было виновато. Так ничего не решить – сваливая все на одну больную голову. Это никогда ничего не давало.

– Снег уйдет, сойдет... не это самое важное... – заметил скептически Гудзба.

– Мы сильны сегодня той силой, которую еще вчера подвергли испытанию, – гнул свое Мзалей. – Теперешний снег – бедствие, и он может многому нас научить и многим показать цену. Ваше здоровье, ребята, и сейчас и потом: все совершающееся – в ваших руках, вы должны это понять... за вас! – Когда он выпил, все молча и дружно осушили свои чарки тоже.

– Проводи нас, – сказал, улыбаясь жене, Чантамыр, когда собрались выходить. – Тебе провожать стало совсем легко: до крыльца и все, даже если очень захочешь – дальше не пойдешь.

– Наступило время ленивых женщин... – она засмеялась, и будто из воздуха сразу к смеху присоединились изумительные звуки и мелодии, которые словно там стояли и ожидали без дела.

– О своей жене так говорить разрешаю только лишь себе, – засмеялся и Чантамыр. – О других женщинах говори сколько хочешь, но о моей – нет.

На лыжах-плетенках идти было удобно, хотя и медленно. Туман поднялся выше, посветлело, но снег все валил не переставая.

– Для Мсоуста, похоже, это спасение, – сказал Чантамыр Гудзбе. – Сейчас не до него.

– Сам он во всем виноват, – отрезал Гудзба. – Мне его не жалко: отец погибает, дома не может усидеть, ночью не спит, мечется. И отец тоже виноват: с самого детства выпустил его из рук – тот и делал все, что в голову взбредет...

– А ты что, против свободы? – подколол его Чантамыр. – Этот ваш рай – социализм, только из свободы и состоит, по вашим словам... выходит что ж, значит, – только заманка?

– Не надо так упрощать, свободы разные бывают... – Гудзба остановился и поправил на своей голове башлык.

– Как он теперь необходим, просто замены ему нет, – продолжал Чантамыр. – При нем я ничего не боялся, как за каменной стеной. Он все успевал...

– О чем и говорить – и сила есть, и башка варит, пока не свихнется... но сколько таких кануло в забвение, ничего не успев сделать из-за непомерного самолюбия, несносного характера. Только тогда, когда соорудишь плотину, направишь воду на колесо мельницы, – мельница начинает работать. А так – знаешь, сколько воды даром течет и течет...

– Все равно... если он куда-то далеко не подался, покажется, не будет сидеть сложа руки – запомни мои слова, – сказал Чантамыр, – Скорее всего так и будет. И кто сейчас за ним будет гнаться...

– Да, время такое, когда волк и собака проходят мимо, не задевая друг друга. – Гудзба пошел быстрее. – Ни за что ни про что создал он себе такое пакостное дело... Хоть причина была бы какая-нибудь веская – тогда понятно было бы, за что ему страдать, нам переживать...

– Веская причина – вся жизнь, ведь так вы должны говорить, бунтовщики-социалисты, – съехидничал Чантамыр. – Что же это вы так быстро отказываетесь от своих же идей.

– Идеи у нас есть, и распространять и осуществлять их надо уметь, или же уж делать вид, будто их вовсе нет, – до поры до времени...

– Кроме шуток, дело может принять серьезный оборот... – сказал Чантамыр озабоченно. Он уже тяжело дышал – сказывался возраст. – Ты же знаешь их нрав... молчат, молчат – и никогда не угадаешь, что могут выкинуть вдруг. А если извиниться публично?

– Только не это. И они навряд ли пойдут на такое, но уж Мсоуст – никогда. Хватит... сколько мы им прощали... Я не кладу всех в одну кучу, сколько дворян участвует в революции – и честнейшие люди... но эти не только революции, а просто своему собственному народу враги.

– Все вы герои, прямо загляденье... – раздраженно махнул рукой Чантамыр. – А мне моего друга жалко. Без него бы из меня уже давно была труха... Совсем молоденького он меня из огня вытащил. Кто бы я был без Гуатаса... Пожалейте хоть вы его.

– Мириться и отец не пойдет, и нам не позволит.

– И это знаю... – Чантамыр вздохнул и остановился. Обратился к парням, которые шли около них. – Здесь разделяемся. Кто должен следовать за мной – мы отсюда уже идем другой дорогой.

– Посмотрим, как дальше повернется... – сказал Гудзба задумчиво и невесело.

Снег валил так густо, что за несколько шагов ничего не было видно. Сквозь снежную мглу то и дело доносились далекие голоса – парни перекликались, чтобы не потерять друг друга. Конечно, было трудно, но люди привыкали понемногу к капризам всесильной природы! Но и природа не унималась еще, а наоборот, казалось, все больше и больше старалась показать свое превосходство над человеком.

СЕСТРИЧКИ-СЧАСТЛИВАЯ НОГА

В пору винограда –
он корзина для сбора винограда,
А во время прополки – мотыга,
А во время уборки – уборочная корзина...
Заговор

...Время, когда засидевшаяся в девках выходила замуж, когда женился решивший было остаться бобылем мужик...

«Сестрички-счастливая нога» – это не было ни фамилией, ни детским прозвищем... кто-то когда-то, разозленный ими, окрестил сестричек, – не

глядя, что уже взрослые, именами наречены, – и так и прилипло к ним. Они не стали брыкаться: как сказали – так и приняли. А теперь они на это прозвище оборачивались чаще и быстрее, чем на свое настоящее имя, к тому же такие слова не каждый осмеливался произнести, и если кто осмеливался, то значит, он достоин, чтоб ему ответили. Потому что вообще обратиться к сестричкам считалось признаком немалого мужества.

Сначала проснулась старшая сестра-счастливая нога, Шахусна. Средненький домик, со средней главной комнатой, пол из средних досок настелен, средненькие замерзшие окошки. Не то чтобы холодно было, а все словно остекленело. Шахусна посмотрела на младшую сестру – и видно было, что та спит глубоким сном, на этот раз не притворяется, как случалось нередко, чтобы не пришлось ей подниматься пораньше да разжигать огонь, дрожа от холода. Когда она увидела, что сестра спит так глубоко и безмятежно, ее уже вроде бы окончательно очерствевшее сердце смягчилось. И от того, что ее собственное сердце уже давно не знало спокойного сна, оно у нее безнадежно заныло.

Как только она встала и ступила на пол, весь дом словно заговорил: то в полу будто треснуло, то на потолке – отовсюду пошли такие звуки, какие не издавал их дом никогда. Словно за ночь его обучили чужим языкам, и вот утром он перестал понимать ее шаги, любое движение, и издает какие-то звуки протеста. Все что-то говорил он ей, – и не то чтобы совсем она перестала понимать его язык, но еще не спешила разобраться, в чем же тут дело. Она надеялась на свой дом, – собранный когда-то из жалости к ним из случайно подвернувшегося материала, – но собранный мастером Куагаса. Правда, чувствуя, что во дворе и с домом что-то неладное происходит, она вдруг ощутила, насколько же была равнодушна ко всему. Однако не хотелось все же потерять тот игривый луч, который восходил к ней каждое утро и поддерживал ее дух. С ним она вспоминала, какой была молодой... как замирало ее сердце... вспоминала, какие надежды сулило будущее, как она думала о том, что в самом зародыше жизни уже заложено счастье, как персиковое семя... И как потом она стала понимать, что будущее – вроде пустопорожней тучи, без капли влаги... по крайней мере для нее.

Младшая, Чахусна, всегда любила притворяться: то притворялась плачущей, то смеющейся, то очень умудренной, то чересчур кокетливой. И особенно в тяжелую минуту, когда на самом-то деле у сестер с юмором и сарказмом вовсе неважно становилось. Получится из этих превращений что-нибудь путное – хорошо, не получится – младшая сразу же забывала о них. Все же как-то находила, чем отвлечься, играла с собой, подтрунивала над собой же, не имея возможности перевести смешное на чужую голову... то вдруг, тоже в полосе неудач, пыталась серьезно полюбить кого-нибудь, отдаться страданиям, изводить себя, изводить других... но неожиданно, будто мельница, где не стало воды, она останавливалась, делалась словно прикованная к нижним, всегда неподвижным жерновам.

А старшая – та ничего шепотом не говорила, ничего не скрывала, всегда все открыто, внятно, – но иногда так остроумно, так колко, что если бы дело

происходило между мужчинами, непременно пролилась бы кровь. Когда она еще была юной, к ней приглядывались, очень часто влюблялись, но узнав ее, не смели не только с признанием, но и так просто подойти к ней. И более того: она, вдруг, могла выкинуть такое, чего не смог бы себе позволить и мужчина... Самое страшное – раз ты завернул на эту дорожку, назад путей не было. Там уже строгие правила: там не должно быть вранья, увиливания, мягкотелости, простой болтовни... Как только, если только перестанут тебе верить в этом, в строгости твоих правил, – сразу исчезнут все границы, которые ты воздвигала, – будто их никогда и не было. И всем дано было понять, и все знали: если вдруг, для большего эффекта, кто-то позволит себе лишнее по отношению к сестричкам, это может вылиться в такой позор для потерявшего чувство меры, что не сможет уже увильнуть, отшутиться, – придется отвечать.

А так, по-настоящему, жизнь, если хочет зваться жизнью, – невыносима.

Если радость слаба, даже не может выжать слезу, если боль не пронзает насквозь, если страдание не забирает всю душу, – жизнь невыносима. Но сестры уже поставили себя так, в таком положении оказались, что если даже сжигали их глаза настоящие слезы, если даже корчились они от настоящей боли, все их воспринимали по-прежнему, душу на них отводили – и все. И какова такая жизнь – тоже понятно.

Она чувствовала: что-то происходит за стенами их игрушечного домика, и неохота было выяснять, в чем там дело... она опять прилегла. И стала слышать чей-то забытый голос, так бережно и тихо произносивший чье-то имя... Этот голос она давно позабыла, но все же помнила, что это ее юный голос.

Маныху, Маныху...

Любят не за глаза – зеленые, голубые или черные, не за вьющиеся волосы, шелковистые усы, не за осиную талию, не за фигуру, на которой отлично сидит черкеска... нет, не за это... Любовь должна быть вспышкой молнии. И может так случиться, что при этой вспышке рядом окажется человек, которого ты раньше никогда не замечала. Но как только вспыхнуло, озарило вас обоих, – все, что было прежде, до этого, в тот же миг улетает в прошлое.

Вот под такой вспышкой оказались однажды они вдвоем... Никого такого, чтобы сравнить, она еще не видывала, и таких глаз ни у кого не было... Больше того – и жил он в месте, где у самого его двора бежит пенистый ручей, – всю ночь строит, вместе с луной, лунные мосты разнообразной причудливой формы... на их чистеньком, просто облизанном дворике, оказывается, весной высыпает множество фиалок, среди них есть и желтые, но, кажется, больше всего белых. А двор обнесен частоколом, и много ворот, намного больше, чем в обычных таких двориках... ворота эти очень удобны, так и хочется открывать, входить и опять выходить, закрывать. И дом его стоял не в середине, не в уголочке двора, а на самом лучшем месте, и не так

как у соседей – или прямо на земле, или торча на курьих ножках (видно, желая себя показать, – было бы чего показывать), – нет, стоял его дом не высокий и не низкий. Посмотрит бывало дом на нее, а она на него, и заведет с ней разговор. Она бы и не слышала то, что он говорит, кабы действительно не говорил: «Иди, говорил он ей, иди и будь хозяйкой...»

Маныху... Маныху...

Он все же однажды решился, – видно, не стало больше мочи. Я, говорит, хочу, говорит, где-нибудь в уединении встретиться с тобой, поговорить надо, мол.

– Сегодня же жду в Волчьем Логове, – ответила она громко. – Приходи туда, если не боишься волков; ты же знаешь – они у себя не церемонятся.

Кто не придет!

Кто не придет!

Маныху... Маныху...

...В эту ночь ярко светила луна, выдалось как раз полнолуние. До самого утра огромные дубы, сгрудившиеся у Волчьего Логова, светились, будто обсыпанные серебром. Так она и не увидела ни разу даже тени волка, не слышала, чтобы затянул свою песню грусти и одиночества – ауура-вой.

Было тихо, тепло, вольготно. Но он не появился, Маныху. Побоялся, что она обманет, – и он потом станет посмешищем.

Под утро он ее встретил на обратном пути.

– Я догадывалась, что ты не посмеешь, – сказала она ему в глаза – с сожалением.

– Ты оттуда?.. – спросил он, униженный и безмерно огорченный.

– Как видишь – жива и невредима. А вот ты напрасно испугался...

– Да, вижу.

– Тогда извини, я не из того дома, где волков боятся и в лес не ходят.

– Если будешь возле меня, никого и ничего не побоюсь...

– В таком случае – садись на мою лошадь, за моей спиной, и держись покрепче, чтобы не упасть.

– Нельзя же топтать человека...

– Всего вам хорошего! – она огрела лошадь плетью и ускакала. Отчего-то боялась, что он не выдержит и сядет позади нее. Этого позора она уж ни за что не хотела допустить. Он был дороже...

А он с тех пор обходил ее как можно дальше.

Гордый молодец – кошачьи усы, худое седло на его кляче пищит, как загнанная мышка.

В это время в доме раздался страшный треск, словно где-то что-то и вправду надломилось. Шахусна вскочила. Быстро оделась, оделась тепло,

слава богу, у них было время вязать, и вязаных вещей хоть отбавляй. Подошла к двери, скинула крючок, толкнула – но дверь была мертво неподвижной.

«Что за несчастье», – подумала она уже серьезно. Взяла скамейку, приставила к стене, где оконце, – сквозь заледеневшее маленькое стеклышко она видела только снег – и больше ничего.

Ах вот почему домишко так непонятно пищал! Видно, он весь утонул в снегу, а они – под снегом.

По правде говоря, это все ее не очень-то напугало. Что будет, тому и быть, подумала она, раз уж так суждено – никто ничем тут помочь не сможет. А что еще нового можно увидеть, каждый день одно и тоже, подумала она, хотя была с этим в душе, конечно, не согласна.

Красавица, которую замуж не взяли, танцует на крыше пустой, трухлявой амхары – домика для новобрачных.

– Вставать! Вставать! – скомандовала она, почему-то вдруг разозлившись на так безмятежно спавшую сестру. Первый раз в жизни ей дало о себе знать сердце: оно словно бы больно потерлось о «нижние жернова», – как на мельнице бывает, когда иссякнет вода... Это, верно, оттого, что так внезапно и непривычно озлилась.

– Кто столько спит, кроме тебя! – ее голос раздавался словно из какой-то ямы. «Мой голос уже наполовину на том свете», – горько посмеялась она в душе.

– Что это ты с утра, будто у тебя сосцы потрескались, – села на постели, потянулась, смачно зевнула младшая из сестер-счастливая нога по имени Чахусна. – акой прекрасный сон я видела... Я Бадру во сне видела, такого миленького. Напрасно мы его называем «Бадра-осел», а ты знаешь, какой он во сне хороший, даже лучше годовалого ослика...

– Только его нам не хватало. Давно ли ты его приметила и надолго ли этого тебе хватит? – Шахусна присела на скамейку, на которой только что стояла, не зная, с чего начать, что предпринять.

– На этот раз – навсегда! – заключила Чахусна. – А ты знаешь, каким он мне снился?

– Каким?

– Мы с ним играли в снежки.

– Счастливых тебе сновидений! Вижу, он заставляет тебя глубоко задумываться.

– Спасибо... – Чахусна посмотрела на сестру, оглянулась вокруг и стала обуваться, одеваться, все так же сидя на постели, – почувствовала что-то неладное.

Сестра молчала.

– ...Я очень старалась за одного типа выйти, но дед покойный все не хотел... – хихикнула не очень весело младшая из сестер-счастливая нога, которую звали Чахусна. – Наконец я решилась, выхожу за Бадру. Бадра мой

ослик, мой осел, такой добрый, податливый. Он, конечно, любит поспать, а я буду сидеть в изголовье и с наслаждением слушать, как он сопит.

Одевшись, она встала – и дом непривычно содрогнулся. Она прошлась по полу, осторожно ставя ноги, – но дом дрожал.

– Разве плохо, если у одной из сестер-счастливая нога муж не то что шумно спит, а храпит... – это совсем неплохо, наоборот, хорошо...

– Лучше счастья и не найти, – отвечала безучастно Шахусна, решившая ничего не предпринимать, ничего.

– Я тоже так думаю... – повторила Чахусна уже без особого энтузиазма. Она взяла такую же скамью, приставила к окну и поднялась на нее. (А дверь все же не стала открывать.)

– Арханиа прибыл, с огромной папахой на голове и огромной шашкой за спиной, взвалил меня на луку седла и увез к себе, – приговаривала она, видимо, чтобы поддержать настроение, не терять присутствия духа.

Однако, едва взглянув в окошко, она вскрикнула, словно укололась иголкой. Еле удержалась на скамейке – и сразу слезла вниз, еще осторожнее касаясь ногой пола.

Шахусна сидела опустошенная, она не могла сейчас ни утешить, ни отчитать. Повернулась к сестре только тогда, когда услышала давно забытые в этом домике с сундучок звуки: Чахусна села на свою постель и самым натуральным образом принялась плакать навзрыд. Рыдания упитанной, здоровой девушки сотрясали не только ее постель, но, казалось, и весь их небольшой домишко.

– Чахусна! – старшую вдруг до самого сердца пронзил плач младшей сестры – она уж и позабыла, когда еще слышала его.

Вскочила, подошла к сестре. Всякие шутки, притворства, розыгрыши – все это быстро проходило, во всяком случае, она точно знала, сколько они могут продлиться, – но здесь ничего не было известно: а вдруг Чахусна способна плакать всю ночь...

– Чахусна, что с тобой... не пугай меня... – Шахусна положила свои высохшие руки на вздрагивающие, горячие, пышные плечи сестры.

– Отстань, – младшая слегка передернула плечами, словно желая сбросить руки сестры с плеч, но по всему чувствовалось, она хотела, чтоб они там оставались. – Вот и накаркал этот негодный гадальщик Шахан, все предвещал светопреставление, вот и накликал!

– Дурочка ты дурочка, глупышка, – говорила Шахусна, почему-то вдруг очень уверенно. – А я-то думала... Снег – он пройдет, погода установится... лишь бы люди кругом сохранили порядочность.

– Поклянись... – Чахусна верила своей сестре.

И это быстро пройдет, слава тебе, Господи, обрадовалась Шахусна.

– Клятвой клянусь, – улыбнулась Шахусна. – Утрами можешь сколько хочешь спать, тревожить тебя не буду.

– Поклянись!

– Клянусь клятвой!

Но Чахусна еще всхлипывала.

– Все тебе отдам, сладости, сушенки...

– Поклянись!!!

– Клянусь, как только пройдет зима – выдам замуж, за Бадру.

– Поклянись! – слезы уже блестят сквозь улыбку.

– Клянусь тобой!

– За Бадру-ослика?

– За Бадру, этого медвежонка.

– Какое счастье! Милый медвежонок!

Сестры переглянулись и засмеялись уже легко.

В это время вдруг глыбы снега обрушились из дымохода прямо в очаг. Сестрички обмерли, прижались друг к дружке, уверенные, что крыша упала на них. Но убедившись, что снега не так уж и много свалилось им под ноги, они взглянули на очаг. Сначала ничего не разобрали, но когда присмотрелись тщательнее, в самом дымоходе увидели усатое лицо, обвязанное башлыком. Даже они, сестрички – счастливая нога, растерялись перед этим необычным явлением.

– И так бывает, и так может случиться! – плутоватым голоском ответило усатое, обязанное башлыком лицо. – Чтобы сестры-счастливая нога замерли, словно язык проглотили! Эй, есть здесь кто?!

– Как же так – никого нет?... Хозяева на месте! – дружно ответили сестры-счастливая нога.

– Великодушно извините, что вхожу не через дверь, – весело тараторило лицо, обвязанное башлыком. – На этот раз Всевышний самолично меня сверху к вам спустил!

– Целовать нам его золотые ступни! Что он нас не забудет и не оставит, мы догадывались, – вскрикнула ожившая Шахусна. – Только, раз уже прислал, прислал бы более достойного, не этого праздного гуляку и бродягу!..

– Более достойных, уважаемая старшая сестра-счастливая нога, к более достойным послал, а меня – к вам! – Парень сперва целиком высунул голову, потом, придерживая плечи бурки, и весь окзался на перекладине.

– Говаривали, что у праздного гуляки полы черкески похожи на грязные бахрома. Сестра, посмотри, – весело поддержала Чахусна. – А у него – бахрома из сосулек, так что не совсем и плохо!

– Я же говорила тебе: любовь к нам так велика, что все парни Наришара вскоре будут у наших ног! – повернулась к сестре Шахусна.

– Что-то я не припомню ничего такого...

– Тогда, значит, это я думала тебе сказать.

– Я первый, я же и последний у ваших ног, – объявил спокойно праздный гуляка и спрыгнул на пол. – А пришел потому, что мне больше деваться некуда.

– Почему же? А дом твой?

– Дом мой изволил приказать долго жить. Не пожелал, подобно ишаку, держать эти сырые комья на своих плечах. И подшутил над нами: раз – и, сложившись, лег. А там – хоть трава не расти...

– Как? – не поверила Шахусна.

– Как же так? – и вовсе не поверила Чахусна.

– Не подумайте, будто оттого с ним случилось, что ему присмотра недоставало, червоточина его съела, о великие сестры-счастливая нога! Просто – не выдержал моего продолжительного отсутствия, он только и думал обо мне! Что ему снег, да и вся природа!.. Но что ж это вы, сестрички так и не догадались стащить с моих плеч бурку, сколько можно вам подсказывать! Что это с вами, руками за животы схватились? Никак заболели? – Он сам бережно размотал свой башлык, обнажив почти облысевший, довольно некрасивый череп. Зато усы были густые, с редкой сединой, вполне молодые, говорящие о развязном характере губы и два ряда крепких белых зубов. («И прадед, и дед, и отец – все мы умирали зубастыми, – хвастался он, – ничего на лице не останется, кожа да кости, а зубы так и торчат... сильные руки, не одного покойничка приводившие в порядок, не могли привести в порядок наши зубы – из нашего рода приглаженные покойнички не получались».) Глаза у него тоже были молодые, по-своему умудренные.

– Тебе не кажется, Чахусна, что этого парня, которого по всей округе днем с огнем ищут и не находят, который заговаривать нам стал зубы, видимо, придется выпроводить обратно, как думаешь... К тому же всякую скромность потерял, является из дымохода... Из дымохода уходит, скажем, дым, значит, он пришел откуда уходят, – не пора ли восстановить равновесие?

– Что-то припоминается мне, когда-то мы с ним подобное уже сотворили...

– Это все забудьте... теперь без нас решил Он сам... – на минутку взглянув вверх, в неширокий вовсе дымоход, откуда вылез, парень, похоже, удивился, как же он ухитрился пробраться, не провалив всю эту с овчинную шапку крышу над сестричками. – Весь дом закупорен, запакован, а через чердак меня выгнать тоже не сможете.

Он преспокойно опустился на одну из скамеек. И стал не спеша развязывать кожаные шнурки лыж-плетенок.

– Кто же тебе дал такую вещь – тебе, несчастному горемыке, праздному гуляке? – искренне пораженные, спросили сестры-счастливая нога.

– В самом начале равнины жил, если помните, смуглый высокий крестьянин (хотя откуда же вам помнить), – заговорил вдруг гость с неподдельной грустью. – Добрый хозяин был, дом содержал в порядке, все, что положено, всегда имел в запасе. В запасе потому, что жил при дороге, к нему частенько забредали путники, вот он и делился с ними... Его первого забрали со всей большой, такой аккуратной семьей. Их высылали зимой, и у его супруги нашлось еще на целое семейство голых, разутых – и одежда и обувь... Сейчас дом уже зарос, а в заросший дом при снеге легче пробраться. Вот они там и висели, целехонькие, сохраняемые для какого-нибудь путника...

Сестры сокрушенно покачали головами.

– Был там в самом начале снегопада, – продолжал парень. – А знаешь, как стало мести... одна снежинка была с войлочную шапку Бадры!

– Ты послушай, что он говорит, а? И о ком? – разыгрывая удивление, Шахусна глянула на Чахусну. – С этой минуты, если кто-нибудь скажет что-нибудь не то о Бадре, будет иметь дело лично со мной!

– Я в свою очередь не против иметь дело с тобой... – развеселился гость.

– Чтоб тебя снегом завалило! – Шахусне это понравилось.

– Значит, счастье твое еще где-то теплится, бедненький, – поддержала Чахусна. – Зашел бы ты в свои хоромы, заснул бы от усталости, от пустой твоей ходьбы, – вот и лежал бы сейчас, готовенький...

– Счастье теплится не только мое, но и ваше, учтите это! – объявил гость с достоинством. – Просто счастье само отыскало вас. Вы разве не знаете, что такому мужчине, как я, теперь в доме цены нет?

– Цены нет! – согласилась Шахусна.

– Цены нет! – повторила Чахусна.

– Говорят, что правда и мертвого воскресит, но одними словами сыт не будешь. Разведите огонь. Шахусна, ты поищи там, на заплесневелом дне твоих сундучков не может быть, чтобы ничего не сохранилось. Богу помолимся, себе пожелаем всего хорошего. Когда же, если не сегодня?!

– Шире карман держи! – чуть язык ему не показала Шахусна. Однако тем не менее отправилась в угол, где стояли сундучки со всякими пряностями. – Чахусна, разведи огонь, этого лоботряса надо чем-нибудь занять.

– Всему свое время, куда нам спешить... – Парень слегка прошелся возле очага, жестом красавца тронул кончики усов, а потом свою порыжевшую от старости, мокрую и не очень приятно пахнущую короткую бурку положил на руки Чахусне: – Высушить и вовремя подать!

Она со злости хотела швырнуть ему бурку в лицо, но когда лицо не изобразило никакого испуга, мирно повесила бурку на стене.

– Мало ли одиноких женщин, сирот, которых ты мог, как говоришь сам, осчастливить одним своим появлением, – почему же выбор твой пал на нас? Может, ответишь мне?

– А я-то думал, она мудрая девочка! Оказывается – форменная дура, извини за выражение, – сказал он, почти брезгливо глядя в сторону Чахусны. – Ты разве не знаешь, что мы с вами уже давно не числимся ни в списках покойных, ни в списках живых: не там и не здесь. Вы из-за ваших язычков: они вам улыбаются – и в то же время сторонятся, и не потому, что боятся, – просто не желают иметь с вами никаких дел. Тихо, так сказать, бессловесно отреклись... А я – бродяга, гуляка, меня и подавно списали... Самый верный признак того, что тебя в какой-то мере признают, – это когда на тебя обижаются... а вот если нет, если ты безразличен – тогда все... Их, отступившихся от нас, большинство, они и держатся вместе... а нас, отверженных, не так много, и тем более мы должны держаться друг за друга. Помяните мои слова: никто сюда кроме меня больше не заглянет, не спросит, как вы, живы-здоровы?

Шахусна поставила штоф с чачей на маленький, как все в этом доме, столик и ухмыльнулась:

– Недаром говорят, что и сумасшедший, случается, изрекает мудрость... может, ты и прав.

– Все это хорошо, но чего ради тебя дьявол носит по свету, что тебе не дает сидеть на одном месте? – Чахусна уже разводила огонь.

– Первым долгом, твоя светлость, должен доложить, что я теперь буду жить в одном месте довольно большой отрезок времени, так что изволь уже не называть меня так. Забудь, что я забулдыга, гуляка, – называй меня моим настоящим именем. А второе – знай, это серьезно, что я ношусь по свету куда хочу и как хочу, проклят ли я или благословен – это неважно, и не надо мне такие вопросы задавать... Я ведь не спрашиваю, для чего иные на одном и том же месте лежат или стоят, пока не обрастут мхом. А может, во мне течет кровь перелетных птиц. Всякое бывает, может, я еще успею найти теплые края, всякое может быть... А может, я их никогда так и не найду, всякое может быть...

В какое-то мгновенье сестры вдруг притихли как зачарованные, заслушались говоруна, и время на миг остановилось... но они тут же поспешили из этого состояния выйти, как бы опасаясь там застрять, и принялись бить это время своим невеселым смехом.

– А настоящее-то имя имеется? – спросила ехидно посмеиваясь Чахусна. – Может, кто-то когда-то и уронил его, так, между прочим, только наши уши как-то не уловили... – Она затянула как бы плача: – Неужели тебя именем каким-нибудь не удостоили, самым завалящим...

В это время огонь, который она разжигала, почти угас, и она засуетилась:

– Чантала, Чантала, гей, гей! – прикрикнула она и стала раздувать пламя полами его башлыка.

– Недаром говорят, что несчастный всегда поет, – грустно заметила Шахусна. Разложила на тарелки закуску к водке, налила чарку.

– А что, Чантала – вполне приличное имя, насколько оно лучше и выгоднее звучит, чем Чуантала – залезающий в котел!

Сам Чантала, хлестко выкрикнув, стал пританцовывать около столика.

Тут все обернулись на какой-то новый странный звук, и не успели даже вскрикнуть, а пляшущий Чантала отпрыгнуть, как забытый почему-то всеми домашний ручной баран, опустив голову и выставив рога, со скоростью света бросился на бедного Чанталу. И через секунду тот лежал у самого порога. Он так остался лежать, словно желая обдумать случившееся, но когда баран пошел обратно, чтобы разогнавшись опять ударить Чанталу, сестры закричали. Тогда парень одним прыжком вскочил на ноги, а сестры меж тем успели схватить ручного барана за рога. Баран сразу же присмирел, как только они к нему притронулись. Его опять привязали в положенном ему углу.

После чего сестры повернулись к Чантале и захохотали, просто зарыдали: одна басом, другая – дискантом.

– Он вас очень серьезно ревнует, – сказал парень, поглаживая спину. – Довольно-таки ощутимо... Все равно нам придется друг друга терпеть, лучше стой там смирно! – он погрозил барану пальцем. – Смотрите-ка на него, как турецкий султан, обеих сразу захотел!

Ручной баран опять рванулся было, но веревка его удерживала.

– Посмотрела бы я, как ты там языком чешешь, если б он не был привязан, – окончательно развеселилась Шахусна.

– Как вы будете дальше уживаться? – подначивала и Чахусна.

– Очень просто... Как ни печально – его судьба предрешена. Надеюсь, из меня-то вы не вздумаете готовить суп-аицачапа или бараньи шашлыки?..

– Мы твои намеки не поняли, может, повторишь?..

– Сколько вы его так будете с руки кормить, и чем?

– Кормить будем сколько нужно, а чем – это тебя уже не касается.

– Всему есть свои пределы. Во-первых, перекармливают, чтоб потом самому пальчики облизывать, во-вторых, вы, девочки, еще носа на двор не высунули, не имеете представления о том, что там происходит... Если такой баран поможет выйти из самого острого положения – считайте, спасены!..

– Напрасно и не надейся! – занервничала Шахусна, и улыбка сошла с ее лица. Она несколько раз оглянулась в сторону ручного барана, а тот все еще не отрывал налившихся красным глаз от Чанталы.

– Облизывай, облизывай губы, пока совсем не пересохнут! – бросила Чахусна, но тоже не слишком уверенно, ибо она уже была безнадежно голодна.

– Время покажет, девочки... я не насильник, а вот о времени так не скажешь. – Он направился к столику, взял в руки чарку. – Хорошо, что это баранье создание не задело наш драгоценный столик. Пока чарку-другую примем, а там посмотрим...

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Я дую на тебя – духом стальным...
Заклинание железа

Он опять очнулся, но таким слабым, что едва ощущал свое же дыхание. Однако жара большого не была, глаза видели ясно, и он слышал, и главное, было почти тепло. Было не то что тихо, но совершенно беззвучно, все застыло. И еще: кроме того, что сохранил способность видеть и слышать, всего остального тела он не чувствовал, словно отсекли. Он боялся пошевелиться. Свет в срубе был какой-то странный: свет не свет, темень не темень.

Некоторое время он лежал так – и отчетливо понимал: снаружи давно идет снег, сруб занесло, по сути, он заживо погребен. Все равно, надо было что-то предпринять. Он попытался поднять бессильно обвисшие руки, но лишь пошевелил – и руки опять упали.

«Ах да, – прояснилось внезапно, – человеку перед смертью вдруг становится лучше...»

Он же сам очень хорошо это помнит, и не так давно было. Во время эпидемии гриппа умирал его младший брат. В окне видно было, как садилось багровое солнце, не круглое уже – бесформенная глыба. В это время брату вдруг сделалось лучше, лицо, глаза – такие ясные! «Если бог даст... – сказал он, разомкнув свои обветренные, потрескавшиеся, обожженные губы. – Отпустило, и жар спал, и голова не болит, а просто кажется невесомой... – Он присел на постели. – Дай мне умыться, лицо все липкое от пота». – И посмотрел на него так ясно, так страдальчески. Не успел Мсоуст встать, как Мкыд, днем и ночью бодрствующая которые сутки, схватила железный кумган, который всегда грелся у огня, чистое полотенце – и, неживая, пошла к сыну. Ее била дрожь. «Ты что, продрогла, диа? – спросил брат – с таким ясным и наивным выговором, какой бывает у обреченных. – Это от недосыпания, сколько не сиди у огня – не согреешься, все равно надо идти и отоспаться...» Он это выговорил четко, но быстро-быстро, словно боясь, что не успеет дать важные последние наставления.

«Чтоб ты через меня осиротел, – сказала Мкыд, еле подавая голос, сквозь свинцовый комок, который застрял у нее в горле. – За что тебе такие муки...» – «Уже не бойся, диа, не сетуй на них тоже, я их отмываю и отдаю воде...»

Он с трудом собрал руки в горсть – немощные, припадающие друг к другу пальцы, – и протянул ей. И шаги Гуатаса прекратились. От больного не ускользнуло это: отец стал как вкопанный и смотрел совсем в другую сторону. «Диа, отец, оказывается, прав: ты воду льешь не в горсть, а на запястье...» – подобие смеха издали его все бледнеющие уста.

Но он сам тоже уже видел, что улучшение обманчиво... раза два так небрежно побрызгал в лицо и больше не стал. Не успел он даже полотенцем хоть раз провести по лицу – и сразу попросился в постель. Только положил голову на подушку, – «Как скверно получилось...» – успел он последними словами перерезать путь вечной немоты.

...Со мной то же самое, подумал Мсоуст. Это перед вечной немотой что-то зашевелилось. Но смерть смерти рознь. Я заживо погребен, и слова некому сказать. Но разве не все равно, смерть не разбирает, пробил час – и все.

Напрасно он старался не то утешить себя такими мыслями, не то обмануть... а на деле было не так: сердце болело больше и обиднее, чем, думал он, при обычном конце. Если бы уходить как положено, как должно быть, и если успел бы вынуть ржавый гвоздь, засевший между ребер, тогда другое дело, тогда бы он ни на что не роптал и не жалел бы себя... Сейчас он думал так. А как бы думал после того, как избавился от ржавого гвоздя, – он не мог знать...

Через некоторое время в этой удушающей тишине что-то послышалось, не то человеческие голоса, не то зверь – словно из преисподней. А может, ему мнится, может, болезненное... но нет, голоса вроде настоящие. Он с усилием поднял взгляд туда, где должно было висеть ружье, – не нашел,

потом пошевелил правой рукой – и около себя нащупал его. Теперь только вспомнил, что выстрелил. А вдруг кто услышал и идет на помощь? Сколько с тех пор прошло, может, не очень много? Друзья ли, враги ли? А может, и звери?

Он попытался на всякий случай приподнять ружье, но удивительно бессильными оказались руки. Голоса приблизились, они явно были человеческие, и слышно было, как мощно разгребают снег. Он не знал, радоваться или не радоваться? А если это люди Умара, собачьего отродья? Вот тогда-то за один раз его сто раз убьют... Довольно быстро докопали до входа. Кто-то стал бить по двери.

– Осторожно, совсем развалишь! – явно послышался чей-то предупреждающий голос.

Притворюсь умершим, подумал Мсоуст, все равно не лучше конца... а что еще можно было предпринять в таком случае.

Наконец дверь открылась. Когда полосонули сразу и свежий воздух и страшная белизна снега по обугленным его глазам, он еле удержался, чтоб не вскрикнуть от боли.

– Что за неприятнейшее «фу» стоит, – произнес кто-то таким же неприятнейшим голосом. Первыми же словами выдавал себя: говорит не на своем языке, но его акцент не был похож ни на греческий, ни на русский, ни на грузинский, ни на мегрельский, ни на армянский, словно он владел каким-то своим особенным языком. Мсоусту показалось, что этот голос ему знаком, но и память была сейчас до того обуглена, что дальше догадки он продвинуться не смог.

– Чтоб тебя с твоим «фу»! – засмеялся тоном полного хозяина другой. – Постарел здесь – и до сих пор не можешь различить «фу» от афиу, запаха, эх ты, апшаргу!

– Апшаргу – это что? – голос притаился, ожидая ответа, но не получив, прозвучал еще надменнее: – И того предостаточно, что знаю. Скажите мне спасибо, что выучил ваш язык, которого вообще никто не изучает.

– Еще чего захотел! Или ты изучил его из уважения к моему языку или ко мне самому? – другой опять засмеялся было тоном полновластного хозяина, абсолютно не являясь им, и вдруг осекся. – Откуда это он здесь оказался? Кто-то бездыханный лежит здесь! – Он повернулся к первому.

– Уа-аахх!!! – вырвалось у того не то удивленно, не то даже с ликованием. – Это и есть он – наш герой! – и змеею зашипел, сразу изменив голос.

Мсоуст теперь сразу узнал это шипение: Ацахва-прорицатель. Всегда говорил о «святом», что он не тот, за кого себя выдает, но кто послушал... – так огорченно думало сердце.

– Это он, которого породил тот немой? Он так всех вас гонял как хотел? – Видно было, что человек чуть приблизился. – Что ж, достоин уважения, раз держал вас всех в таком страхе. Но что же это с ним – вроде, он мертв. И как его сюда занесло? Отойди, отойди, я тебе говорю... он сдох от чего-то нехорошего, смотри, весь черный. Не хочешь же здесь среди снегов заразиться? Все же даже покойничком я его уважаю – за то, что все вы от

него наложили кое-куда, и в такое время разрухи, видимо, пришлось штаны совсем выбрасывать... – Он смеялся по-дурацки, но казалось, что в смехе присутствует некая нарочитость. – Я же тебе говорил, что слышал выстрел! Верно, слух меня пока не подводит, Дадын есть Дадын! Видимо, ему этот подонок Манча указал сюда дорогу. В общем-то близко подошел. Ты знаешь, как там тебя, ты уже окончательно наглеешь...

– Почему же?

– Потому, как там тебя, что к моим логовам вы с Манчей уже дорогу показываете кое-кому, а завтра, может быть, самому уряднику покажете?! А-а?!

– Ты не беспокойся из-за этого... надеюсь, убедишься, что я свое дело знаю и все устрою как надо. По моей вине с твоей головы и волосинки не упадет, – в голосе «святого» сквозила наигранная уничижительность и льстивость.

– А теперь приступай к своим обязанностям, и быстро, без возни!

– Если это действительно зараза какая-нибудь... – притворно заколебался «святой».

– Чтоб ты... Чтоб сразила она тебя! Понял, что я сказал? А теперь иди! – этот, с дурацким смехом (видимо, Дадын), почему-то больше нервничал.

– А что это – «сразила»? – Ацахва-прорицатель почему-то тянул – или намеренно злил напарника... а так, по голосу и поведению, видно было, что он ни капли не боится.

– Это потом, потом, а теперь займись своим делом. Он скопытился – там. Не лежал же он на двух нарах сразу. Так что твоя свиная шкура выдержит.

– Боже всемогущий! – пробормотал «прорицатель», проходя внутрь.

– Бог отдал концы, – сказал тот, оставшийся стоять у двери; он то и дело поглядывал в сторону Мсоуста. Мсоуст этого не мог видеть, но чувствовал, – и совсем затих.

Все же Мсоуст успел заметить, какое было лицо у этого юродивого-«святого»: словно в его жилах течет кровь всех предателей, дьяволов и еще кого-то нечистого... и какими глазами он посмотрел на него. («В красные глаза – красная заноза вонзится, а в белые глаза – белая заноза, заноза, заноза...».) «Святой» не верил в его смерть – об этом говорили его глаза.

«Этому сельскому юродивому – вонючие его карманы люди набивали всякими яствами, сладостями, дарами, начиная с денег... Зачем? Из жалости – или же откупались от каких-то грехов? От каких? Если не считать грехом то, что в один из вечеров, стесняясь собственного мужа или собственную жену, залезть под супружеское одеяло... Так же, как ему, они верили всем, боясь запачкать свою совесть-аламыс, с которой меж тем уже сотни лет никто из соседних племен не считался. Из кожи вон лезли, желая сделать кому-нибудь хорошее, но когда попали в самую страшную беду, в какую только может попасть народ, для них не оказалось ни Бога, ни человека. Все равно – и после всего, что с ними случилось, опять продолжают милосердствовать, где нужно и где не нужно, распяли себя на своем этом аламысе-совести. Да,

совесть нужна, без нее нет человека, иначе он как дерево, внутри которого вместо крепкой сердцевины – дупло... Но совесть-аламыс имеет значение, если отвечают тем же, она может определять жизнь, когда она есть и у того, с кем соприкасаешься...» – удивительно, как никогда ясно работал его холодеющий мозг.

Видимо, перед концом человеку многое становится ясно – шевелилось в сознании, – именно тогда, когда уже никому не сможет передать, когда прояснившееся является по сути мертвым грузом.

Ацахва (черный пес!) остервенело и одним махом сорвал соседние нары, отбросил в сторону очага, лихорадочно порылся в земле и вынул оттуда продолговатый глиняный горшок, вроде тех, которые держат пастухи для придания формы сыру. Сунув руку в горшок, он (пес черный!) издал крик зверя, наконец поймавшего свою жертву.

– Теперь назад! – раздался от двери голос второго, не лучше чем у прорицателя-Ацахвы, но дурацки самоуверенный.

– А эти ходилки?

– Ходилки... – опять засмеялся тот – беспечно, надменно и по-дурацки, – не ходилки, а лыжи-плетенки. На тебе же надеты, сукин ты сын, чего еще хочешь?

– Он, – видимо, на него, Мсоуста, указывая, – уйдет в них отсюда.

– Чтоб больше и ты не ушел!.. Куда ему уходить?! Не видишь – он уже отдает мертвечиной... надо такой нюх иметь как у меня, чтобы в лес ходить! – опять этот дурацкий смех. – Мотай, мотай из этого зачумленного места и больше не трогай ничего, если не хочешь сгнить в этих снегах. Все оставляем.

– И золото?

– Золото – не заразное! – опять дурацкий смех.

– Не-е-ет! – пропел тот (черный пес!). – Оно-то самое заразное и есть... самое-самое, но самой лучшей заразой!

У дверей он таки задержался (пес черный!).

– Все же так нельзя его оставлять, может быть, еще жив, – сказал ненавидяще, но почему-то шепотом. – Не имеем права, нельзя его так оставлять, выстрелим на расстоянии!

– Ты, я вижу, и мертвых боишься. Если в мертвого выстрелишь, он глаз не даст сомкнуть, будет всю жизнь преследовать. И вообще – я не стреляю в мертвых врагов, а стреляю в живых.

– Все же я должен, – Ацахва был почти в истерике, – должен две-три пули в сердце всадить!

– Если, допустим, он был бы жив, – сам попросил бы нас об этом, его же ждет страшная смерть – заживо остаться погребенным! И тогда такого счастья он не достоин... Пошли!

– Ты сам... ты же так стреляешь... – не унимался «святой».

– Я, во-первых, повторяю, по мертвым не палю, во-вторых, на него не могу потратить одну пулю... – в голосе Дадына появились нотки раздражения.

– Тогда... огонь... Может быть, подожжем!

– Ты ведь притворялся святым... но и простой человек должен Бога побояться, – вдруг заговорил Дадын, словно извиняясь («Видимо, плохи дела. Неужели он не сможет выстрелить?.. Но пока лучше казаться мертвым...»).

– Святые, самые настоящие святые – те, которые умеют мстить! – это был голос чудовища.

– В таких случаях надо предоставить все воле Бога, он сам распорядится. А я тебе скажу: когда в последний раз явлюсь перед Богом, хочу, чтобы я мог на него открыто и честно посмотреть. Здесь я вдоволь натерпелся, этого достаточно, чтобы там мне немного отдохнуть...

– Может, в рай захотел?

– Да, в рай!

– Ра-ай! – захохотал «святой» притворно; похоже, он вообще никогда не хохотал – сейчас слышать его было жутко. – Рай – очень хорошо, спокойное место... Ну, как знаешь, я тебя предупреждал, раз ты не хочешь – я умываю руки...

Уже давно пропал шорох их лыж, их голоса, но он все лежал неподвижно, как прикованный к нарам. Когда наконец открыл глаза, увидел, как они все оставили разгромленным, и дверь полуоткрыта. Шел снег и заносил приоткрывшееся место. Глухо доносился треск ломающихся от снега ветвей. Он попытался встать, но не смог. «Что это за чертовщина, – злился он, – пыжился, пыжился – и вот от нескольких дней (что ли?) жара не могу даже привстать перед смертью!»

Звуки, шорохи внешнего мира пока еще доносились, и снег быстро заметал пространство у двери. Несколько раз до его слуха долетали звуки, уже не похожие на треск ломающихся сучьев. Он притаился. Неужели эта паскуда, «святой», явился все же за ним? Уже не боясь, безразличный ко всему, он попытался сжать приклад винтовки. Если я его уложу – тогда моя смерть не смерть, – подумал он. Сделал еще усилие – и действительно, приподнял ствол. Потом послышалось, будто где-то течет, журчит еле-еле вода, и вдруг это течение воды обернулось будто рыданием, безутешным, глухим... Когда стали жечь и щекотать о щеки слезы, он понял, что это он сам. «Не так важна смерть, как обидно, что не в силах оказался справиться с ними, сразиться с ними... – говорила одна часть сердца. – Никто же их не знает, они ходят среди этой баранты в овечьих шкурах неопознанные...» – «Если бы ты их наказал, но никто об этом не узнал бы, что тогда?» – «Это все, что на поверхности, и все то, что внизу, под всем этим, – тебе неведомо... Может быть, там есть дельные вещи, но они еще не мысли, не надежды, не обещания... А ну-ка все ж попробуй из-под них что-нибудь вытащить, из того, что первым в руки попадет...»

«Ох, ох...» – застонала другая часть его сердца.

Так он пролежал довольно долго, но и жар больше не поднимался, и глаза видели, и слышал хорошо. Все больше и больше мучила его жажда. «Может, идет к улучшению, – подумал он, – наверняка, наверняка так...»

Вдруг опять он услышал необычные странные звуки, это тоже были звуки чего-то льющегося, то ли вода, плохо проходящая в тесном скалистом горле, или захлебывающийся смех...

– Нет, если буду я валяться без движения, все равно умру, если даже буду иметь все, – сказал он наконец вслух обожженными, колючими губами. – Если живым ляжешь на спину, самое удобное положение, сруб тебе послужит гробом, снег – могилой, все на месте...

Все же, когда появилась маленькая надежда, что дело идет к поправке, это его естественно подтолкнуло, и он решил – надо постараться действовать. Сперва уперся, насколько можно было надежно, локтями – и сел. Когда голова закружилась так, что в глазах зарябило, он схватился за стену. Опять некоторое время голова бешено кружилась, но он выждал – и встал на ноги, еще крепче упершись о стену сруба. Он все четче, яснее слышал, как трещат ломающиеся под снегом ветви. Когда же подошел ближе к двери, ему почти не пришлось нагибаться; подхватил рукой свежевыпавшего снега и жадно проглотил, обжигая губы и гортань. Но он почувствовал, что снег глотать ему больше не стоит. Тогда он вспомнил про свою деревянную кружку-ахмачир... кое-как нагнулся, поднял ее и набил снегом как трубку табаком. Потом, с дрожью в коленях, присел, укутал кружку полой бурки и подержал так некоторое время. Снег постепенно таял, и он все отпивал, отпивал, пока не высушил... Немного утолил жажду – и почувствовал себя очень уставшим... ему показалось, что если удастся хорошенько закутаться в бурку, он заснет. И, может, после сна немного восстановятся силы – лучше будет соображать, как поступать дальше. Он так и сделал: удачно обернулся буркой, удачно опустился на лежанку, свернулся калачиком и вздохнул... И пока сон не одолел его, перед ним все стояли глаза юродивого, беспощадные, бессовестные, бесчеловечные глаза убийцы и душегуба.

В красные глаза – красная заноза,
В белые глаза – белая заноза!..

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ВПЕРЕДИ – ЗАВТРА

Вещая птица анапш,
В силах ли эта метель,
Что метет по свету сегодня,
Укротить, смягчить будущего
тревожный взгляд,
Настигающий нас?..

Вещая птица анапш...

ТРОПАМИ БОЛЬШОГО СНЕГА

Падают, падают снежинки
Как маленькие белые
бурки...
Песня детей

Снегоступы были широкие, надежные, но все равно порядком проваливались, ибо снег, что ложился на уже замерзшие слои, был рыхлым. Недалеко друг от друга шли Бадра и Мзалей. Бадра то и дело оборачивался с улыбкой на лице, но Мзалей не всегда замечал, ибо был весь занят какими-то другими мыслями. Мзалей видел и понимал, уже не было сомнения, что этот дух, энергия, которая настигала его, часто выручала, иногда смущала, раздражала, – в последнее время все больше и больше овладевала им. Более того, он стал понимать, что многие из окружающих в теперешние трудные дни не были свободны от этого духа, некоей новой энергии, – но они или замечали, но не понимали происходящее, а те, кто догадывался, что в чем-то сам себя не узнает, – не признавались иногда даже самим себе. Многие привыкли носить в себе эту энергию, у многих она рвалась наружу, но это принимали как обычное явление в трудных, непривычных условиях. Может, оттого, что он сам очень старался войти в жизнь народа, сделаться ее неотъемлемой частью, его этот дух, эта энергия находили чаще, больше давали о себе знать – и постепенно стали частью всего его существования.

Сейчас чей-то дух, энергия, чья-то жизнь, видимо, всегда отдающая молнией, властно одолевают, захватывают его, недеятельного после того как долго бездействовал там, в холодном климате и теплых домах, среди той части населения, которая тренирует себя больше умственно, нежели физически, занята приятным времяпровождением, поверхностными и неотягчающими разговорами об искусстве, политике. В нем, конечно, жила своя трезвая оценка происходящего, но когда этот таинственный дух иногда молнией зажигал его и сразу уходил, он становился человеком, похожим на того, у кого руки коротки, чтобы почесать разболевшиеся старые раны.

По дороге, вдруг, снег перестал сыпать и туман поднялся. Оба остановились и молча оглядели окрестность. То, что они сейчас видели в обычных знакомых местах, – их удивительное преображение, непривычность, красота и какая-то жуть этого преображения, – по-разному будоражило их сердца. Они переглядывались и смущенно улыбались. Все изменилось: и расстояния, и ширь и высота... деревья и холмы казались игрушечными, они будто сгрудились вместе... равнин словно прибавилось – все слилось в одно: и маленькие ущелья, овраги и трещины. И все же – трудно заставить человека забыть образ своей земли, место его дома, очага – хоть и на мгновение, как бы мир ни преобразился. Им всем, малым землям Родины, корню своего дома, как малому ребенку единственному, люди

выбирают, дают лучшие, по их мнению, имена и произносят их первыми, называют их как живых, как и своего ребенка. В городах, видимо, немного иначе – города стоят на земле и в то же время далеки от земли. Потому, может, и легче меняются их имена. Захватчики первым делом меняют названия городов. И эти новые имена потом дольше держатся... Названия же простой земли тоже меняют, но люди не перестают называть местность так, как и называли прежде.

Всему и навсегда дает название человек. Его же имя носят только его двор, его дом. И то пока он сам жив. Дальше – обретают имя его сына, потом внука – так и идет. Таким образом, стоя у себя во дворе, у дома, человек спорит с вечностью. Здесь совпадают границы его жилья с вселенскими границами. Но о том, что это именно так, человек узнает изредка, как некое прозрение. Однажды так может случиться, что выйдет он на свой дворик – и пределы вселенной нахлынут на него, ведь меж ними нет границ и преград, и он останется стоять, узнав самое счастливое и могущественное чувство соприкосновения с вечностью, очищенный и ошарашенный, как ущелье, по которому прошумели вешние воды.

Таким же образом, думает ли, не думает ли об этом, человек всем существом чувствует, как чувствует под ногами твердь земную, а над головой небо, – ту энергию, которую излучает этот великий мир, бесконечно излучаемый холод и страх.

Эти пронизывающие холод и страх столько всегда имели силы, столько энергии отбирали у человека, что большую часть своей жизни он тратил на них... Сначала сооружал крышу над головой, какой-нибудь навес, под которым он приткнулся, потом все это окружал оградой, потом окружал себя родней, близкими, кровными. Выстроив таким образом целую систему своего рода оборонительных средств, человек ощущал, что тот холод и страх, который сквозит через всю эту бесконечность, он немного смягчил, ублажил, немного отвел от себя – и немного приблизил.

Тысячу размышлений вызвала у Мзалея открывшаяся странная панорама красоты, испытаний и опасности. Когда Мзалей начинал спускаться ко дну своего колодца размышлений, этот дух, который вливался в него из внешнего мира, словно исчезал, но он чувствовал, что совсем не уходит – где-то поблизости притаился. И он свои мысли строил, выстраивал по порядку – словно рассказывал кому-то.

Ему казалось, что идя по этому погребенному заживо под снегом предгорью, сквозь эту толщу промерзшего и непромерзшего снега... он наконец по-настоящему почувствовал свою землю. Ему казалось, что она сейчас может наконец сказать: «мой сын», «родной», «моя кровинушка». И тогда этот могучий дух, как Бог, поддерживал его, вселяя веру в свое назначение, и ему хотелось самому чем-нибудь, как-нибудь ответить, во что бы то ни стало. И он говорил, что попадало на губы... «Слава Богу, слава тебе, Господи...» – бормотал он сейчас, и ему казалось, что каждое из этих слов имеет привкус молнии.

В это время сковавшую мир тишину нарушило что-то. Раздался чей-то пронзительный писк. Мзалей, хоть и не смотрел именно в ту сторону, краем глаза захватил в этом царстве белизны какой-то черный росчерк. Когда повернулся, первое, что заметил, – какое-то странное, непривычное лицо Бадры. Он тоже посмотрел туда, куда и Бадра: сухонькая лесная крыса шла, как бы по волнам, по снегу... но она долго не протянула, остановилась, потом повернула обратно. То надолго пропадая в снегу, то выпрыгивая из него, она продолжала свой путь. Она видела их, но даже не обратила на них внимания. С большими усилиями она наконец возвратилась к месту, откуда начинала: под кряжистым, очень старым дубом, наполовину высохшие ветви которого торчали над снегом. Он стоял чуть в стороне от перелеска.

– Какое-то предчувствие опасности ее гонит, бедняжку... – Мзалей умолк, заметив мрачное, странное выражение лица у Бадры, которого он прежде никогда не видел таким.

Неужели он боится крыс? Но спрашивать не стал.

Откуда ему было знать, что именно напомнила Бадре эта крыса. Всегда державшаяся поблизости, улыбка Бадры куда-то исчезла, и лицо стало надолго и непривычно серьезным и мрачным. Он молча продолжал двигаться вперед.

– Они прежде чем мы и лучше чем мы узнают, чувствуют намерения природы, но такие моменты всех сбивают с толку. Здесь природа перешла, нарушила все правила, с которыми они жили. По крайней мере, в этих местах.

Если раньше при каждом слове к Мзалею оборачивалось улыбающееся лицо, то сейчас Бадра отвернулся, черная тень какой-то обиды повисла над его головой. Заворачивая за лесок, Мзалей еще раз оглянулся, посмотрел на искореженные ветви старого дуба; они напоминали еле поднятые над водой костлявые руки утопающего, молящего о помощи.

– Что это ее прогнало с места? – сказал Мзалей как бы самому себе. – Если бы мы, теплокровные, прямо понимали друг друга. С кем-то что-то там случалось, тук-тук постучит в крови – и все тут как тут... Может, сейчас могли бы ей чем-нибудь помочь...

– Просто так она не появилась бы, – ответил Бадра не поднимая головы. Сейчас он слышал писк тех разбегавшихся мышат – в то самое унизительное мгновение своей жизни. Замирали пальцы в домотканых варежках, пальцы, которые тогда раздавили голеньких мышат. – Или дуб на пределе, – добавил он уверенно. – Если он с корней до макушки полый, снег не повалит, а мороз повалит... Или, может, гнездо намокло, нет спасения, ночью приморозит и — все, никакого другого выхода у нее нет. А хотела попытаться найти.

– По всей вероятности, это так, – Мзалея очень заинтересовал рассказ Бадры – понимал, что тот говорит точно. (Вот каков этот вечно улыбающийся простак!). – Мы, люди, уверены, что знаем больше всех и имеем больше всех прав, но мы все узнаем только в конце, когда все уже случится. А эти, которые подчиняются природе, ее читают как книгу, уже заранее все предчувствуют.

– Когда трудно становится зверю, лесному животному, оно прямо идет в дом, к человеку, – наконец поднял на Мзалея грустные-грустные глаза Бадра. – Здесь у нас есть разные типы... Например, Такияла (если бы отец слышал, как произношу его имя, вот бы возмутился). Он раздает порох, заряды дуракам – и они бьют... Этих, пришедших за помощью животных. Он вялит мясо, черт знает чем занимается. И никто ничего...

– Не может этого быть? Да и зачем столько?

– Он найдет – зачем. У него там все распределено – кто подстреливает, кто освежует, кто солит, кто коптит... Он надеется, что будет голодовка...

– Бадра! – вскрикнул Мзалей. – Что же ты молчал до этого, что же ты молчал! Ты что, тоже предать можешь?

– Но, прошу тебя, ухацкы, пока мы у нее, ты не должен о нем ничего говорить. Он ее родной дядя. Она все знает, но оттого, что ее мать в нем души не чает, не может в это вмешаться. Он – родной дядя Майяны.

– Ты говоришь, Майяны... – почему-то удивился Мзалей. – При ней я не скажу, но надо дать знать Чантамыру. Это же нельзя так оставлять, если даже касается самой Майяны. Если так пойдет, все наши старания полетят к черту.

– Она его сама не выносит. И разве только в этом... он грубо вмешивается в ее жизнь.

– Каким образом?

– Он хочет ее выдать за того, за кого он сам хочет.

– Например, за кого?..

– Я не могу сказать... не потому что даже опасно...

– Бадра, по-моему, между нами до сих пор не было тайн каких-нибудь, мы во всем доверялись друг другу. Может быть, мы где-нибудь можем быть ей полезны... Может быть, это что-то да значит, если я буду знать?..

– Он хочет ее посватать за Умара... за Умара, ухацкы!

– Как – Умар? Он же ей в отцы годится... может, здесь что-то не то? – Мзалея очень больно задело услышанное.

– Все именно так. Но она не пойдет на это, умрет, что-нибудь такое выкинет, но ни за что за него не пойдет. Она любит совсем другого...

Мзалей не стал спрашивать о том, кого она любит, потому что знал его. Больше – некого было. Ей, Майяне.

Когда стали приближаться к дому Майяны, Мзалей заметил, как преобразился Бадра: все остальное забылось, улыбка не сходила с его лица.

Только конусообразная крыша, кое-где пробитая желтым дымом, торчала во всем дворе. После того, как Бадра первый раз очистил крыши их немногих строений, снег лежал выше их стен, и это теперь неплохо защищало дома.

В общем-то не было особой надобности идти сюда сегодня, дома в безопасности, дров он тогда им запас по крайней мере на недельку, и Мзалею неведомо было, почему Бадра упорно вел его сюда.

Чем ближе они подходили к дому Майяны, тем неудержимее опережал его Бадра, словно ему должны были преподнести здесь какой-то сюрприз или же он должен был передать девушке нечто важное.

Видимо, весь снег выбросить с веранды было не под силу Майяне, а потому пути ко всем жизненным местам во дворе начинались с веранды, с дорожки, протоптанной там. Он увидел, как мелькнула маленькая, казавшаяся детской фигурка Майяны. Все действительно сделалось маленьким – и дом, и все еле-еле торчащие из снега строения, все было сейчас игрушечным, кроме огромных нагромождений снега. Когда они вдруг предстали перед девушкой, она очень растерялась, раскраснелась, поежилась в своем мужском одеянии и забилась в край утоптанной дорожки, освобождая им путь.

– Их, наверное, надо снять и оставить внутри, – сказала она тихо, указывая на лыжи-плетенки. – А то оглянуться не успеешь как занесет.

– Это не «их», а снегоступы, – сказал Бадра неожиданно по-хозяйски. Такого Мзалей никак не ожидал.

– Как хочешь называй, – отозвалась девушка не очень дружелюбно. – Без них сейчас ни шагу, застрянешь.

– В конце концов, застрянем – так и останемся, – все больше и больше смелел Бадра, отвязывая лыжи-плетенки. – В такое время не то что два здоровых мужика, но и один – всего золота стоит.

– Как бы наоборот не получилось! – Беспощадность была в голосе Майяны: – Двоих, да не очень работящих, не очень выгодно держать. В такое время содержать двух прожорливых мужчин не так просто.

Видно было: она обижена на Бадру за то, что в их бедность привел чужого человека.

Бадра понимал это и хотел смягчить, но как всегда – не получилось.

– До сих пор ты их держишь у порога, чтоб мне умереть! – Из-за перегородки суетливо вышла Иалса. – Какой гость нас посетил и в какое время, в каком виде он нас застал, какой позор! – Она чинно подошла к Мзалею, покружила правой рукой около его лица, что означало: «Все твои невзгоды забираю себе», и поцеловала в грудь с двух сторон. – Подойдите к огню, ваше сиятельство, погрейтесь у нашего слабого вдовьего очага.

– Только не беспокойтесь! – Оставив лыжи у порога, Мзалей прошел и сел у огня (место у очага, у огня, у тепла). Огонь был небольшим, но горел жарко, уютно.

– Как поживает госпожа, свет моих дней? – Иалса старалась быть манерной, ее так занимало, что их посетил господин, что ей казалось уместным не замечать Бадру, дабы не снизить важности положения.

– Спасибо: жива и здорова, вашими молитвами, – ответил Мзалей, тоже не снижая тона, который позабыл было за эти дни, – чтобы не обидеть женщину. – Беспокоится, бедняжка, боится, как бы с людьми плохого не случилось.

– Слава тебе, Господи, что она здорова... а что за нас, простых, беспокоится – привычное дело... велика важность – если с кем-нибудь что-нибудь да и случится. – Она металась по дому, не знала, что предпринять, то на Майяну смотрела, то уголком глаза на этого Бадру, как на задрипанного

медведя. – Какое счастье, какое счастье, что вы вернулись... госпожа, свет моих очей, верно, на седьмом небе! А как же иначе!

– Называется, вернулся, до сих пор так и не сумел один день целиком матери посвятить... Бедняжка, она так измучилась в ожидании... – Мзалей поддерживал принятый тон, отдался течению – и как-то у тепла стало его развозить. Это было опасно, ибо с непривычки после тяжелой дороги он очень уставал, и как бы этот новый дух, новая энергия его ни поддерживали, не могли же они окончательно подменить его собственное. И он сразу замечал, когда достигавший его дух уходит от него, из его голоса, из его жестикуляции. Сейчас тоже, как бы брезгуя этим его барским тоном, дух удалился. Теперь Мзалей слышал обыкновенный свой голос. Он переводил взгляд то на мать, то на дочь, и жалость охватывала его сердце. Но Майяна перехватила его взгляд – и видно было, что не очень одобряла то, как он сейчас держал себя (ты помнишь, каким приехал, какой ты был смешной, но я не показала виду). Но ему сейчас от этого, наоборот, сделалось тепло, захотелось душевного, участливого разговора.

– Я пока пойду и чалу (кукурузные стебли) с дерева спущу, в хлев занесу, на чердак, – спохватился Бадра. Он стоял в ватнике, в толстых, чем-то теплым набитых ноговицах. Он это сказал – и Майяна посмотрела в его сторону и прыснула, словно только что увидела. Мзалей тоже посмотрел на парня. Иалса обратила к дочери строгий свой взгляд. Лицо Бадры было залито брызжущей улыбкой. Она смеялась – и ему больше ничего не нужно было. Майяна заливалась, приступ смеха не давал ей стоять на одном месте, доводил почти до порога, а затем обратно перебрасывал к очагу. Веселье захватило и Мзалея, он услышал свободный свой смех, конечно, без барской бравады; даже Иалса, до сих пор все поглядывавшая строго в сторону дочери, прыснула, но смеялась в кулак, как бы стесняясь за себя и за дочь свою.

Когда глаза Мзалея подобрели, Майяне вдруг показалось, что это всегда отчужденные, холодные глаза Мсоуста подобрели, стали близкими, доступными ей. Они, Мсоуст и Мзалей, действительно были похожи. И Майяна воспрянула духом. А Бадра (большой друг, добрый ее друг!) еще больше напоминал слишком толстый сноп...

В детстве Майяну мать всегда забирала жать просо. И она, в самом конце работы, всегда просила мать разрешить ей хотя бы последний сноп сделать на время непомерно толстым. Под ворчливое бормотание матери она сооружала сноп, который сама еле-еле могла обнять руками, перепоясывала крепко-накрепко – и ставила. Потом она начинала бегать вокруг снопа, пританцовывая и припевая: «Станцуй, Киариантыху, спой! Спой и станцуй!» «Перестань, негодница, услышат, стыдно!» – тихо укоряла ее Иалса, но Майяна не унималась, смеялась-заливалась (тогда она не так скупо тратила свой смех, тогда было детство и был жив отец).

Киарантыху был лавочник, торговец. Огромный живот и почти такой же подбородок, глаза навыкате – казалось, оттого, что невидимая сильная рука ломает ему, бедняжке, глотку. В деревне люди, скорее, страдали от

совестливости и сдержанности – но тучность они не могли перенести. «Всякую ношу можно выдержать, но мужчину, отягощенного своим животом и дерьмом... лучше удавиться...» – говорили то одни, то другие. Все сходилось в этом. Здесь считалось всегда тяжким позором смеяться над недостатком человека, но при этом имени никто не мог удержаться от смеха. Мало того, что невероятно тучный, но Киарантыху был так же невероятно, по здешним понятиям, бесчеловечно скуп, хитер, все время старался хоть в чем-то, хоть чуть-чуть, но обмануть, и свой родной язык абхазский он коверкал как будто выучил с чужих слов; впрочем, слова других языков он коверкал тоже. При этом, все повторяясь, он употреблял их часто-часто, желая показать свою ученость и силу. Из абхазского же языка тратил всего несколько слов: «купи», «задешево отдам», «гроши» (не «деньги»), «золото», «не скупись...» – вот примерный его лексикон. Здесь, где от родственных, кровных связей люди не могли передохнуть, он никого не имел – ни по крови, ни по дружбе, ни по роду занятий. Все и всех заменяли деньги, «гроши», как он их называл. Никто бы не поверил, что когда-то мог быть чьим-то ребенком, могло быть у него детство... Скорее бы согласились, что он всегда был таким, такого возраста, таких размеров, что его никто никогда не рожал, а вместо сердца у него те же самые «гроши».

Никогда на похоронах его никто не видел, но если поблизости от его лавки где-нибудь случалась свадьба, – приглашен или не приглашен, приходил с охотой. Поев и попив вдоволь, он пытался плясать. И потому, как только завидят его на какой-нибудь свадьбе, все дружно начинали: «Станцуй, Киарантыху! Киарантыху, станцуй!»

Сейчас Бадра в своем зимнем одеянии напоминал Майяне Киарантыху. Он понял – она смеялась, чтобы отвлечься, а объектом его выбрала оттого, что он, как искренний друг, не обижался на нее. Она все ждала е г о, только е г о.

Бадра, отшутившись, ушел готовить корм для коров, и Майяна понемногу успокоилась. Вдруг настроение вернулось к ней. Она быстро накрыла на стол: аджанджихуа, сушеный инжир, орехи, ломтики молодого сыра с красной аджикой, откупорила штоф, который был предназначен для самого-самого... Двигалась легко, женственный взгляд широко открытых медового цвета глаз дарила каждому, кто оказывался сейчас возле, и Мзалей с удовольствием обменивался с ней взглядом...

И она забывала окружающее... сейчас, когда все так перемешалось, когда природа выглядела совсем по иному, – и о н, которого она всегда ждала, тоже вдруг явился. Первый раз о н смотрел на нее глазами Мзалея – как всегда отрешенный, занятый своими мыслями, – через нее смотрел куда-то в пространство. Видимо, е г о взгляду было приятно замечать ее, но то, что отвлекало, было очень важно. Когда же Мзалея настигла усталость и он разомлел у огня, когда от него отстал всегда поддерживавший его теперь дух, когда он сам сделался как прежде полновластным хозяином своего взгляда и взгляд стал добрый, влюбленно учтивый, – ей показалось, что это о н, сошедший к ней, обратил на нее свой теплый взгляд.

Но иногда через мягкий взгляд Мзалея ей казалось, что о н поддается, дает право прибрать себя к рукам, чтобы потешиться ей хоть немного над ним – за все муки, которые о н ей приносит. Казалось, что о н ожидает от нее наказания даже с удовольствием. Тогда она опять вспоминала свой непомерно толстый перепоясанный сноп и Киарантыху («Киарантыху, станцуй, станцуй, Киарантыху!..»).

Мзалей выпил чарку, пожелав их семье счастья, а Майяне – самой прекрасной любви.

Иалса при слове «любовь» лишь горестно вздохнула.

– Ах, вот что я забыла-то, – благодарно вспомнила Майяна, – я очень виновата перед вами: не сшила еще черкеску. Как положила, так и лежит.

– Теперь не до того, – откликнулся Мзалей, всей душой поддавшийся, охваченный ее необыкновенным обаянием, юной таинственностью, – а так, если надо, можешь и опять мерку снять.

– Нет, нет, – весело засмеялась она. – Я снимаю мерку только один раз. И никогда не переступаю это свое правило. – Почему-то ей хотелось добавить, «будто мерку с покойника», но еле удержалась. И опять ее прекрасное лицо на некоторое время опечалилось.

– С сегодняшнего дня не дам ей чем-нибудь другим заниматься, пока не сошьет, – спохватилась Иалса, даже привстала.

– Спешки никакой нет, – успокоил ее Мзалей. – А вот к весне я бы хотел иметь черкеску, сшитую руками Майяны, если она не возражает.

– Премного благодарствую, ваша светлость, – опять привстала Иалса. – Вы так говорите, словно она лучше всех шьет.

– Это признано, насколько я знаю, особенно... – вдруг дернуло его: – говорят и не наговорятся о черкеске, которую она сшила для одного человека. Я, конечно, не видел и не могу оценить. Я его и самого не видел.

– О ком речь, ваша светлость? – спросила для приличия Иалса, догадываясь, о ком идет речь (кому еще дочь могла сшить лучшую черкеску).

– Это тот самый... Мсоуст, кажется, его зовут...

На мгновение все притихло, словно он сам, его дух, который витал повсюду, остановил время, чтобы узнать мнение о себе каждого.

– О ком вы говорите, ваша светлость! – нарушила молчание Иалса. – Он опозорил всю нашу общину! Как он смел не то что там... слово кривое сказать нашему благодетелю, нашему господину!..

– Да, это получилось нехорошо и некстати... – Видно было, что Мзалея действительно огорчила тема, невольно поднятая им же. – Молодость... себя в неприятность вверг, очень нежелательную.

Майяна зажала в руке штоф, то туда посмотрела, то сюда, покраснела, побледнела... билась кровь в нежно выделявшейся жилке на шее.

– Дело не в том, что он себя в неприятность вверг, – Иалсе казалось, что она должна еще что-то добавить: – А в том, что он посмел так оскорбить нас всех, всем нам больно сделать...

– Иногда трудно выявить виновника. – Раз затеял такой разговор, Мзалей не стал перед женщинами вилять, сглаживать. – Видимо, насколько я

наслышан, он не имел зла на моего отца. Раз он был немного вспыльчив, многое близко принимал к сердцу, не стоило его заводить, дразнить. Мы должны щадить друг друга, быть терпеливы друг к другу. Надо понимать, что таких парней тоже не так много... Конечно, и мой отец и другие здесь не виноваты, так получилось...

Мзалею казалось, что сила того духа притаилась, но очень внимательно слушает его.

– Это вы говорите из-за вашего благородства, – возразила Иалса, даже испугавшись, посмотрев на дверь, не слышит ли кто. – Во всем виноват он, его гордыня, ни на чем не основанная. На нашего господина, на которого мы все молимся... – Она попыталась всплакнуть, но как-то у нее это не вышло.

Майяна вся горела, потом бледнела, и тогда еще явственнее выделялся на шее маленький, нежный сосуд, по которому бешено струилась кровь.

– Большой снег, – Мзалей встал с чаркой в руке, – останется в памяти. И – чтобы его помнили хорошо, чтоб от него стали белыми, чистыми сердца, души, совесть... чтоб страх в них навеки сгинул, аминь! Чтобы Большой снег стал снегом жизни. Аминь! – Он осушил чарку.

Мзалей видел, что Майяна внимательно смотрит на него, но не слушает его. Всегда было так, подумал он, поучения господина крестьянин никогда не выслушивал, он считал, что дело господина приказывать, а все остальное – суесловие. Если бы даже он за это время пальцем о палец не ударил, не то что проводить от зари до зари в снегу, никто бы ничего не сказал, никто бы его не стал осуждать. Наоборот, видимо, есть сейчас поговаривающие о том, что барин-то решил позабавиться... Но у большинства он видел сочувствие и поддержку, – похоже, этот блуждающий дух действовал на них одинаково и объединял их.

– Аминь! – повторила Иалса.

– Аминь! – успел подхватить появившийся у порога Бадра. Он был весь облеплен снегом. Сейчас он вызывал смех еще больше, но Майяна уже была очень грустная, крылышки чертиков-смехунчиков были обожжены жаром, пылающим в ее сердце.

– Скотине я задал корм, на сегодня больше ничего не надо. Если задумаешь их напоить, можешь... – обратился Бадра к Майяне. – Наверху я тоже корма положил немало. Не морите голодом...

– Спасибо, Бадра, ты единственный, кто меня выручает всегда, – грустно улыбнулась ему Майяна.

– Уже пора идти, кое-куда надо успеть, – сказал Бадра, даже не стряхивая с себя снег. Иалса нервно и брезгливо окинула его взглядом: смеет так бесцеремонно обращаться с господином (беспросветная темнота, темнота, темнота!).

– Весной непременно навещу вас, и я надеюсь, тогда моя черкеска будет готова. – Развеселившийся Мзалей влюбленно смотрел в глаза Майяны. – А за мной подарок, какой – пока утаю...

– Я согласна... – улыбнулась Майяна грустно, провожая их.

– Обязательно нужно его найти, узнать о нем, – сказал Мзалей, когда они вышли на открытое место. – О Мсоусте... Только мы с тобой это можем провернуть, чтоб никакая душа не знала, понял?

– Я не решался сказать, но несколько раз хотел это сделать, – обернулся Бадра, слизывая с губ снежинки. – Есть один человек – ненавистнее на этом свете для меня никого нет...

– Эти счеты потом, сейчас главное – исполнить задуманное...

– Да, да... – поморщился Бадра. – Надо будет идти далеко, до самых предгорий... придется хорошо рассчитать свои силы.

– Я думаю, сможем, и будем действовать немедленно. Никогда не надо то, что необходимо завтра, откладывать на послезавтра... – Мзалей заметил отблеск того же духа и в глазах Бадры.

Как только они вышли, по удобной лестнице, прибитой к стене (отец делал все удобно и прочно), Майяна поднялась на заполненный дымом, закоптелый чердак. Иалса в недоумении смотрела на нее, но вмешаться не решалась: и так она много наговорила на этого, на ее ненаглядного. Не успела Иалса ничего сообразить, как Майяна уже спускалась с сильно закопченной колыбелью. Иалса сразу догадалась, что она собирается с ней делать. Возмутилась, но все же не решалась вмешаться.

Майяна поставила колыбель у самого огня и пошла за топориком.

– Что это ты надумала, негодница! – наконец решилась Иалса.

Майяна не стала даже отвечать матери, коротко и резко, как каменотес, взмахнула топориком – и отбила ручку.

– Почему же я не умерла вместе с твоим отцом, несчастная я! – запричитала Иалса, убежденная, что здесь ничего уже не подействует. – Что хочешь делай, что только ни взбредет в голову. Я ее берегла для тебя же, старые колыбели счастливые, думала, родишь кого-нибудь, воспитаю в ней.

– Нет, не может она быть счастливой: к ней змей, настоящий, ядовитый и противный, притрагивался однажды, и она не может быть счастливой. Все, к чему прикасался этот змей, – подлежит огню! – Еще одним резким ударом топорика она расколола надвое маленькую колыбель – и все бросила в очаг. Огонь разгорелся, едко запахло сильно закопченным деревом, верхушки пламени сделались черными.

Иалса молча смотрела на свою дочь, как бы видя ее в первый раз.

Во дворе весело пританцовывала метель. Уже не говорили о том, когда перестанет снег, как может быть завтра, через неделю... Все, что до сих пор люди знали о природе, погоде, было перечеркнуто, ни одно их знание не подходило, и небо целиком было во власти снегопада.

ЛОГОВО

Ты укусил – и раздуло,
Я подул – и опухоль спала...
Заклинание змеи

...Пусть высохнет твой яд, ты, ползучее, пусть превратится твой яд в воду немощную, пусть потеряет всякую силу...

Метет метель, залепляет их лица снегом, воздвигает и обрушивает сугробы. «Уу-уу» – завывает ветер в верхушках деревьев, а потом, переходя в поземку, дует на землю, заваленную снегом, как знахарка на рану.

– Вот это я понимаю, это время мужское! – с дурацкой надменностью Дадын нарочито сгущал свой бас, явно любовался, как звучит. – После метели и на охоту неплохо выйти. Я всю зиму лакомлюсь здесь свежим мясом. Повелитель вершин их всех на зиму сгоняет к моим владениям, да возвысится он, – вот они сами прямо ко мне и приходят...

Ацахва шел молча, углубленный в какие-то свои мысли, ни на минуту не отставая, твердо переставляя лыжи.

Этому юродивому палец в рот не клади, подумал Дадын; конечно, он против меня, но и не из слабых.

Высоко оценивал себя Дадын, но и то ему надо было, чтоб и другие хвалили, этим он жил. О лжеюродивом думал как будто между прочим, однако держался с ним крайне настороженно. Особенно когда тот делал вид, что очень его боится, готов ноги целовать, помыть ноги и воду выпить. Он догадывался, что на деле «прорицатель» не из пугливых.

Силился понять, что тот собой представляет, по-настоящему; но ничего не получалось. Однако был уверен, что лжеюродивый знает то, чего он и не ведал никогда. Это совсем распаляло его. Предосторожность все же не мешала: когда они шли вместе, Дадын его ставил впереди. Ему говорили, что древние воины-абхазы никогда не шли впереди своих пленников, «шхапыз» говорили они, выбегайте вперед. Утешал себя мыслью, будто оттого тревожится, что этот несчастный и жадный лжеюродивый может со страху выстрелить. А на самом деле боялся, что прорицатель ему меж ребер всадит несколько горяченьких. Сначала о нем рассказал ему Манча, потом стал и посредничать между ними. Потом свел их. Этот лжеюродивый оказался очень хватким, он, Дадын, через него дал немалую взятку одному там начальнику (они страсть любят брать), чтоб его никто не преследовал, не присылали отряды стражников для его поимки. Затем он наладил далекие, но все же связи – с Умаром. Умар ему покровительствует. Пока еще тут ничего не понадобилось, но он, конечно, покровительствует не за красивые глаза, – верно, что-то рано или поздно понадобится.

В это время его вдруг осенило: настал же час, – видимо, доставит он Умару удовольствие – в конце концов отплатит за покровительство... мысль была – о Мсоусте. Правда, у него самого ничего не шевельнулось против Мсоуста... Да, может быть, стоит хорошо подумать над этим... если действительно тот не сдох или не сдохнет в этом полуразрушенном срубе. Ему все же показалось, что Мсоуст был жив. А вот почему не дал этому «святому» его тронуть, – не может объяснить...

Лжеюродивый ему много и осторожно говорил, что его приезды в Наришара не просты, имеют государственное значение и поддерживаются

государством. Дадын делал вид, что верит многому из сказанного, но на деле не верил. Еще говорил юродивый, что через него он, Дадын, там на хорошем счету, а если совсем образумится, – находясь здесь, в своей роли, может оказывать властям такие услуги, что будут идти чины, деньги. Но, конечно, кое-какие задания он должен будет выполнять... Хотя Дадын даже сейчас с какой-то гордостью думал об этом, что о нем там уже знают, что он не простой абрек, но на настоящую службу пока не решался.

Дадын видел, что лжеюродивый хорошо ходит в горах и на себя твердо надеется. Сначала думал, что это от незнания здешних мест, недооценки изменчивости и коварности здешней погоды. Но затем убедился, что «святой» во всем этом неплохо разбирается. Никто в такое время сюда не забредал, пока он орудует зимой тут, в предгорьях. Здесь же в зимнее время так можно заблудиться, что и костей не найдут.

Это я один могу (опять ему хорошо от того, что сам себя хвалит) здесь быть как дома, ходить когда угодно и где угодно. А в прошлом году он со «святым» хорошую шутку пошутил: весной, когда здесь еще лежал промерзший снег, он вдруг отошел в сторону и скрылся. Тот метался, метался и, не зная, что делать, пошел прямо на ледник, который в это время, как каждый год, ломался в нескольких местах, дня два все стоял грохот. И «святой» почему-то попер прямо туда. Тогда он выстрелами еле остановил его. Потом всю ночь потешался над ним.

– Совсем слепит, ничего не вижу, – остановился Ацахва, прервав воспоминания Дадына.

– А как ты думаешь завтра возвращаться? – Дадын нехотя вышел вперед; успокоил себя: здесь стрелять в него, значит – стрелять в самого себя. – Кто так тебя за ручки все время будет водить, а, мой миленький?..

– Другой раз не побеспокою, – сказал «святой» как-то резко. – Приеду к тебе в конце весны, при тепле, когда солнышко будет светить.

– Что ж такого случилось, что обратно должен бежать, – ты совсем у них на побегушках, что ли?! – Дадын любил возвышать себя над «святым», унижать его.

– А как ты думал, – конечно, на побегушках... думаешь, я начальник какой... Но приказ есть приказ: завтра – обязательно, если даже вместо этого снега будут сыпаться камни.

– Так постепенно, может, меня тоже решил попробовать держать на побегушках? – басил Дадын, довольный неизвестно отчего. – Но только не у тебя... Я... я... – он открыто не похвалил себя, но тоном своим выразил именно это. – Если еще кто-нибудь не знает об этом, ему тоже скажи, что Дадына так просто прибрать к рукам никто не смог до сих пор – и не сможет. Такой еще не родился, если родился, то не дорос, если дорос – тем хуже для него: пусть себя уже покойничком считает! – Он крякнул, будто только что поверг такого попытавшегося подчинить его.

– Если бы касалось только меня, я мог бы и остаться. Передохнуть немного. Устал я мотаться туда и сюда. Но вопрос касается тебя и не терпит отлагательства. Если все не уладят до весны, то... – говорил «юродивый» как

заученное, – не успеет прийти весна – казаки запрудят все эти предгорья. Тогда уже будет туго. Есть такой приказ – ни одного абрека не оставлять: изловить или уничтожить. Но ты же сам знаешь, золото все любят. Потом – люди должны поддерживать друг друга, особенно в трудные времена... А что еще больше человеку остается...

– Золото – это да! – пробасил Дадын, и в его голосе не было ни вожделения, ни алчности, а просто дурацкое бахвальство, будто он де лучше всех знает настоящую цену золоту.

В главном стойбище Дадына, – как он говорил, его дворце, – тлели большие поленья, прижатые друг к другу. Он обжил пещеру под огромным камнем, наверху тут росли настоящие деревья, кустарники. Внизу было сколько угодно сухих мест, где можно было держать начиная с дров – все. Жилье оборудовал в просторном помещении, с обеих сторон огня – нары, застеленные пихтовыми ветками, сверху покрытые медвежьими и иными шкурами.

– Чем не дворец! – развел руками Ацахва, сняв с себя ношу и разогнув спину. – Дворец!

– А ты как думал, – похвалился Дадын. – Никто другой не смог бы на свете отыскать такое местечко, никто, кроме меня!

– Абсолютно с тобой согласен... – подтвердил Ацахва и нарочно запнулся, чтоб Дадын это заметил. – Ты это место кому-нибудь еще показывал?

– Что ты сказал?! – грозно, на этот раз без шуток обернулся к нему абрек. – Ты за кого меня принимаешь! Я правду скажу, таких как ты я на пушечный выстрел к себе не подпускал. А это – я думаю, что мой необдуманный шаг, – могу сейчас же исправить. Если бы я не умел язык за зубами держать, видеть там, где другой не увидит, опередить, обвести вокруг пальца, – тогда мои кости давно бы уже сгнили. Но знай, если с этого дня хоть кто-нибудь об этом убежище прослышит – тогда пеняй на себя!

– О чем ты, разве я не понимаю, какое доверие ты мне оказал. Если я этого не понимаю, тогда и разговаривать не надо, здесь же следует меня шлепнуть – и все. Если такие как ты, такие как ты доверили...

Дадыну это понравилось, и он, не скрывая удовольствия, обнажил крупные, всегда почему-то розоватые зубы.

– Все это устроить, столько дров, всего другого... – удивлялся лжеюродивый, – здесь можно армию поместить!

– Как ты думаешь, почему такой как я не должен иметь армию! – пробасил Дадын. – Не захотел, а то бы... Это просто пока нет надобности.

– Я верю, если понадобится, что тебе стоит сколотить сильный отряд – раз плюнуть, а вот насчет того, нужно ли так делать – надо подумать...

Дадын снял с себя все снаряжение, развесил на крючках. Потом подложил к тлеющим сухие, более тонкие поленья, и огонь стал быстро разгораться.

– Одних дров сколько нужно! – все не уставал удивляться лжеюродивый. – Просто богатырь!

– Ты думаешь, эти дрова я откуда-нибудь ношу... Получаю все готовое.

– Как же так, ты же сказал только что, – никого здесь не было?..

– Ишь, захотел, чтоб я ему все свои карты раскрыл! Я для самого себя тоже что-то должен оставить...

– Хозяин-барин, – все кругом рассматривая, потихоньку качая головой, словно удивляясь, приговаривал «святой», в улыбке пряча что-то презрительное, брезгливое и еще что-то вообще непонятное, но явно пакостное по отношению к нему, к Дадыну. Дадын догадывался, что привел в логово вовсе не друга, но пока выжидал, хотел воочию в этом убедиться...

То, что говорил сейчас Дадын, тоже было неправдой: это место не он нашел и не он оборудовал. Когда-то от этого огромного камня вплоть до хвойных склонов лежали десятины и десятины рябиновых зарослей. Каждой весной гроздья на них становились красными, и все это место словно горело. И поздней осенью на этот рябиновый урожай нападали куницы. Собирались целым роем, облепляли деревья как дрозды ягоды плюща. А охотники за куницами все это рябиновое поле заставляли капканами и почти всю зиму проводили под этим большим камнем, в пещере, которая годилась для жилья и хорошо укрывала от непрошенного дикого гостя. Все здесь было обжито, и дрова надолго припасены. Но однажды особенно дождливым летом вся эта рябиновая благодать целиком сползла вниз – была погребена под грязью. Когда нет снега, до сих пор рана на склоне так и обнажена, даже кустов тут не выросло. Охотники за куницами, конечно, переменили свои места, а услышавший случайно о пещере Дадын отыскал ее, понравилась – и выбрал своей резиденцией.

– Я такого снега в свой век не видал, – сказал Дадын, когда они наконец уселись. – Если внизу тоже такой выпал, плохи их дела – уже давно придавило их вместе с их лачужками.

– А тебе что, очень их жалко? – как бы изучающе спросил Ацахва.

– Как же не жалко, я тоже из этого народа, не из чужого какого-нибудь! – Дадын с неприязнью посмотрел на гостя. – Ты носишь шкуру «святого», но если бы знали, что ты под ней прячешь... Ты всех ненавидишь. Но я не скрываю, я многих уважаю и ко многим с добром отношусь.

Ацахва молча ухмыльнулся.

– Напрасно ухмыляешься, тебе тоже не мешает подумать о себе и о своей душе. – Трудно было поверить в то, что говорил Дадын: во-первых, он сам был явно не уверен в себе, а во-вторых, что касается души – он был как ребенок, едва начинающий ходить.

– Ты это говоришь обо мне? – лжеюродивый положил руку на сердце. — Это я не думаю о себе? Но если человек думает только о себе, а не думает о других, у него нет потребности помочь ближнему – и что он тогда за человек? Тебя я не обвиняю, что так понимаешь, потому что среди людей доверие потеряно. Например, ты вдруг захотел человеку добро сделать, пожалел, а он начинает обходить тебя стороной, опасаясь, не решил ли ты чем-нибудь навредить. Вот сделаешь плохое – это он понимает. Там он знает, как поступать, как себя вести, что предпринять, знает, где враг, если надо бежать – куда бежать, если надо бить – кого бить... Единственное, что прошу

простить, – этакую неприкрытую откровенность, и это потому, что мне показалось, будто ты мне не веришь.

– Хватит, сколько я тебе верил... – Дадын смотрел на него недобрым взглядом. – Столько я еще никому не доверял... а вот теперь и сам не знаю, зачем я так сделал.

– Кому, кому... – огорчился Ацахва. – Ты все же мне не поверил. Я открыто тебе сказал, что я проклял церковь и отрекся от нее, но к Богу я приблизился... О, помилуй, пощади, пожалей, прости нам грешки наши человеческие, Господь Всемогущий!.. – Он уперся взглядом в черный от копоти каменный потолок, перекрестился. – Я за него существую на этом свете, я провожу его дело на земле, среди страждущих, стараюсь их уберечь от нечисти, от тех, кто их разлагает, будучи дьяволом в божеском обличье.

Дадын смотрел на него, слушал – не верил. Он видел, как тот крестится нехотя, как складывает молодые, сильные пальцы, готовые кому угодно переломить горло. Не только пальцы, вся рука была такая – будто созданная для того, чтобы кого-то уцепить, кого-то взять мертвой хваткой.

Надо с ним кончать, заключил в душе Дадын, самое подходящее место и время. Никакие птицы о нем вести никуда не донесут. Сам сделал ошибку, черт меня дернул, сам и исправлю.

Ацахва сидел и вроде бы мирно смотрел в огонь, но Дадыну казалось, что тот начеку, сидит словно на остром лезвии и готов в любое время вскочить. Губы, сейчас мирно сомкнутые, в нужную минуту станут извиваться змеями, вот змеиный извив – их нормальное состояние. Теперь же он их насильно придерживает в человеческом положении.

Надо сделать, чтоб он исчез с лица земли, исчез раз и навсегда, с какой-то особой остервенелостью подумал Дадын. Все же пока посмотрю, как себя будет вести, сразу и усомнился он. Если он не передаст это, как его, взятку, это золото, чтоб они подавились им, – кто знает, как все обернется. Может так статься, что придется и за перевал уйти, а там он на деле по-настоящему никого не знает, никем не признан, разве только понаслышке. Лучше еще подождать. Правда, когда так лицом к лицу с ним сталкивается, не может его переносить, все время чешутся руки... более того, он не хотел вспоминать, что и побаивается «святого» (именно возможного невероятного его коварства). Все же надо считаться и с тем, что «святой» для него кое-что сделал. Никогда в жизни никто ему ничего не сделал, а этот – да. Это он устроил, чтоб Дадын смог попасть вниз, на побережье. Познакомил с ней... с Сарьей. Сердце так и заныло, как вспомнил о ней. Может, и на побережье сейчас такой страшный снегопад? Если даже так, что ей: полдома, которые она занимает (он ей купил) – каменное, отменное жилище, железная печка, дров, сколько он знает, предостаточно, в двух шагах от нее лавочка, где она может себе все купить. А деньгами он ее снабдил в достаточном количестве.

– Это же одно мучение – сидеть с оружием, стоять, лежать... это просто невозможно, это мучение... – вздохнул прорицатель.

– Так мне удобнее! – отрезал Дадын.

– Я не могу глядеть на оружие – на это орудие насилия, – и голос у прорицателя стал тошным, молитвенным. – Я очень надеюсь, что когда-нибудь оно будет никому не нужно.

– Никогда! – Дадын положил ладонь на расстегнутую кобуру. – Чем дальше, тем больше нужно будет оружия человеку!

— Не дай Бог, сжалься над нами, великий Господь! – опять «святой» поднял взгляд к прокопченному каменному потолку и, неохотно складывая пальцы, как древний лучник, собирающийся взять стрелу и пустить, – лениво перекрестился.

А может, действительно, и верит эта сволочь, подумал Дадын, в основном чтобы успокоить себя.

– Я давно хочу тебя спросить, – пробасил и засмеялся, показывая крупные розовые зубы. – У тебя что, и вправду нет имени, фамилии, национальности?

– Я дал клятву – ни тебе, ни кому другому об этом не говорить. Не могу нарушить клятву – это божественная клятва. – Дадын очень внимательно смотрел на него, не дрогнет ли, не будет ли врасплох захвачен, но «святой» отвечал как всегда спокойно, не волнуясь, как бы не придавая этому никакого значения. Он, похоже, всегда готов к таким вопросам, подумал Дадын. – Для меня все небо – храм Божий, значит, я пастырь небесного храма, его ацахва-святой.

– Чего только не услышишь в этом мире.

– Национальность, фамилия, имя – это все сами люди выдумали, прицепили к себе, как побрякушки. Вроде колокольца на шее агнца, – чтоб не потерялся. Все люди, все сущие – братья, – это единственная правда.

– Что там брат... – Дадын знал, что сам не верит всему, что говорит. – Из людей на самом высоком месте тот, который пошел в абреки. Он сам по себе, ни князю не слуга, ни государю. А чем они лучше меня?! Князю все домой приносят, а меня как никак ноги кормят.

– Бог не знает, что такое национальность, – прорицатель все гнул свое, не вслушиваясь в слова Дадына. – Бог знает человека!

– Почему же, если такой праведный, – вдруг вспылил Дадын, – ты хотел сегодня в покойника пулю всадить? Значит, твой Бог жестокий!

– О-о, вдруг зазмеились губы прорицателя. – Здесь другое... Такие как он – отродье дьявола. Они засланы к людям, чтобы вечно держать их в сомнении и страхе, сеять неверие, отрицать Бога. Вот кто они такие! Да, с такими Бог жесток, и нет праведнее этой жестокости!

– Ну тебя!.. – махнул рукой Дадын, но, не зная, как возразить ему, запнулся. – Все эти разговоры хороши, но одними разговорами сыт не будешь. Не знаю как ты, а я проголодался... – Он посмотрел наружу, где легко и игриво мела метель, и заключил: – Мне сдается, этот снег может заживо всех засыпать.

Он встал, вынул из ножен большой нож, лезвие лоснилось в полутьме.

– У меня совсем свежее мясо, вчера только освежевал... – пробасил он, довольный. – Несчастная косуля. Сама прыгнула сюда, видно, хотела постоять, погреться в сухом месте. Увидев меня, прыгнула обратно в снег – и

увязла до самых ушей. Может, никто и не поверит, но, – загоготал Дадын, – до седых волос дожил – ножом никому голову никогда не отрезал, даже цыпленку.

– Ты?! Рассказывай сказки! – Ацахва смотрел на него, как святой, готовый отпустить все содеянные грехи и пролитую кровь. – Сколько ты крови пролил, кто знает... Я не виню тебя, человек слаб, его нетрудно сбить с пути праведного.

– Кровь, говоришь? – Дадын резко повернулся к этому заговаривающему зубы прорицателю чертову, чтобы что-нибудь погрубее ему в лицо бросить, но сдержал себя. – Что же делать, дело мужское – пуля. Я своего врага не зарежу ножом, как скотину, и если он тоже мужчина, пусть не делает то, что не к лицу мужчине!

Он вышел из жилой части пещеры, перешел туда, где хранились его припасы. Мясо косули висело на вбитых в камень крючьях, и первый кусок, который он тронул, оказался простреленной им же лопаткой... он резко отпустил ее. Вспомнил, как целился в косулю совсем близко, и как она с ужасом в глазах, под которыми были мокрые подтеки, смотрела на него. Он выстрелил и попал под лопатку, и почему-то сразу же больно закололо под лопаткой у себя... До этого тоже иногда побаливало под лопаткой, но после косули сделалось намного ощутимее. Вчера, опасаясь этого гада, он полуспал всю ночь. Когда же одолевал сон, ему сразу начинали сниться кошмары. Под утро приснилось, будто там, где всегда болело, торчит нож. Изнемогая от боли, он все тянется к ножу, чтобы вырвать из раны, но никак не может дотянуться... Так и не дотянувшись, он с ужасом проснулся.

Теперь он взял другую, непростреленную лопатку косули и вернулся к огню.

На одном ачхиндже* варилось мясо, на другом пока медленно разогревалась вода для мамалыги.

– А муки у тебя достаточно на зиму? – спросил прорицатель.

– Думаю, да. Манча же лентяй, еле-еле заставил его на осле довезти до нижнего сруба.

– Оттуда ты все это перетащил? – удивился Ацахва.

– Как же, разве можно Манче что-нибудь показывать. Ему же нельзя ничего доверить.

– Манча, Манча... – повторил имя «святой», словно уже покойного кого-нибудь.

– Провались он в ад, уже вот где у меня сидит! – когда Дадын проводил ладонью по горлу, под лопаткой заныло, словно там давно уже сидел ржавый нож. – Не успеешь оглянуться, уже бежит к своей этой вдовушке... ни к чему он, мне кажется...

– Как ни к чему, все же он наш... Если мы не будем поддерживать друг друга – это только врагам на руку.

Может быть, я все же ему напрасно не верю, подумал Дадын, однако и не мог себя заставить верить.

– Я перебиваю тебя (как красиво говорят в таких случаях, «золотом режу твои слова», но он не хотел такие тратить на него), где ты так научился абхазскому языку, чтоб воде негде было протечь?

– Воде негде протечь – это хорошо, – ухмыльнулся прорицатель. – Меня Бог сам выбрал, чтобы проводить слово между ним и человеком. Потому любой язык для меня доступен...

– И что говорит Бог, например, о таких как я, какое слово он предлагает тебе донести до меня? – спросил как обычно надменно Дадын, но при имени Божьем все у него внутри похолодело. Однако в душе он не стеснялся самому себе признаться, что побаивается Бога. Нет такого, который не боялся бы никого и ничего, пожалел Дадын.

– Оставь сейчас его в покое, – сказал вкрадчиво прорицатель. – Спаситель наш, не гневись на раба твоего неразумного. – Он так просто перекрестился, не поднимая взгляд к каменному закопченному потолку. – Пока мы с тобой поговорим о земных делах... О буре, например...

– Какой еще буре? – Дадын всмотрелся в наступившую полутьму, – да, действительно, такая метель – чем не буря.

–Все это игрушки... – Ацахва так сказал, что каменная келья словно обрела дар речи.

– Если это игрушки, что же там за чудовище! – Дадын тоже спросил вполголоса.

– Это между нами, но запомни...

– А кому я могу сказать – этим камням?..

– Ни Манче, ни Сарье-ханум... – ее имя он произнес так, словно облизывал ложку с медом. Дадына задело это, и под лопаткой больно заныло.

– Сколько раз я просил, чтобы ты не упоминал ее имя, – он хотел рявкнуть на прорицателя, но почему-то получилось тихо. Все же, думал он, именно Ацахва познакомил его с ней, без него он был бы лишен и этого удовольствия. Но из всех ее знающих сам он был знаком только с этим прорицателем, потому и ревновал именно к нему.

– Я обязан тебя предупредить.

Как только Дадын услышал имя Сарьи, первым долгом вспомнил самое дорогое для него в ее доме – ванную, и как она его купала в теплой пенной воде. «Ты дымом пахнешь»... – говорила она кокетливо со своим сильным турецким акцентом. Потом, когда он начинал в приступе страсти целовать ее мыльные пальцы, она прыскала, словно ей было щекотно. – «Но какой это мужчина, который пахнет духами, фу, хуже нет жеманного мужика!» – это она добавляла уже по-русски, но с меньшим акцентом.

– Должна разразиться эта буря, – тяжеловатым шепотом говорили каменные стены, – рево-лю-ция...

– Как? Как?

– Революция...

– Это еще что такое, – засмеялся негромко Дадын своим дурацким басом. – А-а, да, слышал. Сначала я думал, так болтают, а потом стали поговаривать, будто царя хотят скинуть.

– Тогда тоже были игрушки... А ныне грянет уж грянет... Говорят, верх возьмут бедные. А мы кто с тобой такие? Конечно, бедняки, – ни силы, ни богатства. Тебя загнали в лес, а меня тоже погоняют туда-сюда. Ты понял?

– А что я видел, что я имел, кроме вот этого, – Дадын ударил по груди своей (и здесь не мог не похвастаться). – Об отце говорили, что у него золото припрятано, пугали, грозились, всех нас держали в страхе. А на деле он считал наши куски, которые мы съедаем, сам свои куски считал, в конце концов мать загнал в гроб, женился второй раз – тоже вскоре в гроб загнал. Меня истязал. До сих пор не знаю, почему о нем говорили, что у него было золото...

– Так или иначе отец есть отец, роптать на отца – грех. – Ацахва очень внимательно посмотрел ему в глаза. – Но все же кое-что оставил он тебе?..

– Оставил, конечно, никто еще туда ничего не брал, туда опять голышом возвращают! – загудел Дадын своим пустопорожним смехом.

– Ты у меня что-то стал путаться, да простит тебя Бог за недоразумение. – Прорицатель все нажимал на Бога, но и хотел до конца у него выведать все. – Голышом туда отправляют мусульман... Но неважно. Все же не считай малым то, что оставил отец...

– Да брось, – отрезал Дадын. – Что оставил отец... Никто до сих пор не знает, где оно.

– Как так?

– А вот так... Или сам он хотел, чтобы мне не досталось, или просто люди придумали, что у него золото... может, из-за неимоверной его скупости... А то, что он дома прятал, – это жалкая малость... часть их я проиграл в этом вонючем духане у дороги.

– Но это частности твоей жизни, они мне не очень интересны, – прорицатель сразу потерял интерес к теме. – Самое главное – другое: буря. После этого настанет лафа, каждый сам себе будет хозяин. Бедные разбогатеют, и все богатства приберут к своим рукам. Таким образом, придет и наше время. Тебя все гоняют по лесам, а мое положение тоже не лучше...

– Да, да, когда-нибудь кто-нибудь должен нас заметить...

– Как теперь называют нас?

– Меня – абрек, тебя – юродивый!

– Меня большинство бродягой величают, камни кидают, вслед плюют... Но потом, потом... – губы его змеились, корчились, так им было трудно произнести, или ему так не хотелось произнести... – потом нас будут называть «аюыза», товарищ. Встретит русский, скажет – «товарищ», встретит турок – «ельдаш», встретит грузин – «амханаги», встретит сван – «абханаг», встретит мегрел – «апханаг», встретит армянин – «инчери», встретит грек – «филос».

– Я еще подумаю, – почему-то обрадованно сказал Дадын, обнажая свои розовые зубы. – Сейчас меня величают «ухацкы», как дворян, зачем мне «аюыза», чем для меня это лучше?

– Ухацкы, ваша светлость, – все это тоже останется, будем друг друга величать. Например, «ухацкы сцейт» можно и так переложить по-новому: «за

тебя я иду». Например, ты должен идти на свадьбу, ты не можешь. Даешь мне подарки, я приду, хорошее слово скажу, выпью-покушаю за тебя.

– За себя и за меня! – дурацкий бас Дадына огласил каменные своды. – Ты плут от Бога, а не святой!

– Уххь згеит – это тоже хорошо. Это значит «я беру на себя твою головную боль». Скажем, как раз моя голова болит. Мою головную боль, действительно, взять ты не можешь. Но одно то, что ты скажешь, – мне приятно. Когда приятное услышишь – боль обязательно убавится. Вот так и будет строиться жизнь.

– Что правда, то правда, хорошо услышать приятное.

– «Мой господин» – это плохо. Раз сказал «мой господин», ты себя зачислил в рабы.

– Когда скот спускается с горы, для удобства делят их на дающих молоко и не дающих, на влажных и сухих, как говорят пастухи. Примерно все так и будет, – очень важно заключил Дадын. Встал, своим большим ножом полоснул лопатку косули: – Мясо уже сварилось, пора и мамалыге. – Он протянул руку и откуда-то достал амхабыста – лопаточку для мамалыги. Рукоять ее была вся в узорах. – Видишь: это моих рук дело, – не без гордости показал он «святому». Стал откуда-то доставать так же искусно сделанные другие вещи: совок для муки, дощечки вместо столика, большие и малые деревянные кружки – ачакуа, ахмачир. – Когда я ими занимаюсь, все забываю и получаю такое удовольствие... – Обычно пустопорожний бас Дадына сделался мягче, наполненнее, и какой-то хорошей мелодией от него повеяло. – Это самые лучшие мои минуты. – Он поднял голову, обернулся к прорицателю и увидел, как тот или совсем не слушал его или абсолютно был безразличен к его словам. Ацахва-«святой» сидел неподвижно, как пень, словно подслушивал движение мертвых соков в еще живых своих корнях или еще какие-нибудь вести из преисподней.

ЭСМА

Только в барышни собралась,
А старость уже у нее в коленях
сидит...
Шаратын – танец с прибаутками

Эсме долго казалось, что еще тогда, в детстве, ее душа перевернулась – раз и навсегда. Но в последнее время, все чаще размышляя об этом, она пришла к мысли, что это не совсем так, что тут много было детской выдумки, прораставшей сквозь девичье одиночество. Она только сейчас и поняла, что одновременно в ней росла-поднималась сила, которая должна была прочистить ей глаза, сделать их зорче, чтобы она увидела, где могло быть или где ждет ее счастье. Но в ее полусиротской жизни так много было сдерживающего, опутывающего, превращающего ее существование в

неясный, тяжелый сон, что, когда эта сила, которая в ней шевелилась, начинала биться, как птенец, пересидевший в скорлупе, она, не понимая себя, мучилась, не видела выхода.

Когда Мзалей нечаянно-негаданно явился в родном доме, ей стало совсем плохо. Всем ее бесконечным вечным надеждам, которыми она тешила себя, вдруг пришел срок. Он мог в самом обычном разговоре что-нибудь такое сказать некстати, или она сама выдаст себя, не выдержав, – все могло опять кончиться катастрофой. Это могло случиться – каждый день, каждый час. Уже не было места в пространстве, куда можно было отложить или отодвинуть ее будущее, какая-то развязка подступила независимо от нее. Потому первые дни она боялась встречаться с Мзалеем, чуть не шарахалась от него.

Но вдруг (а вдруг, а вдруг, вдруг!) ответ, разрешение, казалось, неразрешимого обнаружилось неожиданно легко и ясно. Ей сначала казалось, что если нечаянно столкнется с Мзалеем, может не выдержать, бросится ему в объятия... Но однажды утром, когда он зашел к ней в комнату, он ее поцеловал в щеку – и она его. Потом она поцеловала второй раз, благодарная за то, что ничего чувственного, превышающего братские отношения, не присутствовало в их поцелуях. И сразу она успокоилась – и обрела себя. Ее плоть не шевельнулась нигде, никаких желаний, влечений к нему она не почувствовала.

И в эту ночь, радостная, но пораженная, она все думала, что же ее столько лет так держало, сковывало, мучило, заставляло страдать душой? Жила ли она воспоминаниями о нем, или просто о том самом детстве, в котором он был главной фигурой?

Одно она поняла: ее плоть оказалась мудрее – сама ощутила и показала душе, что никогда и никак не страдала по нему, по его плоти... не было памяти о нем... После этого все сделалось проще. Она в конце концов поняла и другое, главное: откуда шло это чувство, напоминающее сильную тоску, боль неразделенной любви. Несмотря на то, что их воспитывали вместе, няня и мать Мзалея вечно боялись оставить их одних (может, оттого, что он был старше), преследовали их, им никогда так и не представилось времени свободно, без подглядки остаться одним, наиграться до изнеможения, поссориться, даже подраться; с возрастом это еще усиливалось, и поняв ревнивое отношение взрослых к их совместным играм, она стала по-взрослому все переживать; он уехал, а эта боль осталась ничем не растворенной в душе; когда же она повзрослела, – стала грезить о счастье, о парне, с которым разделит судьбу, – и вдруг ей стал являться его неопределенный образ, и воспоминания и сны заполонил – он. Когда в самое созревание она вся погрузилась в этот сон, неопределенный, ничего не сулящий, ей показалось, что жизнь кончилась, и она стала себя ненавидеть. Навряд ли она смогла бы совершить тогда дело, на которое решилась в минуту отчаяния: и веревку-то взяла, что под руку попалась, тонкую, со шпагатик (навряд ли выдержала б), и не успела она с ней войти в комнату, а госпожа тут как тут. И все завершилось благополучно.

Ее до сих пор смешит то, что она сказала тогда госпоже о причине такого отчаяния: причиной она назвала Мсоуста. Да, в Мсоусте она всегда замечала сходство с Мзалеем, и потому, только потому желала чаще видеть его в барской усадьбе, но к нему самому никаких чувств не было. Однако тут не только наивное желание отвести удар от настоящего виновника присутствовало, нет: она еще мстила Майяне. Как раз в том году везде, даже в барском доме говорили с увлечением об одном: как любят друг друга Майяна и Мсоуст. И как восторженно всегда упоминали об их необыкновенной любви и о них самих! Это в доме-то, где теплое слово о другом, о ближнем, – вообще не принято было... Похоже, все эти излияния, любование любовью, совершенно непривычное здесь, были чем-то вроде полуосознанного моления – за себя, за свой дом, где окончательно вымерла любовь...

Сейчас она окончательно поняла глупость того своего поступка... она не пожалела Майяну – нет, но подумала: при чем этот мертвый для любви дом... существует она, Эсма, девушка на выданье, и собой недурна, и нельзя еще сказать, чтоб засиделась... и своего у нее немало, оставшегося от покойных родителей, – одной земли сколько... и что ни говори, какой бы сиротой она там ни числилась, – она же высоких голубых кровей, – что ж ей не поделить с простой смазливой крестьянкой?..

Теперь она стояла у зеркала и расчесывала волосы: действительно, после такого прозрения и кровь прилила к щекам, глаза стали ясные. Даже седая прядка в волосах – тоже ей к лицу. Мрачные следы меланхолии, нервные складки в углах губ – все смотрелось по-иному, все преобразилось. На лице появились отсветы желаний и радости.

Мзалей и в другом помог: он не скрыл об Алоу. Она заметила, что перед возвращением Мзалея Алоу с причиной и без причин зачастил к ним, замечала, как он все время искал ее взглядом, искал ее взгляда, но ни разу не решился подойти. Увидев его, статного, бледного, словно чем-то вечно разгневанного, она удивленно застывала... но тот, точивший душу сон опять обволакивал ее, и все окружающее теряло значение и значительность. Однако, услышав о нем от Мзалея, которому верила больше всех не только в этом доме, но и вообще на свете, – она теперь жила воспоминаниями о встречах с Алоу. Это уже не было похоже на тот удручающий сон: жизнь была полна желаний и ожиданий.

Опять плоть – она не ошибается... нет, не плоть одна, в ней же душа, без души плоть – это труп... она желала его, только его. Она не скрывает от себя... она полна ожиданий. Она уверена, что с Алоу у нее не будет долгих, трудных объяснений – они сразу поймут друг друга.

Закончив причесываться, она представила себя, как будет встречаться с Алоу, и сердце замерло на долгие секунды, и она закрыла глаза.

– Настаньте, настаньте поскорее эти дни... – шептала она. – И нужно же было, чтобы пошел такой снег...

В обычное время, что бы ни случилось в усадьбе, ее ничто особенно не заботило, и никого ей не было жаль, но сейчас ко всему было другое

отношение. Снега она не так уж сильно боялась, вообще не понимала вполне серьезности ситуации, но чувствовала, что из-за метели все может затянуться, оттянуть встречу – единственную ее звезду. Она, по крайней мере, не хотела от себя скрыть, что ненавидит эту усадьбу, этот дом. И когда, наконец, появилось, кажется, возможность вырваться на свободу, – природа препятствует.

Было во всей этой истории и нечто такое, что устраивало ее: она явно видела страх в глазах таких всегда напыщенных обитателей усадьбы. Особенно в глазах Умара. То, что он не герой, а просто хам, она знала, и тем более желала видеть его поверженным. Она считала, что хотя бы частично, но этот животный страх уже представил его поверженным... Сама удивилась, когда ей стало приятно видеть страх и растерянность в глазах Алмы, Хирипса и этого сорванца Астамыра, даже у своей покровительницы – Хауйды. Это было для нее открытием. Значит, недаром Алма поговаривал, – мол, сироту не стоит воспитывать, тратить душу, – все равно не будет довольной.

Да, действительно, она всегда была близка с госпожой (с кем еще можно было в этом доме), но та тоже днем и ночью оплакивала себя, свою судьбу. Это усугубляло ее терзания, ее положение сироты. Сначала она плакала вместе с госпожой, оплакивала и свои беды и ее, но из года в год, конечно, в душе все остыло. Сделалось просто привычкой, или убиванием, коротанием жизни.

В это время где-то сильно стукнули дверью. Потом донесся пьяный рык Умара. Опят стукнули дверью, – видимо, вышел. Он долго безмолвствовал, все эти ночи нигде не слышно было его, его ночных шатаний, выкриков. Но уже, видимо, понял, что дом не упадет, крышу очищают, дрова откуда-то достают, камины горят от утра до утра, готовят, служат, все идет почти как обычно, – так почему же опять не начать буйствовать, досаждать всем, являться средь ночи и будоражить всех.

Мзалей уходил, пока Умар еще спал. Уходил с частью барской прислуги. Хотя ее отсутствие ничуть не мешало той работе, дежурствам в барском доме, которые установил Мзалей и которые вполне оправдывали себя, Умар в последние дни рвал и метал: мол, кто смел часть его людей разослать по деревне, по голодранцам!.. Пусть, мол, те подыхают – чем меньше будет, тем чище станет на свете...

Потому-то уже сутки как опять распоясался Умар, в узких его глазах пропал гнездившийся там последнее время животный страх.

Этот дом был особенным: все двери всегда закрыты, но будто у всех у них есть уши: если утром в каком-то углу кто-нибудь что-нибудь буркнет, к вечеру весь дом об этом знал. Уже к вечеру то и дело повторяли в доме, будто, узнав о недовольствах Умара, Мзалей сказал, – мол, пусть свою совесть спросит, имеет ли он право быть недовольным. Сказал ли Мзалей, и как он это сказал, никто толком не знал, но передавали так.

– Я уже в этом доме не могу распоряжаться собственной прислугой! – опять донесся до Эсмы его рык. На этот раз совсем близко стукнули дверью.

– Разгуливают по деревне, а здесь хоть шаром покати – никого! – Потом он еще что-то непонятное рычал, как собака, голова которой застряла в плетне (верно, поносил Мзалея). – Мы еще посмотрим, посмотрим, посмотрим... – опять он стукнул дверью – ушел.

– Когда же я буду не слышать всего этого, не видеть ничего этого! – в сердцах сказала Эсма. Потом вздохнула и нежно прошептала: – Ох, Алоу, если б ты знал, как я тебя жду, если бы знал...

В это время дверь распахнулась – вбежала бледная, страшно напуганная Хауйда. Она схватилась за дверную раму, – похоже, ноги не держали ее.

– Что, что случилось?! – Эсма подхватила ее, обняла, помогла дойти до стула, усадила. Хауйда сидела некоторое время, тяжело уронив голову, потом подняла глаза на Эсму. Посмотрела на нее – и глаза удивленно застыли; она выпрямилась и прижалась к спинке стула. Похоже, сразу поняла по ее взгляду, что для Эсмы вдруг сделалось все равно – ее не волнует больше то, что происходит в доме.

– Эсма, ты слышала, как кричал этот, съевший нас живьем, ты слышала, что он говорил?! – и очень внимательно следила за лицом девушки. – Ничего хорошего из этого не выйдет, они живьем меня похоронят – это и слепому видно. Что он со мной наделал (это уже о Мзалее, поняла Эсма), не спросив меня, ни с кем не посоветовавшись, взял и приехал. Куда, спрашивается, приезжать! Потому же я его там так долго и держала! И я страдала, и его заставляла страдать! Без ножа он меня зарезал, и свою жизнь погубил... Ни там, ни здесь...

– Не бойтесь, госпожа, – Эсма почти беспечно махнула рукой. – Они только умеют шуметь, ни на что больше не способны. Если бы этот, о котором ты говорила, с тех пор как шипит, шумит, – если бы по одной голове летело, то сейчас ни из одной трубы дым бы не шел. Ты же его знаешь, никому не может глотку сломать, ничью кровь не может лизнуть, вот и находит занятие, душу отводит.

Хауйда с удивлением слушала Эсму: та говорила смело, говорила что думала, и видно было, от этого ей не было больно (с чего бы это?).

– Не-ет, Эсма, ты, видно, не все слышала, что он говорил... – возразила госпожа совсем упавшим голосом. – Только что он сказал, открыто... Он его подкидышем назвал... говорит, наши враги орудуют в нашем доме.

– Я вот другое вам скажу, госпожа: надо припугнуть его. Он привык так, что никто ему ничего не говорит, – и совсем уж озверел, – продолжала Эсма твердо. – Почему ждет барин, мой господин, разве не видит, что он уже ему на голову сел.

– Тс-сс! – как попавшая в силок птичка затрепетала перед носом Эсмы ладонь барыни. – Сейчас сказала – и больше никому... Еще хуже будет.

– Напрасно вы так думаете, госпожа, – еще тверже добавила Эсма. – Помяните мое слово, для таких это лекарство, ведь клин клином вышибают. И пускай не забывает о себе, в какой грязи он сам... Кто-кто, но он-то не имеет права хоть что-нибудь говорить...

– Эсма, Эсма... – госпожа даже привстала от волнения. – Нельзя это, нельзя! – и вдруг Эсма увидела разгневанное лицо госпожи. – Нельзя же совсем грязью облить род Анчаа! Как ни говори, так или иначе в нашей с тобой жизни есть их заботы, они же не бросили нас на произвол судьбы! Мы не имеем права так пренебрегать ни славой, ни позором рода! Более того, мы сами к нему относимся... я, скажем, – старушка, но ты-то молодая, на выданье...

– Хорошо, я буду держать язык за зубами, если это что-нибудь исправит, – отозвалась холодно Эсма.

– От тебя сейчас требуется одно... – госпожа не глядела на нее. – То, что я тебе у реки поведала... ты не слышала, не знаешь ничего. Правду тебе скажу: я иногда несу сама не знаю что...

– Будьте покойны – никто об этом от меня не узнает. – «Совсем рехнулась, бедняжка», – подумала Эсма, даже не пожалев ее. – От меня не узнает никто, но каждому рот не закроешь...

– Эсма, ты должна с ним поговорить! – глаза госпожи молили о помощи. – Если я ему скажу – получится совсем по-другому: родная мать гонит сына из дому... Но он должен уехать. Как только будет какая-нибудь возможность, какая-нибудь...

– Я скажу ему, но он так ведет себя, и такие у него планы...

– Зачем, зачем ему все это... Все ни к чему. Люди свое дело сами сделают, зачем у них в ногах путаться... Если бы не так, может...

– Может, ничего и не было бы, – подхватила Эсма. – Но он хотел как лучше. Главное, я чувствую, что ему тоже лучше... Но здесь не будет утешения человеку, не было и не будет.

– Он должен уехать, непременно уехать! – Эсма видела, что новый тон ее разговора раздражает госпожу. – На тебя вся надежда. Это ты ему посоветуешь сегодня же ночью.

Сказала – и, видимо, боясь возражения, сразу же ушла.

Она, похоже, уже знает, что я с ним не поеду, подумала Эсма. Сейчас она яснее ясного видела, какой могла быть судьба ее и Мзалея, если бы с ней не произошло такое прозрение... если даже он был бы согласен, они все равно оказались бы рано или поздно в безвыходном положении, в тупике... И разрешение, выход оставался бы только один – покончить с собой.

И тогда, когда все эти неопознанные, мутные, запутанные чувства боролись в ней и толкнули в конце концов на крайнюю меру, она тоже подспудно чувствовала неразрешимость всей ситуации...

Прошли те времена, когда я была дурой, подумала она. У нее у самой появилось теперь, что беречь, из-за чего стоит жить и беречь себя. Все равно, разумеется, для нее не было безразлично то, что станется с Мзалеем. Одно то, что их воспитывали вместе... он ее запутал, и столько лет из-за него страдала, но и выпутал из всего этого своим же приездом... да и в ненавистном этом доме она уважала только его одного, о госпоже она уже не могла так сказать.

– Алоу, Алоу... – шептала она, кружа по комнате. – Если бы ты знал, как я тебя жду, если бы ты знал... С того самого дня, как мы с тобой сольем судьбы, этот дом, все, что здесь на моих глазах проходило и проходит, – сейчас же забуду, как тяжкий сон.

Она подошла к окну и сквозь промерзшее стекло различила, как снег перестал падать, а туман поднялся до того, что кое-где открылись свинцовые, словно и не снеговые тучи. В лицо веяло холодным, ледяным сквознячком.

КРИК

Были крики, которые никуда
не донеслись,
Но они были, они прозвучали...

Его разбудил холод, и он присел на шкуре. Очень гадко было на душе. Заснул под утро, сторожил эту сволочь. Этот, выскочивший из собачьих ноздрей (ненависть сжигала его), – спокойно спал всю ночь и продолжает спать.

По порядку вспомнил все, что «святой» говорил ему вчера, и ни одному его слову он сейчас не верил. Теперь только догадывался, что прорицатель оттого так ухищрялся, напускал на себя таинственный вид (тоже мне пророк), чтобы его самого расколоть.

Наверняка ведь доноситель! – пронзило его рыхлый, самодовольный и доверчивый мозг, – наверняка!

Он вскочил как бешеный, кобура и так была расстегнута, вырвал револьвер и подпрыгнул к «святому». Упер дуло в большой, сильный кадык и нажал. Прорицатель даже не вздрогнул, когда холодное дуло револьвера вдавилось в теплое, почти горячее тело хорошо выспавшегося человека. Значит, он уже не спал, выскочивший из собачьих ноздрей, подумал Дадын, немного успокоившись оттого, что и тому сейчас плохо. Ацахва открыл глаза, они не удивились, не испугались, а просто смотрели, словно что-то особое заприметили на каменном потолке, сам тоже не дрогнул, не пошевелился. Через некоторое время, словно он только что видел прекрасный сон, легкая, счастливая улыбка озарила его лицо.

– Аюыза, амханаг, товарищ, ельдашь... как еще там?! – выкрикивал страшным голосом Дадын, и голубые его глаза налились, засверкали. – Помолись в последний раз, может, Бог сжалится, отпустит тебе хотя бы часть твоих страшных грехов!

– Всю свою сознательную жизнь я служу ему, исполняю его волю, – прохрипела сдавленная гортань. – Все, что можно было, я ему сказал...

– Ты это говори другим, я уже понял, чье дело ты делаешь и чью волю исполняешь. Сколько бы раз ты ни ускользал как змея, знай, что сегодня все здесь, сейчас кончится!

– Значит, так Богу угодно. Видно, мне уже пора туда... Всевышний видит, как я утомился. В этом не лучшем из миров все твои труды необъятные толку тебе приносят всего с наперсток. Там, в лучшем из миров, все лучше. Все, все в руках Всевышнего...

– Напрасно на Бога не сваливай, он тебя как облупленного знает, а сейчас ты у меня в руках, – загрохотал своим басом Дадын, обнажая крупные розовые зубы, но в голосе была злость. – Не брат мой, не сват мой, – поверив этому жадному и трусливому коту Манче, почему я должен был связываться с тобой? Это я во всем виноват! Но я исправлю свою грубейшую ошибку. Сейчас же ты мне скажешь, почему это так хотел со мной встретиться, узнать меня?! Того, что в барабане тут есть, достаточно и для тебя, и для Манчи, и еще кое-кому. Я пулю даром не теряю, выпускаю – в цель.

– Скажу... то есть, еще раз скажу – если ты забыл... – «Смотрит, полузадохнувшийся, и еще улыбается, гад...» – Я хотел выяснить правду – и выяснил, что ты ни в чем не виноват. Нападали они. В перестрелке они сами своего сообщника прикокошили.

– Когда ты мне такое говорил? И откуда тебе все это известно? – заинтересовался Дадын. С одной стороны, то, что говорил «святой», вправду небезразлично было, но с другой стороны, – страшно неприятно, что кому-то известно: он в абреки-то подался из-за пустяка. А в людях все это раздуто, окружено ореолом...

– Я думал, что говорил тебе... но не это важно – важно то, что я должен такие вещи выяснять, это мое вечное задание от Бога. Ты пошел в абреки, чтобы защищаться, но все, что происходит в этой округе, – станут приписывать тебе. Это так уж заведено. На абрека и свалить легче... Ты известен как свирепый, беспощадный, жаждущий крови абрек... не даром же поговорка: у собаки, не съевшей ни куска, вся морда в крови...

– Тебе кажется, что я не достоин своей славы? – спросил неуверенно Дадын.

– Ты достоин большего...

– Напрасно все говоришь, ничего тебе не поможет... – Дадын сильнее нажал дулом пистолета, но потом ослабил, чтобы тот мог отвечать. – Что это ты болтал вчера, выпытывал у меня?

– Не выпытывал – хотел объяснить, втолковать, чтобы ты понял, чтоб знал... – Прорицатель вздохнул и закрыл глаза, улыбка исчезла с лица.

– Ты раньше времени не старайся их закрывать, это я постараюсь, чтобы навеки закрылись.

– Ты что, хочешь все время так в лесу и гнить? Без дома, без тепла, без человеческого участия? – Ацахва открыл глаза. – Я прежде всего об этом думал. Когда я думал о себе, подумал о тебе тоже. Забота о ближнем – и моя забота. Разве ты не хочешь вернуться в жизнь, обзавестись семьей, детей народить. Ты думаешь, всегда будешь молодым?

После этих слов Дадына отпустило мстительное чувство, рука расслабилась... ему показалось, что он очень близко услышал воркующий голос Сарьи-ханумы, возбуждающий ее акцент. Он до сих пор как-то не

подумал о том, что если с ним что-нибудь случится, то он никогда больше не увидит Сарью-хануму.

– На сегодня достаточно... – он поднял револьвер и, недовольный собой, ухмыльнулся. – Со мной такое бывает при каждой смене луны, не зарывайся... сейчас пронесло, но когда-нибудь ждет тебя.

Прорицатель лежал все так же неподвижно.

– Вставай и поторапливайся, снег перестал, – бросил Дадын все же еще зло. – Некогда мне с тобой возиться. Если сегодня не доберемся до того перевалочного сруба, завтра ты не успеешь спуститься... – Он сунул револьвер обратно в кобуру. – Оттуда уже деревня видна.

– Соскучился?.. – мирно спросил прорицатель – как ни в чем не бывало. Встал и сразу начал готовиться.

– Еще что, скучать... – огрызнулся Дадын. – По ком? Будто там кто-то скучает по мне. – И вдруг подумал: никогда не помнил – почему сегодня вспомнил, что оттуда видна эта жалкая деревня?..

Когда они вышли из пещеры, собираясь спускаться, Дадын приостановился. С трудом дотянулся рукой – несколько раз нажал под левой лопаткой.

– Что-то здесь холодеет, то горит иногда... не знаю, в чем дело, – пожаловался он. – Когда давлю – не болит.

– Простудил, просквозил... ты крепкий, но ты не железный, – губы у прорицателя стали змеиться, но он их придержал. – Если вовремя до сруба дойдем, я тебя водкой натру, завтра будешь как огурчик.

– Это иногда так дает о себе знать, потом исчезает, – отозвался Дадын, бодрясь. – Водку сам выпью, зачем ее на что-то еще тратить. Никогда я ничем не болел, здоров как бык! – И тут не удержался, чтоб не похвастаться.

– Чтоб таким ты прожил два человеческих срока!

Но Дадын просто похвалялся: болячек у него было не мало. Одна его головная боль чего стоила: как прихватит, так и хотелось размозжить голову о каменную стену пещеры... особенно когда менялась погода. А зубы? Как-то ночью сразу болели два зуба невыносимой болью. И он стал выть как волк, провыл почти всю ночь, – и это действительно немного помогало, отвлекало. И на всех скалах вокруг всю ночь ему вторили волки, жуткий вой стоял.

Ночью, видно, снег прекратился, а потом под утро снова насыпало на промерзший наст достаточный слой. Лыжи-плетенки и не оскальзывались и не вязли глубоко. Идти было хорошо, и они довольно быстро спустились до уровня, где невдалеке в полуоткрытом срубе оставался Мсоуст. Прорицатель угадал это место и остановился:

– Давай все же проверим... там ли он... – сказал – и губы его зазмеились, и он их не удерживал. – Я все же не спокоен. Знаю, он сюда поднялся, чтобы найти тебя. Каждый, кто желает пролить кровь другого, достоин только ненависти. И Бог говорит, таких не щадить. Как бы ни было, мы можем попробовать сделать доброе дело, – может, он образумится и станет на путь праведный? Вдруг в нем еще душа теплится, можно будет его вернуть к

жизни? А вдруг? А если он мертв, нельзя же человека оставлять на съедение зверям, это не по-христиански.

– Ты тоже скажешь!.. Я здесь сижу, чтоб меня подстрелил, как куропатку, сын немого Гуатаса?! – рявкнул своим басом Дадын, и голос его гулко отдался по склонам, стонущим под тяжестью навалившего снега. – Из его одной головы я бы сделал сто! Это выдумки – он бы не осмелился, не мог не знать, на кого идет. А собственно говоря, почему он должен искать вражды со мной? Со мной лучше дружить, если этого удостоишься.

– Он хотел вражды, потому что думает, что ты в кунаках с Анчаа ходишь. И после всего случившегося знал или предполагал, что они тебе поручат убрать его.

– Несчастный... мне, например, ничего такого никто не поручал, а он хотел сам напороться?..

– Ты его просто не знаешь... – голос у прорицателя стал металлическим. – Он ни с кем, ни с чем не считается, говорит, что никого не боится. Напрасно так спустя рукава ты относишься к этой опасности. В общем-то я из-за этого поспешил сюда, чтобы сообщить тебе, а ты...

– И ты тоже не веришь, что Дадына пуля не берет?! – он ударил по широкой груди рукой, которой держал палку, лицо раскраснелось от мороза. – У Дадына два сердца, это всем известно, у Дадына не два глаза, а четыре, четыре руки! – Он хотел добавить, что и четыре ноги, но вовремя спохватился. – Поразит одно сердце – другое сразит его...

– Пойдем, поглядим...

– Что ты пристал, «поглядим, поглядим», ты до сих пор не умеешь покойника от живого отличить. Он тогда уже был готов. А хоронить его тебе не поручали, ты не в ответе за это. Лучше поспеши... запомни, я должен тебя до места довести и вернуться. Правда, я устали не знаю, но крыльев пока еще не приобрел. В конце концов, если ты так заладил, на обратном пути загляну, или дверь забью.

– Только не забудь, – сказал сухо прорицатель и тронулся дальше. – Обязательно загляни!

– Да, да, говорю, какой ты назойливый...

Под лопаткой не очень болело, но сегодня вроде чесалось, он попробовал достать, но не получилось. Он нервничал.

Они долго спускались по очень крутому склону, потом пошли по хребту длинного лесистого холма. Здесь идти было удобнее. Когда сильно вспотели, Дадыну стало лучше дышать, под лопаткой не болело и не зудело. Прорицатель шел рядом, сокрушая своей тяжестью снег. Но голова Дадына была занята другим. Ему вспомнилось, что они сейчас идут по дороге, которой пастухи поднимаются в горы. Уже довольно большим мальчиком его два раза брал с собой в горы дядя, брат матери. А отец его все время держал в лавке, никуда не отпускал. Помнит, как он ненавидел лавку, как надоедала вражда с Киарантыху, который тоже держал лавку, но далеко, на равнине, у самой дороги. Киарантыху продавал разные мелкие товары, а отец Дадына – материю, мыло, иногда и соль. Но ничего радостного от этой лавки,

где они с отцом пропадали целый день в ожидании редкого покупателя, Дадын не видел. Жили они хуже зажиточных крестьян, характер отца был невыносим. О его скупости ходили легенды, он, например, не знал, не помнил, когда и как открыл лавку. О деде говорили, что он был пастухом, охотником, его две пожелтевшие фотографии стояли на голом, без скатерти столе: дед был в папахе, с ружьем и большими молодецкими усами. Вроде бы этот пастух, охотник женился случайно на дочери менялы, ходившего с мелкими товарами по деревне. Видимо, отец и пошел своими наклонностями в эту родню.

Первый раз, когда он с дядей, братом матери, поднимался на гору, дядя где-то в конце этого холма остановился и показал внизу деревню: дома, дворы, засеянные поля, холмики, даже река, заводи которой стал только-только переплывать, – все казалось игрушечным. Не веря своим глазам, он смотрел – и жалко было деревню за то, что она стала такой маленькой, и от этого она делалась милее. Когда, повернувшись, посмотрел в сторону гор, увидел, как, извиваясь, тропа уходит к лесистым, пока невысоким, но почему-то казавшимся ему грозными горным склонам.

Ночью они со всем стадом остановились у самого конца этого хребта, где росли только огромные белоствольные буки, на старом стойбище пастушеской общины. Стойбище расположилось на довольно-таки просторной поляне среди буков. В том году они первыми отправились в горы, вся поляна была еще в нетронутом высоком разнотравье, неописуемые ароматы кружили голову. Скот сразу вошел в траву – и утонул. Особенно буйно разросся тут ацырпан-геркулес, белые шапки с колесо арбы не то что пахли – просто пьянили. Ничего подобного он за всю свою жизнь не видел ни до, ни после, и никогда не получал такого удовольствия. Вся поляна дышала теплом, почти жаром, и запахи, запахи...

Совсем я стал черствым, сердце постепенно превращается в сопревшую древесину, подумал Дадын о том, о чем уж давно забыл думать. И как он мог поступить так с Мсоустом... Он, конечно, видел, что тот еще живой. Надо было попробовать ему помочь, поставить на ноги, если это было возможно, потом выяснили бы отношения. Все этот гад, он побоялся, что «святой» выстрелит-таки в Мсоуста. А может быть, Мсоуст искал его, чтобы не враждовать, а дружить с ним, или совета попросить? Почему, вообще, он сломя голову должен был помчаться за ним, Дадыном, когда враги его сидят там, внизу? Не-ет, здесь что-то не то... – вдруг он был ввергнут в трезвые размышления, такого с его рыхлыми мозгами не было давно.

Опять он вспомнил, как в первый раз поднимался в горы... Пастухи решили, пока светло, отвязать от высокого ствола развесистой липы и спустить вниз бурдюк с особой сметаной – ачаюыр. Это обычай гор: когда последний спускается в долину поздней осенью, он оставляет высоко на дереве бурдюк ачаюыра – для первых, кто весной будет сюда подниматься. Конечно, разрешалось и срубить ствол, но при этом бурдюк мог лопнуть, а главное, это говорило о том, что среди поднявшихся не нашлось достаточно смелого, все оказались трусоватыми.

Среди пастухов, действительно, не было молодых. И он стал упрашивать дядю разрешить полезть за бурдюком ему. Дядя долго не соглашался, не мог решиться, другие молчали. Но наконец дядя согласился: видимо, вспомнил, как маленький Дадын будто кошка влезал на огромное тутовое дерево у лавки, когда отец в припадке ярости ни с того ни с чего набрасывался с побоями... И как ни странно, Дадын тогда все исполнил почти идеально, легко, с охотой, в ожидании похвал пастухов, что остались под липой внизу.

Похвала была скупой, но он запомнил ее на всю жизнь: «Из него человек выйдет», – сказал дядя. Все остальные подтвердили. И он стоял тогда, ошеломленный своим первым успехом, как бы в нереальном, но счастливом мире...

Если бы что-нибудь иное вспомнилось, уже не удержался бы, похвалился перед этим прорицателем... но тот первый успех, ту похвалу он только сам, для себя вспоминал в самые грустные минуты, вслух никогда никому не рассказывал.

«Из него человек выйдет...» – как сейчас услышал он голос дяди. С какой тихой радостью, любовью он это произносил... Где еще найти человека, который так может любить. В глазах он почувствовал непривычное жжение, подступили слезы. И почему-то вдруг стал он слышать голос Сарьи-ханумы, ее нарочитый акцент. Увидел ее – как она, наклоняясь, мыла ему плечи, а груди, отвисшие, жидкие, то и дело вываливались (кто только их не теребил!)... и были видны голубоватые сосуды и соски, по которым никогда не текло молоко. И непривычно ясно стали ему представляться все проделки, все предательство этого лжеюродивого, который шел рядом, бодро сокрушая снег. Он понял, что эта грязь, к которой он уже прикоснулся, – самая пакостная из всех, которые он месил.

«Из него человек выйдет...»

Никогда ни до, ни после не пробовал он что-нибудь вкуснее, чем этот ачаюыр, сметана из бурдюка, провисевшая всю зиму с ее снегами и морозами на недоступном для медведя стволе. Видимо, к действительно прекрасному вкусу ачаюыра примешивался вкус сказанных дядей слов...

Потом он постепенно обо всем позабыл, как будто у него не было детства, вообще не жил до вчерашнего, до сегодняшнего дня.

Невыносимо для слуха сокрушали снег лыжи идущего рядом прорицателя.

Оттого, что он нервничал, под лопаткой опять стало ныть, и почесать хотелось, но даже не постарался, ибо трудно было ему достать – одетым, с винтовкой за плечами. Как бы не заболеть, подумал он, еще этого не хватало. Надо у огня долго греть спину, а потом, тепло закутавшись, лечь.

«Из него человек выйдет...»

Все получилось смешно, хоть ему давно не до смеху было... Если внизу кто-нибудь кого-нибудь ограбит или нападет на почту, – все ему приписывала молва, и эта опасная и ложная слава все прижимала и прижимала его к горам, загоняла в ущелья, в каменные склепы. Он ни разу не пролил ничью кровь, а оказывалось – одно его дело налезало на другое.

Думал об этом – и опять его начинала распирать злость к лжепророку. Он то начинал понимать, что «святой» болванит его, сомневался, то опять вдруг верил, – словом, тот будто заколдовал его. До встречи с Ацахвой-«святым» таких терзаний не было, Дадын всегда был чуток, осторожен, способен вовремя убраться, а этот лишил его спасительного в его положении чувства опасности.

Нет, неспроста прорицатель связался с ним... надо кончать. Может быть, его разбухшее от славы имя в конце концов обретет истинное значение, если он избавит мир от еще одного гада. Кто его знает, скольких такой может еще погубить. И как он ненавидит Мсоуста! Единственный случай, где покрывало юродивого спадает с его лица, – это когда он вспоминает о Мсоусте. В глазах начинает полыхать ненависть и животный страх. Может быть, Мсоуст знает какой-нибудь секрет «святого»...

«Из него человек выйдет... – уже вслух тихонько пробормотал он. – Нет, не совсем так: если он жив будет, из него человек выйдет...»

Что это со мной, удивлялся он себе, – что-то ожидает меня. Но слезы, обильные неожиданные слезы – столь редкие для него, будто ливень после затянувшейся засухи, – он не хотел остановить, осушить. А тот уже шел не рядом, а за спиной. Неужели он устал, мелькнула мысль. Но нет – тот неумолимо сокрушал и сокрушал снег мощным шагом. Нет, нет, решено, подумал Дадын, он не увидит даже заката... немедля покончит с ним. Но пока немного хотел повременить, пусть вытекут эти слезы из его давно сухих глаз... обернувшись, не хотел этой вражине, этому чужому человеку на его земле, показать такую жемчужину, редкую для него, – слезы. Обернуться же он должен был потому, что он мужчина, абрек, не мог же он из-за спины стрелять в человека – как мог он себе позволить такое, покрыть свое имя позором. Он должен был стать перед ним, лицом к лицу, сказать, почему решил покончить с ним, в чем его обвиняет, а потом уже, не дав ему опомниться, быстро совершить...

Там, подумал он, на самом конце холма, пока не завернули к срубу... откуда будет видна и деревня, если совсем ее снегом не занесло.

Если и тогда еще будут литься эти слезы, он ему перед концом покажет их и скажет, что вот они и толкают смести его с лица земли, пускай как хочет поймет.

Тогда... На мгновение до его чуткого уха дошло, что тот перестал сокрушать снег. Первым побуждением было – резко обернуться, но не стал этого делать, чтобы «святой» не подумал, будто Дадын его побоялся. Все же молниеносно вся его плоть почувствовала, что он должен отпрянуть... но что-то его держало, словно заколдовало. «Неужели он посмеет, решится поднять на меня руку?!» Не успел это подумать, как под лопаткой, где все эти дни то болело, то зудело, то переставало, – что-то обожгло под лопаткой, словно, сделав надрез, аджикой помазали. Он как обычно мгновенно выхватил пистолет, но сообразив, что не успеет обернуться, встретиться с врагом лицом к лицу, поднял руку: умел не оборачиваясь точно попасть в цель... но в это время перчащая рана под лопаткой так обожгла болью, что мгновенно

достигла сердца – и сразу отняло дыхание. И сознание и свет – как стекло, разбились вдребезги. Зарывшись головой в снег, он издал последний стон, и были в нем смертельная боль и удивление нелепости своей гибели.

Как тогда во сне он хотел дотянуться до горящего места под лопаткой, но уже смерть сковала его. «Видно, никогда не дотянуться...» – ясно обозначилось в быстро угасающем сознании.

Ударивший ножом осторожно вытащил лезвие из раны. Это был довольно большой турецкий нож, с хищно выгнутым концом. Нагнулся и о снег хорошенько вытер лезвие от крови, потом взял комок снега и еще рукой почистил везде; выпрямился, из внутреннего кармана ватника, надетого под рясу, вытащил ножны и вложил нож туда.

Туман опустился ниже, и опять густо повалил снег. Снова нагнувшись, стараясь не запачкаться в крови, которую быстро заносило снегом, снял с покойника винтовку, патронташ. Потом посмотрел на руку с револьвером, которая так и осталась чуть приподнятой, но не стал трогать. Выпрямился, глубоко вздохнул, потянулся свободно... посмотрел на распростертое, быстро укрываемое снегом бездыханное тело – и лицо его исказилось такой жуткой ненавистью, о которой понятия не имели не только мирные охотники и пастухи, веками дружившие с этими горами, но и грабители, налетчики, нападавшие на мирных пастухов из-за перевалов, и даже бурлящие уже в глубинах революционные водовороты... ненавистью, о которой понятия не имели в первое десятилетие двадцатого столетия. Змеею искривились утончившиеся губы, и зычным криком на языке, которого никогда не слышали эти горы, полоснув воздух, как тем ножом, – он повернулся и энергично зашагал дальше вниз по склону. Он знал, что как голодного волка кормят ноги, так его толкнуло идти сюда, и он рискнул, отправился, чтобы именно так все это закончилось. Как ему хотелось сейчас оказаться там, где вчера оставили Мсоуста, и если даже тысячу раз он мертвый, вонзить в него свой турецкий нож и пролить черную кровь ненавистного мертвеца... но он уже не мог рисковать. Он чувствовал, что очень устал, отяжелел, и если бы не лыжи, он мог просто провалиться в снег. Знал, что в такую погоду, в таком гибельном месте, ему нелегко будет спуститься одному. Он бы, конечно, не трогал Дадына, пока не спустились бы к самому последнему, нижнему срубу, но он знал, что этот упрямый осел дальше не пойдет. Он заранее все обдумал, знал, что Дадын сильнее, мощнее него, что как свои пять пальцев знает эти гибельные горы, и это небо, которое на него самого так и не перестало глядеть неласково и подозрительно, что они были родные и близкие Дадыну, что тот и тешился дружбой и близостью с ними. А ему, Ацахве, подобно тому как свинье обязательно нужно поваляться в грязной луже, а не в чистой воде, – ему нужно было в месяц хоть недельку провести на побережье, поболтаться по духанам, трактирам, кофейням; а в конце, побывав на тайных свиданиях, сделав отчеты, выложив все свое предательство и ненависть, как змея при укусе – яд, уже облегченный, с хорошим настроением уходил он на новое задание.

Но быть крепким, сильным – не означает только силу, которая, как не спущенное озеро, стоит в тебе; быть крепким – это вовремя и к месту исподтишка бить без промаха, – ободрял он себя, неуверенно продвигаясь вперед; не важно – как ты достиг, важен результат... Вот и Дадын, сильный и мощный, а потерпел поражение, которое все кончает последним выдохом, когда из пробитой смертной дыры вытекает душа.

Больше всего он боялся сбиться с пути. Если собьешься тут с пути – все кончено, весь риск был напрасен, живым он отсюда не выберется. Правда, самые гибельные места они уже миновали, а дальше Дадын считал телячьими тропами. Это для него, для этого дурака и здоровяка, а для великого прорицателя все пути тут, даже телячьи тропы, были опасны, снег все перекрыл. Он внутренне дрожал, трясся, думая о том, что может заблудиться, но, несмотря на ужасную усталость, шел не сбавляя шага, осторожно, внимательно присматриваясь к каждой детали. Шел он как раненый кабан. Нередко, выпрыгивая из сугроба и снова увязая, совсем недалеко от него оказывались согнанные таким страшным снегопадом косули; дрожа, тоскливо поглядывали на него, словно говоря: сделай с нами что хочешь, убей, – избавишь от мук. Он резко поворачивался, со злостью смотрел на них, измученных и кротких, – хотелось сорвать с плеча эту тяжелую «дуру» Дадына и несколько штук продырявить, чтоб их бессильные головы зарылись в снег, как голова того бахвала, который все сомневался, убить или не убить его. Глупая голова, чего же он ждал, неужели не видел, что все делалось для того, шло к тому, чтобы убрать его самого... Но не до косуль было сейчас Ацахве.

Раза два он чуть не сбился, обходя недавно упавшие гигантские буки, но все же был достаточно внимателен, и к тому же хорошо помнил, как они шли, поднимаясь сюда. Его спасло и то, что до того самого момента, когда он свалил Дадына, снег не шел с самого утра, и потому еще не успел изменить знакомые ему очертания.

Долго шел он вниз, осторожно обходя упавшие деревья, опасные сугробы, которые могли оказаться полыми внутри, и наконец увидел по-особому сгрудившиеся буки; сразу догадался, что это там – спасение, сруб, к которому он шел. Он не в силах даже был что-то почувствовать, как-то выразить радость, но очень быстро уже был возле буков. Там сразу заметил на сугробе, закрывавшем сруб, еще не до конца занесенные снегом углубления: оттуда утром, похоже, выходил дым. Верно, Манча ночевал в срубе. Этот идиот Манча предпочитает низы, самое начало предгорьев, выше подниматься не рискует – и правильно поступает, подумал прорицатель. В эту минуту решил Манчу не трогать, хотя избегал его в последнее время. Видно, ему придется смыться надолго... ну а вдруг еще доведется появиться здесь... Вообще – пусть в каждой местности будет свой человек, свой идиот. Это не помешает. Он думал когда-то сделать таким Умара, но потом понял, что тот ненадежен, самодур, и что угодно может ляпнуть где угодно, и выкинуть такое, что все испортит вообще. Таким как Умару достаточно

держать в страхе одну свою усадьбу с ее обитателями, а дальше он ни в чем не пригоден, и целей у него нет никаких, и ничего ему больше не нужно...

И когда, добравшись до сруба, он понял, что спасен, что, выспавшись ночью здесь, он с утра осторожно, не спеша дойдет до этого проклятого села, он заревел зверем и злобно огляделся; ему казалось, что все здесь против него, даже и сама природа... а он им всем назло останется невредим, целехонек! Он сорвал с плеча винтовку Дадына и прицелился в косули – старую и молодую, которые жались под занесенными снегом соснами... Выстрелил два раза подряд. Старая сразу обмякла и будто тряпичная легла на снег, а молодая сделала отчаянный рывок, но напрасный – застряла в сугробе. Он нажимал на курок, пока не размозжил ей голову... потом глубоко вздохнул и, чувствуя облегчение, шагнул к срубу. Дверь открыл без особого труда. Винтовку поставил к стене у изголовья, и пока совсем с ног не свалила усталость, решил разжечь огонь. В золе оказалось достаточно почти свежих тлеющих угольев. И дрова были припасены.

Идиот несчастный, нищий абрек, Манча этот почему-то вдруг сделался даже симпатичен ему: кое-чему научу, обозлю, пусть своим кипятком обливает тех, у кого кожа тонкая, это так приятно... решил он.

Огонь он развел быстро; когда немного подсушился, обогрелся, достал еду, которую они захватили с Дадыном, потом улегся на нары и сразу заснул.

Не знал, сколько времени прошло, но проснулся сразу, легко, и чувствовал себя выспавшимся. Ему и холодно не было, и усталость почти ушла, по крайней мере, была приглушена. Но чувствовал он себя странно. Давно не помнил себя таким. Ему показалось, будто слабое дыхание каких-то остатков человеческих чувств, давно погребенных под мусором жизни, стало вдруг просачиваться. Нет, они, эти остатки, давно уже были нежизнеспособны, были повержены навек, но даже и это слабенькое дыхание было неприятно ему. Когда он находился среди подобных себе, он как-то отвлекался, потом же почти все время был занят, следил за кем-то, ходил за кем-то по пятам, думал, как изощреннее его спровоцировать и продать. Еще однажды с ним было такое... В каком-то расслабленном состоянии, один, он слонялся по сухумской набережной, и что-то непривычно защемило сердце, стал вспоминать, как он навел полицию на след совсем молодого, голубоглазого, со светлыми, красиво зачесанными волосами парня, и как через некоторое время, забежав еще по одному делу в участок, он увидел обезображенное, окровавленное его лицо... Парень лежал без сознания на грязном полу. Даже он удивился, как быстро и жестоко с ним разделались. Молодой полицейский, сверстник парня, рад был стараться – вот и перестарался... Когда, выйдя из участка, почувствовал, что ему стало немного жаль парня, он тут же отправился на дело: чтобы сбить такую слабость, которой он в себе прежде не замечал, необходимо было совершить что-нибудь еще более жестокое.

Что-то он был сейчас особенно чуток... До его слуха доходило, как бесновалась метель. Вспомнил, сколько снега он тут истоптал, даже передернулся, мурашки побежали по спине. Подумал, насколько же снег

ненавистен ему. Когда он захотел понять, это сейчас так – или было всегда, сразу сообразил, что не любил снег с того момента, как стал себя сознавать. И тут он с тоской подумал о своем доме на одном из восточных солнечных холмов Сухума, о теплой комнате, откуда в солнечную погоду можно прямо смотреть на золотящееся море, о большом саде, о садовнике и слуге, таком же как и он сам – без друзей, без связей, особенно родственных...

Сейчас он с удовольствием понимал, что его работа, какое бы презрение ни вызывала она у дармоедов, всяких слабых душой людишек, работа его вполне достойна преданности и добросовестности, даже ярости, с которой он ее совершает, – за этот крепкий каменный дом, за солнце, которое заливает его балконы, куда он может через слугу пригласить пышную, с мягким подбородком женщину, вдову, – вознаграждение за те трудности, мучения, тревоги, страх, которых он наглотается за время таких вот вылазок.

Подумав так, он с легкостью угомонил то никчемное дуновение чуть живого чувства, которое иногда начинало шевелиться под завалом грязи, жестокости и предательства, совершаемых им каждый день.

И тогда он смог спокойно подумать о прожитом, за которое он уже получил надлежащую оплату, о том, что безвозвратно кануло, не оставив в душе даже искорки сожаления.

САМАКУА – ГОЛОС МИНУВШЕГО

Он плохо помнил лицо матери. И очень давно не думал и не вспоминал о ней, не помнил и того, что было после того, как ее не стало. Помнил, как у нее нос был большой, очень выделялся на лице и вечно шелушился, с полопавшейся на солнце кожей. Помнил еще тяжелые веки, – казалось, ее все время клонило ко сну. Глаза вроде как болотная, стоялая вода, и когда глядели на него, ни разу он не заметил в них никакого свечения. А облик отца вообще не задержался в памяти... помнил, что голос его был более жидкий, чем у матери, и он иногда взвизгивал, как охотничья собака, которую держат на привязи. Не любил голос отца... Вот что еще он хорошо помнит: как от отца и матери шел сильный запах пота, будто от запаренной лошади. Откуда они шли-пришли – он не помнил, сохранилось только – как они обоснуются на год в одном месте, посеют, сожнут, а потом, к концу осени, все бросив, идут дальше к западу. Он совершенно не помнил, как они пахали-сеяли, а помнил только, как все время мотыжили. Оба, отец и мать, от зари до зари, согнувшись, били по земле своими широкими мотыгами с короткими рукоятками, словно бы змею били по голове.

Ничего больше особенного он и не помнит, потому что и в детстве все время был занят мечтой: оставить родителей и убежать куда-нибудь. Да, еще он помнит, как отец панически боялся воды: зайдет по колено – дальше не мог. На тех дорогах, которыми шли они сюда, видимо, через реки были переброшены мосты или перевоз какой-то налажен был. По мере продвижения их на запад реки мелели, и люди обычно переходили вброд. В тот злополучный год, очередной осенью продвигаясь на запад, они вдруг

наткнулись на довольно крупную реку, и там не оказалось ни моста, ни парома. В том году конец осени выдался дождливым. Но как только распогодилось, они, как было у них заведено, собрали свои скудные пожитки и двинулись дальше к западу... Мать тогда сначала перевела через реку его. Потом перенесла их жалкие пожитки, он помнит – торчали снятые с рукоятей, изношенные землею мотыги... Вернувшись еще раз, она взяла отца за руку и потащила к воде. Отец упирался, она подталкивала. Мальчик, ожидая на западном берегу, видел, как течение помутнело, но он об этом не задумывался, все мечтал, как незаметно улизнуть и уйти от них. Родители уже добрались до середины реки, но вдруг вода нахлынула, поднялась, стало сразу намного выше пояса. Да, он заметил тогда: поток сделался совсем мутным, – видимо, в верховьях где-то пролился дождь. Отец, и обычно-то говоривший всегда невнятно, как бы скуля, на этот раз вскричал высоко – и сразу сбило его с ног. Мать все же устояла – и она кричала, не отпуская отца...

Иногда, очень редко, вспоминая тот день, он думал: надо было ей отпустить отца, его все равно унесло бы. Некоторые то, что думают, даже от самих себя скрывают, а он был с собой откровенен – вот и вся разница его с другими, так он считал. Отпустила бы она отца тогда, его бы унесло, а сама осталась бы в живых. А что, разве она сделала лучше? Обоих утащил поток – оба и утонули. А так при жизни он ни разу не слышал, чтобы они хоть нормально друг с другом поговорили, хоть улыбнулись друг другу разок.

Все, все это отодвинулось, ушло, сгинуло.

...Потом, верно, услышав крики матери, собрались люди. Но уже было поздно, и даже тел не нашли – море было совсем близко.

К нему подошел высокий, крепкого сложения человек и на непонятном ему языке что-то сказал – сначала ему, потом остальным. Просил, как оказалось, чтобы позволили ему этого мальчика взять на воспитание...

Тогда ему было семь лет. А муж и жена, которые взяли его к себе в дом, растили его еще семь лет. Этих, вторых родителей, он запомнил лучше. Та, которую он потом, через некоторое время, стал называть матерью, очень красивая и добрая оказалась. У нее не было детей, потому она с радостью усыновила сироту. Когда он смотрел близко, всегда видел, как ее глаза лучатся, обещая ему исполнить все, чего он ни захочет. Он сам как всегда был безразличен к окружающим, она же кружилась возле него, старалась приласкать, – и все это отражалось в ее глазах. Хорошо помнит нежный пушок у нее над уголками рта. Еще помнит (не забывает, ибо и сейчас обожает это кушанье), как она очень ловко снимала с поверхности молока сочные обильные сливки – и переносила в его сам собой раскрывающийся рот. Иногда ночью, просыпаясь, он видел, как она сидит над ним и с любовью смотрит на него... Другой, кого он называл в те семь лет отцом, был видный, осанистый, любящий покрасоваться мужчина. Вел хозяйство, работал он так же странно, необычно, на глаз мальчика, как и выглядел. Не бил, как его настоящие родители, от зари до зари мотыгой по земле, словно добивая змею. Вставал не затемно – а уже при свете, и работал до того часу,

как говорили здесь, когда солнце поднимается на высоту дерева. Мотыгой же орудовал легко, водил ею по земле любовно, словно причесывая. Никогда не гнул над землей спину, как его настоящие отец и мать. Мотыжил – стоя ровно, никогда не роняя перед землей достоинства. А приемная мать, трудясь каждый день в своем большом огороде, работала в основном руками, без цапки: не только выдирала сорняки, но землю местами пропалывала одними лишь пальцами. И еще: тот, которого он величал семь лет отцом, в неделю раза два наряжался в черкеску и на своем быстром красивом коне куда-то на весь день уезжал.

Жили они скромно. Один добротный дом с перегородкой. Та часть, что с деревянным полом, – для гостей, другая, с земляным, с очагом, – для них самих. Но еды было всегда вдоволь, и для гостей угощение всегда имелось отдельно. За ним, усыновленным сиротой, они смотрели как нельзя лучше, души в нем не чаяли. Даже купили для него молодую лошадку, красивую, в яблоках... да он ни тогда, ни сейчас лошадей видеть не может. Чем больше они заботились о нем, тем чаще его старая мечта – уйти, улизнуть куда-нибудь, – неотвязно кружилась в голове.

Когда вся семья собиралась у очага, тот, которого он семь лет величал отцом, любил рассказывать сказку о каких-то ацанах, карликовом народце... и при этом все посматривал на него, приемного сына. Когда ацаны не стали признавать Бога, он подкинул им найденыша-малыша. Ацаны были и горды, и мужественны, но и не менее добры: они взяли малыша и вскормили, воспитали его. Когда он вырос и сделался общим любимцем, от которого, конечно, не имели секретов, он спросил предводителя ацанов, который никогда не вел счета своим годам... он сказал, что ацаны – самые мужественные, самые храбрые существа на земле, и, похоже, нет силы, которая смогла бы их победить... сказал, что он этим горд и счастлив. «Есть, к несчастью, такая сила, – ответил старец. – Если с неба пойдет снег из ваты, покроет землю, а потом на него упадет с неба горящая головешка, – все, все сгорит, и ацаны тоже... Но это великая тайна ацанов, об этом никто из посторонних не должен знать»... Когда же через небольшое время старец поднял голову, он увидел – о ужас – как колышется борода козла, под которой он скрывался от дождя. Никогда страна ацанов не знала ветра.

«Пришел наш конец, – сказал старец, – найдите нашего воспитанника». Кинулись искать, а его уж и след простыл... Три дня и три ночи шел ватный снег, а на четвертые сутки с неба упала горящая головешка – и все сгорело дотла. Потому-то в горах, на самых высоких местах, до сих пор не растут деревья...

Та, которую он семь лет называл матерью, всегда обижалась на этот рассказ, а тот, кого он семь лет величал отцом, лишь посмеивался в усы... сам же мальчик оставался абсолютно равнодушен.

Каждый из них, из новых его родителей, переживал свое горе. У матери – вся родня была изгнана за море, и нередко беспросветная тоска настигала ее. Отца мучили непереносимые приступы головной боли. Мальчик страшно ненавидел, когда такое случалось, потому что тогда дом и днем и ночью был

полон людей. Собиралась всякая шваль (так считал он), толпились, словно они посмотрят на хозяина – и он выздоровеет. Главное же – ему в этот день не успевали затыкать рот сливками. И вот как-то, во время одного из таких приступов у нового отца, мальчик, страшно обозленный происходящим в доме, услышал голос менялы, который иногда забредал сюда. С ним, с менялой, он и сбежал. Тот его привел прямо в Акуа-Сухум и там сдал одному духанщику, конечно, за определенное вознаграждение.

В течение следующих нескольких лет он поменял не один духан, и, можно сказать, по-своему преуспел за это время: изучил языки, научился угождать клиентам, смеяться им в лицо и при этом очень ловко переправлять в карманы мелочь, которую дарили ему. В последнем духане, где он работал, что-то стал замечать, как одни и те же лица появляются вечером, потом моментально куда-то исчезают. Сначала он посторожил дверь, проверил из любопытства: не выходили ли они сразу, как только заглянули. Но они появлялись – и потом до самого закрытия духана никто из них не выходил. Тогда он посторожил дверь, откуда спускались в подвал, и сразу же углядел, как они проваливаются туда один за другим. Он потерял покой, ему показалось – жизнь подбросила ему новый сюрприз, отныне он будет посвящен в некую тайну, кто-то станет зависеть от него, и что-то ему будет за это, какая-то выгода. Он сумел и подслушать, о чем они там, в подвальном помещении, толковали: они собирались выйти с людьми на улицу первого мая, с флагами, с лозунгами против царя и его сатрапов. До царя, конечно, далеко, царю до него дела нет, а вот сатрапы... он бы и сам не прочь... неплохо бы сблизиться с ними... пусть тогда эти, подвальные, протестуют и против него. На второй день в строгом секрете обо всех этих приготовлениях уже знали в местной охранке.

Он сам вышел тогда с этими, подвальными, на маевку, кричал, ругался больше всех, и тут же подмечал, кто больше откликается, кто и что говорит, и про кого. В день маевки многих взяли, арестовали, но оставшиеся из этой группы теперь доверяли ему и считали своим.

Таким образом он начал свою теперешнюю работу – самое лучшее, самое почтенное и любимое из всех перепробованных занятий...

«А что они, эти бунтовщики-социалисты... – думал он сейчас, – которые всполошили всех, которые бьют себя в грудь, кричат о том, что они, они одни поборники правды, справедливости?! Разве не они ограбили в Цабале дом Бобринских, не они ограбили храм в Драндах и заодно не пощадили сторожа?»

– Это все мы хотим для завтрашнего дня, не для себя, для всех, говорят... – пробормотал он брезгливо. Все это надувательство, первым долгом каждый старается за себя, на завтра указывают, ибо сегодня у них ничего нет, и знают, что не будет. Мне же нужно сегодня, и кое-что уже есть... Эти – или шляются в тепле по побережью, или, если посадят, дрыхнут себе спокойненько – в камере... а я вот сегодня ночью в диком, страшном ущелье замерзаю на голой доске, хожу между жизнью и смертью... Он взял в руки увесистый мешочек, в котором держал золото и который всегда был

прицеплен под рясой к ремню, подержал: – Мне не только это – хотя и этого не мало – полагается, намного больше...

Потом он лежал некоторое время ни о чем не думая. Опять хотел было вспомнить, с чего он так не любит снег, но никак не помнил. И все слышал, будто из преисподней, завывание метели. Может быть, это ему и казалось просто...

...С самой первой встречи с охранкой он считался там незаменимым агентом. А когда открылось, что он хорошо знает и по-абхазски, что несколько лет воспитывался в абхазской семье, он сделался совсем бесценным. Особенно после волнений 1905 года. Теперь он осведомлен почти по всей Абхазии обо всех, представляющих интерес для него: кто способен на протест, на самопожертвование, мужество, дерзость, кто или уже подключился к борьбе против властей, которая поднимается снова, или может, способен пойти на это... он знает, кто может ему помочь в его работе, собрать и сообщить новые сведения, кто в нужное время не подведет...

Потом ему поручили ликвидацию тех абреков, которых власти не могли прибрать к рукам, сделать своими помощниками. Тут многое было оставлено на его усмотрение. Немало у него было и прав и поручений.

Когда он по своим новым делом временно покидал теплое побережье, облачившись в старую рясу юродивого, впервые вспомнил тех, которые воспитывали его целых семь лет. О настоящих родителях он совсем ничего не помнит, и ни капли жалости или благодарности не осталось в нем. А вот приемных отца и мать он помнил. Искал, хотел найти зацепку какую-нибудь, в чем-нибудь их обвинить, но не мог. Наконец он все же кое-что нашел: стал вспоминать сказку о предателе-подкидыше, воспитаннике ацанов. Все же не верил мне, думал он злорадно... то, что всегда рассказывал, означало: сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит, – и правильно. В нем, в этом, которого величал семь лет отцом, находил еще и другие недостатки: простой бедный крестьянин – а позволял себе в неделю хоть один раз, надев черкеску, верхом уезжать на целый день... и от него не пахло потом, будто от запаренной клячи, как от его настоящих родителей. Позволял себе оставлять работу и всецело отдаваться гостям, пока они были у него... А та, которую он семь лет называл матерью, она хотя и забывала иногда, особенно если супруг заболевал «расколиголовой», как они эту головную боль называли, хоть и забывала на его широкий и длинный язык, который в таких случаях он старательно высовывал, шлепнуть большую ложку вкуснейших сливок, – он даже сейчас слюну проглотил, – ее не в чем было упрекнуть. Если только не поставить в вину, что она все ждала возвращения своих братьев и других родственников... С тех пор, как он вступил на свою лучшую службу, он хорошо знает, что они не имеют права возвращаться обратно, что нет у них здесь уже родины, – все их попытки приказано строго-настрого пресекать. Выходит все же – она тихо протестовала против государственных установок, значит, она желала того, чего не желало государство, власти...

Он не обладал проницательным, острым умом, но такие упражнения он должен был проводить, чтобы не расслабиться, не пожалеть кого-то, не

вспомнить что-нибудь хорошее о других, – дабы не сделалось ему помехой в его теперешней работе.

Потом-то он особенно желал, чтобы эти, воспитывавшие его семь лет, сгинули, позабылись в его сердце навсегда. (...Чтобы три дня и три ночи шел ватный снег, а на четвертый упала бы с неба горящая головешка...)

Но никак не мог припомнить, отчего же он так люто ненавидел снег...

...Он уже успел немало... многих отправил на тот свет, многих сгноил в тюрьмах и подвалах, многих просто занес в черные списки... До сих пор он убирал, проливал кровь подлежащих этому – чужими руками, но сегодня ему захотелось убить самому. Вовсе не потому, что он таил зло на Дадына больше, чем на других, – наоборот, он, пожалуй, опасался, что этого в общем-то добродушного великана, без вины виноватого, он вдруг пожалеет... Не пожалуй, а так и есть. Самое главное, что и Мсоуста уже не было в живых, так что и жизнь Дадына ему по сути не нужна была.

Единственное, о чем он жалеет: он не мог сломать этому великану горло, чтобы тот захлебнулся кровью... руки чесались, но сознавал – не осилил бы его. Дармовой силы в том было сколько угодно...

Обидно, что он не мог бы этого сделать и с Мсоустом, с этой гадиной... Он даже побоялся бы из-за угла в него выстрелить...

Он не мог вспоминать о Мсоусте, одно воспоминание о нем нагоняло на него такой страх, что если б мог, бежал бы и больше никогда не возвращался туда, где хотя бы его имя еще витает в воздухе.

И все равно, сейчас он жив, он победитель... завтра он доберется до этого местного священника, вот уж воистину грязный юродивый... Там же надо наладить связь с Манчей, дать ему несколько заданий – и сразу смываться, несмотря ни на что, ни на снег, ни на черта, ни на дьявола. Надо и бороду эту сбрить, надоело, уже нет опасности, что кто-нибудь его опознает... той, приемной матери, видимо, уже нет в живых, а то, что ее супруг отдал Богу душу, видно было и т о г д а.

Да, проснувшись сейчас в срубе, он чувствовал себя по-особому. Конечно, тут не угрызения совести, – этого, разумеется, не будет, он и не допустит, – но какие-то жалостливые нотки изнутри, верно, были отголоском давешнего... после того как он нынче несколько раз боялся заблудиться, на верную погибель, отчего-то вспоминался тот случай. Он тогда уже начал «работу» в абхазских деревнях... На побережье проводил раз в месяц неделю: в духане ожидали его друзья-приятели и любимая игра – нарды. В тот день он шел переулками, торопясь к игре. Не успел выйти к берегу, как навстречу ему в переулок свернула женщина, вся в черном. Шла, тяжело опустив голову, и сначала не заметила его. Несмотря на то, что и времени уже пролетело достаточно, на давнишнее отчуждение, он узнал ее по походке, вообще по всему облику – сразу. Это была она! Хотел было сразу забежать за дом, но что-то его сковало. И тут же, в мгновение ока понял, что проявил слабость, слюнтяйство, – и решил здесь же исправить... Повернул, поравнялся с ней и пошел рядом. Она вздрогнула, подняла голову и

посмотрела на него, словно он ее позвал, и некоторое время так и глядела, ошеломленная неожиданностью. (Ее саму и не узнать было: похудела, постарела, под глазами черные мешки...) Долго не могли пробиться внезапно, неожиданно возникшие радость, надежда сквозь густую пелену горя.

– Мой мальчик! Мальчик мой! – тихо вскрикнула она, словно боясь спугнуть призрак. – Мальчик мой, сколько времени я тебя ищу, сколько времени я страдаю! Я знала, с тобой что-то случилось, ты попал в какую-то беду, иначе нашел бы меня... Ты тоже искал меня... Я во сне все это увидела, будто ты мечешься по побережью, зовешь меня. Вот я со вчерашнего дня в пути, чтобы догнать тебя... Дорогой мой мальчик! – она подняла дрожащие руки, собираясь броситься ему на грудь, обнять его. Но у него в лице ничего не дрогнуло: он отвел ее руки, отодвинул ее в сторону, сказал несколько незначащих слов по-гречески, изобразив недоумение, – мол, обманулась женщина.

– Мальчик мой... – Она не поверила в то, что это не он. Но сразу же поверила в то, что он не хочет ее признать. И – вся обмякла и стала валиться... он подоспел, чтобы она не ударилась о мостовую, поддержал ее, посадил у стены и, резко повернувшись, пошел прочь.

– Ходят здесь всякие! – бросил он брезгливо и поглядел вокруг, желая, чтобы кто-нибудь услышал.

Все равно, придя в духан, он не мог ни в нарды играть, ни просто сидеть спокойно. Как раненный зверь выскочил оттуда – и прямо бросился в отделение, где и заложил важную птицу, социалиста, которого давно и безуспешно искали. Безуспешно – потому, что он сам лично его прикрывал, вошел в доверие к нему, считался уже его другом и сообщником... сохранял же он эту важную птицу на тот случай, если верх возьмут бунтовщики: хотел иметь среди них своего человека, и там постараться быть своим человеком. А уж его профессия нужна будет при любой власти... И после всю эту неделю он так «работал», что в конце концов ему выдали денежное вознаграждение как лучшему агенту охранки. (...Три дня и три ночи будет идти ватный снег, а на четвертый с неба упадет горящая головешка...)

СОВЕРШИТЬ ДОБРО

Мое дыхание – исцеление,
Все боли я прогоню твои,
За семь гор перекину,
По морю продую...
Заклинание ожога

Снег все не переставал. Иногда валил даже гуще, чем в первые дни. Нижние слои смерзались, уплотнялись, то, что насыпало сверху, в свою очередь быстро оседало. Трудности никуда не делись, даже множились, но первые страхи прошли, к снегу привыкли. Потянулись будни. Вроде того как,

скажем, весной пахать, сеять, летом – мотыжить, осенью – убирать не уставая, пока от морозного инея по кукурузным стеблям не примерзает рука...

То, что в Наришара во главе со старостой деревни созданы группы помощи, перехватили соседние деревни и понесли дальше. Постепенно и связи наладились, и, кроме каких-то мелких неполадок – так, где-то старый дом не выдержал, в другом месте – хлев, или из совсем худого дома семьи пришлось переводить к более зажиточным родственникам либо распределять между соседями, – ничего катастрофического, со смертным исходом за это время в округе не произошло.

Единственное – не знали судьбу пастухов, оставшихся на зимних стойбищах. Но добраться до них пока не было никакой возможности. Нужно было, чтобы снегопад прекратился хотя бы на два-три дня. Все же о пастухах не забывали, так или иначе должны были в ближайшее время связаться с ними.

Так, недосыпая, не отдыхая как следует днем и ночью люди, схватившись в рукопашную со своим обычно неразрывным другом – природой, в этой схватке набирали силу, начинали больше верить в себя, в свои возможности, в поддержку соседа.

– В последние дни мороз усилился, – продолжил разговор Гудзба, шагая рядом с Чантамыром. Валил снег, потихоньку завывала метель, слепила глаза. Обычно, когда начинался снегопад, мороз мягчал, а сейчас пока держалась стужа.

– Пусть морозит, – откликнулся Чантамыр. – Сколько еще потянет... Уже день прибавляется. И снег и мороз ни тебя не боятся, ни меня – боятся прибавления дня.

– В природе все мудро организовано, – голос у Гудзбы сделался мягче. – Сколько бы ни бесновалась зима, ее сменит весна... зная это – как-то не боишься, спокоен душой.

– Неужели до самой весны так и пойдет?!

– До весны не так уж много.

– В другое время она приходит незаметно, но в этом году зима заняла, считай, целый год, потому и отодвинула весну. Но и весна будет в этом году особенной, тоже запомнится. Самое главное – с таким нетерпением ее ждут...

– То, что человек делает для весны жизни – это ничем не заменишь... Вот в жизни – совершившаяся весна остается навсегда, как бы это ни звучало громко! – сказал Гудзба не без патетики.

– Если сумеет сделать...

– Сделает! Что такое возможно – люди увидят... и до этого, мне сдается, не так уж далеко.

– Дай бог, но не могу разделить твоего восторга, извини, – сказал Чантамыр с грустью. – Сам человек так все запутал, что распутать, сперва в хорошую, нормальную пряжу, а потом из нее соткать нормальный ковер, – возможно ли это? Дай бог, дай бог...

– Возможно, еще как возможно!

– Повторяю, я здесь не могу разделить твоего восторга. Это само собой должно сделаться, я так думаю... Кастрированный бык, конечно смирен, и быстро можно приучить его к работе, но никогда потом весной во дворе не попрыгает, не порезвится ни один теленок от него.

– Ну хорошо, об этом потом... скажем, весной, – засмеялся Гудзба, почему-то не желая продолжать разговор на острую тему.

– Весной – когда пашут-сеют или той, о которой ты говорил?

– И та, о которой я говорю, – не за горами.

– Все же, пока дров не наломали, я советую хорошо это взвесить... – Чантамыр отряхнул снег, облепивший лоб и брови... – Что за черт, среди бела дня мог бы перестать, дать нам вздохнуть!

Они шли некоторое время молча, метель завывала, а потом, утихая, легонько брызгала снегом на лица, руки: чфф-ффу, чфф-ффу... – «мое дыхание – исцеление, мое дыхание – исцеление, мое дыхание – облегчение...»

– Если сегодня наступит облегчение, хотя бы немного, – может, и выкарабкается... – наконец заговорил Гудзба, вернувшись к давешнему – болезни мальчика; когда думал о возможном исходе, у него все холодело внутри.

– Если станет лучше – да... но, извини за жестокость, что-то мало надежды он оставил... – ответил с грустью усталый и от этого желчный Чантамыр. – Они всем родом так и погасли. Ты, видимо, хорошо не помнишь, да и я не помню всего. Но братьев я помню, их не больше не меньше – семеро было, один лучше другого: казалось, что они и не спят, и не сидят, а куда-то устремлены, чего-то все время ждут и готовы стоять на своем... Слишком это выпирало...

– Слишком – не слишком, я не знаю, но они не могли промолчать, увидев несправедливость уж явную... – Гудзба сдвинул свой башлык ниже к переносице, метель слабела, но била прямо в глаза.

– Это еще надо уметь отличить справедливость от несправедливости, правду от кривды... Так же нельзя: может быть, это она, может быть, надо сюда бить...

– Нет, не от этого их так мало осталось: лучшие шли на войны – и гибли. А более слабые оставались без защитника... князья и дворяне сгоняли их на берег и продавали в рабство. Проданные здесь нашими князьями за бесценок, там – богатырей рожали... их род на своей родине хирел, мельчал, нищал духом, а там – живая, горячая кровь вливалась в другие, чужие роды. Кто только не пил кровь Кавказа!

– Всего это я сейчас не коснусь, но... – отозвался Чантамыр, – если есть бог, он должен оставить ему сына... Думаю, столько он успел уже пережить... если еще придут тяжкие испытания на долю такого человека, тогда небо несправедливо. Всех представителей его рода я не знаю, но каждый из этих последних семи братьев погиб в неравной схватке с теми, которые помогали сгонять народ со своих земель на чужбину... Его, Дамея, тоже угнали, но он там не остался, сквозь все кордоны пробрался обратно на родину. Годами

ему не давали нигде закрепиться, но наконец нашел такое место, которое никто никогда не выбирает для жительства. Как было тяжело, похоронив свою первую семью, жену и двух сыновей, прямо в море, опять обзавестись семьей, но нельзя же на этом свете бесследно исчезнуть... Вот этот мальчик, сын уже немолодого человека, – единственная оставшаяся надежда и цель...

– Боже, Господи, помоги! – сказал в сердцах Гудзба. – Если есть еще, существует милосердие!..

– Что это ты сегодня нарушаешь всякие ваши правила, – ухмыльнулся Чантамыр. — Вы же, социалисты, Бога начисто отвергаете, а тут что с тобой?

– Это тоже привычка... Хоть и смутьяны, как нас называют, а все ж обыкновенные люди... Вот все свои привычки сразу отбросить не в силах.

– А я – верую. Может быть, там не сидит кто-то, который наблюдает за нами, видит всех нас... – он перекрестился. – Прости, Господи, мои глупости... Но есть сила, которую мы можем почувствовать, – и это помогает. Эта сила, которой и жив человек: каждый день почему-то встает и начинает жить...

– А где же, кстати, этот посланник Божий, наш преподобный, ты не видел его?

– Нет, не видел.

– А он же именно в такое время больше всего нужен, поддержать народ Божьим духом, да сказать им, как на все это смотрит сам Бог...

– Как только он появился здесь, я и в церковь-то перестал ходить. А то службу не пропускал... Он не Божьим делом занят...

– Я это больше знаю, чем ты.

– Хочу видеть, с какими глазами он потом покажется людям.

– Его ничем не смутишь.

Метель завывала: чффу-чффу – «мое дыхание облегчает, мое дыхание исцеляет...»

ПХЯНЕЙ

– По дороге к Пхянею заглянем, – бросил Чантамыр. – Хоть к воротам подойдем... хотя и ворот-то, пожалуй, там не осталось.

– Ненадолго.

– Боишься, насильно домой затащит, – засмеялся Чантамыр. – Мне хочется услышать, что он нам теперь скажет...

Метель успокаивалась – все давно было занесено снегом, только по дымку можно было узнать, что подошли к жилищу. Приблизившись, увидели коридор дорожки, проложенной к веранде. А дальше, в конце снежного коридора, торчала голова Пхянея.

– Добрый день, Пхяней, да будет благосклонна эта погода, этот снег к тебе! – крикнул хозяину Чантамыр. – Как ты, как все вы здесь?

– Пришли нарочно к тому времени, когда, если я погребен, так уже довольно глубоко сижу, да? – откликнулся тот, вынув трубку изо рта, и хитрые его глаза блеснули усмешкой.

– Мы же уверены, что тебя никто не в силах закопать, – в тон ему продолжал Гудзба.

– Это правда, – себя же подколол Пхяней. – Меня-то еще можно, но не мое слово. Никто еще не сумел перепрыгнуть его, как же закопаешь?!

– Хорошо, что и это знаешь... – Чантамыр уже торопился дальше. – Ну как ты, кроме шуток, обходишься?

– Обходиться – не знаю как обхожусь, но ум за разум заходит – это знаю, – хихикнул он почему-то в сторону. – Если кто хочет зайти ко мне домой, не гоню, но если кто не хочет, тоже крючком не цепляю. Если желаете – заходите, нет – двигайте дальше.

– Так нам и надо, – покачал головой Чантамыр, но без обиды.

– Есть люди, которые раньше вас справились, как мы здесь поживаем, не занес ли будто кротов каких снег, так что первенства не вздумайте себе приписать! – Пхяней поднял кверху свой тупой указательный палец.

– Да, ребятам было поручено.

– Не потому, что было поручено, а по совести – могло же быть так?

– Могло, могло.

– То все ко мне за советами ходили, но с тех пор, как барский сын Мзалей здесь побывал, потолковал со мной, я понял, что ничего не знаю. Если бы у него было время, я готов был его слушать да слушать...

– Значит, он тебе понравился?

– Что – понравился, он не красная девица, а я не молодец – дело здесь не в этом... дело в том, что его надо побольше расспрашивать. Я же, вы знаете, в своем одиночестве кое о чем думаю, обдумаю по-своему житье-бытье, но после разговора с ним пришел к выводу, что не прочь бы проветрить себе мозги...

– Самое скверное, Пхяней, что ты в одиночестве, – сказал Чантамыр. – Хотя бы подумал, сколько около тебя осталось пустых, заросших дворов, мертвых...

– Нет, Чантамыр, на наводнении дом не построишь, – он быстро-быстро несколько раз пыхнул трубкой.

– Надо и на наводнении попробовать построить, надо, а то, если сам ляжешь в воду, говоря, что все равно унесет, – тогда все, что мы делаем, ничего не стоит.

– Что теперь ворошить, когда все прошло... – будто кричать в пустой кувшин. Всему свое время. Когда для меня могло быть такое время, ты знаешь, что здесь творилось... – Пхяней резко отвернул голову, стал смотреть в сторону; это означало: не сыпь горячую золу на раны.

– А что ты скажешь об этом снеге, Пхяней? – спросил Гудзба перед уходом.

– Что снег – снег как снег... – ответил Пхяней, несколько раз затянувшись. – Природа знает свое дело. Может быть, подряд несколько лет испытывала жажду, не хватало влаги... накопилось – и вот взялась разом все это решить. Видно, она тоже что-то пропустила, потому-то сейчас и ей и нам трудно, зато потом будет хорошо. Если то, что природа делает для себя, полезно, то

полезно и всем, и нам в том числе. Конечно, осторожность не мешает... если не знаешь, где бурелом на пути, где брод в разбушевавшейся реке, – тогда пеняй на себя. Природа говорит: учись. Она сама чаще подталкивает, тормошит: нельзя сидеть, надо что-то предпринять, не то – опасность. Это природа может сказать не только косуле или, допустим, отдельно взятому человеку, но и целому народу. Когда у нас не оказывалось достойного предводителя, головы, и когда это уже предвещало опасность, нас ведь что-то подталкивало, всех сразу, поднимало и направляло или в Мыку, или в Тхубун или в Лыхны, или в Цандрипш. Почему? Потому что уже другого выхода не было, это подсказывала сама наша природа, подсказывала, чтобы на местах лицом к лицу люди встретились, поговорили – не откладывая. А насчет того, что потом случилось, – на это уже ни моего умишка, ни моего сердца – не хватает... – он нервно пыхнул трубкой.

– Всего тебе хорошего! – грустно сказал ему Чантамыр.

– Всего хорошего! – попрощался Гудзба.

– До свидания... – безрадостно отозвался хозяин.

Когда отошли на несколько шагов, Гудзба обернулся:

– Пхяней, не слышал, какое состояние у сына Дамея?

– Сегодня еще ничего не знаю, вчера говорили, что глаза открывал... Все от того, что Дамей живет не на том месте! Солнце светит – там нет солнца, ветер дует – там все застыло... Всем рыбам рыба, форель, – недаром выбрала не болото, не мутную воду, а самую чистую, горную, родниковую!

ПЕВЦЫ

– Куда там более или менее подходящее место – даже и здесь ему не давали обосноваться, – вздохнул Чантамыр. – Но что кому скажешь.

– Лишь бы мальчик выжил, а затем я займусь этим делом, – откликнулся Гудзба. – А почему Дамей не может вернуться на свою же землю?

– Там уже живут.

– Кто?

– Ты тоже словно с неба свалился! Переселенцы какие-то... те, которые выгодны тому, кто нас под сапогом держит.

Гудзба промолчал и некоторое время шел опустив голову.

– Если он открывал глаза... – заговорил через некоторое время Гудзба без надежды в голосе. – Хочу побыстрее пойти – и боюсь...

– Не бойся, – отозвался Чантамыр. – Мне сдается, он выживет. Когда у меня с самого начала безнадежно падает сердце, я уже заметил, значит, человек обречен. А вот насчет мальчика у меня надежда была и остается. Тсс, ты разве ничего не слышишь?

– Да, что-то слышу, но не пойму что... – Гудзба весь был занят мыслями о здоровье сына Дамея.

– Поют! – воскликнул Чантамыр. – Дай бог им всего, что они захотят! Это семья Уаркуа-ипа Уасила, ты же знаешь кузнеца Уасила? – Чантамыр пошел быстрее.

– Как не знать, – засмеялся Гудзба. – Их, говорят, там полный дом. Когда они голодны, собираются и начинают петь и танцевать.

– Люди так путают хорошее и плохое, что, бывает, страшно становится. Иногда вот все нападают на одного, как птички на сову, начинают клевать, топтать, хотят расправы. Тогда не хочется не только служить им, даже находиться среди них.

– Это все не просто, иногда они не так и виноваты – обстоятельства толкают. А ты мне другое скажи: почему, если он хороший кузнец, – такой бедный, что не может прокормить семью, в чем здесь дело?

– Говорят, тот, кто плетет корзины, себе корзину не может сплести, – засмеялся Чантамыр. – Ты бы видел, какие у него топоры, мотыги, цалды – обхохочешься... старые, изъеденные временем. Он не просто кузнец, – можно сказать, золотых дел мастер... такие у него руки, что второго не сыщешь... но половину отдает даром – говорит, им нечем платить, – а половину в долг, и в конце добавит: если сможешь вернуть – хорошо, не получится – тоже не беда, не убивайся...

Уже ближе слышалась песня, одолевала метель:

Поговаривают, ушли они все
мелкую хурму собирать,
Иауауада шоуа-уа*...
Позвал он двоих, а высыпал целый
выводок,
Иауауада шоу-уа...

Чантамыр и Гудзба переглянулись, на лицах появились довольные улыбки. Когда приблизились к длинному, видимо, имеющему несколько перегородок, в том числе и для кузни, деревянному дому, немного покосившемуся, но еще надежному, они остановились. Над крышей лежал пластом густой черный дым.

– Эй, кто-нибудь дома! Дома ли хозяин?! – крикнул Чантамыр. Когда он был в духе, голос у него становился хлестким, словно выстрел.

– Как же иначе, я – вот он самый! – Песня остановилась. Через некоторое время в лабиринте снежных растоптанных дорожек появился и сам кузнец. Был он коренаст, широкоплеч, немного сутул, черная небольшая борода и усы. Начинающаяся проседь лишь подчеркивала черноту его волос. Отсюда видно было, как к дверям дома высыпала целая дюжина детей, и больших и маленьких.

– Да умножится ваш род! – обрадовался Чантамыр.

– Милости просим в дом! – пригласил кузнец немного хриплым, но приятным басом, а белые зубы так и сверкали в улыбке.

– Мы очень спешим, Уасил, – сказал Чантамыр. – День короток, еще много дел. Хотели порасспросить, как вы здесь, холодно вам, нет, дом выдерживает?

– У меня руки целы, ноги целы, чего мне еще, уважаемые, – отозвался хозяин. – Сам справляюсь. – Он подошел совсем близко. Лицо и руки были в копоти, но зеленые глаза так и искрились, молодо, жизнерадостно. – В помощи еще столько людей нуждается. Мне досадно, что сам не могу принять участие...

– Если ты справляешься с такой оравой, считай, ты больше всех других помог нам, – ответил Гудзба, любовно глядя на него.

– Я не для красного словца... – Уасил все поблескивал своими великолепными зубами. – Вы ведь устали... Мясо уже почти сварилось. И вчера тоже здесь были ихацкы Мзалей с ребятами, но увидев, что мы и сами неплохо справляемся, сразу ушли, даже сказать ничего не дали. Оставили мне двух парней, они срубили граб, который недалеко здесь стоял. Теперь у меня дров на всю зиму. Наказали, чтобы я кузнечил, говорят, будет весна, каких еще не было. И я действительно с утра до вечера стою у наковальни, к весне понаготовлю на все село.

– Молодцы, хвалю, что сами догадались, – одобрил Чантамыр. – Я не льщу тебе, Уасил, но ты действительно достоин.

– Это еще не все, – смущенно добавил Уасил. – Вы знаете, близких соседей у меня не осталось... – В голосе его была грусть. – Когда я маленький был, все село можно было обежать, из двора во двор прыгая, а сейчас... Одним словом, сами знаете, как далеко живут соседи... особенно при такой погоде... и все принесли мне столько мяса. Они знают, у меня мало скота, некогда с ним возиться. Я не думал, что мой скромный труд так ценится. Тронут...

– Все ценят твою работу, Уасил, об этом всегда знай, – подтвердил Чантамыр. – Счастья вам всем, всей семьей!

Гудзба здесь уже не решился спросить о мальчике. «Лучше самим дойти, посмотреть, – подумал он суеверно, – может быть, действительно не стоит все время спрашивать».

– Теперь я хочу об одном тебя попросить, Уасил, – обратился к хозяину Чантамыр, собираясь уходить.

– О чем, уважаемый, я готов!

– Пойди к своим детям и начинайте петь. Пойте погромче и подольше – это теперь самое необходимое! Сейчас иди, до встречи!

Не успели они отойти на несколько шагов, уже хор отца и детей пел слаженно, громко, задорно:

А гость молодой хорохорится,
Иауауада шоу-ууа:
Из-за вас я приехал сюда?
Иауауада, шоу-ууа.
Из-за вас, собирателей неспелой хурмы?
Иауауада, шоу-ууа.
И в ответ они ему сказали,
Иауауада, шоуа-уа:

И бурка у тебя с ладонь,
Так и вертится на шее тонкой твоей,
Иауауада, шоу-ууа.
Весь папортник ты помял,
Иауауада, шоуа-уа,
Всю избил свою белую лошадку,
бедняжку,
Иауауада, шоуа-уа.
Чтоб еще за тебя выходить?
Иауауада, шоуа-уа...

Чантамыр и Гудзба шли, на время забыв о заботах села, о больных и немощных, и были благодарны тем, которые пели. Метель унялась. Туман стал подниматься, рассеиваться, обнажая преображенное, неузнаваемое пространство.

ТАКИЯЛА

Большой гостевой дом – акуаскиа, с высокой дымящейся трубой посередине крыши; длинный с разными перегородками дом под кухню – амацурта: Такияла жил не как простой крестьянин, – скорее, как среднего достатка, мелкопоместный дворянин. За домами еще было много построек: хлева, конюшня, высокий, искусно сооруженный амбар. И скота у него было немало – и буйволов, и быков, и коров, и лошадей. А мелкий рогатый скот его, неисчислимый, стерегли нанятые пастухи – ачныры. Они, как и все остальные пастухи села, оставались сейчас в отрезанных снегопадом ущельях. И земли у него было немало. В самые трудные годы изгнания, махаджирства, он за бесценок скупил лучшие земли, отчего им не очень была довольна местная знать. Но он так крепко держался за Анчаа, что те его пока ограждали от гнева других представителей «голубой крови».

Каждый год Такияла вывозил на побережье кукурузу и продавал купцам-перекупщикам. С прошлого года стал промышлять табаком.

Многие дворяне столько не имели, сколько он, но он лебезил перед ними, льстил, вообще старался не высовываться. Не проходило недели, чтобы Такияла не принимал бы очередного именитого гостя. Принимал по званию, положению, возможностям. Так просто у него ничего никогда не проходило.

Когда Чантамыр и Гудзба приблизились к дому Такиялы, услышали голоса множества людей.

– Даже в такое время Такияла находит избранных гостей, – сердился Чантамыр. – Вообще он только и делает, что ищет избранных.

Когда они подошли близко, увидели такой порядок, с каким еще нигде не встречались за это время: только что были очищены от снега все крыши, везде аккуратно проведены лабиринты дорожек, как в снежном городке, на террасе большого, длинного дома под амацурту в нескольких местах до самого навеса высились заготовленные поленницы отличных дров.

– Кого-то, верно, гоняет сейчас, – обозлился Чантамыр. – Сам никогда ни до чего не дотрагивается, всегда стоит, положив руку на рукоять кинжала. Не крестьянин, прямо король какой-то!

– Некрасиво об этом говорить, но в этом году я в Сухуме побывал у ребят, среди которых несколько наших выпускников. О всех только хорошее услышишь, а о двух его сыновьях такое же примерно говорят, что здесь об их отце, – ухмыльнулся Гудзба.

– Яблоко от яблони недалеко падает... народ всегда скажет – не прибавишь и не убавишь. – Чантамыр пока подбирался по снеговой дорожке ближе к усадьбе. – И мои же там, в Сухуме, что и как они там, бог его знает. Видимо, и деньжата у них кончились.

– Нечего бояться, там их просто так не оставят – на произвол судьбы. А кое-какие трудности и на пользу пойдут, – ответил Гудзба и позвал одного крестьянина, явно старавшегося обойти их и следующего к усадьбе Такиялы: – Если можно, подойди-ка поближе сюда. Что это у вас там за шум стоит, не женили ли кого? – с подковыркой спросил он; встречный этот человек и прежде не вызывал в нем особенных симпатий.

– А что, могли и женить!.. – ответил тот с вызовом, выдавая себя в том, что уже порядком захмелел.

Еще показались пять или шесть человек, тащили большие связки кукурузных стеблей; прошли гуськом, тоже стараясь держаться подальше от старосты села и учителя.

– Разве все эти связки поместятся на чердаках хлевов Такиялы? – прикидываясь простаком, спросил подвыпившего крестьянина Чантамыр.

– Да его чердаки таких тысячу выдержат! – гордо ответил тот. – Даже не дрогнут, все подпорки из красного дерева!

– Это все из группы Мзалея... но ведь они распределены по всей деревне, чтобы первым долгом помогли вдовам, а почему они здесь? – Чантамыр говорил, будто спрашивая себя, но видно было, что разгневан.

– Барский сын, ухацкы, сказал, чтобы мы здесь оставались только один день, но у Такиялы, как видите, такое хозяйство... какое там за день – за десять не управишься. Который уже день вкалываем, а пока и конца не видно...

– Иди, иди, не задерживайся! – махнул рукой Чантамыр. – Занимайся здесь делами Такиялы, пока твои дети голодные, холодные в твоем покосившемся домишке дрожат... лентяй ты и лежебока!

– Что это так со мной говоришь? Если ты староста – не значит, что имеешь право по-всякому с людьми разговаривать... – не очень умело защищался крестьянин от неожиданной резкости Чантамыра.

– То, что я староста, это не твоего ума дело, а вот если хоть немного осталось у тебя совести, – подумай, не мешает. Уже иди, Такияла накормит горячей мамалыгой, пока твои дети едят вареную кукурузу. Иди, иди, с глаз долой!

– Если мельницы льдом сковало... и в этом я виноват... – Крестьянин видел, что ему нечем крыть, и пристыженный, униженный пошел дальше.

– Ты уж совсем его... так нельзя... – Гудзбе хотелось немного смягчить Чантамыра.

– Нет, он не человек! Разве первый раз вижу я таких, с позволения сказать, людей. В чужом доме, на чужих – он работник хоть куда, а в своем доме – мертвец, нет его.

– На него давят силы и отношения, которые он не может перепрыгнуть... но всему этому придет конец, и этот человек станет настоящим, – заключил Гудзба.

– Не надо так шутить в серьезном деле! – все злился Чантамыр. – А если не шутишь – еще хуже. Для такого служить другому – праздник. Если ты погонишь его от Такиялы, придет и будет тебя обслуживать!

– Я же ему не позволю.

– Позволишь, еще как позволишь. Слаб человек, каждый не прочь, чтоб его обслуживали, обхаживали, льстили ему.

В это время, хоть уже давно прослышал об их приходе, Такияла соизволил наконец, касаясь острыми плечами бурки снежных стен лабиринта, направиться к ним.

– Заходите в нашу хижину, милости просим, – издалека бросил он пустые, ничего не значащие слова. – Я разве не знаю, как приглашать таких почтенных гостей, – но этот снег требует, чтобы все мы служили только ему. Вы посмотрите, каков барин!

– Одним словом, он принимает вид, будто моет твои волосы, а ухитряется всю грязь там оставлять, – бросил Чантамыр, но так, чтоб не слышал хозяин. – Мы, как ни говори, простые крестьяне, а ты же людей с выбором принимаешь, более родовитых, насколько я знаю, – добавил он громко.

– Ты неисправим, Чантамыр, даже этот снег тебя не смог изменить... – Он не подошел совсем близко, остановился в отдалении. Глаза его были неласковы, строги и холодны. Он был хорошо выбрит, ухоженные усы закручены, тепло и аккуратно одетый, словно собирался куда в гости.

– Меня изменит единственное, – сказал Чантамыр тоже неласково, даже резко, – то, что сейчас закрыто этим снегом.

– Правду скажешь – мертвеца воскресишь, – добавил Такияла с подковыркой.

– Вот я хочу кое-что тебе сказать, Такияла, – Чантамыр говорил откровенно резко. – Здесь мы все свои, зачем скрывать.

– Мне скрывать нечего.

– Почему же тогда, позволю себе спросить, ты оставляешь у себя людей, которым мы дали поручения: присмотреться к некоторым вдовьим хозяйствам, помочь там, – и заставляешь их работать на тебя?

– А почему ты должен подвергать меня допросам, я что, твой посыльный или кто? – Такияла метнул на старосту твердый и наглый взгляд.

– Я спрашиваю тебя потому, что, считаю, – имею право. Ты меня можешь не уважать, но мое место определил народ, и я кое за что отвечаю пока, особенно в такое трудное время, – еще резче проговорил Чантамыр. – Люди без горячей еды, без сна и отдыха ходят, стараются, чтобы беды не вышло,

чтобы не погребло снегом больных, бедных, вдов, – а ты чем в это время занимаешься?

– Я никого не заставляю на себя работать, по крайней мере даром, – Такияла вдруг сделался податливым, улыбчивым (на всякий случай хочет и этот метод испытать, разойтись со старостой по-хорошему – подумал Гудзба). – Я каждому из них что-то даю, что-то потом дам. Например, буквально через месяц они все без корма для скота останутся и прибегут опять ко мне...

– Разве в такое время торгуются. Сейчас речь о жизни и смерти, речь о том идет, кто может другому больше помочь, – подключился к разговору и Гудзба тоже. – Вот в такие времена и узнается человек.

– Знаем, знаем, – хитро улыбнулся Такияла. – Догадываемся, из какого родника ты это черпаешь и предлагаешь нам выпить.

– Нам сейчас не до разговора, – отрезал Чантамыр, глядя на туман, – опять стал опускаться ниже к земле. – Если узнаю завтра утром, что они еще тут...

– Что же тогда случится, что ты намерен сделать?! – спросил Такияла зло и надменно. – Хочешь сказать, сделаешь то, что и отец твой?.. Отец твой, скажем, когда в гостях его конь удрал, – ему пришлось седло на себе тащить.

– Чтоб тебя и твоего отца!.. – Чантамыр шагнул навстречу ему, с силой отрывая от снега примерзшие лыжи. – Если все обойдется, мы, я думаю, соберем сход: там будет публично выставлено – на ком позор, а на ком – почет. Хочу посмотреть, какими глазами ты и подобные тебе посмотрите в глаза людям. Пошли, пошли! – обернулся он к Гудзбе, на нем лица не было.

ХУЦ

Чтобы добраться туда, где живет Дамей, им надо было пройти все село. Во многие дворы совсем не заглядывали, но кое-какие все же не могли просто так миновать.

У Хуца тоже был такой же длинный дом, как у кузнеца, с многими перегородками. Существовала там и гостиная комната, и помещение под кухню.

– Кто? – раздался печальный голос Хуца. От его дома вел очень узкий и потому казавшийся очень глубоким проход сквозь снежные наносы.

– Как жив и здоров, Хуц?

– Так – живу и не живу.

– Надо держаться Хуц, держаться молодцом!..

– Держись не держись – что сделаешь... ничего...

– Ты же сам доказал обратное – держишься, видим, – засмеялся Гудзба. – Разве можно в такое время сдаваться, сидеть сложа руки.

– Все равно – то, что должно случиться, – случится помимо нас. Ты говоришь будто о героях. Я тебя поставлю первым среди них, если время

сегодня хоть ненамного, на один зевок, – но если сумеешь остановить. Не остановишь. Жизнь – река. Человек похож на того, которого унесло течением.

– Ты же рукой все-таки пошевелил сейчас, чтобы выйти из потока? А-а, хитрый Хуц? – Чантамыр засмеялся, немного успокоенный.

– Рукой я шевелил и тогда, когда лежал в люльке. Ты думаешь, это что-то значит... – усмехнулся Хуц из глубины сугроба.

– Вижу, вижу, большая твоя часть внизу находится, там больше, чем торчит над землей, – смеялся Чантамыр. – Ты хитрец, ты дьявол...

– Настоящего дьявола скоро встретите, там за поворотом... – рот с поредевшими зубами растянулся до ушей.

– Слушай, о ней-то мы и забыли, а может, этот акуацв уже свалился на нее! – сказал испуганно Гудзба.

– Бросьте, ничего с ней не станется. Нынче возле нее почти всю ночь завывали волки, верно, приходили ее проведать. В трудную минуту ее не оставят.

– Пошли, пошли, у него сыновья, столько молодцов, ему-то все нипочем, – заключил Гудзба и двинулся дальше.

– Своих ребят в эти дни я видел столько же, сколько ты их видел, – сказал Хуц, на этот раз серьезно. – Они с сыном ихацкы Алмы... Он их всех поднял на ноги, и с тех пор только поздняя ночь их приводит, смертельно усталыми... мы со старушкой то и делаем, что за ними ухаживаем. Не это удивительно – а молодой Анчаа... Другие Анчаа, наоборот, умеют заставить на себя работать, а этот... Если теперешний снег нас не погребет, эта река, которая нас несет, похоже, разлившись еще шире, может вынести нас к лучшим берегам.

Чантамыр приложил палец к губам: прикуси-ка язык.

А у Хуца рот до ушей: мол, нечем прикусить, зубы-то слабые или вовсе нет.

– Все равно, чему суждено, того не миновать!.. – опять рот до ушей, хитрая усмешка.

– Ты знаешь, – сказал задумчиво Чантамыр, когда отошли немного дальше, – этот Мзалей порядочный человек, образованный, воспитанный... Я очень надеюсь, сделается правой рукой для всей округи.

– Если свои же его не съедят, – добавил грустно Гудзба.

– Да, один Умар чего стоит. Но Мзалей может оказаться крепким орешком, этого тоже не надо забывать.

МЫРКЫЦ

Только острый конус крыши домика-акуацв торчал из снега. Каких она времен, эта хижина, с удивлением подумал Чантамыр, на чем она держится. И в то же время, хоть и посмеивался в душе над собой, где-то под ложечкой

похолодело: неужели недаром все, что говорят о ней. А может, действительно нечистый дух поселился в старухе?

– Как она вынесла, не удивляешься? – он повернулся к Гудзбе, стараясь найти и в его глазах смятение. – Дверь завалило, значит, она из окошка на белый свет выходит.

– Напрасно так думаешь, – широко улыбнулся Гудзба (в глазах ни тени смятения), словно нашел старого знакомого: – Прежде люди, думаешь, были глупее нас? Они были умнее, когда сталкивались с природой лицом к лицу, врукопашную. А с этим домом ничего не сделается, особенно при снеге, крыша, сам видишь, крутая, снег удержаться там не может, и вся постройка круглая, обтекаемая, как яйцо, ее так просто не раздавишь.

Вдруг верхнее окошко отворилось – показалось высохшее, действительно будто одичавшее лицо, все в глубоких морщинах, но лицо чистое, без лишних жировых наслоений, зеленые, с сумасшедшинкой, недоверчивые глаза.

Верно, все и началось с ее глаз: они и цветом и пронзительностью очень выделяются на ее лице – не то что смотрят на человека, сразу проницают, видят насквозь. Он знал, что поговаривали, будто со злости она вонзает свои кинжалы-глаза: уставится на человека – и ни следа, ни крови, а поражает навсегда... Он сам видел: ее взгляд сейчас тоже пронизывал его, но глаза неожиданно (неслыханно!) оказались такими добрыми, что от них везде, где взгляд проходил насквозь, становилось тепло, даже горячо.

Гудзба не хотел показать, но очень был удивлен; посмотрел на Чантамыра, тот тоже, конечно, был поражен... Гудзбе даже смешно сделалось – так побледнел староста села.

– Заходите, залезайте ко мне, чтоб все ваши напасти остались у меня!.. – позвала старуха, и голос был новый, без визгливости и, главное, враждебности. – Извините, что приглашаю через окошко, но когда другого хода нет...

– Мы очень спешим, Мыркыц, – сказал Чантамыр. – Завернули, чтобы посмотреть, не забыли, не обошли ли тебя ребята молодые...

– Сын ихацкы Алмы, – почти ликуя произнесла она, – который оттуда вернулся... – Когда проговорила «оттуда», немного вытаращила глаза – пришедшим показалось, что в этот миг они странным образом сделались бесцветными – у обоих невольно замерли сердца. Старуха сегодня была какой-то особенной, но не могла же она отбросить сразу все свои привычки... Хозяйка дома видела и поняла смущение гостей: тут же опять возвратила глазам прежние размеры – и снова они непривычно засияли. До того отвыкла она от нормального смеха, улыбки, что ее улыбка сейчас напоминала веселье сумасшедшего. – Вот барин, который вернулся, – на этот раз она пропустила «оттуда», – явился сюда с ребятами, они с крыши хлева счистили снег. Корм на неделю положили там наверху для моей коровы и телки, дров мне сюда понатаскали. Вот и живу теперь припеваючи. Ручная мельница там у меня внутри, если не захочу выйти, подышать снежным воздухом, поразмять ноги, – могу дома сидеть спокойненько.

– Дрова затаскивали через это окошко? – засмеялся Чантамыр.

– Конечно, через окошко, среди них такие были богатыри, что сюда не пролезли бы, но передавали снизу мне. А барин все же прошел внутрь... он говорил, что в старину основание дома могло быть и каменным, а из окошка стреляли – вот! Он просто забыл многое, сколько лет его не было.

– Не он забыл, а мы все забываем, – сказал Гудзба. – Он-то как раз знает.

– Никогда ничего я больше не хочу и не буду просить, так они обошлись со мной ласково, – Мыркыц всхлипнула. – Когда было, чтобы кто-нибудь меня вспомнил! Я ничего уже не боялась, если даже сверху каменный снег пойдет, со мной все уже случилось... Ненавидя и себя, и других, здесь, брошенная, без соседей, без людей, – каждую ночь, ложась, молилась, чтобы не встать живой...

– О чем ты, Мыркыц, и не стыдно тебе, мало ли у тебя умирало... – Гудзба растрогался от слов этой ни в чем не повинной, однако отвергнутой людьми женщины.

– А так я не могла на себя руки наложить... не смешно разве, даже я смерти этой треклятой боюсь... – одними губами, изрезанными глубокими морщинами, как ножевыми ранами, она изобразила улыбку. – В то утро, когда я проснулась и через окошко увидела, что происходит, я будто сразу и умерла. И не думала, не надеялась больше, что смогу когда-нибудь с кем-нибудь еще поговорить, хоть поругаться, – я, погибавшая всю жизнь от того, что возле меня никого не было... я, больная одиночеством...

Чантамыр и Гудзба слушали так, будто эту историю они слышали впервые, удивляясь себе и другим: как они обычно глухи к людскому горю, как люди заброшены, беззащитны... и как бывают жестоки люди друг к другу, беспощадны, как они готовы друг другу в душу наплевать, выцарапать глаза, вырвать сердце... И никто не знал, почему это так происходит, почему люди, сами пережив ужасы, слепли в таких случаях и становились неумолимо жестокими. Неизвестно, когда и кем было обронено, будто эта зеленоглазая, подвижная, с чуть сумасшедшими искринками в глазах, – не что иное как нечистый дух. С тех пор и пошло: когда она приближалась к чьему-нибудь дому, двери закрывали, все прятались, люди, увидя ее, далеко обходили, дети, убегая, дразнили ее... и вот постепенно для нее этот мир превратили в сущий ад. Довели ее до того, что забыла нормальную человеческую речь, даже хорошее воспринимала как плохое – и сама тоже старалась оскорбить, и побольнее. Она сделалась изобретателем неслыханных проклятий, она создала целый язык, состоящий только из ругани и проклятий. Этим языком она в основном разговаривала сама с собой.

Когда Гудзба сталкивался с людской болью, – он, давно лелеявший мечту увидеть человека счастливым, освобожденным от векового неравенства, чтобы не имели больше силы бедность и угнетение, чтобы счастье пришло к тем, которые о нем даже не смели и мечтать, – встречи эти очень смущали его, сомнения начинали обуревать Гудзбу. Мир, который он составлял, конструировал в душе, рушился от таких встреч с реальностью – реальность

в него не вмещалась. Тогда в его душу закрадывалось еще и другое сомнение: раз он не разбирается в определенных сложностях жизни, не может дать объяснение многим будничным явлениям, – имеет ли он право пропагандировать, нести людям идеалы, в которые он верит, и к тому же, он понимал, довольно схематичные.

– Извини, Мыркыц, мы сами не прочь передохнуть, но спешим к больному, – сказал Чантамыр. По голосу ясно было, что и он растроган. – Если ему лучше, на обратном пути обязательно заглянем к тебе. Я знаю, ты всегда держишь крепкое, подняли бы с удовольствием по чарочке.

– Кто мне поверит... а то бы я его на ноги поставила... – отозвалась тоскливо Мыркыц. – Как я люблю этого малыша... – Она всхлипнула. – Такой мальчик... никогда от него плохого слова не слышала – даже я. По разговорам... – вот удивительное свойство молвы: никто ко мне не заглянет, а все равно до меня доходит все, что происходит, – по разговорам... там похоже на воспаление легких. У меня есть козий жир, многолетняя водка, есть лекарственные сладости, – их я могу дать ему с кипятком – и ничего больше ему не нужно.

– Если так, – решительно заявил Чантамыр, – ты здесь собери все, подготовься, я скоро за тобой вернусь. И лыжи тебе раздобудем где-нибудь.

– У меня свои есть. И парни вторые оставили – чтоб все их напасти на мою голову сошли! – отвечала Мыркыц, глядя на преображенный белый мир и наслаждаясь новым для себя, забытым обыкновенным человеческим языком, на котором она говорила с удовольствием, хотя и чувствовалось, что немного отвыкла.

БОЛЬНОЙ

После домика Мыркыц они шли довольно долго молча. Погружен ли просто был каждый в свои думы или стыдно было за себя – неизвестно, но они не объяснялись. Оба чувствовали, что сами не лучше многих, если годами эту одинокую женщину не принимали, изгоняли из своей среды... растоптали человека, плевками покрыли ее лицо, ее зеленые глаза... оба думали о том, что люди их села, сыновья народа, который сам изведал сполна, испил до дна чашу страдания, унижения, уничтожения, – не смогли вытравить в себе эту страшную жестокость и невежество, вырвать корень жестокости из своей души раз и навсегда.

Больному было не лучше. Между домотканым желтоватым пододеяльником и лоскутком из той же ткани, которым был прикрыт лоб, виднелось желтое личико и припухшие глаза. Гудзбе показалось, что у мальчика и ноздри уже расплющились, и нос заострился.

– Нан, учитель твой пришел, Селык, открой, мой свет, глазки, – наклонилась над ним, приблизила к его лицу свое убитое горем лицо мать.

Веки были такими тяжелыми, что мальчик сразу не мог их разомкнуть. Наконец, когда открыл глаза, – они были красные от жара и бессонницы.

– Селык, как ты сегодня себя чувствуешь? – Гудзба притронулся к его лбу. Лоб был горячий и будто подрагивал. – Ничего не бойся, уже весной вернешься в школу. Ты же любил всегда сидеть у окна. Этого сорванца Чамара я уговорил, он согласен тебя к окну посадить... – Гудзба постарался улыбнуться, однако не мог скрыть, что, увидев состояние мальчика, совсем пал духом.

Мать, почувствовав и поняв, отвернулась и залилась слезами.

Чантамыр прошел к очагу и, разувшись, стал сушить у огня сырые портянки. Дамей подошел, разгреб перед ним уголья, чтоб было больше тепла.

– Прости, Дамей, но с самого утра мы в снегу, а простужаться мне просто нельзя, не до того сейчас.

Гудзба присел у постели больного. Он сейчас думал о всех детях этой земли, которым никогда не удавалось вдоволь посмеяться, наиграться свободно... Отцы уходили защищать эту землю – и не возвращались... еще не научившись играть, дети становились за плуг, еще ни разу не побрившись, уходили, как отцы, чтобы сложить голову в неравном бою. Дети этой земли... сколько их проглотило ненасытное море, сколько – пустыня на том берегу... Ныне, когда, несмотря на все сомнения, есть надежда, что выглянет солнце свободы и жизни, их наконец должно коснуться счастье... Должен же увидеть это, почувствовать, узнать счастье этот мальчонка, последняя надежда исчезающего рода... Наконец должна настать та пора, когда воспрянут юные души сынов этой израненной, изрезанной, измученной страны, которую веками давил сапог самых разношерстных хищников. И этот мальчонка должен наконец приоткрыть ворота и шмыгнуть в настоящую жизнь – как он открывал покосившиеся, скрипящие старые двери школы, чтобы выучиться, чтобы в глазах открылся новый свет, свет познания.

– Дамей, – заговорил вдруг Гудзба. – Это ничего не дает, если мы так и будем сидеть сложа руки. Я вижу, я верю, что это воспаление легких – и больше ничего.

– Если только воспаление, еще бы надеялись... – шепотом, с почти неживым лицом сказала мать.

– А воспаление – тоже не конфетка, надо постараться что-то сделать, а не сидеть так.

– Что же мы можем... знать бы – а так готовы на все... – Дамей даже поднялся, как бы надеясь на какое-то просветление. – Я не должен перед вами это говорить, мужчине подобает оставаться до конца сдержанным, но я еще хожу, существую в этом мире – ради него. А иначе – зачем мне этот мир, который так обходится со мной.

– Надо лечить. Ты что-нибудь умеешь, Чантамыр?

– Не умею.

– Ты, Дамей?

– Что я могу знать... Если рана – другое дело, но здесь я бессилен... – простонал Дамей, опять теряя всякую надежду.

– Ты, уважаемая?

– Чтобы меня первой зарыли в эту землю... если бы я что-нибудь знала...

– Я тоже не знаю – но есть человек, который, похоже, сможет помочь, – сказал задумчиво Гудзба.

– Чтоб все твои напасти на меня! – воскликнула мать, готовая ухватиться даже за соломинку надежды.

– Ты бы просто вернул нас опять к жизни!.. – взмолился Дамей – и почему-то пошел и сел в самом углу.

– Этот человек, единственный сейчас, который нам поможет, – это Мыркыц... я пойду и приведу ее. – Гудзба быстро посмотрел на мать, на отца мальчика. Оба отвели глаза.

– Нет и нет! – воскликнула тут же мать мальчика. – И так я подозреваю, что моего сыночка сгубила она, эта ведьма, а теперь совсем на руках преподнесу его ей, что ли?! Нет и нет! Извините, уважаемые, но мы будем ждать решения Божьего, целую его золотые ступни, а вы отправляйтесь по домам, уже скоро стемнеет... И так вы устали, целый день мотаясь...

– Никуда мы не пойдем, – перебил ее раздраженно Чантамыр. – Но знайте, и нас кое в чем послушать не мешает, даже следует.

– Если можно, позвольте с моим мальчиком мне самой решить... – она опять залилась горькими слезами.

– Отступать мы не можем, – сказал Гудзба твердо. – Просто некуда. Здесь и я имею свое слово, за этого мальчика и я несу некоторую ответственность перед государством и народом, так же как перед вами. Но главную ответственность я чувствую перед своей совестью. Я иду!

Хозяйка завыла в голос:

– Не позволю, не позволю, пока есть еще тут моя ничтожная душа... Я не могу никому позволить, чтобы сердце и печень мальчика на моих глазах пожирала эта ведьма, нечистая сила! Если уж на то пошло – Бог его создал, пусть Бог и забирает! – Она завыла еще громче.

Мальчик опять разомкнул тяжелые веки... открыл глаза и с испуганным удивлением прислушался к вою матери... слезы выступили на его глазах.

– Замолчи, замолчи! – раздался резкий окрик Дамея, как удар плети. – Напугаешь мальчика. – Потом повернулся к Гудзбе и добавил: – Вы оба и так намерзлись за целый день, я сам пойду и приведу ее.

После того, как Дамей ушел, мать опять запричитала, поглядывая на горящего в жару сыночка:

– Несчастные горемыки мы с тобой, не суждено нам достойно умереть. Если даже для нас был готов рай, уже для нас приготовлен только ад... – опять она залилась слезами. Но когда никто не вмешался, не стал отвечать ей, она умолкла, обхватила голову обеими руками и так застыла.

Жестокие страдания придавили его, а то каков Дамей, думал Чантамыр, вспоминая, как быстро собрался хозяин и как он искусно ходил на лыжах. О Дамее даже и сейчас еще говорили: он до того проворный, умелый, меткий, – пока вода в котле на огне стоит, взбежит на скалу, пристрелит косулю и как раз к тому времени, когда котел забурлит, уже и свежует добычу. И сейчас, в трудное время, он сохранил свое достоинство. Сколько таких (слава богу,

слава богу)... Чантамыр видел, как то и дело из-под век взблескивал твердый взгляд, независимый, чуть надменный, даже дерзкий, как у всех много переживших, перетертых жизнью... но в то же время он готов был поддержать любого достойного – в достойном, справедливом деле.

Супругу останавливал, подчинял не голос его, а взгляд.

Когда же сама Мыркыц появилась в ее доме, даже взгляд мужа не в силах был укротить хозяйку. Она сначала упорно не хотела встать и повернуться лицом к гостье, но наконец не выдержала, вскочила:

– Как ты могла явиться в мой дом, чтоб тебя Шавы – бог кузни сжег на своей жаровне, какие у тебя бесстыжие глаза! Не смотри на моего мальчика, не смотри! Несчастная, несчастная я! – она стала кулаком бить себя по голове.

– Все, какие имеешь обиды на меня, – потом выложишь, не первый раз мне слышать, – отвечала Мыркыц почти весело. – А теперь помоги мне. Согрей полный кумган воды, потом найди что-нибудь шерстяное, во что я заверну мальчика, после того как обмажу его тело. Вы, мужчины, огня сделайте побольше, но совсем много тоже не надо...

Чантамыр и Гудзба, глядя на то, как быстро, даже нервно орудует Мыркыц, как в ее глазах появилось еще больше сумасшедшего сверкания, как вытягивались сухие длинные пальцы, – нельзя сказать, чтоб точно были убеждены, что она ведьма, однако ж сильно сомневались в верности своего выбора, риска.

Что касается Чантамыра, то, как староста села, по долгу службы, он, конечно, на людях это порицал, но в глубине души вовсе не был окончательно уверен в отсутствии нечистой силы, да и ведьм тоже. Может, и не верил так уж прямо, но и другой веры, окончательно опровергающей присутствие ведьм, в нем не было. Не скрывал, что верит в счастливую ногу, в дурной глаз, в счастливую руку, да и от русалки не мог отказаться: уж больно естественно ее описывали; он считал – просто так из головы нельзя ведь столько выдумать. Однажды ночью, очень в настроении, переправляясь на коне вброд, – он ее увидел, эту русалку, абсолютно естественным образом. Когда добрался до глубокого места, она вдруг вынырнула из пены и обвила своими серебристыми, конечно, чешуйчатыми (это было неприятно) руками шею его лошади. («Пока...» – успел подумать он и заглянул ей в лицо. Он увидел ее улыбку – но эта очаровательная улыбка была страшнее оскала людоеда с его всегда очень острыми клыками). И когда она стала поднимать руки выше, уже к его собственной шее, – да благословит Бог: конь был пугливый и очень горячий, не успел услышать его свирепое ржание, как они уже были на макушке холма. Он помнит еще, как вскинул головой напуганный конь – ему пришлось как раз в подбородок, в глазах сверкнула настоящая молния... Потом он подумал и решил: это русалочка (верно, он приглянулся ей) за то, что пренебрег ею, или пьяный и никчемный был, догнала и дала ему затрещину.

При людях он, конечно, не мог сказать о том, что с ним приключилось, все же староста села, но на второй день утром жену стал донимать: не замечает ли чего, щека вся горит. У нее и так глаза были достаточно остры, но ничего не заметила. А ему казалось – там ревнивая русалочка отпечатала всю свою пятерню. В конце концов он так решил: разгневалась русалочка из-за того, что он спешил к жене, предпочел ей другую. А почему он не мог хорошо разжевывать и глотать целую неделю – и сам догадывался: когда испуганная лошадь резко подняла голову, ему и попало по челюсти...

Гудзба не знал, чем могло обернуться, куда повести то, что в нем лежало еще нетронутым, недодуманным, не обращенным в мысль, слово, страсть, – и старался как можно дольше не тревожить эти глубины в себе. По тому, что он вычитал из книг и понял с тех пор, как познакомился с социалистическими идеями, он все происходящее старался объяснить, заключить в рамки классов и классовой борьбы, даже считал, что вне борьбы классов ничего не существует. А сейчас он видел эту женщину, постаревшую до времени, не видевшую счастья, кожа да кости, которая, может, даже слишком старается, хлопочет над больным ребенком... видел умирающего мальчика, его родителей, их мужество и благородство, а с другой стороны – непроходимое невежество... и все путалось, путалось в его голове, в его понятиях о сущем. В подмогу он иногда старался использовать, вызвать к жизни то, что в нем лежало еще нетронутое, неозвученное и необдуманное, но не мог, не в силах был, и это его мучило.

После того как Мыркыц закончила все свои врачевания, прошло с полчаса, и мальчик сделался потным, просто плавал в поту. Ему хотелось скинуть одеяло, но старуха, обнимая его, не давала этого сделать. Мать Селыка сидела в углу и до крови грызла сжатый кулак.

Никто никуда не ушел, все остались коротать ночь у постели больного. К середине ночи пот стал высыхать, и мальчик заснул глубоким сном уставшего, измученного человека. Чантамыр и Гудзба дремали сидя. Вздремнула даже мать (сколько уже ночей не смыкала глаз!). Голова то и дело падала на грудь, из открытого рта слышался жиденький храп.

Не смыкали глаз двое: Мыркыц и Дамей. Рано-рано, когда только забрезжил рассвет, морозный, снежный, все – и кто сидя дремал, и кто притулившись к стене, и кто просто не спал – все как один подняли головы:

– Диа, – раздался слабый, но чистый голос Селыка. – Диа, есть хочу...

Я РАЗВЕ СТОРОЖ ЕМУ?

Я-то думал, услышу чей-то
желанный голос...
Разноголосица

Мзалей и Бадра решили снарядиться в путь: намеревались встретиться не только с Манчей, но и Мсоустом. Конечно, никто не знал об этом, кроме них

двоих. Если бы вдруг прослышали в господском доме Анчаа, последствия могли быть самые плачевные. Перед тем как пойти, Мзалей долго думал о предстоящей вылазке. Он совершенно не мог себе представить свою встречу с Мсоустом (если, конечно, он там, куда они собираются идти). Как бы ни старался не обращать внимания, не мог не слышать: уже все знали и говорили, что они с Мсоустом похожи, как два младенца, разделившие утробу. Более того, он сам замечает, и не только замечает, а знает: он стал походить на дерево, у которого два сросшиеся ствола. Он теперь далеко не прежний... Он убежден, что это дух, энергия Мсоуста сообщается ему, питает, подстегивает... может, это и не заметно со стороны, ибо откуда им знать, домашним, каким он был там столько лет, на севере, – но он же сам достаточно знает себя... Кроме отца и матери, другие, может, и так думают, что он никуда не уезжал – либо сам Мсоуст никуда не уходил. Мсоуста он заменить здесь, конечно, не в силах, но и такой явный его призрак, видимо, многих тут устраивает. А может быть, вообще их устраивает больше именно призрак...

Как они встретятся, как разойдутся? Непримиримыми врагами или душевно близкими людьми? Или, может, так случится, что он окончательно раздвоится – вынужден будет носить с собой второго себя же, с иной сутью и судьбой?

А то другое, что могло сделать их необычайно похожими, – многих приводило в замешательство, иных заставляло открыто злорадствовать, – этого другого он пока старался не касаться, но все равно где-то оно будто нарыв мучило его, желая обрести жизнь, лицо.

На всякий случай он взял револьвер и запас патронов.

Очень много сил ушло на то, чтобы выйти на перевал, к ущелью. Они поднимались крутым склоном, обходя многочисленные снежные завалы. Снегопад с утра прекратился и тумана не было. До половины сделались видны ближние лесистые горы. Очертания их, всегда словно ощетинившихся, будто разъяренный кабан, сейчас были округлы и мягки.

– И весна обещает большие затруднения, – сказал Бадра, когда они наконец поднялись на перевал, передохнули, посмотрели в ту сторону, куда лежал их путь. – Что будет, когда весь этот снег в горах начнет таять. все же пойдет сюда, в низину...

– Природа мудра, у нее есть свои средства, она распорядится, распределит... – Мзалей устало глянул на Бадру.

В глазах у того стояла какая-то боль, отчего-то не мог открыто посмотреть на Мзалея. Это с ним было уже и утром, когда пускались в путь, но Мзалей чувствовал, что пока в это вмешиваться, расспрашивать парня не надо.

Потом они оба опять посмотрели вперед: внизу, в этом бесконечном белом царстве, по лощине раскручивалась черная лента реки. Ориентируясь по реке их взгляды достали то место, где в отдалении от всех редких в этих местах дымов еле видимый вился еще один дымок.

– Вот там... – своей палкой указал Бадра.

– Надо поспешить, мы еще должны успеть вернуться... – Мзалей двинулся дальше.

По мере того как приближались они к тому месту, куда шли, Мзалей чувствовал: все быстрее стал уходить, удаляться этот дух, энергия, поддерживавшие его, сопровождавшие его все эти дни. И тут же обнаруживалось, насколько он устал, не приспособлен... глядя на отдаленный дымок впереди, он уже сомневался, что дойдет до цели.

– А вот за рекой, там ребята были? – спросил он Бадру, чтобы хоть отвлечься разговорами.

– Я не знаю, ухацкы, – откликнулся Бадра, больше чем обычно кося глазами. – Но, если даже до них не дошли, ничего особого не случится. Они здесь привыкли к зиме, и сами крепкие, охотники, много скота, и они умеют за ним ухаживать. Здесь все крепкие хозяйства.

– Лишь бы погибших не было...

– Хозяйств тут немного, но они в махаджиры не пошли. Как только становилось опасно, с семьями скрывались в глубине леса. Ни казаки, ни аскеры турецкие – никто не решился за ними в лес идти. Они там знают все, и узкие места, где один запросто уложит десять-пятнадцать... Завоеватели, говорят, свирепствовали на равнинах, на побережье... Вот там-то бедным изгнанникам некуда было податься...

Вспотевшие, измученные, они наконец вскарабкались на ту возвышенность, где жила молодая вдова. Мзалей достал револьвер, засунул за пояс. Бадра растерянно смотрел на него.

– На всякий случай, надо быть осторожным... – подмигнул ему Мзалей. – Это никогда не мешает.

Правда, та сила, энергия, прилив которых он чувствовал все последние дни, что-то оставили его, но Мзалей и без того хорошо стрелял. Там, где он был прежде, на чужбине, он тоже считался хорошим стрелком.

Его занимало другое: ему уже хотелось встретиться с Мсоустом, но чувствовал, что того здесь может не оказаться. Он с удивлением сознавал, что уже не мог совсем без мысли о Мсоусте.

Видно было, что здесь снега намного больше, чем в самой деревне. Оба вдовьи дома были немаленькие, но сейчас из наносов торчали только их макушки. Перелесок перед домами сильно пострадал: повалило несколько старых дубов, и их уже занесло. Подойдя близко к усадьбе, прислушались, но там словно все вымерло, было очень тихо.

– Мамалыгой свежей пахнет, – обрадовался Бадра, почему-то все больше кося глазами.

– Значит, твоя теща еще жива, – улыбнулся Мзалей. – Так же говорят, когда приходишь в дом во время обеда: твоя теща еще жива?

– И твоя! – тихо засмеялся Бадра.

– Пусть, дай бог здоровья!

– Манча... – заговорил, мучительно выдавливая из себя это имя, Бадра, – когда ест – он точно собака, злой-презлой. А когда отвалится, живот набьет, с

ним всегда можно потолковать. Похоже, мы пожаловали не в самое подходящее время...

Во дворе снег был сплошной, но везде будто следы узеньких снегоступов.

– Это не снегоступы, – заметил Бадра.

– Откуда ты знаешь?

– Как не знать, похоже на следы зверька...

– Бадра, ты, по-моему, большой хитрец, наверняка как лисица любил курочек, а? – ободряюще подмигнул ему Мзалей.

– Какое там... – Бадра зарделся.

В это время послышался тонкий визг, они притаились. Из-за высокого сугроба увидели, как тощая собака взлетела и шлепнулась у самого порога, словно кто-то сильно пнул ногой.

– Видишь, Манча злится... значит, сейчас как раз наедается... – Бадра почему-то внезапно помрачнел.

Собака поднялась, обиженно фыркнула, потом, увидев их, вдруг яростно залаяла, то ли вымещая на них злость, то ли от того, что наверняка давно не видела здесь чужаков. Внутри дома что-то грохнуло, некоторое время слышна была какая-то возня. Но никто не показался наружу.

– Хозяин! – подал голос Бадра.

– Все правильно, – подбодрил его Мзалей. – Зачем нам являться тайком.

– Вон отсюда!.. – приоткрыв дверь зло прошипела собаке вдова. На ней лица не было: видно, очень боялась. Но Мзалей знал: Манча по крайней мере властей не опасается и к тому же абсолютно уверен – в такое время их ничто сюда не занесет. Да и вообще, по всему, насколько он успел узнать о Манче, тот связан с властями. Значит, боится кого-то еще, и боится крепко.

– Мы пришли посмотреть, жива ты еще или нет, не занесло тебя снегом, – крикнул Бадра и прямо устремился к дому. – Такое поручение имеем от сельской общины. Мы, конечно, с опозданием, но не наша вина. Там, внизу, много нуждающихся в помощи оказалось...

Просто молодчина Бадра, в душе радовался Мзалей, очень ловко придумал.

– Ах, это ты, Бадра?.. – откликнулась с пренебрежительной кокетливостью вдова, тоном снисхождения.

– Я самый, со своей головой, которая еще на плечах! – Бадра, похоже, был в ударе, но отчего-то опять стал сильно косить.

Вдова заулыбалась и шире отворила дверь. Но все время не отрывая глаз смотрела на Мзалея.

Они довольно быстро спустились по склону к террасе, заваленной затоптанным, перемерзшим снегом. Собака поодаль виляла хвостом.

– Ах ты негодница, – почти злобно прикрикнула вдова на собаку, – не то что в дом – к усадьбе никого не подпускала, а сейчас виляешь перед каждым...

Она не скрывает: не рада непрошеным гостям, подумал Мзалей. Но ее можно понять...

Хоть и была вдова напугана, в ее лице и глазах Мзалей ясно различал следы разгульной свободы, которой не могла похвастаться ни одна женщина здешних мест (даже сама Сафия). Видно было, что это – и счастье ее, и надежда, и способ жить.

– Заходите, раз пришли, – она отступила через порог в дом и приглашающе махнула рукой.

Они тоже не стали церемониться: не снимая лыжи-плетенки вошли внутрь и сначала совсем ничего не видели, ослепленные снегом. Но постепенно глаза начали различать – что там, в кухне: огонь был слабый, поленья уже догорали. Над котлом поднимался пар: вероятно, хозяйка, освободив от мамалыги, налила туда воду.

– Бадра, говорят, спрашивать стыдно... извини, но я не узнала, кто это с тобой? – сразу начала вдова, еще даже не предложив сесть.

– Это младший сын ихацкы Алмы, Мзалей, вернулся из долгих странствий...

– Что ты говоришь! Как это вы могли столько беспокойства из-за меня терпеть в такую страшную погоду, ухацкы! Сюда не то что в снег, но и летом не так легко вскарабкаться. – Она, похоже, не прочь была немного пококетничать. – Какой гость сегодня у меня дома, мне ли, горемычной вдове, достойно отметить!.. Этот дом всегда был гостеприимный...

– Спасибо и на добром слове, – Мзалей поклонился ей. Он снова полностью был самим собой – учтивый, воспитанный, благородный. Вдруг все получило свои полномочия – и происхождение, и образование, и воспитанность. Дух, которым, он чувствовал, была заполнена, пронизана вся деревня и который эти дни сопровождал и поддерживал его, что-то окончательно освободил, оставил его, и сделалось как-то пусто – легче, но тревожнее.

Он или здесь и всю свою энергию обратно вобрал в себя, подумалось Мзалею, или же в такую беду попал, что дух его и для него и для других ничего не в силах больше сделать.

– Дом, в котором нет мужчины, мужской руки... – вздохнула вдова.

– Да, мужской руки действительно не хватает, но, может, достанет и мужской ноги?.. – выпалил вдруг Бадра.

– Какое твое дело до этого, Бадра... – вдова измерила парня взглядом. – Пусть, конечно, барин простит...

Мзалей опять молча поклонился ей, чувствуя, что нечего сказать. Он действительно не знал, как себя вести дальше.

– Молодцом, Бадра, Бадрачок!

Бадра и Мзалей одновременно обернулись к двери, ведущей за перегородку: там стоял Манча. Сильно обросший, однако выглядел неплохо: сытый, довольный.

А чего ж ему не быть довольным... Бадра сжался весь как пружина... целый день жрет вдовьи харчи, дрыхнет и... никогда его не гложет ни чужая забота, ни чужое горе, ничья боль.

Бадра совсем его не боялся – и не удивительно было, что это так.

– Тогда, – сказал Манча, обращаясь к Бадре, – когда я этими вот руками держал твое поганое горло, если бы тогда я вырвал его, завязал в узел, – сейчас опять не пришлось бы заниматься тобой... но, извини пожалуйста, в этом ты не виноват, виноват я. Но я сейчас отдыхаю и не имею желания пачкать свои руки о твое поганое горло, – потому, пока я добрый, убирайтесь вон подобру-поздорову. Иначе будет вам худо. Спасайтесь, пока есть возможность!..

– Вот видишь, барин, я был прав, он успел нажраться, – Бадра спокойно обернулся к Мзалею. – Потому он, как сам говорит, добрый...

– Ты разве не знаешь барина? – испуганная вдова стала между Манчей и гостями. – Бадру разве первый раз видишь, стоит ли опускаться до него...

– Заткнись! Этого, которого ты величаешь барином, я знаю лучше, чем он сам, – кто он есть такой... – Манча говорил так, будто в каждом произнесенном слове заложена была им самолично большая доля взрывчатого вещества.

«Я знал, что он об этом скажет, – подумал Мзалей, и пусть, все равно кто-нибудь должен был вслух об этом сказать... пусть – этот подонок, какая разница...»

Мзалей первый раз видел Манчу, но ему казалось, что он его знал всегда. Дух, который последние дни поддерживал его, помог почувствовать, что примерно это такое – Манча. Он до того не отличался от обычного типа подонка, видимо, общего для всех времен и народов, что по нему одному можно было составить довольно-таки верное представление о самом явлении. Мзалей и там, на севере, встречался с подобными негодяями. Иные к ним относились весьма снисходительно, но в итоге всегда горько раскаивались. Бывают негодяи – встреча с таким, сразу ясно, должна стать последней для тебя или для него. А этот чаще всего стоит опустив руки по швам, но при этом вовсе не знаешь, когда прикокошит.

– Все же, барин, я ошибся, – голос Бадры был твердым и спокойным. – Он, похоже, не успел еще пожрать, что-то больно нервничает. Тогда мы скажем то, что нам надо, а потом пускай доедает. Вдовья стряпня, говорят, необыкновенно вкусна, особенно если топить кольями из ее ограды.

Стало тихо. Вдова застыла от страха. Мзалей на всякий случай был наготове, чтобы вовремя выхватить револьвер.

– Что, что?! – Манча хотел придать голосу больше угрозы и напора, но это ему явно не удавалось. – Тебе вдруг показалось, что ты герой, – оттого, что твоя смерть пришла!

– Хватит! – закричал Бадра не своим голосом. – Хватит! Сколько крови ты у меня выпил, сколько топтал, измывался... но сегодня мы здесь по другому делу...

– Да, да, ты точно все забыл... я же говорю – смерть, которая стоит рядом с тобой, совсем оболванила тебя, да придется напомнить! – Он резко вскинул карабин, прицелился в Бадру.

– Ничего я не забыл, это тоже запомни! – Никто таким никогда не видел Бадру, конечно, и Манча. – Подожди, когда-нибудь я тебе напомню об этом сам!

– Сейчас ты у меня все забудешь навсегда, – Манча шагнул вперед, ствол был направлен на Бадру.

– Опусти винтовку! – спокойно сказал Мзалей. – Дуло его револьвера смотрело на Манчу. – Не советую медлить... не хвалюсь, но все будет кончено с первого выстрела. Лучше иди и садить здесь. Оружие оставь там. Мы хотим от тебя узнать кое о чем, больше ничего.

– Вы решили, воспользовавшись случаем (быть вам всем заживо погребенными!), меня прижать... Думали, в такое время, когда волки и овцы обходят друг друга, Манча не смеет поднять на вас руку... но на меня это не распространяется, на меня ничего не распространяется. И лучшего случая у меня не будет... Вот влеплю я по два-три куска свинца в ваши животики, может, и переварите!..

– А если сам проглотишь сначала – что потом? – Мзалей был очень спокоен. – Не лучше ли, если не боишься, сядь на той стороне очага, на этой мы сядем – и поговорим.

– Бояться вас? – обернувшись на миг к Мзалею, он чуть задержался взглядом на револьвере. Воспользовавшись этим, Бадра двумя прыжками достал Манчу и схватился за его винтовку. Схватился не очень удобно, и когда вместе с оружием резко повернул Манчу, тот нажал на курок, похоже, непроизвольно, – хлестнул выстрел. В тот же миг Бадра вырвал винтовку. Вдова издала душераздирающий крик: при этом она смотрела на телку, привязанную в углу.

– Чуть моего жертвенного теленка не застрелили!

– Ты говоришь, жертвенного телка?!.. – крикнул Манча в бешенстве. – Вот где твой жертвенный телок! – и показал ладонью ниже пояса.

– Чтобы кровью залило твою гортань! – неожиданно со злостью и ненавистью бросила вдова ему в лицо. – Обязательно должен показать все свои пакости, не стыдно перед людьми?!

– Ты говоришь – люди?! – видя, что ничем больше не может уязвить противников, решил выкрикивать пакости как можно погрязнее. – Сейчас и ты и они услышат, что они за люди такие... пришли меня на чистую воду выводить, а я возьму – выведу их самих!

– Мы не собираемся тебя никуда выводить, у нас есть дела поважнее, – сказал Мзалей, пряча револьвер. – Мы, собственно, не тебя, а Мсоуста ищем. Хотим поговорить. Он, – показал на Бадру, – его друг, я тоже не враг, пусть он об этом знает.

– Какой там враг, – ухмыльнулся Манча. – Вообще, конечно, всякое бывает, иногда брат льет кровь своего единоутробного брата.

– Мсоуста здесь нет, это правда, кто-то вас подвел – не то сказал, – вдова говорила, похоже, искренне.

– А где ж он тогда может быть, – Бадра еще не совсем пришел в себя, нервничал. – Если бы дома, я бы знал. Где он? Скрываешь? – он посмотрел Манче прямо в глаза.

– Вы поглядите, как он его любит, как жаждет узнать, где его друг пребывает... – Манча вразвалочку подошел, опустился на скамью. – Нету его, а то он бы сам сказал, до чего тебя обожает.

– Это уж тебя не касается!

– Все равно, вынужден тебе об этом сообщить.

– Я знаю, ты ничего хорошего сказать не можешь, да мне и неинтересно. Лучше говори, где нам его искать, куда ты его дел. Больше ты нас не увидишь, и мы – тебя. И ты вздохнешь, и мы вздохнем.

– Куда я его дел, остолоп!.. Он что тебе, кисет какой-нибудь что ли, захотел – сюда дел, захотел – туда дел... – Стал освобождаться от страха, подумал Мзалей. – Потом, что вы от меня все хотите, я что, сторож ему, приставлен к нему или что? – выкрикнул Манча скорее брезгливо, как если бы о гниющем трупе. – Я еще раз повторяю, уносите ноги... А то без всякой пули, никуда отсюда не уходя, я кое-кому влеплю в самое больное место.

Мзалей уже понял, что Мсоуста здесь нет. И разговор вдовы говорил о том же. Он вдруг остро ощутил, как не хватает ему сейчас поддержки Мсоуста, силы его духа, ощутил пустоту, которую ничто теперь не могло заполнить.

– Не пугай, здесь нет никого, кто бы тебя боялся! – с презрением посмотрел на Манчу переменившийся до неузнаваемости Бадра. – Мсоуст был же с тобой, и куда он от тебя ушел и когда? Скажи лучше – это и в твоих интересах.

– Ты... ты еще мне будешь здесь приказывать... – Манче очень хотелось сказать что-нибудь такое грязное и злое, на которое он один только и способен, но явно не решался. – Ты, который ешь мамалыгу с сыром вприглядку! Его отец и мать (но ругать их не посмел) все лето сушат, коптят сыр, потом прячут. Зимой его обратно вешают над очагом. Потом все усядутся внизу, возьмут по куску мамалыги и говорят подвешенному изливающемуся соком сыру «это видишь»... и с тем закусывают одной мамалыгой, думая, что этого достаточно, а не обязательно закусывать сыром. Ха-ха-ха, – попытался Манча засмеяться, но не получилось, ибо понимал, что не туда его понесло.

– И ты сам, и то, что говоришь, – гроша ломаного не стоит, – сказал на этот раз спокойно Бадра. – По крайней мере никто из нас не объедал вдову, не смотрел днем и ночью на нее, ожидая, что она в пасть положит.

– Говори, говори... – в бешенстве прошипел Манча, но был бессилен. – Говори...

– Хватит уже впустую молоть... – Мзалей сел у очага напротив Манчи. – Спешим, нам еще обратно добираться. Ты был с ним – и когда разошлись?

– Не я был с ним, а он был со мной. Не я к нему пришел, а он ко мне пришел. Иногда такое случается: приспичит – и некуда идти. Ты тоже,

может, когда-нибудь придешь ко мне, но заранее знай, за версту близко не подпущу!

– Очень сомневаюсь, что мне придется к тебе идти, но ты все же скажи: где он, куда направился?

– Куда, куда... не к чему мне все это помнить... Ушел – и след простыл. Он не говорил мне, куда, зачем, сами знаете, что он из себя представляет. В день сто раз меняется, сто решений примет и здесь же передумает. Ушел еще до снегопада – дальше ничего не знаю, вот вам и весь сказ...

– Все выдумки... – бросил Бадра.

– Это тоже выдумки, когда он, сам спрятавшись, меня послал, чтобы с тобой, с его закадычным другом поговорить, да так поговорить, чтобы от страха в штаны наложил... – Видно было, что нелегко Манче решиться на очередную пакость, но все же решился. – Это ты сейчас вдруг заделался героем у нас...

– Брешешь ты все, кабанья голова! – поморщился Бадра, как от сильной боли. – Что же ты прицепился ко мне, ты, выскочивший из собачьих ноздрей?! Почему ты и это хочешь во мне убить? Почему ты такой ходишь по земле?! Сколько лишнего времени ты по ней ходишь! – Бадра весь почернел, он поднял большие растопыренные руки, чтобы наброситься на Манчу и задушить его. Вдова опять душераздирающе вскрикнула.

– Бадра! – спокойно сказал Мзалей, – что с тобой, остановись. Неужели хочешь запачкать руки... они у тебя трудовые, честные!

Бадра замер... плечи опустились, и он опустил голову.

– Все вы чистенькие... – заговорил Манча, переведя дыхание. – Я один среди вас затесался грязненький... вот, они все в белых черкесках ходят, я же в их среде должен передвигаться – белая черкеска в пятнах... вот, я один чумазый – и сотни белоснежных черкесок с грязными пятнами... – У него вдруг глаза налились, он вскочил: – Нет, это вы сверху белые черкески накинули, чтобы все закрыть, а если скинуть их, вы все грязнее, злобнее и пакостнее меня! А ты, – он наставил палец на Мзалея, – ты...

– Хватит, хватит, – засуетилась вдова. – Вы тоже идите, уже поздно, и делов что ли у вас других нет...

Вдова явно не жалует нас, в душе усмехнулся Мзалей.

– Ты заткнись, шлюха, до тебя я еще доберусь, – Манча рванулся к ней, но она и с места не сдвинулась. – Ты... – он опять указал на Мзалея. – Ты у себя дома – гость. Они еще не успели тебе об этом заявить. Но если Умар еще прежний... – в общем-то он показал тебе образец терпения, по его характеру, – он это исполнит как и когда нужно. – Принужденно засмеялся, обнажив казавшиеся тоже рыжими зубы. – Ты – незаконнорожденный, ты сын немого Гуатаса!

– Чтоб тебе больше рот не открыть! – вдова закусила палец.

– Ты ему не верь... – Бадра опять наливался кровью. – Он так создан, чтобы в каждое сердце вбить ржавый гвоздь... Все болтает со зла, чтобы только уязвить...

– Пускай, пускай говорит, забавляется... – Мзалей слышал себя словно со стороны.

– ...Одним словом, это не так уж и плохо. Ты брат Мсоуста – по отцу... – Манча злорадствовал. – Или тебя не устраивает такое родство? Да, вообще тебе будет нелегко: в нем незаезженная крестьянская кровь, необузданная, а в тебе – с рождения усмиренная, дворянская. А крестьянскую – надо еще обуздать, а то она всегда дров наломает... Видите, быка же кастрируют – и из него тогда хороший работничек... а то – распустили нас здесь, крестьян, – меня, Дадына, Мсоуста. Дрожите, полнокровки-полукровки, – это вам не шутки!.. – он ухмыльнулся, исподлобья посмотрел как бы снисходительно. – Если ты понимаешь, для тебя так лучше, что я заранее тебе сказал. Предприми что-нибудь. Будь уверен, они это так просто не оставят, ты же сам знаешь, какие там заинтересованности...

– Чтоб тебе сгинуть, бесстыжие твои глаза!.. – все сокрушалась вдова. – Чтоб тебе пропасть!

– Ты тоже так знаешь, уважаемая? – невесело, но спокойно обратился к женщине Мзалей.

– Мало ли кто говорит, ваша светлость. Как можно все это всерьез принимать! У людей языки чешутся, сколько завистливых да жестоких...

Бадра растерянно поглядывал на Мзалея, его словно подменили.

– Что же ты, барин, не искренен... – спохватившись, выпалил Манча. – Ты же об этом сам знал без меня. Попал?!

– Нет, не попал, – сказал Мзалей. – Не попал.

– А чего тогда печешься о заклятом враге Алмы?

– Мне бы хотелось устроить что-нибудь получше вражды... но ты, право, этого и не поймешь...

– Я и не собираюсь и не хочу понять... но так уж никто больше тебе и не говорил, что вы похожи друг на друга, как две земляные груши? – После того как уязвил, укусил, ему уже больше не хотелось говорить. Не скрываясь лениво зевнул. – Действительно... может быть, люди напрасно чешут языки, ты сегодня почти не похож на него. Словно кто-то волшебной водой сходство старался отмыть. А то, бывало, он больше на тебя похож, чем на себя.

– Если ты прав – твоя взяла... а если нет, если это твои выдумки... – Мзалей встал. – Мы с тобой так просто не разойдемся. Ты поставь себя на мое место.

– Нет у меня на этом свете места! – опять вспылил Манча, конечно, не потому, что очень уж переживал на сей счет. – Чтоб он померк, провалился – вместе с теми, кто мне в нем места не дает!

– Ты сам отнял у себя же собственное место и никогда не сможешь вернуть... – Бадра хотел как-то досадить Манче, но не очень умел.

– Я не закончил своего слова... – продолжал Мзалей. – В противном случае – я не буду стрелять из-за угла, как бы это сделал ты... я тебя вызову на дуэль. Право первого выстрела будет твое, промахнешься – знай, я никогда не промахнусь.

– Если мне не веришь – спроси мать свою, госпожу... – Манча здесь запнулся, все же сила рода Анчаа, авторитет госпожи и на него имели воздействие. – Я невольным свидетелем оказался, когда она сама говорила об этом... Говорила она сиротке, которая всю жизнь сосет соски барского дома. Спроси и у нее. Более того, она хотела удавиться из-за тебя, кажется, эта дура вбила себе в голову, что влюблена в тебя, – а так вы выходили слишком близкими родственниками... Недаром она назвала причиной своего поступка Мсоуста...

Видимо, этот негодяй в чем-то и не лжет, подумал Мзалей (он уже не в силах был видеть его рожу и слышать гнусный голос), ничем больше нельзя объяснить странное поведение Эсмы в первые дни приезда.

– Проводи, проводи же своих дорогих гостей, – бросил Манча издевательски в сторону вдовы. – Чего стоишь столбом!

– Ты сам это сделал, мне больше ничего не остается... – вдова выглядела удрученной... впрочем, чувствовалось, что у нее это быстро пройдет.

– Проводить имеет право тот, который где-нибудь хозяин, – съязвил-таки под конец Бадра.

Манча глянул на него и зло ухмыльнулся.

– Оружие твое мы пока вынесем отсюда, – сказал Бадра. – Там на дереве повесим. Пройдись хоть до этого дерева, а то стал настоящей золушкой: ноги в теплую золу – и поплевываешь... – Бадра хотел сделать Манче больно, вывести из себя, но тот уже не поддавался. Сытый по горло, довольный, ухмыляясь смотрел на Бадру, не слишком уверенно, но пока все еще думая, что до него-то он доберется.

– У меня еще найдется кое-что... но не бойся, я на вас не буду больше ничего тратить, не стоит... – он все же с досады поднялся – и опять шлепнулся задом на скамейку. – А ты, – повернулся он к Бадре, – ты сегодня можешь лепетать сколько влезет, ты же младенец, у тебя едва зубки прорезались, учишься говорить... А там видно будет...

Как бы там ни было, Бадра считал – они правильно сделали, что пришли: во-первых, действительно Мсоуста нет здесь, он давно не с Манчей. Хотя больше ничего не удалось выяснить, одно то, что нет его с Манчей, уже как-то облегчит души отца и матери, и, конечно, Майяны. А что может случиться с таким как Мсоуст... где-то его застал снег – так рано или поздно выберется. И то, что Бадра сегодня окончательно убедился: пересилил страх перед такими как Манча, – для него было очень важно. Из-за одного этого стоило сюда приходить. И было, конечно, больно... то, что он услышал о Мсоусте – о том, что Мсоуст тогда издалека наблюдал за его позором, когда Манча измывался над ним и над его отцом... Бадра сам догадывался – только в припадке отчаяния, чтобы ударом разбудить его волю, это мог сделать Мсоуст. Но, может, и пошло на пользу... Все равно – они встретятся с Мсоустом и смогут прямо посмотреть в глаза друг другу.

Больнее всего было то, что Манча наговорил сегодня Мзалею. Бадра и сам, конечно, без Манчи достаточно слышал сплетен насчет необъяснимого

сходства барина и крестьянского парня. Но одно ясно: Мзалей – человек, и лучшего, чем он, человека Бадра не встречал.

Мзалей все отставал. Бадра останавливался, давая ему себя догнать. У Мзалея было странное состояние: то, что вдруг один из его стволов, как если бы у дерева, пропал, будто и не бывало, оставив пустоту, – ему было тяжело и больно. Лучше было бы не привыкать, вообще не знать... Только сейчас ему стало понятно, насколько помогала ему энергия этого воздействовавшего на него духа: все, что он сделал за время снегопада, он сумел благодаря этой поддержке. Почему вдруг она исчезла, оттого ли, что дух не выдержал, оказался слабым, или сам дух, так щедро тративший себя, – иссяк? Трудно, невозможно было на это ответить. Сейчас он острее понимал, что ему очень трудно будет сегодня добраться до дому.

Уже вечерело. За день несколько раз начинал, несколько раз переставал идти снег, но к вечеру прекратился, и видно было, что ночь наступает морозная. Пока что они возвращались по тому же пути, по которому поднимались сюда днем. Но – неизвестно, как это с ними случилось, – они пошли по какому-то другому склону... оказался весь мерзлый, скользкий, – может быть, наверху тут был родник.

Хоть и много снегу намело, склон был какой-то по особому промерзший, заледеневший. Мзалей уже один раз упал – благо, что попал не на ледяной наст, а подвернулся кусочек мягкого снега.

Бадра сумел, быстро скользя, приблизиться, помог встать на ноги. Мзалей уже видел, что единственное спасение для него – Бадра. Вот уж действительно парень богатырской силы и выносливости!

Бадра все искал выход на перевал к дому, но что-то не получалось. Мзалей, уже порядком уставший, шел следом. Им почему-то вдруг овладело странное безразличие: если бы не Бадра, он мог бы и замерзнуть. Тогда бы все само собой и решилось... если не сейчас, так после, когда сойдет снег, нашли бы... сказали бы, что погиб, делая хорошее дело, похоронили с почестями... Умар бы важно стоял во всем траурном, важно и скорбно кланялся сочувствующим – и думал о том, как все господские земли в конце концов перейдут к нему; Хирипс не жилец в этом мире, дни его сочтены; Уатара из Сухума не вытащишь, да и спился он почти, недолго – и совсем сопьется.

Да, ему трудно придется, коли останется в живых, – придумают муки пострашнее... но если он возьмет да отдаст концы, – лучше него сына, лучше него брата не будет.

Бадра остановился. Остановился и Мзалей. Бадра долго осматривался. Туман спустился ниже, в воздухе закружились редкие пока снежинки. Мороз усиливался. Видно было, что Бадра чувствует себя неловко. Повел Мзалея как-то наискось по склону к востоку, показал, как лучше ставить лыжи, чтобы они не соскальзывали. Такая ходьба быстро утомляла. Устал даже и Бадра.

Опять он остановился.

– Куда-то не туда нас занесло, будь оно неладно... – Бадре было неудобно перед барином – своего рода щепетильность в нем жила.

– Станем подниматься... если выберемся на перевал, оттуда обязательно огни будут видны... – Мзалей старался не показать Бадре, что он уже на последнем издыхании. – Не спеши, не суетись, ничего с нами не случится... мы же на своей земле, она нас не даст в обиду. Или чего боишься?

– Никак нет, твоя светлость, – отчеканил Бадра; иногда, если что-то серьезное надо было решать, переходил на этот тон: «твоя светлость», «ухацкы»... – Я переживаю, что ты устал.

– Ты об этом не думай, — сказал Мзалей. – Пока забудем обо всем, кроме подъема наверх. Человек должен уметь приспосабливаться к обстоятельствам. То, что сейчас с нами, это обычное... а если будет трудное, в десять раз труднее?! Люди попадают в такие переделки... но выходят победителями, еще во сто крат окрепшими... А это... – Мзалей нарочно старался говорить возвышенно.

Еще немного поднялись, но выше – сплошной лед. Опять двинулись в сторону востока – склону, казалось, конца и краю не было.

– Придется обратно возвращаться... – Бадра остановился растерянный. Он озирался, словно никогда не знал, не видел этих мест, хотя на самом деле, вроде, знал их хорошо. Обернулся и, больше не глядя на Мзалея, пошел обратно, заговорил снег под лыжами-плетенками. Немного спустя Бадра опять остановился.

– Если не ошибаюсь, здесь должен быть проход, – сказал он с надеждой. – Я заметил, когда туда шли, но все же надеялся найти более удобное место.

Действительно, в тускло подсвеченном снегом тумане можно было разглядеть какую-то выемку, – похоже, тянулась вверх до самого перевала. Когда стали подниматься, они поняли, что это был крутой скалистый скат.

Здесь, видимо, возможны и снежные оползни, отрешенно подумал Мзалей, из-за усталости страх не имел над ним силы... Но сейчас мороз, навряд ли они опасны.

– Бадра, не торопись, – сказал он как можно спокойнее. – Надо беречь силы.

– Да, да, ты прав, ухацкы... – Бадра шумно дышал, но чувствовалось, что он еще далеко не растратил свои возможности.

Единственное – им немного лучше стало от того, что здесь не дуло, было теплее.

Не спеша, часто отдыхая, они понемногу поднимались к перевалу. Чем выше, тем круче склон, – Мзалею даже страшно было оглянуться. Приходилось очень осторожно ставить ногу и стараться держать равновесие. Мзалея постепенно немного отпустило, он уже почти свободно продвигался все выше и выше. Ему нравилось, что это все он сам, без всякой помощи, ему нравилось и то, что оставалось опустевшим место того всегда приходившего в последнее время на подмогу духа, энергии, явно чужого, не своего. Сейчас ничто ему не помогало и не мешало. Это был уже он сам, без примеси, он, которого родина притянула к себе – совсем недавно мчался сюда сломя

голову, меняя дилижансы... который уже здесь достаточно много увидел, узнал, старался понять... который мог смотреть на эту жизнь как бы с трех точек: из детства, и еще оттуда, где он находился так долго, ну и, разумеется, сегодняшним взглядом свидетеля и непосредственного участника... стал уже, худо не худо, слава богу, стал причастным ко всему, что тут происходит...

Но Мзалей уже видел, что он не может не думать о нем, втором своем стволе... то, что ему сказали сегодня, он и прежде уже слышал краем уха, но серьезного значения не придавал. Теперь это стало реальностью... И то, что сейчас он был свободен от энергии того духа, пока шло на пользу. В таком положении многое виделось иначе, иначе оценивалось. Теперь он мог снова встретиться с этой энергией – но по другому: где-то принять, быть с ней солидарным, и где-то противопоставить свое.

Они уже были довольно высоко, когда перед ними стеной стало возвышаться заснеженное мелколесье.

Остановились, огляделись.

– Здесь подожди меня, твоя светлость, – по голосу Бадры видно было, что он чувствует вину перед барином.

А Мзалей за собой заметил совсем другое: по мере того как Бадра делался растерянным и положение – критическим, ему начинало казаться, что парень будто становится ему чужим, а отношение к нему – обычным отношением дворянина к своему крестьянину, который должен обслужить и выход найти.

Во мне, видимо, та, дворянская часть, не совсем удачная, посмеялся он в душе. Однако нет худа без добра: если все, что говорят, – правда, может быть, где-то и хорошо: крестьянская его часть явно лучше, достойнее, и она задавит первую, надменную.

Бадра куда-то лез, поднимался, удалялся, снова приближался, но никак, похоже, не находил пути.

Что же я сам даже не пытаюсь хотя бы оглядеться... может, оценю положение, подумал Мзалей, может, у меня лучше способность ориентироваться. Он взял и довольно легко поднялся до уровня, где сейчас находился Бадра.

Он же не поводырь мне, посмеивался в душе Мзалей, на Бога надейся, но и сам не плошай...

Ему показалось, он обнаружил полосу, похожую на выход. Шагнул туда...

– Не ходи! – раздался отчаянный крик Бадры, и больше Мзалей ничего не слышал: он несся по какой-то громадной бесконечной наледи. Скользя с огромной скоростью, все же успел подумать, что это, видать, замерзшая какая-то струя, падавшая сверху вниз. Когда он больно ударился внизу о довольно высокий ледяной порог, сознания он не потерял, но и сразу подать голос тоже не мог. По тому, как высоко раздавался мечущийся голос Бадры, Мзалей понял, что сорвался он с довольно-таки высокого уступа. Ледяной порог, задержавший его, был скользкий – ни сесть, ни лежать, не за что ухватиться, все скользило... Пожалел Бадру, собрав силы, он подал голос:

– Не бойся, я цел и невредим!

Он лихорадочно отыскивал, за что бы зацепиться, и, наконец, шарящая рука наткнулась на небольшой ледяной нарост – за него и схватился. Тут можно было спокойно удержаться. Держась за нарост, он поднялся на ноги и вздохнул. Пока сгоряча трудно было определить, насколько серьезны ушибы, которые он получил, но точно можно было сказать, что кости целы и вывихов нет.

Голос Бадры метался где-то наверху – жалобный, но Мзалей не торопился отвечать, необоримое упрямство, как словно бы у мула, сковывало его.

Кто знает, это дворянская кровь или крестьянская рождает во мне упрямство мула... он старался в душе развлечь себя немного.

Невозможно было сделать хоть шаг: упадешь. Мзалей был сейчас похож на рыбу, брошенную на лед. Он все же осторожно стал искать ногой какое-нибудь место, где менее скользко, где хоть немного можно постоять свободно и так отдохнуть. И наконец действительно обнаружил для одной ноги относительно шершавое, не очень скользкое место. Через некоторое время Бадра уже был над ним, где начиналась эта гигантская наледь.

– Только держитесь, только держитесь, – испуганно бормотал Бадра. – Я сейчас же вытащу тебя оттуда. Это я, я во всем виноват, трус я несчастный... – Он наговаривал на себя, видимо, себя же наказывая.

– Я знаю другого Бадру, – откликнулся Мзалей. – Я видел сегодня, как отважно он обезоружил матерого абрека... (Это говорила его искренняя, хорошая кровь, но которая из двух, он не знал.)

– Я... я... – Бадра, похоже, уже плакал. – У меня один брат... но ты и Мсоуст для меня и братья, и еще больше... У меня никого нет выше, даже Бог...

Лица Мзалея коснулось что-то... когда он, осторожно высвободив одну руку, ухватился, это оказалась веревка, и довольно толстая и крепкая.

– Бадра – ты просто молодец!

– Я эти дни всегда ее беру с собой... почти же в каждом доме надо подносить корм, а как же без веревки. Часто ею перепоясанный хожу... помнишь, твоя светлость, как Майяна пела: «Киарантыху, попляши, Киарантыху, попляши...»

Мзалей крепко обеими руками взялся за веревку.

«... Киарантыху, попляши...»

Выбравшись оттуда, они быстро нашли хороший подъем. Может, от сильного испуга – но Бадра настолько протрезвел, что вдруг все четко и хорошо вспомнил. Когда они уже были на перевале, их пронзил ледяной ветер... правда, тут уж можно было считать, что все трудности позади... На небе тучи кое-где разошлись, и будто из глубоких ущелий выглядывали холодные мерцающие звезды.

Уже они знали, как идти и куда. У Мзалея кое-где побаливало, пощипывало, но душевно он себя чувствовал хорошо. И это новое душевное состояние, и боль, все же чувствительная, почему-то вдруг разбередили в нем многое, заставили еще раз в подробностях вспомнить все, что видел, пережил

с того дня, как, вернувшись, сделал первый шаг во двор господского дома: безразличие во взгляде отца, которое тогда он воспринял как знак традиционной сдержанности, страх в глазах матери и как она тщетно старалась его скрывать, мрачность Эсмы, бросающая в дрожь, и быстрые непонятные перемены ее состояния, блаженное спокойствие на лице несчастного Баты, который получил в грудь пулю, как удар в грудь младенца кулачищем взрослого негодяя... злоба Умара, которая уже стала тяжким недугом для всех окружающих... доброта, искренность бесправной прислуги Чахуназ... и как трудно здесь, где она так выделяется, иметь красоту и обаяние Майяны... вспомнил до самых крыш заваленные снегом хижины, из которых уже даже свет не виден... и как полуголые дети прятались, когда он с парнями приходил пособить в чем-нибудь... вспомнил уставших от жизни, от страха вдов, с неизменными слезами в глазах... замолкнувшие мельницы, скованные льдом, вспомнил и поваленные, расплющенные снегом апацхи – хижины-плетенки, и как оттуда забирали насмерть перепуганных детей, и как детей этих почти везде, в каждом доме принимали с охотой, и как это поднимало его дух, радовало: его родной народ не паникует перед бедой, не теряет голову при удаче... ясно, это следствие работы, борьбы и жизни ушедших поколений... вспомнил и о том, что все эти дни он сам стал участником, наравне с другими, всех испытаний – внес свою небольшую лепту... – все эти мысли укрепляли, прибавляли душевных сил, давали надежду перебороть невзгоды – те, в которых он уже увязал, и те, которые его еще ожидали.

Потом он посмотрел на Бадру, который шел впереди, мощно сокрушая снег, и на душе стало еще легче, она наполнилась теплом к этому поздно, но взрослеющему таки прекрасному дитяти.

Какая это кровь сейчас побеждает во мне, интересно, игриво подумал он: крестьянская или дворянская?

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Мое слово – что вода святая,
Мое дыхание – исцеление...
Заклинание тепла

...Прогнал я все твои боли... за семь гор забросил, сдул в глубь морскую... Чфф-ффу... Опять на пихтовые нагорья небо дышит метелью, засыпает, заносит все глубже и глубже сруб, в котором лежит Мсоуст.

...Он спал долго. Проснулся – опять было темно. Сон нисколько не мог вернуть ему силы. Во рту было горько, гортань вся казалась выжженной... но соображал он четко. И жара совсем не было. Он лежал неподвижно, как и проснулся, будто оледенелая замолкшая мельница. Верно, приоткрытую дверь уже замуровало снегом, но холод от снега, наметенного до того внутрь, доходил до него. Все же ему не было холодно.

И вдруг он вспомнил четко и ясно все, что с ним приключилось. Будто молнией разом прожгло его... проникло в каждый сосудик, высушенный жаром, который полыхал в нем все эти дни. Он присел. Голова пошла кругом, но он постарался не поддаться слабости.

Он должен жить, жить во что бы то ни стало... Он мог сгинуть раньше, но теперь уже нельзя, не имеет права, пока он не настигнет их, не посмотрит в их черные глазницы – отражение черных дум...

Люди, что это за безмозглое стадо, думает он... готовы обожествлять, благоговейно произносить тайком, чтобы защитить от сглаза, имена таких как Дадын, как Ацахва... этого зверя, это чудовище они зовут святым, богоугодником. Все у них перепуталось, место хорошего забрало плохое, зло называют добром... И к этому их толкают все.

Он знал наверняка, что огонь уже давно погас. Если не так, то досчатая лежанка, которую те двое бросили на очаг, непременно загорелась бы, и от него уже осталась бы кучка пепла. Правда, у него в ахиатре – дорожном бурдючке все есть для того, чтобы развести огонь. Пальцы не гнулись. Наконец, достав что надо было, он с трудом разжег лучину, тоже припасенную в дорогу, с трудом присел и разжег огонь. И ноги дрожали у него и руки. Постепенно языки огня прожгли темноту. Он вернулся и сел на свою лежанку. Теперь больше всего он боялся думать о еде. Голод шел изнутри такой слабостью, что он не в силах был произнести ни звука, в горле пересохло, опять мучила жажда, тошнило. Надо было чуть усилить огонь. Благо дрова сухие, а то, по крайней мере на первых порах, от дыма можно было задохнуться. Он поднялся, подошел к разломанной лежанке и пошарил руками, чтобы найти подходящую доску. И в это время рука его наткнулась на что-то не деревянное. Взял и, приблизив к огню, посмотрел: горшок, прекрасный глиняный горшок.

– Оу-уух! – он издал звуки, похожие на отцовские, которые вырывались из немой гортани. Действительно, ему сейчас не хватало обычных звуков, издаваемых на радости человеком. Это была не радость, радость была мелочью, – это была сама жизнь, надежда на нее. Он держал горшок бережно, как священную амфору, с тем благоговением, с которым первобытный человек, верно, глядел на первые высеченные им искры огня. Хорошенько осмотрел: и бока, и дно – все целое. Горшок оказался не маленький и уже хорошо послуживший – весь черен от копоти. Мсоуст проверил, погладил везде, постукал кончиками пальцев – порядок.

– Оу-ууух! – опять вырвался у него словно бы не человеческий возглас, – но кто кроме человека смог бы издать его.

Когда подержал в руках горшок, у него начался настоящий голодный припадок. Обнимая горшок пошел к двери. Отломил не совсем промерзший кусок снега и положил в рот. Однако тот, пока таял, так леденил гортань, что, несмотря на свою жажду, больше не стал есть мерзлый снег: боялся – опять так простудишь горло, совсем окочуришься. И он решил согреть, даже вскипятить воду. И вдруг вспомнил, что в ахиатре, дорожном бурдючке,

лежит еще соль. Если немного подсолить воду, может быть, утолит голод, хоть немного...

Сначала он сколько мог вычищал горшок, оттирал снегом, и когда снег уже оставался белым, туго набил горшок доверху и поставил у огня, но не близко, чтобы никаких случайностей. Так, на медленном огне, варят целый день фасоль в сытом доме, – делается особенно вкусной, душистой. Вспомнив о горячей фасолевой похлебке, он чуть не завыл волком. Разве думал когда-нибудь, что память о вкусе фасолевой похлебки может довести до такого?.. Но сейчас похлебка была самым желанным из всех кушаний, и случись она здесь, – это стало бы жизнью.

Когда всего много, когда уже все готово, – тому, кто просто увидит результат, кажется, что все это всегда так и было. Так везде – и в мужестве, и в совести, и в хозяйстве.

А сам горшок? Сколько маялся, страдал, выдумывал человек, пока не придумал его таким... Сколько до этого съедено было сырого мяса, выпито такой воды, от которой вымирали целые роды.

Словно откуда-то из глубины времен некий давний его предок посылал ему эти мысли, одну за другой... Ничто и никогда легко не удавалось – начиная с самого малого, кончая самым значительным.

Когда вода вскипела, полой башлыка осторожно отодвинул горшок дальше от огня, насыпал немного приготовленной соли. Ему не терпелось; через некоторое время вылил горячую воду в ахмачир, деревянный ковшик, и ее можно стало отхлебнуть. Когда он сделал первые маленькие глотки, ему показалось, что немного освежило гортань... но едва вода прошла через нее, как сразу стошнило. Долго он сидел съежившись, потом опять сделал глоток. Вода уже была лишь теплой. Опять стошнило, на этот раз со слизью, и после долго еще тошнило, но в желудке ничего уже не оставалось. Выждал, пока не успокоится, и выпил оставшуюся в ковшике соленую воду.

Сразу стало клонить ко сну. Завернулся в бурку и лег. Незаметно заснул, но ненадолго. Разбудила страшная жажда – и не меньше мучил голод. Обессилевший, он лежал и думал о своем безвыходном положении, о том, что ему уготована одна из ужасных смертей. С усилием поднялся, подложил в огонь немного дров: дрова надо было экономить. Но вдруг опустил руку с поленом и жалко ухмыльнулся... к чему беречь дрова... человек всегда надеется на чудо, надеется и тогда, когда уже надеяться не на что, это так...

Но все же, почему я должен так сразу сдаваться, заживо хоронить себя?! – обозлился он на себя, на свое малодушие. Многие попадали и не в такие переделки, но выживали. А почему я должен сгинуть, разве ничего не заложено во мне, никакая сила, чтобы сделала невозможное возможным... по крайней мере надо попытаться. Оружие есть, есть огонь, посуда есть – могло ведь всего этого тоже не быть...

Он выплеснул остаток соленой воды, опять почистил горшок и снова набил снегом, чтобы на этот раз просто вскипятить воду, потом остудить и утолить жажду.

Выпил воды, утолил кое-как жажду, и ему показалось, стало лучше. Он решил попытаться открыть дверь, вылезти в конце концов на поверхность. Там, подумал он, можно будет жить, поохотиться, поживиться чем-нибудь. Немедленно приступил к делу. Выбрал самую надежную доску из разломанной этими шакалами лежанки, поднял еле-еле и, подойдя к двери, стал бить. Ударял так, чтобы дверь тоже разломать вконец, – после нескольких резких, но отмеренных ударов дверь чуть шатнулась, открылась щель. Однако силенки его оказались никудышными, сразу покинули его. Он приставил доску к стене и долго сидел на своей бурке. Сейчас он видел, насколько ослаб от болезни, голода и жажды.

Так он начинал несколько раз, но отодвинуть дверь еще хоть немного ему все же не удалось. Видимо, наверху навалило столько снега – чтобы пробиться туда, надо было бы иметь его прежнюю силу, и то кто знает... Это ему только казалось, что он никогда ни перед чем не отступит.

Но если он сегодня что-нибудь не сделает, завтра совсем не останется никаких сил. Он вставил доску в приоткрывшуюся щель и собрав все силенки надавил... дверь еще немного поддалась, снег хлынул внутрь. В глазах потемнело, он прислонился к стене и некоторое время приходил в себя с закрытыми глазами. Когда через некоторое время он открыл глаза, от ударившего света и от снежной белизны глазам сделалось больно. Опять закрыл и некоторое время стоял зажмурившись. Потом осторожно стал приоткрывать и когда совсем открыл глаза, увидел над собой через образовавшуюся снежную щель кусочек неба с ладонь: там в снежных тучах образовались уже голубые провалы, как в глубоких горных ущельях образуются озера.

– Оу-уууx! – опять издал он нечеловеческие звуки, но такие, которые издать может только человек... Опять закружилась голова, опять он закрыл глаза.

Когда снова открыл глаза, видимый через щель кусочек уже был забит тучами, но все равно – это было небо. Уже темнело. Может быть, еще не поздно было, но приход сумерек ускорял спускавшийся снежный туман.

Он вернулся, засыпал золою уголья, чтобы до завтра они сохранили жар, и приготовился спать.

Если засну в эту ночь, то утром что-нибудь обязательно придумаю... У него уже затеплилась надежда, он хотел думать, что полоса невезения, видимо, оставляет его... но чтобы не спугнуть удачу, не стал думать о ней, а опустился на лежанку и укрылся буркой.

Бока у него болели, и потому он лег на спину, положив руки на грудь (если даже не встану – готовый покойничек...).

Сколько он спал, спал или был в обмороке, – не знает, но очнулся сильно продрогшим.

Если опять начнет лихорадить, значит, нет никакой надежды, подумал он, и тогда, чтобы хотя бы перед собой не опозориться, надо стреляться, пока может нажать на курок...

Когда открыл слипавшиеся глаза, увидел, что бурка сползла с него. Это немного обнадежило, но когда опять завернулся в бурку, убедился, что накопившийся холод так просто не уйдет из него. По всему было видно, что до рассвета еще далеко.

Будет ли возможность еще увидеть небо, хотя бы в последний раз... Почему же мы, несчастные люди, и в жизни и в смерти все в небо смотрим, вдруг зло подумал он, мы же ничего там не знаем, а почему бы не посмотреть в ночь, да вокруг себя... внимательно посмотрели бы, поразмыслили, попытались бы понять то, что доступно глазам, слуху. А то все норовят куда-то смотреть, где ничего не известно. Все эти мысли были как бы бредовые, ему было плохо. Это после болезни, это болезнь... просто голод не мог бы его так скрутить.

Он кряхтя поднялся и разжег огонь, уголья в золе хорошо сохранили жар. Когда опять согрелся, снова стало клонить ко сну. Но он решил не спать, а то уже может так повернуться, что и не встанешь. С утра он должен опять попробовать выбраться через эту дыру, почему-то образовавшуюся за дверью (похоже, это между стволами пихт и сугробом образовалась какая-то пустота), выйти и что-то найти, подстрелить. Он почему-то верил, что если сможет пролезть туда, за дверь, то будет удача. Слышал много о том, как слабеют обитатели леса при суровой зиме, как они даже перестают пугаться друг друга.

Во что бы то ни стало он должен попробовать выбраться... если умирать, то лучше на чистом снегу, чем в этом поганом вражьем срубе.

Сидел он довольно долго, пока не проник откуда-то свет, сделалось виднее. Он поднялся, взял свое ружье (неужели оно было такое тяжелое и раньше?) и опираясь на него дошел до двери. Поставил ружье к стене, взял вчерашнюю доску, несколько раз ударил... там, где за ночь приморозило, откололось – и дверь опять чуть приоткрылась. Доску он поставил обратно и взял ружье; посмотрел туда, где вчера приотворилась дверь: щель была занесена снегом, который намело за ночь, но ему показалось, что снега выпало немного, жидкий слой.

Не успел он подумать о том, что надо выходить сейчас же, немедля, как вдруг все закружилось... он прислонился к стене и не дал себе упасть, но ружья не удержал, оно бухнулось вниз. Когда он стал приходить в себя, тихо и постепенно открыл глаза, первое, что он увидел, – это было его ружье, валявшееся под ногами.

Значит, нет больше выхода без него, подумал он, потому и в глаза лезет. Ему вдруг стало все безразлично. Не прикрыв даже дверь, он с трудом поднял ружье, держась за стену добрался до лежанки, опустился, кое-как накинул на себя бурку, положил руку на ружье.

Он понял, что с оставшимися силами ему пробиться на поверхность и что-то там сделать – нет возможности.

...Все же, если я собой что-то представляю, если даже превращусь в мышку, в кошку, я должен, должен... еще хорохорилась та гордая, надменная и никому не подвластная часть сердца, но она вспыхнула и сразу потухла.

Человек и смерть должен встретить достойно, это не меньшее мужество, чем другие виды мужества... вспомнить, кого он оставляет, свою землю, которая дала жизнь и когда она не получилась – забирает обратно... распрощаться со всеми, кто дорог... – этого желала вторая, более податливая часть сердца, где было больше любви и снисходительности.

...Сначала он стал вспоминать тех, которых называл «мой народ», – опять тут как тут та часть его сердца, которая не дает никому и нигде снисхождения. При мысли «мой народ» – в его воспоминании мелькнуло несколько лиц из того злополучного дня, когда он на церковной поляне сделал шаг, который привел его сюда. Как сейчас видит их – только упрек был в них: «на что другое способен еще этот осел...» Они отступали все разом, и не потому, что очень боялись его... Они прикрывали тех: Алму, его сыновей, его свиту, – вот те действительно боялись... Сельчане, которых он вспомнил, – они из того же «народа», хорошо знают, кто такие Алма и его окружение... вот, пожалуйста, из кого состоит этот «мой народ»... А какие-то отдельные отношения, чувства – все это мелочь перед смертью.

Майяна... вот она как живая встает перед ним, с ее медовыми глазами, с лицом то пылающим, то бледнеющим... кровь приливала к щекам, когда видела его. Он закрыл глаза – и услышал ее голос: «где ты, где ты, где?..»

Открыл глаза – и все улетучилось, не осталось ни следа, ни боли... Это все то, доступное, которое требует всего тебя... А вот есть недоступное, непонятное, зовущее, которое тоже потребовало бы всего тебя... Но оно не требует, не подпускает, не признает тебя. Остаться при доступном и все отдать ему, а умереть от ревности к недоступному... А что это даст? Лучше умереть с болью о невозможности недоступного...

Ничто из живого, доступного для него, не имело никакой силы, чтобы хоть немного облегчить его положение, отвести немного, на время, обстоятельства, которые подобрались к его горлу, готовые взять мертвой хваткой.

Насколько лучше было бы, если бы они все оставили его совсем, чтобы он перед смертью, хотя бы мгновение, лежал, свободный от земных пут, – перед небом (опять небо!).

Друзья, товарищи? Бадра? Бадру нельзя, невозможно жалеть, он счастливый человек, спокоен, доволен собой, своей судьбой, ишачьей работой, – оттого что наивен, смирен как агнец... если волку захочется съесть, он расстегнет рубашку – поудобнее свою шейку подставить. И потому все его жалуют – и тот, кто уважает, и тот, кто подтрунивает над ним, и те, для которых он посмешище, и те, что издеваются, подкалывают, и те, что его по-доброму любят.

Он не хотел коснуться отца, матери, брата, они должны были остаться ничем не тронутыми. Их боль не убавишь, они из-за него ранены, убиты... Страдают, очень страдают, но это тоже не поможет.

Он, который всегда старался быть причастным ко всем делам ближних, к их горю, страданию, и который считал, что они в конце концов отвечали в какой-то мере тем же, даже если у него были свои слабости, заносчивость,

нелюдимость... – они должны были знать, что он не жалел себя, чтобы сделать что-нибудь полезное, кому-нибудь, всем, защитить, если это понадобится... – и вот он сейчас просто умирает от голода, от того, что живот у него пустой, – и конец его совсем не напоминает то, как умирали древние герои, в походах, сражениях, с пробитой грудью или исполосованные саблями, кинжалами...

Горевать, переживать – сейчас, здесь ничего не значит.

Все было предельно просто, строго и жестоко.

Если бы в обычное время когда-нибудь он подумал бы, что ему так суждено умирать (когда был ослом – добавляет та часть сердца, которая не знает никакого снисхождения), то он сам бы вынул на острие кинжала свое сердце, как жертвенную печень в руках молящегося.

Но это, оказывается, все раздуто, глухо, пусто... Слова есть слова, их давно испоганили, начинили всякой ерундой. Человек, оказывается, намного ничтожнее, он весь зависит от живота. Иногда шутят, говоря, что вот – вся голова ушла в живот... будто это не так.

Иногда, среди мучительных раздумий, перед глазами мелькают картины... Вот он нетерпеливо просит мать оторвать крылышко уже почти готовой курицы, такой аппетитной на железном длинном вертеле у пышущего жаром камина. «Отойди, а то получишь...» – огрызается мать, а он не может отвести глаз от жарящейся курицы... все же, не сдержавшись, касается пальцем крылышка – но не успевает поднести палец ко рту, облизать, как его достает рука матери... От этого короткого прикосновения так больно, что он невольно оборачивается: у матери глаза вытаращены, вид страшный, если его поймает, обозлившаяся, – так сильно может ударить его о что-нибудь, – пожалуй, и дух испустит. Он же маленький был тогда...

Сейчас он понимает, откуда вся эта ярость матери, которая потом сама отдаст лучший кусок ему, – это древнейшая ревность к своему куску. Когда не было более одного-двух кусков, эти куски должны были сохранить жизнь одному, а другой должен был умереть...

Взгляд отца – он всегда находил его, и в детстве и потом. Здесь, на этой земле только возможна наша жизнь, ибо она – Родина, в ее власти должны быть наша жизнь и смерть и место вечного покоя, говорил ему всегда этот взгляд, и говорил яснее и лучше, чем если бы словами. Каждому на земле свое место, говорил взгляд отца, – иначе сейчас здесь ходили бы верблюды, слоны пили бы чистые воды Кодора, поглубже погрузив свои хоботы, рычали бы львы и тигры...

Но когда человек умирает, видимо, все земли одинаковы, никакая их них его не пощадит... сожрет... и других объяснений и названий это не имеет...

«Уже, кажется, пройдет, кажется, я выжил...» – слышит он голос умершего брата. Последним усилием поднял руки, закрыл уши, чтобы не слышать голос брата, совсем мальчишки, – перед смертью... перед небытием. То и дело в памяти стали мелькать знакомые, случайные, живые, уже неживые лица... Среди них растерянно все время мелькает лицо Майяны, ее

медовые глаза, всегда ищущие его... В лице ее – грусть, но все же оно светлое, говорит только языком жизни.

Мсоусту хочется, чтобы она исчезла. Там, где он лежит такой – весь обросший, изжаждавшийся, изголодавшийся, жалкий и никчемный, где он плавает в болоте гнусных мыслей и раздумий, ее образ не к месту. Он не жалел ее, но такое состояние имеет свою совесть, если даже она черная, нельзя ее подслащать...

Нету ничего – ни несчастья, ни счастья... добрые отношения, даже и любовь, даже ненависть, – всем этим обрастает человек, когда он сыт и здоров. Есть только – или присутствие души (жизни), или отсутствие души (смерть), тут все строго рассчитано, определено – лишнему тут не место...

Он попытался повернуться на другой бок, но что-то мешало... потрогал – его револьвер. Совсем забыл о нем. Сейчас он еще раз убедился, что все, что делал, – в каком-то забытьи, ничего не помня, себя не чувствуя.

Он взял револьвер и подержал в руке, покрутил барабан.

Пока есть еще немного силенок, подумал он спокойно, пока совсем не стал чувствовать себя ничтожеством...

Он присел на лежанке. Хотел подумать, напрячься, узнать, что же вспомнится в последние минуты. Но он до того уже углубился в небытие, что никто и ничто не доставало сюда...

И вдруг он стал вспоминать – и очень четко – то, что давным-давно было забыто по самой ничтожной случайности... никак не думал, что когда-нибудь еще возникнет в памяти...

САМАКУА – ГОЛОС МИНУВШЕГО

Вот он идет по самой кромке берега, вдоль шипящих волн, это утихает вчерашний шторм. Позавчера здесь был такой мелкий, нежный, сухой песок, а вчера море вынесло одни камни, и песка будто и не было. Уже несколько дней, как он каждое утро проходит здесь. Именно в такой час, когда до начала занятий еще остается немного времени. Они тогда с братом Гудзбой учились в прибрежной школе, нанимали комнату у каких-то очень далеких родственников. Сюда же, на берег, так рано он приходил с одной целью: чтобы поймать, подкараулить сына священника, преподававшего в школе «Закон Божий». С сыном священника они сидели в одном классе. Как-то во время урока парень этот обругал его по-матерному... но тогда как раз вел урок отец мальчика, священник, и Мсоуст ничего не мог сделать. С тех пор он целую неделю потихоньку ходил за ним... но тот, чувствуя неизбежное, отправлялся в школу и возвращался исключительно с отцом, вцепившись в его рясу, которая всегда пахла чем-то жареным. Отец не понимал, в чем дело, и никак не мог нарадоваться этой чудесной перемене в своем сыне. Пока Мсоуст не появился в классе, сын священника держал всех остальных в повиновении, особенно приехавших из деревни. Они его не очень-то боялись, но боялись его отца. Но с Мсоустом и этого не получилось; глядя на него

многие восприняли духом. Сын священника затаил злобу, но боялся Мсоуста. Только вот заставил себя трусливо, на уроке отца, обозвать, оскорбить его...

Теперь Мсоуст хотел его проучить: во-первых, тот действительно был гнусный тип, а во-вторых – сам он очень скучал по матери. Так скучал по ней, что, хоть и учился хорошо, в голову ему ничего не лезло. И вот в такое время тот смел оскорбить его мать... Мсоуст не мог успокоиться, пока не накажет его за это.

Идя по самой кромке берега, он делал вид, что ищет красивые камушки. Священник жил рядом. Действительно, когда попадались красивые камни, он их поднимал, собирал. Он и тогда не верил всяким россказням насчет доброго глаза и злого, насчет сглаза, хорошей, счастливой ноги, но любил дырявые камни. И верил, что они счастливые.

В это утро среди выброшенного на берег штормом не то что дырявых, но даже и просто пестрых камушков не было, все как на подбор серые, округлые, будто древние каменные ядра у стены вражеской крепости. Злясь на эту насыпь серых камней, он поравнялся с домом священника – и остановился удивленный: не доходя до камней, на песке, куда давно не доставали волны, на жесткой, вечно пожухлой травке стоял его оскорбитель. Они одновременно увидели друг друга, и тот сорвался с места, даже не успев вскрикнуть. Но Мсоуст очень быстро догнал... Когда же увидел, что из носа обидчика хлещет кровь, опомнился и отпустил... Услышавший крик священник, двумя руками придерживая рясу, бежал сюда как мог.

– Собачий сын!.. – Страшно разъярен был этот носитель божественного на грешной земле.

Мсоуст сделал свое дело и дал стрекача, десять священников со своими сыновьями не догнали бы его. Не заходя к родственникам, у которых они снимали комнатушку, прямо направился в деревню. К полудню Гудзба догнал его: побоялся, что по дороге, где много лесов, ночью его могли задрать волки...

Как только они вошли в дом, по выражению его лица мать сразу догадалась, что здесь что-то неладное. Вытаращила эти свои глаза, главное свое оружие, которым на расстоянии пугала детей, и ринулась на него. Но он увернулся от ее руки: она в такие моменты могла сделать очень больно.

Отец, когда находился дома, вечно не сидел на месте – ходил, просто метался по комнате. Он на ходу поймал мать за руку, остановил и дал ей какой-то знак.

– Все выгораживаешь – и вот что из него вырастил, – огрызнулась она. Потом уперла руки в боки и покачала головой: – Как я еще с ума не сошла, живя с человеком, который целый день мечется по дому, не сядет.

Отец улыбнулся немыми губами.

Это воспоминание как пришло внезапно, так и исчезло. Он медленно поднял револьвер и приставил к виску, потом к сердцу – и так держал некоторое время. И тут его тело, его кровь, отяжелевшие, вялые от болезни,

голода, жажды, – страшной болью пронзил панический страх. Руки, державшие револьвер, задрожали, и он вывалился на пол...

– Неужели нет Бога, неужели его действительно нет... – выговорил он глухим, не своим голосом. – Если Ты есть, то в чем же я провинился, чтоб погибнуть так бесславно, чтоб так меня унизить, растоптать? Почему же никак не дал ты себя почувствовать, не дал никакой надежды?.. Я же еще молод... как говорят, еще не пробился родник, из которого я должен испить... А-а? Или отметил бы чем-нибудь, каким-то милосердием, наконец... – я ведь уже на твоем пути!.. Ты... ты, конечно, этого не можешь, если своими представителями на земле ставишь таких ядовитых крыс, как преподобный Барнаба... Барнаба сам гнида и в бороде у него гниды, днями-ночами помышляет, как бы какую пакость совершить. И это ты, всевидящий, всезнающий, всеслышащий вершитель справедливого суда?..

Так думал он в яростном полубреду, и действительно стало как-то по особому тихо, и ему показалось, что небо медленно приближает его... Если такая сила есть, значит, это не пустое пространство...

И в это время, от страха ли, или от нового приступа слабости он стал терять сознание, и когда он попробовал шагнуть дальше к стене, чтобы не упасть, не смог... он рухнул вниз и потерял сознание.

Он не помнил, долго ли пролежал, но когда начал приходить в себя, стал слышать какие-то странные звуки, шорохи, но еще некоторое время не мог раскрыть слипающиеся веки. Вдруг явно ощутил, что кто-то обнюхивает его, на затылке, на лице – след легкого дыхания. Сразу раскрыл глаза, будто выздоровел... и он увидел то, чему и в сказке не поверил бы: косуля стояла прижимаясь к двери... почувствовав, что он пошевелился, отошла. Когда увидела, что он раскрыл глаза, – вздрогнула, но с места не сдвинулась. Она была худая, и со своей слипшейся шерстью казалась будто надутой воздухом.

"Или ее привел сюда запах дыма, тепла, – может, это и с ними бывает, когда невыносимо тяжело... или она провалилась в ту дыру между стволами и дверью... – мысль его работала четко. Ей некуда уйти, но на это надеяться тоже нельзя, все равно не надо ждать. А так – она сейчас сильнее, чем он...

Он пошарил рукой и нащупал револьвер, который недавно примерял к своему сердцу... поднял, навел на косулю и нажал курок: видимо, уши были заложены, выстрел послышался негромкий, но хлесткий, как удар плети, и сильно отдало в плечо. Он увидел, как косуля вздрогнула – и стала оседать.

– Оу-ухх! – опять он издал эти нечеловеческие звуки, произвести которые, однако, способен только человек, – и присел на лежанке.

КОГДА ТВОЙ ДОМ – ЧУЖБИНА

Поблизости никого, кто бы

мне подпевал...
Запев

На другой день после похода, совершенного с Бадрой, Мзалей не стал подниматься утром с постели. Он очень устал, все тело болело, в костях ныло. О том духе, энергии, которые последнее время приходили на подмогу, казалось, можно забыть, словно их никогда и не существовало.

Может быть, он попал в очень тяжелое положение, думал Мзалей о человеке, с которым, как говорили, они похожи будто две капли воды.

Когда ее не стало, этой поддерживающей энергии, он как-то больше поверил, что и вправду может быть такая сила, поверил, что она действительно витала здесь... Он думал, что дух этого человека, рождаемый надеждой на него, существовал здесь везде, имел силу, – но и в то же время догадывался, что сам он с ним все же ближе, что лучше других воспринимает его поддерживающее влияние. Но одного он не знал: что же делает возможным, чтобы их крови так перекликались, – их близость или их разность. Сначала, когда он стал на себе замечать странноватое и сладковатое это воздействие, как воздействие глотка молодого крепкого вина, ему казалось, что это фантазия, какое-то волшебство, и верил и не верил... но теперь это было для него реальностью.

В господском доме стояла какая-то удручающая тишина, словно все замерли и чего-то ожидали... тишину нарушали или быстрые шаги Чахуназ – смущаясь, рдея, несколько раз решалась подойти к нему, узнать, в чем он нуждается, что ему подать, – или еще чьи-то медленные шаги где-то возникали, будто от камина до какого-нибудь стола, и прекращались. Господин и госпожа почти не выходили из своей спальни, как видно, они долго спали. Сафия тоже что-то утихла. Но зато целый день стены не успевали задержать голос Эсмы, и звучал он теперь непривычно для тех, которые ее знали; видимо, многие считали, что она свихнулась опять, на этот раз в другую сторону, ближе к радости.

Мзалею нравилось, что Эсма вдруг ожила, искренне был рад за нее.

Ему не хотелось, чтобы мать его навестила сейчас, нашла его вот таким – уставшим, измученным. И более: после того как услышал вчера в открытую насчет себя и Мсоуста, – боялся, встретив мать, чем-то выдать себя. Что Манча обыкновенный подонок и не прочь посмаковать сплетню, слушок, он понимал, но, с другой стороны, и то, что Манча осмелился так открыто все высказать перед ним, – это, конечно, не просто. Здесь было много частностей, которые он должен был выяснить, уточнить. Подумав, взвесив все, он понял, что ему страшно не за себя, а за мать. Он понимал, если услышанное – правда, что означает для нее его приезд и как она живет все это время, какие муки она переносит, находясь в вечном страхе. Но все предыдущее покажется детством, когда игра пойдет по другому руслу, когда уже не догадываясь как раньше, а зная наверное, – начнут играть, представлять ничего не знающих, не ведающих. И кто может сказать, куда

все это приведет! Да и просто – она не может дать выхода своим материнским чувствам по-настоящему...

Люди везде одинаковые, думал он с досадой, будь то имеющие власть, образованные, достаточно интеллигентные, достаточно воспитанные, будь то трудяга, который зарабатывает на жизнь своим потом... в каких-то вопросах, жизненных обстоятельствах они оказываются в одинаковых положениях, и одинаково забывают, что человек должен понять вину и невиновность ближнего... если даже виновен, нужно хотя бы облегчить его участь — понять, не забывать: человек слаб... сами бы догадались простить, но чаще забывают или делают вид, что забыли. Поступают так, желая скрыть под шумок, по крайней мере надеясь скрыть, собственные грешки, свою виновность, желая двигаться как ни в чем не бывало в этом омуте чужих сплетен и бед.

Чем больше шума возникает, тем больше, видимо, они будут отчуждаться, он и мать. Сейчас Мзалей стал понимать ее сдержанное, иногда почти холодное отношение к нему. Значит, тревога давно свила корни в ее душе, давно выделяет яд... Их отношения все более и более делались болезненными.

Что-то надо придумывать. Начавшееся сближение со своей землей, своими людьми так захватило его, что дальше и больше этого для него последние недели ничего не существовало. Так что все надо решить здесь, соразмеряясь с здешними обстоятельствами.

Чахуназ принесла ему поесть, но убирать грязную посуду что-то долго не шла. Это на нее не было похоже. Мзалей знал, что она сейчас не в духе, и очень. Правда, насчет того, что она переживала, Мзалей был спокоен, он уверен был, что там все в порядке.

С тех пор, как начался снег, исчез Чантала, нигде не появлялся. Это и было причиной горя Чахуназ. Хоть и знала, что не так прост Чантала, чтобы запросто пропасть, но все же – весь мир в эти дни переменился, всякое может быть. Так что Чахуназ можно было понять. «Блуждающим» называла его... Мзалей успел несколько раз увидеть Чанталу. Удивительно, но парень ему понравился. В нем была своя совестливость: казавшийся вне обид и ранимости, он тем не менее ясно давал понять, что не праздный гуляка, что и он имеет такое же самолюбие, которое тем и было сильно, что не давало себя уязвить. Он уходил, иногда достаточно надолго, но возвращался обратно... конечно, терял и сам, но приобретал больше, многое видел, многое знал. Очень трогательно было его отношение к Чахуназ: появляясь в усадьбе вовремя и исчезая вовремя, был очень тактичен, учитывая ее и свое положение.

Такой человек, если вернется, то вернется насовсем, больше, чем те, которые никогда отсюда никуда не уходили.

Наконец за грязной посудой явилась Чахуназ.

– Опять пошел снег, точно как первый раз... – Она не спеша собирала тарелки. – Не знаю, как все будет...

Убрала со стола, подложила в огонь в камине новые поленья.

– Что бы я без тебя делал, Чахуназ! – Мзалей хотел приободрить девушку.

— Я бы с удовольствием только за вами ухаживала, если б не другие дела... – Она это сказала с радостью, но глаза ее не смеялись. – Если вы встанете, я очень обижусь. К обеду я вам такое приготовить хочу... И бог велел, чтобы вы хоть день отдохнули после таких трудов. Какими вы были, господин, когда вернулись только! На вас следы пальцев и то оставались, а сейчас...

– А что сейчас?

– А сейчас, извините, но вы стали на нас похожи...

– Вот этого как раз я и желаю, Чахуназ, ты меня обрадовала. – И он не хотел уже, чтобы она свои слова или обратно взяла или сгладила, и потому перевел разговор на другое: – Вижу, ты волнуешься, но поверь моему слову и опыту, это абсолютно напрасно.

– Настоящий блуждающий, настоящий бродяга! – в сердцах отозвалась девушка, но чувствовалось, готова заплакать. – Все люди как люди, а он... Передают, его хижину повалило снегом. Если даже самого не придавило, как потом будет людям в глаза смотреть...

– Я знаю, мы видели. Если бы даже он в ту ночь был там под крышей, с ним ничего бы не случилось: хижина так мирно, безобидно легла на бок — устала, стара стала. Ты не думай, что он не хочет с тобой видеться... в такое время придешь куда-нибудь – и не так просто уйти. Не сможет даже и ради тебя... Так что потерпи, ждет небольшая разлука.

– Одна гордость, пусть и возится с ней, бродяжка! – сквозь слезы засмеялась Чахуназ. – Лишь бы жив остался, а там...

– Он и в огне не сгорит!

– В такой холод лучше было бы, чтоб горел... пригодился бы какой-нибудь вдове, у которой нет дров...

Мзалей смеясь погрозил ей пальцем: мол, не ругай нашего брата.

Когда Чахуназ собралась уходить, спросил у нее:

– Все эти дни я дома почти не бываю... как тут, все живы и здоровы? Как мать, отец?

– Все, слава богу... Госпожа очень беспокоится, как бы вы не простудились. Но барин... – она приблизилась к его постели и зашептала: – За него немного боюсь.

– Почему?

– Глаза у него не чистые, молчит...

– Стареющих всегда трудно понять, – отозвался Мзалей холодновато, давая знать, что он не хочет продолжать этот разговор. – Они настолько изменяются, – кажется, другие люди.

Через некоторое время он встал, оделся, не убирая постели, походил по комнате. Подошел к двери на балкон, чуть приоткрыл: снег падал, но нехотя, словно самому уже надоело. Он плотно прикрыл дверь и сел у горячего камина.

Вдруг стали очень звучно отбивать секунды часы, которых он до сих пор не слышал. Поднял голову и поглядел туда. Смотрел лишь, как ходит маятник, на цифры – нет. Ему незачем было знать, сколько времени.

Течет безостановочно, уходит, подумал он, но, может быть, оно совсем и не движется, а отсчитываются мгновения жизни? После смерти, после окончания жизни человека, время же остается, но для того, у кого ушла жизнь, уже нет времени...

Когда ему так вот думалось, словно глядел на жизнь со стороны, если даже не в настроении, – ему становилось лучше, ибо в такие минуты будничность, повседневные драмы казались мелкими, незначимыми – будто и не стоило их принимать всерьез, переживать. Но все равно – ежедневное, обычное, будничное быстро стаскивало к себе и начинало кружить в своем хаосе.

Вот сейчас тоже – кто-то постучался в дверь. И не успел он ничего ответить, как не дожидаясь вошла Эсма.

– Скажи мне пожалуйста, Мзалей, – начала она весело, как только переступила порог. – Когда же перестанет этот снег и мы сможем увидеться с теми, с кем очень хотим встретиться? Ты же образован, ты должен уметь предсказывать...

– Снег, конечно, перестанет, что ему остается... – Мзалей тоже повеселел, встал навстречу ей. – Я счастлив, что вижу тебя такой жизнерадостной. А то, правду скажу... – он понизил голос. – Ни с того ни с сего – все ходим по дому так, будто на плечах у нас висит мертвое тело...

– А ты не обращай внимания... – она открыто посмотрела ему в глаза... – Это не оттого, что их там грызет какая-то боль, забота, – потому лишь, что нечего делать, от смертельной скуки. Я их знаю больше, чем ты. Я их наблюдала... а что мне еще оставалось делать, когда ты взял и укатил на целую жизнь...

– Видишь, прикатило меня обратно... даже рыба, говорят, возвращается метать икру туда, где сама родилась. Этого никому не избежать. Если даже не вернется кто-нибудь, ему счастья нет, жизни не будет...

– Посиди, посиди, Мзалей, я хочу на тебя хорошенько посмотреть. – Она пододвинула другой стул и подсела близко. – Когда ты приехал, я видела только твой призрак, на глазах у меня была пелена.

Некоторое время они сидели, глядя друг на друга, а потом оба враз засмеялись.

– Удивительная штука жизнь, – покачала головой Эсма. – То она тюрьма – ни окна, ни форточки. А другой раз смотришь – все двери нараспашку – и к надежде, и к радости, и к любви, и к счастью.

– Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи! – воскликнул Мзалей. – А то, не скрою, у меня так болело сердце от того, что услышал про тебя, как только вернулся... – Он вздохнул свободно. – Думал, гадал, ломал голову, – что могло тебя довести до такого отчаяния...

– Я правду скажу: здесь ко мне всегда относились нормально, никто меня никогда не притеснял, как ни странно, – заговорила Эсма. – Если сравнить с

тем, как они относятся друг к другу, можно сказать, меня на руках носили. Не помню, чтобы даже Умар мне сказал какое-нибудь очень обидное слово, – засмеялась она. – Это небывалый случай. А так, конечно, он должен вонзать свои взгляды в каждого, ему важно знать, пробьет или нет насквозь... Не говоря уже о госпоже: следила за мной, как за своей родной дочерью. Все равно, зачем скрывать: как только ты уехал отсюда, мои глаза смотрели только туда, куда ты уехал... как завороженная была. Все в мире потеряло значение, кроме тебя...

– Эсма, о чем ты говоришь...

– Теперь я не скрываю – потому что все это прошло. Я даже не знаю, как назвать то чувство... Когда я убедила себя, что ты больше не вернешься, решила – всему конец. – Она задумалась. – Ты помнишь, когда только что вернулся, я не знала, куда себя деть. Вдруг я увидела, что ты чужой, а тот, кого я безнадежно ждала, – не вернулся, там остался.

– Это правда: туда уехал один, а приехал совершенно другой.

– И нужно было сказать одно слово, чтобы меня расколдовать, вывести из невменяемого состояния: «Алоу». И все стало на место, и пелена с глаз упала, и я увидела настоящий свет. И тогда я стала вспоминать все заново... – она смутилась, опустила глаза. – Почему так он... до неприличия глядел только на меня, приезжая сюда. Сколько раз я слышала, когда нам приходилось стоять рядом, как прерывается его дыхание. И я не могла все это терпеть... понимала как недостатки его поведения... а о том, что он мог на меня всерьез обратить внимание, – никогда не подумала бы... на меня, на сироту, да и вообще...

– Это уж позвольте вам сказать! – смеялся Мзалей. – Алоу – он тоже такой же, весь в сомнениях, страданиях. Мне только остается благословить вас!

– Мзалей... – Эсма опустила глаза. – Может, я просто опять для себя вымечтала... тешу себя надеждой... Уж слишком я уверена... и это мне не очень нравится.

– Тут уж поверь мне...

– Снег, все этот снег... – Она посмотрела на Мзалея и засмеялась, счастливая.

– Снег ты не торопи, – сказал он задумчиво. – Разлука тоже значит многое, иногда не меньше, чем свидание. Ты веришь, что я очень рад за тебя?

– Верю, верю, очень верю!

– Я не скрываю: роднее и ближе чем мать да ты у меня никого нет.

– И у меня... Кроме Алоу... – она снова прыснула...

Немного помолчали. В камине тихо, без треска горел огонь. В остальной части господского дома все еще стояла удручающая тишина.

– Мзалей... – хуже тюрьмы. Не удивляйся, что так резко меняю разговор. В тюрьме хоть каждый знает, за что сидит, знает, виновен или нет. Здесь же – виновны все: и виноватые и не виноватые. Если ты думаешь здесь остаться... Ты пойми, ты сам и как все у тебя сложится – мне не безразлично...

– Эсма, я ведь тоже не слепой, – ответил Мзалей. – Сегодня ты меня обрадовала, давай на этот раз здесь остановимся.

– Хорошо, ты прав, – сказала девушка задумчиво.

Когда, проводив ее до дверей, Мзалей остановился, она поднялась на цыпочки, дотянулась до его лица и поцеловала. Смутилась, покраснела, потупила взор, потом, прыснула в кулак, легко выскользнула из комнаты.

Откровенность Эсмы, то, что они объяснились, успокоило его. Вдруг захотелось достать из саквояжа книги, выбрать что-нибудь, почитать. Он и рад был, что входил в здешнюю жизнь, но, с другой стороны, где-то дал себе дичать. Очень захотелось почитать, отвлечься, отдохнуть.

Не успел он это подумать – страшно ударила дверь (сколько уже выдержали эти двери) и раздался пьяный рык Умара.

Уже успел нализаться, со злостью подумал Мзалей, средь бела дня.

Удивительное свойство этой барской усадьбы: есть тут такие тайники, закоулки, что если туда забраться, днем с огнем не найдешь. По крайней мере, так кажется. Кто его знает, в каком из тайников и закоулков находился сейчас Умар.

Шаги Умара раздавались, пока не исчезли в подвале. Только этот его подвал-крепость мог схоронить его шаги.

Мзалей знал, что когда-нибудь им придется поговорить один на один. Похоже, Умару тоже не терпится с ним объясниться. Мзалей понимал, что с Умаром, в общем, все ясно: глубоких мыслей или каких-то незнакомых сторон характера он не обнаружит, но черного цвета тут было предостаточно, Умар мог любого очернить так, что мать родная не узнает.

Единственное Мзалей не представлял, чем занимался, о чем мог думать Умар, когда отдыхал от своих черных дел; какими он тогда красками пользовался, чем забавлялся. Такое вообразить было невозможно... или он не нуждался в отдыхе, а все это было – его нормальное, естественное состояние?

А он сам? Сам Мзалей? Он не совершил паломничества, не ходил постоянно в церковь, не падал на колени перед образами, но считал, что имеет Бога в душе. Он сам для себя был и храмом и небом. На человеческом языке – это называлось, что он встречается с самим собой, но встречается в собственной душе с Богом, которого носит в себе.

Он прошелся по комнате... мысль о чтении была омрачена рыком Умара, и решил пока отложить книгу.

Больше никто нигде не показывался: все остальные или спали, или притаились. Только несколько раз по коридору, подражая конскому топоту, пробежал Астамыр. Он было затих, снег нагнал на него страху, но в последнее время тоже, как Умар, стал приходить в себя, и его громкие выкрики и топот в день несколько раз оглашали дом. Но к Мзалею он близко никогда не подходил. Иногда Мзалей думал, что, видимо, можно как-то его повернуть, направить по праведному пути, хотелось с ним сблизиться, попробовать привлечь его на свою сторону, – но в конце концов он понял, что это ему не удастся. Мальчишка бежал от него как от чумы.

Сегодня, когда тот побежал громко топая по коридору, Мзалей все же открыл дверь и позвал его к себе:

– Астамыр, иди, заходи ко мне, – сказал он ему ласково. – Книги тебе покажу, расскажу о чудесных путешествиях, о сказочных мальчиках, о героях...

Когда тот вдруг остановился и как будто нормально посмотрел, Мзалей обрадовался, решив, – может, одумается.

– Нагнись, что-то скажу, – попросил мальчик.

Мзалей нагнулся и подставил ухо.

– Я тебя тоже застрелю! – сказал Астамыр шепотом. – Как только будет заряжено ружье. Тебя я убью из большого, и пулю положу вот такую, – он показал кулак, заорал во всю глотку и побежал в другой конец коридора.

Мзалей не удивился, пошел обратно к себе.

Сел у камина. Огонь там догорал, но не было охоты даже полено подбросить. Ему, единственное, хотелось бы послушать арфиста, но кто знает, где тот сейчас. Тоже скрывается в каком-то закоулке барской усадьбы. И навряд ли арфист здесь, в большом доме, стал бы играть без разрешения Алмы. Алма давно и сам не слушал, но ко всем остальным ревновал его.

Да и как-то не подходила музыка, песня к этой мрачной обители.

ДОРОГОЙ СНЕГОПАДА

Меня томило мое одиночество
запевалы,
И когда хор подхватил,
мне стало легче...
Хор

Примерно через три недели снег стал ослабевать. Не было дня, чтобы несколько раз не начинало сыпать, но и перерывы долгие уже случались, не то что раньше, когда мело с утра до ночи. Ночью открывалось небо. Цвета золы... казалось, еще не остывшей золы. По этой золе были разбросаны еще не потерявшие жара редкие угольки – звезды. Рано утром в небесном куполе сгущалось нечто, похожее больше на туман, потом оно постепенно расползалось и закрывало все небо, опускалось – и начинался снег. Ложился поверх промерзшего за ночь уплотнившегося слоя на вершок, и туман опять рассеивался. Так прошел весь январь и половина февраля. Правда, в феврале выдавались дни – как в самом начале большого снегопада, пришлось заново очищать крыши. Во второй же половине месяца ночью небо чаще случалось чистое, и стояли сильные морозы. Днем, когда тучи рассеивались, открывалось бледное небо, как лицо перенесшего болезнь ребенка, но если хорошо вглядеться, присутствовало в нем и ровное сияние, как если бы ранней весной.

Луна теперь светила мягче, не как раньше, когда холодно поблескивала, будто заледеневший ком снега.

К большому снегу привыкли, и многое изменилось – другими стали и дни и ночи. Тем, у которых дома не выдержали, повалились, пришлось переселиться к соседям – находились теперь как бы в долгих гостях. Работали, соревнуясь с членами той семьи, в которую попали. После работ усаживались, пели, рассказывали длинные, как эти длинные снежные ночи, сказки. Все эти ночи, будто как ученик, повторяющий пройденное, они вспоминали: забытые песни, сказки, были, которые, думали, уплыли с изгнанниками за море, сами же забыли их от горя, оттого что слишком долго было не до песен, не до развлечений. Они вспоминали каждого соседа, родственника, брата, свата, того, чье лицо где-то засияло, запомнилось, – которых угнали. Иногда звучали песни изгнанников, которые тогда пели – рыдая, садясь в невольничьи корабли. А сейчас их пели не как плач-причитание, – просто грустные песни, воспоминание об ушедших, будто молитва за них:

Девушка, девушка, горемычная,
куда тебя ведут?
Парень, парень, горемычный,
куда тебя гонят?..
А те, забыв о себе, стенали:
Родина,
Родная,
Несчастная наша родина!..

Тогда их голоса при слове «родина» как лезвие резали гортань, и казалось, струилась кровь... долго растягивали это одно слово, самое дорогое и больное, словно желая, перечеркнув время, оставить его кровавой полосой, вечным закатом, не сходящим с небесного лика...

Сейчас, в зимние заснеженные ночи, пели эти песни – и плакали. Замолкала песня, слезы высыхали – и воздух, которым дышали, казалось, становился чище, и сами себя чувствовали по-новому. Слезы смывали следы горя, унимали боль давних ран.

Иногда все собирались и начинали вслух тосковать уже по тем своим близким, знакомым, с которыми на время разлучил небывалый теперешний снегопад, – и как бы заново заводили с ними связи, заново сближались, дороже становились друг другу.

Народ, после губительного урагана, был обескровлен, лишен сил и средств, которые связывали, объединяли, давали саму возможность существовать как единому сообществу. И люди, те что и были – народ, – рассыпались, как бусинки с порванной нитки... Корни, которыми стоял народ, соки, которыми он питался, словно бы безжизненно застыли, сгустились. Нужна была встряска, чтобы заставила ожить корни, забурлить

соки, задвигаться... чтобы народ сделался подобен живому дереву, вовремя зацветающему, дающему полноценные плоды.

Сейчас, борясь со снежной напастью, оживая в необычных условиях, в этих встречах, связях, песнях, рассказах, идя по следам тех, кто помогал нуждающимся в помощи... выпрямляла, оживляла парализованные корни, связи, заново рождалась – надежда, дух вырабатывал нужную энергию. Этого нового не могли остановить даже те порывы, разрывы в душах, на их земле, которые были специально произведены их врагами.

Все работавшие, служившие Большому Снегопаду, неведомо для самих себя работали на это оживление, начавшееся возрождение духа. Все, кто мешал этому возрождению, стали заметнее на белом фоне снега, как черные пятна. Если раньше прощали малые просчеты, считая, что, мол, оказался человек слабым, жизнь заставила, то сейчас ничего не прощали, все засчитывалось. Люди дышали очищенным многодневными снегопадами свежим холодным воздухом – и старались, чтобы с ним меньше смешивался застойный, смрадный воздух эгоизма, жадности, мелочности, предательства и безнравственности.

Хоть Майяну и не оставляли без внимания, приходили, помогали, – все равно ей было трудно: работы, забот каждый день невпроворот. Не везде смогла прорыть дорожки в сугробах, к сараю ходила на лыжах-плетенках, но – террасу она вычищала каждый день. Потом еще – дрова... и скотину надо было кормить, поить... и наконец – ручная мельница. За день это все выматывало ее. Дров пока было еще немного в запасе, но все сырые. Для того, чтобы разжечь огонь, каждый раз требовалось несколько сухих поленьев... Уже не знала, откуда их брать...

А мороз случался сильный, особенно для такого домишки, как ее, с тоненькими стенами. Забыла немного воды в кувшине, за ночь он лопнул, рассыпался. Кожа на руках Майяны погрубела и растрескалась, даже и на лице, которое никогда ничем не мазала, всегда свежем – просто от ее горячей крови и юности, – тоже кое-где растрескалось от мороза. А дух, который всегда находил ее, поддерживал, не давал унывать, – исчез как вода в горячих песках пустыни. Осталась боль души, не освобождавшая ни днем ни ночью, тоска по Мсоусту.

Она была на пределе, но как-то старалась держаться, не распускать себя.

Его дух, воспоминания о нем – все одно, все на него похоже, – злилась она в душе, – даст о себе знать, разбудит надежду – и тут же исчезает, оставляет: дальше, мол, сама постарайся. Когда же это было, чтобы девушка одна старалась за себя, когда же это было, чтобы она одинокой могла быть счастлива!

И если целый день он стоял перед глазами, а дух молчал, она думала иногда: конечно, каждый его выпил по глотку – сейчас много жаждущих (вдруг убедились в этом) – ей больше и не осталось... а сам он далеко, оттуда сюда не достает, да и по характеру своему не может тратить себя только для любви. Она не знала, где он теперь, но раз столько дней его не было, столько

не видела его, – если даже находился сейчас за этим вот холмом, для нее было очень далеко.

Сегодня она поднялась рано, долго разводила огонь, тот не разгорался, шипели и дымились сырые дрова, дым ел глаза, образ Мсоуста казался мертвым, окаменевшим – будто она его видит в гробу. Ее измучили мысли о Мсоусте, она чувствовала, что ему очень плохо, – или совсем погибает, или стоит у самой пропасти. Эти предчувствия давно держались возле – но пока могла, она оставляла их на расстоянии, не давала войти в ее ежедневные терзания и занять там главное место. Но теперь уже у нее больше не оставалось сил бороться.

Огонь не хотел разгораться; тогда она пошла, дала корм корове и телке, пока не начало мести. Небо снова обещало снег. Когда вернулась в дом, дрова уже занялись. Даже Иалса встала, сидела у огня и грелась.

Хотя бы подмела, помогла в чем-нибудь... Майяна уже не могла жалеть и мать, особенно когда думала о том, как в ней много черточек напоминают ее брата.

– Мать, если скажу, ты просто готова будешь меня задушить, но... – она сейчас не могла ничего не сказать, кого-нибудь не подколоть: – Что же случилось, мой дядя так и не удостоил нас своим посещением в такое время... в конце-концов, он через кого-нибудь хоть слово свое мог сообщить, поинтересоваться – живы ли мы, или уже погребены заживо...

– Я, напротив, все это время переживаю, не заболел ли он, или кто в доме, чтоб его все напасти... – вздохнула Иалса, но готова была на этом и закончить.

– Оставь, мать, – отрезала Майяна. – Человек, который все время занимается одним собой, жадничает, – он всегда такой: забывает в самые трудные дни, а когда тебе хорошо и от него ничего не требуется – он самый лучший дядя.

– Не надо, девочка, все зло на моего брата взваливать. Ты же знаешь, сколько у него дел, сколько его тянут, скольким он нужен. – Иалса до сих пор никому не давала что-нибудь не то сказать о своих, особенно о брате, но сейчас чувствовала, что особо упорствовать не стоит. – Я согласна с тобой, он неправ на этот раз... понадеялся на других, которые нас уважают, его уважают, но все же... Будем снисходительны к нему, доченька.

– Это я так... а что, если и придет: придет и уйдет... – Майяна повесила котел над огнем, насыпала туда кукурузной шелухи и наполнила водой. Это она, как сама говорила в настроении, суп готовила корове.

Потом взялась за веник, с утра навести какой-то порядок. Она чувствовала, что из этих групп помощи кто-нибудь сегодня обязательно навестит.

– В барской усадьбе – вот где сейчас благодать... – Иалса часто говорила не очень задумываясь и невпопад, но сегодня что-то уж совсем разошлась: – Сколько у них каминов, и, верно, с утра до вечера все затоплены, а сами всей семьей собираются и чай попивают. – Она особо выделила слово «чай». –

Потом, конечно, в такое время они едят особо, достают особые, городские напитки. Эх, как много стоит хорошая, сладкая жизнь!

– Чтоб сгорела эта твоя усадьба! – воскликнула в сердцах Майяна. – Чтоб в золу и пепел превратилась, со всеми своими обитателями!

– Что ты мелешь, несчастная! – Иалса оглянулась вокруг, посмотрела на дверь. – И лес, говорят, имеет уши, разве можно все что ни вздумается нести оттого лишь, что никто не слышит! Пожалела бы хоть госпожу, она в тебе души не чает...

– Никого не надо их жалеть! Все зло от них идет, а им хоть бы что! Чтоб зола и пепел остались на том месте!

Иалса занервничала, не знала, что делать, что сказать. Взяла большую головешку и как бы вонзила в уголья – посыпались крупные искры, стали подниматься роем, огонь разгорелся сильнее.

– Не надо так жечь, мать, надо поберечь, ты же знаешь, что завтра никто не придет и не заполнит нашу террасу дровами! – Майяна видела, что она уже переходит все границы, обижая мать, но сдержаться тоже было ей сейчас не под силу.

Иалса не стала ей перечить, но успокаивать ее тоже не стала.

Они позавтракали молча, не проронив ни слова. Потом Майяна поднялась, надела свои грубые варежки для работы и вышла. Взяла на террасе деревянную лопату, взяла тяпку с кривой рукоятью и пошла по глубокой дорожке, которую продалбливала каждый день, к роднику. Родник был недалеко, сразу за воротами, но прочищать дорожку – нелегкая была работа. Она не могла жить без родника... над ним всегда стоял туман, он дымился, и за все эти морозы, конечно, ни разу не замерз.

Она долбила промерзший снег тяпкой, потом подбирала лопатой. Дело двигалось медленно. Все же, упорно работая, она продвинулась на два-три шага. Пот не то задерживался, не то начинался, ей казалось, что от него так неприятно прилипает рубашка к телу... совсем как ее терзания прилипали к душе... Она работала с яростным отчаянием – и, не заметив, немного больше чем надо подрезала наискось внизу, получился нависший сугроб. Потом еще стала лопатой забрасывать наверх... снег оказался рыхлым, и сугроб начал валиться. Хорошо, что она вовремя заметила это движение и успела отскочить, а то свалилось столько, что могло ее совсем засыпать. Она отошла еще немного дальше, тяжело дыша, посмотрела на завал, подняла голову и посмотрела наверх: туман спускался, опять начинало мести.

Снова взяла лопату и принялась яростно выгребать и бросать наверх снег, заваливший всю ее работу. Спешила изо всех сил, словно за ней гнались. Иногда даже не успевала набрать снегу и взмахивала пустой лопатой... Опять повалило с неба, и очень скоро она вся балы облеплена белым. Все же продолжала с той же яростью, вся вспотела – капли пота текли прямо по лицу, но облегчения не почувствовала.

Совала и совала в снег лопату, бросала и бросала наверх. Так спешила, будто занята была чем-то необыкновенно важным. Так и везде, так и во всем... трудится до изнеможения человек, хочет очистить, проложить свою

дорожку... очищает, подметает, разметает, чтобы хоть дойти до своего родника, хлебнуть глоток... все так, так во всем, до изнеможения трудится, очищает, отбрасывает, а оно сыплется обратно и все опять заметает... а он думает – жизнь свою делает, дает ей начало, любовью согревает, счастьем сердце заполнит... он изнемогает, спешит, а все обратно заносит, заметает следы... все так, во всем так, во всем... Уже она не видит, куда сует лопату, куда бросает подобранный снег, перед глазами летают какие-то гадкие невесомые тусклые звездочки. Все так, во всем так, потому так трудно переносить не только горе, но и радость, есть только начало, и дальше ничего нет, дальше сразу пусто... все так, все, все... Постепенно стало темнеть в глазах, но успела заметить, как опять качнулся нависающий над ней огромный сугроб... Но она чувствует, что на этот раз не успеет отскочить, сил нет... Пусть, мелькнуло, пусть... и не успела удивиться, до чего же спокойно думает об этом – как чьи-то сильные руки сгребли ее. Все равно обвалом немного достало ее, и так чувствительно пришлось по плечу, что некоторое время она его не чувствовала.

Как только прикоснулись к ней, она тут же узнала, что это руки Бадры. Рванулась изо всей силы, высвободилась из его объятий.

– Отпусти, отстань! – говорила она задыхаясь, – все так, все так, все, во всем... – сердце ее бешено колотилось. – Может, я хочу, чтоб меня засыпало, какое твое дело?! Все равно, сколько ни бейся, ни старайся – все страшно заносит, как будто никогда ничего не было... Не трогай, не прикасайся ко мне! Ходят сюда, когда ты на пределе, когда уже ничего не надо... Ходят здесь всякие...

– Успокойся, успокойся... – ее вдруг немного отрезвил голос Бадры. Это был не его голос. Вернее, был прежний, но звучал так, словно его хозяин заглянул куда-то в другую жизнь, о существовании которой прежде не имел понятия. – Ты просто устала...

– Нет, не устала я! – сказала она, немного отдышавшись. – Это вы преждевременно устали, добрые молодцы... Где они, эти мужики под стать здешним девушкам, женщинам, – которые могут любить, стать рядом, которые надежные?! Их кости разбросаны на этом и на том берегу этой проклятой соленой воды... – она всхлипнула, потом отвернулась, давясь рыданиями.

– Майяна, Майяна... – повторял Бадра, не зная, как поступить, потом решился и тихонько положил руки на вздрагивающие плечи.

И она не шевельнулась, не стала сбрасывать его руки. Быстро начала успокаиваться, потом повернулась, обратила к нему заплаканное лицо. Что-то хотела ему сказать или спросить, но почему-то не решалась. Бадра тихонько убрал руки с ее плеч.

– Мы ходили... – Почему-то ему казалось, что он должен опередить ее, сказать прежде, чем она решится спросить. – Манчу нашли. Были я и Мзалей. Мсоуст давно ушел от него. Но неизвестно, где он. Скорее всего, они с Дадыном нашли друг друга.

Майяна измерила его взглядом, словно хотела прикинуть, сколько ему надо материала для черкески. Шагнула вперед, обернулась:

– Заходи, погрейся немного... – и направилась к дому.

Снег опять прекратился, туман поредел и уже не мог спрятать открывшееся пространство.

ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ЗОВ ЗЕМЛИ

Так они жили,
Так они были...
Присказка

В этот день с утра опять повалил густой снег, снежной мглой был окутан мир. Когда к Чантамыру пришел с известием человек, время близилось к полудню, и уже поверх давешнего наста намело по колено. Услышав известие, Чантамыр в который раз подумал: оставив свою родину, как поношенную одежду, они пришли и заселили чужие дома. Привели их или прислали... Тех, которые жили здесь, насильно изгнали, и вот эти, новые, поспешили прийти. Ну, пригнали, привезли их, подумал он опять. Пока те, изгнанники, еще жили здесь, эти, может, приходили, скажем в гости, – погостил да ушел. Или приезжали наниматься на работу: во время прополки и уборки винограда – мегрельцы; возделывать табак – армяне, турки, греки; зимой, чтобы прокопать стоки в болотах или копать рвы на межах, – сваны. Они все делали свою работу, получали свое – и уезжали. А отношения народов, живущих за пределами Абхазии, не решались в пределах деревни. В их деревне до изгнания части ее населения всегда жили только они сами. Эти, новые, переселились тоже не вчера: быстро, года через два после изгнания, – но как-то держались в стороне, обособленно, отчужденно и даже, бывало, враждебно. От властей он еще не получил особых указаний (до сих пор), а так сам с помощью своих скудных знаний русского и турецкого старался с ними поговорить, наладить какие-то отношения, – но пока все было тщетно, они здесь слушались только Анчаа, и у них были какие-то дела с ними, связи; среди пришлых было немало, которые арендовали тут земли под табак.

А вот сейчас, когда стало плохо, случилась беда, – за них должны отвечать сельские власти, да и вся деревня.

Такие противоречивые мысли снедали его, но собрался быстрее, чем обычно: беда есть беда. Дело в том, что снежная лавина, сорвавшаяся с широкого крутого склона, погребла под собой несколько домов с людьми и их скотом. Ни у кого из местных жителей не спросив, пришлые свои домишки, скроенные из разобранных домов изгнанников, поставили под самые опасные склоны. Если даже и спросили какого-нибудь владельца наподобие Умара Анчаа, – что он мог путного им подсказать. У них же, у

местных князьков, явно не было необходимого житейского опыта, они и свою природу и землю как следуют не знают, живут будто как в гостях.

За Чантамыром к домам поселенцев пришло еще несколько человек, среди них были Мзалей и Бадра. Через некоторое время подоспел и Базала. Он вышел вперед и стал внимательно разглядывать уцелевшую часть новых жителей: те выбрались из домов через окошки, сгрудились на утоптанном высоком сугробе. Смотрел долго, потом горестно вздохнул и отступил к своим.

Вид этих людей у домишек, заваленных снегом по крышу, был плачевен: мужики все обросшие, осунувшиеся, ежились от холода, некоторые дрожали безостановочной мелкой дрожью; женщины были в саже, неумытые, нечесаные. Донельзя жалкий вид являли дети: носы посинели от холода, одеты в лохмотья. Один из них особенно выделялся: очень худой, дрожал от холода, исподлобья смотрел на пришедших, словно зверек, попавший в капкан.

В душе Чантамыра при виде этих несчастных людей исчезли все противоречивые раздумья, горло свело и глаза стали жечь подступающие слезы.

– Несчастные люди, кто же на таком месте селится... – сказал он. – Не случись такого снега, так камень мог сорваться и прибить не одного.

На склоне, откуда пришла лавина, камни почти оголились; внизу, где она погребла под собой домишки, людей, скот, деревья, было ровное белое пространство – и казалось, никогда там кроме этих громадных сугробов ничего и не существовало.

– Их так завалило, что сейчас ничего не поделаешь, – сказал один из пришедших. – Откуда знаешь, что завтра не повторится, не накроет других... эта, уже здесь лежащая лавина должна остановить новую...

– Видно, другого выхода нет – ждать весну... – откликнулся кто-то по-соседству.

– Как бы там ни было... – заметил сокрушенно Чантамыр, – как можно погребенных под снегом людей так оставить и уйти. Давайте у этих тоже спросим.

– Моего знакомого старика завалило, – сказал грустно Базала. – Хороший был человек. Тогда я подумал: такой старый человек, с опытом, – как мог он поселиться под самым обрывом. Но сказать ему не мог, не знал его языка...

– Это все оттого устраивают, что жалко земли: побольше хотят пустить под табак, вот и находят места для своих домов, непригодные для обработки... Сами готовы хоть на воде жить... – сказал один из пришедших не то возмущаясь, не то удивляясь.

– Виноваты во всем, – добавил Чантамыр, – те, которые командуют ими. Эти-то что, эти – работники, прав у них немного.

– Пришли на незнакомую землю, – вдруг неожиданно возмутился Мзалей. – Надо же хоть кого-то из местных спросить, что к чему. Они же здесь ничего не знают. Там им сказали, что солнце круглый год светит, – и все... И вот результаты.

Чантамыр, кое-как умевший объясняться на разных языках, что-то стал говорить новоселам. Резко и недружелюбно отвечала одна женщина, мужчины угрюмо смотрели в сторону.

– Они разве спросят, как, что, где построить, как здесь принято, – вдруг с возмущением заговорил человек из дальнего поселка, задержанный в Наришара снегопадом. – Я попал к ним сюда летом. Даже разговаривать не захотели, спиной повернулись ко мне и молчат. Я был верхом, так захотелось растоптать их... но там были дети. Ведут себя, будто это мы на их землю пришли...

– Разве можно об этих несчастных так говорить... – возмутились многие из села. – Откуда знаешь, что им наговорили о нас. Они, думаешь, сами что-нибудь решают? За них решают там...

– Я видел горе, сам испытал достаточно, – продолжал тот, из далекого поселка. – И я пришел сюда, жалея их. Но они не хотят этого понять. Ты посмотрел бы, как там, за морем, обращались с нашим братом... «Всех вас вместе с русскими надо резать» – вот как они говорили. Говорили умиравшим с голода людям. Послушайте, вы только послушайте, что они отвечают... – его внимание отвлекла беседа поселенцев со старостой.

– А что говорят?

– Спасибо, уже мы сами можем справиться... – вот что они сказали, – поспешил объяснить Чантамыр: ему не нравился разговор этого человека из дальнего поселка.

– Не надо сглаживать! Это сглаживание, игра в совесть нас и погубили! – отрезал тот. – Они сказали ясно: обойдемся как-нибудь без вашей помощи. Мы-то здесь стоим и готовы помочь. А думаешь, кто-нибудь из них хоть немного переживал, что пришел на чужую землю, перепахал очаг изгнанника, вошел в его дом? Никогда! Этот грех еще долго будет их преследовать.

– Уже хватит, не к месту твои слова, – перебил его Чантамыр. – Мы никогда не оставляли человека в беде. Мы поступаем, как велит наша совесть. Мы поступаем по-своему...

– Твоя совесть! Очень им она нужна... и не жди от них «спасибо»... – споривший вышел из толпы и отступил в сторону, как бы подчеркивая свое несогласие.

– Дад, Чантамыр... – Базала подошел к нему. – Вот та женщина на меня все время смотрит, она, по-моему, меня узнает.

– Базала, недаром говорят, – в тихом омуте... ты что-то здесь скрываешь... – посмеялись вокруг. – Бадра, смотри хорошенько за отцом, а то...

– Все дурака валяете, – отмахнулся Базала. – Спроси, где тот старик, с которым я при ней познакомился.

Чантамыр с горем пополам начал объясняться. Женщина сразу остановила его. Ухватила за плечи самого жалкого мальчика и потрясла: смотрите, мол.

– Кажется, твой старик – один из погребенных, – сказал Чантамыр, обернувшись к Базале. – К сожалению, так...

– Что за страшная смерть ему была суждена, царство ему небесное... – Базалу известие тронуло до глубины сердца. – Начнут таять снега, приду и сам своими руками предам его земле... Мы из одной трубки покурили...

– Ты, похоже, побратался с ним... – ухмыльнулся тот, из дальнего поселка, который уже побывал в махаджирах.

– Он погиб, но остался внук. Внук в это время был у соседей, играл с детьми... Все случилось средь бела дня, – пояснил Чантамыр. – Не только старика, отца и мать этого мальчика тоже завалило – он остался сиротой.

– Если это люди – посмотрите, как сами все сносно выглядят, а этот еле живой! – зло добавил человек из далекого поселка.

– И они сами не лучше... – Базала задумался. – Чантамыр, дад, скажи ей, что до весны, пока будет тепло, я возьму его. Возьмем, Бадра?

– Возьмем, какой может быть разговор... если только отдадут.

Не успел Чантамыр объяснить, как женщина опять его остановила, сама категоричным тоном сказала два-три слова и мальчика несильно подтолкнула вперед.

– Говорит, что ты можешь взять его совсем, – перевел Чантамыр. – Если ты не возьмешь, возьму я, это же человек!

– Раз я сказал – беру его... насовсем так насовсем... – Базала косолапя двинулся к поселенцам.

Приблизился, взял мальчика за руку, поклонился остальным, потом поднял мальчика на руки и вернулся к своим. Бадра снял ватник, потом шерстяной домотканый жилет – и набросил на плечи мальчика. Мальчик весь утонул в нем. Поднял глаза на Бадру – и на его испуганном, замерзшем худом лице обозначилось что-то похожее на слабую улыбку.

– Два сына у меня... а этот будет третий... – произнес Базала растроганно.

Тот, который уже побывал в махаджирах, резко повернулся и пошел прочь.

Чантамыр на прощание хотел сказать какие-то слова, но поселенцы уже забирались через окошечки обратно в свои хрупкие берлоги; он все же поклонился в их сторону и, повернувшись, последовал за своими.

Все двинулись обратно, а Мзалей немного задержался. Увидев, что он задерживается, те несколько человек, новые поселенцы, тоже приостановились. Сколько он ни смотрел, и раньше и сейчас, почему-то кроме неприязни – ничего, ни тени сочувствия или расположения ни на одном лице он не заметил. Он не злился как тот, который уже видал виды, но и радоваться тут было нечему. Не поклонившись, повернулся и отправился догонять Чантамыра.

Очень много и времени, и немало еще другого надо, чтобы пришедшие на земли, во дворы, дома изгнанников, думал он, и оставшиеся, уцелевшие от изгнания, которым эта земля – родина, – стали бы понимать друг друга, верить друг другу, жить единой жизнью. А может, это и невозможно... Пока здесь удерживаются те, для которых эта земля была испокон веку родиной, жизнью, смертью... земля, в которую очень глубоко запрятана их душа, понимающие ее язык как человеческий, – они, пришлые, не могут быть

спокойны. Уже успели их сделать такими... Им говорили: мы этой землей завладели, или были союзниками тех, которые завоевывали ее, – и потому вы тоже как воины, которые в сражении завладели ею... и вы должны продолжать завоевание, срочно пустить здесь корни – чтобы ничьи другие не могли расти... Представителям каждой национальности говорили так свои служители религии, националистические главари, национальные разделители национальностей. Потому что таким неправедным образом осевшие на чужих землях – всегда капризны и агрессивны, готовы первыми напасть...

Так сталкивают народы захватчики, разделяющие национальности, и богачи, которым необходимы рынки.

А какая сила, думал невесело Мзалей, отставая от своих, у растоптанного, раскромсанного народа, чья родина – эта земля... Оставленные для видимости, лишенные влияния князьки? Князьки будут делать то, что велят им сильные. А сильные хотят все время давить, загнать, заглушить уцелевших от изгнания, чтобы уже никогда не смели заикнуться о земле, о том, что это – их земля...

Но, может быть, новые поколения (Мзалею очень хотелось придумать что-нибудь утешительное) поймут друг друга, помирятся, – и те, которых на своей же земле хотят окончательно зажать, задавить, – и те, чьими руками это совершают... Вдруг будет так, что они сойдутся, открыто посмотрят друг другу в глаза, вместо кинжалов протянут друг другу руки... и если погаснет огонь у одних, станут брать горящую головешку у других, чтоб и там и там не погас очаг... сумеют вместе встречать плохое и хорошее, доверять друг другу самое сокровенное...

Он шел и думал о том, что здесь обо всех этих вещах серьезно поговорить можно только с Мсоустом. Но его нигде не было. Мзалей понял, что очень хочет с ним встретиться.

ЗЕРКАЛО

Счастлив тот, кого Бог посетил...
А маленький ангелочек ей на ухо шепнул,
Чтоб оделась она во все белое...
Пляска святого Витта

Две последние ночи Алма не сомкнул глаз. Когда ему становилось совсем невмоготу, поднимался и осторожно, чтобы не разбудить госпожу, начинал двигаться к окну. Правда, как ни старался, то на стул наткнется, то на что-нибудь другое... тогда забывал об осторожности, отшвыривал попавшийся предмет в сторону и, добравшись наконец до окна, резко рвал ставню... но обындевевшее стекло тоже было глухо и темно – тогда он со скрежетом открывал примерзшую створку. Не глядя, что происходит во дворе, жадно глотал чистый морозный воздух, глубоко вдыхал-выдыхал своими старыми, но еще неплохо работающими легкими. Только потом, почувствовав холод,

он начинал всматриваться в темноту: эти две ночи, которые он не может спать, по земле все время стлался густой туман. Порожний, без снега и дождя, и не морозный. Это он, туман, сжирал потихоньку ночами смерзшийся снег. Мудро и четко распоряжалась природа. Если сейчас на целый день открыть небо и показать уже весенний, горячий лик солнца, за день растопило бы столько снега, что большое весеннее наводнение заставило бы забыть большой снег уходящей зимы, но природа ночью заставляла работать туман, дни же пока в основном стояли теплые, но пасмурные; облака занавешивали жаркий лик солнца, за день несколько раз били по снегу очередями града, иногда даже сильного ливня...

И потому только ближе к вечеру повсюду бежали разлившиеся ручьи, любая канавка взбухала речушкой, собирая влагу постепенно тающего снега. Но до утра, до нового тепла эти предгорные места, холмы и склоны стряхивали с себя всю эту ораву ручейков, ручьев, сплошной талой воды, – и к началу дня потоки становились струйками, бледными, обмелевшими. На равнинах, правда, было похуже, они все дольше и дольше оставались в воде, речки и ручьи не в силах были вовремя унести к морю всю эту влагу, которую щедро сбрасывали предгорья.

Алма стоял, дышал, пока не продрогнет, потом опять со скрежетом закрывал окно. Влажные ладони приставали к пористой каштановой древесине. Прежде он за собой такого не наблюдал. В их доме лишь у Хирипса всегда была влажная ладонь, из нее будто постоянно сочился холодный пот. Разве обязательно было, встретившись с ним, с отцом, здороваться за руку... но Хирипс всегда протягивал руку (а может быть – наверняка! – он это делал нарочно), во дворе ли, при людях, или один на один в доме, где ни встретятся. Хочешь не хочешь, надо было взять его руку и взять хорошо, чтобы он ничего не заподозрил, чтоб потом не ныл бесконечно по этому поводу.

Сейчас ему вдруг стали противны собственные ладони, он вытер их о ночную сорочку.

У другого, Умара, ладони были всегда такие сухие, что казалось, пожмешь хорошо – и они раскрошатся, только пыль останется в твоей руке (чтоб конопляным семенем засыпали их род, кровь которого так портит кровь Анчаа!).

Зачем за руку здороваться и с Умаром... но здесь, когда встречались, Алма сам невольно протягивал ладонь. Это он делал и когда хотелось его похвалить, поддержать, поздравить, но и та мысль присутствовала, чтобы разбудить в нем какие-то сыновние чувства. Однако все было напрасно, тот родился с вынутым сердцем, уже ничего нельзя было сделать (чтоб конопляным семенем посыпали материнский их род!).

Когда он лег, завернулся в пуховое одеяло, и пока согревался, было приятно. Похоже, в последнее время госпожа тоже спала неважно, но не выдавала себя ни единым звуком. Раньше хоть, просыпаясь, начинала с ним разговаривать, поддерживала как-то... теперь же и ее тоже что-то мучило. Мучилась она давно, но с тех пор, как вернулся этот, которого она родила в

несчастный день, она совсем потеряла покой. Было, было у Алмы подозрение, даже больше чем подозрение... но к концу жизни все это ворошить, конечно, не хотелось. Легко сказать – не хотелось... если бы всерьез что-нибудь кто-нибудь стал здесь выяснять, – а таких охотников в доме было достаточно, – дело непременно кончилось бы катастрофой. Ему не хотелось ее в чем-нибудь обвинять, но это его не очищало, не освобождало.

Если бы она сама догадалась прийти к нему, сказать ему все, – он и простил бы ей все. Простил бы, если б никто кроме них двоих не знал...

Он начинал ворочаться в постели, нигде и ни в каком положении не мог найти хоть некоторое успокоение. А иногда злился, – хотел встать, подойти к ней и задушить ее так же молча, как она лежит камнем на дне заводи под своим одеялом. Тогда бы все на этом и кончилось. А может, лучше его самого убрать, этого пришельца? Но это убило бы ее... с того момента в этом барском доме, где давно нет покоя, мира, любви, совсем не станет жизни...

Так он думал, прикидывал, но с другой стороны и знал, что в его положении ему ничто не поможет. Сначала, какие бы у него ни были подозрения, он считал: постепенно привыкнут к приехавшему, даже к той роковой мысли, у кого она была, – и все образуется, затихнет само собой... но сейчас он подозревал, что дело катится к тому, чтобы столкнуть на этом всех... после того, что он услышал позавчера, – все стало понятно. Когда легко сделалось пройти по осевшему, грязному снегу, явился этот негодяй Манча. Разумеется, не к нему, а к своему дружку Умару, – как две паршивые клячи, давно чешут бока друг другу. Умар, конечно, не стал его, Алму, жалеть – прибежал и рассказал, как этот блудный ходил, рискуя жизнью, искать их заклятого врага.

Сказал и ушел, даже не обговорив, как дальше быть. Видимо, что-то задумал... конечно, пакость. Но пусть и расправятся с этим блудным. Недаром говорят: кровь слышит зов родной крови, – вот приехавший и помчался искать свою кровь. Алма впервые самому себе признался так откровенно в страшном подозрении.

– Пусть прикончат, пусть! – сказал он зловещим шепотом.

Враги мои спят под моей же крышей... Нервы его были не пределе, он чувствовал себя бессильным.

А вдруг она, госпожа, тоже знает, что этот блудный поплелся туда? Не то что знает, а может – сама ему присоветовала?

Он даже сел на постели. Но поразмыслив, понял, что такого не могло быть: госпожа на старости лет тоже хочет быть как можно дальше от всяческих дрязг, особенно от таких. Ей тоже нужен только покой. Пока сын был далеко, она тосковала по нему, ей было чем заниматься, ничего не опасаясь... а когда он взял да явился собственной персоной, – поверг ее в ад, и она, бессильная, лежит замерев под одеялом днем и ночью...

Если б у него были достойные сыновья, которые чтят и отца и свой род, – все бы закрыли, словно ничего и не было, заткнули бы рот, кому необходимо заткнуть, даже не дав ему об этом знать, не беспокоя... Но все его враги, если они увидят реку, которая его унесет, утопит, – каждый из них туда вольет по

кувшину воды (чтоб посыпали конопляным семенем их материнский род, чья кровь в них!..).

Пусть убьют, разорвут на части, бесился, злился он в душе на Мзалея... и так он себя ведет по-плебейски, хочет всем угодить, всех обслужить, кроме своих (пока – своих!).

Убрали бы его, тогда самого Умара я за ним послал бы, выдал бы властям... в нем пробуждался молодой Алма, который не останавливался ни перед каким преступлением, предательством, если это нужно было для «дела». Пока еще он может столько, пока еще его слушают власти, а не сыновей...

Он устал ждать утра. Хотя и знал, что каждый день его приближает к концу, каждый день... Конец – неизбежный скандал... легко сказать – скандал. Но он уже больше не мог лежать с открытыми глазами, когда ни одна утешительная мысль не посещала его.

К утру он, измученный, заснул. Проснулся вдруг, но не чувствовал себя хоть на каплю отдохнувшим. Когда встал и, кряхтя, сам одевался (на помощь никого не хотел звать, не мог видеть их рожи), почувствовал, как холодно в комнате. В камине огня не было; если даже сохранились горячие головешки, то только что и грели золу. И дров никто не принес.

Занимаются делами чьими угодно – их дровами, кормом для их скота, их домами, подумал он с ухмылкой, а барский дом стоит холодный, нетопленый. Он сам же во всем и виноват... какие бы раздумья его ни волновали, он не должен был никому давать спуску, расслабляться, ослаблять власть, самоустранившись, отойдя в сторону.

Я им всем покажу, злился он, чтобы еще долго помнили мою старость и ежились со страха! Чтоб они хорошенько запомнили, что я пока здесь хозяин! Если не то что помешать вознамерятся, а просто проявят недовольство сыновья, – он им укажет на дверь. А вообще, чего они все сидят в этом доме, все в него вцепились, почему не уходят, не отделяются? Пусть идут на все четыре стороны. Пусть и земли поделят между собой, а его и его дом оставят в покое... Если бы он сразу правильно поставил себя, не болела бы у него сейчас голова от всех этих неприятностей.

Госпожи не было. Одевшись, он тяжело зашагал из спальни. От бессонницы голова была чугунной и немного кружилась. Как только вышел из комнаты, в нос ударил запах плесени, застарелого конского пота – от седел, висевших в углу коридора. Они сегодня что-то невыносимо были сильны, эти запахи... быстро прошел мимо – и в залу, плотно закрыл за собой дверь. Там камин тоже погас, но было тепло, не то что в его спальне. Верно, в комнатах вокруг топили все камины (где эти бездельники, которые целые дни жгут дрова) – и согревали стены залы.

Он прошелся по залу, потом по малой зале – гостиной, опять вернулся, словно не прочь был где-то спрятаться, или приискать поудобнее место, если вдруг понадобится укрытие. Он знал, почему пришел сюда, но не спешил, трудно было заставить себя... Все равно, через некоторое время он шагнул туда, словно направляясь к гробу близкого человека, к большому старому,

уже от старости мутноватому зеркалу. И вдруг он четко услышал громкое тиканье часов, стоявших на каминной полке, – словно только начали работать. Ему показалось, что они идут быстрее, чем положено. Даже про себя не назвав, пропустив имя Мзалея, отметил: как только он вернулся, в доме все часы заработали. Неизвестно, подумал еще Алма, – что он хочет высчитать, – наше время, наш конец, или свой...

Хотя ему казалось, будто часы идут что-то быстрее, чем обычно, но они точно поровну делили время: «тик-так», «тик-так». Резали время на равные кусочки, сначала мелко-мелко: секунды, минуты, часы... потом – дни, недели, месяцы, годы... так и целую жизнь, сто, тысячи, еще тысячи, тысячи жизней они посылают в прошедшее, в небытие, как смолотое зерно. Приходят новые... И как только жизнь обозначится в лоне матери едва чувствительной точечкой, с того самого момента начинается отсчет времени...

Когда он приблизился к зеркалу так, чтобы отражался по пояс, он остановился. Оттуда на него смотрело не очень ясно – опухшее, старое, обросшее его лицо. Из-под воспаленных красных век – испуганные, измученные, исходящие желчью глаза. Он не удивился, что так внезапно и настолько сдал, и не пожалел себя.

Тот, который думает взять от жизни все, любыми путями, пока молод, пока может, не задумываясь о совести, будущем, старости, – в конце всегда очень горько расплачивается. Для него сейчас был бы неоценим человек, который искренне посочувствовал бы... но такой человек оказался для него невозможной мечтой, нет у него такого человека. Канчоу, который ему приходился и немного родственником, и как будто более или менее с ним поддерживал дружбу, – тоже сейчас далеко, снег не дает им встретиться. Но это тоже было почти случайно... Канчоу овдовел, некуда себя девать, – вот и все объяснение.

Пока он так думал, сквозь его постаревшее лицо проглянул тот, который был похож на него молодого. Как будто это он сам – и не совсем он. Когда же он был таким... так давно, да и забыто... И вообще – в то время почти и не смотрелись в зеркало, вполне уверенные, что и без того они достаточно хороши, мужественны и неотразимы. Да и откуда было бы время на зеркало («так много у них было неотложных дел...» – ему послышалось, будто это тот ему говорит, глядящий неотрывно сквозь его изображение).

Они знали, что молоды, и не задумывались о том, что внешность постепенно меняется, время-то быстро ведет счет...

«Захотелось тебе, чтоб тебя пожалели, по головке погладили, да, старичок? – вдруг услышал он голос, словно там стоял кто-то, за зеркалом. – Ты когда-нибудь думал о том, чтобы кого-нибудь, чтобы слабого пожалеть, хоть тогда, хоть сейчас?»

«Почему на одного меня показываешь, когда все такие?..» – пробормотал Алма.

«Откуда знаешь, какими бывают другие, когда все время только собой занят, и дальше никогда ничего не замечал?»

«Человек, если молод, – слишком на себя надеется... от этого все...»

«Тут ты не одинок, все валят на молодость. Словно молодость не обременена совестью. Разве может родиться жеребенок от жеребца – после того, как его кастрировали. И твоя совесть с самого начала была кастрирована... Чтобы себе оставить политые потом, слезами и кровью их земли, чтоб потом в аренду сдавать, чтобы понравиться властям, получить чины и деньги, – кому ты продался? Собственный народ обманом послал на страшные страдания, на гибель... Ты у них отнял самое дорогое для человека – родину. И даже не стал каким-то образом эти страшные грехи отмаливать, пытаться искупить, даже и не подумал... Не получишь ты искупления. Ничто в мире не пропадает бесследно. Недаром же говорят: сделав доброе – отдай воде, сделав худое – за пазухой держи. Совершивший зло не может его сбросить, отделаться, все время видит: оно у него за пазухой. А что там, после жизни, – кто знает... но говорят, что для таких там место приготовлено – ад, и тут уже не вздумай увернуться – не отпустят, найдут...»

Ему казалось, часы все быстрее и быстрее отстукивают время.

«Есть и похуже, но живут припеваючи... а мне ничего не прощается... – пробормотал Алма».

«Это так только кажется... нет, никому ничего не прощается... Вот ты – как только появился на свет, сжав кулачки, кричал благим матом, – мол, все мое, все себе возьму. Так и держал всю жизнь кулаки сжатыми и не переставал думать – все мое... а сейчас разожми их да посмотри – есть ли там хоть что-нибудь... с чем пришел – то же самое возьмешь на тот свет...»

Он действительно поднял к глазам ладони и посмотрел. Они были пусты, и видно было, что влажные, – от немощи, бессонницы, старости.

Вдруг, неожиданно даже для себя, он заорал и, примеряясь попасть в того, который смотрел, ухмыляясь, через его просвечивающее старое лицо, – с силой ударил открытой ладонью. На лицо, смотревшее оттуда, хлынула кровь. Стало тихо. Мелко-мелко режущие время часы тоже сделались не слышны. И весь дом со всеми обитателями замер. Потом пробитое зеркало с окровавленным лицом зашевелилось, завертелось... И он с грохотом повалился на пол, весь окровавленный, – так хлестало из порезанной руки.

РЕКА – ПЕСНЯ ЖИЗНИ

Мзалей из окна смотрел на двор. С утра небо было чистое, но к полудню закрылось облаками. Правда, иногда и солнышко пробивалось. Облака чаще темные и серые, но кое-где рыхлыми кусками висели и подсвеченные невидимым лучом розоватые, а еще в других местах тягуче выплывали белые как вата. Темные и серые, цвета золы облака смешивались, как бы оттесняя друг друга: то темных становилось больше, то серых, то они вместе совершенно закрывали розовое и белое. Но через несколько минут светлые появлялись опять, и тогда казалось, что явственнее становятся запахи весны и между небом и землей прибавляется свету.

Март выдался вовсе не похожим на март. Если обычно в такое время уже все расцветало, то сейчас пока еще, за исключением склонов, где сошли

малые и большие лавины, везде лежал снег. Дома опоясывали огромные сугробы – собралось сброшенное с крыш. Там, где крыши не чистили в последние снегопады, еще висели сосульки.

Мзалей видел, как снег блестел везде, словно из него сочилась вода. В этом году весна пришла по снегу и пока по колено в нем завязла, но никогда она не была такой желанной, как нынче.

Мзалей отошел от окна и стал прохаживаться по комнате; никогда у него не было столько неприятностей, которые могли надолго подпортить ему настроение, – но все равно ничто не могло его омрачить. Может быть, с тех пор, как он вернулся, у него не было такого приподнятого настроения. Главное, большой снег прошел, можно сказать, его победили, весна на носу (сколько лет он не встречал весны на этой земле), а в будущем он ждет много хороших перемен, всеохватных. Он уже знает, как будет принимать в них участие, как они сами захватят его. И этот дух, который приходил ему в поддержку, нынче опять появился... но Мзалей уже с ним общается немного иначе, не как в первый раз, когда тот сразу же брал его, крутил им как захочет – будто крепкое вино ударяло в голову... нет, сейчас он сам, можно сказать, почти управляет им.

Он стал понимать, что этот дух был не только того одного не сдающегося человека – но и всего народа, оставшегося и ушедшего, изгнанного. А таких как Мсоуст, обладавших незаурядным мужеством, талантом твердости, этот дух находил быстрее.

Мзалей радовался, что к нему приходят хорошие мысли, обнадеживающие, что много еще неиспользованных сил.

Он все прохаживался по комнате.

Правда, в частной его жизни все по-прежнему запутано, и он не знает, как распутать, но его наивный оптимизм побеждал и тут. Алма (он уже его и в душе не называл отцом) после того случая слег и больше не вставал, и кроме госпожи и Чахуназ к себе никого не подпускал. Мзалей все же решил зайти к нему, попробовать поговорить, утешить. Он попросил Чахуназ передать это госпоже. Не успела Чахуназ зайти в спальню, как сразу же ему навстречу почти выбежала мать. На ней лица не было, и на него посмотрела с явной холодностью.

– Ему нехорошо... – сообщила она почему-то шепотом, хотя рядом людей не было. – Никого не хочет видеть... Если можно, не уходи никуда... – добавила она, как-то странно улыбнувшись. – Удели несколько минут и мне тоже. На селе уже сами могут справиться со своими делами. Чужими делами занимается тот, который привел свои собственные... в порядок.

Не дав ему ничего ответить, она повернулась и ушла в комнату, где лежал муж.

Мзалею даже и это не могло испортить настроение. Он все время помнил, что завтра у него важное долгожданное свидание. И ему казалось, что после завтрашней встречи легче будет разрешить и все остальные вопросы. Он должен был увидеться с Мсоустом: Бадра принес ему такую весть. Пока он не представлял, какой будет их встреча, как сложится общение, с чего все

начнется, слышал ли Мсоуст о том, что они внешне похожи друг на друга... но не только это, – Мзалей просто хотел знать его.

Потом он пойдет на собрание, сход. Может, и Мсоуст захочет туда, но обязательно надо отсоветовать. По всей вероятности, в усадьбе уже известно, что он где-то здесь неподалеку. Кто знает, что может взбрести в голову этой шайке Умара... и, по всей вероятности, Манча тоже как-то с ними связан. Не может быть, чтобы два таких человека не были связаны... И сам Мсоуст должен быть осторожен, на селе должны оберегать его... то, что рядом такой человек присутствует, – для других многое значит, он тот, кто поддерживает дух более слабого, поддерживает надежду на справедливость.

Но самому Мзалею очень хотелось завтра поприсутствовать на сходе. Его несколько раз специально приглашали. Может быть, он там и скажет что-нибудь.

Значит, завтра его ожидало сразу два важных события – свидание с Мсоустом и собрание сельчан.

Он не знал, что ему собирается сказать мать, но, по правде говоря, ему не хотелось именно сегодня еще раз с ней встречаться. А что будет, если послезавтра он сам зайдет к ней и расскажет, – конечно, не о свидании с Мсоустом, но о сходе, о том, как народ выглядел после такого необычного испытания – большого снега. Словом, он надеялся, что мать забудет о нем сегодня.

Мать все не появлялась, дом, словно вымерший, был объят тягостным молчанием.

Это, конечно, не было мирной тишиной: иногда в этом доме так случалось – он стоял целый день как заколдованный, будто превратившийся в ледяную глыбу. Да, этот лед еще можно было терпеть, но наверняка станет невыносимо, если накопившееся начнет оттаивать до конца, – сколько разных слоев присутствовало. Кто знает – кого могли утопить образовавшиеся мутные воды, а кто и выплывет, или вообще выйдет сухим...

В это время где-то открыли дверь, невнятные звуки послышались, топот и тихие голоса. Он подошел к окну – удивился: Сафия уже сидела верхом. С тех пор, как выпал большой снег, он впервые видел верхового.

Вот уж действительно, под стать настоящим мужчинам, подумал Мзалей, многое он ей не прощал, но когда видел иногда вот в такой роли, невольно испытывал уважение.

Сафия легонько махнула плетью, и лошадь пошла, как-то странно ставя ноги, словно только училась ходить. Пугливо озиралась на грязные сугробы, на талые мутные воды.

Как бы не шарахнулась ее лошадь, боясь за Сафию, подумал Мзалей; но Сафия недаром оседлала своего коня мужским седлом: знает свое дело. В конце двора, где пока оставались сугробы, ноги лошади вязли в снегу; Сафия умело, не спеша направляла ее. Да, уже можно было ездить.

Мзалей перевел взгляд на тех, которые держали стремена, когда она садилась верхом. И обрадовался, увидев среди них Блуждающего. Стоял расслабленно, с ленцой, скептически рассматривая сугробы у домов, такой

же беспечный, как всегда. Не успел Мзалей хорошенько разглядеть парня, а Чахуназ меж тем уже два раза промелькнула: то нырнула в амацурту, то, вынырнув, прошла мимо.

– Эх ты, блуждающий!.. – бросила она на бегу. – Вернулся, показался в конце, словно Кумпыл, который шарил руками по столу после того, как еда закончилась.

Мзалей открыл дверь и вышел на балкон. Действительно, кощунство сидеть дома в такой денек: пахло по-настоящему весной, да какой, – самой лучшей, самой дорогой весной! Пока он спустился с лестницы, кроме Блуждающего все куда-то исчезли. Они уже опять попадали под влияние Умара, бог знает, что он им понаговорил...

– Какими судьбами? – Мзалей подал руку Блуждающему. Рука у него была сейчас другой: уже не мягкая, вялая, а натруженная, жесткая и энергичная.

– Всегда какая-то судьба меня или приводит, или уводит, ухацкы, – парень засмеялся. – Лошадь подо мной пала, потом стреножил меня снег – остановился там, где непогода застала.

– Нет, не так, ухацкы, – бросила опять промелькнувшая Чахуназ. – Не там остановился, где его снег застал, а там, где дом застал, в котором кроме девушек никого нет.

– Ну, что можешь сказать в свою защиту?.. – Мзалей чуть его не назвал Блуждающим, что-то запамятовал его имя.

– Я не защищаюсь, – меня, наоборот, надо бы пожалеть... Я же был у Чахусны и Шахусны!

– И все это время тебя терпели?

– Я их терпел... сколько сил стоило мне, а здесь вместо сочувствия одни упреки. Они-то меня с горем пополам еще выносили, но совсем меня не мог видеть еще один их домочадец...

– Какой?! – удивленно воскликнул Мзалей.

– Ручной баран.

– А-а, все время, как я знаю, ты попадаешь в такие истории...

– Это он сам старается, чтоб оказаться в истории... – бросила Чахуназ, снова пробегая из амацурты.

– Представьте себе, хозяйки предпочли меня, пришлось ревнивца убрать...

– Неплохо ты время проводил, как я вижу!

– Кроме шуток, твоя светлость, если бы я не подоспел к ним, с ними бы то же случилось, что и с моим отцом.

– А что было с твоим отцом, если не секрет?

– Это не та история с лошадью, когда один поехал в гости, а ночью его лошадь удрала. Он разозлился и своим хозяевам пообещал: если не отыщете мою лошадь, сделаю то, что сделал в таком же случае мой отец. Хозяева напугались... постарались, нашли лошадь – и спрашивают гостя: что же, мол, такого твой отец сделал?.. Тот отвечает: а что ему оставалось? Раз лошадь удрала, он взвалил седло на плечи и пошел обратно пешком.

– А с твоим отцом?

– С моим отцом было так: тогда жили в акуацвах. Акуацв у него был маленький и старенький. И он всегда очень осторожно из него выходил, чтоб ненароком не повалить. Однажды все же, выходя, нечаянно толкнул – и вся крыша рухнула на него. Крыша, конечно, была не такая уж тяжелая, он ее удержал. Но и бросить не может: не успел отскочить – весь домишко на него повалится. Начал кричать, прибежали соседи, и двое стали, подперли с обеих сторон; отец высвободился, отошел, смотрит на своих соседей – и не может сдержать смеха. Они ведь тоже не могли бросить крышу, не успели бы отбежать. А так – один человек им не подмога... Пока собрались люди, мой отец сам выкурил две самокрутки и каждому из тех, которые держали на плечах просевшую крышу, подносил готовые самокрутки...

– Это хорошо, но к Шахусне и Чахусне разве никто не приходил? – спросил Мзалей, с удовольствием посмеявшись его рассказу. – Мы же специально выделили троих ребят.

– Никто, – ответил парень серьезно. – Но после всего со мной приключившегося скажу: лучше не подходить никому близко к их дому. Сестрички ждут, языки отточены, – кто окажется первой жертвой...

– Это очень обидно, уже без шуток, – огорчился Мзалей. – Но ты сам зато навсегда у них откупился.

– Навсегда. И не только это... – парень засмеялся, вспоминая. – С того дня как я появился, там лежал траурный аишваматва*, только недавно убрали.

– Это почему же? – удивился Мзалей.

– Каждое утро, сменяя друг друга, сестрички причитали над несчастным Блуждающим.

Мзалей что-то ничего не понимал.

– Отныне нет Блуждающего – похоронил его под собой этот большой снег. Остался просто Чантала – чтобы спасти двух девушек и один дом, в котором они жили.

– На самом деле – себя спас, а не их, – подкольнула, пробегая, Чахуназ. – Нет, нет, вы спросите у него, ваша светлость, как они его выгнали после того, как он закончил их спасать...

– Это что, правда?

– Да, правда, – лукаво засмеялся Чантала. – Не то удивительно, что меня выгнали, а то – как они меня облапошили, обвели вокруг пальца, – будто мальчишку, и как раз в том, в чем я, можно сказать, собаку съел. Стань на порог и прыгни, говорит старшая; сама-то вся высохшая, ей не надо прыгать – ее ветер понесет... Если, говорит, прыгну дальше тебя, знай, с этого дня ты навсегда в этом доме останешься. Тут я, по правде, оробел маленько... Стал на порог – обе сестрички так и сверлят меня глазами. Чего это они уставились, удивился я. Потом только догадался! Они решили: если парень хочет насовсем остаться, значит, прыгнет внутрь. Но я, конечно, прыгнул наружу – и попал в такую лужу талой воды и грязи... меня всего, и лицо и глаза облепило, ничего не вижу... Сестры зашлись своим сумасшедшим хохотом, захлопнули дверь и заперлись.

«Чтоб мы тебя больше не видели, как своих ушей без зеркала... сгинь, несчастный! – крикнули мне из-за двери. – Не то закричим, людей соберем, расскажем, как ты хочешь нас выгнать из собственного дома...»

Я и вправду испугался... сестрички-то отчаянные, чего только не придумают. Давай уносить ноги... Отошел немного, остановился, прислушался: слышу – обе дружно причитают, оплакивают меня: «Несчастный Блуждающий, уже не быть ему среди своих сверстников, друзей...». – Чантала приблизил лицо к Мзалею и прошептал: – Их жалко, конечно, но у меня тоже... сами понимаете...

– Понимаю, понимаю, – Мзалей похлопал парня по худому плечу.

– Опять шепчет... – бросила Чахуназ, сбегая по лестнице. – Вы его не слушайте, ваша светлость, все равно соврет, даже вам... если не до конца, хоть наполовину – это точно.

– Половина тоже не так мало! – Чантала, посмеиваясь, ловил взгляды Чахуназ.

Мзалею хотелось скоротать время, не сиделось ему в ожидании завтрашнего дня. Не стал подниматься к себе в комнату, а заглянул в амацурту – длинное просторное строение под кухню. Если он понадобится матери, ей, конечно, сразу скажут, где он. В амацурте, в темном углу, заметил сидящего там старика арфиста. Мзалей обрадовался: давно не видел – а ему нравилась игра арфиста, и сам арфист тоже. Был задумчив, молчалив; глаза, еще не выцветшие, зеленоватые, казалось, постоянно всматриваются и видят что-то особенное... и будто он прислушивается к каким-то таинственным звукам, одному ему здесь доступным, – а больше их не слышит никто...

Арфист поднялся ему навстречу.

– Сидите, сидите... – Мзалей поспешил к нему и тихонько положил руки на его плечи. Оба сели. Мзалей чуть в стороне, чтобы не загораживать старшего. – Если можно... – уважительно обратился к арфисту Мзалей, – мне бы хотелось что-нибудь послушать. Я давно хочу попросить, но, как видишь, все отвлекало...

– Можно, почему нет, – старик сразу взял свою арфу. – Для тебя – все можно. – Глаза посветлели, хотя выражение не изменилось – он явно не переставал прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Хоть и был всегда арфист зависим от этого барского дома, в нем чувствовалось дыхание некоей свободы, которой не было ни у господ, ни у прислуги. Это отражалось не только в глазах, но и в каждом его движении.

Взяв арфу, он некоторое время сидел неподвижно, – казалось, еще внимательнее прислушивался к внутреннему голосу. Сперва получили право движения руки: одна взяла в нужное положение арфу, а другая будто невзначай прошлась по струнам. Из этих звуков родилась мелодия, главную тему поднимали и выделяли две струны. Сначала звуки слышались как нечастое падение тяжелых капель, потом они, собравшись в достаточном количестве, потекли... Иногда две ведущие струны перекрывали безмятежное журчание, превращая течение уже в многослойное, драматичное. Мзалей

замер... Струны этой арфы, с помощью которых издавна народ разговаривал, причитал, пел, выражая свое горе, радость и печаль, доносили до сердца Мзалея дыхание каких-то неизведанных чувств, раздумий, опасности, надежд, ожиданий...

И наконец арфист запел:

Река, река,
Бурливое твое течение
Как выжимки
Людских воспоминаний...
Как сыр истекает сывороткой,
Так время истекает тобой...
Где же тот наш сыр,
сваренный с тобою,
Где надежда, где судьба?
Проживи хоть две жизни –
Человек не соберет
Счастья кружок,
Как кружок молодого
Теплого сыра, –
Чтоб не вмещали руки...
И протечет счастье
Сывороткой сквозь пальцы...
Или, потеряв тепло и нежность,
Останется холодным,
Высушенным
Комочком в горсти...

Арфист сделал паузу, вздохнул, будто всхлипнул, – видимо, эта песня, эти слова ему особо были дороги – и продолжал:

И ты течешь, река,
Бежишь, бежишь,
Бурлишь, –
Все смывая на пути!
И камни, которые
Ты бережно обтачивала,
И деревья, которые поила,
Будто материнским молоком,
Своими талыми обжигающими водами...
Взрывая свои заводи,
В которых жизнь твоя, твоя любовь,
Все, все, все – приносишь
И своими же руками отдаешь морю...
Течешь, бежишь,

Бурлишь...
...Но что делать мне и тебе
со смертельной нашей тоской?!

И голос, и звуки струн оборвались одновременно, словно ливень – прошумел и перестал. Арфист некоторое время оставался неподвижен, будто заколдованный. Мзалей тоже застыл в той же позе, как слушал его. В амацурту выходили, входили, возились как мыши, занимались своими буднями люди...

Мзалей понял, что перед ним сидит певец, которого в этом огромном мире знали только в этой деревне, и видимо, еще кое-где в соседних... певец, сердце которого в страдании и доброте было глубже самых глубоких корней, а душа доставала до неба... Он не стесняясь смотрел на руки арфиста. Сам арфист уже был стар, но руки еще имели силу, и пальцы словно жили отдельно, своей собственной жизнью.

Мзалей молча положил свою руку на его.

– Кто-нибудь еще играет здесь на арфе? – спросил он почему-то шепотом.

– Похоже, никого уже не осталось... – арфист все еще отрешенно смотрел на земляной пол, словно в заводь речную. – В мою молодость не было дома, чтоб на огонь вешали котел, садились за стол – и без нее... – он чуть приподнял арфу.

Мзалею хотелось что-то очень хорошее сказать народному певцу-плакальщику, но не так-то легко было найти слова... то, что готово было сорваться с уст, не казалось ему достойным – и сразу же обеззвучивалось... Он ожидал словно какого-то озарения в себе, чтобы передать арфисту... Тут сзади кто-то протопал – показалось, что земляной пол дрогнул.

– Ты чего здесь валяешься, старая рухлядь! – взорвался над ухом голос Умара, словно выстрелило вдруг висевшее на стене ружье. – Сгинь немедленно! Чахуназ, эй, молодцы, девушки... Здесь у самого очага поставьте аишва – устроим невиданный пир!

Мзалей вскочил, словно по лицу кто-то хлестнул плетью. Арфист положил отяжелевшую, почти безжизненной сделавшуюся руку на арфу, чтобы взять ее и удалиться... струны звякнули как раненные, словно кто-то по ним провел острым лезвием.

– Ты!! – У Мзалея гортань свело и еле-еле вытянул сначала только это слово. – Как ты с ним обращаешься?! Ты хоть понимаешь, кто перед тобой?! Как ты смеешь?!

– Не только про него... еще я знаю – кто ты такой, – ответил почти спокойно Умар, не ожидавший такого взрыва и смелого тона. – И это тоже скажу, дай время...

– Если б ты знал, кто он такой и чего стоит, не говорил бы с ним последними словами, как последний холоп! – По жилам, по сосудам, облагороженным, ставшим как русла потоков, промытые вешними водами, вдруг забурлила неукротимая энергия того, давешнего духа... если б даже он не желал ее пробуждения в такой степени, уже ничего не мог бы поделать. –

Если человек подлинный, кто бы ни был – в силах будет услышать и понять его... – он показал на арфиста. Тот тем временем тихо шел к двери, держа в руках арфу, как убитую птицу. – А если не подлинный, – конечно, бесчувственным останется, будто старая галоша! – При последних словах Умар дернулся, чуть что не подпрыгнул, глаза сузились – будто хотел выстрелить, да прямо в сердце всадить... но заглянул в глаза Мзалея, утишил ярость, просто тупо уставился на него.

«Спасибо, брат, – сказал в душе Мзалей. – Брат...» Произнесенное в душе первый раз, это слово, обращенное к Мсоусту, потрясло его самого.

– Чего стали как истуканы! – заорал Умар на прислугу, сделавшуюся невольной свидетельницей этой стычки, вымещая на ней злобу. – Ставить стол! Делайте, что вам сказали!

Чахуназ, проходя мимо Мзалея, шепнула ему, что наверху ждет госпожа.

Пока он поднимался по высокой лестнице наверх, в нем все звучало из песни: «Но что делать мне и тебе со смертельной нашей тоской?..» «Но что делать мне и тебе со смертельной нашей тоской?..»

– Мальчик мой... – сказала мать, когда он подошел к ней. Ожидала его сидя на стуле, почему-то в самом центре комнаты. Мзалей видел, что ей трудно даже привстать навстречу ему. – Ты не думай, что я хочу оправдаться перед тобой. Нет. Я ни перед кем не буду оправдываться. Может быть, все, что случилось... – «Значит, правда, все правда...» Мзалею показалось, что сейчас, прозрев наконец, он почувствовал себя более свободным. Оттого, что он чужой этому дому-тюрьме, что уже знает, как надо здесь себя вести. – То, что тогда случилось, – снова заговорила мать, – это дело Божье, как бы строго он ни судил... Тогда за одну ночь седели волосы, даже пушок на юном лице... за одну ночь человек делался круглым сиротой, оставался без отца, без матери, брата, сестры... становился бездомным, без своего народа, без родины... Не то что меня, девчонку, – бывалых, битых жизнью людей превращало в совершенно беспомощных, сдувало их со своих мест как сухой листок... Больше об этом не спрашивай... кроме того, что ты знаешь, ничего не могу добавить. Но сегодняшнее должны решить мы, я и ты, и немедленно.

– Все было решено еще тогда, мама, – ответил Мзалей, стараясь казаться спокойным. – И сколько бы мы ни желали, ничего изменить мы не сможем.

– Должны решить, мой мальчик, должны! – повторила она нервно. – Чего скрывать, ты еще горя не видел в своей жизни. И я очень желала, чтоб навсегда это так и осталось, – но не вышло. В жизни всякое бывает, и намного хуже теперешнего, многое тебе придется еще испытать... Вот что я тебе хочу сказать... – она заговорила шепотом: – Ты должен будешь оставить этот дом... чтоб ему провалиться... Завтра же. Я все соберу и приготовлю. Никому ничего не говори – просто уходи подальше, насколько можешь подальше от этих гибельных мест. Туда, куда ничего не дойдет отсюда. Потом, пройдет время, все забудется... Мы свяжемся, напишем друг другу, и я покину навсегда эту свою темницу...

– Мама, – сказал он сразу, не раздумывая. – Пока я жил на севере – на самом деле, считай, находился в дороге сюда. Только этим и был занят. Раз мне удалось приехать – я никуда не уеду. А что касается этой обители... – таким тоном, словно речь шла о кладбище, – я все равно ее оставил бы. Но, мама, здесь, на этой земле, – ты... и еще – мой народ, моя родина – оставить их я уже не намерен. Правда, ты меня родила... – поняв, что заехал не туда, осекся.

– Но разве ты не чувствуешь, как на тебя давит этот потолок, как эти стены отвернулись от тебя? – бросила она зло. – Они и для меня такие, но мне некуда больше деться.

– Этот дом, эта усадьба – не вся же моя родина, – отрезал Мзалей. – Сегодня и завтра потерпим. Уже завтра ночью я под этой крышей спать не буду, – успокойся, мама. Потом, если некоторое время меня не будет слышно, тогда тоже не беспокойся...

Госпожа молча встала и почти не глядя на него спросила:

– Твое слово – слово?

– Да...

До самого вечера он сидел у себя, уставший, разбитый после перенесенного... вдохновение от песни арфиста, потом потрясение – столкновение с Умаром, а под конец еще такой напряженный разговор с матерью. «Но что делать мне и тебе со смертельной нашей тоской?..» – все звучало в его памяти.

Вечером, когда можно было предположить, что каждый, кого укрывал барский дом, уже сидит в отведенном ему гнезде, к нему постучались и, не ожидая разрешения, открыли дверь: оказалось – Сафия. Мзалей поднялся навстречу. Она положила в его руки сверток – он сразу узнал и оживился:

– Все-таки – сшила?!

– Она-то сшила, но почему не спрашиваешь о том, кто тебе принес, а-а? – Сафия провела ладонью по его груди.

– Спасибо, Сафия! Никогда не забуду! – воскликнул Мзалей. – Знаешь, как кстати! Я очень обязан...

– И это хорошо, что знаешь... – отозвалась она игриво, глаза ее сверкнули в полутьме, будто как у кошки. – Но я трудилась не для того, чтобы ты ее просто спрятал... Да и та, которая сшила, – тоже... Правда – она хоть из широколапых, но мила?..

– Да, да, конечно, она очень мила...

– Тем более и ей будет приятно увидеть черкеску на тебе.

– Как же, я завтра же надену!.. – пообещал Мзалей.

– Посмотрим!

– Правда, правда, завтра же!

Потом Сафия прикрыла свои кошачьи глаза и задумалась.

– Для такого человека как ты – все четыре стороны света будто собственный дом: ты образован, умен, хорош собой... была бы я такая... – Глаза сверкнули в полутьме.

– Но человек нужен в одном месте: именно там, где его родина и народ!

– О-о, какие громкие слова, милый мой Мзалей... – она открыто кокетничала, но не с ним, с кем-то неведомым ему. – В общем-то ты, разумеется, прав. – Снова погасло кошачье сверкание ее глаз. – Куда бы человек ни поехал, куда бы его ни занесло, он свою смерть должен оттянуть до своего дома, земля родины должна принять его...

Сказала это – и как-то быстро, бесшумно выскользнула из комнаты.

Как только она ушла, Мзалей развернул черкеску: акумжвы – верхнее и акаба – нижнее и стал смотреть. Акаба – нижнее – было белым. Принялся разглядывать искусно сплетенные застежки, приблизил к лицу – и услышал приятный нежный запах. Дело было не в материи – это был запах Майяны (милая, милая девушка!). У него на душе потеплело. Пока человек молод, воспоминание о девушке никогда не оставит равнодушным. У него не было к ней чувства сильнее обычного уважения, но этот ее прекрасный запах был частицей всего дорогого для него на родной земле... он ее видел, представлял зарей, которая занимается здесь, – такие как она и рождали эту зарю.

Мзалей знал о том, что Майяна более чем неравнодушна к Мсоусту. Это и не удивительно: было бы несправедливо, если бы они не разглядели друг друга... оба они были такие заметные, что ни взорам, ни сердцам их сама природа не оставила места, чтоб миновать друг друга.

Но всегда, когда думал об этом или кто-нибудь напоминал, Мзалей ощущал боль: он не видел путей их счастья, все входы и выходы для счастья были закупорены... Особенно у Мсоуста так сейчас обстояли дела – какая уж тут свадьба!

Наскоро сверху примерив черкеску, не надевая, он лег, чтобы хорошо выспаться и встать утром пораньше.

ДЕНЬ,
КОГДА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОИЗОШЛО

Умирающий со всеми умирающими,
Рождающийся со всеми рождающимися...
Песня мужества

День выдался солнечный. Ночью при ясном небе все еще немного подмораживало. Пока не развезло, люди потянулись с раннего утра к сельской канцелярии.

Мзалей тоже поднялся рано, но что-то до него еще никому не было дела. Чахуназ не появлялась, значит, попала в такие обстоятельства, что вырваться не может. Она одна никогда не забывала о Мзалее.

Все сложно и просто, просто и сложно в этой жизни.

Иногда очень трудно до конца понять даже самого близкого человека. Вот, например, Сафия: он в последнее время почти перестал доверять ей, а

смотри-ка – вчера она специально послала, доставила ему черкеску, чтоб он сегодня на сходе выглядел достойно.

Как никогда шумен был сегодня Умар, дом сотрясали раскаты его голоса. То внутри раздастся очередная команда, то с балкона позовет Чахуназ или кого-нибудь из прислуги. Необычно было другое: если не брать в расчет именно громогласность, разговаривал он сегодня на удивление нормально, иногда даже благожелательно.

Когда ж он еще с такой охотой собирался на сельский сход, подумал Мзалей; верно, какую-то гадость кому-нибудь готовит, хотя и такое может быть – вознамерился сегодня предстать перед народом благопристойным хозяином.

Лошади, уже оседланные, ждали у коновязей. Сыновья Алмы с сопровождающими все были готовы. Через некоторое время они поднялись в седла и ускакали. Уехал даже Хирипс, и во всей усадьбе стало тихо тут же прибежала запыхавшаяся Чахуназ.

– Извините, ваша светлость, – видно было, что уже очень устала, – я без внимания оставила вас.

– Что это они сегодня вдруг так рано повставали? – спросил Мзалей, начиная умываться.

– Не могу знать, не могу знать, ваша светлость... – она всматривалась в его ладони, в пригоршню, куда наливала воду. – Какие были руки у вас, когда вы приехали, и какие стали теперь, все потрескались. Попали к нам – и очень быстро сделали вас на себя похожим.

– Не о том жалеешь, Чахуназ... – он с удовольствием плеснул водой себе в лицо. – Мужчина тогда должен стесняться своих рук, когда ладони мягкие...

– Все же жалко... – голос Чахуназ дрогнул.

«Похоже, ее кто-то успел обидеть, – подумал Мзалей, – но навряд ли стоит сейчас ворошить...»

– Почему же они Хирипса взяли с собой, такой больной, продует его сегодня – и все.

– Никто не знает, ваша светлость, он и в седле держался-то еле-еле. – Чахуназ как-то испуганно глянула на Мзалея, подавая ему полотенце. – Он, – добавила, – очень редко бывает таким, а может, и вовсе не бывает... – она не называла имени, но Мзалею понятно было, о ком речь. – И как-то с самого утра жутко мне... Я его такого боюсь еще больше...

– Ничего не бойся, Чахуназ, ты же у нас крепкая... – Мзалей улыбнулся девушке – но было больно от мысли, что скоро он и ее не будет видеть, самую добрую здесь к нему. – Теперь иди... когда оденусь, позову... посмотри на мою черкеску, как она мне идет.

– Черкеску? Она уже сшила? – почему-то Чахуназ довольно холодно приняла это известие. – Может быть, пока рано еще, холодно... не лучше ли в той одежде, в которой вы приехали...

– Это исключается, – даже обиделся Мзалей. – Если бы не было – тогда обидно, раз есть – что может быть лучше черкески! Дай бог здоровья и

Майяне, и Сафии. Одна сшила, другая доставила вовремя, к сегодняшнему дню.

Когда он подошел к зеркалу, первое, что приятно удивило, – черкеска действительно ему очень шла, казался даже стройнее обычного. Давно не смотрелся в зеркало – сейчас ему показалось, что оттуда на него глядит где-то знакомый, но в чем-то и незнакомый человек, у которого новые мысли, новые огорчения, новые надежды. Раньше, когда вот так стоял перед зеркалом, оттуда на него смотрела едва уловимая тень. И теперь тоже зеркало было мутное, в нем ничего не изменилось, но он видел свое изображение очень ясно.

Похоже, наконец весь я собрался в себе, подумал он, все соединилось, оттого что я здесь, на родине. И та половина моя, что унес оттуда, с севера, и та часть, детство, отрочество, юность, воспоминания, которые оставил здесь, – слились как два рукава реки. Человек в любом другом месте останется разделенным на части, единым целым он может быть только на родине, пока чувствует ее землю под ногой.

Он перепоясался нешироким ремнем с серебряным набором, с небольшим кинжалом, когда без вызова зашла Чахуназ – и застыла пораженная, словно, вернувшись в комнату, нашла не того, которого оставила несколькими минутами раньше, а совершенно другого человека.

Наверняка в этой одежде, я больше похожу на него, подумал Мзалей, можно не сомневаться... уже и к духу его я привык – сделался моей частью... По этому тоже было заметно, что наконец соединился сам с собой... как соединяются, сливаются реки, так соединился с ним уже не только этот дух, но и другие, близкие... дух всех уцелевших и всех ушедших.

– Что-то, вижу, я тебе не нравлюсь в черкеске, Чахуназ? – Он все еще стоял у зеркала.

– Нравитесь, нравитесь... – Она шагнула в глубь комнаты. – Вообще, конечно, она очень вас изменила... – Девушка говорила с каким-то сомнением, казалось, что-то не давало ей радоваться.

Она принесла ему завтрак, но есть не хотелось, он весь уже был там, уже был охвачен волнением предстоящей встречи.

– Не то что просто – а очень идет... – голос у Чахуназ дрогнул. – Только боюсь, как бы вас не сглазили... по земле много ходит таких... с нехорошими глазами.

(В красные глаза – красная заноза вонзится, в серые глаза – серая...)

– Верно, есть и злые глаза, но там будет столько хороших, что злые останутся побиты, бессильны... – Он улыбнулся ей и попрощался взглядом.

Собираясь выходить из дома, он подошел к комнате матери, прислушался, но там все было тихо. Может так случиться, что вернется он поздно, и очень поздно придется ему уйти, не повидавшись с ней.

Выдержит ли она новую разлуку... у него защемило сердце.

Он вернулся к себе и, выходя, заметил свой саквояж, – был уже набит его вещами. (Значит, мать каким-то образом успела...) Задвинул его за кровать,

чтоб сразу не бросался в глаза. Быстро вышел и, больше не оглядываясь, пересек уже почти сухой, большой барский двор.

Сегодня хорошо было бы верхом, но у него не было коня, братья сами уехали на своих, просить же у Алмы он не хотел. У матери тоже был свой конь, но она сама не предложила, и это его больше устраивало.

Когда уже отошел на порядочное расстояние, так что не видна была барская усадьба, вздохнул свободнее.

День выдался ясный – уже настоящий весенний денек. Редко случалась такая весна в здешних местах: снег еще не сошел полностью, но солнце продолжало свое дело. Воздух был напоен весенними запахами, тоже особыми, не густыми, не дурманящими, а острыми, тонкими, чуть обжигающими ноздри. Птицы, обычно в такую пору заполнявшие разноголосым щебетанием, пением леса, сейчас пока еще очень робко подавали голоса, до конца не пришли в себя, и еще слабых было много. Куда ни посмотришь, из островков снега торчали лапки, клювы, крылья погибших от холода мелких птах, да и птиц покрупнее. Там, где уже обнажилась голая пока земля, под нежарким еще солнцем пошатываясь на нетвердых ногах стояли исхудавшие, еле-еле перенесшие невиданную зиму коровы, буйволы, быки. Большой снег был побежден людьми, но и домашней скотине, и лесному зверью еще приходилось туго. Нужно было еще дней десять-пятнадцать солнечного тепла, чтобы высушить землю и положить на ее раны зеленую траву. А если пойдут пасмурные, промозглые дни, так все могло затянуться и на месяц.

Но сегодня – сегодня выдался самый настоящий весенний денек, и все, что уцелело от суровой зимы, тянулось к солнцу. В глубине леса, там, где еще предостаточно снега, белочки, легче перенесшие зиму, – они всегда отыщут для себя сухое теплое удобное дупло, всегда запасливы, да и мех носят теплый, – белочки уже прыгали с ветки на ветку, шарахаясь, когда рядом срывались вниз снежные комья. Редкие куницы выглядели куда слабее: они уже не забирались на самый конец ветки, как легкая стрела с хищной заостренной головкой, готовые совершить прыжок-полет, а держались понуро – напряженная, натянутая будто тетива линия на хребте ослабла, прекрасная шерсть не лоснилась как прежде... Несмотря на то, что уже исподволь нарушалось временное правило, введенное природой: инстинкт подсказывал лесному зверью не нападать друг на друга в пору труднейших испытаний, когда живое существо не может использовать привычные средства самозащиты, – хотя самое тяжелое было позади и остальные лесные жители уже снова начинали охотиться, куницы не смотрели на резвящихся рядом белок и не думали нападать на них. Они вели себя до того скромно, будто переживали, что так опустились, потеряли всегдашнюю красоту и грацию.

В берлогу, над которой торчали огромные корни дуба, облепленные линялой шерстью, вчера ворвалась талая вода и затопила. Изгнанная из

жилья, на солнце понуро сидела исхудавшая, почти облысевшая, видавшая виды старая волчица.

Подальше, под большим кленом, где уже почти было сухо, стояла молодая косуля, – кажется, ветерком могло свалить с ног, – потерявшая за зиму всю свою родню. Отощавшая, ослабевшая, – но, видно, и на нее уже действовала весна, тепло: беспокойно прошлась туда-сюда, замерла – глаза с сизоватой поволокой, к чему-то прислушивается... Потом вдруг, забыв обо всем, яростно начинала своими слабыми рожками чесать одну, другую ногу, там, где запеклась прелая шерсть. В лесу было еще достаточно мест, куда почти не заглядывало солнце; живое там еще страдало от холода, а всякая мелкая тварь, уцелевшая после зимы, находилась как бы в полуспячке; но сила, запахи, тепло весны доставали уже повсюду, все или были уже к ней готовы, или готовились, – между небом и землей силы жизни уже взяли верх.

Деревья, растительность, тоже пока были в ожидании, но глубоко в земле корни уже чувствовали благодатную влагу, вот-вот уже должны были заструиться соки в их жилах.

Здесь, на высоких местах, на склонах, вчерашние талые воды, ручейки, речушки к утру уже были почти безголосые; к тому же было еще слишком рано – держался ночной холод, и даже там, где лежал снег и солнце уже доставало его, он не успел набухнуть влагой. Тихо было, лишь снизу, из долины, доносился ровный сильный шум разбушевавшейся реки. Кое-где, в просветах между деревьями, Мзалей видел, как она бурлит, затопив берега.

Если хорошо прислушаться, можно было уловить, как природа пока негромко, но многоголосо и с неисчислимым количеством оттенков начинала свою дневную песнь. Запевалой все же была река. Ее шум достигал всюду, ручьи потихоньку начинали подпевать, и этот общий ритм влиял на голоса всех живых. До полудня песнь нарастала, после полудня, когда таяние усиливалось, обретали голос даже незаметные струйки, общий хор поднимался, захватывал, заполнял нижнюю часть небесного свода – и полностью заглушал самое запевалу.

К Мзалею вернулось хорошее настроение. Он шел по той стороне дороги, где еще оставался нетающий снег. Дорога была испещрена человеческими следами вперемежку с лошадиными, – почти все уже ушли и, видимо, были у цели. Он понимал состояние людей: все рвались на сход; столько времени плененные снегом – им не терпелось увидеться друг с другом.

Насколько он знал, сегодня решено было поздравить народ с благополучным исходом такой зимы, такого снегопада, поблагодарить отличившихся – и в то же время не скрыть того, что многие плохо себя показали в этих тяжелых условиях, даже решили на этом бедствии подзаработать... решено было назвать их, вывести на чистую воду.

Снег уже был на исходе, но еще почти нетронутым лежал в ущельях, на горах, оставалась опасность больших наводнений. Кроме того особенно трудно было с кормами. У тех, кто имел много земли, оставались излишки, но владельцы нещадно вздули цены. Среди них был и небезызвестный Такияла.

Видимо, и об этом тоже должен был состояться разговор, предстояло выбрать людей, которые распределили бы корм поровну, либо по сходной цене. Надо было настоять пока что на незыблемости правил, сложившихся за время Большого снега.

Мзалею все больше хотелось сегодня поговорить со своим народом, сказать свое слово, и не только о сегодняшнем, накопившемся, но и чуть пошире.

Дойдя до лощины, он остановился, огляделся, потом, стараясь не оставлять за собой следов, свернул налево. Мсоуст, видимо, уже на месте... Он радовался и волновался. Но в то же время, как ребенок, которому сшили красную рубашку к Пасхе, то и дело рассматривал свою черкеску, любовался ею. Когда он только вышел, было ощущение, что на нем почти нет одежды, такой невесомой казалась черкеска после теплых зимних одеяний... зато и чувствовал себя в ней легким, ловким. Да и холодно не было.

Вошел в перелесок, здесь его шаги по промерзшему снегу были слышнее, и он старался ступать тише. Уже меж деревьев ему сделался виден контур небольшого древнего храма и развалины стены вокруг него. Храм стоял недалеко от перелеска, на большом бугре. На западной стороне, на плюще, закрывавшем стены храма, еще не растаял снег. Солнце на закате освещало и эту стену, но не успевало согреть, еще у него не было такой силы, чтоб растопить здесь снег.

В детстве он несколько раз пытался вырваться сюда, осмотреть храм – очень уж много слышал о нем. Однажды даже Эсму, более послушную, конечно, чем он сам, уговорил идти сюда – все-таки одному было боязно. Одни рассказывали, будто тут везде блуждают души умерших... как только зайдешь внутрь, они начинают издавать жуткие свистящие звуки... другие клялись, что в храме слышатся стоны, или из-под земли, словно как из преисподней, доносятся не умолкающие древние причитания.

Более или менее грамотные люди передавали, что храм построили при Апсха – абхазском царе Леоне.

...Сто раз убитая, сто раз воскресавшая, восставшая из пепла, неизведанная, необласканная никогда и никем, сторона моя... что-то его потянуло на лирический тон... никогда никому из нас не выполнить, не отдать полностью своего долга – столько накопилось...

Он шел краем перелеска, здесь снег еще был довольно глубокий, иногда даже вязли ноги. Шел и думал – что же в те времена заставило так, на отшибе поставить храм... Чем было свято это место? Может быть, здесь погиб какой-то человек, а может, победу какую одержали?..

Вдруг ему, занятому своими мыслями, почудились какие-то звуки, человеческие голоса. Он прислушался: явно донеслись чьи-то шаги по снегу. Сердце у него до боли сжалось: как бы не привел он за собой слежку! Что же подумает Мсоуст! Не стал задерживаться, но весь обратился в слух. Ничего подозрительного не заметил, но все же решил, не заходя в храм, миновать его; потом, отойдя подальше, еще откуда-нибудь понаблюдает – просто

послышалось ли, или действительно кто-то следит за ним... или, еще хуже, – за ними.

Поравнявшись с древним храмом, он даже не посмотрел туда и пошел в обход. На этот раз явственно услышал шаги по снегу и только хотел резко повернуться навстречу, как раздался звук, словно где-то наверху лопнул ствол высокого, стройного клена, рядом с которым он сейчас оказался. И не дав даже шевельнуться, не дав повернуться, – что-то ударило под лопаткой, и сразу стало темно, и сразу же мир сделался беззвучным. Упал лицом в снег... Очнувшись от его ледяного дыхания, через несколько мгновений он опять услышал шум жизни.

– Братья вы, братья! – донесся до его потухающего сознания странный голос, словно это кричал человек, из горло которого хлещет кровь.

Сразу же после этих слов еще два раза подряд лопнул ствол высокого клена...

«...Так все и кончилось... – шепнул он перед тем как погрузиться в вечное молчание. И сам услышал свой шепот: – Последняя моя связь с этим миром – мой язык... лежать на земле родины – больше этого счастья у меня не было, но и это – счастье...»

И опять онемел мир – на этот раз навсегда.

Потом все стало едино, все слилось – и начало и конец.

Услышав выстрел, Мсоуст, стоявший у входа в храм в ожидании Мзалея, забыв даже о предосторожности, выскочил наружу. Он догадывался, что за ним следят, и догадывался, кто это могут быть. Он знал, что из уезда, или еще откуда-нибудь подальше, никого здесь не было, не было еще никакой связи. Потому, прежде всего, он должен был увидеть нападающих, удостовериться, кто они такие... и еще он почувствовал – с Мзалеем что-то случилось. Прячась за разрушенную стену, держа карабин наизготове, он всматривался в ту сторону, откуда мог ударить выстрел, и тут вдруг услышал голос отца:

– Он брат твой! – выдохнул отец явственно, в страшной тревоге. Мсоусту показалось, что гром грянул среди ясного дня и сверкнула молния, он даже пошатнулся, потрясенный: к отцу вернулся дар речи!

Он с самого начала ожидал, что отец будет весь сегодняшний день сторожить его, чтобы он не взял бы да и не явился на сход. Мысли обрывками молнии проносились в голове, сам же он весь был сейчас слух и зрение. Явственно услышал чье-то ругательство, чей-то звериный рык... Отпрыгнул от стены, стал у дерева, и в тот же миг – выстрел, пуля отбила кусок коры над головой. Наверху, на лесистом склоне, заметил – что-то мелькнуло... не целясь выстрелил туда – раз и еще раз. Один из двоих там всхлипнул так, словно чем-то тяжелым ударили под дых... Снова заметил мелькание, сейчас более ясно, и тут уж признал нападавших: Ацахва-прорицатель и Манча!

И здесь же услышал: «Убили его, убили!..» Повернувшись, увидел человека на снегу – и сразу понял, кто это... Тут некогда было раздумывать –

помчался по перелеску что было сил. «Или я, или они... – понимал он, быстро прикидывая на ходу, как их преследовать. – Сегодня или никогда! Если они уйдут сейчас, такой случай навряд ли еще представится!» Он бежал вверх по склону и с великой досадой чувствовал, как он до конца еще не оправился от всего перенесенного этой зимой.

Но – или должен упасть без дыхания, как загнанная лошадь, или... – как клятва стучало в его груди.

Этого прорицателя, этого юродивого он должен взять, чтобы своими же погаными устами рассказал о всех своих злодеяниях, кто он, что он, чем занимается... – стучало, стучало в груди – и он мчался по лесистому склону изо всех сил.

Когда он добрался, поднялся до их следов, на снегу увидел кровь. Пробежал наискось еще довольно большое расстояние – и заметил: шевелятся густые кусты рододендрона. Решил обойти это место, но взял слишком низко: увидел «святого», когда тот стал подниматься на пригорок. Он был в том же балахоне, напоминающем рясу, еще более грязном и обтрепавшемся, на голове войлочная шапка.

Мсоуст догадывался, что в нем много черной силы, но знал, что бегать, особенно в таких местах, ему труднее, а о том, как он стреляет, – понятия не имел.

...Когда немного оправился – та несчастная косуля его спасла, – он нашел пастухов, – им очень туго приходилось со своими отарами. Пастухи уже сдавались, думали – вот и погибнуть им здесь вместе с овцами, когда он вышел к ним. Но увидели самого Мсоуста – и воспряли духом. Когда же все обошлось, снег перестал валить и осел, опасность миновала, он ушел от пастухов, чтобы спуститься в село. По дороге наткнулся на убитого Дадына. Рука его, которую он тогда вскинул, чтобы выстрелить, так и торчала над оседающим сугробом.

...Постепенно Мсоуст стал настигать «святого» – загнал его в такое место, что тот должен был лезть прямо наверх; с двух сторон тут был обрыв.

Наверняка, как всякий равнинный, прорицатель этот боится обрывов... как негодяй Манча, кошачье отродье, страшится воды...

– Напрасно мучаешь себя, – крикнул Мсоуст, сам он тоже дышал тяжело. – Хотя да, да, я забыл – ты же мученик, видно, сам себя наказываешь, святоша... Слишком часто ты сухим из воды выходил, но сегодня тебе не отвертеться...

Видно было, что «святой» уже не мог подниматься дальше. Не успел Мсоуст подумать об этом, как тот обернулся – с пистолетом в руках. Мсоуст не раздумывая выстрелил – пистолет выбило, вывалился на склон. Ацахва застонал, прижимая окровавленную руку к груди, но похоже было, что рука лишь слегка задета. Опять он попытался идти наверх, тужился, тужился, делал неимоверные усилия, но ноги скользили обратно. Наконец – присел, соскользнул вниз до выступа и там остановился. Мсоуст держал его под прицелом, не спуская с него глаз.

Правду сказать, не встречал он такого человеческого лица, если можно это назвать лицом!

– Для тебя лучше, если я останусь жив... – вымолвил Ацахва, губы искривились змеей. – А так – у тебя не останется свидетелей, всю пролитую кровь посчитают за тобой – и не будет тебе прощения!

– Ты лучше бы подумал о своем прощении, гад! А ну-ка, топай, да знай, если вздумаешь еще что-нибудь учинить, твои мозги будет разбрызганы здесь! – Мсоуст решил спуститься вниз и там связать «святого».

Ацахва молча начал спускаться, спотыкаясь, прижимая раненную руку к груди. Поравнявшись с Мсоустом, остановился.

– А этого, – он кивнул вниз, – не я убивал. Его убил Манча.

– Манча же не сам решился, это ты его заставил!

– Трус и негодяй... – губы «святого» снова искривились змеей. – Поторопился, выстрелил с испугу, не разобравшись. Я чуть зазевался, не заметил... не успел ударить по руке. Я один мог среди тысячи людей не спутать его с тобой... Не оттого, что я давно знал, как твой папаша подгулял...

– Заткнись! И я тебя знал всегда – это всякая баранта тебя принимала за святого. – Мсоуст приставил дуло прямо ко лбу Ацахвы. – Заткнись, пока я тебя не заткнул!

– ...И потому я старался тебя сжить со света... а так – кому ты нужен, слишком мелкая сошка, чтоб на тебя тратиться... – «святой» оскалил зубы. – А другого, Дадына, я укокошил, чтоб он сам того же со мной не сделал. Догадался, что он решил со мной покончить... Любой бы на моем месте...

В это время снизу опять послышался голос Гуатаса, по-прежнему стонущие, воющие звуки. Мсоуст невольно перевел туда взгляд и ему показалось, словно бревном ударили под дых... отлетев книзу, он всей тяжестью ударился об уродливое дерево с бугристым старым стволом. В глазах потемнело, и он услышал, как где-то в снег врезалось ружье, выскочившее из рук. Но мгновенно сознание подсказало, что если не встанет, пересилив себя, свою боль, – погибнет. И это будет самой глупой, самой позорной гибелью! Когда, поднявшись через силу, он открыл глаза, смутно увидел, как этот лжепророк уже был перед ним с ножом в левой руке – открыл искаженный, чудовищный рот, готовый впиться зубами в горло.

Головой, гадина, бил, промелькнуло в мозгу, должно быть, видит, что ослаб, оттого и осмелел...

Его пронзило чувство униженности, оскорбления. Что стоит как мужчине умереть от пули... но этот головой ударил, и сейчас будет ножом добивать.

Тогда он забыл все – и боль, и слабость... то, что еще не оправился от пережитого, болезни, голода, потрясения... ему показалось, все в нем вскипает. Первым движением он не смог поймать его руку с ножом, но второй раз – схватил, правда, слишком близко к локтю. «Святой» изо всех сил старался освободиться и нанести удар. Мсоуст не выпустил бы его руку, но повернуть, скрутить так, чтобы нож выпал, ему было неудобно и трудно. Тот, видимо, был мастак в ножевой драке. Наконец Мсоуст повернул его и

всем корпусом саданул об уродливый ствол рядом. У того и пасть захлопнулась, нож выпал из рук. Мсоуст снова ударил его о дерево – голова Ацахвы повисла, и он сделался тяжелым, словно всю внутренность залили свинцом. Мсоусту уже трудно было сдержаться, еще раз ударил «святого» о дерево – у того из носа и изо рта хлынула кровь.

– Убьешь! – совсем близко раздался незнакомый голос отца, голос, который он впервые услышал только сегодня.

Но Мсоусту некогда было все это осмысливать, не было сил радоваться. Взял прорицателя за ворот вонючей рясы и поволок вниз. Спускаясь, на ходу подхватил его кривой турецкий нож. Гуатас поднял карабин Мсоуста и пошел следом.

Когда приволок «святого» туда, где лежал Мзалей, Мсоуст остановился, отвязал от пояса агардзган – кожаную веревку – и крепко-накрепко перетянул руки и ноги Ацахвы. Потом подошел к телу Мзалея и посмотрел в его мертвое лицо (Гуатас перевернул Мзалея лицом к розовеющему от весеннего солнца небу). Ему казалось сейчас, что он всегда знал его, Мзалея, был очень близок с ним.

Может быть, он смог бы дать мне ответ на мои проклятые вопросы, подумал Мсоуст, глядя в лицо покойника, – благородные черты, подобных которым ему не доводилось видеть... Или вместе стали бы искать...

Пуля попала, похоже, в самое сердце. Та часть белого акаба, которая была видна, уже сделалась красной от крови, и вся черкеска была набухшая кровью. Мсоуст, конечно, заметил, что черкеска на покойнике была такая же, как его черкеска, которую он тоже надел сегодня, отправляясь на встречу.

– Отец, это верно, что он был мой брат? – спросил Гуатаса, протягивая руку за карабином.

– Да... брат... – с усилием выговорил Гуатас – речь пока давалась ему тяжело.

Мсоуст подошел к отцу и осторожно обнял его. В теле старика еще клокотал могучий дух: оно сотрясалось, вздрагивало, замирало...

– Я знал, что твой голос всегда был на подходе, он лежал близко, – сказал Мсоуст. – И хоть до сегодняшнего дня я от тебя не слышал ни слова, но больше всего я понимал тебя... Иногда я так ясно понимал то, что ты хочешь сказать и какими словами, что казалось – вот-вот отомкнутся твои уста и ты произнесешь вслух. К тебе вернулся дар речи, это великая радость и хорошее предзнаменование. А что до меня, как видишь – не оправдал твоих надежд... – Мсоуст невесело усмехнулся.

Гуатас поднял на него глаза, видевшие за долгую жизнь так много, глаза, полные боли и слез.

Гудзбе хотелось до того, как начнется сход, поговорить с детьми, которые все же явились сегодня в школу, дать задание на дом и отпустить. Ждал он довольно долго, но священника с ключом так и не было. Не было и его сына. Это встревожило больше всего.

На сходку пришли уже очень многие, к школе долетал неумолчный гул разговоров. Гудзба тоже хотел сказать кое-что на сходе, он надеялся, что его слова дойдут до людей, их поймут.

Уже не в силах ждать, Гудзба послал ребят постарше к священнику. Вскоре они прибежали обратно с вестью: дом священника заперт, никого там нет – словно вымерли.

Гудзба удивился.

А вдруг он сбежал, наш священник, тут же посмеялся Гудзба в душе, – услышал, что на сходе ожидается открытый разговор – и... (а вдруг, а вдруг...) Действительно, как он может смотреть людям в глаза, что может им сказать, если ничего не сказал во все эти тяжелейшие дни, недели, когда ободряющее слово, тем более от имени Бога, было бы незаменимо.

Он прохаживался по веранде и вдруг почувствовал, как совсем бесшумно подошел кто-то; оказалось – Селык.

– Извините, учитель, отец еще боится за меня, и вот пока почистил коня, оседлал... Я бы и сам, пешком... – Гудзба слушал мальчика и радовался, понимая, что тот уже окончательно выздоровел.

– Правильно поступил твой отец, – ответил он. – Весенние холода, сырость – от них надо беречься. Ты без меня не уходи... А теперь возьми звонок и позвони.

Весенний чистый воздух прорезали тонкие звенящие звуки, не обрываясь, долго разливались в пространстве, словно мальчик звонил и за те дни учебы, что были отняты снегопадом. Эти звуки ласкали слух Гудзбы, ему казалось, они словно летят из будущего.

В это время с широкого двора сельской канцелярии стал доноситься необычный шум, голоса, вскрики женщин. Гудзба посмотрел туда: гул все усиливался, народ заволновался. Он сбежал с лестницы и увидел, как люди вереницами торопливо двинулись вверх по склону. Кто-то, вроде бы Чантамыр, что-то кричал им, но ясно было, что остановить поднимающихся невозможно, и окрики эти не производили никакого действия.

– Селык, ты обязательно найди отца, он, верно, ждет тебя, – проговорил торопливо Гудзба. – А вы, ребята, не путаясь у людей под ногами, сейчас же отправляйтесь по домам, с сегодняшнего дня будете ходить в школу как раньше ходили.

Гудзба поспешно двинулся в сторону распадающегося схода, не понимая, что там происходит, и очень волнуясь. Не успел отойти от школы, как его догнал запыхавшийся Маху.

– Маху, что случилось, что это такое?!

– Случилось небывалое, уважаемый, небывалое! – парень перевел дыхание и еще раз повторил: – Небывалое! Твой отец Гуатас Арадзныш заговорил вдруг... (А вдруг, а вдруг...)

– Как?! – почему-то перепугался Гудзба. И тут же понял, отчего: раз случилось такое, что к отцу вернулся дар речи, значит, он что-то пережил – или великую радость, или великое потрясение.

А великой радости откуда взяться, подумал он волнуясь.

– И, как видишь, народ двинулся туда, говорят – раз вернулся к нему дар речи, сам Всевышний хочет его устами что-то сообщить...

Но Гудзбу все это не могло успокоить.

– Случайно не видел Мзалея? – спросил Маху.

– Я же не успел пойти на сход... – Гудзба ускорил шаг, мучаясь догадками. – Он должен быть здесь... – Маху тоже не отставал. – Если к отцу вернулся дар речи – не удивительно, ведь он замолчал от раны. И, видно, прошел срок, речь и восстановилась. Но могло быть и от сильного испуга, переживания, гнева... мало ли...

– Надо мне найти Мзалея, – повторил Маху, отставая.

– Для чего он тебе так понадобился! – Гудзба обернулся к нему. – Может, я ему передам, если только увижу.

– Извини пожалуйста, я знаю, что не должен обо всем этом тебе рассказывать, но сейчас иначе не могу: в ночь Большого снега родился... ребенок...

– Как же, знаю, знаю... – Гудзба опять ускорил шаг. – Человек, родившийся вместе с Большим снегом... Вот увидишь, большой снег уже маленький, а человек растет, будет большой! Я ему скажу, Мзалею, как только увижу...

– Как все некстати складывается, – сказал грустно Маху. – Я сегодня хотел после схода устроить аглахиа* и дать имя ребенку.

– Все успеешь, не огорчайся. И Мзалей найдется... – Оставив Маху, Гудзба поторопился следом за вереницами людей вверх по склону.

На сходе остались только представители дворянства, богатые и помельче, да некоторые из их окружения. Издалека видно было, как Умар, весь съежившись, ощетинившись, как усталый кабан, который уже повернул к охотнику, чтобы самому напасть, выходит из круга собравшихся, бьет плетью по сапогу... отойдет немного – и опять возвращается, входит в круг.

Людская вереница, то дробясь, то соединяясь, извивающейся на снегу черной лентой все выше и выше поднималась по склону, направляясь к древнему, давно заброшенному храму. Чтобы там, наверху, где в дубовом перелеске весна уже привела в движение живительные соки, но и в то же время еще сохранялся снег, чистый, нетронутый, – услышать, что сообщит им устами человека, которому он через многие годы вернул дар речи, что же поведает им Всевышний, – не тот, разделенный на Будду, Шиву, Яхве, Иисуса, Мухаммеда, а безраздельный и бесконечный как небо – сам Анцва... услышать его подлинные слова, не так, как испокон бывало, – посредством чужого языка, а на своем родном языке, который каждому вдохнула мать, как Бог вдохнул душу... хотя бы на миг почувствовать мир единым – не разделенным, не разобщенным – мир и всех людей... и мимолетную надежду, даже силу, энергию, которыми зарядит их это чувство, – считать великой милостью Божьей.

Вереница сельчан, втянувшись в старую дубовую рощу, тут же и наткнулась на них: каждый подходил к Мзалею, лежавшему мертвым лицом

к небу на почерневшем пятне на снегу... и чуть подальше – Ацахва, неподвижный, со связанными руками и ногами. А потом отходили, становились в стороне. И вскоре почти вся роща была заполнена людьми: покашливали, вздыхали, кое-где и всхлипывали, но молчали.

– Самое дорогое... самое... мой народ... – заговорил вдруг Гуатас, с трудом выдавливая каждое слово из гортани. Обвел взглядом людей – стояли под каждым дубом, в уже истоптанном, утратившем белизну неглубоком снегу.

– Боже, Боже всемилостивый!!! – казалось, вместе с людьми повторяют и деревья.

– Твоя великая милость, о великое небо! – все разом обратили лица вверх, к небу, – проглядывало сквозь ветви деревьев, и там легкими волнами текли серые облака, словно дым от давно сгоревшего жнивья, и кое-где высвечивались голубые куски, как озерца в глубоких провалах.

– Если столько лет безъязыкий – заговорил, – это значит, что Господь простил наконец грех, который сжигал его долгие годы... грех, совершенный в минуту такой слабости, которой нет прощения... Грех – то, что я однажды оставил свою родину. В какие бы переделки ни попадал человек, – если он человек и если у него на руках ребенок, разве бросит ребенка в пекло, желая спасти себя?! Если родину, землю души, – оставляют те, чья душа навсегда в ней, то эта земля-родина умирает, они убивают и ее и себя. Потому что их души – в ней, а ее душа – в каждом из них. Мертвые ли, живые ли – они должны быть вместе. Ни прощения, ни оправдания нет никому, кто оставляет, способен оставить родную землю. Нас изгоняли штыками, нам морочили головы, оболванивали, наши дома превращали в пепел, – но смерть, гибель наша должна была состояться здесь, только здесь... Это тот самый грех, который яростно преследует нас в последнее время... – все труднее и труднее становилось ему говорить.

При последних словах Гуатаса рощу огласил вздох сотен людей.

– Но все-таки не оставил нас Господь, заметил... – Опять вздохнули слушавшие его, сотня маленьких облачков выдыхаемого туманца растворилась в прохладе рощи. – Не одни тяжкие испытания Он послал нам... Наконец, Асду – Большой снег... и люди выдержали, показали, что и дух еще не совсем сломлен, и совесть есть...

– Слава тебе, Господи! – как один произнесли собравшиеся, и лес повторил.

– Но знайте, люди, что мы не окончательно прощены... След этого греха еще будет сказываться на тех, кого мы родили, на тех, кого они родят, – и еще дальше... Когда просочится в народ много таких, которые лишь и хотели – землю, получить от нее то, чем можно набить брюхо, – у самой земли нашей не останется силы помочь ни себе, ни другим – своим сыновьям. Но мы не должны допустить – нас призывают к этому души погибших страдальцев, проглоченных морем младенцев, чьи кости разбросаны по горячим пескам чужого берега... и еще тех, которые томятся там в великом горе сиротства – лишенные родины... к этому призывает нас сам Господь, такой наказ дан нам свыше!.. Но до сих пор так было – и долго еще будет

расплата за этот великий грех настигать лучших из лучших... – Он сделал шаг в сторону, туда, где лежал Мзалей. Все опустили головы. В это время, стремительно пробиваясь сквозь гущу людей, пошла к покойнику плачущая женщина. Это была Чахуназ. Ее черные густые волосы были распущены. Остановилась перед телом на снегу, смотрела, отказываясь поверить своим глазам, и молча рыдала.

Мсоуст видел, как, поднявшись сюда с людьми, все время плакали Майяна и Бадра. Они его заметили, конечно, но ни разу не повернулись в его сторону, не посмотрели. Когда Мсоуст сделал несколько шагов вперед, люди перед ним расступились.

Он остановился не доходя до того места, где лежал скрученный Ацахва-прорицатель, и лицо его передернулось, словно в нос ему ударил запах разлагающегося трупа.

– Вот он, ваш ангел, святоша, которого вы боготворили... – сказал он с презрением, которое, казалось, частично относится и ко всем остальным. – Этот ваш святоша зарезал и Дадына, – там, у ближнего перевала, замороженный в снегу лежит. А здесь они перепутали – и погиб ни в чем не повинный человек...

Ацахва зашевелился, дернулся, но промолчал, – либо ему трудно было говорить, или вообще боялся подать голос.

– Он был с Манчей... Разве вы не видите, что его занятие – убивать, душить, стрелять из-за угла?! Почему вы всегда так слепы – или не хотите увидеть?! – Обратился к Чантамыру, который все поглядывал на труп Мзалея полными слез глазами. – Верно, захотите его просто так передать тем, которых вы боитесь, перед которыми всю жизнь дрожите... Лучше будет, если допросите его сами, – заставьте его сказать все. Он может вам глаза открыть, чтобы сразу не бросались в объятия каждому встречному. А если не захочет – кончайте его, мир очистится еще от одного гада! – починяясь волне гнева, он поднял карабин.

Чантамыр шагнул вперед, стал между ним и Ацахвой. Мсоуст смерил его взглядом и, молча повернувшись, пошел по истоптанному снегу. Он уже миновал собравшихся людей, когда кто-то из толпы окликнул его. Мсоуст остановился.

– А ты сам – что нам скажешь? Разве у тебя нет ничего, что нам сказать?

Мсоуст некоторое время молчал, повернулся лицом к людям:

– Что я могу вам сказать, когда нечего самому себе ответить. И вот все продолжаю спрашивать себя... – в словах его была тяжелая грусть... – и вы тоже спрашивайте себя, спрашивайте... Единственное, что я могу вам посоветовать, это – не бойтесь своей тени...

Сказал – и повернулся, быстро зашагал прочь. Рыдания Чахуназ стали слышнее.

КОНЕЦ – НАЧАЛО

Дороги кружат, кружат

И наконец приводят на то место,
где начинался, –
Мертвым или живым...
Песня надежды

И как вдруг стало тихо-тихо, прекратил гудеть и потрескивать огонь в очаге и будто даже укротил свое горячее дыхание. Базала сел на постели. Предчувствие волной прошло по всему его телу... И сразу, через земляной пол, сверху покрытый глиной, хорошо утоптанный, высушенный за многие годы, что они живут в этом домишке-амацурте, он ощутил, потом и явственно услышал голос, зов земли. Это было неизъяснимо... зов доходил как очень затаенное подобие песни, тут были свои глубины, водовороты, – лишь очень чуткий игрок на апхиарца смог бы это сыграть, и вторить ему невозможно было, если б и начал – не получилось бы, просто испортил... Голос, зов этот должен был литься сам по себе, а Базала – внимать ему, – тогда песня словно бы подключала, захватывала и его... Так он каждой весной начинал слышать, как пробуждается к жизни земля, а осенью – как она засыпает.

В этом году весна пришла с опозданием, но пришла особенная, зов и сигналы земли тоже были понастойчивее обычного: в этом году я как никогда готова, как никогда в ожидании – говорила она.

Базала поднялся, взял большой медный котел и, налив воды, повесил над огнем. Так каждой весной, каждый раз в это время, почувствовав, услышав зов земли, он будто готовился к какому-нибудь празднику, или к поездке, – купался, надевал чистое. Потом уходил на свидание со своими землями, обходил их все... насыпал землю на ладонь, пробовал пальцами, говорил с ней, о ней... рассказывал каждому участку, учитывая его особенности, – где, когда вспахать, и как вспахать, когда и что посеять, который из них освободить, чтобы отдохнул...

Когда вода нагрелась, отнес ее за перегородку, в отдельную для таких дел комнатушку, разделся, стал в глубокое, предназначенное для этого корыто и начал купаться, поливая на себя из большой самшитовой кружки. Купаясь, он опять думал о своих землях: у него были земли мягкие, и чернозем и краснозем, – одно удовольствие там пахать и мотыжить, но равнинные все куски были глинистые, трудные. Он знал их гул, зов – как их самих. Голоса легких, мягких земель были тоже легкие, мягкие, быстрые, но гул этих глинистых, тяжелых – был глубоким, тяжеловесным, напоминал «Песню мужества». Очень много силы уходило на вспашку таких участков, земля прилипала к лемехам, то, что можно было за день вспахать на других участках, здесь требовало два-три дня. Мотыжить еще труднее... Но земля эта была плодородной, сильной... сколько лет уже не давали ей отдохнуть. И в засуху, и в дождливые сезоны не подводила. Он не хотел оставлять без внимания и другие куски, ко всем к ним относился нежно, но эти, конечно, выделял, ставил впереди всех.

Из равнинных его участков – и очень сильным, черноземным и рассыпчатым, и с высоким достоинством – был тот участок, который так и уплыл из его рук, который отдали обрабатывать новоселам-арендаторам. Там, где встречались с этим стариком, которому суждено было остаться заживо погребенным под снегом.

Он выкупался быстро, сменил белье, оделся и в ожидании рассвета сел у огня.

Очень хорошо сделал, что взял этого сироту к себе, думал он сейчас. Что может быть лучше – заполучить человека. Земли, если умеючи распределить, всем хватит. Сирота пока себя ведет, словно только что из лесу его взяли. Язык еще не освоил. Сначала было совсем туго. Сейчас уже кое-что стал понимать, позовешь есть, спать, воды дать – понимает. Плохо – ни за что не хочет даже попробовать хоть слово сказать. Сначала пусть будет не совсем складно, но потом все выправится. Если бы мальчик чуть больше понимал, говорил хоть несколько слов, – взял бы его с собой, показал земли, рассказал о каждом куске, свойствах каждого: сразу дает всходы, как только засеял... а этот не спешит – даже зная все, иногда начинаешь бояться: а вдруг не взойдет, мало ли что... Напрасно хозяйка не будет его утром, жалеет, думает, что делает ему хорошо.

Это плохо, думает Базала, человеку вредна, особенно для мальчика не полезна такая жалость. Но все образуется – и язык выучит. Бадра к нему хорошо относится, это сразу видно. И старшему сыну он должен понравиться (как они устали скучать по этому старшему сыну!). Слава богу, Мсоуст принес весточку о нем, – наконец-то вздохнули... (Опять Мсоуст, здесь больше не на кого надеяться. Но как все у него осложнилось, будь они...)

Базала переживал и другое: сирота никак к ним не привыкнет, не может, видимо, примириться с потерей. Но он странно повел себя и когда его хотели забрать с собой – в тот день хоронили дедушку, отца и мать, – ни за что не хотел пойти проститься с ними. Базале очень хотелось, чтоб мальчик хоть щепотку земли бросил на их могилу, но тот как обхватил балконный столб – так его и не смогли оторвать.

А может, и незачем было напоминать мальчику, ворошить все заново, подумал он, может, и правильно запротестовал сам ребенок.

Так рассуждал он, но все же в глубине души не был с этим согласен. Он не помнил, чтобы в их роду кто-нибудь был бы не добрым, зловредным, помышлял бы о плохом, избегал работы... так что и мальчику некуда деваться, и он станет таким же.

Когда рассвело, поднялась и Киаса.

– Ты что, вчера не засыпал? – посмотрела на него строго, зевнула раза два, потянулась. – Думаешь, молодым сделался? Ты стар, слаб – упадешь однажды с этой скамейки и больше не встанешь, запомни это, и ни с кем ничего не будет...

– Если еще что-нибудь думаешь добавить, еще немного подожду, а то спешу очень... – сказал он почти ласково, почти ласково посмотрев в глаза своей супруги, которая за эту зиму заметно сдала (сколько – и молча –

переживала, беспокоилась о сыне). – В этом году и зима была на зиму не похожей, но и весна будет на весну не похожа.

– А кто принес тебе такую весть?

– Земля, – сказал он шепотом.

– А ты знаешь, нам с тобой она уже сообщает кое-что другое, эта ненасытная утроба, кормящая нас и кормящаяся нами.

– Перестань, – сказал он, начиная злиться, – некогда мне разводить с тобой пустые разговоры.

– Не иди без куска во рту, птицы заколдуют...

– Тогда дай кусок чего-нибудь.

Киаса на тарелке принесла холодную мамалыгу, нарезанную ломтями, нарезанный молодой сыр с щепоткой ярко-красной аджики.

– Может, рюмочку пропустишь, с утра хорошо, прочистит горло?

– Разве не знаешь, в этот день я и пригубить не пригублю. Ты же знаешь, куда я иду, – там мне придется на ладонь насыпать землю, нюхать. И дышать на нее запахом водки – грех, – сказал он без злости, взял кусок сыра, чуть обмакнул в аджику и положил в рот, а за ним такой же кусок мамалыги, – и поднялся. – Промерзшая, пропитанная талой водой, – землю наверняка не узнать нынче...

У порога остановился:

– Бадра вчера коротал ночь возле покойника – видимо, пока будет спать. А мальчика подними, покажи, что ему делать в огороде, пусть учится... А то, если мы его, взяв к себе воспитывать, избалуем – никто нас не одобрит. Мы ответственны за него больше даже, чем за своих.

– Отстань от него, копаться в земле он успеет, пусть хоть сейчас поспит вдоволь. В нашем доме никто никогда не знал отдыха, а вот ему дадим немного передохнуть.

– Делай так, как я тебе сказал, – отрезал Базала раздраженно и быстро вышел.

Как только вышел, оказался в тумане, напоминающем морось, от которой хорошо растет трава. И сразу почувствовал себя в ином мире, где ощущалось подступающее бурление неповторимых запахов, движение молодых ростков, – в весеннем мире природы.

Майяна, выходя из дому, не сказала матери, куда и почему идет. Туман рассеялся, то и дело выглядывало солнце. За ночь много земли освободилось из-под снега, везде лежал жидкий ил, смешанный с камнями. Больше, чем вчера, было птичьего щебета – и звончее, и больше, чем вчера, набухли почки на деревьях.

Майяна ловко обходила места, где лежал талый снег с грязью, где уже текли талые воды, и двигалась довольно быстро. Вдруг она остановилась: там, где ручейки растекались десятками протоков, на образовавшихся островках показались подснежники. Их было много, и все почему-то разного цвета. На лице Майяны появилась улыбка. Однако, долго не задерживаясь, она пошла дальше. Уже миновала перелесок и опять вернулась к обочине

торной дороги, когда услышала за собой конский топот. Но она продолжала идти не оборачиваясь. Всадник, поравнявшись с ней, остановился. Майяна раздраженно обернулась – увидела лицо и высокую красивую шею Кесарии. Улыбнулась, словно извиняясь за резкость движения.

– Остановила тебя... – сказала та грустным, но прекрасным голосом. – Ты куда-то спешишь...

– Хорошо, что вы остановили...

– Нет, нет, не говори со мной на «вы»... – девушка ловко спрыгнула с седла. Ее лицо, всегда высоко поднятое, недоступное, было сейчас близко и доступно.

– Ты совсем расцвела, Майяна, с тех пор как я тебя видела... Но служить красоте не так просто...

– Нет такой красоты, которая сравнится с твоей, твоя светлость!

– ...Извини, Майяна, и не пугайся... ты еще совсем молода... не красота главное, а счастье... Красиво по-настоящему – счастье, но где оно... – она склонила голову, свою красивую высокую шею, и лицо стало еще ближе к Майяне. – Майяна... – сказала она вдруг тихо. – Я, знаешь, так ждала, так ждала, что пройдет снег – и увижусь с ним... с Мзалеем. Никогда со мной такого не было. Я ждала всегда, – ее грустное лицо тронула улыбка сожаления, – но не знала, чего... А здесь – знала...

– Как он погиб... – голос у Майяны дрогнул.

– Не надо об этом... – остановила ее Кесария, подняла голову и устремила взгляд в пространство. – Самые худшие в этой жизни, это те, которые совершают зло против зла же. Зло само за себя мстит, совершивший зло – не уйдет от возмездия.

У Майяны глаза были полны слез.

– Не плачь, этим тоже ничему не поможешь, – сказала Кесария. – Больше незачем мне сюда приезжать... Я ни разу не видела, как хоронят человека, и не желаю. – Грустно вздохнула и опять опустила голову. – Там теперь Алоу. Он тоже ждал – и встретился с той, которую ждал. Я никогда не видела людей, так ждавших друг друга. Хоть этого я удостоилась... – Не успела Майяна взяться за ее стремя, придержать, как она быстро и ловко поднялась в седло. Конь встрепенулся, вскинул голову, и она тоже вскинула голову и обратила взгляд в пространство (А вдруг, а вдруг...) – Будь счастлива!.. – Тронула коня, тот пошел иноходью, и быстро скрылся за поворотом.

После этой встречи Майяна летела так, что даже не заметила, как оказалась у дома Бадры. Киаса была в огороде, проводила канавки для стока талой воды. На самом пороге веранды, разомлев от теплых солнечных лучей, сидел усыновленный мальчик. Видел Майяну, однако не обернулся в ее сторону. Она погладила его по голове, но он так и не шевельнулся.

– Где Бадра? – спросила она, решив, что по звучанию имени он поймет ее вопрос. Действительно, как только она назвала имя Бадры, мальчик поднял голову, искоса глянул на нее, но так ничего и не ответил – ни кивком, ни рукой никуда не указал.

Неужели ревнует, засмеялась она в душе, но вдруг ее сердце стало биться так учащенно, что дух захватило.

Она оставила мальчика и по лестнице поднялась в гостевой дом, через открытую дверь вступила в холод неотапливаемого помещения. С еще незастегнутыми пуговицами рубашки, еще босой – он сидел у своей постели, подперев рукой подбородок, и был занят какими-то своими мыслями. От того, что был в одной рубашке, особенно хорошо было видно, как он широкоплеч, ладно сбит. Войдя и увидев его, Майяна поняла, что ее оставила вся решимость, с которой она направлялась сюда... она остановилась, не зная, что делать.

Бадра вздрогнул, застыл на секунду, но тут же поднял голову и вскочил.

– Сиди, сиди... – сказала она тихо... так, чтобы что-нибудь сказать.

– Я могу и стоять... – он растерянно застегивал ворот рубашки, то краснея, то бледнея. – Майяна, – вымолвил после паузы. – Все это так получилось, такая нелепость... Он...

– Прошу тебя, больше никогда о нем не говори при мне, – отрезала девушка. – Никогда...

Бадра посмотрел удивленно – и горячая волна пробежала по его телу. Он сразу заметил необычное ее состояние...

А Майяна... ей хотелось сказать о том, как ей больно из-за Мзалея, как никогда не забудет его... как она поняла, когда между ними не стало Мзалея, что они с Мсоустом – по разные стороны не проницаемого теплом холода, словно ушла его теплая, человечная часть навсегда – и унесла какие-то очень важные качества, они-то и вызывают симпатии у близких и ему самому давали возможность на девушку смотреть как на девушку... унесла саму возможность и той игривости и мягкости, легкости, в которых у всякого человека всегда есть потребность... и еще о том хотела сказать, что ей нужно счастье, которое есть сегодня, сейчас, и надежно на завтра, нужен надежный человек, чтобы всегда рядом, с которым хочется быть тоже всегда рядом, которого она уважает столько, сколько самое себя... И о том, что она хочет народить кучу детей, воспитать, сделать все, что способна сделать любящая мать. Но не стала ничего этого говорить...

– Бадра, – сказала она, прерывая молчание. – Я поступаю так, как никогда ни одна девушка не поступала... я сама к тебе пришла. Ты понял, что я задумала... Ты единственный, который меня всегда понимал с полуслова. До сих пор я просто задержалась по дороге к тебе...

Бадра, словно потеряв силы, опустился на свою постель, тут же вскочил, метнулся в одну сторону, в другую... губы побелели.

– Успокойся... – тихо сказала Майяна и положила свою дрожащую руку на его руку.

Будто тяжело стало от ее ладони – он подсунул и другую свою руку... вздрагивала – доносила до нее, как бешено бьется его сердце... кажется, ему хотелось что-то сказать, но, видно, не было такого слова, чтобы выразило его теперешнее состояние.

Маху очень близко к сердцу воспринял гибель Мзалея. Всю ночь провел с дворовыми в людской, обслуживал бесконечные траурные столы и притворно траурных приезжих из разных мест. Не мог оттуда выбраться рано, и когда он наконец днем оставил двор Анчаа, уже обрели голос дороги, поля, луга – истекали последними талыми водами, в оврагах шумели настоящие потоки, ручьи разлились, уже почти дошли до вчерашних самых высоких отметок. По всему этому видно было, что к вечеру ожидается настоящее половодье.

Маху шел прямо, не разбирая дороги. Он не успел устроить аглахиа, праздник выздоровления молодой матери, не успел дать имени малышу, но сейчас даже думать об этом не мог, все время перед его глазами стоял тот первый день Большого снега, раскрасневшееся лицо Мзалея сквозь густую пелену снегопада... как он все время видел его улыбку, как светился его взгляд... и слова Мзалея, обращенные к нему, такие искренние, такие человечные, каких он никогда прежде не слышал... и как Мзалей придумал докричаться до его дома, сделал его счастливым... Он сейчас даже слышал те выстрелы, приглушенные, какие бывают только при сильном снегопаде... а дальше все светилась в памяти живая улыбка Мзалея.

Он уже был далеко от усадьбы Анчаа, когда увидел человека – высокого, поджарого, – шел навстречу, как и он не разбирая дороги, прямо по талой воде.

Похоже, к Анчаа... верно, такой же безлошадный, как и я, раз добирается пешком в такую слякоть, подумал он.

Когда поравнялись, – поздоровались, и оба остановились.

– Как тут дела обстоят, что можешь сообщить? – спросил встречный, не скрывая волнения. – Там, на равнине, страшное половодье, и люди и скот просто плавают... никто ничего не знает о вас, и мне даже показалось, что для них все равно, что бы с вами ни случилось. А так – ни одного знакомого не встретил...

– Спросить не стыдно... откуда ты держишь путь?

– Из Турции.

– Из Турции?! – Маху от удивления даже отступил на шаг.

– Да... как только сошел с корабля на берег – каким-то чудом успел проскользнуть – и сюда. Везде вода, дорог нет... – Видно было, как он очень и очень устал, даже говорить ему было трудно. – Все наши, разбросанные там по турецким вилайетам, стали видеть страшные сны о родине, обо всех вас... Всю эту зиму. Как только наступила весна, собрали меня в дорогу, чтобы я своими глазами увидел, что здесь произошло, и с вестями вернулся. Они там ждут – не дождутся.

– Все обошлось... – поспешил сказать Маху, желая успокоить гостя.

– Слава Аллаху! – он сложил ладони и поднял к небу. – Слава великому Аллаху!

Произнесенное имя бога, сложенные молитвенно ладони – все это сначала остановило Маху, но потом он раскрыл свои объятия, и они обнялись. Затем оба, не отворачиваясь, принялись вытирать слезы.

– Все обошлось, снег пережили, но... – Маху запнулся. – Погиб один человек... видимо, самый лучший из нас... вот, не обошлось без горя...

– Да будет ему там хорошо, в вечном далеке... что тут поделаешь, кто создал жизнь – и смерть создал... – откликнулся прибывший из-за моря. А потом вдруг спросил: – Кто же это, может, я его знал?

– Вряд ли... лет ему не так много, и к тому ж его здесь долго не было, с самой юности... приехал недавно, накануне снегопада... – Маху не очень хотелось распространяться дальше, однако не назвать имени не было возможности: – Анчаа... младший из сыновей Алмы.

– Ах! – воскликнул гость возмущенно. – Сам Алма еще живой?!

– Живой.

– Это ему как раз надо было умереть страшной смертью... там, за морем, я знаю людей, которые до сих пор проклинают его...

Маху промолчал. Заговорил совсем о другом:

– Послушайте, уважаемый...

– Ешсоу, Ешсоу зовут меня.

– Ешсоу, ухацкы, извини, что посвящаю в такие семейные дела, но мы, видимо, ровесники, и при тебе можно... В самую первую ночь Большого снегопада родился у меня сын... До сих пор одни девочки были... словом, дом был полон ими, от меня одна голова торчала... Пойдем ко мне, за здоровье малыша если выпьешь, я буду очень рад. Видите, все необычайно: родился в первую ночь Большого снега, а в конце его – за его здоровье выпьет человек, приехавший из-за моря, от наших братьев... – Маху грустно засмеялся: – Я шучу... Вы – самый почетный и желанный гость в моем доме!

– Спасибо! Чтобы счастливым было рождение сына, чтоб он умножил свой род! – Ешсоу говорил уже, словно держал в руке стакан. – Спасибо! Я с удовольствием!

Только пошли, и Ешсоу снова остановился:

– Как сына-то назвал?

– Мзалей... – не задумываясь ответил Маху.

ВСТРЕЧА

...Но как быть со смертельной тоской
Твоей и моей?!
Запев

От места гибели Мзалея Мсоуст пошел по следам Манчи, но вскоре потерял их. Следы не вели к дому вдовы. Значит, он только легко ранен, может сам обойтись пока, подумал Мсоуст; Манча, конечно, понимает, что идти к вдове сейчас опасно; он не останется и здесь, в ближнем своем срубе. Мсоуст сам остановился там; разжечь огонь и сделать себя мишенью он не мог, и всю ночь не сомкнул глаз от холода. Всю ночь на земле лежал туман, пожирал остатки снега, – здесь, на склоне, еще немало сохранилось белых

«языков». Утром он быстро напал на след Манчи. Следы вели по-над берегом все время вверх. Видимо, Манча искал огромный бук, упавший с того берега, через теснину, – ствол его служил мостом для редких в этих местах пешеходов.

Мсоуст знал это место: переправляться надо было над пропастью, внизу бурлила река. Что ему, Манче, кошачьему отродью, здесь было делать... от одного вида пенящегося потока внизу душа ушла бы в пятки.

Ясно было, что Манча где-то недалеко. Мсоуст быстро догнал его. Измученный страхом – со вчерашнего дня метался у реки, ослабевший от раны, Манча лежал прямо на снегу, притулившись к дереву, и был, похоже, в мучительном забытьи. Мсоуст шел прямо, не прячась и не стараясь приблизиться к нему бесшумно. Манча вздрогнул и открыл глаза... в ту же секунду успел вскинуть карабин и сделать два выстрела. Мсоуст успел спрятаться за бук. Одна из пуль, ободрав кору, просвистела мимо.

– Стреляй, стреляй сколько не жалко! – Мсоусту почему-то стало даже немного весело, задор почувствовал.

– Почему ты не сгнил в зародыше, зачем появился на этот свет на мою голову! – скулил Манча как раненный зверь. – Отвяжись, отстань от меня! Я схороню себя, и никогда больше ты меня не увидишь...

– Захотел! – Мсоуст был уверен, что теперь уж его не упустит. – Никогда ты не был героем, но теперь хоть прояви мужество напоследок, умри достойно!

– Ты так говоришь со мной потому, что я достался тебе легко, в таком состоянии... Но напрасно ты себя обманываешь, пока неизвестно, кто из нас умрет, свинец не разбирает... – Манча поднялся и, прячась за дерево, выстрелил. Пуля опять сбила кору над головой Мсоуста. Но он не стал стрелять в ответ.

Рассчитывая на то, что Манче сейчас надо перезарядить, он бросился вперед, к другому дереву, поближе... А Манча решил прежде добежать до камней и, прячась за ними, попробовать спуститься вниз. Мсоуст настиг его, когда тот не успел еще сменить обойму, и ударил прикладом по плечу. Манча взвизгнул, повалился наземь. Плечо оказалось то самое, раненное, и кровь просочилась через одежду. Некоторое время он так и лежал с искаженным от боли лицом. Потом через силу приподнялся, сел.

– Значит, больно тебе, да, выскочивший из собачьих ноздрей?! – слова Мсоуста были холодны и увесисты, как камни. – А вот тому, которого ты совсем лишил жизни, – ему не было больно?!

– Ему еще повезло по сравнению со мной... – выговорил Манча не без усилия.

– Насколько ему повезло, это ты сейчас сам узнаешь...

– Осилить раненого, беспомощного – и это ты считаешь мужеством?!.. – голова его страдальчески клонилась к простреленному плечу.

– Перестань молоть языком, я не собираюсь на тебя тратить время! – прикрикнул Мсоуст.

– Некогда тебе... а то столько у тебя дел... – выпалил Манча – и с опаской ждал продолжения, что скажет Мсоуст.

– Ты же со мной хотел покончить, почему загубил совершенно безвинного человека?

– Перепутал вас, вы же оказались в одинаковых черкесках... до того статные оба, такие герои, что так и хотелось продырявить хоть одну из обнов... – здоровой рукой он оперся о камень, встал, прислонившись спиной к скале, и ненавидяще посмотрел на Мсоуста: – Ты же и сам хорошо знаешь, что меня заставили... Или моя голова – или твоя... Конечно, я выбрал свою. Почему за мной гонишься, а не покончишь с ними, если уж такой герой... Это они – твои враги...

– Кто это – они?

– Сам знаешь, кто... Ацахва, которому руки целовали эти овцы, деревенские бабы... которого это оболваненное стадо, наше село, – как я их всех ненавижу, чтоб гореть им в адском пламени! – считало чуть не святым... все равно, если ты оставил его в живых, он тебя отыщет хоть под землей! От того, что он истребит таких как ты сотню, ему благодарность и деньги... А Умар, этот злобный трус?! Почему не покончишь с ним? Сафия?.. Это ты виноват в гибели приезжего, ты и заслужил пулю, и не одну... Как ты заявил ей? «Жду, мол, в старом храме, пусть сунется кто-нибудь, если посмеет...» Так? Она же в сговоре с ними со всеми! Послала этого несчастного приезжего чудака, постаралась одеть как тебя... Когда тот обжора и идиот Бадра явился среди бела дня к нему, эта потаскуха, которая никому не нужна, как ни странно – кроме тебя, сразу догадалась, в чем дело, и решила убить двух зайцев: на всякий случай постараться пока сохранить тебя и в то же время избавить почтенный род Анчаа от незаконорожденного, избавить великих Анчаа от несмываемого позора, всю эту свору... Ты во всем виноват – сознайся хоть раз в жизни! Из-за собственной похоти к этой вонючке... и бахвальства!.. Если б можно было судить нас по справедливости, если все честно взвесить, измерить, – то вся вина на тебе!

– Если даже я и виноват, только не перед тобой! Каждому придется ответить за себя... если на мне вина – и мое время придет, и меня настигнет кара! – ответил сурово Мсоуст. – А твой час наступил – сейчас оплатишь свой долг перед тем, которого лишил жизни, своей поганой жизнью. Один раз я смалодушничал, на этот раз исправлю!

– Нет, нет, ты как раз виноват передо мной, больше всего!.. – завопил Манча так, что из полопавшихся губ стала сочиться кровь. – Ты, именно ты вышиб меня из людского круга...

– Тебе и не место среди людей!

– Почему?! Почему?! Если тебе есть там место, почему мне нет?! И даже если так, какое твое дело в чужую жизнь вмешиваться, кто тебе дал на это право, кто обязал?! А ты сам – что, безгрешен? Не совершал глупостей, подлых поступков?!

– Таких, как ты, – нет. Хватит молоть языком, иди... прежде ты не имел права находиться среди людей, а сейчас уже – и на земле этой!

Манча все стоял, безвольно опираясь о камень, обмякший, губы дрожали, обычно наглое, насмешливое, беспощадное лицо его выражало беспомощность. Он думал замутненным умом, с каким бы удовольствием вцепился, вонзил во врага зубы и когти... схватить за горло и сжимать, сжимать, пока и капли воздуха не сможет просочиться... но перед ним, кошачьим отродьем, стоял волкодав. Он еще больше обмяк:

– Стреляй, только чтобы сразу...

– Нет, нет! – Мсоуст своей железной рукой взял его за шиворот и потащил.

В Мсоусте клокотала, бушевала разгневанная сила, и Манча, чувствуя ее, раздавленный, не мог сопротивляться.

Мсоуст привел его на берег бушующей реки. Поняв, Манча в страхе оглянулся.

– Нет, нет! – выкрикивал он, отказываясь верить. – Ты не такой каменный, чтобы обречь меня на такую смерть! Знаешь же, больше всего боюсь воды, чтоб она вся высохла на этой гнилой, проклятой земле! Нет, не верю, чтобы ты... Даже я, переступивший через все святое и не святое, не стал бы...

– Ты, кошачье отродье... Если вдруг сумеешь выплыть или просто повезет, – может быть, в собаку превратишься. Собака хоть умеет плавать. Если не утонешь – твое счастье, иди куда хочешь, поступай как знаешь, больше я тебе не судья.

– Нет, нет!!! – Манча взвизгнул, потом заорал и стал вырываться, но железные руки Мсоуста держали его намертво... и со всей силой швырнули в стремнину. Раза два мелькнула голова Манчи в кипящей пене – и все... Разбухшая, бешеная река все так же несла свои воды, заполняя ущелье бессвязным, бездушным и пугающим шумом. Все...

Мсоуст отошел немного, присел на камень, спиной оперся о другой, и долго сидел так неподвижно, словно и сам окаменел. Наконец он встал, взял карабин и, не оборачиваясь на реку, ушел от ее невыносимого шума, зашагал быстро и решительно, направляясь к востоку.

Пока солнце было живо, истекая потом, он достиг Пещеры, Выносящей конский помет. Он подошел к пещере близко, так, чтобы виден был вход в нее. Переполняя, закрывая вход здесь бурлил поток; вода была талая, но более чистая, чем та, что рождалась на поверхности; попав на свободу, поток сразу же водопадом слетал по крутому склону.

Некоторое время он стоял и смотрел, как захлебывается, выбрасывая избыток воды, устье пещеры. Потом повернулся, поискал глазами и, увидев в нескольких шагах от себя большой, весь в оспинах времени камень, подошел и сел на него. Взгляд Мсоуста блуждал, обшаривая окрестность: никто здесь поблизости не жил. Над пещерой поднимались скалистые холмы, поросшие низкорослыми деревьями и кустарником. Иногда взлетали, перекликались птицы. А ниже по склону видны были полуразрушенные башни Великой Абхазской стены. Она в основном оставалась обнаженной, только кое-где на самых разрушенных участках обросла ежевикой, дикими разлапистыми фиговыми деревцами и плющом.

Крепостная стена, которую когда-то воздвигла в тяжких трудах целая страна, целый народ, чтобы окружить ею, оградить от посягательства врагов свою свободу, свою правду, справедливость, – сейчас она, бессильная, лежала в развалинах, в солнечные дни там греются ящерицы... Где же она, эта правда, справедливость, где теперь существует ее душа? Низверглась ли в преисподнюю этой отнятой родины, которую они не смогли отстоять, или ее, эту правду, так спугнули, что она навечно удалилась обратно, откуда и явилась, – в святые небеса?

Видимо, так и есть... ее место – небо, и чтобы она спустилась наземь, чтобы человек ее вдыхал и выдыхал вместе с воздухом, ей тоже нужны условия, – чтобы она не высохла и не испарилась, как летняя роса, а жизнь без нее не задыхалась бы, как рыба, вынутая из воды... Для тех, которые сумели свою землю, родину, дом защитить, – им легче сохранять ее, защищенное пространство так или иначе сберегает ее. А те, которые испокон веку не могли добиться безопасности, – они, наоборот, хотят из незащищенного дома куда-нибудь спрятать свою правду, в недоступное место, например, в глубокую пещеру...

Мир вокруг расплылся, потерял звуки. Мсоуст все больше уходил и уходил в себя. Сейчас он вспоминал: когда учился в прибрежной школе, там был учитель истории, и учитель этот довольно часто во время уроков рассказывал всякие интересные притчи. Одна из них запомнилась особенно хорошо. Он ее чаще стал вспоминать, когда уже вырос, возмужал и стали тревожить вопросы жизни, отняли покой. Каждый раз, как вспомнит, его словно окатывало ледяной водой: ему казалось, что – о нем... это он мучительно вкатывает по крутизне тяжелый камень, и вот уж чувствует дыхание вершины – но руки разжимаются и камень летит вниз... и он спускается и начинает опять все с начала...

Неужели это все, что остается человеку в жизни? – в груди холодеет у Мсоуста, когда вспоминает опять эту притчу. По всей видимости, так... Чтобы человек не умирал от скуки, не выл как собака из вымершего дома, удружил ему Господь Бог – послал занятие: катить камень на вершину, а у самой вершины упустить вниз, чтоб вернуться туда, откуда начал... И начинать снова, и опять, и опять, и так до бесконечности... Так зачем же ему именно катить к вершине? И, по крайней мере, раз не получается, зачем же не перестать, не отпустить камень вниз, пусть валится куда хочет... Чтобы человек не остался незанятым? Для этого лишь?

Если человеку больше ничего не светит, чего ж он себя изводит, терзается... чтобы совершить такое, от которого кровь холодеет, сердце каменеет, – как он сегодня? Если не на что больше надеяться? Почему ему приходится поднимать более тяжелый камень, да по большей крутизне, чем, скажем, Бадре и его отцу? Если это все действительно ничего не значит?!

Он не усидел, ходил, метался вокруг и около камня, с которого только что смотрел вниз. Глянул в сторону пещеры: бурлит, захлебываясь, рвется из каменной гортани поток...

...И он, Абрскил... тоже катит свой камень: шатает, расшатывает, вытягивает стальной столб, к которому прикован... Вот-вот раскачает, вытащит (вот-вот вершина, ее дыхание), – а вдруг откуда ни возьмись крохотная пташка – садится на столб... Абрскил, взбешенный, замахивается тяжелым молотом... пташка улетает, а столб опять забит до конца... И снова расшатывает, старается вытащить, – и так бесконечно.

Мсоуст помнит, как юношей, оставив за перевалом детство, оставил с ним – оказался без друзей, на которых можно было положиться. Почему-то одиночество пригнало его сюда. Брать с собой в пещеру кого-нибудь из детства, где у него еще было много друзей, ровесников, подвергать их силы испытанию не стал, ибо это уже была не игра. Он решил тогда пройти по пещере так далеко, насколько дадут две свечи, а потом уже, в следующий раз, хорошо приготовившись, начать с достигнутого и забраться еще дальше. Сначала он шел без всякой свечи по воде, тогда мелкой (если не считать ям, иногда попадались). Потом, когда своды сделались ниже, он зажег свечу. Не сразу решился протиснуться через первый узкий проход, – встретился неожиданно. Но все же он еще был свежий, не уставший, – довольно легко провел свое гибкое тело через эту каменную гортань огромного застывшего чудища – пещеры. Дальше сделалось свободнее, хотя местами ему приходилось ползти на четвереньках. Так он постепенно углубился довольно далеко – и вдруг у какого-то порога попал в самое настоящее царство разноголосой капели. Чувствовалось, что там, впереди, своды высокие, и достаточно пространства, чтоб усиливать звуки. Сперва они сгустились до шума, напоминающего шум ливня, но чуть позже ему уже казалось, что вся капель, вся влага, которой истекали своды, превращается в бурлящий поток, который несется сюда на него... Он даже не помнит, как повернул назад... осталось в памяти, будто узкий проход, через который просачивался слабый свет, сужается на глазах... Сломя голову бросился протискиваться... Действительно, второй раз ему это стоило больших усилий. Потом он бежал по руслу потока, оскальзываясь и падая в воду. И когда выбежал из пещеры, был весь мокрый, вымазанный в пещерной липкой грязи из тысячелетней пыли сталактитов и сталагмитов, с порезанными ступнями ног... И чтобы в таком виде не попасться на глаза людям, он нырнул в ольшаник по ту сторону речушки, вытекающей из пещеры. Речушка называлась Выносящей конский помет, за то якобы, что выносит помет коня Абрскила, – подобно хозяину скакун питается только сталью... в ольшанике, пройдя немного вглубь, он повалился ничком и долго лежал так, в скверном, униженном состоянии, стыдясь своего малодушия.

...Он вернулся и опять устроился на своем испещренном оспинами времени камне. Перед ним из каменного горла пещеры захлебываясь выбивалась талая, светлая вода. Горло хрипело, как перерезанное. Он сидел и чувствовал, что внутри у него – гулкая пустота, и сам он весь полый. Неоткуда было пролиться струйке освежающей влаги на жаждущее если и не надежды, так хоть пусть самого маленького утешения сердце.

Тогда, там в горах, в срубе, на пороге небытия, он лежал как зернышко перед хищной птицей смерти, – тогда к нему не снизошли ни силы неба, ни земли, ни народа, на которые он всегда делал ставку. Сейчас – добрался сюда, и вот все, что здесь есть: вода – рвущаяся из каменного горла пещеры. Он шел сюда, надеясь, что вот увидит близко – и ему станет лучше, настроение поднимется, услышит что-нибудь такое, что поддержит его дух. А здесь – только истекающая водой пещера, склоны, шум и плеск потоков. И никто ничего не скажет.

Так значит, такая же полая, как и он сам сейчас, и эта пещера, слава которой тысячелетия оживляла уста людей? Значит, они просто утешали или забавляли себя? Или достаточно было одного желания, пусть даже и жгучего? Между голой, высушенной вечными ветрами вершиной и ее подножием – катить тяжелый камень, у самой вершины его упустить, чтобы опять все начинать с начала... Ради чего такое мученичество, такая бессмыслица?!

Потом он сидел долго и неподвижно в глубоком забытьи. Как-то отдалился, умолк шум талых вод, которыми истекали холмы, пещера, все склоны. Ему начало казаться, что все части его организма постепенно каменеют. Потом этот полый каменный организм ощутил себя пещерой, с гулкими каменными сводами, с множеством больших и малых стволов-разветвлений... дальние ходы пронизывают эти холмы, и горы, встающие за ними, и возвышающиеся дальше, и еще выше... И вскоре он услышал тяжелое дыхание. «Это он...» – шевельнулось легким дуновением где-то в глубине. Дыхание возрастало постепенно, и наконец заполнило всю пещеру со всеми ее разветвлениями. И явственно доносился звон тяжелых цепей...

«Абрскил!..» – гулкий его внутренний голос прокатился навстречу.

Дыхание замерло на мгновение.

«Остановись! Чем больше ты углубляешься, тем дальше меня относит вглубь! – донесся могучий хриплый голос Абрскила. – Который раз надо напоминать – когда же поймешь!»

Кроме его голоса ничего не осталось, все расступилось, отдалилось...

«Заполнил ли папоротник землю, превращая ее в бесплодную пустыню? Тянется ли колючка к зеленому ростку, чтобы обвить и задушить его? Опять вы кланяетесь небу, согнувшись в три погибели? Опять? Опять?»

«Сколько раз я повторял, почему же не вникнете, не поймете?»

«Иди, вернись, выходи из пещеры... там, в мире – твои деяния, все твои обязанности – там...»

...В это время раздался оглушительный удар тяжелого молота по стальному столбу, – конечно, не задев хитрую пташку, снова загнал столб в скалу.

«Который раз, который раз, который раз...»

На мгновение опять исчезли все звуки. Потом снова стало доноситься тяжелое дыхание. Усиливалось, нарастало, заполняя холодную пещеру со всеми ее стволами-разветвлениями...

...Мсоуст через силу вывел себя из оцепенения. Пот градом катился по лицу, рубашка сделалась мокрой. Он глубоко-глубоко вздохнул и поднялся, выпрямился во весь рост. Обострившийся слух сразу вернул все звуки – его оглушил шум талой воды, которой истекали холмы и пещера, все склоны. С такой же остротой ударило – ощутил еще слабые, но обжигающие затаенные запахи весны, что в этом году так трудно вступала в свои права. И когда он поднял голову – до боли в глазах ослепило заходящее солнце, словно внезапно обрело силу восхода или словно он только-только вышел, сбросив оковы, из кромешной тьмы пещеры, где томился тысячелетия...

«Который раз надо напоминать...»

«Который...»

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НЕПОНЯТНЫХ СЛОВ

*У х а ц к ы – обращение к дворянам, князьям. Буквально – «умереть мне за тебя». Употреблялось в значении – «господин», «ваше благородие».

*М а х а д ж и р ы (араб.) – изгнанники. Так называли значительную часть горских народов Кавказа, в том числе и абхазов, изгнанную со своих земель при столкновении интересов царской России и султанской Турции, при завоевании Кавказа царской Россией.

*Имеется в виду старинный абхазский обычай сватанья девушки еще с колыбели. При этом на колыбели оставляли зарубку.

*М ы к у (Моква) – святое место, храм 9 – 10 веков.

*У а а г ы л – стой (абх.).

*А и м ц а к и а ч а – абхазская народная игра в мяч, напоминающая современный гандбол.

*Т х у б у н – местечко в окрестностях Сухума, где стоит знаменитый на всю Абхазию храм VI – VII вв.

*А ю м а а – угловая абхазская арфа.

*А п х и а р ц а – древнейший смычковый абхазский народный музыкальный инструмент.

*А ч а м г у р – струнный музыкальный инструмент, распространенный как в Абхазии, так и в западной Грузии.

*Арфист исполняет отрывки из нартского эпоса. Кубина – река Кубань (прим. переводчика).

*Д и а – обращение к матери.

*А а м с т а – дворянин (абх.)

*Д и д а – непереводимый возглас возмущения в речи женщин.

*С а м а к у а – в мифологии абхазского народа существует фольклорный жанр, носящий такое название. Накануне годовщины поминовения устраивали небольшое представление, где умершего изображает один из его друзей, обычно тот, кто внешне более похож на него. Он лежит на тахте и сидящим вокруг участникам действа рассказывает о якобы своей загробной

«жизни» в течение года. Здесь, в романе, этот фольклорный жанр использован как видоизмененный древний жанр мениппеи – для показа прошедшего, утраченного, уничтоженного из жизни живых персонажей.

*«Ш ь о у к а р... » – так кличут, сзывают кур.

*Д а д – обращение в речи только пожилых и старых.

*В абхазском эпосе заточенный врагами в пещеру Абрскил питался со своим конем сталью.

*Существует поверье: если кошку закрыть в темном месте, то вечер не наступит.

*Б а б ы ш р а – село в Гульрипшском районе Абхазии, нынче здесь аэропорт.

* И а х у а л а к – «Всякий, кто может! Каждый, кто в силах!» – древний клич абхазов, зовущий, предупреждающий, вдохновляющий.

* П т и – один из древних царей абхазов.

* Т р а х е я – крепость древних абхазов, сожженная римлянами.

* Б р а т ь я Л е о н ы – абхазские правители, принявшие бой с войском арабского полководца Мурвана Ибн Мухаммеда, прозванного за жестокость «Глухим», и победившие его. Они заложили основу Абхазского царства (8 – 10 вв.).

* К е л е ш Ч а ч б а – владетельный князь Абхазии, выдающийся государственный деятель (конец XVIII – начало XIX вв.), заложивший основы присоединения Абхазии к России на особых условиях. Предательски убит наемником царской охранки и двором владетельных князей Мегрелии Дадиани, которые организовали заговор против не за его независимую политику.

* Перефразируется народная сказка-игра.

* Слова 99 братьев нартов, обращенные к своему сотому, неродному брату Сасрыкве, когда он обогрел их, погибавших от страшной стужи, сбив звезду с неба.

* Одно из старых абхазских поверий.

* А ч х и н д ж – приспособление для приготовления пищи; деревянный кол, загнутый наверху, где вешают котлы.

* И а у а у а д а ш о у - у а у а – непереводимый припев некоторых куплетов-частушек.

* А и ш в а м а т в а – траур до сорокового дня, а иногда до года по смерти человека: делали куклу, обряжали в одежду покойника, а иногда просто на специальной тахте раскладывали его одежду – и оплакивали ушедшего.

* А г л а х и а – буквально «в честь вставания, выздоровления», праздник после выздоровления роженицы.

* А б р а с к и л – герой абхазского эпоса, защитник и заступник людей; хитростью пойманный врагами и заточенный в пещере, он ведет вечную борьбу, пытаясь освободиться из оков.

СОДЕРЖАНИЕ

Первая часть
Вызывание душ утопших

Вторая часть
Прощение заблудших

Третья часть
Песнь ранения

Четвертая часть
Впереди – завтра

Гогуа Алексей Ночиевич

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

Том второй

БОЛЬШОЙ СНЕГ
Роман-рапсодия

Перевод с абхазского
С. ШЕВЕЛЁВА

Гогуа Алексей Ночевич родился в 1932 году. Учился в Сухумском педагогическом институте, затем – в Литературном институте им. А. М. Горького.

Работал в издательстве, разных периодических изданий, был главным редактором абхазского детского журнала «Амцабз», председателем правления Союза писателей Абхазии, народным депутатом СССР, председателем общественно-патриотического движения «Аидгылара», автор книг, рассказов, романов, пьес, публицистических произведений.

Переводился и издавался на русском и других языках. Лауреат Госпремии им. Д. И. Гулиа.